В. КОРОЛЕНКО

В. КОРОЛЕНКО
Записные книжки

1935

ГОСЛИТИЗДАТ

В. Г. КОРОЛЕНКО

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ
(1880—1900)

РЕДАКЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
С. В. КОРОЛЕНКО и А. Л. КРИВИНСКОЙ
ПРЕДИСЛОВИЕ А. Г. ГОРНФЕЛЬДА

С РИСУНКАМИ АВТОРА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА—1935

Типо-литография им. Воровского, ул. Дзержинского, 18

В. Г. КОРОЛЕНКО
(1885-1895)

ОТ РЕДАКЦИИ

Записные книжки В. Г. Короленко, публикуемые в настоящем томе, охватывают двадцатилетний период литературной деятельности писателя. Самая ранняя из них относится к 1880 году, последние — к 1900-му. Печатаемыми здесь книжками, количество которых ограничено размерами тома, не исчерпывается весь соответствующий отдел архива В. Г. Короленко. Но выделяя эти книжки для печати, редакция старалась представить возможно полнее различные моменты литературной работы автора.

Настоящий том был уже подготовлен к печати, когда вышла в свет наиболее ранняя из сохранившихся записных книжек Короленко, не находившаяся в распоряжении редакции («В. Г. Короленко. Записная книжка. 1879». Краевое издательство, город Горький, 1933). В ней он вел записи по пути из Петербурга в глазовскую ссылку, в мае 1879 года.

Несколько особое место в настоящем томе занимают записные книжки, связанные с работой над исторической повестью из времен Пугачевщины. Произведение это написано не было, и оставшиеся материалы ни в какой форме не были опубликованы после смерти писателя. Поэтому, для освещения сохранившейся в записных книжках работы, здесь даются также рукописи начала повести, озаглавленной автором «Набеглый царь». Помещая их, редакция руководствовалась

тем соображением, что рукописи эти невелики по объему и не нарушат общего плана книги, а подготовительная работа В. Г. Короленко над большим, задуманным им произведением будет таким образом освещена полнее.

Все пояснения к публикуемым записным книжкам даются в конце тома. Здесь читатель найдет общие сведения, относящиеся к различным моментам биографии писателя и характеризующие его работу в периоды, охватываемые содержанием тома: таковы годы сибирской ссылки, время пребывания в Нижнем-Новгороде, путешествие в Румынию, в область Уральского войска и другие. Здесь даны также краткие описания книжек, указания на связанные с записями произведений и другие комментарии.

Некоторые из вошедших в этот том записных книжек с трудом поддавались прочтению, так как автор иногда записывал свои наблюдения в крайне неудобных условиях: спешно карандашом в пути, в темноте или во время езды в тряской телеге. Неразобранные места каждый раз оговариваются, а текст, читающийся предположительно, дается в квадратных скобках. Места, зачеркнутые автором, но восстановленные редакцией, заключены в ломаные скобки.

В настоящем издании воспроизводится также ряд собственных рисунков В. Г. Короленко, заключающихся в его записных книжках и дорожных альбомах. Собственные иллюстрации к записям непосредственных впечатлений, — карандашные зарисовки картин природы и портретов встречных людей, также характерны для способа Короленко собирать художественный материал, как и самые его записи.

В настоящем томе может быть воспроизведена только небольшая часть рисунков, наполняющих записные книжки и альбомы писателя. В конце книги читатель найдет перечень этих рисунков.

С. Короленко
А. Кривинская

В. Г. КОРОЛЕНКО В ЕГО ЗАПИСНЫХ КНИЖКАХ[1]

I

О записной книжке как пособии в его творческой работе мы давно знаем от В. Г. Короленко. В предисловии к «Слепому музыканту» автор сам сообщил, что вставленный в повесть — после пяти изданий — эпизод с двумя слепыми звонарями основан на «прямом наблюдении», возможность которого была доставлена ему «счастливым случаем во время одной из его экскурсий». «Фигуры двух звонарей (слепой и слепорожденный), которые читатель найдет в гл. VI, разница их настроений, сцена с детьми, слова Егора о снах — все это я занес в свою записную книжку прямо с натуры на вышке колокольни Саровского монастыря». Едва ли, однако, этим сообщением и сходными сведениями руководился автор недурной для своего времени биографии Короленко (Н. Д. Шаховская), когда утверждал, что «записная книжка — предмет, которым лучше всего было бы символизировать одну из существеннейших черт таланта В. Г. Короленко». Неопределенность этого замечания мешает его оспариванию, но во всяком случае доля истины, заключенная в нем, не имеет отношения к тем записным книжкам Короленко, которые публикуются в этом издании. Не имея возможности в 1912 году знать их, автор биографии исходил

---

[1] В основу этой характеристики положены также некоторые записи из дневников и писем В. Г. Короленко.

в своем стилистическом суждении не из подлинных записных книжек писателя, а из некоторых формальных его приемов, может быть, из его подзаголовков.

Рабочие приемы художников так же глубоко различны, как и результаты их творчества. Но как нечто общее объединяет их создания, так часто сходны простейшие методы их работы. Каждый художник так или иначе закрепляет свои первоначальные впечатления для памяти, каждый пользуется этими предварительными записями на свой образец. Короленко не будет исключением. Записных книжек у него много, и в течение всей жизни он прибегает к ним охотно: и тогда, когда заносит в них факты и впечатления, и тогда, когда много лет спустя черпает в них материалы для новых произведений. Но в той мере, в какой для всякого художника неизбежен свой собственный путь от сырого впечатления или от промелькнувшей мысли до готового произведения, Короленко также пользуется своими записями по-своему. И потому, прежде чем увидеть в его записных книжках некий символ хотя бы одной из «существеннейших черт его таланта», необходимо оценить ту глубоко идущую работу, которой подвергаются его записи для того, чтобы стать элементом готового произведения; необходимо хотя бы сопоставлением заполнить расстояние, отделяющее записи в книжках Короленко от произведений в его книгах. Ясно при этом одно: если записная книжка должна в каком-то смысле явиться символом творчества Короленко, то это не та записная книжка, которая во всей конкретности лежит теперь пред нами, а тот абстрактный «путевой альбом», который в качестве общепринятой литературной условности не раз называл Короленко в своих подзаголовках.

Прав он был или нет, — нам кажется, в этой скромности не было нужды, — он любил укрываться за непритязательностью, утверждаемой этим обозначением. Редкий рассказ Короленко обходился без подзаголовка, и редкий его подзаголовок не свидетельствует о намерении подсказать читателю, что перед ним не завершонное художественное произведение, а нечто исход-

ное, сырое, не дозревшее до законченности. Если вспомнить, что на языке Короленко слово «очерк» еще не было термином, соответствующим полубеллетристической и все же самостоятельной литературной форме, и означало нечто эскизное, намеченное в чертах общих и кратких, предварительных и внешних, то странным должно показаться, что подзаголовком «очерк» увенчаны такие совершенно готовые и совсем не похожие на эскиз рассказы, как «Черкес», «Марусина заимка», «Мгновение». Разве можно как-нибудь еще развить, еще расширить прекрасную уравновешенность таких рассказов, как «Парадокс» или «Ночью»? Но Короленко и их скромно называет «очерками». Большая повесть «Слепой музыкант» носит подзаголовок «этюд», рассказы «Река играет», «Божий городок», «В борьбе с дьяволом»—это все почему-то «эскизы из дорожного альбома». Если «Голодный год», — эта целая книга, в каждом последующем издании подвергаемая обработке и переделкам, — как бы хочет быть сниженной подзаголовком «Наблюдения и заметки из дневника», то нечего удивляться, что ранняя работа Короленко — характеристика русского городского захолустья («Ненастоящий город»), достаточно на наш взгляд разносторонняя и широкая, с точки зрения подзаголовка тоже представляет собой не больше чем «беглые заметки и наблюдения». И так далее: «Нирвана» или «У казаков» — это что-то «из поездки»; «Искушение» — это «страничка из прошлого». Вспомним, однако, что даже «Сон Макара», если верить подзаголовку Короленко, есть только «святочный рассказ», и преклонимся пред соображениями писателя, для которого даже «Не страшное» — только нечто «из записной книжки репортера». Для нас все эти произведения, конечно, не больше «листки» и «заметки», чем законченный рассказ любого писателя, но мы готовы ощутить, что какие-то листки, какие-то записи сырья, какие-то свидетельства о подлинно пережитом и виденном предшествовали художественному созданию, и такие записи, естественно, привлекают наше внимание.

Теперь эти листки «из дорожного альбома», эти не-

поддельные «беглые заметки из записной книжки» — перед нами, и мы получаем возможность судить о том, в какой степени и в каком смысле они могут явиться «символом» творчества Короленко.

И поверхностному взгляду сразу раскрывается все многообразие интереса, представляемого этими записями. Они могут быть точкой опоры для методического исследования, они могут стать увлекательным материалом для чтения. Они освежают первообразными красками облик писателя, созданный в нашем представлении знакомством с его произведениями. Они раскрывают ряд моментов в становлении этих произведений, освещая процесс их создания от первого впечатления до завершения, иногда до заключительной отделки. Становясь рядом с готовыми произведениями писателя, они представляют собою ценнейший комментарий к созданиям его творчества. Мало того: читателю, способному своим живым сотворчеством участвовать в чужом созидании на любой стадии его развития, эти записи дают иногда художественное удовлетворение, немногим уступающее эстетической и умственной радости, доставляемой тем или иным эпизодом или чертой в удачнейшем из рассказов Короленко.

II

С самого начала ясно, что это книжки п и с а т е л я. Это важно отметить потому, что мы знаем, в сколь малой степени чисто литературные или художественно-изобразительные интересы могут считаться исключительной целью наблюдателя-Короленко; это важно отметить и потому, что как раз ко времени начала записей Короленко только что вновь — после краткого перерыва — ощутил себя писателем. Еще недавно, в конце 1880 года, уже после появления его первого рассказа в журнале, он писал близким, что «утвердился в намерении никогда не отдаваться специально литературной работе». Однако протекло полгода, и в тяготах новой высылки, среди впечатлений подневольного путешествия слабеет это преходящее настроение, противное природе человека, ощущавшего свою силу и назна-

чение в слове. Записные книжки открываются началом рассказа, не только имеющего заглавие, но содержащего строки: «Мне хочется поделиться с читателями некоторыми впечатлениями», и это показательно для преобладающей части их содержания. Читателя имеют в виду эти книжки, — не того, конечно, читателя, в руки которого они более или менее случайно попали теперь, но того, для которого из сырья, накопленного и отобранного в книжках, будут в дальнейшем созданы литературные произведения. Литературными задачами прежде всего определяется состав и тон книжек, а потом уже задачами практическими. Если автор их готовится перестраивать жизнь, то прежде всего он будет ее перестраивать посредством того, что он ощущает в себе как главную свою силу, — посредством искусства слова, а потом уже иными средствами. Мы знаем, сколь сильным он оказывался подчас и на этих путях, часто противополагаемых путям искусства.

Переливаясь то в дневники, то в фрагменты подготовляемых произведений, записные книжки Короленко не имеют по составу отчетливых границ; отсюда их разнообразная содержательность. Внешним отличительным признаком их должно, очевидно, служить лишь то, что они заполняются не дома, а в дороге, и реже по памяти, чем по живому впечатлению.

Эти записные книжки — путевые книжки; тяга к движению навстречу впечатлениям — органическая потребность автора. Если бы строй царской России и не занимался усердным перебрасыванием молодого Короленко из угла в угол, он, разумеется, тоже бродил бы по земле, своей и чужой, как делал это позже, когда странствовал не по жандармской указке, а по своей воле. Путешествие вдаль, прогулка по окрестностям, экскурсия в новые края — все это для него необходимый и естественнейший прием познания, познания того, что встало перед ним жизненным вопросом. Давно эта особенность его мысли своеобразно запечатлена в его художественных произведениях. Для начала своего рассказа Короленко пользуется формулой, которой мало изменял на протяжении всей своей художественной де-

ятельности: он едет. Встреча автора с его персонажами по-разному происходит у разных писателей: обычно герой приезжает. Короленко сам движется навстречу своим персонажам. В первой фразе или хоть на первой странице его рассказа мы постоянно встречаемся с одной вводящей ситуацией:

«Я еду по спешному делу» («Убивец»).

«Мы ехали вниз по Лене» («Ат-Даван»).

«Осенью 188... года мне пришлось совершить путь от Якутска до Иркутска» («Государевы ямщики»).

«Мы ехали берегом Лены» («Мороз»).

«Уже несколько дней мы ехали «разнопряжкой» («Феодалы»).

Это только из первого тома; в остальных — то же: «Лес шумит» или «Река играет», «В облачный день» или «На затмении», «Божий городок» или «В борьбе с дьяволом» — все открывается путевым движением писателя. Географическими обозначениями пестрят его заглавия: «Ат-Даван», «Марусина заимка», «Над лиманом», «На Волге», «Светлояр» и «Ветлуга», «Наши на Дунае», «Ненастоящий город», «Черкес», «Соколинец», «Турчин и мы» и т. д. Есть, конечно, рассказ с заглавием «По пути». Первая глава «Голодного года» и первая глава уральских очерков называются: «Дорогой». Нет недостатка в подзаголовках: «Из дорожного альбома», «Очерки заграничной поездки». Можно подумать, что это какой-то разъездной корреспондент, писатель-турист, специализировавшийся на путевых очерках. И не только он, но и его персонажи. Как рассказчик-Короленко мало ощущает себя оседлым, так и своего героя он неохотно мыслит оседлым. А если оседлость, то это «не страшное», то есть самое страшное: загнивание души в застое и в неподвижности. Географично и оглавление нашего собрания записных книжек; в нем перечисляются Иртыш и Обь, Саров и Керженец, Урал и Кытерлез. Если прибавить, что американские дневники (1893) напечатаны в другом издании, а французские (1914) погибли, то нетрудно получить впечатление какого-то преобладания этнографических интересов. Его и получали — и освещали неверно, и преувеличивали.

Мы знаем, что далеко не всегда он едет с писательскими целями. Он едет по Лене потому, что его гонят в ссылку или из ссылки; он едет по нижегородским уездам потому, что организует помощь голодающим; он едет в Мултан защищать вотяков; у него есть дело важней даже писательского. Но неизменно при этом он остается и ощущает себя также наблюдателем; у него в кармане записная книжка, и всегда, на ямском станке или в номере захолустной гостиницы, на трансатлантическом пароходе или на деревенском ночлеге он спешно заносит в книжку то, что успел увидеть и услышать, о чем при этом задумался.

У него это тесно связано. Он не отдается волне впечатлений. Он не глядит, а наблюдает, он не слышит, а прислушивается. Он активен в своей записной книжке, как был активен в общественной жизни. Он всегда ищет, всегда думает и поэтому рвется к жизненным встречам, ездит по свету, всматривается в людей, в их облик и язык, в их быт и нравы, в их искания, в их мысль. Что бы ни вышло из записей в дальнейшем, пред нами прежде всего записи художественного наблюдателя. Его слух обострен, его внимание цепко схватывает колоритное словечко и черточку быта, его наблюдательность действенна, его настороженность подстегивается его идейным исканием. Здесь часты общие заготовки, не приуроченные ни к какому определенному заданию. Он записывает народные словечки, черты тюремных нравов, картинки природы и бытовые сценки, едва ли зная отчетливо, получат ли эти художественные штрихи и наброски место в каком-либо произведении. Он записывает песню «приискательскую» и историческую казацкую песню, он изображает весеннее пробуждение приволжской степи и тюремную кухню, объясняет, что такое тюремный майдан. Точно, со всеми особенностями местной речи, он запечатлевает в своей книжке случайный разговор, — и достаточно пройти эти страницы книжки, достаточно вдуматься в эти разговоры, чтобы понять, что простой, грубой точности здесь так же мало, как простой случайности: все это выше и точности, и случайности. Трудно сказать, что

здесь сильнее — захват художественной памяти или захват художественного преображения. Этнографически колоритных, психологически характерных реплик, раскрывающих то низины простонародного быта, то взлеты простонародной мысли, слишком достаточно и в готовых рассказах, но там они могут казаться и могут быть удачей творчества, искусной комбинацией, умелым восполнением действительности. Книжки показывают, в какой степени комбинация и воображение покоятся у Короленко на непосредственных записях. По-своему говорит у него оякученный сибиряк, по-своему — московский извозчик, жуликоватый стрелок-интеллигент, и уральская казачка, и раскольник заволжский, и раскольник придунайский, каждое слово которых запечатлено глубоко местной окраской. Верно ли то, что они именно так говорят? Мы не знаем, но не можем не верить, что именно так. А записи в книжке убеждают нас в том, что мы не ошибаемся, что изображения Короленко не только поэтически убедительны, но и фактически достоверны, что их «возвышающий обман» обоснован «низкой истиной». И, конечно, даже в этой фактической правде никак нельзя видеть механическое воспроизведение, что-то вроде закрепления на фонографическом валике. Да, запись делается по непосредственному впечатлению, но далеко не всегда с непосредственной одновременностью. Бывает и это; бывает, что выхватывается книжка и наскоро, в формах своей индивидуальной стенографии, заносится в нее тайком от собеседника тот или иной разговор. Но часто даже то, что записывается в курной избе или ночью у костра, воспроизводится уже по памяти. И здесь уже есть отбор, есть напряженность созидающего внимания, есть уже творчество.

III

В простонародную пестроту погружается он охотно и легко осваивается в ней. Но то, что им движет, выше исследовательского фольклорного интереса. Его называли этнографом, и сам он готов был уничижительно причислить некоторые свои произведения к этногра-

фии. «В этом году, — говорит он в 1887 году в письме к Гольцеву, — по некоторым причинам я больше писал этнографические вещи («Содержающая», «За иконой»); составить из всего этого книжку — значит сделать ее однообразной и скучной». Очерки «Содержающая» даже впоследствии так и не удостоились включения в полное собрание сочинений, но рассказ «За иконой», при всей колоритности народного быта, в нем изображенного, мы не назовем «этнографической вещью», хотя бы из-за крепкой индивидуальной фигуры его героя, сапожника Андрея Ивановича. «Этнографичность» Короленко вообще требует пересмотра, и записные книжки дают для этого материал. Этнограф изучает чужую жизнь, изучает жизнь «первобытную», изучает чаще всего сверху вниз. Для Короленко нет чужой жизни, нет первобытного в том, что отвечает на его личные запросы. И народ — учитель жизни, народ-«сфинкс», хранитель высокой тайны — разве это этнографический материал? Правда, Короленко рано расстался с наивностями первичного народничества, рано отошел от той веры в «народную правду», о которой рассказал в автобиографическом фрагменте: «Мы думали, что у дверей грядущей русской истории уже стучится великий незнакомец, называемый русским народом, который придет и скажет свое решающее слово... Все творчество жизни перейдет к народу, и станет «новое небо и новая земля». Социальный и политический мир завертится на новой оси. Роль интеллигенции при этом является, думали мы, чисто служебной». Поэтому так легко молодой Короленко принимал свои подневольные скитания. Беззлобно, несмотря на их гнусную нелепость, называл он их «приключениями»: ведь они в известном смысле шли навстречу его задушевным желаниям. «Молодой и здоровый, — говорит он о себе, — он относился к этим приключениям с веселой философией: они дали ему возможность увидеть самые глубины народной жизни и стать с народом в отношения полного равенства... Казалось, сбылась мечта его юности. «В народ» он был доставлен на казенный счет» (Полн. собр. соч., т. V, 1929. Материалы и

дополнения к «Истории моего современника»). В это время он не усматривал еще «чувствительной бессодержательности» в восторгах Златовратского о «великом сокровище — тайне народной мысли» («История моего современника», т. II, ч. 2-я, гл. I); вместе с героем своей неоконченной «Полосы» он искал «земной тяги» в народе: «Теории, литература, культура, — все должно было исчезнуть перед народом и тем, что он внесет на историческую арену. Узнать, что «он думает», приобщиться к его думам, стать его орудием. Но это длилось недолго. Под конец идеалистический туман рассеялся. Осталось уважение к человеку в народе, как и вне его».

Вниманием к личности и ее судьбам питается теперь в Короленко все внимание к коллективу. Этнографичны его записи, как этнографичен лишь один из аспектов его рассказов. С племенами и народностями, с скитаниями и экскурсиями связана вся его беллетристика. Эту связь подчеркивают его записные книжки: они показывают, как в странствиях занимают его быт и нравы, групповой уклад и групповой характер. Его сверстники Гаршин и Чехов — художники, чуткие ко всему бытовому, что дает краски на их палитру, но они не знают той настойчивости, с которой он всматривается в племенные и простонародные коллективы. Забайкалье и Добруджа, Волынь и Америка, остяки и евреи, новороссийцы и уральцы, молдаване и сибиряки, украинцы и поляки несут на себе фабульный остов его рассказов. Совершенно верно, что «ему было желанно и привольно входить все в новые и новые круги народной жизни в разных этнографических поясах, разных условиях быта». В атмосфере разноплеменного быта развиваются его сюжеты; не только индивидуальные, но и народные характеры воплощены в его героях. И все-таки в основе внимание его захвачено не формами быта, а оценкой этих форм, не жизнью как процессом, а условиями этой жизни, историческими и социальными, не тем, *как люди живут*, а тем, *как им живется*. Наблюдение для наблюдения, наука для науки чужды ему, как искусство для искус-

ства. Его запись в книжке так же идейно-направленна, как все его искусство. Не надо это брать слишком грубо, не надо полагать, что он подгоняет действительность к своим воззрениям, что он окрашивает и перетасовывает ее в угоду отвлечению. Он всегда художник, одновременно объективный и тенденциозный, как всякий подлинный художник. Но в живом интересе к жизни и мысли человеческой, личной и особенно коллективной, на первом месте встает для него вопрос, в какой степени и в каком смысле она может быть названа подлинно человеческой, какое место она занимает в процессе очеловечения человечества.

Задумав роман о Пугачеве, он едет на Урал, впитывает в себя впечатления пейзажа и быта, ищет местного колорита, ищет живых следов давно отжившей старины, работает в уральских архивах, разъезжает по станицам, делает выписки из бумаг и записывает бесе́ды. Но и эти уральские записи показывают, как делится его внимание между историей и современностью, между природой и экономикой, между чистым искусством и практическим деланием. В конечном счете противоречия не будет, ему борьба не помешает быть поэтом, — гармоничность, ему присущая, сплавит все это воедино. Уже в процессе работы видна эта органическая связь устремленности познавательной и преобразовательной, художественной и публицистической. Но все время записи о том, что рассказали старики о былом Яике, перемежаются сведениями о том, как живет современный Урал. Вот Илецкий городок, взятый пугачевцем Хлопушей. «Ров и вал охватывал город с трех сторон... на валу были рогатки и пушки... Как помнят теперь старики, — вал охватывал огромное пространство... Защищать его было трудно. (Может быть, был ретраншемент.) Опасность шла с Самарской стороны, и у Пугачева были пушки»... и т. д. Он сидит с бывшим станичным атаманом, расспрашивает его о былом городка, постепенно отодвигаемого наседающей на него рекой. «Было что-то особенное в этих воспоминаниях. На месте, где когда-то протекала юность... теперь стержень реки, мыски, молодая

поросль... И над всем за степью мглистый закат». А на другой день он разговаривает со старой переселенкой молоканкой: «Срок аренды кончился, земля истощилась. Услыхали, что тут можно, сдают, ну, и того, пошли слышь сюда... Семья сам-десять. Работник один. Боятся, потребуют на службу — пропадать. Старухе это место тоже ничего,—только помирать вот. «Там, в Оренбургской губернии наших уже много полегло. Все не так страшно. А здесь мне первой ложиться. Все небось в земле-то киргизски кости» (Возят хоронить в Илецк)». И с заботами суеверными старухи о ее мертвом теле сплелись заботы о живой тяготе. «Когда спашешь, когда заборонуешь, рублей пять-шесть, ну этим только их и утешаешь.—Гнёсси уже перед ним. Ну, свез, смолотил — тогда отдохнешь лехко... Суслик больно обиждает... Я предлагал: давайте, разделим по отдельности. Каждый и будет выливать у себя. Ну, богатым это не лестно. А чего делать? Суслик даже с четырех концов ест...»

Эта современность вошла бы и в историю, но повесть о Пугачеве осталась ненаписанной. Перед нами лишь ее отрывки, планы, мотивы, сцены, характеристики. Рядом с «набеглым царем» и его противником из казаков Мартемьяном Бородиным должен был стать подпоручик Скаловский, как бы антитеза обоим героям «Капитанской дочки» — Гриневу и Швабрину. Ибо Скаловский не корыстный предатель, как Швабрин, и не жертва обстоятельств, как Гринев: он давно подал петицию о перечислении его из гвардии в яицкие казаки; он стал на их сторону потому, что для него, питомца революционной эпохи, дело казацкого восстания — дело правое. Мы мало знаем о нем из фрагментов, но знаем, как понимал его фигуру автор. Заметка на обороте одного из листков в материалах говорит: «Мы можем прислушаться к стуку маятника настолько, что уже его не замечаем. Точно так же можно прислушаться и к стонам человечества. Бывают, однако, особые условия, когда стук маятника тревожит нервы и не дает покоя. Таков был мой Скаловский, — человек с открытым слухом на то, чего дру-

гие не замечают». Скаловский остался не воплощенным, но ясно, что образ его строился на характернейшей черте его создателя: на том обостренном внимании к «стонам человечества», при котором колоритнейшие национальные и племенные различия в этом человечестве получают значение весьма подчиненное.

Повесть о «набеглом царе» не была написана. Литературным результатом замысла о ней остались очерки «У казаков». Можно, если угодно, назвать эти очерки этнографическими: в них много истории, но много и географии, и этнографии; в них и киргизы, и казаки с их своеобразным правовым укладом, с их войсковым «багреньем», с их воспоминаниями и земельными нуждами, их фольклором и их религиозными поисками мифического «беловодского царства». Но вопрос, которым заканчиваются очерки, перекрывает всю эту пышность столь красочного, столь заманчивого для художника казацкого своеобразия: «Да, казачий строй выработал свой особенный человеческий тип. Что внесет он с своей стороны в ту волю, которая должна теперь вырабатываться не на «окраинных началах» борьбы, а на началах, одинаковых и для Уральска, и для Илецка, и для киргизской степи, над которой в эти минуты висела пред моим взглядом туманная мгла».

И в придунайских очерках пройдет пред читателем весь многоплеменный пандемониум, склубившийся у Балкан: турки и болгары, цыгане и молдаване, греки и русские всяких племен, всяких вероучений и даже всяких эпох, потому что века легли между народовольцем, эмигрантом 70-х годов, и потомком выселившихся запорожцев — липованином, некрасовцем, эмигрантом XVII века. Но опять — к чему придут эти очерки, к чему приведут они читателя? Над всей этой бесконечной пестротой племен, наречий, состояний встанет Катриан, сапожник и социалист, и над разноязыкой толпой курдов, молдаван, арнаутов, липован развернется его «огромное малиново-красное знамя» с белой надписью: «Proletarii din toata lumea, uniti-vo!»

Так или иначе выражен этот лозунг, те или иные оттенки внесет в него понимание Короленко, — в него упирается вся этнография писателя. А этнографии, конечно, много, и он любит ее не только как живописец, но и просто как мыслитель. Ибо жизнь познается в ее конкретности, а для Короленко конкретность коллектива не менее, а подчас и более насыщена готовыми познавательными данными, чем конкретность личности. Тип всегда представитель и выразитель группы; но надо различать типизацию индивидуального случая, характера, судьбы от типичности данного в истории коллектива. Платон Каратаев и мистер Астлей так же типичны, как Анна Каренина и Раскольников, но по основному заданию автора Анна Каренина есть преступная в «незаконной» любви страдалица, а потом уже аристократка, а потом уже русская женщина; наоборот, Платон Каратаев есть для Толстого прежде всего русский крестьянин, а потом уже лично хороший человек. И если мистер Астлей для Достоевского есть воплощение высоких качеств именно англичанина, то ни для него, ни для его читателя нет ничего необходимо русского в носителе мучительнейшей моральной проблемы, Раскольникове. И Короленко не уклоняется от задачи индивидуальной психологии и индивидуального изображения, но как его гуманности важен отдельный человек, так его эстетике нужна племенная, бытовая, народная группа. Выводы его идут к живой личности, доводы подсказаны ее коллективностью. Особенно это запечатлено на той творческой ступени, которая отражена в записных книжках: здесь Короленко меньше всего углубляется в отдельного человека, здесь он действительно собиратель типичного в массе и быте. Личность, живая в его замысле, появится потом, когда, конструируемая воображением, обогащенная чертами наблюденной действительности, донесенными цепкой памятью, она станет основной стихией рассказа Короленко — и станочник Микеша или паромщик Тюлин, подымаясь над мелкими безымянными черточками, занесенными в книжку, станут живыми людьми.

IV

Это долгий путь — путь художественного созидания, и ряд его участков, скрытый в законченном создании, так или иначе раскрывается нам в записных книжках. Силен читательский соблазн углубиться в них без исследовательских целей, просто читать их как поэтические странички о том, что видел и думал в своих скитаниях писатель. Но пусть не мешает нам видеть в книжках материалы для изучения эта тяга зачитаться ими, эта действенная способность наша принять художественный полуфабрикат за чистую поэзию, равно как способность черновых записей поэта действовать на нас художественно.

От делового письма до технического проекта, от приходо-расходных записей до военной диспозиции— все, выраженное в письменном слове, может явиться нам литературной формой. Но не годится здесь от возможного заключать к действительному, от результата к намерению. Записная книжка Короленко не литературная форма, а склад сырья, сырья по преимуществу литературного, но в отношении литературной оформленности чрезвычайно разнообразного и нестрого, и это делает записные книжки особенно любопытными и поучительными. Мы встречаемся здесь чуть не со всеми стадиями становления художественного произведения. Для окончательной отделки поэт находит другое время и другое место, но все ей предшествующее запечатлелось здесь, от первичной записи чужого словечка или своей мысли до готовых эпизодов, целиком перешедших в законченное поэтическое создание.

В виде исключения мы встретим здесь даже пример обработки оконченного произведения: так, в книжку попал конец готового «Сна Макара», отброшенный в печатной редакции. Там ведь рассказ заканчивался торжеством Макаровой невинности: под вдохновенную защитительную речь Макара высоко подымается на весах грузная деревянная чаша его прегрешений, перевешиваемая его незаслуженными и бессмысленными страданиями. В первоначальном тексте было еще

краткое продолжение: доведя до слез всех присутствующих на небесном суде, включая самого бога, Макар, оказывается, плакал там так сильно, что проснулся — и увидел свою мрачную юрту, вспомнил о своей тяжкой жизни, и по лицу его потекли настоящие слезы. «Но это были уже горькие слезы о том, что он жив, что он не умер действительно». Оценим художественный такт, с которым вычеркнута эта прибавка. Там читатель расставался с Макаром в повышенной атмосфере его победы — и сновидение переходило в действительность, становилось новой и особенной, одновременно фантастически призрачной и разумно осмысленной действительностью. Читателю представлялась на выбор возможность помнить или забыть о том, что Макар оказался правым только во сне, что его оправдание есть моральное торжество всех обездоленных, страдающих на земле. А здесь нас с ненужной жестокостью перебрасывают в прозаизм той реальности, которая угашает пламя предыдущего рассказа и из многозначного образа делает сухую аллегорию.

По этому отрывку заключительной сцены «Сна Макара», дошедшему до нас, мы можем судить также об изменениях, введенных в текст при окончательной отделке. Упрощение и сжатие — их основной смысл. Одеждами называется теперь то, что в первичном тексте именовалось ризами. В печатной версии Макар потерял терпение и заявляет об этом Большому Тойону, но он не грозит ему, как делал в первичном тексте, «развеять на его глазах его праведников, как веял при жизни мякину, пуская ее по ветру»; он жалуется здесь на этих праведников, что «хотя сердца их мягки, однако на них не выросла жалость. Они стали стеной и закрыли от Макара свет солнца и сказали ему — тебе здесь не место. Они брали у Макара доброе семя, но ему, Макару, выдавали подменное. И вот отчего его сердце порастало во мраке тернием, и бурьяном, и полынью». При всей логической уместности этой части обращения, автор, конечно, поступил правильно, устранив ее. Уже в одном из первых отзывов

(Л. Оболенского) о «Сне Макара» было как очевидный и бесспорный недостаток рассказа выставлено то, что язык Макара в его сновидении не соответствует его образу: этот словарь и эта фразеология, эти «сердца, возвращающие крин сельный» и «готовые раскрыться на все прекрасное в мире», — явное прегрешение против правды. Рецензент был неправ: он не обратил внимания на общую приподнятость стиля, вполне оправдывающую это отступление от элементарного реализма. Настроение ирреального уже владеет рассказом при переходе к этой последней сцене на небесах. Романтика уже захватила читателя, как захватила писателя, и в мире этой романтики патетическая риторика с ее приподнятой лексикой, ее славянизмами может раздаться из уст дикаря Макара с полной убедительностью. Его речь переведена на высшую ступень — как переведено все его сознание — и переведена на наш язык. Макар говорит на возвышенном языке, ибо здесь уже устранена необходимость считаться с этнографической реальностью. Но эта приподнятость — средство тонкое и опасное, ею можно пользоваться лишь с большим тактом, и этот такт проявляет создатель Макара, сжимая его речь и обедняя его патетику: этим только усилен его праведный пафос.

V

Мы попутно остановились на одной из позднейших форм размышления писателя над его произведением. Ее очередь в последовательности обработки не возбуждает сомнений. Наоборот, другие стадии сменяются в порядке, неизбежно видоизменяющем наши обычные представления о ходе художественного созидания. Исходя из предпосылок рациональных и вполне законных, мы обыкновенно полагаем, что все происходит здесь в порядке теоретической последовательности, так сказать, по расписанию, приблизительно таким образом, что писатель, задумывая рассказ, прежде всего изобретает его тему, находит для ее выражения фабулу с ее завязкой, развитием и развяз-

кой, вызывает в своем воображении образы героев, которые в связи с фабулой дают заполненный сюжет; жизненная правда этих образов достигается тем, что писатель основывает их на непосредственных впечатлениях, на наблюдении своих моделей или на самонаблюдении. Подготовив сырой материал, автор отдается сосредоточенной кабинетной работе, пишет страницу за страницей свое произведение вчерне, потом, перечитывая его, правит, шлифует, вычеркивает, прибавляет, и так далее, вплоть до корректуры, в которую он вносит последние изменения. Никак нельзя сказать, что эта последовательность сочинена; наоборот, она часто имеет место в действительности. И все же надо помнить, что она есть отвлеченная теория, верная лишь в самых общих чертах, а иногда и совсем неверная. Стадии созидания перемежаются в любом порядке. Исходной точкой может служить совсем не общая тема, а отдельная черточка, отдельный образ, который в дальнейшем окажется подчиненным, а то и ненужным; фабула может быть выводом из личности героя; герой может выдвинуться на позднейшем этапе, и т. п. Сам Короленко в письме к беллетристу Каронину изображал, как личность воображенного героя может стать определяющей для фабулы. «Вы как художник, — писал он, — представляете себе известное лицо, характер; оно стало как живое в вашем воображении; с этих пор оно для вас — конкретный факт, живой и действующий. Все равно — списали ли вы его с натуры, или он есть продукт творческой фантазии. Важно, чтобы оно существовало в воображении именно как личность, чтобы вы видели его лицо, его движения, его поступки. Раз вы представили себе его таким образом, — оно уже конкретный факт и живет самостоятельной жизнью. Оно не может поступать по вашему приказанию, потому что должно поступать и поступает сообразно своему характеру. Даже и внешние обстоятельства, в которые вы его поставите, — только отчасти зависят от вас; он сам в значительной степени будет их видоизменять и подчинять своему воздействию, своему настроению».

В этих соображениях мы должны, конечно, видеть не отвлеченную теорию, но признание мастера о процессе его творчества. Во взаимной зависимости то фабулы от личности героя, то характеристики персонажа от фабулы проходит работа самого Короленко, проходит путями, сложная переплетенность которых выясняется теперь в записных книжках. Вот с чьих-то слов записывает он объяснение тюремного термина Иван: «Иваны — арестантские воротилы, хозяева и кулаки. Иное время — заберут силу — ворочают как хотят. Они же и за парашку входные деньги назначают: с мещанина р. по 10, с крестьянина — по 3, с поселенца 75 коп., с бродяг — 5 коп., с пересыльного то же; с каторжанина ничего; цифра эта колеблется; говорят, в иных местах Иваны разоряли арестуемых крестьян в пух, — брали по 100 р.! Почему же дают? Нельзя. У Ивана свои из шпанки же прихвостни, совсем человека изобидят. Вдруг это в камере накинутся: «бей его». Другой и не знает кого, за что, — вскочит на нары, со сна туда же галдит: «бей не на живот». Народ, знаете, в жестокость от этой тюрьмы взошел». Чей это монолог, чей язык? Не ясно ли, что пересказ автора-наблюдателя незаметно переходит здесь в речь рассказчика, этапного завсегдатая. А рядом, в объяснении слова «майдан», в сообщении о порядках на кухне записная книжка уже не выходит за пределы литературного языка, нимало не отражая речи опрашиваемого. Так в живой работе сливаются все ее стадии, раздельные в теории.

Больше десяти лет, с конца 80-х годов, размышлял Короленко над повестью о Пугачеве. Но он начал писать ее лишь летом 1900 года в Петербурге, когда, согласно его дневнику, «написал первую главу исторической повести». Казалось бы, времени прошло достаточно, работа продвинута до закрепления ее в беллетристической форме, предварительное изучение проделано, основные черты намечены, повесть вызрела. И, однако, проходит еще год — и Короленко считает необходимым совершить длительное путешествие по земле Войска Уральского, найти в сохранившемся

предании незабытые черты народного движения и прежде всего его вождя. Записные книжки показывают, как многослойно складывается здесь его работа над повестью. Он подбирает факты, он делает архивные выписки, он ездит по области, всасывая впечатления ее пейзажа и быта, экономики и языка, он отыскивает стариков, хранящих предание, и записывает их рассказы. И в то же время, вдохновляемый всем этим материалом, он не перестает думать над основными линиями сюжета, над остовом будущей повести. Записи начинаются, по определению автора, «вероятным началом вроде пролога», изложение которого, данное вначале схематически, в настоящем времени, в стиле плана, переходит в диалоги, в драматическое изображение сцен и эпизодов, уже вполне пригодных для включения в текст без поправок. Так же относительно готовы дальнейшие главы о Скаловском и Орлове. Но тут же идут выписки о крепостном праве и характеристика Скаловского. В конце августа, возбужденный удачной поездкой к «умёту», где Пугачев начинал свое дело, Короленко пишет жене большое письмо, где замечателен непосредственный переход от того, что писателю удалось видеть, к тому миру, который создается в его воображении. Остановившись на постоялом дворе в поселке, он сообщает: «Жизнь этого поселка тоже очень оригинальная, и все вместе сильно действует на воображение. Возвращаясь степью, я точно перенесся в те времена, встречал на дороге тех людей, и даже встретил, между прочим, Мартемьяна, ехавшего на Иргиз на богомолье с женой». И разом от впечатлений окружающей бытовой действительности воображение писателя делает стремительный скачок к создаваемому им миру исторических образов. «Жена, — продолжает Короленко, как бы ставший свидетелем давно минувших событий, — бедное забитое создание, а сам он — суровый казак с повелительными манерами и шельмоватым выражением лица. В дороге ему повстречался не я, а старик уметчик и иногородний купец с острым взглядом и наружностию, обращающею невольно

внимание. Мартемьян велел казакам остановить встречных и привести к нему. Время было уже тревожное. Но узнав уметчика и услышав от Пугачева, что он знает игумена Филарета, — он отпускает обоих». Так продолжается рассказ на ряде страниц, с готовыми диалогами, то в настоящем времени, то есть в виде планообразной наметки, которой еще предстоит отлиться в историческую форму, то уже сразу в прошедшем. Мы как бы присутствуем при создании художественного произведения и, конечно, радуемся вместе с автором, когда он сообщает жене, как одно из его поэтических предположений оказалось оправданным действительностью. Еще до поездки он рассказывал жене, что ему рисуется молодой казак, едущий ночью и плачущий. Этой фигурой он хотел изобразить нервное состояние, в котором был народ на Урале. «Теперь нашел краткое указание в Пугачевском деле: командировались казаки в Оренбург отвезти «найденного в степи шатающегося безумного и безгласного» человека, который оказался казаком Сакмарской станицы. Кажется, с моим представлением о том времени я — на настоящей дороге».

Записи к «Набеглому царю» заканчиваются рядом «мотивов», как называет их автор. Подлежа развитию и заполнению повествовательным содержанием, эти «мотивы» показывают, в каком жидком и кипящем состоянии находятся пока те элементы художественного сплава, которым предстоит еще отлиться в законченную и объединенную форму. Так одновременно возникают частные мотивы и общая конструкция, подбираются отдельные черты и строится общий план.

Все это неизбежно сплетается в одновременности уже потому, что сплетаются две основные стихии поэтического создания — сознательная и бессознательная. На значении последней Короленко настаивал тем увереннее, что к этому взгляду приводил его не только личный опыт, но и данные чужого творчества, не только фактическая практика искусства, но и теоретические соображения. Этой «уступки» иррациональному он боялся тем меньше, что, вскормленник эсте-

тики Чернышевского, он был тверд в высокой оценке сознательности в творчестве. Разбираясь в вопросе о тенденциозности в искусстве, он в письме к журналисту Сараханову (в 1888 году) говорит: «Я держусь мнения, что и д е я — есть душа художественного произведения. Но это вопрос сложный... Вы так категорически отрицаете элемент «бессознательности» в процессе творчества, как будто это аксиома. Аксиома же — как раз обратное. Известен эпизод из жизни Мицкевича: он написал во сне стихотворение и не мог после объяснить некоторых мест: не понимал сам. Один математик (помнится даже, Ньютон) решил труднейшую задачу во сне и очень удивился, найдя ее наутро на столе. Державин во сне написал последнюю строфу оды «Бог».

Короленко не аргументирует своим собственным опытом, но он мог бы сослаться на то, что и ему известны проблески такого творчества во сне. О форме, в которую иногда отливались у него первичные замыслы, мы знаем уже из его дневников, содержание которых несколько совпадает с записями в книжках. Так, рассказав об одном посетителе, молодом человеке «вроде народнического психопата», «наружностью похожем на Златовратского», о его нелепой повестушке и его бестолковых попытках помочь переселенцам, он записывает: «Мне хочется написать на эту тему рассказ. Народник мечтает, чтобы пристроить свое пустое и жаждущее любви сердце, чтобы стать чем-нибудь... Он успевает уверить себя и другого (ну, хоть меня же), что ему удалось, что партия переселенцев только и ждет от него помощи, совета, указаний. Хлопоты, суета, мечты, чувствительность, энтузиазм — и все это вследствие фантазии. Приходит партия, суетливый народник кидается к ней, — но тут его никто не желает, никто на него не надеется, и он выбрасывается из этого потока, как щепка, а поток — темный, суровый и жесткий в своей суровости — проплывает мимо, не желая оценить добрых желаний интеллигента. Они не принимают его подачки, и сами не дают ему милостыни, которую народник выпраши-

вает для себя у народа». Здесь все весьма сознательно, равно как в тех «темах» будущих — впоследствии не написанных — рассказов, какие мы находим в сибирских записных книжках. Такова, например, «История телеграфного столба». В основу этой темы положено предположение, что успехи науки и техники дадут современем возможность воспроизвести все слова, пронесшиеся через сибирский телеграф в течение долгих лет его службы. Ясно, какие богатые возможности предоставляет рассказчику эта тема, но ясна также вся рациональность замысла. Другая тема — «Князь Ворцель в заключении» — также исходит из сознательного замысла: «сопоставить разорившегося гордого польского князя (сидящего за долги), родовитого скептика и веселого жуира, — с настоящим homo novus, человеком убежденным, но не фанатиком». Этот замысел также достаточно отчетлив и, так сказать, прозаичен, чтобы его можно было назвать сознательным и даже подсказанным некоторой тенденцией. И, однако, изложение этой темы заканчивается любопытнейшей припиской: «Сцены снились по дороге в Иркутск». И без углубления в психологию сновидения ясно, что если молодому писателю могли сниться отдельные сцены из задуманного им рассказа, то лишь потому, что сознательная и подсознательная работа над образами этого рассказа имела место в моменты бодрствования. О том же говорят «бессвязные отрывки» поэмы об Александре II и Желябове. Записные книжки позволяют нам с несколько большей непосредственностью заглянуть в этот замысел, сообщение о котором недаром в «Истории моего современника» самим автором озаглавлено «Мои ленские видения». Да, это были «видения», зарождавшиеся вне волевого напряжения: в пути по ледяной пустыне «чудились» поэту два образа, овладевали, как он говорит, его фантазией, вырисовываясь в высоком холодном небе. Приезжая на станки, он старался «наскоро отогреть руки и набросать хоть обрывки образов и мыслей». Но надо было ехать дальше — и в возке опять «эти два образа входили в мое воображение».

И те немногие лирические строки, что остались в книжках и в воспоминаниях от задуманной поэмы, свидетельствуют, что «мысли» и здесь были существеннее, и пожалуй, художественнее совершенно не определившихся «образов».

VI

Так, получив возможность присмотреться к истоку замыслов, мы прежде всего видим, как в самом деле было сложно их зарождение и развитие.

Условием этого развития на известной ступени будет тяготение писателя отчетливо представить себе свои предположения. Осознанный замысел более или менее значительного произведения требует письменного закрепления основных моментов, подлежащих заполнению содержанием, требует плана, общего и частичного. Таких общих планов не сохранилось в записных книжках, но частичные наметки к «Набеглому царю», частичные планы отдельных глав и эпизодов мы находим много раз. Таков, например, пестрый сценарий главы, действующей на нас как законченное поэтическое создание, как некая баллада в прозе: «Пугачев в садах казака Строганова. Спутанные дорожки. Кельи. Старочки и старцы. Тишина. Спасение. Новое влечение к тишине. Потом вечер. Роща. Хуторок. Войсковая аристократия, армия и старшинская сторона празднуют. Над степью взвиваются ракеты, озаряя степь призрачным сиянием. В тени, невидимые веселым зрителям, стоят казаки и казачки, глядя, как под звуки оркестра на свету движутся дамы в фижмах и кавалеры, по большей части военные, танцуя менуэт. Старик Никита Бородин, еще с бородой, ходит и кланяется. Мартемьян, бритый, вертится тут же; Пугачев смотрит, слушает музыку, которая странно действует на его мечтательную душу. Ему хочется блеска, красоты и власти... И он забывает тихую обитель. А старицы смотрят тоже на ракеты... Змии огненные... И они говорят о близкой кончине мира и о странном пришельце, который неведомо откуда приходит, неведомо куда уходит, и неведо-

мо какие думы носит с собою. А ракеты взвиваются, трещат и гаснут».

Он думает с пером в руках. В письменной форме он дает характеристики образному воплощению, ставит себе задачи, требующие решения. Он строит гипотезу о личности карьериста Шванвича, перешедшего к пугачевцам, и, радуясь подтверждению этой гипотезы, найденному в источниках, записывает: «Мои соображения оказываются вероятными. Барсуков называет Шванвича-отца лейб-кампанцем. Сын его мне рисуется самолюбивым, озлобленным, от отца научился только циническому отношению к власти и к тому, как искусные карьеристы делают царей. Отец участвовал в том, как сделана царицей Елизавета... В Шванвиче — отголосок цинического авантюризма. Простодушная верность — удел армейцев и гарнизонных служак. То, что было наверху, — эту цельность верноподданства не могло не утратить, а то, что спускалось сверху вниз, — озлоблялось и искало «случая». Иногда характеристика строится как некая задача: живая личность есть в своей целокупности некий организм, по известным нам элементам которого можно судить о других, неизвестных. И Короленко конструирует образ фаворита Екатерины, Орлова, о котором он составил себе представление, достаточно ясное, чтобы спорить с историками эпохи. «Гельбиг, очевидно, не понимает характера отношений Орлова к Екатерине, — записывает он: — Он был ей муж. Полюбил ее во время опалы и ее несчастия. Рисковал за нее жизнию, возвел ее на престол», и т. д. Тут же — для памяти: «Благодарный момент: Екатерина боится Орлова, как боится солдатская жена мужа, возвращающегося со службы после ее измены. Может быть, он был способен прибить ее, но не извести. Страх его появления, а не переворота. Разработать этот мотив». Но фигура Орлова, выявляющаяся постепенно в концепции художника, требует еще дополнительных черт, и портретист его ставит себе задачей: «Разработать психологически: в душе только горечь от прежней власти и от личной жизни. Ниче-

го не ждет, все изведано, и от всего боль и презрение. Человек страшный для мелкого искательства и пошлости». И опять — полемика с Гельбигом об Орлове. Короленко хочет создать образ исторического лица не вопреки истории, а в согласии с нею: у него свой взгляд на Орлова, но — так ему кажется — это точка зрения объективного исследователя, а не поэта, вольного в измене истории, — и он спорит с Гельбигом, который, по его мнению, просто «очень плохой психолог».

Поэтические замыслы рождаются из конкретных впечатлений. Это столь же бесспорно, сколь многозначно, — многозначно до бессодержательности. Свое содержание вносит в эту общую формулу эстетическая теория, в спорах и противоречиях устанавливающая «эстетические отношения искусства к действительности». По-своему принимает ту же формулу теория творчества, исследование путей и приемов каждого отдельного поэта. И Короленко, как всякий поэт, исходит из конкретного факта, отправляется от действительности. Вопрос не в этой бесспорности, а в том индивидуальном значении, которое она получает в освещении материалов, представленных нам записными книжками. Мы имеем здесь ряд записей, раскрывающих те конкретные впечатления, творческое использование и развитие которых дало в результате ценную художественную единицу, получаемую нами в рассказе Короленко.

Бывают случаи, когда в художественном преобразовании действительно полученного впечатления мы можем видеть не больше чем некоторое обострение действительности, сгущение красок, требуемое выразительностью. Наоборот, в других случаях мы видим настоящее развитие фактов действительности, ее обогащение соответственным сопоставлением и изобретением, имеющим характер идейный и публицистический. Мы знаем о занесенной по живому впечатлению записи эпизода со слепыми звонарями, введенного впоследствии в развитие «Слепого музыканта». Эта запись теперь перед нами, и мы можем сличить ее с

ее художественным порождением. Около восьми лет прошло между этой встречей на монастырской колокольне и воспроизведением ее в давно написанной повести. Мы не знаем точно, что прибавила к записи память писателя и что, восполняя действительность, ввело в рассказ о слепых его воображение. Но мы имеем известное право полагать, что и не было в действительности того, чего нет в книжке, и что, стало быть, все прибавленное подсказано творческой мыслью. Прибавлено многое — из двух страничек вышло шесть, — но прибавление так органично, так слито с подлинным, что здесь как раз хочется сказать: «Было это или не было, не все ли равно? — так оно могло и так должно было быть». Несущественное отброшено; так, в повести нет такого разговора со слепым и комментария: «А вы из какого звания?» — «Из мужицкого». — Это трудно было сказать, судя по тонкой нервности лица». Такой вопрос мог, в связи с своими интересами, задать звонарю Короленко; в нем нет никакой нужды в тексте повести — и он вычеркнут.

Но все, запечатленное в книжке, развито, усилено. Характеристика слепорожденного ярче, его озлобление острее, сцена с пробравшимися на колокольню детьми, особенно отражающая его тяжелое раздражение, продолжена и подчеркнута. Развита и характеристика другого противопоставленного первому слепого, который не озлоблен, потому что родился зрячий и мог на своем веку хоть повидать окружающий мир. В записной книжке говорится только: «Я заметил, что Роман улыбался, слушая крики детей, которые так раздражали его собрата. Может быть оттого, что Роман когда-то видел, и теперь к этому смеху и голосам, звенящим как стеклышки по мрачным переходам колокольни, — в его воображении присоединялись образы оживленных детских лиц и смеющиеся детские глаза». Этого комментария нет в повести — он был бы здесь не очень уместен, — но зато «чрезвычайное добродушие» Романа охарактеризовано полнее и иллюстрировано диалогом:

«— Зачем бисенят впустив? — спросил Егорий по-малорусски все еще со злостью в голосе.

— Нехай соби, — благодушно ответил Роман. — Пташки божии. Ось як ты их налякав».

Таким образом, прибавлена еще одна характеризующая деталь, не имевшая места в действительности: Короленко видел слепых монахов в Тамбовской губернии — и там они были великороссы; действие «Слепого музыканта» происходит на Украине — и звонари изображены украинцами.

Так обогащенным новою выразительностью перенесен этот эпизод из действительности в состав художественного рассказа.

Это не единичный случай. В записной книжке, относящейся к пребыванию в Румынии, рассказано о препирательстве между извозчиком Лукой и социалистом Стерианом. Вспыльчивый Лука, ни с того, ни с сего вспомнив об антирелигиозности безбожника-социалиста, пристает к нему: — «На жидовке женился. За жидовский марафет свою веру продал». — «Не продал». — «Как не продал? Когда, даст бог, дети будуть, ты их как окрестишь. В жидовскую веру?» — «Нет». — «А как?» — «Не буду». — «Брось говорить глупости. Как же не будешь?» — «Никак не буду». — «Брось! Это не можна етого». И к этому краткому диалогу наблюдатель прибавляет только: «Бездна отделяет деревенское миросозерцание от городского».

Этот эпизод мы находим в очерках «Наши на Дунае» в виде целой главы «Столкновение». Он не только разросся, но он усилен и обогащен. Высшей точкой этого усиления является то, что Лука не только гораздо продолжительнее препирается со своим инакомыслящим приятелем Стерианом (здесь — Катрианом), но, разъярившись, выгоняет его из своей «каруцы» (экипажа). И Катриан не остается в долгу и в свою очередь гневно обличает извозчика в распутстве, в низости. Назревает ужасающая схватка, но все так же неожиданно, как вспыхнуло, заканчивается внезапным внутренним ослаблением Луки. Это человек беспокойной мысли, хотя темный и невежествен-

ный. Мы видели — ничего этого нет в книжке: нет жены Луки, нет столкновения с гречанкой, ее оскорбившей и в конце концов его погубившей, — есть коротенькая запись, из которой вырос целый мир человеческих разногласий, забот, страданий. И опять: мы не до конца знаем, чего здесь Короленко был свидетелем и чем обогатила случайную сценку его художественная мысль. Одно знаем мы: в рассказе все путешествие происходит после дождя, оставившего холодную сырость, а в записной книжке сцена проходит под дождем. Обойдемся без предположений о том, зачем это понадобилось художнику, и останемся при убеждении, что у него и для этой мелочи были свои соображения, так как в художественном произведении нет ничего случайного. Оно все из мелочей, из незаметных для нашего равнодушного, нелюбопытного взгляда отрывочков действительности, которые организующий взгляд поэта-исследователя включает в систему и тем делает значительными и знаменательными.

VII

Записная книжка и дает нам возможность видеть, из каких ничтожных впечатлений складывается в мысли художника его создание. В книжку 1881 года заносит Короленко как бы начало рассказа — общее рассуждение о богатстве сюжетов, рассыпаемых пред наблюдателем жизнью сибирского тракта. Молодой писатель не сомневается насчет свежести самых сюжетов: они «заплесневели и попорчены временем» и лишь «способны к полной реставрации». Что же их реставрирует, что пробуждает к новой жизни? Конечно, новая вариация, новая окраска, бытовая и психологическая. «Приезжайте на любую почтовую станцию и обратитесь к первой встречной особе, выделяющейся российским обличьем... Это наверное «поселенец». Вступите с ним в беседу. — Давно ли здесь, откуда, пожалуй (в деликатной форме), за что? Вот перед вами маленькая фигурка заплесневелого старичка...» На этом обрывается связная запись — и книжка не сооб-

щает нам, что рассказал ссыльному студенту «заплесневелый старичок» и каким драматическим сюжетом обогатил начинающего автора. Но из двух оборванных реплик, следующих за началом, одна останавливает наше внимание: «Влюблен был, так и говорит влюблен». Эта фраза, в связи с только что упомянутым старичком, ведет к одному из образов «Ат-Давана». Ее там нет, однако ее герой именно заплесневелый старичок, не только рассказывающий автору историю своей трагической влюбленности, но в воспоминании об этой далекой любви вновь обретающий крупицы забытого человеческого достоинства. «Влюблен» был — вот именно влюблен, а не влюблён должен был говорить этот бывший коллежский регистратор Кругликов, как говорит он «моя биография жизни» или «был у начальства на виду по причине родителя». Он и создается пред нами. Мы не знаем, что в чертах фигуры Кругликова дано наблюдением и что — воображением. Автор в письме к Кривенко (1892) говорит, что писарь «вымышлен лишь отчасти». То или иное его словечко несомненно взято у кого-то другого, построено по аналогии, придумано, но все равно: записная книжка ставит нас у истока замысла, у момента первичного зарождения образа. Других героев рассказа, исступленного насильника офицера Арабина, попутчика писателя — купца, он считал созданием своего вымысла. «Я лично, — писал он, — с г. Алабиным не встречался, и вся сцена на Ат-Даване, так же как и личности, мой спутник, отчасти писарь, вымышлены». Однако вымышленный Арабин есть действительный Алабин. Короленко с ним лично не встречался, но слишком достаточно знал о нем по рассказам очевидцев. И в не напечатанной газетами корреспонденции, на пять лет предшествующей «Ат-Давану», и в письме по поводу угроз Алабина, вызванных обличительной повестью Короленко, он передает о реальных рассказах очевидцев, легших в основу образа неистового курьера. «Бледный, возбужденный, с сверкающими глазами, ураганом врывался он (Алабин) на каждую станцию. Ему предшествовали крики избивае-

мых ямщиков, испуганные вопли бегущих, всплески пощечин и яростный вопль самого грозного начальника. Все — озабочены, ошеломлены, в панике, а между тем нужно держать ухо востро: малейшая оплошность — и ярость грозного курьера переходит всякие пределы...» Это действительность — и она сохранена в рассказе. Действительность и Кругликов; но автору этого мало: ему нужен не фотографический снимок с действительности, — «идея есть душа художественного произведения», — и, противопоставив Кругликова Алабину, писатель дал нам волнующее изображение вспышки человеческого достоинства, которую увидел, вероятно, не на сибирской почтовой станции.

Приходилось ему быть также свидетелем иных жизненных случаев и комбинаций, более отчетливо носящих в себе ядро готового новеллистического сюжета. На действительном происшествии, очевидцем которого был автор, основана фабула «Черкеса». Эпизод этот записан в книжку значительно позже самого знакомства с героем рассказа. Встреча с везущим краденое золото черкесом, лишь благодаря своему самообладанию спасшим себя и свою добычу от собиравшихся его захватить солдат, произошла по пути писателя в Якутскую область, а запись в книжке сделана лишь через три года, уже на обратном пути из Сибири, по поводу знакомства с товарищем черкеса, спиртоносом Бурмакиным (выступающим в рассказе «Феодалы»). За эти годы, проведенные в якутской слободе Амге, возможно, встреча вспоминалась и даже изображалась в устном рассказе; возможно, здесь она оформлялась, осмысливалась, осложнялась теми или иными оттенками. Их немного в записи, занимающей всего две странички, тогда как законченный рассказ, написанный через пять (в окончательной редакции через семь) лет, занимает печатный лист. Здесь нет ни богатства реалистических и юмористических черточек, украшающих рассказ, ни характеристики конвойных — жадного жандарма и вялого солдата; все рассказано полно, но конспективно, и дает в целом бытовую кар-

тинку, еле отмеченную психологическими чертами. Ибо, самое главное, в записной книжке едва затронуто то, что составляет основное содержание рассказа: его волевое напряжение, захватывающее читателя с той колоссальной силой, с какою захвачены им противопоставленные друг другу стяжатели. Фабула сохранена целиком; коротко и деловито изложено в записной книжке все, составляющее суть позднейшего рассказа: разговор жандарма с смотрителем, предваряющим об ожидаемом проезде черкеса с золотом, появление черкеса, его зоркая настороженность, его смелые и ловкие ухватки, и рассуждения о сорвавшейся, по их слабости, добыче. Жестоко издевается рассказчик над жалкими корыстолюбцами, жадными и бессильными. Достаточно вспомнить о сентиментальной проникновенности, с которой один из них раскрывает мечту своей жизни, состоящую в том, что в случае удачи он «открыл бы кабак в своем месте. Чего лучше? Спокой!.. А народ у нас к вину наваженный...» Как сделает через несколько лет Горький в «Челкаше», Короленко, выдвинув пред нами два разные разряда стяжателей, решительно ставит нас на сторону более смелого, более решительного, пока еще без сравнительной оценки их воровской морали. В великолепной, просто даже физически восхищающей, фигуре черкеса весь смысл рассказа о нем; наоборот, воспоминание о нем в записной книжке — только бытовая картинка, из которой пока неизвестно, что выйдет. Рассказ о встрече с черкесом завершается в записной книжке концовкой, превосходно отвечающей его общему характеру, более бытовому, чем психологическому: «Теперь этот самый черкес сидит где-то в остроге, но, вероятно, ненадолго». Этот эпилог отвергнут в художественной обработке рассказа. Он заменен широкой картиной всеобъемлющего призрачного предутреннего снегопада. Продолжается долгий тяжелый путь в возке вдоль приленского хребта. «А снег все время валил, покрывая землю, и на сердце все больше налегала тоска. Ряды невеселых мыслей развертывались в воображении, как ряды

этих сумрачных сопок». На первый взгляд юмористический эпилог первоначальной записи, продолжающий характеристику черкеса-победителя, кажется более подходящим. Но он не подходит к развернутому полотну законченной редакции; хороша новая лирическая концовка или нет, — она продолжает идейную настроенность рассказа, а не пресекает ее бойким рывком эпилога.

VIII

К идейной настроенности и ведет всякая обработка, которой подвергается у Короленко привлекшее его мысль жизненное впечатление. Возьмем рассказ «Мороз», вышедший из двух сценок, вкратце описанных в записной книжке. Как известно, это рассказ о том, как в людях «замерзла совесть»: как под влиянием мертвящей мощи сибирского холода все существо человека окоченело до того, что он целиком потерял способность откликаться на происходящую на его глазах гибель другого человека. Потом, в тепле, когда отогрелось тело, оттаяла застывшая кровь, пробудилась и «замерзшая совесть» — и идеалист, носитель высокой морали, бросившись помогать погибающему, обрек и себя на гибель — за минуту роковой слабости. Записи книжки показывают нам, как увидел и как воспринял Короленко два основные эпизода, которыми навеян его рассказ. 22 октября 1884 года, по пути из якутской ссылки, между станциями Салдыкоем и Батамаем, Короленко с попутчиком натыкаются на спящего в лесу пешехода. Поехав на дымок, курящийся у дороги, они видят прикорнувшего у огня человека, очевидно изнеможенного тяжелой дорогой. Ямщик объясняет, что человек этот, вероятно идущий с приисков, был третьего дня у них в деревне, но за два дня ушел всего одиннадцать верст; итти ему предстоит в какую-то Манзурскую волость не меньше тысячи верст, а он, слабый и увечный, уходит всего верст шесть в день. «Мы давно уже уехали, — прибавляет запись Короленко, — но перед моими глазами все еще мерещилась между стволами синяя струй-

ка дыма и эта темная фигура обреченного на скорую гибель человека... Так гибнет на морозе отсталая, обессилевшая птица, тоскливо следящая взором за свободным полетом своих вольных товарищей, между тем как кругом видны предвестники грозной зимы». В этой элегической приписке есть грусть, есть лирика, но нет еще ни намека на сюжет рассказа. Однако этим настроением навеян рассказ, вырастающий из мимолетной сценки. Вырастает он не скоро, — шестнадцать лет вынашивалась тема «Мороза», пока в конце 1900 года не нашла окончательную форму. Здесь все то же — и все уже по-иному. Беглое впечатление, которое за отсутствием развязки нельзя даже назвать происшествием, получило углубленное моральное освещение, сделалось основой целого замкнутого мирка событий и размышлений. Рассказ получает нового героя, новую устремленность, нового рассказчика — и даже новую температуру. Ибо страничка записной книжки об отставшем пешеходе заканчивается комментарием ямщика: «Еще ладно ему: тепло ноне стоит долго. Хватит мороз — живо замерзнет, право», А в рассказе Короленко все охвачено непобедимой стужей, все — от ртути в термометре до души человеческой — окаменело под ее мощью, и эта атмосфера окаменения есть не только атмосфера рассказа, но его средоточие. Героем, несущим мысль рассказа, становится лицо, не бывшее спутником рассказчика; лишь в дальнейшем пути в качестве такого спутника присоединился к Короленко тоже возвращавшийся из ссылки львовский профессор и русский революционер Богданович, чудак и романтик, некоторые черты которого легли в основание образа идеалиста Игнатовича, героя «Мороза». О нем, о чуткой совести его, сперва застывшей, но затем бурно пробудившейся от морозного окаменения, рассказывает уже не автор: его рассказ распадается на две части, и историю Игнатовича мы узнаем от совершенно вымышленного рассказчика, приискового разведчика Сокольского. В характеристике сложного, но всегда обостренно-совестливого Игнатовича, данной Сокольским, особое место

занимает, как «выдающаяся черта этого странного человека», его любовь к животным, и любовь эта иллюстрируется в рассказе эпизодом с отставшей от перелетных товарищей парой диких уток. Бессильно мечутся они по полынье среди бурного ледохода. Игнатович так же возмущается равнодушием своих спутников к погибающим птицам, так же пытается спасти их, как попытается несколько позже спасти гибнущего от того же мороза человека — и все это так же бесплодно. Но эти утки являются в рассказе не только пассивным объектом беспомощной доброты Игнатовича: они служат ему вдохновляющим и наставительным примером. «Одна из этих птиц поднялась было на воздух, но другая, потерявшая силы, а может быть, когда-нибудь подстреленная, летать не могла, она только взмахнула крыльями и осталась. Тогда и другая, сделав круг над холодными льдами реки, вернулась к своей подруге». Это проявление великодушия производит громадное впечатление на чуткого Игнатовича. «Он стоял на льду, следя за полетом птицы... и когда она самоотверженно шлепнулась в нескольких шагах на воду с очевидным намерением разделить общую опасность, — у него на глазах появились слезы», и он заставил спутников остановиться на морозе и постараться спасти уток. Ничего хорошего из этой попытки не вышло, но урок остался. Этот урок, даваемый дикими животными людям, — не единственный в рассказе. В части, предшествующей истории об Игнатовиче и замерзшей совести, сам Короленко рассказывает о своеобразной сцене, свидетелем которой ему довелось быть в том же путешествии: по движущимся льдам замерзающей, но еще не ставшей Лены переправляется через реку пара горных коз, — быть может, самка с детенышем. Увлекательным напряжением исполнено изображение умных, смелых, изящных животных, умело и рассчитанно, с смертельной опасностью, совершающих головоломные прыжки в страшном водовороте с льдины на льдину. Нет исхода: конечным пунктом должен быть мысок, на котором стоят люди и их большая хищная собака. Но козуля

верит в какую-то высшую правду. «Умное животное не задумалось ни на минуту. Я заметил взгляд ее круглых глаз, глядевших с каким-то странным доверием, и затем она понеслась сама и направила младшую прямо к нам. Станочная собака... сконфуженно посторонилась, когда старшая коза, загораживая младшую, пробежала мимо нее, почти коснувшись боком ее мохнатой шерсти. Собака только поджала хвост и задумчиво отбежала в сторону, как будто озадаченная собственным великодушием и опасаясь, что мы истолкуем его в невыгодном для нее смысле. Но мы одобряли ее сдержанность и только радостно смотрели кверху, где два стройных тела мелькали на лету, распластываясь над верхушками скал...»

В записной книжке мы находим точку опоры для этой сцены: за два дня до встречи с одиноким путником, уснувшим в лесу у костра, Короленко видел переправу дикой козы по льдам через Лену. Он записал эту изящную сценку, но, сличив два текста, мы теперь знаем: писатель видел лишь одну козулю и с большим участием, вместе со спутниками, следил за нею, пока она не исчезла чуть заметной точкой на повороте реки. Но он не видел никакой матери с детенышем, не видел их трогательного доверия к людям, не видел великодушия хищной собаки. Наоборот, не одни козули бежали через Лену; прежде чем увидеть козуль, Короленко видел, как тут же бежала между льдинами и камнями чернобурая лисица, гонимая станочной собакой, которая лишь уныло и недоуменно смотрит вслед лисице, когда хитрый и рассудительный зверь улизнул от нее. Нет, здесь в первичных записях мы не находим ни поучительного самоотвержения дикой утки, ни трогательного доверия диких коз, ни благородного великодушия собаки, ни величественного подвига совестливого человека; все это дано не первым впечатлением, не конкретностью подлинной действительности, а теми шестнадцатью годами, в течение которых зрела в Короленко моральная тенденция его рассказа. Все фактически бедно и жизненно просто в записи, все идейно приподнято и

стремительно-возвышенно в позднейшем рассказе — подобно козуле, которая в записной книжке прозаично «исчезает чуть заметной точкой на повороте реки», а в рассказе — «мелькает на лету, распластываясь стройным телом над верхушками скал...» Приподняты над действительностью звери, приподняты люди. Неоднократно Игнатович в «Морозе» — и его прототип Богданович в «Истории моего современника»[1] — характеризуется как романтик, с обостренным до крайности нравственным чувством. Ясно, что не только с Богдановича мог писать Короленко своего моралиста, но и с себя: образ полунормального Богдановича отразился лишь в фанатизме и эксцессах «больной совести», тогда как в подъеме высокого нравственного воодушевления сам автор мог быть прообразом своего героя. Но Короленко не мог пасть жертвой нелепого самоотвержения, — он не имел нужды «казнить в себе подлую человеческую природу, в которой совесть может замерзнуть при понижении температуры тела на два градуса». Не мог «романтик в нем казнить материалиста», потому что в его жизненном, как и в его художественном творчестве романтика фанатического нравственного устремления всегда сочеталась с материализмом здравого смысла и житейской практики.

IX

В записных книжках 1886 года среди прочих сценок и диалогов, занесенных сюда автором на волжском пароходе, занял одну страничку отрывок спора палубных пассажиров о надлежащем перстосложении при крещении,—спора, отражающего знаменитое схоластическое препирательство между православными церковниками и фанатиками «старой веры». Начавший уже задумываться над вопросами религии буфет-

[1] Здесь о Богдановиче рассказано, что он, потрясенный участью, которая грозила лошади, купленной якутами для общественного пира, не только выкупил эту лошадь, но поселил ее у себя в юрте, платил за ее содержание и даже водил ее гулять, находя, что для нее полезен моцион.

ный служитель, полагая, что дело в духе, а не в форме, заявляет, что даже «кулаком можно крестное знамение сотворить»; а в ответ на дружное возмущение окружающих, православных и раскольников, неожиданно находит поддержку в фабричном рабочем, ошарашивающем палубную публику парадоксальной постановкой проблемы: как же надлежит перекреститься парню, которому у них на заводе машина отхватила все пять пальцев правой руки? Рядом записан коротенький диалог о попах—пьяницах и невеждах, который мог бы вести к мысли, что вместо споров о двух- и трехперстном сложении можно бы и совсем перестать креститься. Но не эта мысль была развернута, когда маленькая сценка сделалась одним из важнейших эпизодов рассказа «На Волге». Рассказ этот, первоначально появившийся в сборнике памяти Гаршина (1889), вошел в неприкосновенном виде в прижизненное собрание сочинений Короленко. Однако материалы, собранные в посмертном издании («Очерки и рассказы, не законченные и не изданные при жизни автора»), показывают, что рассказ должен был в свою очередь явиться лишь эпизодом большой повести «Груня», над которой работал Короленко с 1886 года. Быть может, обширный сюжет «Груни» уже слагался в мысли писателя, когда счастливый случай сделал его свидетелем религиозного спора на волжском пароходе. Еще до ссылки в «Записках пропагандиста» Рогачева привлекла внимание Короленко одна встреча этого революционера. Где-то в приволжской деревне, в доме богатого старообрядца, находившегося в то время в отсутствии, Рогачев застал молодую девушку скитского типа, очевидно очень набожную, которая учила маленького братишку чтению. «Прислушавшись к чтению, — пересказывает Короленко в «Истории моего современника», — неизвестный странник решил вмешаться в него. Учить надо не тому и не так... И он начал читать популярную тогда нелегальную «Сказку о четырех братьях»... Мальчик жадно слушает неведомого странника... Девушка сначала тоже заслушивается, но затем спохватывается, что в

виде этого красавца явился соблазн и грех. В это время со двора слышен стук телеги. Вернулся отец. Девушка страстно просит странника не заводить таких речей при отце». В связи с этим воспоминанием вырос замысел повести о революционере-романтике и прозревшей под его влиянием раскольничьей девушке. Однако перед окончанием этой значительно продвинувшейся повести автор оставил ее и уж не возвращался к ней, а выделенный из нее эпизод «На Волге» напечатал — при всей своей склонности к скромно-снижающим подзаголовкам — не как очерк, отрывок или главу, а как отдельное произведение. Иначе и мы, разумеется, не можем смотреть на этот рассказ. Он является нам единым по сюжету, единым по открытой тенденции; его совершенная ясность не требует никаких дополнений. На волжском пароходе едет с дочерью старый купец-раскольник. «Непокорной молельщицей» называет автор эту дочь, и немногих намеков достаточно читателю, чтобы ощутить какую-то трагическую сложность отношений и внутреннюю борьбу между отцом и дочерью. В их присутствии происходит вышеизложенный религиозный диспут, и отец, как опытный начетчик-вероучитель, с успехом выступает в роли уяснителя и проповедника пред палубными пассажирами. В пресловутой контроверзе о перстосложении он, враг «щепотников», является настоящим победителем для всех, кроме его любимой дочери: на нее решающе действует совсем другой религиозный эпизод. На закате солнца устраивают свое моление едущие тут же на палубе татары, и так как всем окружающим известно, что один из них недавно потерял сына, то истовая и безмолвная молитва «бусурман» производит глубокое впечатление на прочих пассажиров. Захвачена и Груня; и на ее громкий, обращенный к отцу вопрос — «дойдет ли» и эта молитва иноверца, ряд мужицких голосов дружно отвечает утвердительно. Мысль ясна, мы поняли все: над пустым сектантским препирательством о внешней обрядности должна для просыпающегося сознания ищущей девушки победоносно встать на-

родная терпимость. И это только ступень; рассказ позволяет нам предполагать, что Груня только у начала своего пути, что здесь она не остановится и, прозревая, пойдет искать жизненную правду не во всенародной вере в единого для христиан и мусульман бога, а совсем в другом месте. Эту догадку читателя подтверждают неиспользованные отрывки повести, где судьба Груни, обреченной фанатиком-отцом на монашество, но не покорившейся ему, раскрывается почти целиком. Все ясно, слишком ясно в этой отброшенной повести. Здесь нет драгоценной в искусстве сдержанности; здесь уточнено и подчеркнуто то, что остается неопределенно-внушающим и именно поэтому сильным намеком в рассказе. Быть может, поэтому Короленко пожертвовал большой повестью для маленького рассказа. Картинка спора на палубе, занесенная в записную книжку, и позволяет видеть, из какого зародыша — рядом с обширным замыслом — вырос рассказ. Сюжет идейной повести о судьбе и прозрении Груни только строился в мысли автора, и сценка на пароходе была записана лишь как один из эпизодов. Но в деятельной мысли художника эпизод, — рядом с эпизодом татарского моления, также, конечно, списанного с натуры, — обогатился содержанием, получил особое значение и дал жизнь самостоятельному рассказу. При этом, конечно, не в сыром виде перешел он и в рассказ. Не говоря о том, что здесь он изложен гораздо шире и сильнее, вся сцена, отодвинутая в повествовательное прошлое, рассказана в прошедшем времени, тогда как запись, нося все следы свежего впечатления, ведет весь рассказ в настоящем («разговор продолжается», «гул голосов раздается» и т. п.). Кроме того, и это важнее, самые роли действующих лиц распределены несколько иначе. В действительности реплику лакею: «это ты свыше бога говоришь», подает «какой-то сурьезный мужик»; в рассказе же она вложена в уста мелкому мещанину, который вдобавок обзывает лакея дураком. Это вносит в диалог оттенок социального расслоения, отсутствующий в записи. И лакей совсем не

дурак: он ведет свою аргументационную линию. В то время как в записи довод о беспалом парне, крестящемся култышкой, приведен «фабричной чуйкой», в рассказе его выдвигает тот же лакей, оказывающийся в прошлом фабричным: «Тепериче был у нас на фабрике, на суконной, где я жил, парень один. Так ему, этому парню, машиной всю пятерню так и отхватило». И здесь, таким образом, чувствуется какая-то социальная нотка. Так по-новому осмысливается и перетасовывается действительность в освещающем ее по-своему раздумьи художника; и любопытно кстати отметить здесь один очень далекий и все же близкий эпизод из «Братьев Карамазовых» — сцену за завтраком, где Смердяков защищает позицию противорелигиозной рассудочности. Там и здесь лакей, там и здесь он стоит на точке зрения здравого смысла. Но этот рационализм окарикатурен и опоганен в гнусно-самодовольных доводах Смердякова, и, наоборот, он победоносен и общеобязателен в иллюстрации парня из фабричных. Да, конечно, Короленко, как и всякий художник, «отправлялся от факта действительности», — но тут нам раскрывается, к какой новой действительности приходил он на дальнейших этапах этого пути.

X

Это путь созидания идейного, путь морально-социальной преднамеренности, и таким он является также на двух, можно сказать, крайних точках художественной работы: как в стадии подготовительного знакомства с жизненным материалом, так и в переработке уже вполне готового произведения. Обе эти стадии в творчестве Короленко запечатлены бесспорной публицистической устремленностью, и о ней лучше всего свидетельствуют лежащие перед нами записные книжки. Слишком достаточно говорят и готовые произведения о внимании автора к обездоленным, к вопросу социального неравенства. Настойчиво выступает общественно-публицистическая мысль и в образах героев из интеллигенции, в рассказах с перевесом ин-

дивидуальной психологии, даже в таком «психологическом этюде», как «Слепой музыкант». Художник пишет о том, что ему знакомо или должно быть знакомым, что уяснилось или подлежит уяснению — через наблюдение и творчество. И вот мы видим: в какой среде ищет вопросов и ответов Короленко? кого наблюдает, в какой мир погружается здесь для познания жизни? к чьим словам и мыслям жадно прислушивается и заносит их в свои записные книжки? На всем протяжении их крайне редки в них записи о встречах с интеллигенцией, с людьми своего круга. То же и в дневниках: Короленко записывает в них скорее курьезы из быта и нравов близкого ему, своего мира. Для собирания материалов, для углубления в жизнь он не ездит по городам, не обосновывается в столицах: с котомкой, в непромокаемой накидке, бродит он по путям народным, уходит в гущу богомольцев, ночует в курной избе, сидит в заграничном трактирчике, и спрашивает, и слушает, и записывает — и это, конечно, не только потому, что жизнь и мир интеллигенции достаточно хорошо ему известны, но потому, что внимание его обращено к низам чудовищной социальной пирамиды; там, в низах и для низов — его основное дело как человека, как писателя, как художника; там — быть может, временная, но несомненная цель, а прочее — средство. И нечто как бы символическое есть в том, что записные книжки, начинаясь разговорами с сибирскими мужиками, кончаются уральской народной песней:

И засеяна та пашня яровая
Удалых наших казаков головами.

А между этими двумя записями — сплошные отклики крестьянской и рабочей («Табельщик») жизни, от знания и понимания которой хочет исходить писатель в своих произведениях.

И вот, такое произведение готово, прошло через печать, знакомо читателям, оценено критикой, так или иначе удовлетворило кого-то. Но оно не удовлетворяет неугомонную мысль автора; и нет писателя, который

так часто и так настойчиво перерабатывал бы свои законченные произведения, как Короленко. Он делает это не только потому, что многое он вынашивал подолгу, что был в известном смысле нерешителен и медлителен в творчестве, но и потому, что он не отмахивался раз навсегда, как делали другие, от готового произведения; мысль его, идя вперед, искала нового выражения в уже отысканных формах, искала их преображения и модификации. И он во множестве вносил в свои произведения поправки и варианты. Не раз эти варианты и дополнения освещались в критической литературе. Об известной главе «Слепого музыканта», последующее введение которой оправдывает автор в своем предисловии, писал своевременно Ф. Д. Батюшков. Переделку очерка «На станке» в рассказ «Ат-Даван» осветил А. Б. Дерман. Переработка рассказа «Федор Бесприютный» в рассказ «По пути» изучена П. И. Лебедевым-Полянским. Позволю себе отметить, что и я — тридцать пять лет тому назад — старался разъяснить общественно-политический смысл нового большого эпизода, введенного в «Сказание о Флоре Римлянине» через несколько лет после напечатания рассказа. Назначение этих вариантов не может считаться одинаковым: если дополнение к «Сказанию о Флоре», подсказанное новыми движениями в интеллигенции, есть обострение протеста против «непротивленства», усиление призыва к прямой, то есть революционной борьбе, то изменения в тексте «Федора Бесприютного», сделанные не без давления цензуры, должны были, как показал названный исследователь, ослабить политическую тенденцию рассказа. В результате «критик-марксист, всегда переводящий художественное произведение на социологический язык, не задумываясь отдаст предпочтение «Федору Бесприютному». Тон этого рассказа беспокойно-революционный. Критик-эстет, критик-формалист, возможно, предпочтет «По пути». В этом рассказе нет нарочитой, хотя бы и талантливо сделанной подчеркнутости. Отдельные же места, как в смысле построения, так и отделки языка, несомненно совершеннее».

Это противоположение правильно в плане статическом. Возможен, конечно, момент, когда марксист, уже понявший художественные преимущества новой версии рассказа, предпочтет, в целях своей работы, его первоначальную редакцию. Но в конечном счете он знает, в какой степени социальная значимость произведения связана с его художественными достоинствами, и в известных условиях работы и развития он, не будучи ни эстетом, ни формалистом, не пожалеет о том, что Короленко сделал свой рассказ совершеннее.

И, разумеется, осознание этого пути усовершенствования, его приемов и подробностей, в высшей степени воспитательно для читателя. История художественного произведения способна не только дать лучший к нему комментарий, но и чрезвычайно повысить его непосредственное действие, его культурное значение.

XI

Это непосредственное действие свойственно и отдельным моментам такой истории, и это сообщает новую ценность нашему ознакомлению с подготовительными стадиями художественной работы. Пушкин заметил, что план Дантова «Ада» уже сам по себе есть произведение высокого искусства. Это замечание вполне оправдывается и в применении к другим подчиненным стадиям поэтического создавания: и они также имеют самостоятельную эстетическую ценность и также способны быть источником особого художественного наслаждения, не только увлекательного, но и воспитательного. Убедительный пример пред нами: не только к исследователям Короленко обращена эта книга, не только пояснением к его произведениям она должна быть; вместе с письмами и дневниками она становится рядом с законченными созданиями, подобно им являясь обязательной для читателя, умеющего ценить творчество Короленко в его целокупности.

Знакомство с «писательской кухней», с процессом появления художественного создания есть всегдашняя

потребность читателя. Эта потребность иногда выражается во всем знакомом живом любопытстве насчет личной жизни писателя. То, что любопытство это легко принимает формы поверхностные, эксцессивные и пошлые, то, что, не став исторически углубленным, оно часто становится обывательски-сплетническим, не устраняет его законности. Всякий писатель пишет с себя, пишет с окружающего мира, и сопоставление созданных им образов с их реальными первообразами часто есть законный вид необходимого сотворчества читателя, законное продолжение его работы над усвоением, пониманием, истолкованием художественного произведения. Мы ничего не знаем о Гомере и даже о Шекспире; но как бы глубоко мы ни воспринимали «Фауста» и «Войну и мир», это восприятие становится лишь глубже, богаче и содержательнее оттого, что мы знаем, о чем мыслил реальный Гёте, изображая себя в Фаусте и Мерка в Мефистофеле, и какова была в жизни Таня Берс, отраженная в Наташе Ростовой. И Макар, столь близкий нам с юности, с его печальной земной судьбой и победоносной вдохновенностью в загробном мире, конечно, делается нам еще забавномилее, когда мы узнаем из воспоминаний его создателя, что он списан с амгинца Захара Цыкунова, в юрте которого жил Короленко, и что много лет спустя, узнав о своей прославленности, тот же Захар приходил к новым ссыльным — без них цари не оставляли Амгу — и заявлял: «Дай водки, я — «Сон Макара». Ведь это прелестная черточка самого Макара, это продолжение рассказа о нем. В этом смысле и записи в книжках продолжают беллетристику Короленко, то разъясняют, то дополняют, а главное, дают громадную массу художественно подмеченных штришков и сценок, как бы выхваченных из, увы, ненаписанных рассказов. Главное содержание записей — разговоры, почти сплошь простонародные. Без характеристик собеседников, без начала, без конца, вырванные из живой жизни, сверкают пред нами эти сменяющиеся, как в калейдоскопе, реплики и диалоги, дышащие всей убедительностью действительности; яркие, опре-

делительные, они ставят пред нами неисчерпаемый ряд картин и образов, смыкаясь в целый мир. Они отрывочны, они показались бы старому читателю откуда-то бессвязно выхваченными кусочками, сырьем, требующим восполнения, объединения, обработки. Но мы не чувствуем потребности в такой обработке, как не ощущаем особой необходимости в восполнении античного торса. Мы достаточно художественно развиты, чтобы самостоятельно произвести эту работу смыкания переданного художником клочка действительности с должным целым. Если произведение искусства есть «уголок жизни сквозь призму темперамента», то кто укажет должные размеры и границы этого «уголка», воспроизведенного художником? Пусть это отрывок, пусть это кусочек, пусть это сырье, — мы воспринимаем его как цельную художественную миниатюру, как мир, по-своему замкнутый и законченный.

На отдельной страничке записаны совершенно отрывочные фразы, слышанные по пути из Якутской области:

Остался, собственно, по случаю писаря.

Я вижу, ямщику верь только до порога.

Я бросил су́дьбу свою в море.

Тонки, да долги версты у нас.

Другой сделал бы вам неприятие руки.

Хоть худенький-худой (бог), ну все же дела̀м-те правит?

Обрывки, почти несвязные, еле понятные, но в то же время такие ясные, такие символические, такие картинные. И если бы последний вопрос-афоризм, вложенный затем в уста станочника Микеши, и не стал впоследствии знаменитым в обиходе внимательных читателей Короленко, то что можно прибавить к каждому из микрокосмов, воплощаемых каждой из этих реплик?

А за репликами — люди. Так же мимолетно, но совсем не абстрактно, они проносятся пред нами по страничкам записных книжек оживленной вереницей, и бесконечна галлерея этих человеческих образов, представленная здесь наблюдателем. Не случайно Коро-

ленко, очень недурно рисовавший, называл иногда свои книжки альбомами: именно карманные альбомчики живописца напоминают эти странички, на которых день за днем, встреча за встречей развертывается в дорожных зарисовках мир типов, личностей, судеб. Они не дозрели до законченных портретов, они эскизны и безымянны, но они увлекательны, они убедительны, эти станочники и богомольцы, плотовщики на Керженце и рыбаки на Лене, гулящие солдатки и сладенькие монахини, голодающие мужики и сытенькие пассажиры, и поселенец, брошенный женой, и пьяный поп, и озлобленный кондуктор, и спаиваемая в деревне девочка, и «последний Мымрецов», и сибирский писарь с его Дульцинеей. Пестрой чередой проходят они пред нами, иногда еле занимая наше внимание, иногда успевая глубоко взволновать своей судьбой, часто вызывая улыбку забавной ситуацией и еще чаще — забавным словом, сочным и народным, и всегда затягивая в размышление о том, что на свете делается, что глубоко захватывает самого художника-наблюдателя. Они эскизны, но они и завершены, эти картинки жизни. И в самом деле, каких восполнений, каких комментариев требует такой, например, диалог на волжском пароходе:

«Капитан слушал эти излияния мужика.

— Дурак ты... Теперь вот терпишь. А старость придет, что станешь делать?

Это вмешательство, повидимому, нисколько не удивило мужика. Он поднял свою лохматую голову, выглянул из телеги, присмотрелся, кто говорит, и в голосе его, когда он ответил, звучало какое-то радостное лукавство.

— Старость, говоришь. Да мне бы только до старости-то дотянуть.

— Вот как? — удивился капитан.

— То-то вот. Тогда уж я тягло-то с шеи. А! А ты как полагал? Тогда уж мне по́ миру можно, по окнам. Неужто, думаешь, не подадут? Пода-ду-ут, брат. Потому старик. Теперь вот, главная сила, чижало. А на старость я, брат, надеюсь».

Или еще эпизод из того многого, что слышит автор, толкаясь в китежской толпе, и что он сам называет «схоластической трескотней»:

«— Таисия мученица — ведь она в блудилище была... А между прочим венчалась венцом.

— Это случай исключительный или иначе называемый обдержный. Которые обдержные случаи для руководства не служат.

— Не служат?

— Не служат.

— Спаси бо! Вот это так!

— А так. Ты рассуди, Михаил Нестерыч. Илья пророк на него взят?

— А как взят?

— Да как? «Восхищен бысть яко на небо».

— А-а! Як-ко! Понимай, — к а к б ы на небо. Неужто во плоти на небо взят?

— Конечно, во плоти. И теперь там.

Ропот.

— Не-ет. Ошибся, миссионер. Потому тебе там и нужники есть, на небе-те. Плоть — ведь она нужника требует...»

И все это смешное, иногда обличительное — в дымке лирического ощущения и взволнованной мысли, часто вперемежку с пейзажем, прочувствованным и пронизанным искрой раздумья.

Земля освобождается от снежного покрова. «Сначала по ней протянулись темные полоски, и бархат взрытой земли выделился на верхушках холмов. Потом весна стала делать свое, человек — свое. Она расписывает землю зеленью, человек взрывает ее, покрывая темными полосами». Художник в восторге от этой гигантской человеческой работы, от этого преображения ландшафта, и особенно оттого, что эта громадная «перемена совершается маленьким человечком с его тощей, изможденной лошадкой». Не поверил бы этому, если бы увидел наблюдатель с другой планеты. «Но этого, конечно, никто не видит с планеты, а из города, даже и уездного, тоже не видно. Из города видно другое, — видно, как в праздник пять-шесть

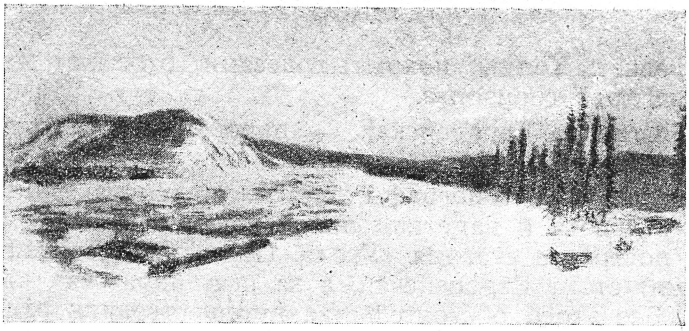
Семенов и Иванов бурлят и бормочут пьяные. И вот, чтобы помешать этим шести Иванам пропить свои семена, город готов остановить всю гигантскую работу». И пейзаж так же неизбежно переходит в лирику, как лирика в публицистику, и рассказ деревенской женщины, ласкающей девочку-приемыша, округлен такой понятной и такой здесь естественной концовкой: «И что ни черта, то новая красота в этих фигурах и в этой сцене».

Ну, не везде красота, конечно, много и безобразия, но везде взлет мысли, чувства, искусства, из неясных и разрозненных черт рождающего живые образы. Одни монологи старого нищего Петра Михайлова чего стоят! Как живой, стоит пред нами этот престарелый бродяга, застрявший на чужбине, забулдыга и убийца с его великолепными курско-молдаванскими оборотами, с его живописным цинизмом, его прихотливой судьбой, его мировоззрением. Короленко ничего не сочинил, ничего не прибавил. Но если он только дословно и буквально записал его речи, то признаем, что такое уменье записывать уже само есть замечательное искусство. И если не всякий способен усвоить это искусство, то всякий может оценить его создание и порадоваться возможности ознакомиться с ним.

Вышедшие десять лет тому назад томы полного собрания сочинений Короленко, содержащие неоконченные и не изданные при его жизни рассказы, не встретили у читателей и у критики того внимания, которого заслуживают. Надо надеяться, что иная судьба ждет его записные книжки, ныне становящиеся в ряд его произведений.

А. Горнфельд

СИБИРСКИЕ ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ



1

ЧЕРЕЗ УРАЛ. — МОЙ СПУТНИК[1]

Поезд Уральской горнозаводской железной дороги, гремя и стуча, вздрагивая и покачиваясь, несется по извилистым рельсам. Локомотив то-и-дело свистит как бешеный, вылетая из «выемок» и закруглений. Поезд то врезается между отвесными, изломанными и изорванными каменными глыбами, то летит по склонам, выгибаясь дугою, то гремит над лощинами, из которых вздымаются к нему верхушки елей и лиственниц. Белые клубы дыма заглядывают в окна то справа, то опять слева. По временам из окон виднеется полотно дороги, проложенное почти параллельно тому, по которому приходится ехать. Еще минута-другая, поезд изогнется излучиной, в окна вагона можно будет увидеть локомотив и машиниста, и мы полетим по склону другой горы почти в противоположном направлении.

По мере приближения к хребту местность становит-

ся ровнее. Холмы, покрытые лесами, отбегают далеко на край горизонта.

— Станция Европейская, — провозглашает кондуктор. — Поезд стоит три минуты.

Инженеры и топографы произвели точную нивелировку хребта и наметили линию гребня. На этой линии построена станция «Урал». Перед нею (считая от Перми) стоит Европейская, а за нею Азиатская станция. Без этого обстоятельства путешественник рисковал бы перевалить в Азию совершенно незаметно. В этом месте совершенно забываешь, что едешь по вершине горного кряжа.

Впрочем в административно-культурном смысле мы и теперь еще в Европе. Европейская Россия, не признав топографической грани, перевалилась через хребет и отхватила у Азии порядочное пространство, раскинув по ту сторону Урала красивый европейский городок. Миновав Нижне-Тагильский, Невьянский и В.-Нейвинский заводы, вы подъезжаете к Екатеринбургу. Не только этот город, но чуть ли не все эти заводы превосходят населенностью и, пожалуй, оживлением свою скучную европейскую метрополию — Пермь.

Здесь-то, от Екатеринбурга, начинается длинный сибирский путь. С последним свистком локомотива, с последним упорным столбом — конец Европе; отсюда вам придется уже вступить на тракт, с его ухабами и грязью, с его телегами и ямщиками, на эти дороги, где не перевелись еще лихие молодцы, поджидающие проезжих; где обозчики, как в Америке, идут вечно наготове к отражению внезапных нападений, с ружьями и револьверами.

Я только что проехал по нем, отхватав эти тысячные сибирские расстояния, и мне хочется поделиться с читателями некоторыми впечатлениями. Я взялся за перо и чувствую, как трудно мне справиться с этой задачей. Что рассказать, какие нарисовать картины? Громадность расстояний, однообразие, пустота и ширь, необъятная, величавая, дикая... Степь, так уж степь, река, так река — море; волны да небо, да низ-

кий, ровный, точно срезанный берег, поросший мелкой «талой»... Лес — тайга непроходная...

А между тем эта пустота имеет свою физиономию. Она говорит вам своим языком, смотрит на вас своим, ей только свойственным, взглядом... Попробую... Но для этого позвольте мне познакомить вас с моим спутником и чичероне...[2]

Сибирские наброски[3]

Жиган — беглый ар[естант], промышляющий воровств[ом] и разбоем.

Баклан, бакланишко — мещанин (в прямом смысле — птица-рыболов).

На перевозе. Вместе с нами переезжает телега, на которой сидят два мужичка, татарин и три бабы. Комп[ания] подвыпила. У молодого мужичка с оборванной ноздрей в руках гармоника, на которой он выводит нелепые звуки. Подзывают ямщиков, с которыми весело болтают.

— Бакланишки маринински, — указыв[ает] ямщик.— Костюшка этто, кривой-от. Веселятся.

— Что у них свадьба, что ли?

— Какой свадьба! Фарт вышел. Сказывает Костюшка, в 2 недели три места чаю срезали*. Верно это. Сам я видел: ехали они за обозом этто ночью.

— Воры, стало быть.

— Не без этого... Баклашишки одним словом сказать. Ловок этот кривой-от, беда. Лошадей отрезает. Хоть бы вот, к примеру, нашему брату: засни только ночью, проснешься в телеге без лошадей...

Парень подвыпил и болтает более чем охотно.

— Товарищ у него еще ловчае был. Ну, да тот пропал уж. Попался.

— Меня вот бог миловал. 7 лет гоняю, ни разу штобы.

— Да ты, может, с ними дружно живешь. Шкалик когда, либо косушку поднесешь... так вот...

* Считая по 3 пуда на цыбик, по 1 р. фунт—120 р. место, 360 р. весь фарт. (*Прим. В. К.*).

— Это што — шкалик, конечно... во всяко время... Надеюсь на бога...

— Этто будь дело ночью-то, да еще бы ямщика одного, — мы бы их в воду, бакланов-то сперли бы... Непременно бы в воду. Не было бы ни их, ни баб ихних. Верно — в воду... Сколь через них муки нашему брату. Лошадешки кои свои были, по 4, либо по 5 — попродали, да принялись жиганить, стервы...

...Ну, уж и попался же товарищ Костюшкин-то. Потешились над им... Перво у него шкуру с эстих мест по это место (с поясницы до головы) содрали. Пальцы рубили... Потом этто палку ему воткнули... Ну... опосле кишки выпустили — бросили. На вот тебе...

...Костюшка вот еще не попал в руки; ноздрю вот только выдернул ямщик палкой, да убёг проклятый. Попаде-ётся, ничего... Главное дело — ямщики да обозчики обижены шибко. Проезжающих не трогают.

— Почему же?

— Потому самому, што им от начальства заказано. Проезжающий, конечно, — нашумит кое место. Тут всем достанется. Был же раз у меня случай. Ехал я этто самое место — ночью часов как в 12. Остановил лошадей, сам сошел. Гляжу — сзади человек сидит, чемодан срезает. А у проезжающего два чемодана было. Сверху пустой, а снизу с кладью; да нижний-то, слышь, проволокой прихвачен. Он уж в 2-х местах проволоку прохватил. Я это и кричу проезжающему: «Выдерни-ко, господин, свой револьвер». — «А у меня, — говорит, — его и нету...» Не сдогадался. А тот-то смеется. Ну, я тут к дуге бросился, стал дугу снимать, — дугой его, значит. Ну, он учул, что я дугой-то брякаю, и отошел в канаву. А там ешшо двое. Смеются проклятые. Что, мол, добыл? — Ну, его, — говорит, — это жиган какой-нинабудь едет. Пусто у него...

Обозчики тоже сколь от них страдают. Особливо зимою. Оденется варвар во все в белое и ляжет. Его у дороги у самой не видно. Чуть который обозчик поплошае, вздремнул, — глядишь, баклан-то уж и клю-

нул место, другое... От дороги отшишит, выждет время, да и айда...[4]

Шпанка, кобылка — заурядный арестант (Шпанье).

Иваны — арестантские воротилы, хозяева и кулаки. Иное время — заберут силу, — ворочают, как хотят. Они же и за парашку (входные деньги) назначают с мещанина р. по 10, с крестьянина — по 3, с поселенца — 75 коп., с бродяги — 5 коп., с пересыльного тоже; с каторжанина ничего; цифра эта колеблется; говорят, в иных местах Иваны разоряли арестуемых крестьян в пух,—брали по 100 р.! Почему же дают? Нельзя. У Ивана свои из шпанки же прихвостни, совсем человека изобидят. Вдруг это в камере накинутся: «бей его». Другой и не знает кого, за что, — вскочит на нары, со сну, туда же галдит: «бей не на живот». Народ, знаете, в жестокость от этой от тюрьмы проклятой взошел. Спросишь иного: знаешь, за что бить-то? — А кто его знает... А туда же кричит. Ну, вот таким побытом можут они со свету сжить. Последнюю коровенку иной заказывает продать, да деньги все вносит.

Майдан — тюремное торговое заведение. В общих камерах помещ[ается] челов[ек] по 50—60 и более, а в пересыльных и еще более. Каждый входящий в камеру новый член входит как бы в артель. Он обязан или внести известную сумму, назначаемую артелью, или работать (выносить парашку, носить воду, дрова и т. д.). Кто откупился единовременным взносом (за парашку), — тот может не участвовать в других работах, но зато не участвует и в барышах от общих доходов. Доходы эти составляются из: 1) взносов за парашку; 2) платы за майдан; 3) за кухню; 4) за баню.

О первом взносе уже сказано.

Майдан имеется в каждой общей камере. Право торговли отдается с торгов, — кто больше предложит (в пересыльной Томск[ой] — р. 120 в месяц). На слу-

чай обыска майданы устраиваются очень ловко под полом, в стенах и т. д. Майданщик берет недорого, но доход имеет большой. (Напр. 5 папирос на 1 коп.). Он — монополист. В камере он берет доход со всего, — особенно же выгодна игра. С каждой взятки выигрывающий платит майданщику копейку (майданщик же обязан класть папиросы, которыми пользуются все желающие). В конце игры бывает нередко, что участвующие все в проигрыше, а выигрывает (всегда) майданщик, который и не играл. В конце месяца, во время дележки, майданщик расплачивается товаром, причем всегда отпускает его значит[ельно] дороже (напр. при дележке на 1 к. он дает 3 папиросы, а на готовые деньги — 5 пап.). — На дворе — свой майдан, и игра тоже монополизирована. Дележка за него — о б щ а я.

Кухни — две. Общая и больничная (дворяне — готовят по камерам сами или их прислужники). Снимаются они одним лицом по месяцам, по разным ценам (рублей 20, 25, 30—45). Раньше повара получали плату от комитета, а теперь не получают и пользуются доходом. Они доставляют желающим жаркие (коп. по 10), щи (коп. по 3), пирожки (по 1 коп.). Право сдавать кухню переходит от одной камеры к другой по очереди (помесячно) [5].

I. Т е м а. Князь Ворцель в заключении. — Сопоставить разорившегося, но гордого польского князя (сидящего за долги), родовитого скептика • и веселого жуира — с настоящим h o m o n o v u s, человеком убежд[енным], но не фанатиком (NB сцены снились по дороге в Иркутск).

II. История тел[еграфного] столба. Развитие телефонного искусства дает возможность изв[естному] доктору N. воспроизвести все звуки, вибрировавшие в деревянном придорожном столбе в течение времени, когда он стоял тут. (Взять столб сибирского тракта, — можно [современем] и другие) [6].

2

ИЗ ПУТЕВЫХ НАБРОСКОВ ПО ИРТЫШУ И ОБИ

27 августа [1881 г.]. Пароход дал три слабые свистка, и колеса стали работать тише. Пароход делал поворот; нам предстояло пристать к берегу для нагрузки дров. Я вышел на палубу.

День был светлый, но по небу ходили большие холодные тучи, порванные ветром. По широкой реке то-и-дело пробегали холодные тени; над волнами вставали белые хохолки пены. Берег, к которому теперь боком приставал пароход, был своеобразно дик и пустынен. Совершенно белый песок, обмываемый холодной рекой, сверкал на солнце; сажени за две от уровня реки он подымался крутым обрывом; весенние разливы оставили на нем заметные следы. Далеко вдоль реки валялись на песке вымытые с берега и поваленные «карчи», обвитые старой травою и мохом. По мере удаления, в перспективе они рисовались на белой отмели красивыми причудливыми узорами, и еще далее сливались в странную сетку, пестрившую дальние отмели. Над обрывом торчали высокие стволы лиственниц, елей и сосен. Не было видно никаких признаков деревни или поселка, только на берегу стояли клади нарубленных дров.

Мы вышли на берег, пока происходила грузка. Место это носит название Лямина бора[1]. Действительно, убогий белесоватый тальник сменился на этом берегу высокими деревьями. Но в этом месте собственно бора не было. Вместо него, на далекое расстояние виднелись старые пни, остатки прежнего леса. Между ними стлался беленький мох и листья брусники. Кой-где еще торчали отдельные «лесины», рисуясь бледной зеленью на бледной холодной синеве неба. Дальше деревья становились все чаще, и, наконец, глаз встречал вокруг уже действительный бор.

Весь пейзаж с темной рекой, схваченной белыми песками, с бледной зеленью и бледным небом — носил какой-то особенный сибирский отпечаток. Тихо, груст-

но и бледно, точно все это недорисованный или поблекший ландшафт великого мастера или недоконченная работа творца. В бору не было слышно ни стука дятла, ни голосов птиц. Он стоял безмолвно и, казалось, ожидал первых ударов зимы, чтобы замереть окончательно.

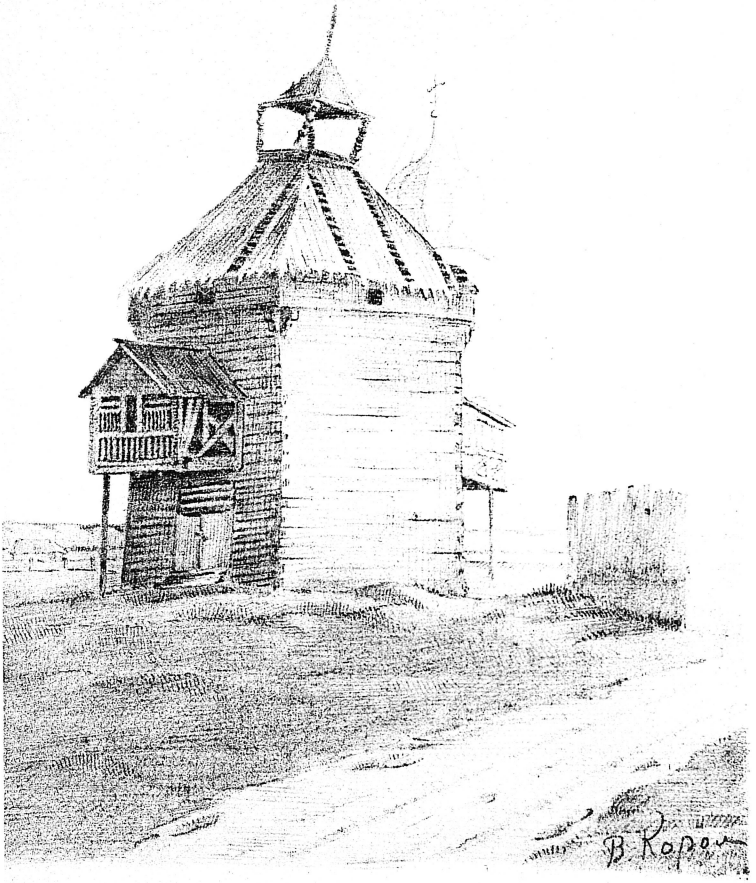
Саженях во ста от берега виднелась одинокая избушка. Здесь живет сторож, или нечто вроде подрядчика, занимающегося поставкой дров. Из более отдаленных деревень наезжают лесорубы и под его руководством рубят и складывают дрова в клади. Сам он теперь возил дрова на маленькой тележке и кидал их с обрыва, чтобы было легче брать их на пароход.

Мы подошли к избушке. Около нее валялись во мху опрокинутые «нарты», вроде саней, только с высокими копыльями и легче. На жердочках сушилась на ветру рыба. Старое заржавленное ружье, кремневка, висело на стенке. В окно виднелся самовар и несколько детских головок.

Дверь избушки приотворилась, и из нее выглянул мальчик лет семи, с бойкими черными глазами и загорелым лицом. Он не был похож на дикаря, и повидимому наше присутствие его не удивляло. Он только предложил нам следить за собой.

— Как бы вам, — говорит, — чего здесь не украсти.

К берегу между тем приплыла лодка; приехал продавец рыбы, которая плескалась в маленькой лодке, налитой водою и затянутой сеткой. Сам хозяин ушел на пароход торговать, а у лодки остался работник, парень лет восемнадцати. Он сидел на лодке, у берега, свесив ноги в воду. Коты, в которые он был обут, были велики и очевидно неспособны были охранять его ноги. Мне самому стало холодно при взгляде на эту несчастную фигуру. Одет он был в какой-то серый халат, подпоясанный тряпкой; шея была обернута старою шалью, на голове — старый порыжелый картуз. Лицо у него было совершенно красного цвета, как у человека, который прозяб до костей; а между тем повидимому он пренебрегал холодом до такой степени, что не считал нужным вынуть ноги из холодной воды.



Старинная башня в г. Як.

СТАРИННАЯ БАШНЯ В ЯКУТСКЕ

Или ему было лень пересесть?.. Сидел он неподвижно, как будто прислушиваясь, как холод проникает в самые кости. Когда вышел хозяин, он тихо поднялся, вяло отдернул от карчи тонкую бечевку, поддел ее на плечи и, поливая песок из своих громадных лоханей-котов, поплелся берегом и потянул на бечевке лодку с хозяином и с рыбой. Хозяин сидел в лодке и только правил сзади маленьким весельцем. Долго еще, пока мы грузились, мелькала по далекому прямому берегу между темными карчами эта вялая озябшая фигура, тащившая против воды хозяйскую лодку. Наконец одна из туч, разостлавшись по небу, разорвалась над бором и сыпнула мелким холодным дождичком. И река, и дальние берега, и озябшая фигура потонули во мгле...

---

30 [августа]. Третьего дня, рано утром, мы проехали мимо Сургута. Это небольшой городок, населенный здешними сибирскими казаками, пользующимися очень дурной репутацией. Окрестное население — остяки. Поселенные здесь служилые казаки — чуть не единственные представители высшей культуры, и это развило в них чрезвычайное самомнение. Березовские и сургутские казаки, находящиеся в одинаковых условиях, известны как народ в высшей степени заносчивый, самомнительный, грубый. Кроме того, так как Сургут не представляет никакого поприща для предприимчивости и труда, — то единственное средство существования для казака долго представлялось исключительно в казенном «пайке», который прежде выдавался ежемесячно. Это обстоятельство оттенило и без того непривлекательный портрет сургутянина-служилого чертами беспечного тунеядца.

— Ну, народец! — говорил мне хорошо знакомый с ними пароходский служащий. — Хуже последнего остяка. Стянуть с тебя ни за что, нахвастать, напиться — его дело, и только...

Сургут расположен в семи верстах от берега, и видеть мне его не пришлось. Это чуть не самое северное место нашего пути... От Сургута Обь поворачивает к

северо-востоку. Когда мы выезжали из Тобольска, там было еще довольно тепло. Когда же я вышел на палубу у Сургута, погода ясно говорила о самой поздней осени. Ветер гудел в снастях, как несытый зверь в зимнюю вьюгу. Тучи заволокли все небо. Часам к восьми пошел даже снег.

А через неделю в Томске мы опять встретили еще, как говорят сибиряки, теплые и светлые дни.

Теперь мы уже «в остяках». По берегу кой-где виднеются маленькие избушки, стоят лодки, раскиданы сети.

Утром пароход пошел тише. Мы вышли на палубу, чтобы узнать причину остановки. Был порядочный ветер, по Оби ходили волны. За пароходом они бежали грядами, прыгая и пенясь. Под самым почти бортом парохода промелькнула лодка. Поровнявшись с кормой, она вдруг нырнула промеж волн, накренилась, подняла нос, затем мелькнула кормой и вдруг точно прилипла к бежавшей за кормою лодке. Три остяка примкнули к нам на ходу парохода.

— Рыба давай! — кричали они весело, взбираясь по канатам, между тем как их душегубку швыряло и било волной.

Пароходские рабочие смотрели смеясь на смелые эволюции остяков, — молодые, очевидно еще новички, удивлялись, а опытные лоцмана смотрели на это зрелище равнодушно, как на нечто обычное. Остяки пристают даже к пассажирским пароходам на полном ходу.

Рыба была куплена за бесценок. Стерляжья уха на троих обошлась нам в 10 копеек.

— Ви́нцо, ви́нцо нет ли? — спрашивали остяки. Они были одеты легко, но повидимому не чувствовали холода. Роста они были небольшого, лица темноватые, с широкими скулами, с косыми глазами, плоские. Черты их точно приплюснутые. А у одного молодого парня нос вовсе отсутствовал, что служит, даже помимо пинжака, в который он нарядился, явным признаком довольно близкого знакомства с некоторыми сторонами цивилизации.

Через четверть часа они опять сели в свою лодку и мигом отчалили. На мгновение их закрыла пена и брызги, но через минуту их легкая лодочка стояла уже за грядой волн и, взмахивая, точно крыльями, лопастями весел, поджидала баржу. Когда последняя, отбивая широкою грудью прядавшие на нее волны, поровнялась с нею, подымая целый ад брызгов и пены, — бойкая лодочка опять юркнула в волны и точно впилась в корму баржи. Нам казалось, что она опрокинулась, что три фигуры барахтаются уже среди пены и волн, — но вот они уже [в] кормовой лодке и весело вытаскивают свой товар. За косушку водки они отдают охотно всю свою рыбу. На пароходах, где есть буфет, остяк, распродав рыбу, тотчас же идет угощаться. Шатаясь сходит он в свою лодочку, шатаясь усаживается в нее и отвязывает бечевку. И никто не помнит, чтобы пьяный остяк потонул. Всегда благополучно вынырнет его лодочка, и стрелой пускается остяк домой, в свою избушку, откуда пароход увлек его иногда за десять, пятнадцать и более верст.

Во время грузки дров я смотрел остяцкие лодки. Одну из них я легко приподнял руками; ее нетрудно было бы унести на себе, и действительно, остякам приходится иногда таскать на себе свои судна. Лодки эти — долбленные из цельных стволов (кажется, из ветлы), узки и чрезвычайно неустойчивы. Борта их в середине подымаются над водою не выше вершка. Тем не менее остяк смело пускается на ней в самую большую волну. В крайнем случае, когда волна расходится уж слишком сильно, они погружают свои весла целиком в воду, увеличивая таким образом поверхность и силу упора. Как только пролетела волна, гребцы вдруг взмахивают веслами и мгновенно опять погружают их в воду, упираясь в широкую грудь новой волны. Весла их небольшие, сделаны очень изящно и напоминают лист какого-нибудь водного растения. Сходство дополняется еще тем, что они выдалбливают в лопастине большое стержневое углубление.

Тихий, смирный, бессильный и добродушный народ. Они дают нам за бесценок свою рыбу, а мы привозим

им на своих пароходах и рассылаем с сургутскими казаками — цивилизацию, хлеб, водку и сифилис. Говорят, от этой «французской» (как ее называют в народе) болезни мрут сибирские остяки шибко.

30 [августа] в 6 час. вечера. Вартовский бор. (Верхний.)

Высокий, оборванный рекою берег. Внизу песчаный пласт, резкой прямой линией отделенный от верхнего напластования, характера торфяного. Наверху, над обрывом мелкие сосенки, елки на болоте. У корней разостлался душистый богульник (багун в Малороссии).

На берегу остяцкий шалаш из жердей и бересты. Он защищен сплошной берестяной стенкой от речного ветра и примкнут открытой стороной к оврагу. Холодно; утром шел уже снег. Между тем здесь в шалаше живет семейство: остяк с женой и с грудным ребенком. Шалаш, совершенно открытый с одной стороны, разделен на две половины; в другой половине помещается одинокий старик. Разведено два небольших костра. Жители шалаша варят ужин.

Мы собрались, с любопытством рассматривая внутренность этого своеобразного жилья. Мы все одеты тепло; а остяк, приехавший с реки, снял кафтан и, оставшись в одной рубахе и портах, снимает еще сапоги и босой садится на землю, как будто в избе на теплой печке. Ребенок тоже повидимому не чувствует холоду. Внутри шалаша виднеется самовар и несколько вязок кренделей; на жердочках развешана вяленая рыба.

Я вступил в разговор со стариком. Он спросил — нет ли белого хлеба, взамен за рыбу. Живут они здесь одиноко, вдали от всякого жилья.

— Амбар [2] — там, — указал он рукою вверх по реке. Сам он из Тымского, нанялся с весны до морозов за двадцать рублей сторожить дрова. Живет в шалаше. Не холодно [3].

3

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1881 ГОДА

Сибирь — это настоящее складочное место российской драмы, и я положительно советовал бы нашим молодым драматургам проехаться по этому скорбному тракту. Вы найдете здесь целые депо драматических сюжетов, пожалуй несколько заплесневелых и попорченных временем, но способных к полной реставрации. Приезжайте на любую почтовую станцию и обратитесь к первой встречной особе, выделяющейся российским обличьем среди якутов и объякученного р[усского] крестьянства. Это наверное «поселенец». Вступите с ним в беседу. — Давно ли здесь, откуда, пожалуй (в делик[атной] форме), за что?

Вот перед вами маленькая фигурка заплесневелого старичка.

Слава г[осподу] б[огу], как вы... [восемь слов не разобрано].

Влю́блен был, так и говорит — влю́блен[1].

Тема (юмористич[еская] поэма с карик[атурами]).

История 1-го [одного] бедного студ[ента].

1) Жил на свете б[едный] с[тудент]. 2) Он был беден, как Иов. 3) Питался более духовною пищей. 4) И был он философ. 5) В минуты жизни трудные предавался мечтам и размышлениям. 6) Перед его умств[енным] взором проходили богатые образы вроде следующих: 7) Видит бедный студент мужика и тотчас же делает заключение: сей субъект слишком много работает и сл[ишком] мало ест. 8) И фантазия бедного студ[ента] идет далее и рисует ему другого субъекта, и б[едный] с[тудент] делает вновь заключение: сей субъект вовсе не раб[отает], а чрезмерность его объемов угрожает даже его здоровью. 9) И б[едный] с[тудент] сопоставляет обоих субъектов. 10) И производит синтез. (Постеп[енный] ход прогресса рисуется ему в след[ующем] виде)[2].

Тема[3].

≪Письмо. Встреча≫

Мой [мечтательный] приятель. Путь по Лене (верхами). Лесная встреча. [Восемь слов не разобрано.]

В 188... году я получил от моего приятеля NN след[ующее] письмо; впрочем, надо прежде сказать Вам, что за челов[ек] был мой приятель..... [три слова не разобрано].

Тема. Сон на Лене[4].

(Святочный рассказ).

Вечер 24 дек[абря] спуск[ался] над вел[икой] Сибирью.

Мечты.

Неужто сон? И ты, дорогой твой образ, могучего и славного державой — только бред утомленного взаимной борьбой и враждой воображения?

Неужто существ[ует] ист[орический] закон, по которому дворцы способны производить [только] тир[анов]?

Да, только сон. Вот это [треск] от инея, высоко проносится сойка, звезды мигают на холодном небе Сибири. Звенит колокольчик. Лошади фыркают, и храпят, и несутся... боятся сибирского мороза. Туманы, пронизанные лучами холодной луны, подбираются выше над хребтами и падями, в холодную высь к белым тучам.

Мороз, великий владыка широкой пустыни — сжимает воздух; иней валится, искрясь белыми широкими хлопьями. Лед трескается от холода; по реке гремят точно выстрелы пушек; удаляясь все далее и далее, отдаются они меж гор и сопок, замирая в морозной дали...

Полночь рождества 1882 года... Колокольчик тревожно выводит свою долгую тоскливую песню...

На обороте этой рукописи чужой рукой твердым и размашистым почерком написано: «Господи боже, что за ерунда! Очевидно результат странной болезни трезвого некогда ума нашего друга. Тем не менее человек был превосходный, и не тебе надо говорить о том,

что он оказал несомненные услуги общ[ему] д[елу]. Ввиду этого, друг Волгище, употреби хотя бы самые невероятные усилия, чтобы исполнить волю покойного и доставить рукопись NN. Что она сделает с нею — я не знаю, но она, кажется, знает.

Простите мне, тов[арищи], и вы, погибшие, погибающие, и те, кто еще погибнет в борьбе за испов[едуемые] принципы, — простите мне то, что вы называете идеализацией этого принципа, простите, если я грубо, жестоко, непростительно ошибся, если все то, что я написал, — невозможный, невероятный бред, а я наверное ошибся < однако неужели я ошибся >.. И тем не менее... тем не менее... неужели все это невозможно?..

4

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1880—1881 ГОДОВ

Певец смолк. Послышался резкий топот и какие-то смешанные звуки. Потом все стихло. Слышался только звенящий шум и тихие вздохи тайги. Затем раздался резкий русский говор:

— Три соболя и пятнадцать лисиц, да седло, да переметы!

— Знатно!

Две пары копыт вновь застучали о землю. Тише, все тише.

И опять только протяжный шум и испуганный, подавленный шорох тайги [1].

5

21-е число. То-есть день, когда в нашу далекую Амгу приходит почта. Это случается только раз в месяц, поэтому понятно, отчего и я то-и-дело взбираюсь на верхушку своей юрты и прислушиваюсь к чуткой тишине морозного вечера.

7 часов. На небе стоит полная луна, сверкают холодным блеском звезды. Вверху ясно. Ни облачка на

светлом холодном небе. Но скоро и луна и звезды потонут в густом тумане, который внизу уже ползет на Амгу вместе с крепнущим морозом. Он покрыл уже стоящие кругом на горах лиственницы и разлился по лугам, и, как сказочное чудовище, закрывает и глотает одну за другой бедные юртенки Амги.

Амга еще не заснула. Она во всеоружии становится навстречу морозу. Из всех труб подымаются громадные белые столбы дыма. Целая рать их, точно привидения, клубится и слегка колышется в воздухе. Сквозь оконные льдины переливается свет камельков. Огни то-и-дело вспыхивают сильнее, и тогда целые снопы искр неистово кидаются из труб в морозный воздух и скачут, вертятся, трещат и беспомощно гаснут, охваченные жестоким морозом. И один за другим тонут эти столбы огня и дыма в сером, беспощадно холодном тумане.

Все исчезает от глаза. Зато ухо чутко ловит малейший звук, гулко несущийся откуда-нибудь из-под каменных утесов, стоящих над замерзшей рекой... Вот выстрелила треснувшая льдина, стонет озябшая лиственница, в тайге залаяла лисица. А вот в другом конце слободы скрипнула дверь, и затем понеслись какие-то странные звуки. Снег точно громко вскрикивает от боли, потом протяжно визжит и стонет, точно жалуясь на горькую судьбину, и опять отчаянно вскрикивает, и вновь стонет с шипящими тяжелыми вздохами. Раньше, когда я в первый раз еще слышал в слободе эти звуки, — я долго не мог понять их значение, и, признаюсь, странное, щемящее чувство невольно закрадывалось в сердце. Теперь я знаю: это хромой якут костыляет на своей деревянной ноге...

Но чу!.. Далеко, далеко как будто звенит колокольчик. Звякнул раз, другой и замер. Потом посыпал опять тихой, но частой малиновой дробью... Да, это он. Между горами, глубокой падью мчится из города почтовая тройка...

Я ухожу в юрту [1]. Я знаю, что почта еще очень далеко, а между тем дыхание трещит, и пар, вылетая из уст, немедленно стынет на морозе.

ОСТАТКИ КАЗАЦКИХ УКРЕПЛЕНИЙ (ЯКУТСКИЙ ГОРОДОК)

Через полчаса яркий звон заливающихся колокольцев овладевает встрепенувшейся ночью. Какие прелестные звуки! Право, я думаю, тот не умеет ценить музыки медного колокольчика, кто, подобно мне, не слушал его с верхушки юрты в темный морозный вечер... Вот он как-то разом становится гулче, разливаясь вширь и ввысь до самой луны, заглушая и покрывая своей медной трелью все эти визги, стоны и хрипы. Слышен уже и бег тройки: вот коренная отбивает частую рысь, вот скачут по бокам пристяжки, и визжат по снегу полозья саней.

Почта въезжает в слободскую улицу, и слобода встречает ее [2].

6

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ ИЗ ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Остался собственно по случаю писаря.

Я вижу, ямщику верь только до порога.

Ну... да по эфтому такое дело и выходит.

Хоть худенький-худой [бог], ну все же делам-те [правит].

Тонки да долги версты у нас.

Я бросил судьбу свою в море.

Другой сделал бы вам [неприятие руки].

Дешевые NN в Твери: Шамбурова, Волкова, Савельева (на Мироносицкой), Глазкова. [Четыре слова не разобрано.] Б. Чернявская, д. Барбашева [1].

[2] Из Якутска мы выехали 23-го к вечеру. Между Титаринской станцией и Батамаем путешествие в лодке на веслах. Переправлялись на правый берег Лены, и там я рисовал (скалистый берег). Ранее на правом берегу — Тоен-Аринская станция — в пади между каменными уступами, стоящими сплошной стеною. Ввер-

ху — возвышенная равнина, и кое-где на самом краю каменной стремнины виднеются изгороди пашен. В некоторых местах камни расступаются, образуя узкие пади, со всех сторон сжатые скалами. Весенние потоки нанесли сюда чернозему, и зеленеет трава. В таких падях ютятся якутские юртешки, а порой и домик поселенца. Но, видно, трудно дается здесь борьба с суровой природой. В одной из таких падей ямщик указал нам пепелище. Несколько лет назад здесь была «заимка» поселенца-поляка Скупчинского. Поляки вообще являются здесь любителями земледелия. Пан Скупчинский вспахал склоны гор, нагородил изгородей и стал сеять. Каковы были плоды этих усиленных трудов — видно из того, что, побившись несколько лет, пан Скупчинский зажег свою юрту, порубил изгороди и побросал их в огонь, а сам ушел на прииска. Теперь на его пепелище якут воткнул колья своей незатейливой юрты, и его коровы щиплют траву на брошенных пашнях поляка[3]. —

Ат-Даванская станция стоит на высоком берегу. Узкая тропинка, извиваясь между камнями, ведет с берега на гору, к станку. Зимой нет въезда к станку, и коней приводят и запрягают на берегу. Незнакомый с этими местами человек мог бы проехать мимо, и не подозревая, что саженях в десяти над ним находится целая деревня. Только один крест, стоящий на краю могилы, склонился над стремниной, да на берегу угрюмой Лены бьет прибоем две-три лодочки, причалы которых завалены камнями, так как в каменную почву нельзя вбить кола, чтобы привязывать лодку[4].

На ст[анции] Мархачанской начинается Олекминский округ. Мархачанцы, говорят, отказали землемеру «в стакане молока» (полагать надо, молоко тут — метафора), и поэтому он написал им 26 (кажется) верст, между тем, как настоящее расстояние тут более 30-ти. То же можно сказать и о расстоянии между Чекурским ст[анком] и Русской Речкой, где расстояние обозначено 31½ в., между тем как мы ехали этот станок порядочной рысью — более 5-ти часов. Тут я потерял свою книжку с рисунками[5].

На ст. Наманинской писарь Стукальский дал письмо родственникам в Томск.

Около границы Олекминского и Якутск[ого] окр[угов] на простр[анстве] нескольких станков — вовсе нет якутов. Гористые берега не представляют удобных мест даже для якутов, поэтому правый и левый берег Лены представляют пустыню. Вдали — бродят лишь таежные тунгусы (о р о ч е н ы?). Тем не менее — на станках здесь население живет несколько лучше, чем в других местах, так как среди этих гор и падей они единственные хозяева, и потому земли и покосов у них все же несколько больше, чем в других, занятых якутами, местах. Здесь и постройки лучше, и нравы русского населения, язык, даже наружность — сохранились неприкосновенными.

Зато за ст[анцией] Наманинской мы увидели уже целое поселение якутов, первое в этом роде, какие мне пришлось видеть. Это деревня Х а р ю[6]. Здесь якуты живут не в юртах, а в «амбарах»[7], при них не видно хоттонов[8], есть даже неб[ольшая] церковка; виднеется много пашен. Вообще якуты здесь очевидно перешли к оседлому быту, оставили скотоводство как главное занятие, держат более лошадей, чем рогатого скота, и занимаются землед[елием], а также поставками на прииска.

На последнем станке перед Олекмой — Солянке — курьезный спор ямщиков, в результате которого нам дают 4 лошади с 4-мя санями и двумя проводниками. Хоть это и неудобно для них и для нас, но так оно выходит по очереди!

4 о к т я б р я п р и б ы л и в О л е к м у.

С т а н о ч н и к и[9]

От Титаринской станции нам пришлось ехать на лодке. Ямщик, которому довелось в очередь везти нас, оказался бедняком, у которого было только две лошади, а нас было трое. Он предложил нам ехать в лодке на гребях. Мы согласились, не подумав о том, что значит итти на гребях верст тридцать вверх по Лене. Только мы успели оттолкнуться от берега, на

одну из лодок, стоявших рядом на отмели, вбежала девушка и передала старику узелок.

— Что это?

— Так, ничего, посылка! — слукавил старик; оказалось, что это был чайник и хлеб.

Нам предстояло варить чай на острову. Выезжали мы со станка утром, а на другой могли попасть не ранее как ночью. Гребцы — старик и молодой парень — привычными руками налегали на весла. Волны бурлили по бокам лодки, брызги и пена уносились назад, но лодка поддавалась вперед тяжело. Переехав через так называемое «курье» (залив, где удобно ловить рыбу), мы пристали к песчаной отмели, и гребцы, выйдя на берег, потянули лодку, но бечевой, лямками. Потом, обогнув отмель, они опять сели и направили лодку к острову. «На этом острову будем пить чай», — заявил нам старик. Только тогда мы поняли свое положение.

До острова, казалось, рукой подать, но плыть пришлось около часу. Между тем вверху на реке появился какой-то белесоватый столб, постепенно расширявшийся. Одну за другой охватывал он береговые скалы. Вот около нас закружились легкие мелкие снежинки, заволакивая божий мир непроницаемой, холодной белесоватой пеленою. Снежинки эти кружась падали на потемневшую реку и тотчас таяли в ней, но на смену валились новые и новые. Вот еще маячат причудливые очертания высоких камней, темнеет кое-где тайга на крутых склонах, но все это постепенно тонет в снеговом облаке, все более и более окутывающем землю. Вот еще выделились каким-то призраком очертания плывущей вниз, откуда-нибудь с приисковой Мачи, большой якутской лодки с парусом. Выделились на минуту и потонули в снежном хаосе.

Ничего, кроме воды под нашей лодкой и снега вверху, впереди, кругом. Гребцы вытирают по временам свои лица, по которым стекают струйки горячего пота и талого снега. Но вот и остров. — Через минуту на берегу затрещал костер, на согнутых талинах повисли наши чайники. Гребцы сели к огню.

— Эх, сторона наша, — говорит старик, — гиблое место. Отдал нас царь под якутов на веки-вечные. Горе наше великое!..

— Как так? Кто же вас под якутов отдавал? Вы люди вольные!

(Продолж. на стр.) [10].

В пути [11]

16 октября. Из Олекмы в 3 часа — 17 верст Дордусовская — 20 в. Берденская — 25 в. Бирюцкая — 22½ в. Черендейская.

17 окт[ября] — 32½ в[ерсты]. Неленская — 21 в. Кочегарская — 20 в. Дельчейская — 22 в. Инняхская — 19¾ в. Березовская; 22 [в.] Точильная.

18 октября — 30 в. Нахтуй (Мача). (251¾ верст от Олекмы).

19 октября — 30 в. Жедайская — 23 версты Каменская (Ушакан).

20 октября — 21 в. Тинная. — 19 в. Жерба — 36½ в. Турухтинская и Нюя.

Между Нахтуем и Жедайской станцией едем под крутым береговым откосом. Слева бурлит река, сшибая быстро бегущие льдины.

«Лисица!» — кричит передовой ямщик. Действительно, навстречу, вдоль берега, бежит большая чернобурая лисица.

Сзади, как-то тяжело и глупо гонится за ней большая дворняга, выбежавшая за нами со станка. Лисица очевидно понимает свое критическое положение, — слева крутой берег отделяет ее от тайги, справа река, сзади вспугнувшая ее собака, а впереди, гикая и растопырив руки, несутся кучей ямщики и казаки. Хитрый зверь бежит неторопко, не разгоняясь и не напрягая всех своих сил, — в постоянной готовности воспользоваться первым случаем. Собака, озадаченная шумом, останавливается, и в то же мгновение лисица, прошмыгнув между нею и ближайшим ямщиком, пускается обратно уже во всю прыть. Еще с полминуты видно, как она несется между камнями и льдинами; дворняга попрежнему тяжело и как будто недоумевая

бежит за нею... Ямщики начинают перекоряться... «Вот она перебежала где, — указывают они уже на горе след, пересекающий дорогу. Дворняга стоит тут же, уныло смотря на чащу. —

В другом месте на сплошной бело-желтой массе движущейся шуги виднеется какой-то черный предмет. — Лисица на льдине! — кричат ямщики. — «Батюшки, черная!» — Нет, ворона! — решает другой. — Какая ворона! Слепой... Козуля! — вскрикивает наконец один, более зоркий. Действительно, среди столпившихся неровных льдин густой шуги можно уже ясно разглядеть красивую черную козулю с выгнутой тонкой шеей; ее несет почти посередине реки, и она, осторожно переступая на своих тонких ножках, тихо подвигается к нашему берегу, пользуясь всяким случаем, когда быстро бегущие льдины спираются гуще, чтобы переступить с одной на другую. Все мы с большим участием следим за нею, пока наконец она не исчезает чуть заметной точкой на повороте реки... Шуга несется мимо с тем же сухим треском и шумом... «Звери загнали!» — говорит один из ямщиков. — А может, и сама надумала, — говорит другой. — Мудреного нету. Шуга густая. Теперь от того берега идут они. Когда лисица плывет, когда козуля. Притрет льдину к заберегу, она и выскочит [12].

Между Тинной и Жербой граница Якутской области. Проехали 20 октября [13].

Перед Жербой верстах в четырех от Тинной станции граница Якутской и Иркутской губерний. Ямщик показал мне эту границу у громадного кам[енного] утеса. На другой стороне реки, несколько ниже, подымается над рекой такая же каменная сплошная стена [14].

Шум. Споры.

— Отчего у вас такие споры? Неужто между собой не можете разобраться?

— Такая наша обязанность, ямщицкая.

— Неужто обязанность ругаться?

— Ничего не поделаешь.

— В церковь-то ходим же, — на свечку несем. Ну, так и к исправнику все равно. Несем.

— Берет? — Берет. — А не пьяница? — Ну, выпить выпьет, да дела не забывает.

Собеседник задумывается. — Берет, да дело делает. Это хорошо.

— Новости это у нас. Лет 15 началось опять; как в старинку. А между этим временем—не смели. Шиницын исправник был, Муравьев — генер[ал]-губернатор [15]. Тогда этого не было. А после опять пошло. С писарей, с голов, да и так с кого попало — давай. Только и знают: давай, давай, неладно все. Ну, дашь — и наладится. (Измайлов, горный исправник, раскрыл злоупотребление.) (Нюя.)

---

21 окт. — 30 [в.] Салдыкой.

На Нюе большие споры

— Как же быть-то нам, сами подумайте. Нынче год-то какой! Этакого году старики не запомнят. Весна холодная, прямо сказать: 15 мая отсеялись только. Ну, сначала ничего, — всходы пошли — радовались мы: мол, господь хлебушко дает. А он показал, да и отнял. Ударили дожди. Ну, и ударили дожди, и пошли, и пошли, да не то что летние дождички, а прямо сказать, ливни. Гор не видно, пыль!.. Хлеб и пошел расти. Растет, растет, вымахал с народ ростом, — а зерна нет. А там — подсада пошла, и пошла, и пошла — как шелк. А в июле — мороз. Колосья-то и побило. Кто с умом — взял да выкосил, — по крайней мере коням корм. А я, признаться, понадеялся, — может, подсаду бог доведет. Да где! Подсохла она — опять мороз. Солома одна. Да что: проведрило маленько, накосили сенца, — опять дожди! Господи! река взыграла, речки тоже — грянула вода. Поплыло сено по Лене вниз... Горе!

— Вот видите! А он тут со сбавкой. — Возьмите, говорим, во внимание, ваше благородие, год какой!

— Знать не хочу. Найду подрядчиков без вас! — Что ты с ним станешь делать? (Каменская станция.) [16]

— Просим: так и так, мол. А он и говорит: ты, старик, помнишь, сколько в доселешные времена получали? — 250 ассигнациями, — говорю. — И жили ведь отцы-то? — Мох, говорю, ваше бл-дие, ели, да сосну жрали. — А ноне ты в сапогах ходишь. — В сапогах, говорю, ваше бл-дие.

— То-то же! (Ibid.)

Приехали на Салдыкой, — ямщик, воспользовавшись тем, что мы вошли на почтовую ст[анцию] спросить десятника, бросает нашу кладь на улице и уезжает. Я иду разыскивать десятника. Нахожу его в юрте. Спят. Бужу и спрашиваю: где поставлен наш товарищ, приехавший ранее? — Не знаю, — отвечает десятник сонным голосом.

— Не знаю! — передразнивает его жена, очевидно привыкшая «давать в доме порядки». — Оболокайся, розыщи! А то — не знаю!

Десятник, ничтожный мужичонко в рваном зипунишке, выходит со мною, и мы отправляемся розыскивать Ромася [17] по сонной деревне. Никто не знает. В одном месте слышатся песни, идет гульба. Там говорят, что — мол, один проехал за пески. Идем туда, таща тяжелую кладь на себе, около полуверсты.

За песками все спят. Десятник указывает квартиру, а сам уходит искать Р[омася], который точно канул в воду. Мы входим в избу. Темно. Зажигаем свою свечку. Пустая изба, ободранные стены, в окнах рваный и грязный пузырь. Виднеется одна дверь. Заперто извнутри. Не знаем, что делать.

Дверь открывается, и в ней показывается изможденное женское лицо.

— Кто тут?

— Десятник на квартиру поставил.

— Ах, язва! Чего делает! Я говорила ему — не принимаю.

— Почему? Да нам ничего не нужно, только самовар да квартиру.

— Так что! Вишь, что делают! Мужику моему дают волю пьянствовать да мотать... Вот придет, меня же из-за вас колотить станет.

— Да он у вас буян, что ли?

— Как не буян! Видишь ты: известно, — выше лба глаза никогда не живут, а все ниже. Хоть будь того лучше жена, — а он все куражится.

— Ну, как же быть? Самовар-то нам с холоду нужно, да и квартиру тоже. Дело ночное.

Кой-как улаживаемся — в передней избе. Самовар поставлен.

Изможденная женщина оказывается очень добродушной. Черты рано увядшего лица сухи и тонки, с печатью заботы и беспросветного горя: «Думаешь, думаешь, — от думы от одной сохнешь. Дети ведь; а он все пьет да из дому тащит». — Но улыбка этого изможденного существа приятна, и глаза по временам смотрят как-то даже по-детски.

— Вот ноне с Терешкинского станка жена с поселенцем сбежала. Ну, я так располагаю, что не с ума она это сделала, а с глупости. Лучше же пускай он меня дома решит, так по крайности от мужа предел приму. А то — прости господи! — с поселенцем сбежала. На поди!

Ночью, мы уже спим, когда нас будит шум. Кто-то суется по комнате, роняя стулья и ворча. Я зажигаю спичку, и вспыхнувший огонек освещает большую фигуру, в громадной бараньей шапке, из-под которой торчит длинный нос настоящего пьяницы... Благоверный стоит в недоумевающей позе, расставив ноги и поводя тусклыми глазами. Моя спичка помогает ему найти дверь, и через минуту из-за нее слышится перестрелка супружеской беседы. —

До Витима от Мухт[уя] 218 [в.]

22 октября—24 [версты] Батамай, 20 [в.]—Мугурьяринская, отс[тоит] до Вит[има] 240 (229)—25 [в. до] Мухтуя.

Между Салдык[оем] и Бат[амаем]. <Спящий в лесу посел[енец].>

Дорога бором. Мимо мелькают красные стволы стройных сосен. Снег опушил их, — лежит пучками на густой зелени. Слева кой-где меж стволов чернеет крутой горный берег Лены. —

Впереди, у дороги курится дымок. Подъезжаем. На куче наломанных сосновых веток лежит человек. В головах небольшая сумка. Глаза закрыты, — поза изнеможенного тяжелым путем человека.

Этот роздых среди снегов у струйки дыма в лесу, в 11-ти в[ерстах] от деревни производит странное впечатление.

— Это что за человек? — спрашива[ю я].

— Это? С приисков, надо быть. Третьего дня, помню, у нас ночевал. Вот доколе дошел.

— Что ты! Ведь тут от вас всего 11 в[ерст].

— Верно, 11. Да, вишь, тихо идет. Увечный, ноги эво-как раскорячены.

— А далеко ли итти-то ему?

— Не знаю, — кака-то Манзурская волость.

— Не менее 1000 в[ерст]! А он идет верст по 6 в сутки!

— Вот оно золото чего делает. Надо быть, в забое ушибло, али от воды ноги отнялись, — равнодушно говорит ямщик. — У нас он и ночевал-то; хотел дрова рубить, да не рубил... [18]

Мы давно уже уехали, но перед моими глазами все еще мерещилась между стволами синяя струйка дыма и эта темная фигура обреченного на скорую гибель человека... Так гибнет на морозе отсталая, обессилевшая птица, тоскливо следящая взором за свободным полетом своих вольных товарищей, между тем как [19] кругом видны предвестники грозной зимы.

— Еще ладно ему: тепло ноне стоит долго. Хватит мороз — живо замерзнет, право, — комментирует ямщик, растирая на ладони листок махорки... [20].

23 октября.—31 [верста]—Терешкинская, 23 [версты] — Коньки, 25 [верст] — Хамра.

На Терешкинской ст[анции] встретили мы огорченного супруга, о жене которого говорила баба на Салдыкое. Нам случилось стоять у него на квартире. Встретил нас мужик лет 45, плотный, с топорной фигурой, с широким лицом. Рыжеватая борода торчала клочьями врозь, глаза несколько слезились. Мы поздоровались.

— Откуда едете?

— Снизу.

— Не слыхали, — там бабу с поселенцем поймали?..

При этом вопросе — из соседней комнаты вышли: старик, довольно повидимому древних лет, и старуха, с подвижным сердитым лицом, — и оба насторожили уши.

Мы не могли сообщить ничего.

— Видите: прямо сказать — с этого дому она и убежала.

Огорченный супруг встал со стула, отпер дверь и поманил меня за собой. Мы вошли на другую половину. Через небольшую светелку виднелись просторные комнаты, очень порядочно обставленные, с запертыми ставнями.

— Смотрите: от какого дому убежала, — указывает супруг и садится на лавку. Он, повидимому, подавлен и еще не свыкся со своим положением. Голос его звучит глухо, и в нем слышится нота, как будто просящая не столько о сожалении и участии, сколько о признании его собственного достоинства.

Я начинаю расспрашивать.

Жили они вместе лет 13. Ей лет около 30, — красавица.

— А поселенец?

— Поселенец — известно, что уж. Поселенец и есть.

— Хорош собою?

— Может ли он быть хорош! — презрит[ельно] говорит огорч[енный] супруг.

— Чем же он ее опутал?

— Да уж кто их знает! Говорится пословица: полюбится сатана...

— Молод он?

— Молодой-то молодой, да что толку: черноглазый да горбоносый, тьфу!

— И волосы кудрявые?

— Кудрявые да черные, — точно цыган, прости господи. Родом хохол. И ведь вот не ждал никогда: сынишка есть... любила она его — страсть! Раз поселенец тут играл да палкой неловко попал, бровь рассек, — так поверите — чуть не умерла, так убивалась. А тут и его бросила...

— Ну, и следов никаких?

Он оглянулся.

— Сказывают, за Мачей, в двух с полов[иной] станках на горной стороне поселился. Дороги жду — по дороге поеду сам...

Таким образом, первые морозы грозят разрушить гнездышко нежных любовников.

24 октября. — 25 [верст] — Половинная, 25 [верст] — Песковская, 28 [верст] — Крестовская.

Приискат[ельская] песня

Зажурівся чумаченько,
Що в кармане ни гроша.
Сидит, хлопает глазами,
Как голодная сова.
Пил и водку, и вишневку,
И наливку выпивал,
А теперя прокутился
И в полицию попал.
От полиции откупился
Своим медным кошельком,
И осталося в кармане
Три копейки серебром...
Я на первую копейку
Куплю трубку с кисетом,
На вторую я копейку
Куплю пачку папирос,
А на третью я копейку
Найму тройку лошадей.

25 октября. — 28 [верст] — Веледуй, 29 [верст] — (Романовская), Полов[инная] и Витим.

Перед Веледуем встречаем почтовую пару, гужем. В просторной кошеве лежат 2 фигуры. Ямщики меняются, и поэтому нам и встречным проезжающим приходится перемещаться. Они подымаются. Первым встает дюжий мужчина лет под 40, хорошо одетый, с виду похожий на ухаря-купца или приказчика. Он тычет своему товарищу недопитую бутылку водки и, пока тот начинает тянуть из горлышка, сам подходит к нам.

— Откуда, господа? [21]

— Из Якутска, такие-то. А вы?

— Я? Я Бурмакин. Слыхали, может, про меня?

Бурмакин — известный спиртонос, и его имя действит[ельно] гремит далеко [22].

— Не слыхали ли, господа, там, в Як[утске]... я вот послал р е б я т а м в замок письмо с деньгами. Получили ли?

— Нет, не слыхали.

Его ребята — целая партия спиртоносов, выдержавшая отчаянную схватку с отрядом казаков в тайге. При этом 2 или 3 казака было убито, несколько ранено; была захвачена целая «уйма» [23] спирту и арестовано несколько человек, в том числе один черкес — товарищ Бурмакина.

Этого черкеса мне довелось однажды встретить в пути.

Я ехал из Ирк[утска] в Як[утск]. Моими спутниками были два воина. На одной из станций, куда мы приехали под вечер, мы расположились отдохнуть и напиться чаю. Когда мы сидели за столом, одного из моих спутников отозвал в другую комнату почтовый смотритель, и между ними завязался оживленный разговор, из которого до меня доносились только отдельные слова: золото... едет один... скоро будет... отчаянный... вот бы!.. Не говорите!.. Ах, ты, б-боже мой!

Воин вернулся к столу весь красный и очевидно сильно взволнованный. Не успел он налить себе стакан чаю, как под окнами быстро забился почтовый

колокольчик, и через несколько секунд наружная дверь отворилась. В черном квадрате резко выделилась высокая фигура, в чекмене, папахе и оленьих высоких камосах. За поясом виднелся чеченский кинжал, в узорных ножнах.

Увидев неожид[анно] военные мундиры, черкес как будто вздрогнул и инстинктивно подался назад, — но это было только одно мгновение. Затем он оправился, сдвинутые брови разошлись, и он развязно вошел в комнату.

— Здравствуйте, господа. Откуда едете?

Завязался странный разговор. Собеседники как будто щеголяли друг перед другом самой утонченной любезностью, но при этом коротко остриженные волосы военного человека как будто нащетинились, лицо налилось кровью, и взгляды напоминали взгляды цепной собаки, рассчитывающей — не коротка ли цепь, чтобы кинуться на добычу. Черкес владел собою превосходно. Он только держался на некотором приличном удалении, играл рукояткой кинжала одной рукой, а другую опускал в карман, следя за своим собеседником сухим, быстрым и блестящим взором. А из другой комнаты, прописывая подорожную, смотритель тянулся на стуле и ободрял воина жестами и взглядами.

Жандарм встал и потянулся.

— Жарко здесь... — и он вышел на двор.

— Вэрно! — сказал черкес и последовал за ним, но через минуту они вернулись опять рука-об-руку. Жандарм чувствовал себя как будто под караулом, и когда наконец долго тянувший обычную процедуру смотритель подал черкесу подорожную и тот вышел, — воин глубоко вздохнул. В этом вздохе слышалось и сожаление об улетевшем куше, и как будто облегчение.

— Что же? Эх, вы! — укорял его смотритель, когда ретивая тройка промчала черкеса мимо окон.

— Жизни решишься, — махнул рукою воин.

— Да ведь вас двое, с оружием.

— А он без оружия, что ли? У него вот в возке баба, как сова, на золоте сидит, и та, небось, как пушка,

заряжена. И ведь как увязался, дьявол, — не отстает ни на минуту, на руки так и смотрит.

Долго еще после этого в пути оба мои спутника рассчитывали, сколько бы им пришлось за «накрытие». Цифра выходила порядочная, и поэтому разговор на эту тему длился всю ночь. — Вы бы, Семен Федорыч, его справа, вот этак. — Да! справа!.. А он бы меня левой рукой вот этак. Это разве человек, — это дьявол... К утру оба согласились, что тут действительно — решишься своей жизни, — и махнули рукой.

— Катит теперь, заливается! А до Иркутска доедет — лови щуку в море.

— Китайцам продаст.

— Да уж не иначе, что китайцам.

— Э-эх!..

Теперь этот самый черкес сидит где-то в остроге, но вероятно ненадолго [24].

Станочники [25]

(Продолжение)

— Нет, отданы мы под них. Да как же, ты посмотри: чьи луга, чьи хлеба, речки чьи само-лучшие, — все ихние. А мы на камнях сидим, пестрые столбы караулим. С какой радости? Нет, брат: царь сам своих людей им отдал, потому что осердился...

— За что?

— Да ты эту историю-то не слыхал, видно. Погоди, я расскажу тебе:

Раньше вся эта сторона Якутская была. Дыкан был у них царь. Росту ба-альшого, между плечей — печатная сажень, а с лица — нашему царю как есть родной брат. Жил этот Дыкан — где ныне Якутский город. Вот раз пришли к нему трое русских и стали жить в работниках. Живут, а сами все смотрят и на берёсте пишут: планты, значит. Вот раз ушли они в тайгу и две недели не приходили. Потом вернулись: Дыкан спрашивает: где, мол, были? А они говорят: пошли в тайгу и заблудились. Жена говорит Дыкану: что это русские все пишут? А он говорит: пущай. А русские-то, значит, к своим на низ ходили, планты снесли и

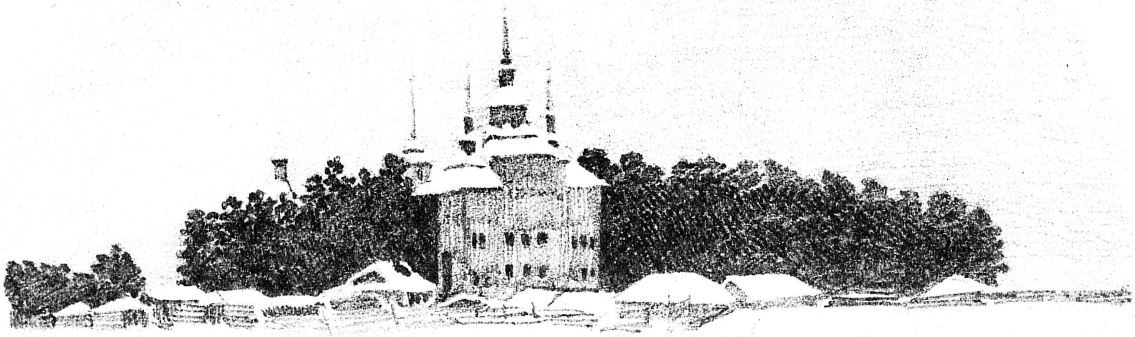
велели башни строить. Потом вернулись. Малое время спустя просят у Дыкана: дай нам земли на одну воловью шкуру. Дыкан посмеялся: что, мол, они будут делать на эдаком месте? Ну, и дал.

После того они опять скрылись, а дня через три приплыли вместе со своими, порезали шкуру в тонкие ремешки и обвели кругом, где ныне город, да за ночь башни из срубов сложили.

Дыкан видит: обманули его. Давай воевать. А русские навешали на стены ситца всякие, сукна красные, товары. Якуты бросились хватать, а русские их из пушек — перебили страсть! А Дыкан долго не давался, однако и его взяли. Взяли его и повесили на виселице, на холмике,—и по сей день холмик тот есть. Висит он день — жив. Другой висит — жив. Третий висит — тоже жив. Что тут делать? Вот казак один приставил лестницу, взлез туда к нему и ударил его... по лицу. Сейчас он и умер. Сняли его и послали в Петербург к нашему царю. Посмотрел царь и говорит: как же вы смели убить его? Почему этакого царя мне живьем не доставили? И осердился.

А между прочим, приехал в С.-Петербург Дыканов сын и явился к царю, да и говорит: как теперь ты, белый царь, нами владеешь, то пошли мне русских людей станки держать, потому — моим якутам никак невозможно. Приедет начальник какой, говорит им что-нибудь по-русски, а они не понимают. Возьмут и разбегутся, а твои начальники сердятся. Царь и говорит: бери! (Продолжение на стр...) [26]

Мы проехали уже мимо Романовской станции, мелькнувшей двумя-тремя огоньками на голом и диком утесе. Дорога убийственная: кошовку кидает по торосам [27], кованые полозья скрипят и визжат, наезжая на камни. Темно и тихо. Только вверху шумит тайга, слева река несет льдины, да по берегу — далёко, далёко горит пламенем большой огонь, кидая красный отсвет на окружающие снега, на черную глубь Лены и даже на дальний остров. Но вот по берегу все чаще и чаще попадаются большие барки, шитики. Мы



НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ В КИРЕНСКЕ

въезжаем по удобному взвозу на берег и сразу оказываемся среди целого города барок всякого рода, величины и формы. Прекрасный барочный лес лежит в порядке, — вообще видны следы кипучей работы. Дальше идут домики.

— Виска это,—барки строят здесь. А вот это лабазы для муки. Для прииску все. Отсюда на Потайбу на барках посылают масло, хлеб, мясо — всякие припасы. Еще далее — двухэтажные, отлично построенные дома. Кое-где светятся еще огни, — в окна видны занавески, зеркала. Это жилища служащих. В них идет тихая, отходящая ко сну, довольная и сытая жизнь.

А вот на площадке, освещаемой тем же заревом, только клубящимся тут же под горою, — стоит громадная фигура какого-то российского Федота или Ивана с огромной суковатой клюкой, в нелепейшей овчинной хламиде, — фигура, очевидно оберегающая эту приисковую сытость [28].

— Что за огонь это? — спрашиваю я у ямщика.

— А это землю оттаивают, копать будут, — отвечает он, направляя коней на отлично построенный из нового лесу, широкий и удобный мостик.

Мы опять едем тайгой, и на ее верхушках все еще виднеются отблески далекого огнища. Мы забываем, что не далее получаса нас метало по огромным камням на узкой дороге, под дикими скалами. Отсюда до Витима — проложена прекрасная ровная дорога, с мостами по одному образцу, гладкая, широкая.

Видно, это не дикая якутская Мача.

А вот и Витим.

---

26 октября. — 21 [верста] — Чуя (на той стороне). На Чуе подрядчик Шувалов снял почтовую гоньбу. За крестьянами осталась обыват[ельская] (500 р.) и конечно междудворная. Крестьяне озлоблены. Они гоняли ранее почтов[ую] гоньбу сами; но потом отказались гонять за 2000, предлож[енные] начальством. Тогда нач[альство] подыскало подрядчика и сдало ему за эту цену.

— Нас вот штрафами одними как одолевали. Чуть

незаписного ямщика послал, — глядишь — штраф да штраф. А у него вот поселенцы, бродяги возят — ничего!

То же и относит[ельно] экипажей: за крестьянами смотрели строго, чтобы лодки, экипажи, сбруя были в порядке и полностью, а Шувалов «почту что-есть на розвальнях доставляет».

— Да вот они, начальники-то! — говорит один из крестьян. — И помирают, так на земле не остаются: как заседатели, как исправники, как губернаторы... все равно: положат его в домовище, он и пойдет скрозь землю, и пойдет, земля их никак не держит. Не угодны богу... хоть они и говорят: нет будто бога. Врут!..

Живут без гоньбы — земледелием и подрядами на прииска, доставляя туда по Лене барочный лес.

— Война, говорят: вся пушнина стала. Прежде вот белка была 25 коп., а ныне по 10—12 не берут. Соболей по 20 р. не берут на круг.

— У нас войны нету.

— С нашим-то царем нету, а вот англичанин, да китаец, да француз [29].

— А пушнина от вас в Китай, что ли, шла?

— Как не в Китай! Вот белка красная — вся ему идет...

---

27 октября.—24 [версты] Рысьинский. 24 [версты] Паршинский. 19 [верст] Солянка.

Между Чуей и Рысь[инской] — встреча с писарем.

Между Рысь[инской] и Поршиной — серные ключи и больница. Больн[ой] и медв[едь] [30].

Мы проехали верст 13 от Рысьинск[ой] станции. — Эво кто-то пешком идет, — говорит мальчишка ямщик. — Писарь шуваловский! — вскрикивает другой.— Да как это он — в одной рубахе?.. и без шапки.

Все изумлены. Действит[ельно], через минуту мимо наших остановившихся одиночек пробегает фигура, без шапки и рукавиц, в сапогах и красной блузе. Писарь свернул немного в снег, посмотрел на нас каким-то мутным взглядом и быстро зашагал далее.

Лицо у него побито, изо рта течет кровь. Пока удивленные ямщики пришли в себя, он ушел уже около сотни сажень.

— Догнать надо — воротить!

И старший из ямщиков соскакивает с облучка и бежит за писарем. Видя, что между ними завязался спор и писарь оказыв[ает] сопротивление, — я приближаюсь тоже. Двое мальчишек — бегут за мною.

— Что тебе нужно? Ты это по какой, например, причине меня тащишь... — говорит писарь, упираясь в камни ногами. — Ты мне не сват, не брат... имеешь ли полное право?..

Но у ямщика свои резоны.

— Конечно-што... А между прочим — мы будем в ответе... Ты, например, застынешь, а мы почему тебя не воротили... отвечай из-за тебя... Это как?..

— Пусти!

— Не-ет, — говорит ямщик, ободренный нашим приближением. — Лучше же я тебе еще надбавлю, а уж не пущу...

Писарь сдается. Он пьян; сильно озяб, руки у него закоченели. Ямщики завертывают его в кошму, покрывают сверху другой, и мы едем.

По горам крутит снег, резкий ветер бежит сверху по Лене. Писарь, запевший было песню, издает какие-то взвизги и наконец звонит только зубами. Я предлагаю ему шубу.

— Благодарствуйте... а впрочем, сидя-то оно, знаете, хуже... потому что пробирает сильно...

Он натягивает шубу.

— Извините, господин... в таком положении: все эти разбойники-ямщики шуваловские, ограбили вот, избили... это какой закон? Хотели совсем убить...

Верстах в трех на снегу лежит его шапка, пальто и небольшие салазки.

Оказывается, однако, что шуваловские ямщики на этот раз явились защитниками угнетенной невинности.

По приезде на станок писаря встречают всеобщим сожалением, что он там не околел.

— Мало ребята наклали ему... дураки! Дитю малую

в экой мороз везти на салазках. Есть ли крест у тебя? Варвар!..

Оказалось, что спасенный нами писарь, поссорившись с любовницей, — с целью повидимому жесточе досадить изменившей возлюбленной, — схватил четырехлетнюю девочку и повез ее в одних легоньких сапожках. На Витим хотел увезти.

Теперь он похваляется напиться крови своей Дульциней.

— Верно. Завтра кандалы надену...

Дульцинея обращается к окружающим крестьянам, прося засвидетельствовать и поставить караул. Я подхожу к одному из них.

— Слушайте. Почему же вы не сделаете с ним чего-нибудь? Ну, отправьте его в Витим, что ли. Ведь он может убить ее.

— Не наше дело, господин. Еще бы: они, шуваловские, промеж себя содомят, а мы отвечай? Не может быть.

В конце концов, расходившегося писаря уводит какая-то бабенка с мужем, причем, для большей убедительности, играет с ним, лаская и обнимая его повидимому очень привычными жестами. Другие бабы, принявшие явно сторону любовницы, тотчас же стаскивают в избу ее пожитки и прячут их.

Огорченная Дульцинея начинает чувствовать себя центром всеобщего внимания, разнеживается, лежа на хозяйской постели, и испускает целый поток жалоб, перемешанных с очень циничными излияниями.

— Пу-у-щай, — говорит наконец она, томно закрывая глаза. — Ежели он моей добродетели не чювствует, — может, еще вши голову-то съедят... [31]

---

28 октября.—23 в[ерсты] — Курильская, 29 [верст]— Дубровная [32], 19¼ [верст] — П[ьяно]-Быковс[кая], 17 в. — Частых. Шувалов гоняет 5 станков: Чуя, Рысья, Поршино, Солянка, Курильская.

Между Солянкой и Курильской опять серные ключи. Солянка — богата солью. Кроме того соляные ключи в Ичоре (?) [33].

Примеч[ание]. От границы Олекминского ок[руга] до Витима—народ «чистый, щеголеватый», держатся с достоинством. За Вит[имом] изменяется. Женщины за Витимом похожи на расп[утных].

Ниже Дубровной в четырех верстах — Бачинская Телка. Пьяный Бык — выше на 1½ в[ерсты] станции того же имени.

---

29 октября. — 26 [в.] — Иванушкинская, 26 [в.] — Мутинская. [23 в.] — Ичера М. Ив. и Мутинская дер[евня].

---

30 октября.—31 [верста] — Дарьинская, 20 [верст]— Ильинская, 23 [версты] — Ложинская, 23 [версты] — Вишнякова.

---

31 октября.—28 [в.] — Горбовская, 26 [в.] — Алексеевская.

Между Вишняковой и Горбовской — селение Чечуйское, в котором волостное правление [34].

На П[ьяно]-Быковскую ст[анцию] мы приезжаем ночью. Деревня находится на другой стороне и теперь отделена от станка ледоходом. На этой же стороне под горой стоит домик, где живут ямщики и устроена временная почтовая станция. Ее одинокий огонек мелькает на фоне густой тайги. Рядом в большой яме горит огонь, валит дым, по временам обливая красным светом дикую окружающую картину.

Ночевать здесь неудобно. Ямщики сами предлагают ехать далее, — но нам предстоит одна из худших станций на протяжении всей Лены. Уже давно по сторонам нашего пути, то справа, то слева, в реку вдаются массивные каменные громады, под которыми приходится пробираться по кучам навалившихся камней или по голому гладкому льду. Это так назыв[аемые] «щеки», или по-местному — быки. Летом, когда вода стоит высоко, эти быки торчат прямо из воды, на поворотах быстрой Лены, как бы поджидая тяжелые, неповоротливые барки и неуклюжие плоты. В четырех верстах ниже ст[анции] Дубровной мы проехали мимо так на-

зыв[аемой] Бачинской Телки, о которую некогда разбились барки купца Бачина. Теперь нам предстояло взбираться на хребет Пьяного Быка. Название это, под которым он известен очень далеко, утес получил с тех пор, как «забодал» целый транспорт спирту. Разбив вдребезги барку, изломав бочки, которые носились вокруг него по волнам, бык выкупался в хмельной влаге, и с тех пор за ним утвердилось имя — Пьяного.

— Трудно ехать-то, господа, — обратился к нам ямщик, — придется выходить, на угоры-то здыматься.

— Скоро ли?

— Да и сейчас вот тоже угор... саженях в пятидесяти.

Он выпустил лошадей во весь дух, но, пробежав на подъем сажен десять, лошади остановились, и кошовка стала катиться вниз. Мы вышли.

Узкая дорога круто подымалась вверх. По бокам шумели деревья. Вечер был темный. Укатанный снег скользил под ногами и еще затруднял без того нелегкий подъем.

Вершины растущих внизу сосен давно уже стали вровень с нашими ногами, а дорога все еще идет на гору, теряясь в темноте. Снизу, торопливо брякая колокольцами, взбегают лошади, — каждую минуту останавливаясь и тяжело переводя дух.

Наконец мы на вершине утеса. Луна еще не взошла, небо заволочено мглою. Влево, далеко внизу, чернеет широкая темная излучина реки между белыми, покрытыми снегом заберегами. Над нею несется густая мгла, заволакивая высокие горы противоположного берега. Справа шумят лиственницы и сосны. В эту сторону с пади в падь, с горы на гору — идет дикая, необитаемая, непроходимая тайга.

— Беды, — говорит ямщик, отирая вспотевший лоб.

Наши спутники — спиртонос и отст[авной] чиновник — подходят снизу.

— Бывают тут у вас несчастья? — спрашиваю я.

— Как не бывают! Этто лошадей что есть на лесинах вешали. Горячего коня как тут удержишь!.. А раз-

бежится на повороте-то прямо на лесины и вскочит,— бывало это... не дай господи.

— Да, тут один «горный» во весь мах на тройке спускается... — раздается в темноте резкий голос спиртоноса.

— Какой горный? — спрашиваю я.

— Ну... «горный» — сами догадывайтесь: инженер,— насмешливо объясняет спиртонос.

— Не к ночи помянуть, — робко добавляет ямщик и пугливо оглядывается на тайгу. В тайге тихо... точно кто настораживает чуткое ухо. Только временами по верхушкам протянет верховой ветер, да снизу из-под скалы доносится треск. Это бык балуется, разбивая вдребезги набегающие на него льдины.

— Да, — продолжает спиртонос, как будто бравируя, — важно катался бывало с горы с этой... Рассказывали мне старые ямщики. От колокольцев гром на три версты. Всполошатся все, — ждут — не начальник ли?.. Никого и нету.

— Да, — тихо добавляет ямщик, — а то бывало бежит под быком лодка на пяти веслах, так мимо гольца струю и режет. Выбегут встречать — никого!..

— А теперь — бывает это?

— Меньше... а между прочим — куда девается...

Действительно — куда девается? Где же и проживать еще темной, нечистой силе как не здесь, в диких расселинах, где слева бурлит пучина, а справа стоит неведомая лесная дичь. Сойди в сторону версты на три — и уже забредешь в чащу, где не бывало ноги живого человеческого существа. Только далеко, далеко по горным речкам бродит дикий тунгус, для которого каждая лесина трепещет своей особой жизнью могучего и злобного фетиша [35].

— Ну, садитесь, с богом! — приглашает ямщик до нового подъема или слишком крутого спуска; по отлогостям лошади бегут бойко, и колокольцы взапуски, как-то крикливо и гулко, будят в падях чуткую таежную тишь.

А вот и спуск... Дорога узкой полоской теряется в темной пади. Мы выходим из саней и идем вперед, по-

ка ямщики тормозят сани, перевязывая полозья веревкой. То-и-дело падаем и подымаемся, а сзади, упираясь ногами, скользя, падая под коней, — ямщики употребляют все усилия, чтобы сдержать рвущихся лошадей. Спуск оказывается для них еще тяжелее подъема. Три таких пади пересекают нашу дорогу на расстоянии семнадцати верст [36].

4 ноября.—Из Киренска. — 3¾ [версты] Заборье. — 18 [верст] Макарьевская. — 22 [версты] Потаповская.

5 ноября. — 14 [верст] Красноярская. 17½ [верст] Улькан. 21 [верста] Марковская. 23 [версты] Назаровская. 23 [версты] Суховская.

6 ноября. — 24 [версты] Какуй. 22 [версты] Подымахинская. 27 [верст] Якуримская. 18 [верст] Усть-Кут. (447½ до Верх[оленска]).

7 ноября. — Орлинская волость. 16 [верст], Туруцкая.—17 [верст], Банная, 18 [верст], Рига.

8 ноября, — 18 [верст] Омолой, 23 [версты] Боярская, 20 [верст] Скокинская.

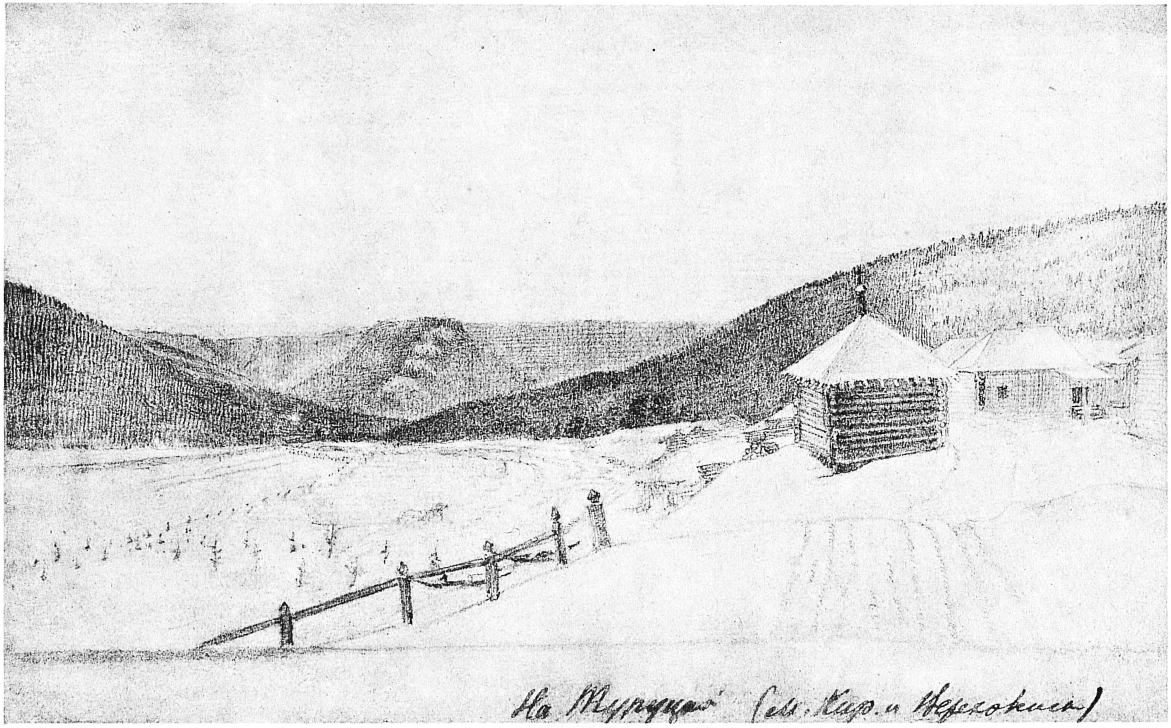
9 ноября—22 в[ерсты] Тарасовская, 17½ в[ерст] Орлинская, 20 в[ерст] Басовская, 20 в[ерст] Дядинская, 15 в[ерст] Суровская, 17¼ в[ерст] Головская, 18 в[ерст] Шаманская, 19½ в[ерст] Закаменская, 20 в[ерст] Грузновская.

10 ноября — 27 в[ерст] Усть-Илгинская. 30 в[ерст] Жигалово.

С Усть-Илги — Верхоленский округ (гран[ица] м[ежду] Гр[узновской] и У[сть]-Илгинской).

Чем ближе к Иркутску — нравы населения портятся. Уже не слышно уверений: «никто не тронет», «кому нужно» и т. д. Напротив, сами ямщики не советуют оставлять «бутори» на станке, — «народ, мол, здесь со всячинкой...»

На Банной станции ямщик вносит в ямскую мешок,— сосед молол на своей «калотовке» — в виде соседской услуги. «Как же, мол... по-суседски... Друг об дружке, а бог за всех...» Открывает мешок—и в нем оказывается одна мякина, да и то овсяная, почти без признаков



НА ТУРУЦКОЙ СТАНЦИИ (МЕЖДУ КИРЕНСКОМ И ВЕРХОЛЕНСКОМ)

муки. Ямщики хохочут. Удружил соседушка! Не зевай!.. Начинаются рассказы об этом самом соседушке.— Из поселенцев эдакой-то редко попадается.

Особенно негодует один старик, лет восьмидесяти, с совершенно черной бородой и очень бодрый. Он называет нас приятелями, расспрашивает куда и откуда едем, радуется за нас, — вообще «проявляет», как мы говорим в под[обных] случаях, «искру». Он широко распространяется на тему о стыде, совести, о душе и боге.

— Пешней [37] бы всех... туруцких этих да и банных тоже... — желчно произносит молодой парень, ставящий к огню свой чайник. Очев[идно] этот ямщик из б[олее] или м[енее] отдаленной деревни. — Плут плута надул, — добавляет он, когда обманутый мужик удаляется со своей мякиной.

— И верно, что плут плута... Это справедливое слово.

Начинаются разоблачения об ушедшем.

— И ты хорош, — шипит обличитель, когда и старик, вежливо попрощавшись с нами, выходит. — Верно, что всех вас, с краю, пешней бы, варваров... Небось заходил вот посмотреть — нельзя ли вас к себе зазвать, да чайком попоить... как поселенцев тоже...

— Это зачем же?

— А затем, — такое его дело: этто поселенцев сколь о с ы м а л. Зазовет к себе: «Ах, вы бедные, ах, вы несчастные. Заходите ужò — чайку попить». Ну, он и идет к нему, — думает, на чести. А напьется, — тот и пристанет к нему: ондай за чай, да ондай за чай! Лонись [38] поселенца беднягу всего осымàл. Блузу взял да бродни. Вот он какой! Еще поселенцы-то смирные: не пожгут его, сукина сына...

Здесь уж не только не предлагают «хлеба-соли», как в других места, но даже за ночлег требуют плату и спорят, что мало. Зато народ — чисто русского, «новгородского» обличья, говорят по-русски без примеси инородческого наречия, только шепелявят: «шештой», «ражговаривать» и т. д.

Обстановка избы напоминает северные избы волог-

жан, архангельцев и вятичей: полати с брусом, большая широкая печь, зыбка на длинном гибком шесте.

В Михайлов день пришлось заночевать на Скокинской станции (Макаровской волости). По деревне идет гульба. — «Помочишку составили, лодки вырубать из торосу», — а у соседей праздник настоящий.

В избу входит, покачиваясь, девочка лет десяти.

— Дуня пришла, — господи! Да никак пьяна? — с веселым смехом окружают ее женщины хозяйской семьи.

— Девять рюмок выпила, — заявляет девочка, — у тятьки-то...

— Кто ж тебя довез сюда-то?

— Кто довез: сами пришли...

— Девять-то верст... Хлопуша!..

— Чего мне хлопать-то...

Девочка берется за виски... Очевидно хмель взял свое, и бедный ребенок не протрезвился еще, несмотря на девятиверстное путешествие по глубокому «убродному» свеже-павшему снегу.

Ее расспрашивают, находя повидимому довольно естеств[енным], что ее хорошо угостили.

— Ну... да как не напьешся... чать, у отца была... не у кого... Чем же тебя подчевали?.

— Аладьям, мясом, дрожжалкой, крупой, да яблочком (картошкой), да рыбам; да пирожком...

— Хороше же... А кто вино подносил?

— Да матушка и подносила...

Мы вмешиваемся с осуждением подобных угощений ребенку, и разговор тотчас же принимает тенденциозный оборот.

— На, да такое дело... Рано будто.

— С этих пор напиваться... Когды же худая баба будет, — иронизирует хозяин.

— А мне-ка чего не пить... Даровое подносят... — говорит ребенок очевидно хорошо заученную фразу.

Глаза девочки потускли, подвелись синевой; пухлое, круглое личико посинело и осунулось; на нем виднеется страдание, — но она крепится, топчется пошатываясь по избе в своих неуклюжих «чирках», напоминая большую бабу, только в миниатюре... А молодые невестки,

красавицы, в самом русском стиле, только что без кокошников, ходят за ней и благодушно хохочут грудным мелодическим смехом...

— Шапку потерял, — вваливается в избу пьяный зобач, с белыми льняными волосами. — Шапку соболью обронил...

— Ну, да у нас ты без шапки был.

— Верно, что без шапки, — подтверждают все.

— У кабака, надо быть, обронил... А какова шапката?..

— Шоболья...

— Ну шоболья, так уж «шмыли» небось...

— Шмы-ыли... чего толковать. А дорога ли?

— По пятачку лапка... шчитай.

— Ну, прощайся... нечего толковать...

— Соболья, так прошшайся... Вон лонись у меня на станку шубу сперли, восемнадцать рублей стоила. Чего поделаешь...

— Нар-родец у нас... — сентенциозно произносит зобач и вываливается за дверь, вынося на подымающуюся к ночи мятель свою белую лохматую голову... [39]

---

11 ноября 21 [верста] — Пономаревская (Шам[анский] Кам[ень]). 22 в[ерсты] — Петровская. 19½ [верст] Коркинская. 16 в[ерст] — Тюменцовская. 25 в[ерст] — Верхол[енск].

Между Петровской и Корк[инской] шам[анский] камень [40].

14 ноября. Из Верхол[енска] — 36 в[ерст] Качуг. 24 в[ерсты] — Хорбутовская, 31 в[ерста] — Большая Манзурка.

15 ноября 31 в[ерста] — Хоготовская, 29 в[ерст] — Баяндай, 25 в[ерст] Ользоновская, 31 в[ерста] — Усть-Ордынская.

16 ноября 31 в[ерста] — Оек, 12 в[ерст] — Хомутово, 25 в[ерст] — Иркутск [41].

Из Иркутска 18 ноября [42].

Послания [43]

Соб[орные] посл[ания] ап[остола]

Иакова.

Бывайте же творцы слова, а не точию слышатели, прельщающе себе самех (гл. I, ст...).

Зане аще кто есть слышатель слова, а не творец, таковый уподобися мужу смотрящу лице бытия своего в зерцале.

Усмотри бо себе и отъиде и абие забы, каков бѣ. Ib [44] (ст...)

Суд бо без милости не сотворшему милости: и хвалится милость на суде (гл. 2, ст. ...) [45].

Такожде и вера, аще дел не имать, мертва есть о себе.

Но речет кто: ты веру имаши, аз же дела имам: покажи ми веру твою от дел твоих и аз тебе покажу от дел моих веру мою (гл. 2, ст. ...) [46].

Ведущему убо добро творити и не творящему, грех ему есть (гл. 4, ст. ...) [47].

Ап. Петра:

Ни яко обладающе причту, но образи бывайте стаду. Особ[ое] посл[ание] (гл. 5, стр. 3) [48].

Сибирское наречие [49]

Помотроси́л (снег) [50].
Новòй — иной (Ирк[утская] губ[ерния]).
Мне-ка — не надо.
Лони́сь, зиму́сь, лонскòй год [51].
Однорядка [52].
Вольна, вольна! Э-вольна вот!.. [53]
Вишь дворня у нас пристрашная... [54]
Фарт [55].
«Теперь божья дело большая» (татарин).
Чéча (цаца).
Ондай (отдай).
Пря́э́йка (перегон для обозов).
Угòр, узгорок, тянигус, взлобок [56].
Полякúшовцы (на Лене) [57].
— Обозы идут?
— Идут.
— Ну, обозы идут, и мы живы будем (Бояроновское).

Ку-у-у-д-дà... э-э, помешовый, чтоб-те язвило-о-о!..
Покормёнок у нас (на Лене) [58].
Зубы по новому месяцу [59].

Умер от напиток этих. Когда его анатомировали, — в сердце бутылку водки нашли!! И теперь не умер бы, да только упал и ударился в сердце. Вот оттого, собственно.

Ну, современем я так думаю, от женщины и зло и добро происходит.

«Отрывки о Сибири». Гейденштром (изд. 30 г.).
Древняя и новая Россия 75—76 года, статья из времен Алексея Михайловича (об усмирении балаг[анских] якутов) [60].
Пам[ятная] кн[ижка] Як[утской] обл[асти] 1, 2, 3 [61].
Об Омоллоне у Щукина (?) [62].
В Сборнике Сибири (в 76—77 году) ст[атья] Соловьева об як[утской] мифологии [63].
Колдунья Аграфена (пещера на р. Лене) [64].

— Ну что, как дела?
— Дела не хвали. Дела плохие...
Помолчав:
— Вот какие дела: говорят, в каждом тепереча переулке карета станет бегать. — Ну!.. куда же тепереча извозчикам деваться? Теперь плохо, плохо, ну все же будем говорить: пропитание. Иной на двух лошадках— себя кормит, семью воспитывает, а тогда что будет?..
— Чего только смотрят! Ежели такому делу быть — опять российский народ збунтуется [65].
— Однако не малая сила.

Отрывок (к расск[азу] См[ерть] як[ута] [66]

Он был христианин.
Если бы он сохранил еще веру своих предков, его одели бы в парадные одежды, посадили бы на землю, и насыпали бы над ним высокий курган, где он покоился

бы со своим любимым конем, в полном вооружении. Или, положив в середину древесного ствола, повесили бы между ветвями высоких деревьев, и они шумели бы над ним, а свободный ветер ласкал бы его, и дух его носился бы на широких крыльях ветра. Или его положили бы в срубе, под легкой ладьей; в носу ладьи укрепили бы три стрелы, остриями на Восток, и они указали бы ему путь к вечности.

Но он был христианин, и родные не знали, что с ним сделать. Об этом знал поп, — но он был далеко, — и два поселенца. Жена, утирая слезы, послала за поселенцами...

Их было двое, — один бас, другой тенор [67]

Отрывок (Сон Макара) [68]

Что же это? — сказал он. — Ведь есть же у меня на земле настоящие праведники... Глаза их ясны, и лица светлы, и ризы без пятен... Их сердца мягки, как добрая почва, принимают доброе семя и возращают крин сельный и благов[онные] всходы, запах которых угоден передо мною. А ты посмотри на себя.

И Макар почувствовал, что все взгляды обратились на него, и сам устыдился. Он чувствовал, что глаза его мутны и лицо темно; волосы и борода всклокочены, одежда изорвана. И хотя задолго до смерти он все собирался купить сапоги, чтобы предстать на суд, как подобает хрестьянину, но все пропивал деньги и теперь стоял перед Тойоном, как последний якут, в дрянных торбсишках. И он пожелал провалиться сквозь землю.

— Лицо твое темно, глаза мутны, и одежда изорвана. А сердце твое поросло бурьяном, и тернием, и горькой полынью. Вот почему я люблю моих праведных и отвращаю лицо от подобных тебе нечестивцев.

Но Макар, хотя чувствовал стыд собств[енного] существования, все же нашелся и продолжал свою защиту.

— О каких это праведниках говорит Ст[арый] Тойон? Если о тех, что жили на земле в богатых хоромах в одно время с Макаром, то он их знает. Глаза их ясны, потому что не лили слез столько, сколько их пролил

Макар. И лица их светлы, потому что обмыты духами, а ризы их сделаны руками Макара. Сердца их мягки, но на них не выросла жалость. Они стали стеной и закрыли от Макара свет солнца и сказали ему — тебе здесь не место. Они брали у Тойона доброе семя, но ему, Макару, выдавали подменное. И вот отчего его сердце порастало во мраке тернием, и бурьяном, и полынью... Горькою полынью, отравившей его существование. Он теперь помнит, все помнит. Он видит, что и он родился как другие, — с ясными открытыми глазами, в которых отражались земля и небо, и с чистым сердцем, готовым раскрыться на все добро в мире, и если теперь он желает скрыть под землею свою мрачную позорную фигуру, — то в этом виноват не он. А кто же?.. Он не знает... Но он знает одно, что в сердце его истощилось терпение и он сейчас на глазах Ст[арого] Тойона — развеет его праведников, как веял при жизни мякину, пуская ее по ветру [65].

Конечно, если бы Макар мог видеть, какое действие производила его речь на Ст[арого] Тойона,—он усмирил бы свое сердце. Но он этого не видел: а не видел потому, что в его сердце вливалась жестокая ярость...

Как мог он до сих пор терпеливо выносить это ужасное бремя своей жизни?.. Он выносил его лишь потому, что вдали перед ним, как звезда, мерцала надежда; он жив, стало быть может, должен еще испытать лучшее... Теперь он стоял у конца, и надежда погасла... Тогда во мраке сердце его переполнилось слепою яростью, и он стал засучивать рукава, готовясь вступить в драку... Он знал, что при этом ему страшно достанется, но даже в этом находил какую-то жестокую отраду: если так, — пусть же его бьют... Пусть бьют его на смерть, потому что и он будет бить... тоже на смерть.

Но Ст[арый] Тойон остановил его, говоря:

— Погоди, барахсан (бедняга), — не забывай, что ты стоишь не перед земными властями... У меня есть правда...

И Макар увидел, что его жалеют. Тогда сердце его смягчилось, и только когда он вспомнил всю свою бедную, горькую жизнь, от первого дня до последнего, —

то ему тоже стало самого себя невыносимо жалко... Он заплакал.

И Старый Тойон также плакал... И плакал старый попик Иван, и молодые божьи работники лили слезы, утирая их широкими белыми рукавами...

А весы все колыхались, и деревянная чашка подымалась все выше и выше...

Однако он плакал так сильно, что его старуха, стряпавшая у камелька ячменную лепешку, решилась его разбудить...

Он открыл глаза и с удивлением оглянулся... Скудные лучи, пробираясь сквозь льдину, чуть-чуть освещали его юрту. Наклонные черные стены склонялись над ним, как стенки гроба, а по лицу текли слезы...

Это были уже горькие слезы о том, что он жив, что он не умер действительно.

Станочники[70]

(Продолжение)

— Стали тут, братец мой, русский народ в якутскую неволю гнать. Кого в зачет некрутчины, кого помещики ссылали за провинности, а которые сами от тесноты на новое место шли: начальники много дураков сманили: там, говорят, — гор золотых много...

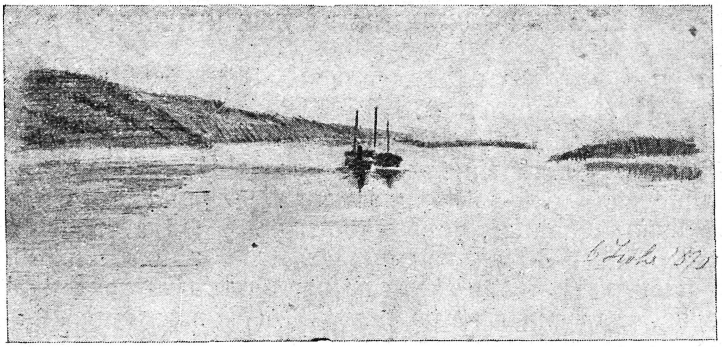
— Почему же ты говоришь про якутскую неволю?

— Как же не неволя, подумай: чьи пашни, чьи луга самолучшие, чьи выгоны? Вся под якутами земля. Из милости скот вместе с якутским ходит... Сено по двадцать р[ублей] иную пору воз покупаем. Это ли не горе?.. А уйти — куда же уйдешь? Гоньбой только и кормимся, да и то платой ноне беда стеснили! Видят нужду — тут и плату сбавляют. Это ли не неволя? Э-эх!..

Старик закашлялся...[71]

НА ВОЛГЕ

НИЖЕГОРОДСКИЕ ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ



7

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1886—1888 годов.

[Романтические грезы] [1]

— Жегули!

— Сергей Иваныч! Выходи-ко. Вот Жегули, — кричал, наклоняясь над лесенкой, только что вошедший на верхнюю палубу парохода купец своему случайному спутнику.

Из люка показалась голова, и затем до половины высунулась фигура молодого человека. Ему было на вид лет тридцать. Небольшие белокурые усы, курчавая клином бородка делали его еще моложе, но в выражении лица и особенно глаз виднелось что-то странное.

Он подымался из люка так, как будто механически повинуясь зову случайного спутника, следившего за ним сочувственно обеспокоенным взглядом. Так смотрят на ребенка или на больного.

Голубые глаза молодого человека перебегали по разным деталям чудной картины, которая развертывалась перед ним, но их выражение не изменилось; они глядели все так же ровно, и в них светилось что-то, пока-

зывавшее, что молодой человек... [одна строка не разобрана] его внимания, как будто занято чем-то, что было в его сердце... он смотрел внутрь себя.

Между тем картина действит[ельно] была чудная. Солнце садилось за тучи, но косые лучи его касались еще взволнованной поверхности реки. Одна сторона — горный берег Волги, задернулась глубокой тенью. Другая выступала... [два слова не разобраны] бугров и холмов и... [два слова не разобраны] тонула в сумраке вечера.

— Ну, выходи, выходи, — произнес тот, который звал Сергея Ивановича. [Две строки стерты.]

Смутный взгляд молодого человека как-то механически скользнул за ним, и вдруг что-то вроде ужаса и жесткого гнева промелькнуло в этих глазах. Лоб наморщился, губы сжались, будто от какого-то острого страдания, на мгновение голубые глаза глядели растерянно и с беспомощностью человека, получившего неожиданно смертельный удар... [2]

— Эх, добрый молодец, о чем загадал! Ну, да было всего, было погуляно, попито, красных девушек загублено... Тяжела была рука атамана, а острая сабля пила часто и братнюю кровь... Посмотри, добрый молодец, на божий гром... Бьет молонья и в землю, и в реку, и в мужичью лачугу ударит, да редко... Чаще же падает на боярские хоромы, потому что они возносятся выше... Так и мы, добрые молодцы. Жила в нашем сердце и вольная-воля и злая корысть... Хотели отвести душу на ворогах, хотели и пожить-погулять... Что взять с голытьбы?.. Нас, правда, боялся и волжский бурлак, как бы, грешным делом, не задела с размаху бурлацкую голову молодецкая сабля... Но к нам же шли они с жалобой на купцов и подьячих... Над купцами да над подьячими тешили мы больше свою молодецкую удаль... Да, паренек... Мы были здесь божьей грозой, а гроза страшна всем... Мы несли сюда к матушке Волге свою лютую печаль, свою месть, свое горе... Но это было также и народное горе. Для нас это была наша печаль, для народа — печаль народная, и в наших сердцах кипел

тот же гнев, как и в сердцах наших братьев... И посмотри, паренёк... Народ забыл наши шалости над его сыновьями, но нас народ помнит, об нашей грозе сложил песни, нашим именем плещутся в бурю говорливые волжские волны, и эти горы-громады живы в народе нашею памятью. А вы... вас нет... Вы носите только чужое, а не свое горе... Где ваши песни, где ваши горы, что останется от вас над этою рекою, когда вас не станет?.. Когда забудут и нас, чьим именем будет говорить она сердцам ваших правнуков?.. [3]

[На Волге]

— Ширяев буерак [4], против Царева кургана.

— Ишь, шихарёк-то [5], отдельно стал. Чудное дело...

— Царев курган называемый.

— Отчего? — спросил я, ожидая услышать изв[естное] предание [6].

— Царевшино село стоит... и мужички живут в ей. От этого самого... Царев курган.

— Царевщинский курган — оно, знаете ли, неудобно например произносить. Поэтому говорится Царев. Больше ничего. Деревня сама по себе, а от нее курган.

— Земли пахотной четыре десятины на нем, на кургане, — сообщает практичный мужичок. — Хлеб родит.

— Ну? — сомневается какой-то лапотник. — И где же тут хлебу расти?

— Право, растет. Летошний год хорошо уродился. Ноне не знаю, сеяли аль нет.

— Да тут и уродится, ему не рад будешь. Как его оттеда сволокёшь?

— Ничего! Это он отседа так оказывает, будто крут очень. А с той стороны круто же, да не столь...

— Глянь вон, с самой этой кручи ребятишки зимой на салазках как мызгают... И-и!..

Мы миновали Ширяев буерак, пароход легким поворотом свернул за гору, крутым обрывом падавшую в Волгу. Я стал на корму и глядел назад.

Волны разбегались сзади широкой полосой. Левый берег, хваченный лучом солнца, вырезался яркой зеленью ив и ветелок. Правый круто упирался в реку,

обрывами, над которыми робко стоит густая зелень, взбираясь по наклону. Чем дальше, тем гуще кудрявые верхушки, бойко и весело убегающие к вершинам от обнаженных обрывов.

Вдали, вырисовываясь лысой верхушкой, стоит странный шихарь. Так и кажется, что это произведение не природы, а человеч[еских] рук; его грандиозность говорит лишь об уходящем в темную даль величии былых поколений. Так и ждешь, что на верхушке мелькнут вдруг резкие очертания стана у богатырской палатки.

Курган уменьшался, подергиваясь дымкой. А за ним по изгибу реки стояли уступы Соколовой горы.

Солнечные лучи, прорвавшись из туч, ударили в ее подножье и тихо поползли вверх, рисуя в отдалении то крутые обрывы, то подъем величавый и ровный, то зеленые верхушки.

Волны плескались по бокам парохода, и панорама Жегулей тихо уплывала назад, сменяясь новыми буграми и новыми буераками.

— [7] Д-э-э-э... Положение Турции, конечно. Одним словом, какой-то австрияк выразился: смерть Бисмарка, смерть Вильгельма — смерть Турции [8].

— И кому она нужна? — недоумевает френологический [9] господин, отправляя в рот кусок котлетки. — А между тем — существует. И даже вот воевали мы, а ничего не поделали.

— Д-э-э-э!.. — опять цедит кадетик. — Это оттого, что у России не было флота. А теперь есть черноморский флот. Теперь Россия не боится Англии. Чуть-что— русский флот... э-э-э... отправляется к Дарданелле... ну... и запирает вход...

Френологический господин, придерживая руками косточку и усиленно стараясь разгрызть твердый кусок, что-то мычит, давая понять, что у него возникли некоторые сомнения...

— А-а-а она... Англия... не допустит....

— Англия? Не беспокойтесь. Что она может сделать? Если Россия не успеет, так Греция запрет. Да-а...

Теперь Греция, сделайте одолжение, держит ухо востро...

Френологический господин повидимому продолжает беспокоиться; он издает невнятные звуки, которые однако не получают большей определенности, так как жесткий кусок надолго поглощает все его усилия.

— Кулаком перекрещусь, вот... Во имя отца и сына и св. духа. Аминь! Все равно действует. Да! Ты как полагаешь?

— Кулаком, говоришь?

— Да, кулаком.

Один из слушателей мотает головой не без укоризны. Какой-то сурьезный мужик, долго молча прислушивавшийся к разговору, останавливает молодого человека:

— Нет, ты погоди. Это ты свыше бога говоришь.

— Что такое?

— То есть, что например тебе так дозволено, чтобы кулаком крестное знаменье творить... Не может быть, это не действует.

— Нет, действует.

— Как?

— А так.

— Это неправильно, — раздается гул разных — и православных и раскольничьих голосов.

— Нет, правильно, — заявляет фабричная чуйка. — Вот был у нас тепериче парень один, которому парню машиной все пять пальцев отхватило. То есть даже вовсе... одна култышка осталась. Вот и думайте, как тому парню быть?

Пример производит сенсацию.

— Так ведь то беспалый, а у его вить все пальцы...

— Нет, вот вы теперича придумайте. Ежели парню левой рукой креститься — так это уж вовсе не подобает.

— Как можно!

— Ну, а на правой как ты персты сложишь?..

— То-то вот и есть, — торжествующим тоном произносит молодой человек с жетоном и мигом устремляет-

ся к столику, куда его призывают стуком чайничной крышки.

Разговор продолжается [10].

---

[11] Попищи эти, сколь ни учат их, надо бы уж быть учены, а нет — хуже вот мужиков. Плюнул вот — не растер... тьфу!..

— Небось попа не пожалеешь.

— Чего его жалеть-то... Срамости этакой...

— Гляди, в кабаке-то запал.

— Это он с собой запасает, я погляжу... [12]

— Откуда?

— С Ветлуги?

— Чать плоты пригнали, теперь назад?

— Нет, не назад еще. Плотишки к Козьмодемьянску пошли, а я тут по делу.

Глаза у мужика хитрые, колющие, но слушает беседу с б[ольшим] интер[есом].

— Что леса у вас выводятся?

— Коли не выводятся! Конечно.

— Гля своего веку хватит, — говорит мясник, — и гля детей.

— Гля детей, пожалуй, маловато.

— Вот уже детки и помянут родителев.

— Некому поминать... Таких не видится, кои бы лучше родителев были, а все хуже...

— Чать тоже родители в ответе.

— За детей-то?

— Да.

— Не может быть.

— Как не может быть, — ведь уж хорошие родители и детей поведут по-хорошему.

— Эх, вот уж нет. Сам знаю, рядом шабры у меня. Отец какой хороший, страсть!.. А сыны, то есть никуда не годятся... Отец-то миллион нажил, а сыны проживают...

— А отец-то как нажил, хорошо ли?

ВОЛЖСКИЙ ВИД

— Хорошо! — с убежд[ением] говорит лесоторговец...

— Без греха?

— Безо всякого... Конечно, — продолжает он, будто вспомнив что-то. — Начало-то положил так, что, одним словом, подошла линия.

— Какая?

— Ну, помещица тут, а у помещицы управляющий... Он то есть прямо сказать — и в полесные не годится, а она его сначала в объездчики, а потом в управл[яющие].

— Ну?

— Ну, тот мужик-то ни с чего начал, просто сказать—беднота... А с управляющ[им] поладил... 1½ ста тысяч нажил. Вот!

— Как же это, хорошо?

— Хорошо.

— Украсть?

— То есть как это украсть,— они все-таки как следует, по форме. И тоже малую часть помещице давали...

— Это значит — плохо лежало, он и взял.

— Это как?

— А так. Помещица-то глупа...

В глазах лесоторговца сверкает веселый огонек.

— А они ее и обработали. Это как, хорошо разве?

Лес[оторговец] задумывается.

— Да ведь, где они, помещики-то, не глупые?..

— Ну, чему же теперь он сына выучит? Он его станет учить, а сын скажет: у тебя у самого-то краденое.

— Нет, это он не может. Ведь оно дело-то незаметное. Они ведь помещице тоже малую часть...

— Нет, ты то говори: отец-то рос в труде, а сын в баловстве, вот что.

То-то ты вот челов[ек] какой. Нравоучительный.

Поп: — Нет, ты скажи, какие у тебя есть данные, чтобы меня учить?. Ты кто?

— Я-то?

— Ты-ы! Неч-честивец!

— Я мужик!
— Чем занимаешься?
— Насчет лесу.
— Насчет лесу?
— Да.
— Ну вот, ты Козьмодемьянский насчет лесу, а какие у тебя данные, чтобы учить меня? А?
— Нужно тебя разговорить.
— Не смеешь. Я тебе теперь не то что худого и дурного сказать не могу. Я пьян.
— То-то... оттого и в черковь к вам хорошие-те мужики перестали ходить, что больно вы пьяны.
— Молчи! Ты что ко мне пристаешь? Ты приди ко мне, когда я не яды, не пияй. Тогда поговорим. Ге-ге-ге...

Свящ[енник] подбоченивается и начинает гордо расхаживать по палубе.

Слушат[ели] хохочут.

— Ишь, жеребячья порода [13].

Караван Коломенск.

Караванная, на ней комыя на мачте «репей» с флагом.

Поп пьяный лежит на коленях у лоцмана. Выход. из старообр. [14].

— Ты ему в затылок-то поддай, чтоб лучше спать ему.

— Зачем, — говор[ит] лоцм[ан]. — Ему проспаться надо.

Попик с усилием подымает голову и взглядывает на лоцмана благодарным взглядом.

— Вань, голубчик, — бормочет он.

— Вишь, и имя узнал. Спи, спи, мать-то небось дожидается-ждет.

Поп опять подымает голову.

— А вишь, про мать-то заговорили, проснулся. Смеется, чай.

Но поп не смеется. В его обезображенном пьянством лице виднеется выражение жестокого вспугнутого горя

Черты искажены, передернуты, мутные глаза смотрят болезненным взглядом...

Батяш [15]. Залямчил [16].

[Последний Мымрецов] [17]

Его наружность — довольно странная наружность. Я говорю, конечно, не о том, что его форменный мундир представлял из себя какую-то пеструю поверхность из рыжеватых, зеленых и синеватых лоскутьев. И не о том, что полусабля с изорванными ножнами висела на изорванной портупее, перевязанной в 2-х местах веревками [18]. Все это было прикрыто тем особенным оттенком запыленности и тления, который показывал ясно, что эти особенности обмундировки приобрели уже право давности и гражданства. Но особенно замечательно было лицо, с первого же взгляда вызывавшее на вопросы и размышления, хотя — увы! — не дававшие ответов на эти вопросы.

Лицо, казалось, тоже было покрыто общим оттенком какой-то порыжелости от долгого употребления на казенной постовой службе. Толстый нос, такие же губы под толстыми полинявшими усами выпячивались вперед с таким видом, что у всякого зрителя являлась невольная мысль:

— Ишь, губы-то распустил старик. Подобрать бы, что ли. Нехорошо!..

Но старик не считал нужным подобрать свои губы, и в этом было видно какое-то пренебрежение ко всему окружающему, тем более неуместное, что оно не прекращалось и в присутствии непосредств[енного] начальства. Только когда проезжал мимо будки губернатор или полицмейстер, губы Мымрецова принимали более приличный вид, а нос вытягивался во фрунт. Но это бывало редко.

Глаза Мымрецова — вот что было в его лице наиболее странно. Между тем как нос и губы довольно нахально лезли вперед и пренебрежительно распускались, — глаза, наоборот, уходили назад так далеко, как только было возможно, как будто удаляясь ото всего,

на что приходилось глядеть по долгу службы. Притом еще они были тусклы и безжизненны, и опять эта ничего не отражавшая тусклость была как будто умышленная. Наконец, они глядели еще из-под полузакрытых ресниц, в узенькие щелки. Было ли это следствием природной подслеповатости или результатом философского мировоззрения, по которому весь окружающ[ий] мир и не стоил того, чтобы глядеть на него полным взглядом. Это-то и был вопрос, на который не получалось ответа. Случалось, что молодые околодочные и подчаски считали такое выражение мымрецовской физиономии для себя нарочито обидным и неприличным и начинали горячиться.

— Ты что это, Мымрецов... Ты, брат, того, не больно...

— Слушаю-с... — отвечал Мымрецов, но губы выпячивал еще больше, а глаза уходили еще дальше и задергивались еще более непроницаемой завесой. И молодые подчаски оставались всегда в дураках, потому что горячиться горячились довольно сильно, а определенной претензии заявить не умели.

Когда же, погорячившись достаточно, они кидали на Мымрецова быстрый взгляд, чтобы поймать его, как он строит начальству рожи, — то встречали все-таки тот же выцветший лик, который, не шевельнув ни одним мускулом, говорил все же так ясно:

— Видел уж я вашего брата довольно... Петушись не петушись, Мымрецов службу знает, а больше с меня не возьмешь...

Нет, положительно я думаю, что Мымрецов, смотревший на мир по долгу службы, — считал его не стоящим внимания.

Случалось, что старый генерал проезжал на своих старых лошадях мимо будки. Встреча Мымр[ецова] с генералом бывала приятна обоим. Мымрецов, завидев генеральскую колымагу, выходил из будки, обтирая рукавом остатки щей или похлебки, которыми угощала его супруга, затем подтягивался, подбирал губы, и даже его нос, как уже было сказано выше, как-то обо-

дрялся и будто тянулся во фрунт. А генерал приказывал остановить лошадей, наклонялся из коляски и спрашивал:

— Что, старик?..
— Ничего ваше-ство.
— Стоишь?
— Стою, ваше-ство.
— Благополучно?..
— Так точно, ваше-ство.
— Ну, стой, старик, стой... смотри.
— Рады стараться, ваше-ство.

И затем колымага удалялась по пыльной и безмолвной, хотя и очень заинтересованной генеральской беседой улице, а Мымрецов долго еще стоял неподвижно около будки, причем его лицо расцветало удивительнейшей улыбкой, глаза начинали блестеть и искриться, а губы шевелились, будто сообщая что-то приятное благодушно наклонявшемуся к ним синему носу. Что собств[енно] говорил старик, никто и никогда не мог разобрать. Он только бормотал что-то, и нутро у него ходило и смеялось.

Впрочем, можно было заметить, что в такие минуты Мымрецов бывал очень доволен...

Черты лица [Гусева] [19] были тонки, и многие барышни находили их изящными. Нос горбиком, тонкие губы, правильно-сухой овал, стройная талья и уменье при случае ловко щелкнуть каблуками, так, чуть-чуть, без особенного ухарства, а лишь настолько, что вслед за поклоном несколько секунд тихо звенели полицейские шпоры... — все это располагало к нему сердца. Правда, темные навыкате глаза глядели как-то тупо, и в лице обнаруживалось больше юркости и честолюбия, чем остроумия или интеллекта. Но что за дело! Это не мешало ему считаться очень интересным. Все знали, что он честолюбив, что его служебные предприятия выходят за пределы прямых обязанностей, что уже два раза он просился даже в жандармы. И хотя оба раза получил отказ, так как его заслуги не считались достаточными, но все же в третий могли и при-

нять. Т[аким] образом, хотя его звали Гусевым, но среди провинц[иальных] гусей он играл роль неоперившегося, но уже подающего надежды ястребенка. Барышни считали его жестоким.

— Как это вам не жалко, право, — говорила одна блондинка, когда он описывал, быть может несколько преувеличенно, свои подвиги в лекоковском роде... [20]

— Неужели вы не испытываете ни малейшего сожаления? — вскидывала на него темными глазами полная брюнетка, оспаривавшая у блондинки шансы победы над его сердцем.

Он отлично понимал свое положение среди этого перекрестного огня и потому только таинственно улыбался.

— Я чувствую, сударыня, то же, что хорошая охотничья собака, выслеживающая крупную дичь. Не больше...

— Ах, какой жестокий!..

Ему приятно было слышать, как его называют жестоким... Да, он жестокий кавалер и притом метит довольно высоко. Он — не простой служака, просиживающий полицейск[ие] стулья. Он — человек новый и ожидающий «случая»...

Вот почему он и счел нужным примкнуть к герою, тоже новому человеку, человеку случая и удачи по преимуществу [21].

---

[22] Ах ты батюшка, ах ты миленькой,
Ай люли-люли, ах ты миленькой,
Защити меня от таких побой,
Ай люли-люли, от таких побой.

Вероятно, читатель уже заметил, что я вообще очень высокого мнения о своем герое и даже рискую быть заподозренным в идеализации. Не смею поэтому утверждать наверное, что, внимательно вглядываясь в описанную выше маленькую трагедию, Мымрецов сравнивал течение волны с течением исторических судеб, а в печальной судьбе жука провидел свою собственную. Почему однако не допустить, что, быть может,

в его голове и роилось нечто в этом роде. Конечно, смутно, неясно... Очень вероятно, что он думал не словами, что он не формулировал аналогии по всем законам логики. Но что она предстала перед ним хоть смутно, хоть в виде грустного предчувствия, в виде беспредметной тоски и сжимания сердца — это более чем вероятно. Как бы то ни было, старик покачал головой и пробормотал про себя:

— А ведь поди ж ты... вода-то на убыль пошла... Может, кабы не последняя волна — быть бы жуку живому. Эх-ма!

И затем он поплелся по берегу к будке, и его губы все шевелились без звука, а в тусклых глазах даже кабатчик, равнодушно смотревший из окна, заметил выражение тоски...

Ему попалась уже давно часть «Отеч[ественных] зап[исок]», в коей он нашел изложение правил для обывателей, изданных одним мудрым градоправителем. Впоследствии оказалось, что это есть не что иное, как написанный в насмешку г-ном Салтыковым пашквиль [23]. Но NN, не имея в руках всего сочинения, а лишь самые правила, — принял их в сурьезном смысле, сделал из них тщательную выписку, видоизменив согласно местным требованиям и снабдив изъяснительным предисловием. В предисловии этом он говорит, что хотя имя градоначальника, сии правила начертавшего, история не сохранила, но самые правила отмечены печатью мудрости столь глубокой, что и в настоящее время к руководству совершенно являются пригодными. А посему, вменяя в обязанность обыват[елям] поступать по точному смыслу оных, — NN полагал бы прежде всего полезным, дабы молод[ая] пол[иция] оные приобрела и в совершенстве усвоила. «Ибо,—замечает он совершенно справедливо, — лишь к тому можешь обывателя понудить с успехом, что самому тебе во всех подробностях известно». Правда, обстоятельство это не рекомендует нарочитой остроты ума, которой по мнению многих NN в высокой степени отличался, — но в извинение таковой непроницатель-

ности человека, который уже по своей профессии человека «нового» и случайного обязан бы блистать нарочитой ученостию и знакомством литературы, — могу сказать, что в такой конфуз он попал не один. Такой же случай имел место в другом еще городе, где у г. Щедрина позаимствовался сам губернатор, а наконец в последние же дни точно то же случилось в Козлове с тамошним полициймейстером. Эти случаи, мне в точности известные. А сколько еще было таких, о коих я не знаю и лишь могу за верное предполагать, что в редком городе сие лукавое сочинение пашквилянта не вводило кого-либо из правителей в обман, и, быть может, лишь историк грядущего столетия откроет нам всю массу правил, изданных в разных местах и в раз[ное] вр[емя] правит[елями], источником вдохновения имевшими тот же злоухищренный пашквиль. Объясняю это тем, что сам г. Салтыков, будучи некогда советником казенной палаты, в точности изучил способы, как вводить правителей в заблуждение.

[Апокриф о Христе и диаволе] [24]

Путевые наброски

Диавол — в виде напр[имер] змия — восста от земли и простерся до небеси. А зачем? Затем, что жена на небеси рождает младенца, а змий желает его поглотить. Ну, хорошо; разинул это он глотку и выжидает, а ангелы господни, увидевше гадину и закрыв младенца крыльями, не допустили к падению. Вот змий опять посрамился.

Хорошо.

Тогда вооружил Ирода царя.....

Наконец того, видит — ничем не взял. Идет во ад. Приходит к Вельзевулу, испугался, трясется весь.

— Ну что? — Вельзевул спрашивает.

— О, Вельзевуле, Вельзевуле! — говорит. — Запирай ворота, чтобы человек сей не пришел во ад.

— А что?

— Слышишь, праведники возрадовались и возликовали о человеке сем,

— А по какой же причине?

— По той причине, что когда умрет, то их выпустит на волю, а тебя свяжет.

А в это время Христос возопил на кресте: Господи, господи, прискорбна душа моя до смерти!

И глас его был слышен по всей земле и достиг до ада. Вельзевул и говорит:

— Видишь, он и сам боится помереть, а ты меня пугаешь.

А диавол говорит:

— Поскорей, поскорей, Вельзевул, запирай ворота: сейчас прийдет.

Схватились тут они, заперли ворота, уже увидели, что дело не шуточное.

Однако, как пришел Христос, сейчас ворота распались. Праведники вышли, а Вельзевула связали.

И был он связан по отпадение Рима...

— Мать-то?

— Да.

— Ты рассуди, дурак этакой. За непочтение родителей тебе что будет. Поди-ко к старикам, в суд. Вот что! А не то штобы. Вот тут старики, ну! А тут вот тебя положат, дурака, да с обех сторон...

— Врешь! Ноне не так. Ноне мать — она могет, а отец не моги.

— Отец-то?

— Да, отец.

— Это отец не может? Дурак ты, болван, как с тобой разговаривать! Ты 86-ю ст[атью] знаешь?

— Ничего не знаем мы!

— Не знаешь? А она, 86-я статья доказывает вполне.

— Што?

— А чтобы тебя, дурака, взгорячить!.. Какие слова выражаешь. Отец не могет. А? Нет, восемьдесят-то шестая статья — она, брат...

— Ведро судьям сын поднесет, более ничего.

— Ведро? — язвительно вмешивается первый. —

Нет, ты этого человека рюмкой помани. Рю-юмко-ой. Он те за рюмку всяку статью сыщет.

— Су-у-удьи...

— Ах, милые мои, родимые! Анделы вы мои любезные. Простите вы меня! Ах!.. Как бы мне вас, милые мои, не обидеть! А обижу, простите Христа ради [25].

8

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1887 ГОДА

[Отрывок из «Табельщика»] [1]

И все притихло.

Луна встала на свое место и как-то особенно «смирно», задернувшись красноватым облаком, смотрела на Иванова. Деревья так же смирно стали по склонам горы... Рельсы сверкали двумя полосками, теряясь в лучистом сумраке, и тихо шептали и рокотали под ним.

О чем?

Рокот усиливался, рельсы звенели, вздрагивали, говорили. О чем же? И почему в этом рокочущем звоне ему слышатся какие-то напоминания о жизни, о далеком счастьи, о прежних мечтах, когда ему теперь нужно одно: нужно быть на месте, чтобы встретить «его»?.. [2]

Он повернул голову... Два фонаря глядели на него издалека... Красноватый отблеск быстро бежал по полотну, и черный силуэт машины чуть-чуть маячил за ним.

Неподвижные огни вырастали, блеск бежал по шпалам, рельсы рокотали, ближе и ближе.

Ему казалось, что он видит, как, наклоняясь с машины, он в своей форменной фуражке смотрит умным и твердым взглядом на шпалы. Заметит ли он?

— Тут я, на месте... — думал Иванов, и кроме этой мысли у него не было никаких других мыслей и представлений.

Да, вот он наклонился с машины, и его стальной взгляд остановился на Иванове.

Узнал... На месте.

О чем же так кричат рельсы этим все подымающимся, вырастающим гулом?

Вся дорога, полотно, шпалы и рельсы соединились в один громкий вопль ужаса... Быть может, ужас проснулся и в душе живой шпалы. Но...

Поздно!..

---

[3] Я проснулся. Мы стояли среди поля. Ночь, на небе тучи. Колокольчик вздрагивал чутко и как-то вопросительно...

Я протер глаза и в первое время не мог отдать себе отчета... Перед глазами стояла бесформенная масса, казалось туча неясными угрюмыми очертаниями налегла на землю. Туман, мешаясь и тихо меняя во тьме свои формы, как бы впивался в поле, бесшумно волнуясь.

— Что это, ямщик, — болото?

— Нет... ржи это.

— Отчего же над ними туман?

— Оттого что они зацветут, и потом, значит, сделается над ними туман. Вот...

Ямщик уселся и тронул лошадей. Колокольчик затянул обычную песню.

В сыром воздухе влажной и теплой ночи звон этот стоял не гулко, но мягко и особенно приятно.

Ямщик то-и-дело оглядывался налево, в сторону тумана. Я тоже не мог оторвать глаз от этого зрелища. Теперь ржи подошли к самой дороге, и я различал чуть-чуть маячившую зеленую массу, тонувшую в сером сумраке. Туман, все меняя формы, развиваясь и свиваясь бесшумно и без заметных переходов, — сопровождал нас на протяжении нескольких верст по гладкой степи. Было что-то особенно обаятельное в этом таинств[енном] дыхании миллионов растений среди сырой и сумрачной ночи.

По край моря, по кр[ай] синего,
По край л[есу], по кр[ай] темного,
По кр[ай] садику зеленого
Во Прусах в зеленым саду

Тут стояла темна-темница,
Заключевна-заключевница.
Как во этой т[емной] темнице,
Закл[ючевной] закл[ючевнице]
Сидел тут добрый молодец,
Рассейский гр[аф] Чернышов Захар
Григорьев[ич].
Он не год сидел, не два года,
Он сидел ровно 30 л[ет].
Отрастил свои русы кудри
До плечей своих могучих,
Отрастил свою бородушку
Он до поясу шелкового.
По этой по дороженьке
Случилось тут Прусу ехати,
Увидал его рассейский граф
Ч[ернышов] З[ахар] Гр[игорьевич].
Во-1-х он на колени пал,
Во-вторыих низко кланялся.
— Уж ты батюшка, шведской-прусской король,
Прикажи меня поить-кормить,
Прикажи на волю выпустить,
Как на волю меня вольную,
На родимую сторонушку[4].

Разорена путь-дороженька
От Можаю до Москвы,
Разорил же путь-дороженьку
Неприятель вор-француз.
Разоривши путь-дороженьку,
Во свою землю пошел.
Bis.
Путь-дороги не нашел,
Ко Парижу подошел,
Немножечко постоял
Bis.
Три словечечка сказал.
Bis.
Свой Париж он восхвалял.
Не хвались-ка, вор-французик,

Ты своим ли Парижом.
Как во нашей во Рассее,
Что у белого царя,
Есть получше города:
Славен-город Петербург,
Распрекрасная Москва [5].

Боярин Однорог Жуковского [6]

Ум развитой среди темной массы. Условие, выделяющее Однорога очень высоко над массой, делающее ощутительней громадную разницу между ним и средой, — прием чисто романтический. В жизни это явление редко, но зато характерно.

[На Волге. Под Красновидовым] [7]

Мою лодку закачало. Струя за струей взмывала корму и тихо звенела на песчаном берегу. Я проснулся.

— Уж не пароход ли? Неужели я проспал?

Пароход, тихо шлепая колесами, плыл вверх, но это был пароход буксирный; шесть железняков тащились сзади.

Вот уже несколько часов я жду на песчаной отмели волжского берега низового парохода, чтобы добраться до Казани. Чуть задремлю — мне слышится пыхтенье машины. Дальние свистки, смягчаемые расстоянием, доносятся по речной глади точно звон рожков. Но все это или верховые или буксирные пароходы.

Скука, особая «волжская» скука, и томит[ельная] и приятная. Река — как зеркало. Луговой берег заканчивается на той стороне сверкающей полосой песков. Вдалеке лес синеет чуть заметной полоской. Рыбачьи лодки, точно речные пауки, скользят черными пятнами в разных направлениях лениво и томно. Весла подымаются и падают, от них идут искры и блестки.

Направо большая гора, крутым склоном, будто обрубленная одним ударом гигантского топора, падает к реке. Поднявшись несколькими широкими зелеными уступами, она заканчивается лысой вершиной.

Лодочник, взявшийся доставить меня на какой-нибудь пароход и в ожидании дремлющий на песке, закрывшись парусом, приподымается, оглядывается кругом, почесывается и подходит ко мне.

— Юрьевцы это... горы-те наши. Юрьевцы звались встарину. Юрьевец на них атаман жил. Гора-то, вишь, высокая. Взойдет, бывало, на самый взлобок, — тут ему далеко видно. Кама видна до самого Лаишева. А кверху — до самого Услону до верхнего. Вот он, бывало, станет тут с подзорной трубкой и смотрит. Сверху ли, снизу ли суда-те идут, — он как, бывало, узорит — и сейчас с горы спущаться с ребятами.

Я смотрю на гору, на взлобок, и воображение рисует мне на крутизне, над обрывом, у подошвы которого сверкает полоса воды, могучую фигуру атамана.

— На горах-те леса в доселешнее время были. Дуб... и-и страшенной дубище. Дедушка сказывал: поедет, баит, на горы в лес и давай рубить дубище. Так, значит, зря, для грому... Подрубит, баит, и пойдет по лесу стук, по горам то есть. Тут и жил Юрьевец. Товарищев у него было 12. В горе сделаны у него зимовья. Слышь, по селу по нашему днем хаживали.

— Не трогали их?

— Коли тронешь. В гости звали, пива, браги варили, чтобы то есть в своем-то месте не трогали. Вот еще как, а не то штобы противиться. Дедушка сказывал: остановили раз барку, потребовали себе на команду денег, хлеба там, припасу. Вот хозяин дедушку и отправил к ним с поклоном. Привели они дедушку в становище к атаману. Тот и спрашивает:

— Что, баит, братище, водку пьешь?

— Грешен, — дедушка баит, — занимаюсь по малости.

— Поднеси ему, — грит, — стакан.

Поднесли ему три стакана. Выпил.

— Эй, закуску ему, за труды.

Взял один большую краюху, мякиш выковырнул, да полну медом налил, — вот как жили... в удовольствии во своем.

— Не обижали народ?

— Не обиждали, нет, не обиждали. Конечно, хозяев били, крепко били линьками, а то и до кончины живота. Ну, и рабочих тоже когда... за противность. А то нет... не было обиды.

— Что же они, 12 человек, могли сделать, если рабочих было много?

— Конечно, ежели бы по нонешнему времю... народ хитрее. А в ту пору проще было. Кому охота из-за чужого например капиталу кончину принимать? И потом — у них припас, орудия например, сабли, пики.

— А у судовщиков?

— И у судовщиков. Да у тех наговорные.

— А бабы были у них?

— Ни-ни! Потому им не полагается... Не действует.

— Что не д[ействует]?

— А заговор не действует, в случае ежели бабу заведут. Конечно, бывало грешным делом, в селе погуляют с бабами, но только после эстого дела нужно им обмыться в реке и богу помолиться, чтобы, значит, заговор опять силу взял.

— Какая же это сила: дьявольская или божья?

Старый волгарь, быть может, од[ин] из прямых потомков юрьевецких удальцов, как-то смаргивает при моем вопросе и убежденно отвечает:

— Нечистая сила не может этого... потому теперь вот есть которые колдуны, тех во всяко время молитвенным словом можно оконфузить... Нет, как можно...

— Неужто же это они божьим именем?

— Известно божьим. Вот мы сами видели годов никак с десяток — угодник через реку пешком шел. Эвон из того яру вышел (рыбак указывает вверх по реке, туда, где, задернувшись легкой дымкой, пестреют известковые горы с пятнами лесов по склонам). Место широкое. Вот малый один первый увидал и говорит: «Глядите-ко, грит, ребята, мужик по воде идет». Глядим мы, — верно, идет себе впоперек, как вот по земле. Потом вышел на берег, покрестился на восток и пошел себе лугами...

— Так ведь это угодник. Он, может, в лесах спасался, а те людей грабили.

— Конечно, спасался. Ну, все же бесовской силой этого не сделашь... Теперича про Стеньку [8] слыхали, — какой хитрец был. А простого народу не обиждал, потому чего с нас, с простого люду, взять-то? Нечего с нас взять. Вот арготы — те [9] много обиждали, казенные арготы-те. У черного затону были, и пониже были. Сейчас это плывешь на лоточке — подходи! Кажи пачпорт. С дедушкой этак с моим было. Из Рыбны шел на лоточке, и пачпорт у него в исправности. — Что не скоро послушался? — кричат, и сейчас его линьками, и сейчас линьками. Вздули хорошо, потом ступай! Много озорства делали. Бесчинства делали достаточно...

— Что-й-то на твое несчастье никоторый пароход не бежит,— добавил старик, вглядываясь вниз по реке.

Река притомилась от жару. Парит. Чайка лениво взмахивает острыми излучистыми крыльями. Луга и горы затягиваются все больше молочным тонким паром, и только лодки резко чернеют на белых песках береговых отмелей, да две полубарки сонно плывут вниз по течению, без парусов, так как ветерок над рекой не шелохнет.

Волжская скука охватывает меня опять, и я понимаю теперь, что это такое: на фоне этого бессодержательного и как будто томительного ожидания, так же как и над этой заснувшей в знойном безмолвии рекой, носятся неясные тени родной старины, загадочной и непонятной...

Старик уже спит, и только ноги в неуклюжих валенках виднеются из-под паруса, в который он завернулся от мошек.

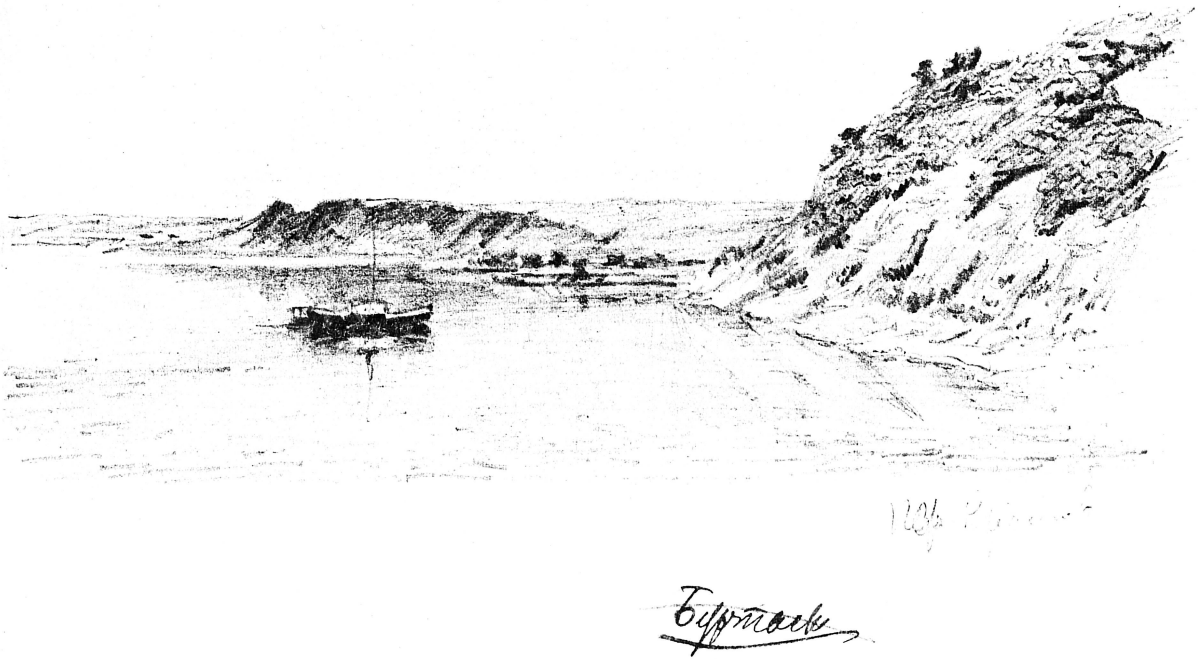
А гля миру теперича с к л ё к а.

Кулу́гур — ругат[ельное] слово, раскольник.

Карго́т [10].

Чегни́ — шесты на плотах для упора на мелях.

— Ты ее любил ли раньше?



НА ВОЛГЕ. ПЕРЕД КРАСНОВИДОВЫМ

— Коли́ будешь любить. Не любил, а просто — что говорили шабры[11]: девка, мол, добрая...

— Ведь вот у нас в городах жених с невестой объясняются, которую полюбит.

— А у нас, конечно, по-крестьянски: чтобы главное дело работница хорошая, а не гулящая. Это чтобы мужа выпроводить и сейчас с другими хороводиться, — это нехорошо, не надо нам. Потому ежели жена плохая, бог споренья не даст, а ежели хорошая жена, экономию мою соблюдает, дом ведет, то это гля дому очень хорошо бывает, полезно!.. И бог это любит. Конечно, бывает по нонешним временам и у нас разврат, по селам...

— Платовы́, хлеба не надо ли, э-э-эй!

— Хлеб хороший, мяхка-а-ай!

— Сытые едут дьявола-те. Тихо таперича, а кабы вот дня два постояли...[12]

На Оке торговец и скупщик крючков удочных говорит о детях:

— Пятеро у меня: 3 мальчика и одна девочка. Этим я, можно сказать, несчастен.

— Чем же? Дети — благословение божие.

— Конечно, благословение. Вот меня он, бат[юшка], благословил. А все-таки я себя так понимаю, что бог меня наказыват за грехи!

— Веры я этой не вникаю, и сам женился у попа, только, значит, на дому. Брат в Москву жениться ездил... Там... По Бугрову изволению (по тайному священству), а я не захотел, и на свадьбе у него не был (он махнул рукой)[13].

Извозчики о студ[енческих] бесп[орядках][14]

Бунтуют и-и, страсть! Нонче ехал, полиции там беда. Не дают им шуметь. Не то что около универ[ситета], даже и на улице чуть где сойдутся — сейчас

бежит полиция, и даже сам околодочный — к разгону!

— Из-за чего это?[15]

— А это, видишь ты... Вот я тебе расскажу: есть у них чиновник Брызгалин из полиции... Ну, неудобен им... Слышь ты, — очень, сказывают, взяточник. Которые богаты, тем, стало быть, должности скоро выходют. Понял? А бедный служит-служит — ничего ему нету. Вот им обидно.

— Ну, тоже и они озорничают весьма сильно, сами себя невежливо ведут. Вот вышли на бульв[ар] — сейчас скамейки валить. Побежала полиция, народ. Ко мне городов[ой] подбежал. Довези, говорит, до сер[едины] бульвару. Как, говорю, бесплатно? Да ведь уж как быть, — видишь, какая история вышла, замешательство. Довез.

— Вот тоже лет 8 назад...

— А ведь смирно-то, братец, лучше видно?

— Как можно. Смиренство доводит до высшей степени.

— Как зовут, — Андрюшей, что ль?

— Александра я. Вот как[16].

9

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1888 ГОДА

[1] — Барин, меня взять надо, право меня. Я первый подъехал, а он меня ломает... Ей-богу!..

— Да верно, — подтверждает горничная, — этот старичок подъехал первый, а тот чистый разбойник.

— Да ведь мне надо поскорее.

— Господин! — молит обиженный извозчик. — На шведке довезу, — он указывает кнутом на какого-то потного мышонка в оглоблях.

Везет очень тихо, хлещет, но лошадь не везет. Сам, видно, наход[ится] в напряженном состоянии: ему совестно передо мной.

— Гы-г-гы! — слышу я, как он гыгыкает, видимо желая обратить внимание.

— Гы-г-гы! — и, видя, что я не предлагаю вопроса, он сам поворачивается ко мне.

— А я, господин, про себя это вздумал и засмеялся... Стало быть, про себя... Так.

— О чем?

Он опять тычет кнутом в свою шведку и говорит:

— Вот и не надо бы еще чай мне пить, а придется... Беспременно. То есть чай мне пить.

— Это почему?

— Да ведь как же? Ежели мне сейчас на ней съездить, к примеру, еще на тридцать на пять или на сорок копеек. Это к примеру. Так она ведь и готова. Видите?

Действительно — лошадь усиленно делает боками, шерсть на ней слиплась от пота, ноги заплетаются...

— К примеру. Еще на тридцать пять копеек... Готово. Гы-г-гы...

Он робко оглядывается и, видя, что я его понял и гнать не стану, — благодарно, хотя и несколько сконфуженно, моргает и перестает хлестать. Мы тянемся по Невскому, лошадиные морды то-и-дело появляются у меня то слева, то справа, продвигаются вперед, мелькают санки, профили, спины едущих, а мы все остаемся сзади...

Извозчик что-то бормочет, обдумывает и вдруг поворачивается ко мне [2].

— А как тебя, извозчик, зовут, — Андрюшей, что-ли?

— Не... Александра я. Вот! Александрой зовут... Намеднись, гы-гы!.. околодочный вскочил в санки, — сразу стук по шее. Вези, говорит, Агафон этакой, живей... Что станешь делать! Всяко назовут... По миру пошел, так и тестом бери... Вот как, милый барин...

— Гы-гы!.. Это что Агафоном — это ничего. Как ни зови, хлебом корми. Только горшком не зови, а то горшком, бывает, назовут, да в печь поставят. Вот это не [ладно] [3].

— Человек напр[имер] нарождается, и есть ему положенный предел: что быть ему хорошим человеком,

разбойником, вором... положение. Первое дело: в какой день человек зачат... Значит зачатие. Напр[имер] в благовещениев день — самое жестокое зачатие быв[ает] человеку. Это у нас так, в благовещение...

Потому придет он пьяный...

Татарин что-то говорит.

— Нет, вы позвольте... нет, дайте мне сказать: или напр[имер] развернем книгу. Я вижу, что мне написал пророк. Верно. Ну, я воздохну. Так ли: воздохну.

— Это вэрно! Воздохнешь.

— Ну!.. То-то. Видите. Нам никому не дано судить. Судить... т[о] е[сть], обсуждать. А теперь многие судют, даже хресьяна... обсуждают...[4]

Белая пташка[5]

У нас были гости. В камельке горел яркий огонь, на столе стоял самовар, в который недавно подбавили углей, и пар, вырываясь из-под крышки, густо стлался под низеньким потолком нашей юрты. Два якута и поселенец Гаврило сидели за столом. Так как к чаю мы предложили сахар, и кроме того на сковороде грудой лежали оладьи в масле, то наши гости чувствовали себя очень польщенными почетным приемом. Якуты выражали это отрыжкой, которая должна была свидетельствовать перед хозяевами о том, что гости удовлетворены. Поселенец Гаврило, человек с широким и несколько мрачным лицом, каждый раз кидал при этом на собеседников взгляды, полные глубокого презрения.

— Видали? — кивал он нам головой. — Какое их-нее образование. По нашему месту, в Россее например, за это из-за стола ко свиньям прогоняют...

— Ну уж, Гаврило Иваныч, будто прогоняют?

Гаврило посмотрел на сомневающегося долгим и укоризненным взглядом.

— По нашему-то месту? Н-ну, не знаю... стало быть, вы мне не верите, а я так вполне утверждаю, что по нашему месту невежества не любят. А здесь известное дело... гиблая сторона...

Один из якутов продолжал серьезно заниматься

оладьями, причем две наши собаки, умиленно следившие за ходом пиршества, сидя на полу, — теперь приблизились к его стулу и сосредоточили на нем все свое внимание. Они провожали глазами каждый кусок, который он подносил ко рту, и сочувственно облизывались, а иногда издавали одобрительный визг...

Другой якут, помоложе, покончив с оладьями, обернул и стакан кверху донцем, в знак того, что он кончил, но его занимал очень вопрос о сахаре. Кусок, который остался у него, он смело положил себе в карман. Но невдалеке стояла жестянка с кусками сахару, и эта близость не давала ему успокоиться. Он поглядывал на нас веселыми и застенчиво-ласковыми глазами. Гаврило следил за ним своим угрюмым взглядом из-под нависших бровей...

— Сахару желает, — комментировал он с враждой и презрением в голосе...

— Не тронь! — крикнул он резко и громко, когда якут, ободренный моей улыбкой, протянул руку к сахарнице.

Окрик был так резок, что якут вздрогнул, кусок сахару выпал у него из руки и брякнул о блюдце, а обе собаки немедленно поднялись и, поджав хвосты, сконфуженно отошли к порогу.

— Зачем вы кричите? — сказал мой товарищ.

— Бить их надо, не то что кричать... Я так полагаю...

Якут, заметивший, что за него заступились, весело закивал нам головой, по его оливковому лицу побежали веселые морщинки.

— Огоннер... кыгырех, — мотнул он головой в сторону Гаврилы и опять быстрым движением схватил выроненный кусок.

Его степенный товарищ, во все это время занимавшийся своим делом и сов[ершенно] не обращавший внимания на все происходившее, — опрокинул кверху дном стакан, отодвинул его от себя решит[ельным] движением и тоже протянул руку за сахаром. Но он сделал это без всяких колебаний, степенно и решительно, так что даже Гаврило не сделал ему внуше-

ния. Он только впился в него взглядом, в котором сосредоточилось все его презрение.

— Князь ихний, — сказал он. — Тойон называемый... Князь... Паршивец, а не князь...

На темном лице якута не выразилось ничего. Он не мог не понимать, если не слов, то тона Гаврилы; но выражение равнодушия и своего рода достоинства не сходило ни на секунду с его лица.

— Хуже собаки, — прибавил Гаврило.

— А не грех вам, Г[аврило] И[ванович], человека к собаке приравнивать?

— Грех... Это мне то есть... Стало быть, вы говорите: грех...

Мое заступничество видимо оскорбляло старика.

— Н-ну, не знаю... не полагаю себе за грех, ежели это правда. Вот у пса, и то совести больше. Стало быть, больше у пса совести: ежели я прикрикнул, — вот они, псы-то... отошли к порогу, сидят смирно...

Действительно, обе собаки сидели, поджав ноги вряд, и смотрели на нас с сдержанным выражением покорного ожидания. Когда Гаврило заговорил о них и мы все невольно повернулись в их сторону, — старшая собака, красивый белый Цербер встал и, опустив голову, поджав хвост, ушел за перегородку под наклонную стенку юрты. Вид у него был в эту минуту явно застенчивый, он был сконфужен общим вниманием после того как провинился, подойдя слишком близко к столу...

— Видали? — торжествовал Гаврило. — Стало быть, верно я говорю: у собаки образования больше, потому что она у россейских людей живет... Не чем у этих поганцев... Сами видели: у пса совесть, а у него совести нету... выходит — пар у него вместо души, больше ничего.

— Что вы вздор городите! — резко вмешался Кузнецов, недавно присланный мальчик, лет девятнадцати. В своих отзывах и мнениях о людях он был так же резок и решителен, как и Гаврило, но мнения эти были другого рода. — Что вы здесь ерунду-то разводите? Разве они не такие же люди, как и вы?..

Гаврило во все время разговора прихлебывал чай, до которого, как человек российский, он был ужасный охотник. Но как человек, желавший выказать свое «образование», после каждого стакана он считал долгом отказываться. Осушив стакан, он поворачивал его боком и клал на блюдечко. Это означало отказ, но не окончательный. Стакан, положенный боком, оставлял хозяевам надежду, что Г[аврило] И[ванович], после нескольких просьб, согласится выпить еще и еще. Теперь же, при резком вмешательстве Кузнецова, он с видом оскорбленного человека повернул стакан кверху донушком и кусочек сахару положил сверху. Затем он горестно отодвинул посуду.

— Как и я... спасибо вам, господин... Приравняли!.. Это, стало быть, вы россейского человека приравняли к поганцам...

Мрачно сдвинутые брови, сверкающий взгляд и яркий румянец на щеках Кузнецова не обещали ничего хорошего. Поэтому, сделав Кузнецову знак, чтобы он сдержался, я постарался смягчить его выходку.

— Да ведь согласитесь, Гаврило Иваныч, что все люди созданы богом... К тому же и веруют они по-нашему.

— По-нашему? Стало быть, вы так говорите, что по-нашему, а я говорю, что не по-нашему.

Старик говорил раздраженно, и в голосе его слышалась еще обида.

— Как же не по-нашему?

— Так не по-нашему. Прикидывается, подлец! Бога омманывают... Вы на него не смотрите, что у него в юрте икона в переднем углу. Он, поганец, шамана своего позовет, — сейчас икону лицом к стене повернет. Думает, она не увидит... Небось она, матушка, и с повернутым ликом твои пакости все узнает... Теперича вы такое слово сказали, что одним богом, например, все созданы. Ну, хорошо. Последняя, например, гадина, которая вовсе не стоющая, — и та богом создана. Верно, ай нет?

— Положим...

— Вот то-то и есть, — положим! Нам, господин, об

них обо всех так полагать невозможно, чтобы, например, его к россейскому человеку приравнять. Это вот грех, по-нашему.

— Очень глупо... А как же по-вашему понимать надо?.. Любопытно... — вмешался Кузнецов.

— А по-нашему вот как: здесь какое место... болото, трясина, ржа... самое это от господа проклятое место, гиблая сторона... в которой стороне россейскому человеку жить очень неприятно...

— Н-ну-с?..

— Ну, и больше ничего. От сырости эти народы и заводются... Спасибо за хлеб, за соль, за доброе слово...

---

[6] Ненадлежаще требовает,—сказал Гавр[ило] Ив[анович] с важным видом родителя, объясняющего вмешат[ельство] своей родительской власти.

Чего, например, вовсе не следует, и того он требоваит от девки... Черкес известно. Все они охальники.

На жел[езной] дороге[7]

В спальном вагоне я пытаюсь отворить окно. Не отворяется.

— Кондуктор, что окна у вас не отворяются?

— Не отворяются еще. Это, ваше благородие, не от нас. Современем отворят...

Конд[уктор] — высокий старик, наполовину седой, неск[олько] сгорбленный, как-то странно шлепает губами. Смотрит неск[олько] подобострастно, но говорит громко, и тембр старческого голоса грубоват.

— Это плохо, — говорю я, — воздух был бы чище.

В глазах кондуктора мелькает особенное выражение. Под заискивающей почтительностью мелькает что-то вроде злости.

— Позвольте сказать, ваше благородие... Какого еще воздуху? Чем же еще не воздух?..

— Воздух — ничего, — говорит пассажир-купец.

— Тхэ! — какого еще воздуху, извините меня. Нет, уж позвольте сказать: так теперь устроено, то есть так устроено, — по воздуху еще разве лететь.

— И летают...

— Галки летают, — говорит кондуктор, и злость в его голосе слышится яснее. — А человеку еще не положено.

Я с любопытством смотрю на него. В его злости слышится что-то определенное. Он одет в форменную шинель с светлыми пуговицами и доказывает мне, что воздух здесь — какого еще воздуху. Но в сущности кажется мне, что он не на своем месте, что он ненавидит и эту железную дорогу, и спальный вагон, и пассажиров.

Носильщик вносит две корзины. Потом уходит, приносит еще корзину и ставит ее под скамейку. Когда он уходит за след[ующими] вещами, кондуктор заглядывает в корзины и произносит св[оим] резким голосом:

— Вины!

— Это кто едет? — спрашивает он у носильщика, который устанавливает еще какие-то ящики. Носильщик торопится и не отвечает, а конд[уктор] смотрит на его хлопоты злобным взглядом, как будто говорящим: ну-ну, что еще будет... за бесчинство.

Носильщик кончил и, поднявшись с полу, наклоняется к конд[уктору].

— Я тебе скажу, кто едет: содержатель буфету N-ского, вот кто едет.

Он повидимому рассчитывает на особ[енный] эффек своих слов, но конд[уктор] разъяряется.

— У-у... собака (буфетчики на этой дороге татаре). Куды ж ему, собаке, вины?..

Вскоре входит в вагон татарин, одетый, несмотря на теплое время, в шубу, с пестрым пятнистым и непр[иятно] одутлым лицом.

— Пожалуйте, — говорит кондуктор тем же тоном заискивающего презрения.

Через некоторое время он добывает подушки и разносит пассажирам. Я отказываюсь, у меня есть.

— Мы желаем всего хорошего, — говорит он с гневной обидой.

Он проход[ит] по вагону, высокий и прямой, оглядывая пассажиров. На станции, когда мы все почти

вышли на вокзал, я увидел, как он, войдя в зал I и II класса, внимательно оглядел всех своих, сидевших за разными столами. На тех, кто только пил чай, он смотрел с неодобрением. Увидев, что я обедаю, он одобрительно и даже ласково кивнул головой.

— Возьмите вторую подушечку, — сказал он уже в вагоне. — Мы желаем, чтобы как получше.

Через ½ часа я, проснувшись, слышу за перегородкой разговор кондуктора с татарином.

— Нет ноньче торговли... ноне и умному человеку только-только сытому быть, а ему, Иванову-то, куда! А главное дело, умного человека от себя отпустил, Селифонтева.

— Разве ушел?

— Ушел.

— Отчего ушел?

— А потому что прогнал его...

— За што?

— За то, — не хотел он ему потрафлять, по-евонному делать. Он хотел делать, как лучше. Нет, ноньче и вашу торговлю взять. Скоро не то что вам будут платить, публика напр[имер]. А еще вы заплатите, только бы покушали у вас.

— Вэрно.

— Конечно. Это по прежнему времени было... А теперь едет он с семейством. Провизия у него своя. Чаю в чайничек заварит. Нажрется в вагоне и доволен, даже вполне. На вокзал так себе зайдет, любопытства ради... Ах, милашка ты мой! — вдруг заканчивает он своим резким голосом, который теперь как-то скрыпит и визжит. Мне кажется, что он успел уже выпить... [8]

10

ЛИСТЫ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 1888 ГОДА

Капитан слушал эти излияния мужика.

— Дурак ты, — сурово сказал он, когда тот остановился. — Дурак! Теперь вот терпишь. А старость придет, что станешь делать?

Это вмешательство повидимому нисколько не удивило мужика. Он поднял свою лохматую голову, выглянул из телеги, присмотрелся, кто говорит, и в голосе его, когда он ответил, звучало какое-то радостное лукавство.

— Старость, говоришь? Да мне бы только до старости-те дотянуть.

— Вот как? — удивился капитан.

— То-то вот. Тогда уж я тягло-то с шеи. А! А ты как полагал? Тогда уж мне по миру можно, по окнам. Неужто, думаешь, не подадут? Пода-ду-т, брат. Потому старик. Теперь вот, главная сила, чижало. А на старость я, брат, надеюсь. Господи, благослови...

Капитан глубокомысленно затянулся и молчал. Его почему-то сердило философское настроение Антипы. А тот улегся опять на сене, но еще долго ворчал что-то про себя, и видно было, что вопрос капитана и обнаружившиеся вследствие этого вопроса утешительные выводы дали мыслям Антипы более радостное направление.

У Антипы были надежды... [11].

11

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1889 ГОДА

(На Китеже)

На небе среди облаков проплыло светлое белесоватое пятно. На нем вырезалась небольшая курная избушка и... [одно слово не разобрано] [1].

Уреневские тайн[ого] св[ященства] [2].

— Моисей боговидец?

— Видел, да не всего [3]. Только задняя!

111, 112, Ефрема Сирина [4] (о пустынниках, Церкви неразорили, паче уставиша).

Илья — ревность.

Енох — вера! А между прочим я доподлинно узнал: ревность-то Финеас.

Старшина:

— А вы допотопной жизни люди! Допотопной жизни, понимаете? А вы вот все соберитесь, ответьте мне: при царе Синахериме что было? При царе Синахериме?

— И ответим.

— Не ответите!

— Я на тебя, Иван Петр[ович] (Ломакин), надеюсь...

— Надейся, говорит, а царя Манасию помни[5].

— А та-та-та! Царя Манасию? Это что ж обозначает? К чему это он?

— А к тому: царь Манасия всю жизнь идолопоклонствовал, а к смертному-те часу все-таки спокаяся.

— Так-так. Стало быть, и он...

— Понимай!

— Тебя как звать-то, дедушка?

— Стариком зови меня. Это я люблю, что меня стариком зовут.

— Храм божий есте...

Вздох из публики.

— Вот ведь — читают и не разумеют. Ведь уж въяве сказано, что человек-то храм господень...

Этот же голос постоянно слышится во вр[емя] чтения.

— Видно, старина-те лучше новизны... Уж оно въяве...

— Таисия мученица — ведь она в блудилище была... А м[ежду] пр[очим] венчалась венцом.

— Это случай исключительный или иначе назыв[аемый] обдержный. Которые обдержные случаи для руков[одства] не служат.

— Не служат?

— Не служат.

— Спаси-бо! Вот это так!

— А так. Ты рассуди, Мих[аил] Нестерыч. Илья пророк на небо взят?

— А как взят?

— Да как — «восщихен бысть яко на небо».

— А-а! Як-ко! Понимай, как бы на небо. Неужто во плоти на небо взят?

— Конечно, во плоти. И теперь там.

Ропот.

— Не-ет. Ошибся, миссионер. Потому тебе и там и нужники есть, на небе-те. Плоть — ведь она нужника требует...

— Ефрем Сирин говорит: простирали руце свои и предвосхищаше же дары. Сподобились духом дары те принимать, духовно...

— Иде же два или трие во имя мое, ту есмь и аз посреди их [6]. Теперича применяют: ум, сердце, совесть — три. Стало быть, и один человек — церковь. Неправда. Церковь церковь преодоле. Это, дескать, Каин убил Авеля. Уж это не подобно!

Я шел по тропинке по направлению к Люнде [7]. В озеро гляделись звезды, над рекой подымался белый туман. В часовне назади светилось окно, кой-где горели огни, кипели еще самовары. Холмы с причудливыми группами дубков и сосен были усыпаны кучами народа. Бабы умывались в святом озере и заправляли выбившиеся косы, собираясь спать. В кустах, тихо, точно светляки, двигались огоньки восковых свечей. Это наиболее усердные богомольцы еще кончали хождение кругом озера; кой-где в темноте, чтобы не привлекать внимания, иные совершали подвиг: ползли по мокрой траве и по болоту на коленках. Я устал от этой суетолоки, от этой сухой схоластической трескотни, и теперь взгляд с наслаждением уходил в синюю глубь, где горели тихие звезды и плыли белые облака.

В двух-трех местах я натыкался на молодые пары, спавшие, или, вернее, лежавшие вповалку. Это указало мне на неудобство итти по холмам без дороги: вдогонку мне слышался сдержанный молодой смех и недружелюбные замечания.

На дороге между изгородью и рожью какая-то де-

вушка, шедшая впереди, вдруг кашлянула, остановилась и потом решит[ельно] направилась ко мне.

— Что долго? Заждалась, миленький.

— Ай! — вскрикнула она вдруг. — Обозналась.

С испуганным смехом она порхнула вперед. Вскоре меня обогнал молодой человек в куртке, как и я, и я видел, как он обнял девушку. Они пошли по дороге свободно и не стыдясь.

— Вишь, обнимает крепко, — раздался около меня мальчишечий голос.

— А что ему, — ответил другой, пониже. — Обнимат и обнимат себе.

— Куда идетё? — спросил у меня один из обогнавшей меня стайки ребят.

— Чай, не куда — в село, — засмеялся другой.

— Уж Митька всегда догадатся.

— А откеда?

— Из Нижнего.

— Далеко. А вот он дальше бывал.

— А где?

— Я был за полторы тысячи верст, в Сибири, в Аленбурги.

— С кем?

— С тятькой, с мамкой. Третьего году назад вернулись.

— Пошто?

— Об своей стороне соскучнились... большаки-те.

— Соскучнились? — иронически спрашивает какой-то мужиченко, шагающий заплетающимися ногами. — Небось от недостатков какех. Ежели была б тее земля, был бы хлеб, разве соскучнишься?

— Земля-те хлеба не родит.

— Ну вот! А то соскучнились.

— Да ведь у нас деньги-те были! Стекольной работы много! Денег-те еще сюда привезли. А большакам-те скучно об своей стороне...

Я слушаю эту болтовню и отдыхаю усталой душой.

— А, слышь, в прошлом-те годе на деревне у нас девчонка утопла...

— Ай-ай!

Сосны тихо качают головами.

---

[8] Сжатый, стесненный со всех сторон нажимавшей толпой, в духоте и жару, среди азямов, чуек и панёв, оглушенный криками и возражениями, — я нечаянно взглянул кверху. Там было так хорошо! Беловатая с серебристыми краями туча все сдвигалась точно гром[адный] полог, и золотые звезды выплывали из-за нее и тотчас же принимались мягко и нежно лучиться и сиять в синеве. Тихий ветер слетал откуда-[то] сверху на наши потные лица и ласково проводил по нашим лбам своим освежающим дыханием. Дубы и сосны качали причудливыми зелеными ветвями, точно в немом удивлении: откуда этот многоголосый и негармонический гам на святых, сияющих спокойной красотою горах? Часовня преобразилась: молебнов не было, но около одной иконы горела масса восковых свеч. Деревянный иконостас, облитый светом, казался сделанным из резного золота. Это было видно в открытую дверь. А снаружи часовня, казалось, выросла. Темная, величавая, она задумчиво пробивалась к небу своим куполом, среди обнимавших ее зеленых ветвей. Большая сова, вероятно живущая где-нибудь под стропилами, — тихо, бесшумно летала все над нашими головами, то утопая в темноте, то взметываясь и кружась около креста, то вдруг боковым движением проплывая над самыми нашими головами.

— Вишь, кружится, — подняв голову, сказал мой сосед, — вишь, нет ей покою.

— Сова.

— Сова! Не бай. Кто знат, кака еще сова-те...

Возобновившийся с новою силою спор отвлекает всеобщее внимание от обеспокоенной птицы.

— Есть тут кум: всех больше знат, да молчит. Всех бы мог одолеть, еще и самому лишка-то осталось бы.

— Это, знать, про Иван-то Степановича.

— Ну-ну. Вон он стоит. Погляди-ко в щелочку, промежду голов-те. Эвона личико-то ево. Вишь, тонкое.

— Светлый лик-те.

В щелочку промежду головами мне видна русая голова, с выдающимся вперед лбом и вдумчивыми глазами. Впалые щеки, пробор посередине, взгляд неподвижный и упорный, смиренная поза — все это обращает невольно внимание. Я узнаю своего недавнего собеседника.

— Да, — многозначительно вздыхает кто-то. — Больше всех знат, да не открыват. Умалчиват.

Жадные взгляды вперяются в бледное лицо Ив[ана] Степановича. В этой наивной толпе живо убеждение, что где-то среди этой свалки скрещивающихся мнений живет в мистическом покое и смиренной тайне полная, цельная, единая спасающая истина. Какой-нибудь начетчик принес ее из Урени в котомке, в старой книге; или звучит она в гнусавом и проникновенном пении беспоповцев, или в младенческом лепете под высокой сосной, или, наконец, она таится в голове смиренно молчащего сермяжника с тонкими и вдумчивыми чертами.... Щелка еще более раздвинулась, и я увидел чуть не всю фигуру Ив[ана] Степ[ановича]. Он был в темном самодельном зипуне и в новых лаптях.

Над деревьями подымалась луна. Шум и гам голосов не помешал ей пронизать воздух золотистыми лучами сквозь тихо нависшие ветви. Заиграл на часовне жестяной крест, и даже сова, все так же беспокойно метавшаяся около купола, стала виднее.

— Нет, Ларивон Кондратьич, голубчик. Видно, последние-те года!

— После-едние, Иван Калиныч, последние.

— То-то.

— Да уж оно и въяве обозначает: сказано — седмь седмиц. Аще кто доживет годичные седмицы — горе доящим и горе рожденным, яко лучше бы не родитися.

— Ну?

— Ну, — понижает говорящий голос до шопота. — Из-за чего царь-те пустил землю на 49 годов? Что уж одного-те году не прибавил? Ведь нам же облегчение было бы.

СТАРИК В СЕЛЕ ПАВЛОВЕ

— Ну-ну!

— 49 годов-те, братие, — седьм, седьм, седьм годичных седьмиц. Теперь пятая. Седьмая истекает, тут и ждите.

Старик, зловеще прошептавши это предостережение, ныряет в толпу.

— Да ведь это рассудить надо. Это ведь от пророка Еремии началось: не поклоняйтесь декам, богам древяным. Это к чому? Это значит к тому, что как пришел вавилонский царь, сделал израильскому царству порабощение, к примеру как мы турок там, или иных народов, — и развел в плен. Так вот Еремия-те и пишет им, плененным-те: блюдите, говорит, сами себя, что вы теперь на чужой стороне. Там, стало быть, и боги иностранные, например. И не суть боги, но древо: сметут с них пыль-те, они чисты, а как не смету-ут, — они должны быть грязны. Сами не ходют, и не движутся, и не суть... Вот это к чому: к иностранным-те богам. А они значит к нашим россейским иконам-те привели.

— Это привод неправильной.

— Об том вот!

— А это к чому применить? — протискивается плечом вперед старичок с широким шершавым лицом, с жесткой белой бородой, в грязной шляпенке, с посохом и котомочкой. Он подвижен, нервен — как-то беспокоен. Видно, что в этой толпе он — в самом незначительном меньшинстве, поэтому и мнения свои он высказывает скорее в форме вопросов:

— Это к чому применить: стало быть икона, народы-те кланяются. И теперь у иконы у этой изображение: стоит человек, а голова лошади. Ну, это как?

— А это... знаю, — говорит красивый старик: — это святой Онофрий прекрасный. Ну во-от, больно он был прекрасён. До той степени был прекрасён, что прочие, напр[имер], люди, наипаче жены, — грешили, на лицо на его глядя. Вот он и взмолился господу: сделай мне экое, говорит. Господь-те и вня-ял. Вот это к чому, милой! В соборнике вот говорится...

— Туповат я что-то насчет соборников-те, туповат.

Не понимаю. Евангилие вот понимаю я, а насчет соборников туповат. Св[ятых] отец. Это мне не надо.

Он вскидывает котомку и отходит.

— Вот еще какеи народы пошли, ах ты господи-батюшко.

В кружке, недавно спорившем, водворяется единомыслие.

— Да! И что только пошло в народе — это и обсказать невозможно. Мясное в пост жрут, молоко жрут, иконы-те выкинули.

— Это што! а вот у нас на деревне объявился один: немоляк!

— Немоляки-те. Это они по нету пошли. Церкви нету, причастия нету, креста нету, молитвы-те нету...

— Ах ты, господи!

— Ну, вот-вот, верно вы, Иван Яковлевич. Все этак. Как же, я говорю, святые-те отцы? Мне, говорит, их не надо.

— Не надо!

— Как же, я говорю, напр[имер], чудеса творили? А ты видал ли, говорит. Видать не видал, не сподобился, а написано явно: «Дух, говорит, просвещает, а писание мертвит». Как же, я говорю, писание-те мертвит? Ведь уж на белым-те листке чего хошь выводи. А лучше же я писанию внемлю, которое писание...

— Верно это. А ты бы ему об иконах-те насчет жидовина.

— Баял. Как же, я говорю, жидовин через икону спасся сам и весь город спас. Мало ли, говорит, за деньги-те чего напишут... [9]

Яйцо гнилое и свежее.

— Давай книгу-те. Недоверка выходит.

— А уж ты, Митрий, всегда прямо.

— А что ж. Я говорю правду: недоверка.

— А ты бы мягче. Мягче надо.

— Давай, давай пращицу. Може, кто и за ей потащится.

Мы ничего не понимаем, потому что мы около своих значит женщин все живем, поэтому самому и не имеем понятия.

На Ветлуге[10]

Пятн[ица].

Мы прошли по кладбищу в траве по пояс и, перепрыгнув через ограду, очутились на берегу Ветлуги.

Я испытывал какое-то смутное, странно щекочущее чувство, не то грусть, не то радость, точно встреча с чем-то знакомым, дорогим, давно минувшим, точно воспоминание о чем-то прошедшем невозвратно.

Быстрое течение, клочки белой пены на приливающей и вздувающейся реке, потопленная водою зелень прибрежных растений; лопух тянется из-под воды и тревожно качается не потонувшей еще верхушкой, между тем, как его собратья уже тихо и безропотно стоят в глубине; ветки ивы и дубняка весело кудрявятся и вздрагивают под ударяющими в них струями, бойко закругленные кусты, веселый дубнячок, новые домики на той стороне, колокольня сельской церковки за холмом на этой, —

Все это уж было когда-то,
Но только не помню когда...[11]

Вспомнил! Это было в 1879 г. Мы с Перч[иком] переправлялись через Ветлугу, отправляясь в ссылку[12]. Река так же прибывала, внезапно и торопливо, и так же кудрявилась зелень на том берегу, и колокольня выглядывала из-за холма. Я переехал благополучно, а Перчика на другом пароме подхватило стрежнем и несло вниз. Гребцы не могли выгресть, паром все уменьшался, а мы с моим жандармом смотрели на тщетные усилия паромщиков. Помню, как я старался разглядеть фигуру брата в кучке людей на пароме, — и какая-то глупая тревога вставала в сердце... В таких обстоятельствах тревожишься легче и любишь сильнее...

Так вот почему я встретил и здесь Ветлугу, точно родную реку. Мое прошлое, грустное и дорогое, неслось в воспоминании так же быстро, как эти струи.

На берегу у небольшого шалаша сидел перевозчик Тюлин[13]. Он был одет легко, в отопках на босу ногу, в рубахе и портах. Вид у него был какой-то унылый и мягкий. Он смотрел довольно равнодушно, как мальчишка собирается перевозить в лодке бабу с девчонкой.

— Возьми у бабы-те 2 копейки. Девчонку так. Страдаю я, — обратился он к В[иктору] Ив[ановичу][14]. Беда моя. Голову всеё разломило.

— Отчего?

От Тюлина несло довольно явственно водкой.

— Отчего? Кабы выпил — ну! А то не пил.

Он подумал.

— Давно и не пью я... Положим, вчера выпил.

Опять подумал.

— Кабы много. Положим, довольно я выпил вчера. Так ведь сегодня не пил.

— Видно, с похмелья.

Он серьезно посмотрел на меня. Мысль показалась ему вероятной.

— Разве либо от этого, ноньче немного же выпил.

Пока таким образом Тюлин медленным и мучительным, но тем не менее верным путем приближался к истине, — на том берегу меж кустов замелькала по дороге над речкой телега.

— Перевоз, о-ой! — кричал мужик, то появляясь, то исчезая.

— Тятька, слышь, паром кричат, — сказал отъехавший несколько Иванко. Тюлин не обратил на это ни малейшего внимания. Он опять погрузился в унылое созерцание.

— Разве либо от этого... Пью я, пью...

— Тятька, паром надобен.

— Сговорись там. Может, неважное и дело-то, может, еще не нужно ему и ехать.

Но мужик, тщетно вопиявший с того берега, уже переправлялся в лодке для личных переговоров.

— Давай паром-от. Чего ты?

Тюлин ответил ему не сразу; он продолжал обсуждать свою немощь, и только по истечении значитель-

ного промежутка времени послал вернувшегося Иванка (и имя-то вятское) за более длинными шестами.

— Разве не хватают?

— Где хватить.

— Ты что ж раньше не принес? Видишь, река приплескиват. Вон и лодку у те унесет. (Мужик указывает на опрокинутую лодку, до половины уже залитую водой.)

Тюлин смотрит на нее взглядом знатока и говорит:

— Как не унести! Просто унесет.

Мужик смиряется. Мы сидим и смотрим на реку.

— А ты бы побежал встречу мальчонку-те. Чай, не донесет шестов.

— И то хотел тебе сказать сейчас: добеги-ко.

Оба сидят.

— А как у меня лошадь сорвется, мальчонку с бабой ушибет, — говорит мужик.

— А резва?

— Беда!

— Ну, может ушибить. Да тебе надо ли ехать? Чай, в Красиху пьянствовать.

— А ты уж накрасился, небось?

— Выпито. Голову-те разломило — беды.

Мальчонка принес шесты. Мы взошли на паром. Тюлин — последний. Он грустно посмотрел на берег и сказал с кротким укором, обращенным ко всем присутствующим:

— Чалки-те никто не отвязал.

И лениво, с безнадежною грустью стал отвязывать чалку.

— Да ведь ты последний взошел.

Замечание было совершенно справедливо, тем не менее, когда на другом берегу была взведена на паром лошадь с телегой и взошла баба с мальчонкой, Тюлин опять взобрался на паром и опять произнес с такой же укоризной:

— Чалки-те никто и не отвязал.

— Косушку с тебя! — сказал я шутя, когда общими усилиями мужик был доставлен на другой берег.

Тюлин, видимо, не расположен к шуткам. Долговре-

менное пребывание на берегу пустынной Ветлуги и продолжительные унылые размышления о причинах никогда не прекращающейся болезни, — все это расположило его к серьезному взгляду на вещи. Поэтому он уставился в меня своими несколько тусклыми глазами и сказал помолчав:

— Пойдем. Поднесу...

— И не одну поднесу, — добавил он конфиденциально, понижая голос. В его лице проступило если не удовольствие, то по крайней мере мгновенное забвение тяжелых похмельных страданий.

А на этом берегу уже приближались скрипя две телеги с товаром.

— Едут, — уныло констатировал Тюлин.

— Может, у них неважное дело, — предположил я.— Уговори вернуться.

Тюлин подумал весьма серьезно и ответил:

— С товаром. Видно, надобность им. Где уж, поди. вернуться...

О знакомая, прелестная река, о Тюлин, где же и когда я тебя раньше видел?..

— Что ты кака сильна приехала, разговариваешь...

— Разговариваешь! Чай вить, через реку-те ходу нету мне...[15]

I

Верность своему слову и благородное доверие к чужому[16]

Был я на Ветлуге у дьячка С. При этом случилось мне слышать следующий факт, рисующий ярко верность своему слову и благородное доверие к чужому, — присущее русскому народу вообще и ветлугаям в частности.

Есть за Оврагом невдалеке от Благовещенского села деревня Соловьиха. Народ живет в ней предприимчивый и притом гордый. Играли подростки в орлянку, проигрались. А дело было в феврале или марте, когда

бабы по насту холстины расстилают. Вот предприимчивая соловьихинская молодежь и надумала: пошла в Благовещенское холстины с насту обирать. Сбор был обильный, бедняги не могли унести на себе, — взяли сани. Проигрыш вознаградили бы с избытком, да по младости не сумели концов схоронить. Наутро по следу саней пришли и холсты все вернули ревевшим на селе благовещенским бабам. Судили «малыех», да оправили: нашлись благородные лжесвидетели (есть этот полезный класс людей и «в народе»).

Это по части предприимчивости; а гордость соловьихинских обнаруживается в том, что их никак нельзя называть «воришканами»: голову проломят.

Так вот об них. Гостил я у дьячка, сидим, чаек пьем да беседуем. А дело к вечеру. Вдруг кто-то снаружи в окно постучал. Мужичок: «Пусти, говорит, Ив[ан] Ив[анович], ночь полежать». А что? Ты ведь недальной. Дошел бы.

Вошел мужик в избу. «Дошел бы, да боюсь. Пугали меня соловьихинские, а ноне у меня катенька[17] в кармане, — опять в пролубь уведут».

Оказывается, соловьихинцы водили этого почтенного мужичка к пролуби не однажды. Имеет деньги, любит выпить и, имея натуру открытую, хвастает нередко, как и в тот день: дескать, имею у себя катеньку. Вот пойдет мимо Соловьихи, соловьихинцы возьмут его под-руки, да и ведут к проруби.

— Хошь в воду?

Ну, разумеется, не желает. Они, добренькие, его и не станут неволить. Ступай с богом, только деньги нам оставь. И оставлял не один и не два раза.

Отчего же он не жаловался? Вот тут-то и сказывается трогательная черта, рисующая обе стороны с самой лестной стороны. Молчание почтенного обладателя катеньки есть результат верности данному слову.

— Никому, гляди, не бай. Не скажешь, что ль?

— Не скажу.

— Заклянись.

— Чтоб мне на сим месте провалиться, коли скажу единой душе.

И не говорит. Скажет когда: пугали меня соловьихинцы, к пролуби важивали, а кто именно — ни за что не проговорится. Верен своему слову, а соловьихинцы питают благородное доверие к нему и ко многим другим. Все приводимые к пролуби вместе взятые могли бы завести соловьихинцев не в пролубь, а в самую Сибирь, но храбрые соловьихинцы знают, что их участь находится в руках честного народа, верного своему заклятью. Трогательно это доверие и эта наивная вера в возможность «провалиться на сим месте» в случае обнаружения соловьихинских приемов.

Где вы найдете что-либо подобное в «гнилой интеллигенции»?

II

Самоотверженная охрана имущества и презрение к собственной жизни

Есть против Благовещенского деревня Песошная. Пришли песочинцы в Благовещенское с жел[езными] вещами для починки: лемехи, сошники, косы и прочее. Семь человек с котомками. Ну, починили, назад к реке идут и сумки с железом в руках несут. А река все приплескивает, прибывает, на реке ветер ходит, волну качает. Играет Ветлуга. А лодочка-то верткая, маленькая. Как быть, — кабы железо-те не потопить. К реке шли — в руках несли, в лодки садиться — стали котомки к себе крепко привязывать, — не утерять бы.

Выехали на середину, лодку-то и опрокинь. Железо-то крепко к спинам в котомках прикручено — не потерялось. Так вместе с хозяевами и ко дну пошло.

Все семеро!

---

[18] Ложись на перевал! Ставь по плесу... Рыскнуло больно, крепи, крепи.

— Что, Тюлин, нынче здоров?

— Слава богу... Не крепко что-то.

— Давай бабу-те перевезем.

„БОЖИЙ ДОМИК“ ПОД АРЗАМАСОМ

— Ладно. Садись в тую же фигуру (это значит, как и вчера, т. е. к веслам).

Мы садимся к веслам. Иванко — к рулю. Тюлин философски неторопливо похаживает по борту, как-то безнадежно тыча в реку шестом. По временам он окидывает паром и реку своим равнодушным, но тем не менее действительно знающим взглядом и вяло командует:

— Ложись на перевал, Иванко, ложись на перевал! Больно рыскнуло. Держи по плесу! Крепи, Иванко. Крепи, говорю!

Мы переправили бабу, кой-как сошвырнули телегу с лошадью с крутого борта парома (мостки снесло еще вчера). При этом Тюлин философски испытующе смотрел на телегу. Она скакнула передними колесами, лошадь подобрала зад, прыгнула, что-то громыхнуло, треснуло, и телега стала на землю.

— Цела? — спросил Т[юлин] у бабы.

— Цела.

— Ну, отлично. Думал, непременно ей надо сломаться. Давай купаться.

— А пароход пробежит.

— Я тебя с парому поставлю.

— Нет, уж лучше на той стороне...

Мы выкупались. Вода в лесной реке была холодная, как лед. Тюлин встряхнулся, глядел бодрее.

В Юркине

— Замуж за русских выходите?

— Нет, не ходим. Русские за черемис ходят, мы не ходим.

— Отчего так? Вас русские мужики не берут, или вы за них не желаете?

— Они берут, мы не ходим. По-ихнему говорить язык не ломается. (Русская за черемиса идет — черемис говорит по-русски.)

— Ведь вот ты говоришь.

— Мало говорю, и то слава богу. Всячина говорить язык не ломается.

— Этто поедете, несет чылко.

Волна разве большая на Ветлуге-те живет.

12

ЛИСТЫ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 1889 ГОДА

В 1889 году теплым весенним вечером я переправился на пароме через Оку и тихонько побрел лугами. Позади остались павловские горы, на которые мне не хотелось оглядываться. Целую неделю не знать ничего, кроме замков, лички [1], ножей, цен и... павловских скупщиков, — это что-нибудь да значит. Я глядел вперед, где уже застилались туманом глинистые холмы, кустарники и избы села... Дальше чуть-чуть виднелись верхушки леса.

Мне нужно было в Гороховец. Утром сонный поезд остановится на сонной станции, я сяду и засну тоже до Нижнего. Но прежде — еще целый вечер и целая ночь до Гороховца. Нужно было нанять лошадь, что было нелегко в рабочую пору, и затем протрястись 20 верст по лесной дороге.

Мне говорили в Павлове о солдате Панкрате. Он не очень любит пахать и всегда предпочитает извоз. Сдерет сколько сможет, но зато доставит. Кроме солдата Панкрата некому, да кстати с ним, говорили, не соскучишься.

Жил этот Панкрат на самом краю села. Я тихо подошел к избе уже в сумерки. В избе горел огонек. Невдалеке у двери амбара белел женский платочек, и алая кумачовая юбка странно сливалась с синими сумерками. Женщина, держась за косяк, наклонилась в темноту и звала:

— Панкрат, а Панкрат! Панкратушко...

Из амбара доносилось легкое всхрапывание.

— А, Панкрат, вставай, ужинать собрала...

— Сплю я, — пробормотал кто-то и в доказательство вновь самым неподдельным образом захрапел...

— Брось, — послышался тихий мужской голос с какой-то угрюмой нотой. — Пущай его спит...

Какая-то тень нерешительно скользнула под тенью навеса и стала рядом с женщиной.

Роман, — подумал я невольно. Бедный Панкрат! Но в это время женщина повернулась и сказала сердито:

— Уйди ты, постылый! Что тебе тут?

Тень перестала скользить по направл[ению] к женщине и остановилась. Кто-то угрюмо хихикнул.

— Что зубы-те скалишь? Съездить вот наотмашь, перестанешь баловать.

— Сама не балуй.

— Чего не балуй? Подлец ты, Микеша, что ты в самом деле вздумал! Разве можно?

— Дунь, — заговорил вдруг мужской голос с подавленной страстью. — Дуняш... пропаду из-за тебя, не знаю, что ты со мной сделала. Сохну... Аль и в самом деле ты ведьма, околдовала?

— Не высохнешь, — сказала женщина, однако с оттенком тщеславного удовольствия. — А какая ведьма, про то тебе лучше знать, подлый ты....

Мужчина опять хихикнул.

— А ты перестань, слышь. Панкрату скажу.

— Не скажешь...

— Да ведь, чай, больно...

— Мне пуще твоего... А не стерплю...

13

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА-АЛЬБОМ 1890—1897 ГОДОВ

Вот Ананьев жил, богач, вон в том дому, в больших-те палатах. Этто вот сколько дров по берегу видите, и у него столько же было... Вся беднота пользовалась. — Давал даром? — Не то что давал, дескать: бери сколько хочешь. А тащить дозволял. Выйдет на крылечко утром, рано. Гляди-ко, говорит, Анна Митревна (это жена его была Анна Митриевна). Гляди-ко, птички небесные мою пшеничку клюют... Хе-хе-хе. Это беднота его дровишки таскает... Ничего! Только с лошадью не тащи, а руками да на салазочках таскали... Птички, говорит, небесные... Выгнали! Обчество!

— За что?

— А за то! Миллионы его в Павлове остались бы, а

выгнали, — теперь в Нижний утекли. Вот и все тут. Эх-хе... [1]

Ночью, в час, мы пришли на пристань [2]. До парохода долго. Снизу, вдали мелькает огонек под темным яром, неясно, далеко. Это идет «Ока». Наш пароход «Удачный» должен притти сверху и ранее «подаст голос» за семь верст, в Вареже. Каюта занята сплошь. На скамьях навалены узлы и мешки. Черный еврей, которого я в понедельник видел на скупке [3], теперь спит, прислонясь к мешкам, на скамье. Я располагаюсь снаружи, на палубе. Сверху легкий свежий ветер дует по ногам. Перед глазами за обрезом пристани расстилается река. Есть что-то особенное в ее чуть светлеющ[ей] глади. Чувствуется ночной бег, движение, невидное глазу, а дальний берег чуть брезжит, меланхолически сливаясь с серовато-синею ночною далью. Малая Медведица свесилась как раз над серединой реки, и ее отражение то слегка растягивается невидимо бегущей волной, то совсем исчезает. Я погружаюсь в дремоту, из которой меня выводит тихий разговор.

— Колесы стучат, — радостно говорит парень, давно, еще с вечера ожидающий на пристани.

Женщина и другой мужик прислушиваются.

— Каки колеса! Это волна на носу плещет.

Они переходят на нос и наклоняют головы.

— Не-е-т, — говорит баба. — Бочата [4] это пущены на воду. Они бурлят.

— Мельница это, верстах в четырех.

Моим ногам совсем холодно. Я встаю и хожу по палубе. Пароход под яром ближе. Выделяются уже ясно три огонька, но они будто стоят на месте. По воде идут чуть заметные полоски, небо над горизонтом посветлело, и откуда-то падают на реку красноватые и зеленоватые чуть заметные отсветы...

— Слышь, голос подает!

В публике движение, потом тишина. Сверху, где река чуть блистает синей излучиной, из-за горы — доносится дальний свисток, такой же неясный, как эти краснова-тые отсветы на речной глади...

— Ну, скоро теперь.

Между тем низовый пароход уже выделился из темной полосы берегового яра и, как-то внезапно выплыв на светлую поверхность, растет, пялясь огнями и охватывая с каждым ударом колеса громадные расстояния...

— Берегись, ударит «началкой»[5].

Волна качает нашу пристань, проплывают окна, в которых мелькают спящие каютные пассажиры, скрипит соседняя небольшая пристань, что-то трещит, стучит, колеса хлопают задним ходом. Висящая в воздухе лодка вырезывается темным острым силуэтом над линией противуп[оложного] берега и подается на нас...

Через минуту уже стучат по мосткам тяжелые шаги грузчиков, хлопают на пол со спины мешки; петухи в клетках около парох[одной] кухни хрипло поют, хлопая крыльями...

Река светлеет. Медведица меркнет вверху, а купола церкви на павловских горах врезались причудливыми шариками, точно четки, на ясном небе, на котором уже брезжит заря...

---

[6] — Жить можем, чего говорить, от себя бедны мы... всегда скажу, не похвастаю. Богатой куничий воротник покупат, и мы куничий вор[отник] покупам... в 50 рублей. Тут уж нам надо в загорбок накласть.

— Покупа-ашь! На тебе вот куничий воротник?

— Детям покупам, — скажу, не похвастаю. Себе не покупаю — детям покупаю. Чего говорить-то! Всем можно живым быть...

— Поди теперь купи воротник, — ни за что товар не берут. Что себе замок стал, и того не желают оправдать. Купишь тут.

— Теперь — что говорить. А в светущее время покупали, когда бы копеечку гля надо беречи черного дня.

— Толкуй! 500 человек, может, воротники-то покупали,— на всех, сказывают теперь, на 7 тысяч человек. Подошли теперь мастера, нечего сказать, подошли вовсе, не до возможности. Бросай дело, вот как пришло.

— Куда едешь?

— Балчужничать [7] еду, в Казани, в Перме гля какой-нибудь розыскания себе работы...

Вот послушай ты и мои бабьи речи. Вот ноне лето красно, мы огня не зажигам. От пасхи до спасова дни. — А зимой-то с огнем пораньше встаем, попозже ложимся.

Иной заботливой огонек зажег бы, да сейчас соседи — вон, гляди, огонь зажгли. Так мы друг на друга...[8]

В лавке к празднику-те нахлыщем, а отдавать и не хватит. Всю и лавку-те растащили.

Вот, господа, какò дело. Взял себе жену. Прямо сказать, взял ее к себе в одним кресте. А она и уйди. Вольничает теперь по Павлову, бродит.

Вот какое время теперь [9].

Завьялов Петр Осипович (знавал лучшие дни).

«Прежде у меня стальное изделье работалось, и свидетельство у меня есть... Да из рук бедностью выбилось. Той бедностью из рук выбилось, что на трех годах два пожара было, да еще на базаре низкие цены стали давать.

Теперь вот и работаю замки, так... только ради одной скуки... Хлеб себе получаю очень плохой. Повремени, когда на пятачок-другой цена перевалится, — деревенские на меня работают ножи перочинные. А я клеймо свое ставлю. Иной раз в деревню со своим клеймом хожу.

Да что!.. Плохой, плохой хлеб себе получаю...» [10]

14

ДИВЕЕВО, ПОНЕТАЕВКА и САРОВ

...Вместо четырех часов утра, как предполагал накануне, я проснулся тòлько в седьмом. За сборами и прощанием с гостеприимными хозяевами [1] ушло еще часа два, и когда я вышел наконец в путь, — на улицах Арзамаса меня встретили горячие лучи солнца, а хозяин гастрономического магазина сидел уже на тротуаре и отирал с лица обильно струившийся пот.

Три колбасы, похожие на засохших гусениц, и две мумии какой-то неведомой птицы, висевшие над прилавком, дают магазину право на громкое название, а хозяину на некоторую сановитую важность. Вчера, когда я зашел к нему, чтобы выпить зельтерской воды, он подверг меня формальному допросу: во-первых, откуда я, во-вторых, куда иду, в-третьих, по каким делам, как моя фамилия, и, наконец, есть ли в Нижнем такая хорошая зельтерская вода, как в Арзамасе. Получив по всем пунктам вполне удовлетворительные ответы, он в свою очередь с большой готовностью рассказал мне, что в нем весу девять пудов тридцать пять фунтов, «чистого-с», что он лечится у двух докторов, что за лето надеется сбавить фунтов пятнадцать, но зимою опять прибудет весу.

Сегодня он приветствовал меня, как старого знакомого.

— Неужто пешком?

— Пешком.

— Ну, в самом деле!

— В самом деле.

— Ма-аладчина! — поощряет он меня, зевая и отирая пот, подымается и уходит в холодок своей лавки.

II

По выездному мосту я перехожу тихую-претихую реку Тешу, вьющуюся по лугам, среди камышей, осоки и мягкого светло-зеленого «гусиннику», в котором виднеются протоптанные блаженствующими здесь гусями дорожки[2]. По берегу Теши, мимо слободы и церкви я выхожу наконец на саровскую дорогу.

Арзамас сзади. Еще полчаса — и, оглянувшись, я вижу его на горе, с бесчисленными, спутанными в синеве воздуха, сверкающими на солнце колокольнями и куполами. Кажется, будто гора за Тешей, задернутая легким синеватым газом, обвита затейливым, тонким и ослепительно-белым кружевом. Ближе ко мне — Выездная слобода, налево, на горизонте — высокая гора со своими едва видными церквами, плавает в тумане, точно синий островок, а вправо, на вост[очной] стороне го-

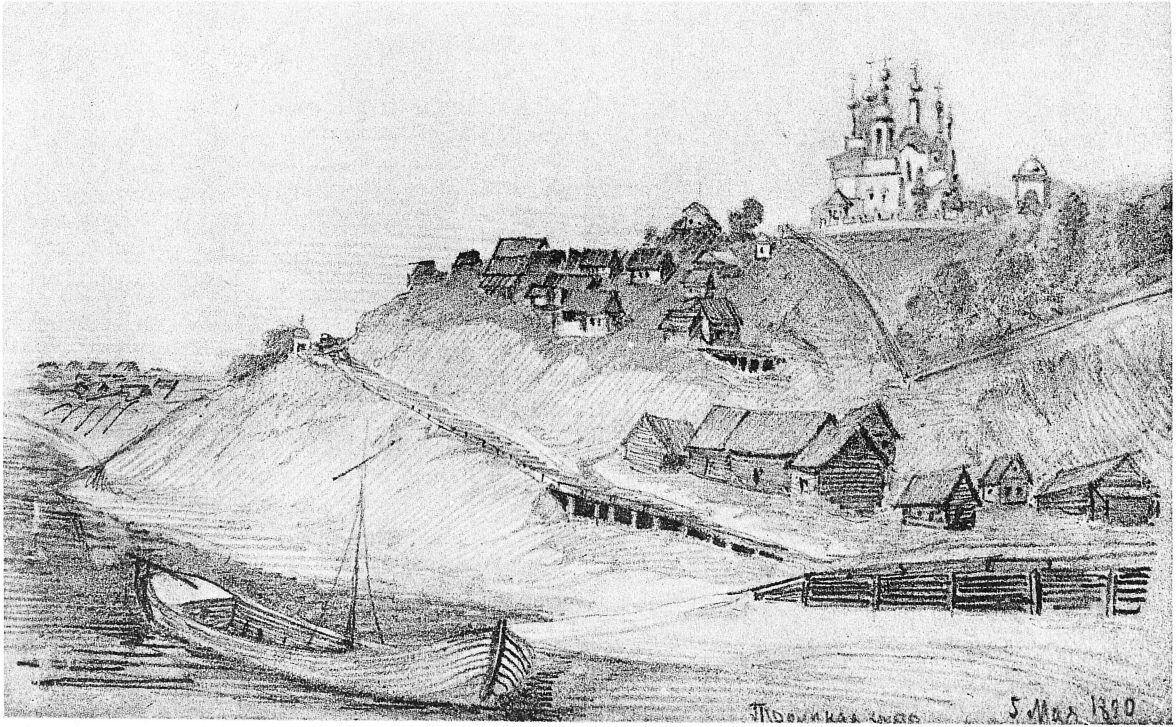
рода, на кочковатой горе видны поднятые кверху лапы ветряков и чуть-чуть белеют «божьи домики».

Среди впечатлений сонного «настоящего» Арзамаса, над этими млеющими от жару парами и сверкающими куполами — встают и носятся в воображении такие же смутные, неясные воспоминания.

В Выезднове, откуда теперь доносится ко мне мирный крик петуха, оклики ребят да чья-то незатейливая песня, — когда-то жил помещик Салтыков. Выездново никогда не пользовалось хорошей репутацией, но при Салтыкове оно обратилось прямо в разбойничий стан, и тихая Теша приняла не одну жертву на свое илистое дно, — несмотря на то, что мост находится у самого города и на соборной горе ясно были слышны по ночам крики убиваемых, не подозревавших опасности у самого выезда из города. Но помещику Салтыкову никто не смел становиться поперек дороги, и единственная форма протеста со стороны арзамасцев сохранилась, как говорят, до сих пор на Тихоновской горе в виде маленьких каменных домиков, крытых крышами, в форме крохотных каменных избушек. Это и есть «божьи домики», где, по одному преданию, схоронены жертвы Салтыкова.

Другое предание, более вероятное, связанное с этими беленькими постройками, еще более мрачно. Говорят, здесь похоронены бунтовщики разинцы, после короткого, но кровавого разгула. Расправа тоже была коротка и кровава. На горе из города ясно были видны виселицы, где теперь ветряки мирно дожидаются ветра для своей мирной работы. Видны были и качавшиеся на виселицах трупы и стаи ворон, взмахивавшие своими тяжелыми крыльями над местом мрачного пира...

Говорят, что в ночь после казни в Арзамасе с той стороны въезжал торговый верхом. Должно быть, Стенькины удальцы насолили и ему, — так как, проезжая мимо страшного моста, где ветер раскачивал их трупы, купец не почувствовал обычного страха, а только слепая ненависть бушевала в купецком сердце. Подскакав на коне к виселицам, он привстал на стременах и стал хлестать мертвецов плетью.



СЕЛО ПАВЛОВО

Но, видно, это уже было слишком даже для «воров» Стенькиной шайки. Народная совесть, и до сих пор еще колеблющаяся и нерешительная в своем приговоре над «удалыми», сказалась в предании. От безбожного поступка над мертвыми — совершилось вдруг страшное дело. Взвились с испуганными криками вороны, мертвецы закачались и закричали, конь взвился под купцом и поскакал с горы, а мертвецы понеслись за ним с криками мести, с лязгом цепей, воем и скрежетом. Тогда-то купец дал обет похоронить оскорбленных, если избавится от смертной опасности, и выполнил обещание. Свидетельством этого остались беленькие «божьи домики», которыми еще не так давно пестрела вся гора, изрытая кое-где провалившимися могилами.

Которое из этих преданий правдиво — сказать трудно. Только какая-то мрачная драма, поразившая сильно воображение предков нынешнего Арзамаса, видимо дремлет на этом месте, покрытом странными и необычными постройками. Вчера я заходил туда и был даже внутри одного из этих домиков.

Простое дерев[янное] распятие с адамовой головой стоит на своеобразном иконостасе, и видимо благочестием рук, которые ставили и возобновляли эти иконы, руководили мрачные впечатления, связанные с горою преданий: лучше других сохранилась икона на пьедестале креста. У подножия фантастического холма стоит столб с орудиями истязаний — пучком розог и плетью. На холме лежит отрубленная рука, несколько гвоздей, большой пыточный молоток и клещи мрачно рисуются в воздухе. Мрачные туманные облака пронизаны лучом света, и на столбе фантастическая птица, напоминающая петуха, вытянув шею, кричит навстречу этому брезжащему свету.

Наивный, но видимо проникнутый живым ощущением неведомой драмы, — рисунок производит чрезвычайно сильное впечатление. Другие иконы подобраны таким же образом: страдания Христа в разных видах, и усекновенная глава из камня, ужасная, разрисованная поблекшими красками, — все это усиливает впечатление... [8]

Выйдя из этого склепа, хранящего неведомую трагедию, неведомо когда пролитые кровь и слезы, над которым почиет робкая молитва и может быть неуверенное благословение колеблющейся в приговоре народной совести, — я с каким-то удивлением встретил мирную картину, сиявшую на солнце. Зеленая трава тихо шевелилась, и маленькая, точно игрушечная крупчатка, наполовину скрытая за гребнем горы, как-то наивно, точно играя, шевелила своими маленькими и изящными лопастями...[4]

. . . . . ,

Еще полчаса — и густая цветущая рожь закрывает от моих глаз верхушки арзамасских церквей. Широкая дорога с бесчисленным множеством старых, заросших травой, и новых пыльных колей лежит на зелени полей с мелькающими, как точки, возами. А вдали мреют избушки и церкви ожидающего меня на пути Ялинца.

Прощай, Арзамас! Там, за синеющей далью меня ждут новые встречи и новые впечатления[5].

М а р ы (бугры, курганы).

Глазам-то видно, ногам обидно[6].

Просто даже сказать — было невежество, невежество! Теперь у них выпрошен с Афона-горы игумен, который маленько этого невежества сократил бы. Еще даже он оттуда не хотел и свои кости тревожить, да уж правительство его выпросило, вот что.

К о н е ч н о, н е н а м с у д и т ь, — б о г с у д и, о н и в в и н е, о н и и в о т в е т е.

Мужичок поливал свою полоску. В з м ы л о б л а к, и облак-то небольшой, — полоску всеё побило. Стало быть, господь за это дело прогневался.

Старик: да ведь где же заметить — стадо большое. Да если что... так ведь и начальство того... не открывает, скорее же прикроет кое-как, да и ладно... Как же можно! Это ведь к о н ф у з у о т н о с и т с я. (Тише.) Эту вот церковь хотели оттягать у мира, — не вышло.

Акты есть, когда и построена и кем. Монастыря-то еще и слуху не было... Хотели захватить этто вот все, под самую гору (указывает на улицу, занятую избами мужиков, и вздыхает): пышность все. Главная причина — все пышность... Вот и мать казначея — третьего, что ли, году устранена. То же самое — пышность... Ох-хо-хо...

Работай, утруждай сам себя — и не имей себе куска, — это ведь не тово, не годится...

Подходит к лавочке и садится пожилой человек в заплатанном сюртуке, в гор[одских] сапогах с высокими каблуками, на которые он ступает с видимым трудом. Лицо изрыто морщинами, около рта и глаз какие-то глубокие складки, из-под которых сквозит боль, горечь и озлобление неудачника. Фигура чисто городского склада, из тех, которые так и говорят острым, воспаленным взглядом и настороженной подозрительностью: не тронь, — я все-таки еще кусаюсь.

Водворяется молчание.

— Тоже по богомолью? — спрашивает кто-то, так как видимо и молчать всем как-то неловко.

— Нет, — говорит пришелец, и нижняя губа покрывает у него верхнюю, а в глазах играет какое-то напряженно-шутливое выражение. — Я ведь ленивай...

— Та-ак, — вежливо поддакивает мужик.

— Из Пензы. 200 верст прошел, — уже обиженно говорит пришелец.

— Много жа...

— И то напрасно. Дома у себя я помолюсь лучше — раз! Нагрешу меньше — два. А то вот сейчас на паперти две монашенки стояли: тра-та-та, тра-та-та. Всю службу проговорили. Уж это я осудил. А осуждать грех.

— Верно что...

Господин сверкает глазами и говорит каким-то скрипучим голосом:

— Я ведь бр-р-рюз. Половина у меня польская... фамилия моя Заблоцкий. В Пензе исправником был тоже

Заблоцкий, — не изволили знать? — обращается он ко мне, как к единственному человеку, который может иметь знакомства в таких высоких сферах.

— Не знал.

— Можете представить положение-с! Катар желудка, принимаю соду. Щепотку соды приму — моментально все приходит в порядок. И вот третьего дня — купил соды на последние три копейки. Теперь ни соды, ни денег, ни чаю, ни сахару... До Пензы двести верст!..

У меня есть одна слабость: я могу пройти с обычным равнодушием мимо нищего, способного возбудить сочувствие, но перед страданием человека, внушающего антипатию, — совершенно беспомощен. Люди, обладающие этой чертой, чаще всего делаются жертвой своей совершенно неразумной благотворительности. И теперь острый, воспаленный взгляд пензенского «брюза» овладевает мною совершенно. Между нами вдруг устанавливается какое-то взаимное понимание.

Я лениво подымаюсь с места.

— Куда? — спрашивает мужик.

— В церковь, — говорю я, отворачиваясь от пензенского господина. — Чай, еще всенощная не отошла.

— И я с вами, — говорит он совершенно хладнокровно. И мы уходим от удивленных несколько собеседников.

— Ох-хо... сказано, не осудите... — вздыхает добродушный мужик, направляя это замечание куда-то в пространство.

Через минуту пензенский господин благосклонно прячет в карман мое даяние и снисходительно заминает этот эпизод передо мною самим, замечая, что я сконфужен.

— А что касается здешних порядков, — говорит он... но я уже вхожу в толпу богомольцев, расположившихся на паперти.

Батюшка говорил: Саров будет рукав, а Дивеево — шуба[7]. Во что. Не знаем уж, к чему эти слова сказаны...

...В С[аро]ве монастырь роскошно живет.

— За меня миллионщик сватался.

Она задумалась, и картины иной, роскошной, спокойной жизни пронеслись над ее потускневшими глазами...

— Не пошла. Так думаю и теперь: молодая я детей не рожала, что ж я в среднем возрасте, для чего пойду? Ну, а тут у нас в монастыре, Владимир, не знаю по батюшке, устав такой: теперь нас здесь более восьмисот человек, и все в поминанья запишемся вечно. Всех у нас поминают за обедней, за часами[8], за трапезой и то поминают. Подумайте? — того нигде нет, ни в одном монастыре! Вот мне это рассказали. И еще говорят, батюшка говорил: так буду просить у богородицы, чтобы все, которые у меня в Д[ивее]ве были, — все избавились бы муки огненной... Вот собственно поэтому.

А трудно. Хотела отпроситься, да приезжал тут схимник один. Не благословил на это дело. Ежели, говорит, ты откажешься, будет после тебя добыча меньше, обитель лишится доходу, — должна ты перед г[осподо]м ответить сама. Вот поэтому боюсь. И живу...

Так вот и все мы тут живем.

Задумывается.

— И неужто же за все за это не будет монахиням награды на том свете?

Молчание... В открытое окно тихо веет влажный ветер с полей, орошенных дождем. Сгущаются сумерки. На улице напротив виднеются слепые окна спящего деревенского порядка... Детская наивная вера, детские наивные расчеты, и... недетский подвиг.

Чахоточная Паша входит в комнату, крестится, кланяется и докладывает, что мужчина из такого-то номера завтра в четыре часа уезжает. Не пойдет ли матушка проститься?

«Кто огорчит мою обитель — будет преогорчен на том свете. Кто утешит — будет утешен. Кто и палочку с дороги подымет, да через ограду в обитель бросит, и тот без награждения не останется».

Сейчас выходил в пер[еднюю], чтобы напиться воды. В окно, выходящее в коридор, увидел сестру Александру. Вытянувшись во весь рост, опять строгая и спокойно-красивая в своем черном платье и белом платочке, она стоит посредине коридора, читает «правилец» и крестится широким крестом...

«Тафта, каленкор да ластик» [9].

Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас [10]. Косматой, оборва-атой [11].

— Ох-хо-хо! Вот так-то я всю ноченьку и не спала. А тут наутро опять булга. Чуть-чуть стало маленько брезжиться, — опять стучат в ворота. Кто такой, думаю? А это, батюшка мой, может и сами уже слыхали, пустынника тут привезли. Из Нижегородского, сам помощник губернатора... Слышь, объявился какой-то без пашпорта. Взяли его, спрашивают: где у тебя бумага, откуда? — А у меня, говорит, от роду бумаги никакой не бывало. — Как это может быть, ныне не те времена, где же ты проживал? — А жил я вот более двадцати пяти годов в пустыне. — В какой пустыне? — В саровским лесу. Да еще старичок со мной, пустынный житель, так, говорит, мы с ним и спасались на затворе, без выходу. — Как же вы кормились? — А к нам, говорит, на каждое утро являлся старичок, клал на окошко пищу и уходил. А кто такой — и не знали. А теперь, говорит, в настоящее время сожитель мой, говорит, помер, я его близ избушки схоронил, а сам вышел из затвору. — Правду ли говоришь, можешь ли избушку указать? — Могу, говорит. За мельницей, говорит, в лесу, верст еще с двадцать пройти. Ну, конечно, удивились, — что уж, знаете ли, в нынешнее время не должно им быть, таким пустынникам. Взял его самый этот член с собой, и приехали. И не сказывают никому, зачем. И сам этот человек тоже молчит. А сам косматой, оборватой, глазами этак странно смотрит. Пошел утром умываться, попался — встречу мне.

— Ну, что, говорю, лантрыга? Чего наделал?

— Это пустынника-то? — удивился я.

— Где уж, батюшка. Какие ныне пустынники? Я, говорит, матушка-гостинница, не думайте. Я им в дороге попался, — взяли меня. Молиться едут, и я с ними. — Не ври, лантрыга. Знаю я. А я и действительно узнала. Девушка у меня послушница — на ухо больно востра,— ну, и слышала. Поехали в Саров, прихватили там еще начальство да понятых, ходили в лес, в такую гущину — тропочки нигде нету. Топорами деревья зарубали, чтобы иметь себе обратный выход. Ничего, батюшка, и не оказалось. Лантрыгу связали и прямо теперь на каторгу... Где же такую булгу наделать, разве можно!

Ох-хо-хо! Видала я их. Келейницы эти да странники. Осенью вот из Сарова пойдут — беда, что осенние листья ветром гонит. Озябли, оборваты, жалкие. А весной, слышь, батюшка, веселые идут. Теперь нас, матушка, всякая березка греет, вон на ней листочки пошли... Вот двое пришли прошлую осень — поверите, один все Четьи-минеи наизусть знает. Образованной [12].

Найдет, говорит, на меня этакое волнование — и более жить в монастыре не могу. — Ну, ты бы женился, в миру бы попробовал жить. — Нет, на это я опять неспособен, я этой жизнью и никогда с малых лет не жил [13].

Потом пошли, а другие опять идут. Господи, думаю, куда их это и откуда несет? Вот истинно, что ветер осенью листья, так и их осеннее время гонит.

(И добиваетесь себе хорошего куска?) Мухота... Така уж это насекомина.

— Откуда, бабушка?

— Недальние мы — арзамасские, да, вишь, ноги больно туго идут. От Арзамасу идем ото вторника. А вы видно из числа благородных?

— И жена есть, и детки?

— Есть.

— Ну, слава богу... Чай, теперь тужут. А придете —

подарочки несите. Кому крестик, кому образочик, кому гайтанчик.

Из Дивеевки в субботу[14], в 11¾. Осиповка. (Ребята просили)? барская руина — Яковлевка (правее дороги). Барановка, барское заведение (под лесом, правее дороги).

Мы были версты за две до Сарова[15]. Высокие сосны качнулись от ветра, зашумели, темная туча заглянула к нам из-за зеленых верхушек, дождь застучал по лесу, и через двадцать минут на нас не было уже сухой нитки.

— Вот тут с поляночки будет виден собор, — сказал Зиновьев[16]. Действительно, меж ветвей сверкнул золотой купол, уже освещенный солнцем. Туча, сшутив над нами шутку, уже убегала далее, поливая нас последними каплями.

На полянке перед нами открылся и монастырь. Целая груда церквей, куполов, колоколен расселась на холмике, среди кудрявой зелени, над речкой Сатисом.

Мы вошли в ворота, подошли к крайнему зданию — купеческой гостиницы.

— У кого тут попросить приюта?

— Ступайте наверх.

Наверху немолодой темнолицый послушник ставил самовар и встретил нас не особенно приветливым взглядом. Сказать правду, мы представляли не особенно респектабельный вид, — промокшие, с посошками и сумками за спиной.

— Нельзя ли нам номерок?

— Нет у нас.

— Нельзя ли, пожалуйста, — может быть, место и найдется.

— Да, вот видишь ты: место найдется! Дать тебе место...

Он почесал рукой в своих густых лохматых волосах.

— ...так уж надо тебе и ужин. А между тем у нас ведерко щей отпускается на всех. Ступайте напротив, в черную[17].

ИЗ ПОЕЗДКИ В С. ПАВЛОВО

— Эй, матери, матери, — вставай! Чего вы спити-и! К вечерне заблаговестили.

...Мы ждали довольно долго, рассматривая под сводами колокольни наивные изображения из свящ[енной] истории. Наконец, отец Александр появляется в сопровождении молодого послушника с изможденным лицом и характерно приподнятыми, сильно изогнутыми бровями. Мне уже знакомо это выражение, — эти беспрестанно двигающиеся брови, точно щупальца насекомого, эти повороты головы, причем ухо ловит каждый звук: послушник слеп, — счет пространства и слух заменяют ему зрение...

Он отворяет ощупью замок и прежде, чем мы вошли, спрашивает:

— Кто тут? Пожертвуете мне сколько-нибудь?

Мы подымаемся по узкой лестнице, которая еще все суживается кверху. На одной из железных дверей, попадающихся то-и-дело в стенах, я читаю при тусклом свете надпись: «Многие начинают, но немногие кончают», — очевидно это относится к восхождению на высокую колокольню (36 саж.). Еще выше — оконца все меньше, лестница все уже. Очевидно эта узкая лестница наводит на размышления, — при всем неудобстве письма, стены все-таки испещрены надписями. Среди сообщений «был такой-то» попадаются и сентенции, и все больше сумрачные, как эти узкие всходы на высоту. Вот одно из них:

Помни смертный час,
Помни трубный глас,
Помни вечную муку,
Помни с жизнию разлуку...

Много еще напоминаний в этом роде начертала чья-то суровая рука среди сырых пятен и узоров паутины. Но узкое оконце давало мало свету, и конец стихов, все менее четких, терялся где-то в тени. Притом же шаги слепого звонаря замирали вверху, поэтому я оставил поучит[ельное] чтение и бросился за ним.

Я догнал обоих моих спутников на первой площадке.

Уже здесь высота очень значительна, но мы идем еще выше, на след[ующую] площадку. Теперь сверкающие купола собора у нас под ногами. Толпа, снующая по помосту, среди которой виднеются и белые мордовские балахоны, и черные клобуки монахов, и пестрые одежды крестьянок, — кажется состоящей из движущихся маленьких марионеток. Мой спутник интересуется колоколами и высчитывает, сколько пудов в каждом порознь и во всех вместе. А я, окинув взглядом прелестную панораму, с ее монастырскими зданиями, которые лежат у наших ног, точно на плане, с кудрявыми лесами, с сверкающими изгибами речки, с мелькающими там и сям крестами, крышами пустынок с могилами отцов, подвизавшихся и почивших в обители, — обращаю взгляд на слепого провожатого. Он стоит в темной дыре, из которой мы только вышли, в своей темной рясе, держась обеими руками за косяк, и подставляет лицо навстречу ветру, который веет сюда, высокий, чистый, свободный от примесей и испарений земли, заходит в пустоты колоколов, отчего они тихо шумят глубоким металлическим шумом, за которым ухо ловит что-то еще, будто далекую невнятную музыку. Звонарь стоит неподвижно, и на лице его характерное выражение слепого внимания. Слушает ли он глубокий гул меди или тихий шорох, доносящийся сюда снизу, но только брови его остановились, и лицо успокоилось.

— А что, батюшка, трудно звонить-то? — говорит мой спутник, перебирая веревки, которые здесь протянулись целою сетью.

— Ничего не трудно, — отвечает слепой и быстрым привычным движением руки, скользящей вдоль стены, нащупывает веревки и начинает их тихо перебирать.

— Я скоро выучился... Звоним мы. Да еще как звоним! Послушай ты когда-нибудь на пасхе или в другой праздник.

И на лице его появляется выраж[ение] удовольствия.

— А вы из какого звания?

— Из мужицкого.

Это трудно было бы сказать, судя по тонкой нервности лица.

— А давно ослепли?

Я поворачиваюсь при этом вопросе моего спутника. Но лицо слепого спокойно.

— Родился таким. Никогда и не видал божьего свету... Ночь ото дня отличить все-таки могу.

— Почему можете?

— Так... все-таки брезжит, чувствую. А более ничего.

— Скажите, пожалуйста, — не удерживаюсь и я от вопроса, — не казалось ли вам когда-нибудь, хоть в сновидении, что вы видите?

— Нет, не доводилось. Видишь ты, — говорит он, продолжая держаться за косяк и так же подставляя лицо ветру. — Видишь ты, это дело бывает, ежели человек ослеп... А я родился таким.

Брови его подымаются, и хар[актерное] выражение слепого страдания, которое я видел не раз, ясно ложится на бледное лицо.

— И то согрешаешь не однажды! Господи, создателю! Хоть бы ты, господи, хоть во сне дал свет-отраду повидать. Хоть в сонном видении. Да нет, не дает... Ну, идем теперь вниз.

И он быстро повернулся и исчез по винтовой лестнице, так что я не успел окончить эскиза, который начал набрасывать [18].

В половине спуска мы вдруг услышали снизу шум, как будто от морского прибоя. Слепой остановился и крикнул:

— Тише, тише там. Тише, ти-ше-е... — повторял он, но его голос терялся в увеличивавшемся шуме. На одном из поворотов несколько мальчишек, кинувшихся со смехом из-за поворота, чуть не сшибли его с ног.

— Тише-е!.. — крикнул он еще раз раздраженным изменившимся голосом, нестройно размахивая в пространстве руками. — Кто вас пустил?

Входя сюда, он, изнутри просунув руку, запер замок, и самовольно мальчики войти не могли. Они, все так же смеясь и ни на что не обращая внимания, исчезли за поворотом, и их смех и звонкие голоса понеслись кверху вместе с ними.

— Кто пустил, кто пустил? — повторял звонарь, но

потом притих и прислушался. Снизу подымался кто-то по темному переходу.

— Ты, Роман?

— Я, — и другое молодое лицо, в такой же скуфейке, показалось из сумрака с такими же незрячими глазами.

— Я это, пущай. — И двое слепых, прижимаясь к стенам, разошлись на лестнице. Я заметил, что Роман улыбался, слушая крики детей, которые так раздражали его собрата. Может быть оттого, что Роман когда-то видел и теперь к этому смеху и голосам, звенящим, как стеклышки, по мрачным переходам колокольни, в его воображении присоединялись образы оживленных детских лиц и смеющиеся детские глаза...[19]

.....Н[есколько] мордовок окружили крыльцо, выпрашивая милостыню. Лишь только я подал одной, как, откуда ни взялись, со всей площади стали сползаться целые тучи нищих и нищенок. М[ежду] ними пришел какой-то лохматый юродивый, размахивая палкой и потряхивая кудрявыми лохмами волос. Он остановился против крыльца, осклабился, посмотрел вопросительно и вдруг скользнул с покатости, размахивая палкой и крича диким голосом;

— Сама котится, сама котится!

Я роздал всю медь и только что хотел положить в карман оставшийся в руках двугрив[енный], как увидел с одной стор[оны] у крыльца новую толпу старух с протян[утыми] руками, с другой — сидящего около меня господина в дворянской фуражке с кокардой, с роскошными, отпущенными книзу усами и очень внушительным красным носом. Он проходил за минуту мимо крыльца, и я совершенно не заметил, как его втянуло в людской водоворот, образовавшийся около крыльца от раздаваемых нескольких медяков. Он отмахивался палкой от мордовок, защищая меня от их нашествия, но его взгляд видимо был прикован к серебряной монете, находившейся у меня в руках.

— Ступайте, ступайте. Экой народ! Позвольте узнать — вы откуда?

— Из Нижнего.
— И я из Нижнего. Ваша фамилия?
Я назвался.
— Знаю. Еще вы торгуете на N улице.
— Нет, я не торгую.
— Ну, значит родня. В Нижнем недавно был пожар
— Я не слыхал.
— Давно вы оттуда?
— Дней пять.
— Ну, это вы буквально сказали. Дня четыре назад был пожар. Это буквально-с.

Мы посидели молча. Взгляд господина в кр[асной] фуражке пригвожден к тому месту, где приблизительно очутился теперь бывший у меня в р[уке] двугривенный.

— Уйдите, уйдите! Экой народ! Мор-рдовки! — презрительно гонит он опять нищенок и говорит затем: — Народ нынче, я вам должен сказать, — огорчили меня несколько в Арзамасе, на постоялом дворе. Так, пустяки...

Он как будто не желает пускаться в подробности, но, видя, что я не пускаюсь в расспросы, продолжает небрежно:

— Сумочку на постоялом счистили, вот этакую же. Рублей на тридцать вещей, да денег несколько. Теперь поставили в такое положение... Последние копейки сегодня Серафиму отдал. А! не говорите мне пожалуйста об этом народе...

Мне надоедает все это, и, видя, что на неосторожное заклинание в виде двух пятаков, розданных [мною]. слетаются еще и еще жаждущие духи,—я надеваю котомку и пускаюсь в путь.

Через несколько минут саровский лес вновь принимает меня в свои объятия. Опять сверкает меж тучами солнце, и лес шумит и звенит кругом, а сзади все тише и тише слышится мелодичный перезвон саровских колоколов. Это слепой сзывает братию к вечерне.

Дождя нет, но подымающийся по временам ветер обдает меня тем же дождем с высоких вершин соснового бора.

(Из Сарова в воскр[есенье] в 3¼ ч. дня)[20].

Прошел Кремянки и в 6 ч. 30 мин. сижу на распутьи. До Кремянки считается семь верст, до Кошелихи от Кремянки восемь. Я прошел 7 + 2 = 9 в. Наверное больше. Если отсчитать три четверти для остановок (около самого Сарова в лесу я писал), выйдет, что девять верст я шел два и три четверти часа. Между тем я шел очень быстро, так что обогнал многих богомольцев, которых даже и теперь не видно на пути.

В первый раз натираю мозоли. До Кошелихи еще шесть верст, а между тем передо мной опять тучи. Надо мной их белые края, далее — синие ливни. Правда, впереди лес, и, может быть, найду приют. Что-то делается дома теперь? Кто из них знает, что теперь я лежу у большой дороги с одной разутой ногой — и вспоминаю о них. Ну, надо обуваться — и в путь.

Пока я однако писал, тень сразу набежала на книжку. Впереди теперь сияет над лесами радуга, зато сзади подползла украдкой громадная черная туча и теперь летит в атаку. Ветер рвет из рук книжку, березы испуганно машут ветвями, и каркают вороны. Плохо мое дело, вымокну до нитки.

В Кошелихе в девять с половиной вечера (ночевал).

— Солда-ат!

— А он меня бабецой.

Понедельник, в 4¼ утра вышли. До Козихи четыре версты (больше), мимо Б. Макотелема в Рогожку в 7 ч. 30 м., вышли в 9 ч. В Крутец в 11 ч. (отдыхали один час), из Крутца в 12 час., в Понетаево в 1½.

— Посмотрите, как у нас хорошо. Пруды, зелень. Не правда ли, гораздо лучше, чем в Дивееве? — это были первые слова, которые я здесь[21] услышал.

— Останьтесь, право, вам здесь будет очень, очень хорошо. Вам я отведу номерок, его теперь занимает свящ[енник], но он уедет. Тогда вы все перейдете и вы! — поклон в стор[ону] моих спутниц[22]), а вы (поклон в мою сторону) пока будете здесь за ширмоч-

кой. Вам будет очень, очень хорошо. Столько свету, воздуху...

Все это говорится таким приятным, ласкающим голосом, что все мы чувствуем себя совершенно осчастливленными, и только через несколько минут я соображаю, в чем состоят выгоды моего положения. Священник с ключом беспечно проходит до вечера и уедет себе «по холодку». «Они, знаете ли, любят этак по холодку», — даже и эта ужасная по своей сущности истина преподнесена нам милой матушкой как нечто самое утешительное. Итак, с трех часов до «холодка», т. е. часов до восьми женщины будут дожидаться священника с ключом из номера, а я — мое положение еще хуже: я должен до холодка сидеть в прекрасной галлерейке на виду у матушки, без возможности переодеться, скинуть с себя свои запыленные, грязные и потные страннические ризы. Я начинаю проклинать минуту, когда поднялся снизу, из «черной» гостиницы, в верхний этаж — в область, озаряемую изящной любезностью матушки. И отступление вдобавок отрезано: сойти в дальние области — значит оказаться неблагодарным и пренебречь превосходной галлерейкой. А тут в моем распоряжении лишь несколько часов для обозрения монастыря. Я предаюсь отчаянию, а между тем счастливцы, отлично устроившиеся внизу, приходят и поздравляют нас: ах, как хорошо устроились! И все женщины в один голос отвечают: да, прелесть, прелесть, — совершенно упуская из виду, что мы в сущности вовсе не устроились еще.

— А у нас, — говорит, сияя, монашенка, — нынче боголюбивую [23] провожали. — Народу что было, — так даже очень много было народу... Крестный ход у нас был, право...

И сестра улыбается мне от удовольствия и вся сияет.

— А это вот, — с важностью говорит она, указывая на красный корпус, — мать игуменья у нас живет.

У крыльца, осененного с двух сторон деревьями, в проезде вроде аллейки, стоит линейка, тройка лошадей позвякивает бубенцами, и солнечные зайчики весело

играют на лошадях, на кучере, на линейке. Вся картина напоминает доброе старое время, помещичий дом и лихую тройку приехавшего в гости соседа.

— А это, — с чрезвычайным восторгом говорит «сестра», — батюшка из Спасского приехал. По случаю «боголюбивой». Теперь у матери игуменьи гостят. Как же, как же, из Спасского монастыря батюшка. Тоже икону провожал. А вы, миленький, ступайте вот мимо колоколенки, там гостиница.

Я прохожу мимо колоколенки, и внезапно взорам моим открывается прекрасное каменное здание, с палисадником, зеленью кругом, с орнаментами на фасаде.

— Скажите, что это за корпус? — обращаюсь я к проходящей, совсем еще молодой черничке.

— А это у нас живописный корпус. Тут с Афона монашенки обучают у нас, — и в ее голосе опять звучит нота гордости.

Я осматривал черную гостиницу. Ряд номеров в нижнем этаже гостиничного здания. Вместо нар, как в Дивееве и Сарове, здесь у стен стоят кровати с тюфяками. Каковы эти тюфяки при этой грязной, постоянно сменяющейся братии, — легко себе представить, но все же видна попытка доставить некоторое удобство.

— Вы позволите спросить, пришли или приехали? — окликнула меня молодая послушница в черном платье и с белым платком на голове. — Вам местечко?

— Благодарю вас, я поместился вверху, хотел посмотреть здание.

— Сделайте одолжение. Вот сейчас номер очистился. — И она отперла ближайшую дверь, где уже было убрано и номер ждал новых шести постояльцев.

Мы разговорились.

— Трудно? — спросил я.

Послушница улыбнулась и весело сверкнула глазами.

— Для трудов идем. Действительно — народу к нашей обители идет отовсюду ужасно много.

— Вы все получаете от обители? И платье?

— Ах, нет, нет. Нитки одной не получаем, все свое.

— Как же? — удивился я. — В Дивееве говорили...

КУСТАРЬ В СЕЛЕ ПАВЛОВЕ

— Ах, не верьте! Это они, дивеевские сестры, злобствуют на нас, так и говорят. А это неправда.

— Отчего же злобствуют?

— А видите ли, оттого и злобствуют. Матушку нашу прогнали, — она у них игуменьей была, — да еще с таким позором прогнали, просто ужасно с каким позором! Ей негде было и голову приклонить. Приехала, бедная, сюда, к помещице Копьевой. Та ей помогла, ну и владычица, конечно, заступилась... И вот видите.

Она весело повела круг себя головой. Со двора тлядело солнце, зелень, несся говор толпы, весело заливались колокола. Сама сестра, в своем чистеньком платье и беленьком платочке, который она то-и-дело подергивала рукой, имела вид не только изящный, но даже несколько кокетливый.

— Вот они, дивеевские сестры, и завидуют. У них монастырь старый, а все без сбору не обходится. А у нас ничего еще нет, а мы без сбору живем, слава те, господи, владычица небесная. У нас благодетели. Видите, у матушки Гликерии в Москве было много знакомых из купечества и благодетелей Дивеевской обители. Они за матушкой перешли в Понетаевку.

Из Понетаевки во вторник в 10 часов 20 минут утра. Козловка. Керманы. Пановo.

В Панове ост[ановился] в трактирчике ровно в 12 ч. 30 м. (верст девять, десять), вышел из Панова в 2 ч. 10 м. Цымбоярская. Юсупова деревня. Н. Усад.

Между Пановым и Цымбоярской показывается Арзамас (глазу видно — ногам обидно).

В Н. Усад в пять ч[асов] [24].

Конечно, я не имею власти, — имей я власть — я бы ихней жизни не пощадил [25].

Я вышел из гостиницы. Было так тихо, что трудно было поверить, как еще недавно здесь стоял шум и говор. Вдоль гостиницы спали на земле утомленные богомольцы, которым не нашлось места, и их белые рубахи белели на лунном свете. Полная луна отражается в пруде, глубоко-глубоко окруженная темным от-

ражением деревьев. Меж ветвей кое-где сверкают в кельях лампады, живописный корпус спит, и окна все горят золотом лунных лучей.

Спит монастырь. Заснули усталые, заснули алчущие и жаждущие живой воды, заснуло и горе, и надежды, и вера. Укладывается на покой даже послушник. И только бедная юродивая девочка как-то ускользнула от прис[мотра] и ходит между спящими, и вертит траву, и поет свою странную песню. Юродивую уводят. Я тоже засыпаю, а в окно коридора светит полная луна.

Издали звенит колокольчик. Кто-то еще подъезжает.

Я просыпаюсь в телеге, солнце нещадно жарит в лицо.

На пруде, разводя круги и сверкая вокруг себя брызгами, бултыхается парень.

— Девки, мырну я, мырну, мырну... Девки, го-го-го!

---

[26]А ведь умный я...

В хорошем хлебу не без ухвостья [27].

Вашу фамилию грамматика не может вращать.

?

Ну да, то есть возьмем все одно пальто: как его ни поверни, все оно пальто.

— Голос имею хороший — дарование. Ну-ко, Миня.

Ах ты воля, моя воля,
За-а-алатая ты моя...

— Ну, будет.

Но Мине еще не довольно, и он отправляется куда-то в невероятно высокий регистр и тянет: Во-оля сок-кол подни-и-бесный... [28]

Усталый, я кидаюсь в постель, в приятной надежде уснуть.

— А тебя опять обр[угал] Бур[енин] [29], — слышу точно издалека я голос приятеля.

— О господи! За что?

Мне делается очень грустно.

— Обвиняет тебя.

— Боже мой! — Мне делается еще грустнее. — В.....! То ли я еще делал! Нет, я совершил три кр[ажи], пять отцеубийств.

— Что ты?

— Тьфу! Это, кажется, невозможно. Ну, одно отцеубийство, и еще — что всего хуже—два резких отзыва о великом г. Бур[енине].

Приятель смеется. Странная непоследовательность объятого дремотой человека. Мне вдруг тоже делается ужасно весело. Я мгновенно засыпаю — и увы!... несмотря на то, что меня ругает убийственный г. Бур[енин], вижу прекрасные сны.

— Нет, не останусь. Пожалуйте! Как вас звать?

— Владимир.

— По батюшке?

— [Галактионови]ч.

— А меня здесь, — чрезвычайно громко говорит он, — зовут все Лесь.

— А это тебя-то... [30]

— Ма-алчи!

15

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1890 ГОДА

По Ветлуге и Керженцу

6 июля рано утром пароход Зевеке причалил к своей пристани в Козьмодемьянске [1]. Три свистка последовали почти один вслед за другим, и «Амазонка» красиво отошла от пристани, повернулась и опять поплыла вниз, унося спящих еще пассажиров, а мы втроем остались на пристани.

Лесная ярмарка уже кончилась, — об этом свидетельствовали жалкие плотишки кой-где у песков и под горами да тишина на берегу. Небольшой пароходик

полубуксирного типа слегка покачивается на чалках у соседней пристани. Это и есть ветлужский пароход «Любимый», принадлежащий Захарову.

— Скоро пойдет? — спрашиваю я на пристани.

— Через полчаса, — опред[еленно] отвечает матрос.

— Часа через четыре, — переводит этот ответ какой-то пассажир, беспечно сидящий на барьере и сплевывающий в воду подсолнечные семечки.

— А когда будем в Воскресенском?

— Завтра об эту пору, — говорит опять матрос.

— Может, завтра, а ежели... и через неделю. Видите — какая посудина, то она нас везет, а то и мы ее лямкой потащим.

Посудина качается, что-то в ней скрипит, что-то визжит и как будто охает, подтверждая слова скептика-пассажира. Я вхожу по трапу, жестоко стукаюсь лбом о перекладину тента, чем возбуждаю в матросах большое веселье. Таким же смехом встречают они каждого новичка, которого неизменно постигает при входе та же участь.

— Где тут узнать, скоро ли отвал?

— Вон ступай туда. Видишь черненького мужчину, в белом пинжаке, — сам хозяин, Степ[ан] Никандр[ыч].

— Степ[ан] Никандрыч, скоро отвалите?

— Скоро, — через часик.

— Мне вот в город сходить бы, часа 1½ надо.

— В 1½ часа успеете.

— А вдруг вы через час уйдете?

— Не уйдем, нет, свободно сходите.

— А сколько стоят билеты 2-го кл[асса] до Воскресенского?

Он прищуривает глаза и водит пальцем по расписанию на стене маленькой каюты... Я вижу, что в таблице написано 1 р. 30. На пристани напечатана цена 1 р. 50.

— У нас, вот видите... рупь 30.

Я даю 4 р., прошу три билета и получаю их вместе с 40 коп. сдачи.

— Вы ошиблись, мне следует только гривенник.

Степан Федорович опять водит пальцем по засаленной бумажке, что-то бормочет, и потом говорит:

— По рублю двадцати с вас. Для вас уступаем.

— Поторговались бы, — негромко и отворачиваясь от меня, говорит грызущий семечки пассажир, — еще уступил бы на три билета-те.

— Когда же окончательно-то уйдет?

— Да ведь они и сами не знают. Пассажиров мало, — как маленько посгрудится народ, так и пары станут разводить. Главное дело, акимовского парох[ода] дожидаемся, — народу не будет ли еще.

Я взглядываю на трубу. Действительно, над ней еще не вьется дымок, и в машинном отделении никого нет. Мы спокойно отправляемся осматривать город — и, возвратясь оттуда, застаем наш пароход отведенным от пристани. Корма повернута к берегу, и два дюжих матроса тянут ее за канат, точно за хвост, возбуждая этим ленивое остроумие ожидающей публики. Носом же он уткнулся в корму пристани. На его месте, пыхтя и шумя отработ[анным] паром, стоит кашинский. Через час кашинского уже давно нет, а наш «Любимый» все так же смиренно скрипит у пристани. Народ, прежде толпившийся здесь, разошелся; разошлись даже торговки; матросы вповалку спят на самом солнопеке.

— Ну что, скоро?..

— Скоро уже... Главное дело — теперь с Ветлуги петерсоновского пароходу дожидаются.

— Зачем?

— Конкуренция. Он значит дождется приходу, сколько есть народу оберет, чтобы тому поменьше осталось.

— Так. А тот опять станет дожидаться прихода своего соперника?

— Уж это как есть...

— А если тот запоздал, он все-таки ждет?

— Само собой. Конкуренция!

Прекрасная конкуренция! — думаю я...

— Да вам, — подходит опять грызущий семечки пас-

сажир, — вам бы, ежели к спеху дело, подождать до завтра. Завтра хороший пароход «Николай» уйдет.

— Как! — удивляюсь я. — Да ведь завтра я уже буду в Воскресенском.

— Не будете, — говорит он зловеще.

— Все-таки как же «Николай» может нас обогнать, выйдя на сутки позже?

— Может...

— Когда вы с ума сойдете, вот когда «Николай» нас обгонит, — резко обрывает его черный господин, очевидно с парохода. — «Николай»-то теперь еще, чай, у Ветлуги свистит, а мы сейчас свисток подаем. Эй, подавай свисток! Да и ход у нас не хуже «Николая».

Пассажир, не ожидавший, что его слышит заинтересов[анное] лицо, конфузится и отходит. С парохода слышен жидкий свисток.

— Значит, скоро? — спрашиваю я у черного господина.

— Теперь скоро.

— А на гору я успею сходить?

— На гору? — он глубокомысленно взглядывает зачем-то на отлично знакомую ему гору и говорит:

— На гору успеете.

— А вдруг у вас еще два свистка, да и отчалите.

— Не-ет. У нас не как у других, — что дал три свистка, да и отчаливай. Мы еще после трех-то свистков тревожные станем подавать, чтобы пассажиры сходились. Успеете.

И затем, помолчав, он прибавляет:

— Конечно, господин, по такой реке и пароходы!..

Все это меня не печалит. Я выбрал Ветлугу для своей поездки именно затем, чтобы избавиться от железных дорог, от этих правильных проторенных путей, по которым летишь сломя голову, неизв[естно] куда и зачем. Я люблю проселочные дороги и захолустные реки [2]. Мне памятны еще с детства стихи, где автор наполовину с иронией, наполовину же с грустию — жалуется, что исчезает уже на Руси поэтическая езда на долгих... Так ли езжали деды с дворней, с запасами, с остановками на лесных прогалинах, с синим дымком,

убегающим в густую зелень, с пастьбой стреноженных лошадей, фыркающих между стволами веселого леса... А теперь — с грустью заканчивает автор стихотворения —

Летит французский дилижанец
По немецкому шоссе...

Много ли прошло времени, — и вот пробил также час дилижансов. Да, мало уже и их, этих неуклюжих чудовищ шос[сейных] дорог, исчезает этот нелепый экипаж, так страшно раскачивавшийся на поворотах, причем из его недр неслись неистовые дамские крики, — так осторожно проезжавший по живым мосткам, так предусмотрительно тормозивший на спусках, так тяжело подымавшийся на горы, между тем как пассажиры в цветных панталонах и дамы с косыночками на головах и с цветными же зонтиками, мелькали там и сям вдоль дороги, смеясь и собирая полевые цветы...

Теперь всюду гремит машина, всюду свистят пароходы, отпугивая подальше в глушь романтич[еское] чувство, которое удовлетворяется уже гораздо меньшим. Я тоже романтик, и мне нравятся из жел[езных] дорог — узкоколейные вроде Вологодской или такой, как Костромская, на которой при остановках на станциях, прежде чем двинуться дальше, кондуктора сбиваются с ног, разыскивая пассажиров, преспокойно разбредшихся по лесу за грибами, а из судох[одных] рек такие, как Сухона, в которой по временам кажется, что пароход расплещет ее всю своими колесами, а с берегового яра можно прыгнуть прямо на палубу, — или милая Ветлуга, с ее кудрявыми берегами, с ее пароходиками вроде «Любимого», которые на остановках кидают сходни прямо на береговые пески и ночуют порой, зачалившись с кормы и носа за прибрежные ветлы.

Я иду еще раз в город и запасаюсь удочками, чтобы, в случае неожиданности, найти развлечение, и наконец около часу, после трех свистков, «Любимый» снимается и тихо плывет под зелеными волжскими горами по направлению к Покровской слободе, против которой в Волгу пала Ветлуга [3].

«Не будем быть»[4]. Бѐдко[5]. Чуть не сомшилась (чуть не помешалась). Му́глонно — мглисто. Чи́жолко чижолчишко — зипун. «Растоварился»[6]. «Подвалье» обрубают, свалившиеся с берега деревья. «За чужую забежал» — за мель.

— Не в котором царстве, не в каком государстве[7], — начал рассказчик, чувашин с острой бородой и тонкими смеющимися губами, — а именно в том, где и мы грешные живем, и дожились до того, что и нет ничего.

— Это действительно, — подтверждает какой-то лесной волк, в городском картузе и в городских штанах с причудливыми дырами и заплатами.

...Жили-были старик со старухой, да и то же самое, как мы грешные, дожились до того же. Потому, видишь ты — старичок охотничек был, а у охотничков, знаешь сам, — что у киловязов[8], да у коновалов, — поись нечего. Вот старуха говорит старику: поди с ружьишком-те, не устрелишь ли чего. Хлебца нет, так хоть дичинки поись ба. Вот взял старик ружьишко, взял ружьишко, пошел в лес. Глядит: в лесу потка[9] прыгает по кусту. Прицелился в потку, а она и говорит ему голосом: не убей меня, — говорит, — возьми живьем. Старик послушался, знаешь, поставил ружьишко, пошел за поткой. Она от него, он «ёв», она от него, он за «ёу», — поймал. Приносит старушке, старушка обрадовалась: будет дичина. Только хочет она потку колоть, потка и говорит: не коли, старуха, меня, я тебе яичко снёсу. Ну, опять старуха послушалась. Снесла потка яичко, — неси, говорит, продай. Старик положил яичко на тарелку. Несет. Встречу едет купец. Продаешь яичко? Продаю. Сколько тебе? А что дашь? Дам сто рублей. А другое снесет — дам двести, никому не носи. Ну хорошо, — тот принес другое. Неси, говорит, третье, дам 300. Принесу, ладно, лучше тебя мне некого искать. Принес третье, — купец дает деньги и говорит: принеси мне эту потку, продай. Ты непонимающий человек, у тебя она с курами ходит, кто-ниб[удь] пришибет, или коршун сохватает. — Ладно, говорит. Отдал потку,—купец ему 600 р. еще дал. Много ли денег вышло,

У КОЗЬМОДЕМЬЯНСКА

— 1.200.

— То-то. Старику со старухой век не прожить. Хорошо. Надо тому купцу с товаром ехать в чужую-дальную сторону. Собрался он ехать в чужую сторону, призывает жену и говорит: береги, говорит, пуще всего потку. Ежели, боже сохрани, дело пойдет к пожарному случаю, ничего не береги, только мтичку береги, со мтичкой спасайся, говорит.

Хорошо, — купец уехал. А у купчихи был полюбовник. Купец из дому, полюбовник в дом. Стала она его всюду водить, все показывать, хозяйство и все. — Что же ты, говорит, всюду водишь, все показываешь, а ту комнату мне не кажешь? — Да там ничего нет. Одна птичка говна. — Все равно, покажи, а не покажешь — отстану от тебя, брошу. Она туда-сюда, — повела. Увидел он ту потку, а на потке, на груде надпись написана: кто скушает право крыло — чарь будет, кто лево крыло скушает — князь будет. Вот он говорит купчихе: вели повару зарезать. Жена отказывается: «Ответ будет большой, ответ страшной». — «Ничего, скажи — пропала, померла. Это очень просто». Повар зарезал, пожарил. А у купчихи два мальчика, в училище бегали. Прибежали, — а, это, мол, про нас курятину сготовили, — кинулись — всю и раздергали.

За это любовник велит заколоть обоих, а сердца изжарить и принести на тарелке. Мальчики видят, что повар точит нож, и уговаривают его убить двух кобелей и принести их сердца матери и любовнику, — при этом повар должен на ходу споткнуться, выронить тарелку, а третий кобель съедает оба сердца. Мальчиков же повар переправил за реку, и они пошли путем-дорогой. Дальше — как в изв[естных] сказках. Два «демона» дерутся из-за ковра-самолета, другие два — из-за ящика с хитростию-мудростию («догонять пулю», и до сих пор все догоняют). Дошли до «крестей» (перепутье). В одной стороне нужен чарь, в другой — князь. Прощание, два ножа-складенчики, — кот[орый] нож потемнеет, то значит нет того челов[ека] на свете. — Испытание для царя: кто пройдет в ворота и будет во-

да, — вода по «оборки» (лаптей). Царевне «бе́дко», а все говорит: это мой закон.

— Действит[ельно] бе́дко, — хоть, скажем, царя дочь — и вдруг за меня бы, — говорит «волк».

Князь должен содержать до свадьбы (год) три полка. Ящик с хитростию, с мудростию: харкнет — серебро, плюнет — золото. Девка-старица. Напоила пьяного. У него «с души скинуло», — клад. Девка прибрала, — заем у богатого солдата. Сватьба. Не пива́ варить, не вино курить. После сватьбы опять надо содержать полки; поел свою блевотину, — опять харкнет — серебро, плюнет — золото. Потом — в гости к брату. «Возьми, князь, лошадей, или наймовать все одно есть на что». «Нет, пойду пешком»; жена провожает за околицу. Хлопнул ее по бедрам — стала кобылица. Приехал ко крестям: его ножик чист, братов еще чище. Брат увидел из окна, — вот братец мой едет, да кака́ лошадка славная! Лошадь во дворец. Сомнения, — старый царь дозволил. Хлопнул по бедрам, стала из кобылицы жена — лучше царской.

В гости домой — повидать батюшку. Отец растоварился хорошо. Пир. Два странника, — короны скрыли в волосах. Все баяли, и уж стало нечего баять. Рассказ странников (вся история): «Повели отстать». Любовника и мать повесили на воротах, и все, кто был, стреляли по разу. Царь взял отца, князь — слугу. Я там был, мед-пиво пил. По усам текло, в рот не попало. Один разок было и в рот — кап, гляжу — только собачий кляп.

---

[10] Жил в лесу 7 недель, — соскучился. Только идет кто-то по лесу, песельничает. Думаю я: непременно это шабёр [11] на пожню [12] идет, пожня у него в лесу была. Ну-ко я, ребята, схожу, — вестей мне принес ли. И пошел — кричу: Алексей! Алексей! А он мне откликается, да все дальше, все не ближе. Отошли этак м ы г о н а с т р и, а было эк-же, как теперь (смотрит на потемневшее небо), да му́глонно... Отошел гона с три (г о н — около 27 сажен), прислушался... тут у меня волосики все дыбком и стали: кричит — о н кричит, а голосу на-

стоящего нету, слов не выражает. Только и-и го-го-гу-у! Понял я тут, кто это по лесу идет да меня закликает, как уж и к ребятам воротился.

А то еще эк-же, к осени, лес мы рубили, да вывозили. Взмыла туча, пошел дождь, да дождь, слышь, бойкой да крупной, нас что-есть в шалашах вымочило до нитки. Только слышим — идет кто-то опять, песельничает. И выходит к нам молодец, одет чисто, в белой рубахе, уздечка накрест перепоясана. Подошел: не видали, ребята, коня? (как огонь). Кто бы со мной того коня пошел розыскать? Хотел было итти, да вдруг спохватился: что такое, на парне рубаха вся как есть сухая, — ни капельки на ней. Догадался. Не пошел. Он засмеялся, пошел по лесу — опять песня, а слов нету.

Неосторожность. В шесть недель — е м у даются две минуты. В такие две минуты — мать сына прокляла за то, что сливки слизал. О н схватил — и утопил в реке.

---

[13] Свисток, за ним другой. Над темной рекой — обрыв высокого берега, ходят какие-то фигуры. Это Юркино, где будут грузить дрова. С обрыва сползает дым, стелется над рекой, закрывая отраженье звезд, и лес на против[оположном] берегу. Река имеет какой-то сонный, задумчивый вид; берег, куда я выхожу после того, как пароход пристал и крики и ругат[ельства] смолкли, — представляет самую фантаст[ическую] картину. Горит торф, дым смешался с туманом, пни, клади дров, оставшиеся на порубке деревья, — все это причудливо чернеет и как будто шевелится, когда ветер шевельнет по равнине сизую дымку.

На берегу сидит несколько черемисок, с которыми подвыпившие матросы тотчас же начинают заигрывать.

— Что мало вас — портошная команда?

— Не видали собачку? Сама бела, лапки черны, — намек на одежду черемисок: белая рубаха и черные завертки выше колен.

Какой-то проезжающий загораживает у поленниц дорогу молодой черемиске и шепчет что-то.

— Нет, — отвечает та сердитым, но все-таки приятным голосом.

Пассажир опять шепчет.

— Нет, — уйди, говорю! — девушка сердито замахивается шестом, ловелас испуганно убегает. Черемиски начинают таскать на носилках тяжелые дрова по чрезвычайно неудобному обрыву: ноги скользят в песке, потом одна узкая доска дрожит и колеблется над водой. При этом, пользуясь тем, что руки бедных черемисок заняты, — матросы позволяют себе пошлые вольности.

Вообще команда сильно подвыпила: недавно между пассаж[ирами] и поваром поднялась жестокая перепалка, чуть не окончившаяся бунтом. Теперь два матроса пробуют бороться на берегу.

— Бери за гашник, дурак! Не бери вперелом.

— Ты бери, как хочешь, а я как знаю.

— Дура! Не так, за гашник, за гашник.

— Я вот тебе брызну сейчас, под яр слетишь...

— Жив не останешься, как сухую рыбу сломаю...

И весь этот шум гулко летит по реке, пугая лесную тишь и отражаясь эхом. А река все так же совершает внизу свой бег, невидный теперь глазу, и над ней тихо колеблется фонарь на нашей мачте, котор[ый] как будто висит в воздухе...[14]

---

[15] 7 июля. Мимо Никольского часов в 9 утра.

— Возил я этто у них брусу. Ну, возил брусу, и, стало быть, пришлось мне у их остановиться, жить. Ладно. Проспал на полатках ночь-то, наутро гляжу — старуха образам молитця, образа хорошие, украшённые. Я себе с полатей слез, давай и я ихним богам молитьця-те. Что ж ты думаешь, — не велят! Ей-богу, не велят, лодикось! Ты, бает, погоди-ко. Ну, «погоди», дак и погожу же. Полез опять на полати. Погляжу опять — баба молодая с мужиком, те опять наособицю молются в бокоушке, у тех одно распятьё. Я с полатей слез, да опять к им прицеливаюсь: дай-ко с ими помолюсь. Опять не дают, — погоди-ко ты молитьця! Опять я на полати лезу. Помолились они, — ну, теперь, говорит, ступай, молись. Да распятьё-то, братец мой, и унесли. Ах, ты, шут вас задави! Коли так, что мне грешить с

вами, не надо, — я лучше в дороге помолюсь. Обедать, — ну, посадили меня честь-честью, доброго молодца, опять старуха с дочкой вместе, — мужику со мной наособицю, да и нам еще чашки розные.

— Ах, вы... мать, — говорю, вы нето што меня бракуете, вы своего мужика бракуете. — А потому бракуем, — старуха бает, штё он по Руси ходит, со всяким народом нахлёбается...

— Да вишь ты, — говорит Тюлин [16], — какѐ грозны богатыри... за святых себя почитают, а между прочим... Знаем тоже и мы.

— Самые бесстыдники, — сказал мужичок. — Что, — послушайте вы меня, — делают. Теперь у нас поблизу в деревне два брата — один, знаешь, в солдаты ушел, другой-то его бабу себе и взял, это сноху-те, стало быть. Другой-те вернулся — да родну сестру прежней жены — к себе, да два брата с двумя родными сестрами-те и живут. Вот кака есть ихня совесть.

— А туды же нами брезгуют...

(Перед сказкой: после слов — «дожили до того, что и нет ничего») [17].

— Верно, — сказал волк, довольный тем, что в сказке нашлось место и действительности.

— Это вот правда.

— Как не правда.

— Ну, да как ли не правда. Теперича вот я — проживался семь недель у Кузьмы-Дам[ьяна], домой иду с простыми руками.

Плот 400 брев[ен], продал по рублю, исполов[ины] с хозяином, по 13 р. трем раб[отникам] да харчи — работали зиму 4 чел[овека], 3 лош[ади], да весной до 15 проц[ентов] с задатка, до 10 дерев с сотни бревен хозяину (мужичок Кудрин), за то, что делянка близко да вода живая.

7-го в 5½ вечера — в Левиху, в 1 версте от Воскрес[енского].

8-го в 5 ч. утра, — после ночевки у попа Федора на сеннице вышли из Воскрес[енского].

7 часов прошли Усиху, мал[енькая] дерев[ня].

7¾ прошли Богдановo тоже.

8 ч. прошли привал на речке Шурговаш у мостика, между Богдановым и Пузеевым. Тронулись в 9 ч. 10 [минут], в 9 ч. 30 прошли Пузеево. (Сережку посадили до Осиновки), 10¼ прошли Осиновку, в 11 часов 15 м. пришли во Влад[имирское].

Понед. в 3 часа утра выех[али] из Влад[имирского].

---

[18] Это к заутрени зазвонили у них — Кирило Самойлов [19] жил в сарае у меня, а то в подвале.

«На тех двух горах Благовещенье да Успеньё, а на той вон Здвиженье [20].

Труженик, а ребята выживают, озоруют над ним, ну, он сердяга и ушел. Один пошел рыбу удить, а солдат Смоляной у него всё и унес. Ну, им не озорство ведь надобно... [21] Береза, а на главе — святая вереюшка. — Ой, ноги жгет, ой, итти не можно, жгет ноженьки [22]...

Окунь, лещ, сорожник, щука, карась. Караси-те тол-сты-е живут, здоровые, как свиньи [23].

Светлое озеро — тихо. Солнце склоняется к закату, поэтому высокие деревья на холмах, венчающие озеро с западной стороны, задернулись синею дымкой и, кажется, дремлют на ближайшем б[ерегу].

Во Владимирское мы пришли рано, — часов в 11 утра. Отдохнув и напившись чаю (у встреченного нами за Осиновкой мужика Григория Алексеева Куркина, — я отправился на Светлояр, до которого от села считают версты 1½.

Я был на Светлояре уже ранее 2 раза, каждый раз — накануне Владимирской (21 июля) [24]. В этот день к невидимому граду Китежу стекаются громадные толпы народа, берега пестреют яркими деревенскими ситцами, белыми рубахами мужиков, среди которых выделяются темные одежды скитниц и странников. На берегах слепцы тянут свои заунывные песни, под деревьями у икон идут всевозможные раскольничьи службы, на холме у часовни кипят прения о вере, —

вообще берега Светлояра кишат народом, и внимание все уходит на людей и своеобразные верования. Поэтому я был очень рад случаю посмотреть Светлояр в будни, в тишине его поэтического одиночества, под тихий плеск его светлой зыби, под таинственный шелест окружающих его деревьев.

Солнце уже склонялось к «горам», и высокие березы, липы и дубы, венчающие верхушки этих холмиков, уже синели, затянутые синею мглою, между тем как кудрявый лесок на ближайшем берегу еще весело сквозил светлой зеленью. В гладкой воде отражался опрокинутым весь берег кругом до последнего листочка последней березы, и это отражение лишь слегка зыблилось, прерываемое светлыми полосками. Между стволов кой-где мелькали фигуры людей, две странницы с усталым и утомленным видом сидели на берегу, собираясь в дорогу. Часовня заперта, в странноприимном доме, построенном на одном из холмов, — заперты ставни. Здесь два года назад жил старый старик, лет около 90, седой, как лунь, наивный, как ребенок, и глухой, как тетерев. В домике общество села Владимирского дозволяет жить кому угодно. Старики скорбят о том, что на их «горах» нет уже более «труждающих» людей, радетелей, которые в прежние времена, как кроты, изрыли всю гору своими землянками. Теперь это давно прекратилось, частию вследствие падения «усердия» вообще, частию потому, что это усердие плохо уживается с паспортной системой. Лет 10 назад заявилось двое тружеников, — отставной солдат и какая-то келейница. Солдат построил себе шалаш, старуху общество пустило в келью, — оказалось однако, что «старикам» пришлось разочароваться: между землянкой и кельей установилось очень скоро самое тесное сообщение греховного свойства, и скитника со скитницей нередко находили под укоризненно шумящими древами, на святых бережках, спящими сам-третей с опорожненной посудиной из-под водки. Огорченные «старики» прогнали обоих, — да и во-время, потому что подвижника солдата вскоре стала разыскивать полиция...

Тем более, ввиду столь прискорбных оказательств,

дорожило «общество» благообразным старцем, проживавшем на горе лет 20. Весь седой, одетый в чистую белую рубаху и порты, в новых лаптях и с оборками из самого свежего лыка — каждый год на Владимирскую он служил истинным украшением «гор», и население приписывало ему особую таинств[енную] связь с заветными тайнами этого места. Давно уже сов[ершенно] безуспешно верующие припадают к берегам, которые встарь укачивали их и звенели таинственным святым звоном невидимого града... Но то, чего теперь не слышали уже имеющие уши, — доступно было глухому старцу.

— Гуди-и-ит этто, гудит, бухает-бухает на зорьке, — говорил он, наивно, по-детски радостно улыбаясь, окруженный целой толпой таких же наивных слушателей. — Давно уже я от Козьмы-те Демьяна ушел. Дитёй малыем, а слышь, помню, как наше колоколо бухает. Так вот и здесь: ровно наше колоколо, козьмодемьянско...

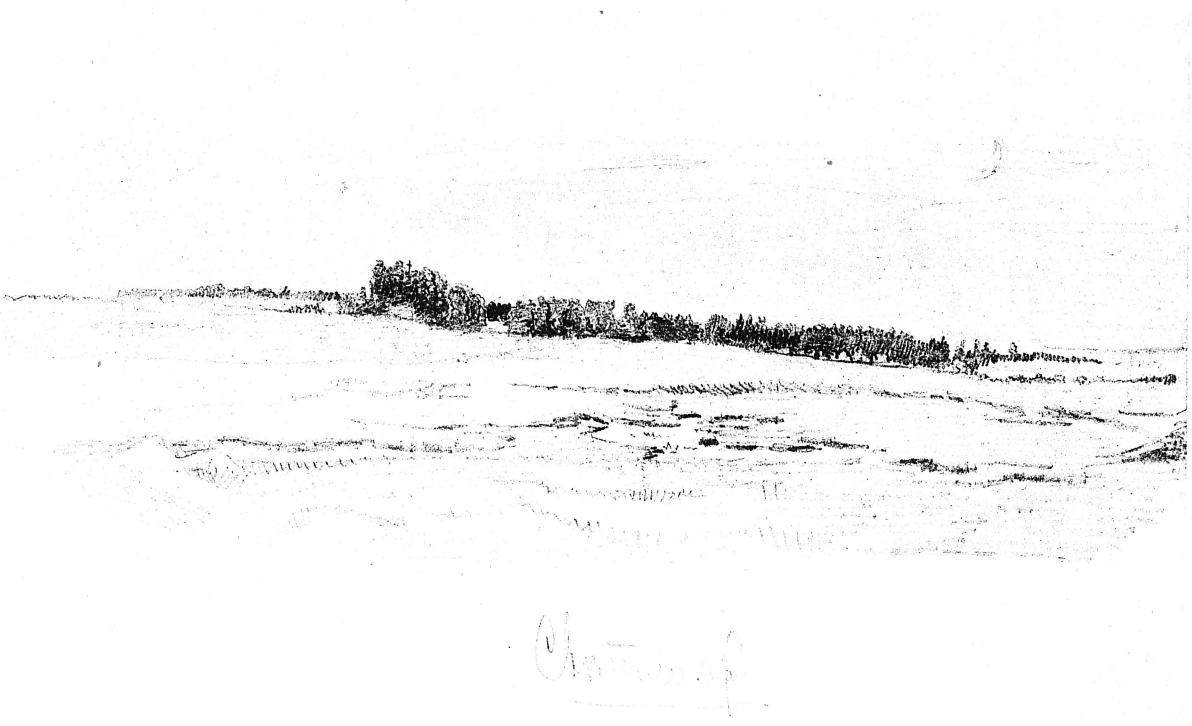
И по лицу глухого, впавшего в детство старика блуждает улыбка при воспоминании о колокольном звоне его детских годов, которое отдается в его оглохших ушах.

— Ноне умные не разумеют, зрячие не видят, и имеющие уши не слышат. А вот глухого сподобляет же господь, — сурово и поучительно произносит кто-то из толпы.

— Да, вот поди ты. Этто вот в часовенке икону стало кидать. Как придем, — лежит тебе ликом на земле, да и только. Кто ни подымет — все не действует, опять падает в ту же ночь, — один он подымает...

Теперь, повторяю, старик умер, и дом, где он жил, заколочен, к прискорбию общества. Какая-то старая девка поселилась было, да прожила недолго...

Я обхожу кругом озера, слушая невнятный шопот деревьев; по временам плещется рыба, лягушка стрекает в нагретой колдобоинке, чирикает пташка, — на дальнем берегу мирно и простодушно купаются деревенский парень с девушкой в одном месте... [25]



СВЕТЛОЯР (ОБЩИЙ ВИД)

Что земчуг — вода-то. Иглу брось — увид[ишь]. (Ход из-под берега. В дырья)...[26]

---

[27] Мы обходим кругом озера. По зап[адному] берегу под ногами чувствуется трясина, — при каждом шаге берег трогает воду, и по ней идут круги. В укромном уголке, где кончаются горы и высокие деревья и начинается молодая поросль, — благообразный старик удит в затишьи рыбу. Он видел нас раньше, чем мы его, и, поглядывая искоса на поплавок, смотрит также и на нас.

— Здравствуйте, дедушка.

— Мир дорогой. А вы кто такéи, что будете за человеки?

— Нижегородские.

— Дело! На горы наши пошли!

— На горы. Каково клюет?

— Плохо. Вот дён десять назад — успевай только закидывать, а ноне и не дернет. Что есть — сарожник, и тот перестал баловать.

Действит[ельно], вода остается спокойна, поплавок трудно разыскать глазом среди тонкого зеленóго аира.

— А много рыбы у вас?

— Вного; окунь, лещь, сарожник, елець, щука, карась. Караси-те здоровýщие живут, — жирные, как свиньи...

9 и ю л я утром приехали в Быдреевку. Искали лодку. Белокурый мужичок, охотно вызвавшийся снабдить нас кораблем для нашего дальнего плавания, на ходу к берегу Керженца расхваливает достоинства своего «ботника». Но увы! — при первом же испытании, на первых же саженях, несчастное суденышко, очевидно уже заслужившее право на спокойствие, начинает раздаваться, опускаться и слезиться из бесчисленных щелéй. Несмотря на уверение, что дырья замокнут, что в сутки этот ботничек сомчит меня даже без весел, — я, помня уже горький опыт с Тюлиным на Ветлуге[28], — решительно отказываюсь от соблазнительного судна. Приходится ходить по сос[едним] деревням, и нако-

нец Степан Фед[оров] Ежов, — субъект с перекошенной физи[ономией] и в отопках на босу ногу, очевидно кулацкого типа, — уступает мне «отличную» лодку, на манер волжской, на которой приезжие из городу (Семенова) «господишки» устраивали катанье. По осмотру — лодка оказывается тем же ботником, который «повело» так же, как и хозяина, на сторону. Ботник из ветлы, обшит тесом по бортам и обложен крашеными скамейками. Ежов очевидно гордится и краской, и скамейками, и тем, что только у него одного по всему Керженцу имеется такое судно. По всем этим причинам — я обязан уплатить за корабль 9 р., обязан, с опасностью опрокинуться, переезжать через разные пороги; наконец в Гавриловке, небольшой деревеньке, глядящей с крутой горки на узенький Керженец, с помощью Петра Федорова, ложкаря, работающего по временам на Ежова, прилаживаем уключины, смолим наш корапь и вытесываем из горбуши пару весел, на удивление многих мальчишек, никогда не видавших распашных весел, т[ак] как по Ветлуге плавают все с одним рулевым веслом. Наконец, все кончено, я торжественно сажусь в корапь, меня, не менее торжественно, спихивают с песков, заходя для этого выше колен в воду, и мальчишки еще провожают меня по горе, одобряя мое искусство.

И вот — я плыву по Керженцу, то-и-дело встречая перегородки во всю ширь реки (рыбацкие сежи) с небольшими проходами по бокам. Левый (по течению) берег — сплошной лес, преимущественно ели и ветлы, спускающиеся до самой воды, — правый — луговой, с небольшими кустами и молодой порослью.

Наконец, вот и...[29] на берегу две небольшие девочки сидят на песке и, завидя меня, машут руками:

— Этто твои товарищи-де. Приставай сюды-ы!

Племяши пьют чай в чистенькой небольшой избушке. Хозяин, несколько мрачный и немолодой мужик, сидит на скамье, босой, дремлет и с трудом поддерживает разговор. Хозяйка, молодая на вид, худощавая, очень красивая женщина, с выразительными глазами, к которой очень идет красная рубаха и светлый пла-

ток, надетый вроспуск, — встречает меня очень приветливо...[30]

— Это дочка твоя, — спрашиваю я относит[ельно] девочки, бойко исподлобья, и прижимаясь к женщине, глядящей на меня смеющимися лукавыми глазами[31].

— Приемыш это у меня, — говорит она, гладя белокурую голову девочки. — Видишь ты, — сын у меня умер двадцать годов назад.

— Двадцать? — переспрашиваю я, думая, что ошибся.

— Двадцать, — говорит она, улыбаясь и скрывая покрасневшее лицо в платке. — Не верют прочие, — мне ведь уже 43 года.

Я опять невольно вглядываюсь в красивое моложавое лицо, причем женщина улыбается, краснея еще больше, но видимо не без удовольствия.

— Он ведь у меня тоже молод был, — года на три постарше, а и то, бывало, иные люди спрашивают: сестра, мол, тебе, что ли?.. Теперь в работе маленько изводимся мы, а то... Да, так про сына я...

И она глубоко вздохнула.

— По восьмому годочку помер. Уж и красивой был, уж и умной; разговор имел приятной да степенной, — на диво... Когда помер, — уж мы плакали-плакали; он у меня с той поры и извелся — глазами ослаб, от слезы-те...

Она умолкает и инстинктивно прижимает к себе девочку, — та ластится и вскидывает на нее глазами.

— Всё и плакали, и тосковали. Ведь подумай — пять лет, все тоска не меньше. И стали мы толковать с ним, что надо приемыша взять, чтобы на сердце-то хоть чужого положить, может отойдет. Он говорит — мальчика возьмем, я говорю—девочку. Что, мол, мальчишка, только сквернословно ругаться да непочтение оказывать, — этого, главное, вот я опасалась. Так и спорили. Да вот, видишь, бог по-моему привел.

Этто тут за рекой девка принесла. А у девки, слышь, мачиха у самой, — прогнала ее с девочкой. Билась она, билась, ах, милай, сколько беды приняла! Ну, на-

конец ей одна наша женчина и скажи: Степан, мол, Федор[ов] больно об сыне тоскует, — попытай отдать... Ну вот, — е г о-то не было, одна я ночую. Они и пришли вдвоем. Слушаю-послушаю, — что, мол, господи-батюшка, ночь экая месячная и кто-то будто стучит в оконце. Подойду — она коронится. Так у меня, слышите вы, сердце упало, так упало, — ни жива, ни мертва... Что, мол, ты коронишься, а стучишь? — Вышла тут наша женчина к окну. Пусти, бает, в избу-те.— Пошто, мол, я вас ночь-полночь в избу пущу?.. А у самой ноженьки подкашиваются, сердце колотится... Потому — вижу у ней, у другой женчины, полотеничком ребеночек подвязан. Вспомнила своего-то, подумала о судьбе, что, может, судьбу это она мне принесла, — поверите вы — взамуж шла — где же, эдакого страху-те не было. — Пусти! Ну, пустила я. Огня не вздуваю, — только месяц в окны-те светится, стою перед ими, ровно меня, молодицу, казнить-миловать она пришла. А старуха-те говорит: «Кланяйся теперь Степанидушке (это мне) в ноги». Та девка в ноги пала, ребеночка положила. Подняла я ее, ребеночка к себе взяла, — не знаю брать, не знаю не брать, и она-те отдает и держит. И обе плачем...

Ох, и помню я, добрые люди, ту ноченьку месячную, не забуду...

Наутро обмыла ее, обрядила, свою рубаху перешила, положила в корзиночку, жду его, Степана-то своего Федор[овича]. И опять мне, молодой, стыд, да боязно, да заботушка. Ровно вот без него сама принесла. Входить он, я на лавке сижу, ребеночек и скричи как раз.

— Это, мол, что?

— Это мальчика, говорю, бог нам дал. Поди вот, — и зачем солгала, не знаю, не ведаю. А уж где тут обмануть, — и рубашонка надвое сшита. Посмотрел он на нее, — какой, мол, мальчик, — девочку взяла. Больше ничего не сказал.

Вот и растет. А уж и горя-то, и маяты-то что я с ней приняла. Господи-создателю! Скверная была да хворая, да все криком кричит. Ночь-то бьешься-бьешься,—

о н и говорит, бывало: изведет она тебя, отдай поди... А наутро опять поглядит — ну, что бог даст.

Она подумала.

— Сказывают добрые люди, — так господь-батюшко пожелал, чтобы она мне заместо родной, что переболела я через нее — сердцем-те изболела. И поди ты — родные другие этак-то не любят, как я ее. Этто хворь была, — господи, думаю себе, и отколь столь много слез у меня, отколь льются?..

Девочка жмется и подымает лицо к матери, а то опять прижимается и ластится, и солнце в окно освещает с боков и красивое лицо матери и ласковое личико девочки-приемыша, в котором так ясно сквозит гордость любимой и сознающей любовь и ласку родной дочери.

И что ни черта, то новая красота и в этих фигурах и в этой сцене.

— Дурушка Марьюшка, — с упреком говорит женщина, — мать родную матушкой звать не хотела. Теперь приучила же я, — зовет матушкой и меня и ее...

В Покр[овском] } Степан Иванов Смирнов
Авдотья Спирид[оновна] [32]

10-го в 6 утра выехали на лодке из Покровского [33]. Туманное, серенькое утро, в воздухе сыро и холодно, над водой стелется туман, и синеватая мгла стоит между деревьями; по временам по реке видны кружки от падающих капель, затем дождь лотошит по широким листьям елошника (ольхи) и осины, — потом вся поверхность реки закипает частыми пузырями. Но скоро дождь проходит, иссохшая от жажды почва быстро впитывает в себя эти крохи — и поля опять ждут, а небо задумалось, как расчетливый филантроп, рассуждающий, кому еще отдать крохи, к которым жадно тянется голодный, спасенный им только наполовину.

Небо все туманится, тучи нерешительно снуют, лес недовольно шумит... Признак плохой, — утром Степан радовался, что стих ветер: вишь, ветер-то не дыхнет: видно, облачно. Господь сделал недаром... А теперь

ветер опять дышит, — значит, толку из облаков не выйдет...

Нам предстоит теперь путь до Меринова, перед которым будет мельница. Единств[енная] в этой части Керженца уже до низу; лодку, говорят, придется переносить на руках. Мы едем долго, — Керженец вьется то-и-дело. Ни разу еще я не видел прекрасных водных аллей в несколько верст, как по Ветлуге, — аллей, в которых отражение с такой отчетливостью повторяет всякую неровность, всякий клок светлой глины, всякое пятно на общем фоне леса. А в середине — синяя лента, точно полоса неба, и лодка взламывает эту синь, колеблет ее, сверкает по бокам искрами... Здесь же перед глазами только клочок воды — сзади стена леса, впереди тоже, — темные, резкие ели сурово смыкаются кругом. Из-за одного мыса вы видите другой, за другим открывается третий, — и вам кажется, что вы едете по озеру, но почему-то не можете его проехать... Вас охватывает впечатление пустыни, безлюдности, но подымитесь на берег — и если только нет леса, вы видите, что Покровское, из которого вы так давно выехали, — тут же вблизи, за несколькими изгибами, а между стволов мелькают крыши Меринова, до которого вы доплывете еще не скоро...

Берега тише, глуше, пустыннее...

На половине дороги — мы попадаем на мель, — какая-то странная мель из плотного перегноя, нагромоздившаяся поперек реки. Я схожу в воду, подталкиваю лодку — и ее подхватывает точно водопадом.

Зато у мельницы шлюзы открыты — мы направляемся туда по указанию босого мужика, который проснулся под плеск наших весел, вышел из-за стога сена и теперь дает указания и смотрит мутным взглядом, как будто не уверен, что мы ему не привиделись во сне.

За мельницей — вот и Мериново, деревушка на обрывистом берегу. На песчаной отмели свалены дрова, какая-то женщина разложила из речного леса громадный костер, на котором можно бы зажарить гекатомбу; тут же стоит небольш[ое] бучило для белья...

— Деревня у вас большая или вся тут?
— А вам кого?
— Никого, так спрашиваю. А это чей новый дом?
— Митрия Константиновича.
— Купец или крестьянин?
— Нет, не купец.
— Богатый?
Она подозрит[ельно] смотрит на нас и говорит:
— Како богатство... Никого у нас нет богатых-те, нет.

Мы уже отъезжаем, а она всё смотрит с испугом и повторяет, что у них нет богатых никого.

За Мериновым открывается первая аллейка, и в конце ее как бы замыкает странного вида холм, с резко поднявшимся венком деревьев, — сосны, высокие елки поднялись на нем точно косматый вихор на плохо причес[анной] голове. Когда мы подъезжаем ближе, холм кажется еще более странным. — Короны венчающих его деревьев огорожены плетнем, кое-где чуть заметна тропа по крутым бокам холма, а на другом холме — что-то вроде землянки под громадным пнем срубленного дерева.

Мы пристаем к берегу, но берег — неприступная болотина. Наконец я замечаю тропочку в камыше и пробираюсь по ней. Тропочка взбегает на гору, и вдруг ее преграждает гуща еловых веток. Я насилу продираюсь через нее, а между тем на тропке видны следы, — здесь недавно ходили, — подхожу к плетню. За ним оказывается старое и, кажется, уже брош[енное] кладбище. Старые раскольничьи кресты, порой просто шесты, с какими-то зарубками. Несколько крестов заросли мхом до такой степени, что кажутся совершенно седыми лохматыми старцами между остальных, возраст которых тоже довольно почтенный.

Очевидно — я на раскольничьем кладбище, и этот странный холмик, эти дикого вида деревья — дали приют и осенили могилы людей, которые пренебрегли тихим, уютным местечком вблизи сельской церкви, наход[ящейся] отсюда верстах в 4-х. А эти заросшие и замаскированные тропки — это, должно быть,

просто переживший обычай, — люди, которые жили когда-то здесь, так же тщательно хоронили от постор[оннего] взгляда свою жизнь, свою веру. Теперь деревня стоит на виду, никто уже не гонит самое существов[ание] людей и их веры, — но под густыми ветвями деревьев на этом холмике нашли приют не одни мертвые люди, — здесь вместе с их тенями витают также давно умершие обычаи, следы умерших времен и нравов.

(К Мельнице в 9 ч., мимо Меринова — 9¾, к Звозу — 11 ч. 20 м.)

— Эй, плотовщики! Много ли отсюда до Оле́нева?

— До Оле́нева? Многонько. Верст 7, а по реке и побольше.

— А как попасть с реки?

— А вот мы тебя научим. Увидишь ты на реке старые столбы, — мельница была. Тут, не доезжая шуму — будет дорожка. С версточку до скита будет, не больше.

Мы плывем дальше. Лес становится выше, и первые выбегают кверху вершинами темные, почти черные ели. Очевидно, ель — любимое детище Керженца, — дальше ель заполняет уже берега, которые от этого темнеют. Самое русло тоже темно, но плесы прямее и дольше. Керженец становится все красивее, но и все угрюмее.

Небольшая лодочка-ботник стоит у берега. Края чуть видны над водой — внутри тоже вода. Какой-то старик, с красноватым, болезненного цвета лицом, в изорванной одежде, из-под которой сквозит тело, — сидит, опустив босые ступни в воду своего ботника, и удит.

Вся лодка уставлена по дощечкам какими-то коробами, берестянками, узлами.

— Дядя!

Он неохотно подымает голову от поплавка и на вопросы отвечает недоброжелательно и тихо, очевидно выжидая, пока нас пронесет и мы перестанем пугать ему рыбу. Но я решаюсь вызвать его на разговор.

— Где тут поворот в Оленево?

— Далече.

— А вы откуда?

— Из Звозу.

— Не дадите ли червячка нам — поудить от скуки?

— Мало у самово, — вишь, сухое время, червяк весь в землю ушел.

— Ну, одного!

— Господи, — шепчет он про себя и с досадой тянется к берестянке, в которой у него ком земли с червяками; но когда я вместо червяка предлагаю ему кусок сахару, — наши отношения принимают сразу задушевный характер.

— Да у вас где удочка?

— Вот.

— Плоха. Вот я вам благословляю, — 17 лет удил, — возьмите, дай вам бог счастливо.

— Вы видно, из солдат?

— Из солдат, — говорит он глухо, как о предмете, не возбуждающем веселых мыслей.

— Зачем у вас столько тут припасов?

— А я, видите, по неделям на реке живу, тут у меня весь припас — и одежонка тут же, — все имущество мое, тут мой и дом, ваше степенство.

— И хорошо?

— Хорошо, — и болезненное лицо озаряется улыбкой. — Теперь вот соловья уже нету, а весной, ваше степенство, вот когда хорошо: всякая тебе птица поет, — одна с утра, другая в день, третья тебе по зорям... Весной хорошо, ваше степенство, этто.

И в загорелом болезненном лице пробивается какой-то намек на счастье...

— А зиму?

Намек на счастие исчезает, и старик говорит вяло:

— Зимой кой-как в Семенове околачиваюсь, — безродный я...

Я окончательно уразумеваю, что передо мной в тихой керженской заводи не кто иной, как лесной двуногий «волк», которого открыли статистики. Но если и так, — какой это беззубый, несчастный и жалкий

представитель волчьей породы. Во всяком случае, — очевидно, Керженец ему знаком, и я пользуюсь несколькими минутами, пока он собирает свои удочки и начинает отпихиваться, чтобы задать несколько вопросов.

— Вы, дядя, в Меринове бывали?

— Бывал этто всюду, — говорит он, — во всех местах.

— Что это у них на горке тут, пониже деревни?

— На горке?.. А, знаю. Это у них называемая городинка, кладбища ихняя. Раскольники они.

— Значит, без попа хоронят на этой городинке?

— Коли без попа? Свой у них поп коронил, из беглых, да видите, — прибавляет он таинственно, — недавно тут наезжали, так взяли его.

— За что?

— Да много народу, прочих даже деревень, во свою веру превращал. Конечно, это ведь строго... Прощайте-ко, поплыву в деревню, а то и в самом деле червей нету. Кум тут у меня нарыл мало, да я забыл захватить с горшком.

И его лодочка тихо скользит по водяной аллейке, причем даже его рвань так красиво отражается в глубине, что я задерживаю свою лодку и любуюсь им. Он вдруг вспоминает что-то, его лодочка описывает быстрый полукруг, и он кричит мне своим разбитым голосом, который странно отражается эхом:

— До Оленева не больно далеко. Са́нохта пала тут река, с правой стороны, тут мельница старая будет. Лодку оставьте, — пойдете дорожкой. Услышите тут — кочета поют у них, у скитниц-то.

И опять он описывает носом лодочки правильный полукруг и исчезает за мысом, а из ближайшей заводи выезжает новый рыбак.

— Что это у вас за старик такой? — спрашиваю я.

— А это так... из Семенова. Всё больше летом к нам заявляется, — удит всё. Поудит, да полежит, на песочке, опять поудит и опять полежит. До того иной раз доудится, — вовсе голодный, сутки по двое не евши.

— А вреда не делает?

— Какой вред от него. Огонек ежели разведет, так

и то на песочке, от лесу подальше. Нет, может от других бывает, а этот не вредной.

И красная рубаха тоже быстро мелькает над речной гладью и в отражении, а нас стрежень несет дальше...[34]

Привал недалеко от поворота на Оленев — 3 часа (ниже устья Санохты).

В 5¼ отправился к скиту[35], в 6 ч. 25 м. вернулся, и отправ[ились] 6—30.

В 11 часов ночи привал не доезжая Хахал, в 9—30 тронулись с привала, в 11 час. утра — в Хахалы.

За Никольским 1 кордон — Пугай (35 в. в 4 часа).

За Никольским 2-й кордон — Красный Яр (жив[ет] лесничий) 35 в. сух[им путем]. За 4 в. до Волги.

Пониже Пугая — Кременские кочи, — беречься.

Вероятно пароход часов в 9 вечера.

Не доезжая Пугая — хутор Стогово.

В 2¼ — из Хахал (Казимир Матвеич Язевский. Ник. Григ. Шалыгин[36]).

А вот и «шум»[37]. В Керженец пала небольшая речка (Чернуха), и за ее устьем течение круто поворачивает влево, обмывает старые сгнившие столбы, напирает на поперечные коряги и шумит, точно в самом деле скитская старая мельница, давно уже исчезнувшая со света, все еще работает своими валами и толчеями. Помня, что старый «волк» советовал мне искать тропки пониже «шуму», я благополучно лавирую своей лодкой между столбами и пристаю в нескольких саженях к правому берегу.

Смотрю на часы — 5¼. Солнце мигает довольно низко из-за лесу, а путь нам еще далекий, — раньше Хахал нет вовсе поселений, а до Хахал, судя по карте, путь неблизкий; ночевка на берегу, в наших легких одеждах — перспектива не особенно приятная, кроме того, у нас уже вышли все припасы. Однако — желание повидать, хоть только мельком, один из знаменитых некогда скитов берет верх[38]. Я оставляю утомленных мальчиков на лодке, а сам пускаюсь по лесной тропинке, заметив, на всякий случай, положение солнца,

До скита должно быть версты 1½, расстояние небольшое, — но дороги то-и-дело разбегаются, и мне пост[оянно] приходится выбирать наудачу. По лесу пролегло множество тропок, но многие из них уже заброшены и густо покрылись хвоями и шишкой. Видно, в лесу некогда было больше движения, чем теперь, видно, заросли уже некоторые скитские тропки...

На перекрестке — столб, и на нем две надписи: «Тропа на Керженец», — «Тропа в 4 лесничество». От Керженца я пришел, в 4 лесничество мне не надо, — поэтому я избираю третью, относит[ельно] которой столб хранит молчание, перехожу через речонку и храбро пускаюсь дальше. Несколько тропок, одна за другой, выводят меня на проезжую дорогу, но я помню наставление старика — по проезжей не ходить — и потому избираю новую тропку, которая когда-то видимо была дорогой, и иду по ней.

Иду долго по тихому, грустному бору. Обвалившиеся хвои, тонкие прямые стволы, кой-где перехваченные спок[ойным] светом, бледнозеленые папоротники, расстилающие над землею свои широкие листья, как бы пряча под ними что-то таинственное, — вдали обманчивые просветы, что-то мелькает, что-то манит подобием правильных зданий... и новая перспектива дороги, новая обманутая надежда. Наконец, я начинаю сомневаться в избранном мною пути, но в это время из чащи выскакивает заяц, садится прямо против меня на дороге и смотрит с видимым любопытством, уставив кверху длинные уши. Я подхожу, — он кидается в сторону, тихонько бежит впереди, пресмешно подкидывая кургузым задом, опять садится на дороге и глядит на меня. Эти штуки до того заинтересовали меня, что я иду все дальше. Наконец, заяц стрелой убегает в чащу, и я остаюсь один. На часах — ¾. Если бы я шел в надлежащем напр[авлении], то уже ушел бы 1½ версты за скит.

На мое счастие — слышится стук телеги, отдающийся в густых вершинах, как будто телега едет по верхушкам, и вскоре выезжает на лошаденке мужик из большого Оленева; после его указаний я беру надлежащее

направление, прохожу мимо поля и минут через двадцать — между стволов вижу поляну и какие-то избушки, прижимающиеся ближе к лесу, оставляя в середине большой изрытый пустырь. На пустыре в небольшой ограде виднеется кучка берез и елок, прикрывающих своей тенью два-три креста и много простых могил, наваленных неправильными кучами и в беспорядке. Очевидно это скитское кладбище.

Это и есть знаменитый некогда, а теперь вымирающий Оленевский скит. Я осмотрелся — нигде ни души. Наконец, у дальней избушки мелькает рубаха. Какой-то чрезвычайно черный мужик бросил грабли и подошел к плетню, и его голова выглядывает оттуда, точно черный, закопченный горшок. Если б я не заметил ранее его движения, то наверное не разглядел бы теперь и этой головы следящего за мной с величайшим вниманием человека. Но я его увидел и машу ему рукой, прося его вытти ко мне. Он не особенно охотно — выходит.

Я уже решил, что осматривать скит мне положительно некогда, и потому хочу взять, что только удастся в беглом разговоре.

Черный мужик с удивительно оригинальным, совершенно раскольничьим лицом подходит ко мне.

— Это Оленевский скит?

— Так точно.

< — А вы кто? >

< — Крестьянин здешний [39]. >

---

[40] В Керженце: всех переворочало, — ни в живых, ни в мертвых. А где отец Евгений? — чай, еще по ягоды не ушел ли? Поют по столпам [41]. Хотели дать жалов[ание], да отец игум[ен] отказались (с улыбкой): оно, знаете ли... не больно это уважают, если единоверцы пользуются от правит[ельства]... Некоторые утверждают, будто единоверие есть ловушка...

---

[42] Мы выех[али] из Керж[енца] в 7—25 (приех[али] в 5).

— В час, в час доедете, по воде этто, — говорит нам отец казначей, а отец Евгений сомнит[ельно] качает головой.

Мы плывем час, плывем другой. Становится темнее. Сначала темнеют только отражения, и уже трудно разглядеть на них корчи, если только они не выдел[яются] светлыми полосками зыби. Потом тьма закрывает лес, берега, небо, и между тем, как с одной стороны исчезает солнце, — с другой из-за лесу выглядывает и медленно развертывается туча. Зарницы начинают освещать на мгновение темную реку, потом наст[оящие] молнии зловеще вспыхивают одна за другой, за лесом, пробивая в нем мгновенно гаснущие просветы, и после этого островерхие ели смыкаются кругом, еще более темные, еще более зловещие.

Мы налегаем на весла, — авось Никольское близко, но лодка вьется из кривули в кривулю, наудачу минуя корчажины, ломы, задевы, — а перед нами только темнеющий лес, как и за нами. Туча развертывается все шире. Светлые клочки неба исчезают, мерцает только одна одинокая звездочка на юго-западе, — в той стороне, где наши и не подозревают, может быть, что в эту минуту наша утлая ладья испуганно мчится, ища приюта.

Плот, другой. Русло загорожено бревнами, мы сворачиваем на проток, — лодка беспомощно утыкается носом в песок. Прохода нет, а туча уже над нами. Она тихо вьется и крадется дальше, меж тем как над лесами сзади уже стоит бесформенная темная мгла, из которой сыплются молнии на леса и протоки. Ложки́ шышмара, речушка — повторяют эхом глубокие раскаты грома.

Я отправляюсь искать проход, перехожу на остров, ступаю на плоты, но т[ак] как медленно, но неукл[онно] надвигающаяся туча лишает меня душ[евного] равнов[есия], — я тороплюсь, теряю равнов[есие] физич[еское], и когда бревно быстро поворачив[ается] под моими ногами — падаю в воду... по шею...

Первое мгновение, выйдя из воды, я чувствую себя ужасно беспомощным и несчастным, и в душу закра-

дывается невольно, бессознат[ельно], из какого-то дальнего душевного уголка, — мысль, что все они — и река, и плоты, и туча, и темные ели — в заговоре против меня и теперь я окончательно у них в руках. Вдобавок, и моя звездочка уже исчезла. И вот, вернув[шись] к мальчикам, с сапогами, полными воды, я, вместо того, чтобы распоряжаться, поддаюсь их просьбам — тащить во что бы то ни стало лодку по суше до русла. Это сов[ершенная] глупость — тащить долго, а плыть все равно нельзя, потому что на извил[истой] реке не видно ни зги, — т[ем) не менее я, весь мокрый, усталый, с бьющимся сердцем и сапогами полными воды, тащу изо всех сил лодку. Мы уже у конца песч[аной] пересыпки, когда за нами слышится шум, точно весь лес закричал своим могучим голосом, — что-то будто катится по вершинам, все ближе и ближе.

— Что это? — с испугом сп[рашивают мальчики].

— Это ливень. Будет делать глупости, давайте лодку на сушу.—Мы поворачиваем лодку на бок, подпираем ее доской. Ко мне возвращается самооблад[ание], я нахожу спички, — к счастию, они не успели промокнуть, т[ак] к[ак] хорошо завернуты, — и прячу под лодку несколько сухого валежника. Затем, пока дождь только накрапывает, мы набираем его еще на берегу. Теперь все готово. Под прикрытием же лодки я развожу небольшой огонек, который затем выдвигаю на дождь, прикрыв его обрубками сломанного весла. Огонь усиливается, и через несколько минут, когда шум ливня охватывает кругом леса и нашу одинокую лодку, — я вижу, что он уже не зальет моего огонька, и ободряюсь. Больше ничего уже случиться не может, а то, что случилось, в сущности пустяки. Мы жмемся под прикрытием, огонь шипя борется с дождем и побеждает его, мне, раздетому, тепло, и от белья валит пар,— значит оно скоро просохнет.

А кругом — шум и ливень, и гулкие раскаты ходят по темному взволнованному лесу.

Теперь, когда я п[ишу] э[то], ливень прошел, тучи громоздятся кругом, издали доносятся уходящие в

глубь леса раскаты, беспечная юность спит под лодкой, огонь разгорается все веселее, и даже моя звездочка уже мигает мне, свободная от туч.

---

12 и ю л я в 9—20 до привала.

11—10—в Лыково.

12 верст ниже Лыкова — хутор Синевский (направо).

Из Лыкова в 12—30 (прямой красивый плёс, домики Лыкова на горе долго виднеются нам, то появляясь, то опять исчезая из виду) [43].

Привал и купанье не доезжая реки Вишны. Остановились в 5 ч. 40 м. Тронулись ровно в 7 ч. веч.

---

[44] Пожалел, не спросил, — чье вы такие будете. Я вылез на берег, пождал, пождал, взял кусок... [45] думаю — не проехали ли мое друзья. Думал, не греки ли... Мы вного били, даже и в капканах. Ну, брат, в капканах-те он маху не дает, прямо на тебя [46].

Луна стоит над верхуш[кой] ели, вся в тумане.

— У нас не гари, не рамени, понбсу большого нету — за что же 12 р. платить; а ежели, говорим, такй права есть, что божью тварь можете зорить, переместить — то, говорим, делайте, а только что таких правов от великого госуд[аря] не может быть, что божью тварь теперича нарушать [47].

Отец диакон в Лыкове — таково уж, видно, свойство дух[овных] лиц — опять преподает нам утешен[ие] насчет нашей дороги, — до кордона на реке Пугае — верст 12, и доедем мы часов в 6 свободно [48].

Мы плыв[ем] по прямому красив[ому] плесу, в перспективе которого за ним все мелькает Лыково, со своими домиками на горе и крестом церкви над верхушками деревьев. Керженец становится шире, плавнее, зато, — стесненный в иных местах в узкое русло, — он рвет берег и неистово наметает на пути ломы и корчи.

НА УШАКОВКЕ

Верстах в 5 вдали за нами мелькает ботничек под зелеными берегами, через некоторое время на протоке Черемисский Керженец ботничек нагоняет нас, — в нем сидит мужичок в самод[ельной] рубахе и портах, с гречнев[иком] на голове.

Сидит он почти вров[ень] с водой [49].

---

[50] ...И долго еще бьется ветвями и грустно шевелит листьями на быстрой струе, между тем, как часть корней, оставшихся в обрыве, истощают последние силы, чтобы укрепить и поддержать жизнь в гибнущем дереве.

И вот, оно умирает, корни выскальзывают из почвы, точно изнемогшие руки человека, висящего над бездной, дерево валится на дно, плывет, переворачивается, задевает за мели, его заносит песком. Год, два — и из стройной сосны, из красивой веселенькой березки — получается только труп, остов дерева, безобразный, истлевший, затянутый илом и тиной...

Весной все это скрыто, — вода несется быстро, обрывая с берега все новые и новые жертвы, и по ее поверхности плывут целые деревья, еще зеленые и будто живые. Затем она падает, опускается книзу — и тогда со дна тянутся над ее поверхностью причудливые, дикие, страшные остовы ее жертв. Вот мертвая ель высунула наверх концы ветвей в два ряда, точно лапы гигантской сороконожки, утонувшей спиною книзу. Вот огромная корчажина, с нелепыми, точно в предсмертной судороге сведенными лапами; вот две сосны, выросшие рядом, жившие — погибшие рядом, точно два брата. Они и теперь лежат, переплетясь корнями, стройные и красивые даже и после смерти.

И много этих трупов лежит по течению реки, которая шипит и плещется между ними, кипя, разбиваясь на струи и мечась из стороны в сторону. Мрачная и дикая картина... Так и кажется, что в летнюю засуху, в томящий жар — перед зимней смертью из глубины, точно призраки преступной совести, встают на реке ее жертвы погибшие... [51] весеннего буйного разлива.

13-го в 5 ч. 20 м. — тронулись с [привала] пониже р[еки] Вишни, где ночевали с Андреем Федотовым и его товарищем (14 песков до Черной).

---

[52] Я не стану рассказывать подробно все чудеса, вылуп[ившиеся] из волшебного яичка. Не стану тем более, что в собств[енных] воспоминаниях моих в течении этих событий имеются значительные бреши, когда слова сказки как будто выпадают — и на их месте звучит только шум леса, да вьются неясные образы в воде, на темных берегах, на облачном небе с проглядывающими в просветах звездами...

...Вот захотелось ему, — раздается опять голос Ефрема, звучащий нотами сдержанного юмора... так и видно, что сказочник готовит слушателям приятный сюрприз... — Захотелось ему навестить брата. Вот царь его спрашивает: как тебе, дорогой зятек, желательно ехать: на земских, на почтовыех или на моех царских лошадях из собств[енной] конюшни? — Не желаю я ехать ни на земских, ни на почтовыех, ни на собственных ваших, батюшка, царских лошадях, — а желательно мне итти пешком, а супруга моя проводит меня за околицю.

Делать нечего, пошла царская дочь провожать его за околицю. Вот выли они за околицею, — сейчас взял он ее за чолку, ударил по бедру — обернул в кобылу. Обернул царскую дочь в кобылу, сел и поехал...

16

ЛИСТЫ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 1890 ГОДА

13-го. На кордон Пугай в 11 часов у[тра] (привал 2 ч[аса]. В 1 ч. с кордона.

В 3—15 м. первый кремнистый порог (не считая тех, что до кордона).

4—15 м. — последний [1].

Ровно в 9 час. вечера — ночлег на прав[ом] берегу реки Керж[енца] [2].

Так[им] образом и здесь, на кордоне, я слышу те

же мотивы, что и на прошлом ночлеге, только припев несколько иной [3].

Ровно в час дня мы попрощались. За кринку молока, хлеб к чаю и самовар я дал было 15 коп., но, оказалось, ошибся. Старушка вернула мне пятак, заявив с большим достоинством и простотой, что этого «много», что молоко им самим не стоит ничего и что лишнего они ни с кого взять не желают. Затем она сама проводила нас до лодки, сама столкнула ее с берега и очень приветливо кланялась с берега, прося, коль случится, заезжать и напредки. Затем мы поплыли по чудесной прямой аллейке.

Это было последнее жилье и, вероятно, последнее челов[еческое] лицо, которое мы увидим до устья Волги. Если вы посмотрите по карте Нижег[ородской] губ[ернии] нижнее течение Керженца от Никольского до устья, то вы увидите верст на 60 в длину и, пожалуй, столько же в ширину пустое пространство, без всяких значков и надписей. Кое-где неб[ольшая] речушка, с названием или без названия, и то — выбранные наудачу, чтобы чем-нибудь заполнить пустоту, — да черная полоска Керженца, — и все. В действительности здесь, на всем этом пространстве шумят леса, да река вьется своими причудливыми узлами и зигзагами, а над рекой и над лесами — коршуны и орлы (мы видели двух громадных орлов) вьются плавными кругами, высматривая добычу, вороны громкими криками сзывают свое племя на защиту—хищник стрелой падает на одну из них с высоты, и только тогда вы увидите, что и здесь не мало этой никому не нужной птицы...

Раздаются лесные стоны и лесные крики торжества, деревья тихо падают с берега в воду, погружая в нее свои зеленые головы. Вообще здесь идет своеобразная жизнь природы, — но человека вы увидите редко (я не говорю о времени сплава). Кой-где торчат колья и своей правильной расстановкой указывают, что сюда приходил тот, кто вносит в хаос природы свою симметрию и свои особенные цели. Кой-где на песке опрокинута лодка, — значит, опять где-ниб[удь] ее

хозяин подрубает дерево или ставит сети. А может быть, он забрался в чащу за лесной пчелой и ботник прождет его еще два-три дня...

И не с кем раскланяться, не с кем перемолвиться словом, не с кем развести общий огонек у опрокинутой лодки, как третьего дня с Андр[еем] Федотычем. Я пишу эти строки на ночлеге, у костра. Где-то надо мной шумит темный лесище, которого я не вижу из-за огня. Вправо плещется река, т[ак] как подымается ветер, и небо опять задернуто тучей. Какая-то птица мрачно ухает в чаще, другая все стонет, точно у нее отняли детенышей. А в воде, вот уже раза четыре бултыхнулась какая-то водяная громадина, да так сильно, что я невольно встал и подошел к берегу посмотреть, — уже не медведь ли чего доброго совершает с того берега свою переправу... Да, теперь я хорошо понимаю, что, называя нас «мое друзья», Андрей Федотыч говорил не пустую фразу и произносил слово, которое здесь имеет свое особ[ое] значение. Среди этих молчаливых боров и раменей над рекой, покрытой трупами деревьев, под эти крики хищников и жертв, под шум вершин — таинств[енный] и непонятный — встретиться с человеком, относит[ельно] которого знаешь, что это не враг, что у него можешь найти помощь, если понадобится, что с ним поговоришь на языке людей, а не леса, — да, это в самом деле что-то больше наших пустых встреч и шапошных знакомств, и я теперь ясно представляю себе, как Андр[ей] Федотыч ждал-пождал, потом взял кусок, поел, и опять дожидался, вглядываясь, не мелькнет ли на плесе наша лодочка. Я теперь тоже ждал бы пождал, если бы надеялся дождаться чьей бы то ни было лодочки и если бы из нее вышел не незнакомый совсем пришлец, а Андрей Фед[отыч], с которым я переговорил и почувствовал к нему доверие, — то это была бы поистине встреча двух друзей и товарищей.

Но теперь мне некого ждать. Во весь день, после кордона, мы видели на реке только одну лодочку, на берегу какой-то речки.

— Эй, кто здесь?!. — крикнул я, но ответа не было. Только эхо вернуло мне слабое подобие моего вопроса, да осины на берегу (кстати: они здесь замечательно красивы и стройны) залепетали что-то, не совсем непонятное.

Я замечаю, что мои мальчики очень грустны. Мне также не по себе.

У нас сил станов[ится] в[все меньше].

— Никогда не доедем, — ск[азал]... [4]

14-го в 6 ч. утра с ночлега.

12—20 — Красный яришко (перевоз).

У устья Керженца — в 3 часа дня.

(Шум) [5].

Проводил на шуме лодку ¾ часа. Шли от устья до Лыскова [6]. 3 ч. ¾. Пришли в ½ 7-го вечера.

Лодочку сдал на досчаник [7] Лысковский, который приведет парох[од]. «Соколик» станет у Кунавина [8].

17

ГОЛОДНЫЙ ГОД

25 февраля выехал из Нижнего. Остановки: в Борисове, в Беленькой [1], в Криуше. Часа в 2 в Арзамасе. По дороге встреча с Федором Потаповичем Потаповым [2], членом сельск[ого] попеч[ительства] в Каменке.

26 февраля в Арзамасе, часа в 2 дня. Скучно. Еще с ночи пошли холодные тучи, теперь день серый, ветер, как говорил мой спутник, самый «проносный», холодно, праздничные флаги треплются на ветру и делают зрелище пустого города еще более тоскливым.

Остановился у Стрегулина, в лучшей гостинице. Есть еще гост[иница] Колесова, но здесь, как сказал мне Потапов, останавливается «разносословие», грязно и шумно. Зато у Стрегулина тихо и скучно. Проезжающих всего-навсего 4 человека, в том числе один земский начальник, Бронский [3], принимающий должность от Алексеева, который, как здесь говорят, пропился и потерял ценз.

Был у П[одсосо]вых[4], потом у И. В.[5] Первые почти ничего не знают о продов[ольственном] деле, второй осторожничает, боится «корреспондента». Я еще не вошел в колею, да и не думаю входить в нее в Арзамасе. По всему — надо ехать сегодня же далее. Вчера всю дорогу встречались обозы, обозы, обозы... Вздремнешь в телеге и слышишь покрикивание обозчиков, чувствуешь, как бьются на «шибелях» сани, отводами об отводы. Куда? — В Лукоянов со способием. — Откуда? — Из Лукоянова за способием. Ну, значит и мне в Лукоянов. Таковы покамест мои планы.

27 февраля послал письмо в Нижний.

На почте счастливая встреча с лесничим Павлом Федор[овичем] Россовым. Обедал у него. Сообщил кое-что интересное: во 1-х, насчет обществ[енных] работ. Вообще крестьяне идут охотно и являются в колич[естве] бо́льшем, чем можно принять. Однако не всем это на пользу. Земск[ий] нач[альник] Тархов изъявил претензию, что мало берется людей из его участка. Стали брать больше. Оказывается, люди непривычные к лесной работе. Приходят за 80 верст и в то время, как другие вырабатывают по 40—50 коп., они могут выработать 10—15, тогда как прокормиться стоит 20 коп. при нын[ешних] ценах. Просят освободить. Лесничий выдает им удостоверение, что более для них работы нет, чтобы они не считались уклонившимися от работы. «Пилу направить не умеют», а работа требует сноровки.

Он же (Россов) рассказывал об учительнице (какой-то Зине): дети стали хворать, — у кого куриная слепота, у кого судороги и т. д. Стали выдавать ей 1½ пуда в месяц на всю школу (это еще до устройства правильного кормления). Это было очень мало: дети кидались сразу и жадно глотали куски. Пришлось завести очередь: одним выдавали в один день, другим — в другой. — О б А л ф е р а к и[6]: приехавши в Арзамас, Алфераки делился на вечере, кажется у исправника, открытием, которое он сделал на другом вечере в Лукоянове. Здесь его старались разуверить, но он

ничего не слушал. «Увлекся, — как выразился исправник. — Полно-те, дескать, давайте лучше в карты играть, а то вы вот как увлекаетесь». Очевидно, соблазнительна роль Колумба, открывающего благоденствие там, где все видели голод.

(Россов советует повидать[ся] в Кемлях с Михаилом Григорьевичем Парватовым, лесничим 1-го лесничества).

Он же и его жена рассказывали поразительные картины нищенства в то время, когда не выдавали пособия: «По улицам проходили толпами выходцы из деревень, одни за другими, одни за другими, без конца. Женщины, с грудными ребятами на руках, старшие цепляются за платье, — все это плачет. Кидаются на колени, молят... А что тут можно сделать?.. Конечно, подаешь, да что, крохи!.. Все-таки приходилось и отказывать... А! Вы не поверите... Это бог знает что такое!..»

Россов — человек уже не молодой, но добродушный и отзывчивый: когда он вспоминал эти картины, на глазах у него были слезы... Что же было бы, если бы не эти громадные обозы, везущие «способие»!..

NB. Ходил опять к дому Ступина[7]. Находится он между 3-х улиц: Ново-Спасской, Стрелецкой и Прогонной (Муза на Прогонной).

---

28 февраля видел земск[ого] нач[альника] Бронского. Офицер генер[ального] штаба, молодой, щеголеватый господин, он недавно вышел в отставку и принял назначение на место Алексеева, который, впрочем, пока числится в 28-дневн[ом] отпуску. Теперь пошел слух, что Алексеев остается по распоряж[ению] министра. Бронский в нерешимости. По его мнению, надо «изменить систему», а менять на 28 дней не стоит. Главное, что требуется изменить, это, по его мнению, — сельские попечительства (или комитеты). Проверив списки, он нашел их составленными безобразно. Одного, богатого, получающего ссуду, посадил под арест. Приходит жена, заявляет, что муж вовсе

не просил, а дают, так зачем отказываться? Как, однако, изменить систему, — сам еще не знает. Хотел просить свящ[енника] (староста составляет, священник делает свои пометки), но священник (м[ежду] про[чим] села Каменки) отклоняет от себя эту задачу. «Помилуйте, и теперь окна побили, а как все от меня будет зависеть... нет уж, увольте!» и сов[ершенно] верно.

Лучшими помощниками считает старшин, которые, получая жалованье, дорожат местами. Старосты все в один голос просят об одном: увольте, бога ради. Иные из них получают 10 р. в год, другие 12 р. в месяц. Порой в огромном селе — один староста, что он может сделать? А в иной небольшой деревеньке четверо старост. Отчего? Да просто остаток крепостного времени: в деревеньке было 4 владельца, и осталось 4 старосты. А село принадлежало одному помещику, и староста, по обычаю, остался один.

Настоящей, острой нужды не видал. Соглашается, что до сих пор пособие «пресыщает одних, других же оставляет голодными». Недоумевает, зачем с крестьян при выдаче ссуды берут за провоз по 20 к., когда стоит только 16. Притом провозные деньги, по б[ольшей] части, взыскать невозможно. Комитетскую муку решил раздавать сам (нашел, что старосты выдают неправильно).

Затем: в помол мука отдается 2 лицам: Кощееву и . . .?[8], которые берут по 4 коп.; на крестьянских мельницах брали бы по 2, и был бы заработок.

Обысков (лично) избегает, — обыски сильно роняют достоинство начальника. Вынужден был посадить одну бабенку под арест: при производстве обыска нашли у нее спрятанный хлеб. Стала кричать: «Ваше дело по подклетям шнырить...»

В 1 час дня из Арзамаса опять на вольных. Вольные оказались однако теми же почтовыми из Новой деревни (43 в. от Арзамаса). Ямщик, или, вернее, сын хозяина станции, привез Фед. Ефимова Дрягалова, торговца лесом и хлебом (из с. Болдина); теперь, покончив расчеты с земской управой за овес, торговец

едет обратно, и т[аким] обр[азом] мы — попутчики[9]. Дрягалов — топорная, грубо сколоченная, но довольно добродушная фигура, неглуп, служил членом управы. Жалуется на пьянство:

— Это есть самое первое зло, кабак. Вот у них — Новая деревня. Из двора во двор — беднота. Земля и никогда-то не родит, а теперь и подавно, а трактир есть. По-настоящему бы закрыть, кроме базарных сел. Вот верно писано в «Сельском вестнике»[10], кто-то именно практичный писал: «Прежде, говорит, работали мы на барина, на помещика. Страдали. Теперь, говорит, работаем уже на барыню (это водочка!). Слово с ней сказать — 7 копеек, 8 копеек. А два слова — это уж вдвое. И верно... Второе есть зло, что хуже прежнего разбою, как бы умно вам высказать, — процентщики. На рубль теперича берет 3 коп., и 5 коп. в месяц, под залог. А что теперь составляет залог? — Озими! Он их на корню берет. И если ему теперь крестьянин к сроку не поплотится, берет себе озимь всю. Теперь вот их Господь-то ударил маленько. — А что? — Да как же задали под озими по 3 рубли за осьминник, который нам стоит на круг 10 рублей обработать, а они не уродились. Само собой, — мужики говорят: берите, батюшки, ваше все...»

Смеется.

— Третье есть зло — келейницы. Видите вот (он указывает рукой на небольшой порядок, выбежавший к сторонке за селом, в низинке. Крошечные избенки, без огородов и дворов, мигают в сумраке небольшими оконцами) — это вот живут солдатки, девки старые, безмужние, вдовы, без наделу которые. Вот они у себя устраивают всякие штуки. Самая язва. Тут в избах этих пряники едят, семечки щелкают, на гармониях играют, и даже хуже всего — водку пьют. Девки лет 15—16 и те напиваются. Вот зло какое! Искоренить бы. Сколько греха одного. Отец не пускает, матери, слабостию известно, — заступаться. А там за девкой приударит какой-нибудь, богатенького отца сын. Она думает — жених, а он вовсе не жених. Ищет себе одного расположения. Возьмет свое и хвостом

вильнул... Эх! просто скверность. Лет с 15 это гнездо завелось. Теперь в селе вряд наберется домов 15, где хозяева держат свой дом в руках. А то... даже и незаконного младенца принесет, и то уже матери за стыд не почитают: дескать, не моя одна, вон и таких и таких дочки то же самое...

Насчет неурожая:

— Плохо, вот как плохо. Конечно, теперь поддержали, а то беспременно которые перемерли бы не малое число. Могучие, конечно, остались бы, а то бы сгинули просто. У меня вот лебеды набралось мер 600, так всю раскупили по 25 коп. за меру. Конечно, было тут на пуд фунта 4—5 ржи, за нее больше и деньги брал. Говорили, будто на посыпку покупают, а вместо того сами всю съели.

В это время, качаясь на шиблях, плывут навстречу несколько возов соломы.

— Этаки же вот возы встретил я недавно под (называет какую-то деревню). Откуда, мол? — Из Голицына. А Голицыно-то 40 верст за Лукояновым, да сюда-то верст сорок же. Это, стало быть, он за 80 верст съездил, взад вперед 160, да за воз 3½ заплатил... Вот и поглядите, чего стоит скотину-то сберечи — беда! Из плохих годов, — самый плохой год. В прошлом-те годе скотине плохо же приходилось, так хоть люди дышали. А теперь так соткнулось с обех сторон.

Вдали на мосту показываются сани в хорошей упряжке, парой. Пристяжка круто выгибает голову и забирает ногами. В крашеных щегольских санях сидит кто-то, завернувшись в шубу. Наш ямщик поворачивается, улыбаясь, и говорит:

— Едет ведь дружок-то ваш.

Лицо Дрягалова становится вдруг угрюмо. Он останавливает ямщика и выходит на дорогу. Пара тоже остановилась. Смуглый господин несколько смущенно здоровается с торговцем.

— Эдак разве делают? — произносит тот, едва поздоровавшись. — Я вам поверил, овес выслал честно, по уговору, а вы у меня деньги задержали...

— Душечка, что вы, что вы, — говорит господин, — как задержал?

— А то нет. Вместо 20 декабря, вот до 28 февраля довели. Да еще самого заставили ездить. Рублей на 50 наказали.

— Душечка! Да ведь я послал?

— Как послали? Куда?

— Да вам, душечка, почтой.

— Почтой? Почему ж я не получил.

— Не знаю, душечка, ей-богу послал.

— Не божитесь, стыдно! Я ведь из управы, деньги мне уже выдали. Вот они!

— Да вы писем моих не получили разве?

— Никаких писем не получал. А что не ждал я. Так не делают хорошие-те люди. А еще управа!

Сцена становится неловкой.

Господин, видимо, врет, Дрягалов старается его сконфузить. Однако он довольно грубо обрывает и, небрежно попрощавшись со сконфуженным управцем, садится, пыхтя, на свое место.

— Вас я постыдился, — говорит он мне, а то бы я его отчитал.

Щегольская пара быстро укатывает по плохому тракту. Оказывается, что это — член арзамасской управы Дм. Ник. Смагин. Он купил для управы партию овса на 700 рублей, деньги при приемке. Овес давно поставлен и принят, а деньги почему-то задержаны. Другой контрагент, тоже крестьянин, отказался от задатка и овес продал в другие руки. Почему это? Кажется деньги из губернского земства выдаются аккуратно.

При этом случае Дрягалов рассказал мне, что в Лук[ояновском]уезде можно было легко купить партию в 30 000 пуд. овса по 80 коп. у него и его соседей торговцев, но почему-то управа «продремала». Купил Кочубей и арзамасская управа. «Каждый базар, — прибавляет ямщик, — можно купить пудов 200, а ведь базары-те не один на неделе».

Светит высокая холодная луна. Местность слегка волнистая, почти степная. На неровности снежная пе-

лена сверкает синеватыми отблесками. Видны ветряные мельницы и темная полоса строений, кой-где сверкают огни.

— Это какое село?

— Да это вот присёлочек, а то город.

Невзрачен показался мне Лукоянов, затерявшийся на «привершках» речки Теши, среди снежной волнистой равнины. Мы проезжаем солдатской улицей, где живут лукояновские пригородные крестьяне, и по мосту въезжаем в город. Проехав несколько саженей за рекой, ямщик останавливается. Здесь гостиница с №№, принадлежащая городскому голове Лукину.

Гостиница очень оригинальна. По широкой лестнице мои вещи вносят в биллиардную. Биллиард на тонких ногах, покосившийся, с изорванным сукном. Из биллиардной непосредственно — ход в номера. Несмотря на неприхотливость этой гостиницы, она мне понравилась гораздо больше арзамасской, с ее промозглыми коридорами и пыльными занавесками. Здесь очень чисто, крашеная «пукетами» железная печка выделяется на белой стене, и малый с пухлой рожей услужливо закрывает заслонку, между тем как мне видно в плохо закрытую дверцу синее пламя. Я распоряжаюсь открыть печку к великому огорчению доброго малого, заказываю самовар и сажусь записывать свои впечатления.

NB. Один из первых домов при въезде в город — небольшой чистенький домик Валова.

— Здесь вот Ник[олай] Дм[итриевич] Валов живет, бывший управы уездной председатель [11].

— Огорчен?

— Страсть. Семейство все расстроилось, мать старуха. Тесть у него Потопаев, нижегор[одский] купец, — тоже до чего огорчился. А ведь, в сущности сказать, почти без вины. Свéрзили! Была, конечно, как сказать, — маленькая неосторожность. Доверялся кой-кому, а что злоупотребления, нет, не было!

Он помолчал и прибавил:

— А! Николай Митрич, Николай Митрич! Знаете ли, как вознесся на эту степень, стал было кверху гля-

деть. Совета не слушал, своему разуму верил. А теперь нет! Стал русѐть, си-ильно даже порусе́л. Разговаривает смирно. Конечно, не напоминаешь ему об этом неприятном деле, а порусел. Довелось чашу горести испивать... Что делать! Может еще и оправдается, даст бог.

Дрягалов высказывается за сельские попечительства. О пьянстве говорит, что народ сильно унялся пить. Да что! (в это время мимо проезжают возы с куделью), — видите, едут. Хвощане это, кудель всякий год скупают. Бывало, едешь эдак же вот, — то и дело пьяные попадаются. Лежит на возу, да еще поперек. На шибле кинет воз, — он летит торчком с воза. А ныне, вот видите, ни одного еще пьяного. Нет, куда! Присмирел весь народ. Господь-то всех пугнул...

NB. Майданы всё в Лук[ояновском] уезде. Слово малороссийское. И действительно, по словам Дрягалова, — Кочубей вывел сюда много малороссов. Здесь их называют будаками, и речь у них отличная от остальных.

Если бы не пособие, то, говорит Дрягалов: которые в жизнь не воровали, стали бы, пожалуй, поворовывать, а кто прежде воровал, — те принялись бы уже за разбой. Не дай бог, что и было бы...

29 февраля 1-й день в Лукоянове. Светлый, морозный день. Окна в узорах от мороза. В гостинице тихо, только вентилятор скрипит, да где-то внизу постукивает половая щетка... Пью чай, пишу письма, собираюсь с визитами. — Послал письмо (зак[азное]) с карточками относит[ельно] агентуры [13].

Вечером к Гориновым на хутор Белецкий, решил открыть столовую в Елфимове [14].

Марта 1. Был в церкви. — В 12 часов открытие городской столовой (мальчик «сверхштатный»). Обедал у Филатов[ых] [15]. Познакомился с Бауд., Костиным и Сахаровым). Вечером — у Яшеровых в Гаврилове и в Лопатине [16].

2 марта. Послал письма: в «Русск[ие] вед[омости]» [17] и Александровой [18]. Был у исправника (рассказ о Вас[илеве]-Майдане, мужик, имеющий ½ мельницы, запродал, его лишили пособия, 17 чел[овек] детей). Вечером к Гориновым. Петр Андрианович рассказывал дорогой: свадьбы чаще, — девки дешевле, меньше кладка (плата за невесту).

NB. Рассказ о женщинах, просящих милост[ыню],— как при уменьшении кусков они переодеваются за поленницами. Затем о женщине, весь день не выпросившей ни куска, от стыда (стоит под окном, а голоса не дает и даже спрячется, когда смотрят). Теперь можно видеть баб с закрытыми лицами.

Рассказы о молодце диаконе... Теперь, пожалуй, что остепенился, да уж очень глаза у него... ест баб-то глазами...

3-е марта. Прелестное утро. — Проснулись мы с Петром Андриановичем около 8 ч. — Сельский батюшка из Пичингуш дожидался по делу, а также желал попросить насчет столовой. «У меня тут еще деревня есть, верстах в шести. Так для той как, — если им приходить в Пичингуши — далеко...» Пришлось ограничить добрые батюшкины заботы о своей пастве одними Пичингушами.

В 10 часов выехали мы в Елфимово, в 2 уже были дома, составив список 40 наиболее нуждающихся. Составление списка прошло лучше, чем я ожидал. Изба полна мужиков, писарь читает общий список. П. А. Гор[инов] смотрит, сколько кому назначено пособия, мужики высказывают свое мнение. Тех, относит[ельно] которых мнение единогласно, я прямо вношу в свою тетрадь, сомнительных отмечаем крестом в самом списке. Затем прочитываем последних еще раз, выслушиваются возражения, и кандидат вносится или отвергается. Мужики благодарят: «Спасибо, что потрудились. Конечно, все мы голодные, всем бы надо помочь, а все-таки не станут хоть сбирать, и то нам легче». Впрочем, священник передавал после отзывы двух-трех человек, что это пустяки, что надо бы не

то. Без сомнения они правы с своей точки зрения. Кажется, однако, что это не общее мнение. Во всяком случае сами нахлебники и их семьи не скажут, что для них-то это пустяки. По окончании дела мужики стали было жаловаться и просить помочь «нам-те, мужикам». Выдают мало, сокращают ссуды, «лебедой все мы уже подавились». Пришлось остановить, сказавши, что это дело не наше, наше дело особое [19].

Замечательное место из Иезекииля: «Откуда следует, говорит господь, что вы говорите, как пословицу: отцы наши ели кислый виноград, от этого у нас на зубах оскомина? Нет, это неправда! Клянусь, подобная пословица более не явится. Каждая душа принадлежит мне. Кто грешит, умрет своим грехом: кто справедлив, тот будет жить. Если сын вор, ростовщик, убийца — это не касается отца. Отчего же грехи отца переходят к сыну? Нет, кто грешит, тот и заплатит только за себя» [20].

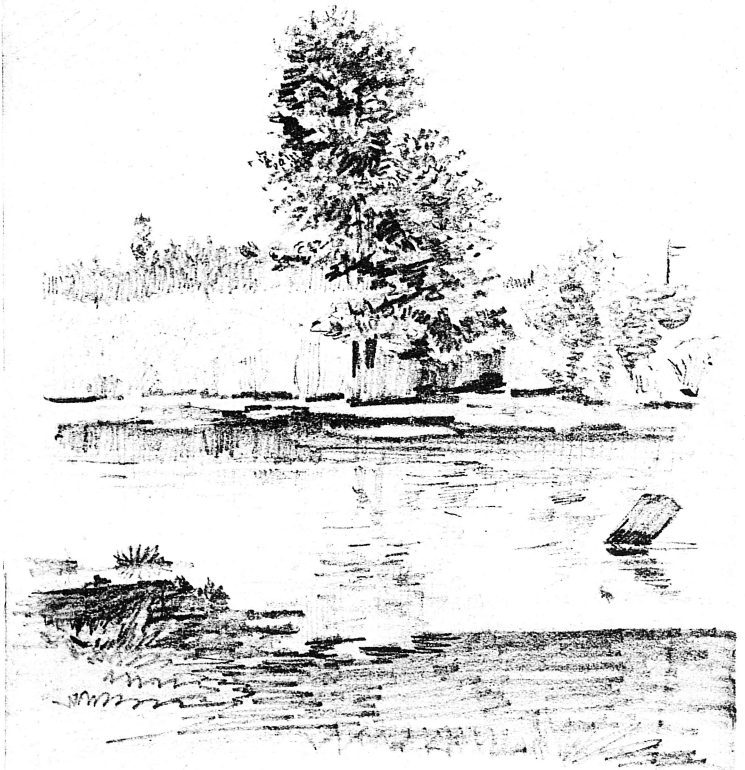
В Елфимове всё менялись священники. Один был добрый, но горький пьяница, другой умный, не пьяница, служил весьма благолепно, но зато держал себя ужасно с мужиками: было 2—3 случая, когда приезжавших исповедываться не пускал ни в церковь, ни к себе в дом. Кучер его держал у ворот фонарь, а он исповедывал. Когда пришли к нему просить молебна о дожде, — он ответил: «Стану, дескать, для вас, подлецов, дождя просить! Вот еще! Десять дён стану молиться, чтоб вам, подлецам, не было ни капли дождика, чтоб ни зерна не выросло в поле». После этого — засуха, мужики говорят: вишь, рыжий подлец, поп Мишка, вымолил таки *. Вообще отношения сложились у пастыря с пасомыми довольно своеобразно: кабатчик говорит мужику: не побьешь попа! — По-

---

* Интересная бытовая черта для очерка: молодой поп, гуманный и добрый, но без характера сменяет этого Мишку. Мужики говорят: добёр, что говорить, а Мишкино моление, слышь, сил нее было. Это так себе... А уж Мишка-те мог что хошь вымолить. Дождь ли, сухмень ли,—все мог. А этот добёр, что говорить... (*Прим. автора.*)

бью. — Хвастаешь. — Поп идет днем, мужик кидается, волокет попа в бурьян, рвет волосы... Потом у мужика умирает младенец. Отец в отлучке. Старший сын несет хоронить, — поп говорит: без отца не стану. Тот оставляет гробик на паперти. Жара, в июле месяце... «Два дня мимо церкви пройти было нельзя!!.»

4-е марта. Составляли список для столовой в с. Пичингушах. Село мордовское. Староста Ив[ан] Васильев, писарь — его сын, молоденький мальчишка. Староста видимо смущается: в списке чрезвычайно много неправильностей, зависящих прямо от него. Мужики засыпали меня жалобами, во 1-х, на земского начальника: просьб не слушает, ссуду почему-то сократил. Действительно, безобразие очевидное, село с 261 домохоз[яином] (наличных душ более 700), полной ссуды (т. е. в 30 ф.) — никому. До февраля получали по 30 ф. 6 челов[ек] (4 одиночек и затем 2), с февраля сбавили до 20. «Что такое? — возбужденно говорят мужики, — вот в других уездах дают по пуду на человека. Или мы не того же белого царя... Под турецкого салтана отданы что ли?» Я, конечно, отклонил эти жалобы, сразу заявивши, что я по «другой части» и что это не мое дело. Но жалоб, и в особенности на старосту, удержать было невозможно. При каждом случае явной несоразмерности нужды и пособия подымался ропот, и старосте кололи глаза: читается, напр[имер], у Сорокина Ив[ана] Яковлева семья (налицо) 4 человека; пособия не получают. «Нужда, больно нужда, не получают «по нападке». Вином старосту не поили. Что, Иван Васильев, скажи. Это как!» Староста жмется. Я говорою, что это не мое дело. — «Да мы это господин, не тебе, промеж себя баем!» И все-таки возвращаются то-и-дело к тому же. «Князькин Максим». — Бедной! — иронически восклицают мужики. Получает на всех. Сын в Елабуге — первый прикащик. Или вот Кирдянов 200 руб. получает, без чаю не садится. Кум старосте, так вот и получает. Староста бормочет что-то насчет земли. — Да, говори! Ты не знаешь, что он с почты получает деньги по 15, по 20 рублей... и т. д.



Из путешествия по Нижегородскому уезду

ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО НИЖЕГОРОДСКОМУ УЕЗДУ

Вообще пробились в этом селе втрое долее, чем в Елфимове. Кажется, что и нужда здесь сильнее [21]. Пришлось сначала вписать 49 человек, после 9 исключили. Необходимость очень тяжелая. Каждый раз, подымая для этого руку с карандашом, я чувствовал, что зачеркиваю вопиющую нужду... Только мысль о том, что денег мало, что есть нужда еще большая, — заставляла все-таки вычеркивать по указанию большинства. Показывали хлеб: черный, отвратительный. Я отломил кусок и взял в рот. Вкус почти навоза; мне не хотелось выплюнуть при них то, чем они питаются изо дня в день, и я проглотил кусок с большим усилием...

Из рассмотрения списка я мог вывести одно только заключение: рукой составителя водило исключительно желание «сократить» во что бы то ни стало. Системы никакой. «У нас тут так набу́торено, — сам архирей не разберет», — говорили крестьяне. По словам старосты, во всей Маресевской волости с февраля никто не получает полной ссуды (считая за полную 30 ф.). Почему? Неизвестно. Вот старуха 74 лет, слепая; отзывы о ней: «Кабы Василий Тимофеев не приютил, должна бы она страдать под небом! Свету не видит». Не получает ничего. — Вот Нуйкин Андрей, отст[авной] солдат. Сын ушел без вести («такой лобан, негодяй»), старик еле ходит, остались на руках сноха и дети. Получали в феврале по 20 ф. На март отказано. «Почему?» — никто не знает, в том числе и староста. Очевидно, нужно было «сократить», и сократили Нуйкина. — Степан Поськин. Семья 10 человек. В декабре и январе получал на 8 едоков (4 п.), в феврале — на 6, на март уже назначено 1½ пуда! Малейший предлог достаточен для лишения ссуды. У села стоит несколько мельниц ветряков. Стоят, не шевельнутся, молоть теперь нечего! По большей части владеют ими по двое. То и дело встречаются иронич[еские] отзывы: «Заводчик он, пол-мельницы». — «Полумертвые мельницы у него», — сказали про одного. Эти полумертвые мельницы всех владельцев сразу лишили права на ссуду. Упоминается фамилия Егорова. «Был заводчик. Мельница была. Теперь продал. Были у му-

жика крылья, — обрезали. Хвост один остался. Терпел, терпел, просил-просил,—не дали. Пришлось продать. Пущай теперь деньги проедает, зато раззорен вовсе. Вот начальство-те у нас чего делает. Нешто так царь-те указал».

Очень интересны рассуждения о милостыне. Оказывается, некоторые, получая ссуду, все-таки сбирают. Разговор возник по тому поводу, что я указал на облегчение всем от справедливой записи неимущих: не станут сбирать.

— Все-таки пойдут, — говорит один.

— Запретить, — вставляет другой.

— Постой! — вмешивается третий. — Зачем мимо крестов ход отымаете! Нешто можно Христово имя запретить, пущай идет... Разве этим способием прокормишься.

— Да ведь в столовой-то все-таки прокормится лучше других, — говорю я.

— Из столовых-то не пойдут. О способии речь. Да и из столовых: одну ее покормишь, а у ей дети, или старик. Нешто можно запретить?

— Да ведь подавать у нас нечего.

— Нечего, так пускай мимо. А воспретить нельзя. А есть — подашь.

— Как не подашь...[22]

Так решен вопрос самими крестьянами. К сожалению, сегодня я узнал, что в Маресеве урядник гоняет нищих, будто бы по приказу земского начальника. «Получают довольно». Это ужасная, в сущности, мера! К счастию, надо думать, что она неосуществима в широких размерах...

Когда я вернулся, побывав еще на Маресевск[ом] хуторе, домой, — оказалось, что меня дожидаются 5 келейниц из Красной Поляны с жалобой: земский начальник лишил их пособия, дети плачут, помирать приходится... Я, конечно, решит[ельно] ничем не мог помочь...

В Маресевском хуторе встретил Ник. Ал. Толстикова, оценщика Симб[ирского] отделения Гос[ударственного] Дв[орянского] банка. И хутор и оценщик

очень интересны. Хутор принадлежал Приклонскому[25], заложен, остался за банком и перед тем, как передать его во влад[ение] банка, — почтенный владелец вывез все, до последних изломанных саней, в свое имение. Это уже не утайка 2 мер лебеды с преступной целью получить 30 ф. ссуды! А вот и еще красноречивая история: А. Л. Пушкин[24] задумал сбыть банку свой малодоходный хутор. Доход—300 р. в год, и то при хорошем ведении. Почтенный дворянин заключает фиктивное условие с сожителем своей сестры, акцизным Оборским, на отдачу этого хутора в аренду за 2000 в год и просит выдать ссуды 12 000! Приезжает оценщик, но не к хозяину, а прямо на хутор. На хуторе один солдат, пьяный и сонный с похмелья.

— Здесь хутор, арендов[анный] Оборским.
— Никак нет. Да такого и не слыхали...
— А это чей?
— Это Пушкина.
— А ты от кого?
— От Пушкина.

Осматривает, оценивает, и в результате: оценка 1800, к выдаче 1200! Это тоже невинная шутка, о которой довольно весело рассказывают те самые господа, которые готовы все население лишить помощи за то, что некоторые «канальи» скрывают несколько мер лебеды.

Сданы Павлом Ив[ановичем] письма[25]: Дуне[26] и Пушкину[27], росписки № 98 и 99 (не обозначено число на росписках).

NB Копия с письма Пушкину.

Милостивый Государь
Анатолий Львович,

Нижегор[одский] Губернский Благотвор[ительный] Комитет командировал меня в уезды Нижегор[одской] Губ[ернии] (в том числе и в Лукоян[овский]), с целями, определяемыми § 7 своей инструкции[28]. Предполагая открыть в уезде неск[олько] беспл[атных] столов[ых] (между прочим и в Вашем участке) на средства, имеющиеся в моем личном распоряж[ении], имею честь сообщить о том Вам, Милостивый Государь, как земско-

му начальнику, для сведения. О времени, месте, размере столовых и пр. не замедлю сообщить своевременно.—Чл[ен] Нижегор[одского] Благотв[орительного] Ком[итета] Влад. Короленко.

5 марта. Ездили с Петр[ом] Андр[ияновичем] в Починки[29] (на Вас[илев] Майдан, Березовку, Пузу). Ясный день, признаки весны. Бугры уже кой-где обнажились, на реке (Алатыре) лед сильно потрескался; лошадь, сойдя несколько в сторону от дороги, тотчас же проваливается по брюхо... Дороги скоро попортятся... Починки красиво расположены на возвышенности над р[екой] Рудней. При въезде — громадные желтые здания б[ывшего] конского завода. Теперь здесь только случной пункт, большая часть зданий стоят пустые, солдатская слободка, где прежде жили конюхи, теперь доставляет громадный контингент нахлебников бесплатн[ой] столовой, открытой в Починках на ср[едства] благотворит[ельного] комитета.

Громадная базарная площадь. На площади дов[ольно] красивое здание собора, испорченное соседством неуклюжей, но зато далеко видной колокольни. П[етр] Ан[дрианович] говорит, что это починковцы хотели выстроить у себя колок[ольню], равную Ив[ану] Велик[ому], да не дотянули 4 саж[ени]. По-моему, не дотянули больше, но все же махина получилась значительная.

Были в столовой. Скромная вывеска с надписью «бесплатная столовая». Дверь в нижнем помещении открыта; по двум-трем ступенькам спускаемся непосредственно в столовую. Низко, неприглядно, грязновато; впрочем, не хуже, а пожалуй и лучше, чем в Лукоянове, п[отому] что просторнее. И это-то помещение найти было трудно. У дверей толпятся старики, старухи, дети. Это еще не попавшие или и не имеющие надежды попасть в столовую. Подслепая девка, сгорбленный странник с большой бородой привычным оком оценивает возможность поживиться здесь на свою долю, простодушно-грустные лица детей, особенно трогающие своим бесхитростным выражением. Они-то ничего не

знают и ничего не рассчитывают, они просто смотрят на сидящих за столом широко открытыми глазами.

Столы расставлены близко друг к другу, народ сидит тесно. Каждый вновь входящий отдает ярлык, на нем отмечают нынешнее число (зачеркивая его) и выдают 1½ ф. хлеба. Варево разносят в чашках. Кое-кто просит только хлеба, какие-то старушки подают кувшины, куда им наливают похлебку; вот не старая еще крестьянка торопит раздающих. Она пришла с ярлыком, выданным на имя старика отца. Он помирает, «не чаю и застать в живых», а умрет, — уже нельзя будет получить на него. А в этот день его право на паек еще не утрачено... Среди столовой мелькает дамская шапочка. Это заведующая, инициаторка дела г-жа Ек[атерина] Ник[олаевна] Струговщикова. Она любезно сообщает мне сведения о своем учреждении. Это первая еще столовая в уезде, если не считать удельных. История беспл[атных] столовых в Лук[ояновском] у[езде] очень интересна...[30] Отношение Лук[ояновского] попечительства к делу столовых с полной ясностию выступает в следующем постановлении. Г[-н] Струговщиков, сообщая 18 февраля о ходе дела в Лук[ояновской] столовой, предлагает открыть такие же столовые в других нуждающихся пунктах уезда. Г[-жа] Струговщикова готова была бы взять на себя расширение этого дела; но Попечительство смотрит на дело очень оригинально. Вот дословно его решение: «Попечительство, принимая во внимание, что принятие предложения А. А. Стр[уговщикова] вызовет необходимость повсеместного открытия столовых, а невозможность открыть их везде вызовет неудовольствие населения и нарекания против лиц, заведующих продовольственным делом в уезде, постановило: предложение А. А. Струговщикова отклонить, а при открытии столовых (т. е. при неоткрытии их — нужно было бы сказать) руководиться постановлением от 7 февраля и нынешнего числа». К сожалению, в журнале засед[ания] Продов[ольственной] комиссии от 7 февраля я ничего по этому предмету не нашел. Думаю, однако, что из всей истории совершенно ясен вывод: так

как нельзя открыть столовых всюду, то не открывать (по-возможности) нигде. Столовая в Лукоянове — уступка. Хорошо и это. Открыта она на 250 человек, при смете в 6 коп. на человека. Г-жа С[труговщико]ва теперь уже приняла 280 человек, не выходя из общей сметной суммы. Думает довести до 300.

По приглаш[ению] Ек[атерины] Н[иколаевны] был у нее, чтобы посмотреть списки нуждающихся и протоколы комиссии. Оказалось однако, что к тому времени вернулся А. А. Струг[овщиков] (ездивший встречать губ[ернатора], который однако в пред[елы] Лукоян[овского] у[езда] не въезжал). А. А. Струговщиков — человек, видимо, добрый. У себя в участке он выдает ссуду гораздо обильнее, и 30 ф. на едока у него не исключение, как у Пушк[ина], а скорее общее правило (хотя надо признать, что в общем его участок далеко уступает по силе нужды той части пушкинского участка, которую я видел лично). И однако имя г-на Струговщ[икова] стоит под теми протоколами, где проектировались общие меры, резко характеризующие отношение к населению у[ездной] комиссии. Г[-н] Струговщиков раздвоился: одна рука дает «своим», другая, вместе с комиссией, отымает у всего уезда... Т[аким] образом, я видел в его лице яркий пример человека, «ходящего на два пути»... Было очевидно, что к моему появлению на починк[овском] горизонте он отнесся далеко не с такой беззаботностию, как Е[катерина] Н[иколае]вна. Она, принося бумаги, казалась мне сконфуженной, водворилась какая-то неловкость... Я не злоупотреблял любезностию хозяев...

Ходил по базару. Лубье, щепье, лопаты, рассохи, лыки, рогожи в большом изобилии. Здесь на починковском базаре встречается безлесная и почти степная полоса чуть ли не с последними лесами, синеющими на горизонте, мужик из лесной местности и мужик, покупающий на базаре оглоблю. Далее — арзамасские сапоги, башмаки, коты... Еще далее — железный ряд. Телеги с листовым железом, ведра, трубы, печки... Стучат молотки: это починковские мастера ладят деревенскую посуду. Квадратный железный брусок, аршин 2-х

длины, прилаженный к телеге, большие ножницы и молоток — вот вся мастерская... По другую сторону собора — конный ряд.

Торговля, повидимому, идет не бойко. Арзамасец жалуется: что будет дальше, а пока мало: да ныне кто и привык к сапогу, пожалуй, в лапти обуется... — Много ли работы? — спрашиваю у мастера, прилаживающего донушки к ведру за гривенник. — Посмотри вот, много ли обрезков нарезал, — говорит он, указав на землю, усеянную незначит[ельным] количеством железных обрезков. — А ведь уж и базару конец. В прежнее время — обрезков одних не отшевыряешься...

Пьяных и совсем не видал. Выпившие попадались изредка. Вот двое мужиков пристают к бабам: дайте полтинник. Бабы не дают: сами раньше не велели давать. Вот кучка сконфуженных мужиков; из середины несется крепчайшая ругань, совсем неудобная к передаче. Ругается один голос. Принадлежит он небольшому старику в лохматой шапке, с лохматой бородой, лохматыми усами и даже бровями. Лицо у него красивое, умное. Видно, что в обычное время это «хороший», степенный мужик, но теперь он «выпивши» и кроме того в сильной досаде. От этого он весь взлохматился, и от всей фигуры несет чем-то наивно-смешным, свойственным хмельному человеку. Это, очевидно, деревенский богач, настигший на базаре своих должников Они не то сконфужены, не то посмеиваются.

— Ты что зеваешь? — говорит один из них. — Вишь вот, господин слушает. Он те за этакую скверность знаешь куда приделит...

Старик поворачивается ко мне, и на его возбужд[енном] лице проступает конфуз.

— Я, господин, законно ругаюсь...

— Законно! — возражают слушатели. — Нешто по закону можно этаки слова загибать. Вишь ты как забрал.

— Законно, господин, ругаемся мы... Они вот не плотются... Это как? Да я бы и лошадь-то со двора не спустил, кабы знал твою совесть. От-давай мне...

— Да ведь нету, чудак. Отколь взять?.. Мы вот, вишь,

сами не получили за рыбу-те с мужика. А он, вишь, не расторговался. Так круговая и идет, господин. Что станешь делать?

— Отдайте мне... — ершится старик. — Вы меня беспокойным изделали. Огорчамся мы, вот что...

Я отхожу далее, и по мере того как удаляюсь, голос старика крепнет, и в воздухе висит «законная» ругань. Очевидно, он не может сладить с «огорчением» и отводит душу.

— Купите вот рассохи[31], господин. — Мужик поворачивает две тяжелые рассохи. — Видите, без затесу. Что ж не берете?

— Да мне не надо.

— Не покупаете. А я думал...

— Базар они смотрют. Давно, видим мы, ходют. Эх, господин, базар ноне... Вы бы вот в прежни-те годы посмотрели. Пьяных одних... хлебушко-то был, — взыграет народ, глядеть любо. А ноне присмирели...

— Ноне што! Вот разве в конном ряду: продаст ли, купит ли, — полбутылочки с барышника выторгует. А то и пить не с чего...

Действительно, в конном ряду есть лошади, в хлебном есть хлеб...

Часа в четыре мы выезжаем из Починок. Базар поредел, едем тише, — «обгону много» на дороге. Наша пристяжка то и дело вязнет в глубоком снегу... Пьяных и здесь я не видел, песни ни одной, возы возвращаются с базара налегке. Видно, что народ больше продает, чем покупает... Вот на дороге остановка: распряженные сани с незначит[ельной] кладью, на санях сидит мужик, на снегу лежит лошадь, положив, как собака, голову на передние ноги, и по временам тяжело вздыхает... Возы осторожно объезжают постигнутого бедой мужика, лошади пугливо жмутся и, объехав, подхватывают сразу, убегая от зрелища понятной и для них невзгоды...

Отъехав немного, я оборачиваюсь: неуклюжая колокольня еще видна над снегами, по дорогам тянутся черными точками возы разъезжающегося базара... В лицо дует холодеющий ветер. Очевидно, к ночи еще

будет мороз... Две-три ночи теплых — и эти дороги станут непроезжими, и тогда... Трудно уже будет доставлять хлеб туда, куда — по ошибке ли, по принципу ли, вольно или невольно — не успеют доставить его раньше...

Большая Пуза, Березовка, Непокорное, Василев Майдан... Вечерняя заря угасает за синеющими и подмерзающими снегами. Ветряные мельницы стоят, рисуясь на золоте заката, не шелохнув крылами, точно в самом деле мертвые великаны. Ямщик развлекает нас рассказом о том, как ныне дешево можно бы жениться: за которую невесту прежде брали 50 рублей кладки, ту ныне за 20 отдают, только бери. Дешевы девки-те стали, кормить трудно... Подумывал было и сам, не женить ли сына.

— Так что же?

— Возьмешь, потом по миру пускать не хочется. Первый-те год лелеем мы их все-таки, нехорошо.

Да, вот комментарии к «обилию свадеб». Кажется, однако, что и это обилие — такая же утка господ, «хорошо знающих народную жизнь», как и усиление пьянства, как и хорошая торговля...

Нет, кажется, людей более тенденциозных, чем эти господа, «близко знающие народную жизнь», с их отупелыми нервами, притерпевшимися к зрелищу нужды и страданий... Как ни сложна жизнь толпы, жизнь целого края, как ни полна противуречий житейская суматоха, — нужно однако намеренно закрывать глаза и уши, чтобы не видеть и не слышать, как властно среди этой разноголосицы выделяется унылая нота народной невзгоды и бедствия...

6 марта. В 3 часа дня уехал в Лукоянов. Приехав, узнал, что в моем бывшем № остановились 2 господина «по продов[ольственной] части». Вместе с этим узнал также в городе, что здесь объявлена война Нижнему, и что я, т[аким] образом, очутился в положении посланника чужой державы в стране, объявившей военные действия. Лукояновская уездная продов[ольственная] ком[иссия] во всем составе выступила против

нижегор[одского] Благотвор[ительного] Комитета, и Лукояновский уезд готов отложиться от метрополии. К счастию, у меня есть если не союзники, то по кр[айней] мере товарищи по несчастию. «Члены по продов[ольственной] части» оказались братья Гучковы [32], и т[аким] образом если Лукояновская держава, подобно державе турецкой, заключит нас, бедных посланников Благотв[орительного] комитета, в Семибашенный замок, — я буду в хорошей компании. И то утешительно!

А говорят, война не на шутку. Лукоянов объявил, что столовые вредны. В нижегор[одском] Комитете такой взгляд признан чуть ли не антиправительственным и обструкционный образ действий лукояновской комиссии — преступным [33]. И грянул бой! А мы, бедные представители столового принципа, — изолированы и одиноки во враждебном лагере!.. А я-то ехал сюда с целью побывать в продов[ольственной] комиссии, председатель коей М. А. Философов [34] объявил громогласно, что не пустит меня даже на границу уезда. Впрочем, я все-таки иду завтра брать быка за рога и выяснить положение: не пустит, чорт с ним, по крайней мере не станут после говорить, что я сам не желал иметь сведения из первых рук.

[35] 7 марта. День в высокой степ[ени] драматический. Война не только объявлена, но при нас пущены даже первые выстрелы...[36] (Сдал, м[ежду] прочим, на почту письмо зак[азное] Дуне) [37].

Однако, нарушая последовательность, записываю маленький случай (относ[ящийся] к 8 марта). Мы идем с А. И. Гучковым по Лукоянову. Среди мокрых снежных сугробов в сумерках видны две женские фигуры: одна говорит что-то жалобно, слегка нараспев и утирает глаза. Когда мы подошли, женщины расстались, и одна пошла впереди нас.

— О чем, тетка, плачешь? — спрашиваю я. Она бормочет что-то и ускоряет шаги. Видимо она ничего не ждет от нас, но меня задело что-то в ее голосе и во всей фигуре. — О чем? — настойчиво спрашиваю я.

— Голодом сидим вот, ссуду прошу, еще не полу-

чили. А девчонка-те из дому согнала. Ступай, мама, добейся хлебца. А я отколь добьюсь. Вот у Чиркуновых подали кусочек, только всего и добилась.

Расспрашиваем. Оказывается: семья крестьян (Марья Сироткова в бревенном ряду у Митрия Нопунова), муж убогой, сама да дочь (трое). Получают ссуды 28 ф. в 2 недели (по 28 ф. на едока, на двух едоков). Не хватает.

Я уж мужика-те ругаю: иди, что ты нам не принес. А он говорит: как принесешь, не подают вовсе: сказывают, ссуду получаешь. А ссуды-те не хватает. По два дня не евши. Девочка-те гонит: добейся, мама, добейся...

Идет и плачет.

— Господи! Живем-то как. Другие-те люди живут ведь... Дочке-те по четвертому годочку. Зарой, говорит, меня, мама, в земельку. Что ты, говорю, милая моя, нешто живых-те в земельку зарывают... Зарой, говорит. И то, кабы такая вера, легла бы и с девочкой-те в землю, право, легла бы...

Опять плачет.

Я вспоминаю свою девочку по «четвертому годочку», и у меня сжимается сердце. Мы с Гучковым даем ей денег, и я записываю фамилию... Но она и после получения долго плачет. Видно, слезы сами текут, не удержать — при мысли об этой жизни, от которой уже четырехлетняя девочка просится «в земельку»...

Это уже шестой день, как она съела ссуду [38].

Возвращаюсь к описанию «инцидента». Утром в 10 ч. я вместе с Гучковым и Штевеном [39] отправился на «конспиративную квартиру». Так шутя называют земские начальники нанятую на их общие средства квартиру в небольшом дер[евянном] доме, который весь занимается ими во время съездов. Название, по данному времени и обстоятельствам, пожалуй, довольно подходящее: здесь именно придумываются и пускаются в ход военные хитрости, которыми Лукоянов удивляет ныне Нижегор[одскую] продов[ольственную] комиссию. — Философова еще не было. Бедняга Костин, временный начальник несчастного 1-го участка, в котором земские начальники сменялись не менее

8 раз в 1½ года, принял нас с радушным видом, насколько позволяла ему его болезнь и его положение: получив во врем[енное] заведывание ужасно запущенный 1-й участок, из которого лукояновская воинствующая комиссия успела выбить мелкой шрапнелью придирок и волокиты з[емского] нач[альника] Бобоедова [40], — Костин очутился сразу как в лесу: дела не сданы, списки не обновлены, а тут вдобавок губернатором сразу направлены в Лукоянов десятки тысяч пудов хлеба, которые нужно принять и за которые нужно расплатиться. Затем, кроме всего этого, ничего не знающий и невинный, как младенец, старичок очутился в центре воинствующей комиссии, слушает гул выстрелов, подписывает воинств[енные] протоколы, не зная хорошенько, в чем дело. Человек добрый, умный и деловитый, — он однако совершенно растерялся и все тоскует о своем участке, где у него все налажено и все остановилось. Мужикам надо выдавать свидетельства, отпускать волгарей на промысел, а тут... Наконец у него сделалась инфлюэнца!..

Костин по моей просьбе представил меня Пушкину. Племянник знаменитого поэта, среднего роста господин с очень красивой, совершенно седой головой и молодым еще лицом, — это один из заметных воинов и гроза своего участка. Мужики его не терпят, — он платит взаимностью. Впрочем, вернее было бы начать с чувств г-на земского начальника: это какое-то аристократически-брезгливое отношение, полное того холодного презрения, которое не оставляет никакой надежды и заставляет верить рассказам о том, что он не подпускает к себе мужика «на ружейный выстрел», как говорил мне один обыватель. Он поздоровался со мной холодно, и на его покрасневшем лице, обрамленном сединой волос и бороды, ясно проступило напряженное неудовольствие. Узнав о намерении моем открыть столовые в Елфимове и Пичингушах, он сказал, что оба села действит[ельно] нуждаются. Впрочем, впоследствии он как бы взял назад это мнение относит[ельно] Елфимова, сказав полк[овнику] Рут[ницко]му [41], что елфимовцы — плотники и имеют работу. Где и какую

и сколько человек, осталось неизвестным. Он прибавил еще название деревень: Пралевки и Логиновки, как терпящих нужду. «До сих пор, — говорил он, — я выдавал по 15 ф. на едока... Претензий не было, — добавил он, глядя куда-то в пространство. — Теперь, кажется, придется прибавить...» Я посмотрел на это породистое лицо и холодный взгляд, и мне вспомнились возбужденные, взволнованные, огорченные и злобные лица мужиков, тесно сплотившихся в «конторе» Пичингуш и засыпавших меня жалобами на этого красивого господина. «Что мы, под турецкого салтана, что ли, отданы?.. Меня удивило сообщение о 15 фунтах на едока. Мужики все говорили «получаю 1½ п. на 3-х, 2 пуда на четырех» и т. д. Я считал, что они получают по 20 ф., но не на всех едоков, даже исключая рабочий возраст. Оказывается, что г-н Пушкин выдает по 15 ф., но за то... на всех, в то время как в других местах выдается уже по 40. И это в селах, которые сам он признал нуждающимися!

В «конспиративной квартире» был еще: председатель з[емской]управы Александр Васильевич Приклонский, худощавый старик, с лицом сатира, с редкими усами и очень толстыми губами. Он известен своей чрезвычайной склонностью к многословию и не скрывает своей антипатии к земству, которого состоит представителем. «Надо так любить мужичка, как я его люблю, — говорил он мне, закинув голову назад и закрыв глаза... — Но я люблю его своеобразно». Он пространно изложил мне характер этой любви, вся «своеобразность» которой исчерпывалась, впрочем, весьма известными чертами «любви» крепостного идеального помещика к своим «детям-рабам». «Опека, опека и опека-с. Любовь, но и страх». Мы знаем эти идеалы и знаем также, каково их отражение на практике. В большом количестве, признаюсь откровенно, даже и идеал показался мне невыносимым, а что касается практики... * Впрочем, речь пока не о том...

---

* Пресняков—скупщик овса для А. В. Прикл[онского]. Получал деньги с управы, лакей Приклонского наблюдал, чтобы не улизнул. На деньгах метки. (*Прим. В. К.*)

Затем в «конспират[ивной] кварт[ире]» был еще з[емский] нач[альник] Бестужев, молодой человек, почти мальчик на вид. Может быть, именно по молодости лет (юности свойственно увлечение) г-н Бестужев зашел в борьбе с «кормящими» слишком далеко и, говорят, получил из губернии очень резкое письмо, где была фраза: «вы являетесь т[аким] образом палачом...» Письмо было рассчитано на то, что г. Б[естужев] после этого выйдет в отставку. Но он остался. Это — полный и веселый господин, очень подвижной и повидимому беззаботный [42].

Остальные еще не съехались. Председателя М. А. Философова еще не было. Во время разговора с председателем подъехал А. А. Струговщиков. Я уже говорил о нем: человек добрый по натуре, он недурной земск[ий] начальник для своего участка и у себя выдает уже по 40 ф., а полная ссуда у него вовсе не редкость. Но вместе с тем он стоит за все меры воинствующей комиссии по всему уезду. Меня при этом удивляло след[ующее] обстоятельство: когда в разговоре приходилось упоминать о каком ниб[удь] факте нужды или несоответствии помощи с нуждою, то всякий раз слышался ответ: это не в моем участке, я могу говорить только о своем участке. А между тем каждый из этих господ, сойдясь вместе, подавал голос и вершил продовольственную судьбу «уезда». Казалось бы, решение, гласящее, что в уезде продов[ольственной] нужды уже нет, что она уже устранена, может быть принято только тогда, когда оно опирается на точное знание состояния всего уезда, и всякий подписавший такую общую формулу несет за нее ответственность. Оказывается однако, что тут каждый говорит только о своем участке, и если из 5-ти в трех окажется все-таки голод, то двое земск[их] начальников, утверждавших, что голода в у е з д е нет, сочтут себя правыми... У них в участках голода нет.

Вообще при этой системе можно сказать сов[ершенно] определенно: цифра ссуды по каждому ...[43]

8 марта утром я прежде всего обратил внимание на

сырые, отпотевшие окна. В стекла виднеется серое небо... Это показывает, что ночь была облачная и значит не было в первый еще раз ночного мороза. Плохо: вчера вечером получена телеграмма А. В. Бажéнова [44]: пожертвовано кем-то 3000 п[удов ржи для частн[ых] столовых в Лукоян[овском] у[езде]. На это можно сделать много. Филатов не берется заведывать, но мы придумали план: попечительство в Лукоянове, открываю и приискиваю заведующих я, центральное заведывание в попечительстве. Мои деньги идут на приварок. Вопрос: придет ли хлеб во-время, успеем ли смолоть и развезти в столовые? А дорога портится. Вечером опять облака, ночь темная, сыро, тепло. Мы с Гучковым собирались ехать, но еще остались. Утром приходил часов в 10 исправник. Читал телеграмму, спрашивал совета. Я посоветовал написать кратко, без излишних подробностей. Никогда не думал, что придется очутиться в таком союзе! А бедняга в самом скверном положении... «Хуже губернаторского»!

9 марта. Спал мало. Утром базар. В соседней комнате, т. е. в биллиардной, громкие разговоры за чайными столами. Небо серо. Однако, выглянув в окно, на площадь, уставленную возами, палатками, коробьями, лошадьми и, конечно, народом, — я не увидал особенной мокроти. «Придержало маленичко». Ходили по базару с Гучковым. Интереснее всего конский ряд. (NB. Рыжий мужик прикидывается сов[ершенно] пьяным). Сборщик (по 20 к. с продажной головы) говорит: «Этот вот мужичок кажный базар дурака ломает». Узнав, что мы только смотрим, мужик смеется и, действит[ельно], оказывается совершенно трезвым. «Приманиват», — говорят окружающие. — Купил? — спрашиваю я в другом месте. — Купил, — отвечает высокий парень. — Что дал? — 27! — А ты в дело говори, дурак! — обрывает его продавец. — Не знаешь человека! Ему, может, по каким делам нужно, а ты... — Да я думал, может, купит... — То-то — глупая голова. С парой двадцать, господин, с парой двадцать... У рядов с красным товаром народ. Покупки: на 4 коп., на два семишника,

когда на полтину и т. д. Один торговец говорит: торгуем хорошо; большинство: «сами видите, плохо». Один: «Народу не мало, выручка пустая».

Приехали с Г[орино]вым на хут[ор] Белецкий. Вечером учитель Струг[овщиковы]х, Конст[антин] Ив[анович] приезжал предлагать свои услуги по ч[асти] столовых.

10 марта. Выпал снежок. «Внучек за дедушкой пришел». Из окна моего (на Белецком) виден сад с молодыми деревцами, доверху засыпанными снегом. Вдали — лес, затянутый мглою. Видно, что весна делает свое дело: снег сседается и тяжелеет, воздух всасывает в себя влагу, напитывается мглой, даль курится туманом...

Ездили в Елф[имово] и в Пичингуши. В Елфимове у старика (бывш[его] раск[ольника]) Михаила Дементьева Ершова обеспечили помещение и отпуск (пока в долг) — 30 п[удов] хлеба, до конца распутицы. Завтра открываем столовую. Все в порядке. Не то в Пичинг[ушах]. Во 1-х, Бундин отказался стряпать без жал[ования]. Взялась одноглазая старуха да еще две келейницы, из запис[анных] в столовую. Они очистили и протопили избу. Стряпать будут «по наряду», сколько у кого едоков, столько дней по очереди. Много разговоров, между прочим, получив припасы и весы — приходят еще: нет чугунов (очевидно, надеялись получить еще чугуны). Мы сказали, что тогда не будет и столовой. М[ежду] попом и паствой отношения не замечат[ельные]. Священник жалуется: народ неблагод[арный]. Думаете, станут они молиться за государя и за доброхотных дателей... Едва ли... Между тем сам Христос сказал: а девять где, отчего не пришли поблагодарить... «Помышляете ли о покаянии-то?» — спрашивал он старуху. «Думаем, да какая наша сила-то?» — отвечает мордовка.

NB. Батюшка, кажется, хочет оттереть раскольников.

ПОЛЯ (НИЖЕГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ)

11 марта. «Рушится дорога», — говорили вчера. Сегодня однако опять придержало. Серый, холодный день. Над снежной чертой горизонта подымаются странные облака, точно дым от пожара. Вероятно, будет метель.

В 12 часов мы отправились открывать столовую в Елфимове. Хозяйка столовой — старуха, вдова писаря. У нее сын, субъект довольно интересный. По деревне его называют «студентом». Натура талантливая, чего-то, повид[имому], ищущая, — он изучил много ремесл, в том числе стал хорошим печником, но живет очень бедно. Стремясь к знанию и к интеллигентности, он вынужден был, конечно, ограничиться верхушками и красными словцами, удивляющими деревню. — Это вы, батюшка, рассуждаете субъективно, а ежели теперича взять априори... — такие фразы не редкость, по слов[ам] свящ[енника], слышать от него, в особ[енности] когда выпьет. Этот-то студент развешивает хлеб и будет вести записи по столовой.

NB. Интересная история его женитьбы. Он был любимец прежн[его] священника Мишки, так как дерев[енский] интеллигент как-никак тяготеет все-таки к церковному обиходу. Влюбился он в дочь богатого мужика, который и слышать не хотел о талантливом голыше. Девушка м[ежду] тем отвечала студенту взаимностью. И вот однажды, одевшись понаряднее, она пришла в церковь. Причетник, участвов[авший[в заговоре, провел ее на колокольню. Отправили обедню, народ вышел, тогда девушку свели с колокольни, ввели в церковь, двери заперли и стали венчать. Обряд прошел под шум и крики родных и публики, глядевшей и стучавшей в окна. Двери наконец открыли, народ хлынул в церковь, но молодых уже в третий раз обводили вокруг аналоя. «Самокрутка» была кончена. Теперь родители уже простили (предварит[ельно] постегав обоих). Я видел сегодня эту жену студента: красивая, стройная женщина, во всей фигуре которой видны, несмотря на бедную обстановку, черты деревенской аристократки, из «хорошей» семьи.

Отслужили молебен, причем я познакомился с о[т-

цом] диаконом, беспокойным человеком, доставляющим много хлопот молодому священнику своим поведением. Диакон, видимо, щеголял своим басом, дьячок подпевал глухим и сиплым, разбитым голосом. Старые, истрепанные и чрезвычайно грязные ризы не свидетельствовали об особенной склонности прихожан к благолепию церковного служения.

После молебна развесили хлеб и сделали перекличку. Явились лишние. Между прочим одна девочка лет 12, не значившаяся в списке, села из первых за стол и принялась очень усердно есть. Когда стали говорить, что она села не по праву, она будто не слышала и продолжала есть; казалось, ничто в мире не могло бы оторвать ее от этого занятия.

— Дни два не ела она, сиротка... — говорили в толпе. Это, конечно, указало нам на то, что наш список — далеко не совершенство. Ввиду этого мы не потревожили бедную девочку и записали ее на место одного из Болдовых, получивших ссуду. Еще обратил на себя внимание мальчик, который, усевшись к чашке раньше других, ел с какой-то сосредоточенностью и встал последним. Красивый мальчишка, не записанный в списки, долго смотрел печальными, наивными глазами на все происходившее. Я отрезал ему горбушку. Он тотчас же спрятал ее в карман полушубка и пошел к выходу. — Постой, нальем тебе похлебки! — сказали ему. Но он не остановился.

— Илюшка еще у нас, — ответил он серьезно, унося небольшой кусок хлеба [45].

Сердце сжимается, когда видишь, какая это капля в море народной беды, эта наша столовая, сколько этих печальных глаз будет еще смотреть на наших счастливцев-нахлебников. Вот баба привела сынишку. По всем расчетам видно, что ей нельзя пристроить парня; двое мужиков из семьи — на работе, на остальных получает, правда, по 20 ф., кроме одного члена семьи. Но здесь есть много более нуждающихся, и ей приходится отказать даже в надежде. Вот старуха все падает к ногам. Ей 63 года. Живет у зятя,

которого взяла в дом. Зять — человек не совсем путный и притом нелюбим миром. На старуху не получает ничего, и, конечно, старухе, уже не работнице — приходится плохо. К счастию, оказывается, что одна семья, записанная у нас в количестве 4 членов, — получила по 20 ф. на едока, и мы исключаем троих. Старуха т[аким] обр[азом] попала к нам.

Вот еще женщина привела двух мальчиков. Записан один, она почему-то сажает меньшего. Старший стоит и плачет... А сделать ничего нельзя: чтобы устранить эти случаи, осушить эти слезы, нужно бы все имеющиеся в моем распоряжении деньги употребить на одно или на два села...

Завтра не могу лично открыть столовую в Пичингушах. Здесь и то возни было не мало: боюсь, что в мордовском селении будет еще больше... Между тем, надо торопиться, пока не застигла распутица, и завтрашний день назначен на посещение Васильева Майдана.

12-е. Напрасно ждал писем. Посланные приехали,— мне ничего. Какое-то беспокойство и тоска; на дворе метель. Еду в Василев Майдан. — Открыта столовая в Пич[ингушах] (откр[ывал] Пав[ел] Ив[анович]).

Был в Вас[илевом] Майдане. Результат неопределенный. Священник (очень симпатичный высокий старик с голубыми глазами) и Конст[антин] Ив[анович] Аргентов уже составили было список, но оказалось, что уже неск[олько] человек записанных отказались, боясь, что их лишат ссуды. Вообще ссудой здесь дорожат, и здесь в особенности ясно сказалась справедливость формулы С. А. Давыдовой [46]: в Лук[ояновском] уезде голодают не столько от неурожая, сколько от земск[их] начальников. Батюшка нарисовал мне картину бедности майданцев очень яркими красками. Первая причина — старинная тяжба. Майданцы не согласились на добров[ольный] выкуп, а затем при размежевании, во 1-х, помещик будто бы снял лес, а пеньки ввел в надельную площадь, и, во 2-х, еще постарались землемеры. Как бы то ни было, крестьяне

сочли себя обмеренными на 200 или 300 дес[ятин] и не захотели платить податей и пахать землю.

NB. (Опять круговая порука: меньшинство соглашалось платить, но когда неск[олько] раз у зажиточных плательщиков арестовали имущество за неплативших, то и они увидели, что уж лучше совсем не платить.) Так[им] образом на Василевцах накопилось 17 тыс., которые были прощены в коронацию. После они все-таки не платили, но недавно стали все-таки пахать землю, все-таки не платя. Затем село недавно уничтожил страшный пожар. В жару ветер метался какой-то своенравный то в одну сторону, то в другую, а затем от огня уже поднялась тяга вдоль улиц. Выгорело все, а люди выбежали в поле и только смотрели, т[ак] как приступиться было невозможно. Все это расшатало и раззорило василевцев[47]. И однако едва ли придется открыть здесь столовую. Дело в том, что земский нач[альник] Порф[ирий] Гавр[илович] Бобоедов, во 1-х, начал выдавать еще в ноябре (по 6—7 ф.), затем на дек[абрь] выдал по 30 ф., не исключая и рабочих, и списки составил довольно щедро. Его обвиняли даже в излишней щедрости, но это уже дело «лукояновских» взглядов. Я спрашивал свящ[енника] и мужика, который, повидимому, давал дов[ольно] откров[енные] показания: — А есть такие, которые получают неправ[ильно]? — Есть, — говорит мужик. — Ну-ка, давай считать. Оба они насчитали 12 дворов. Допуская, что наберется еще 3—4, получим дворов 15—16. Ценой этой передачи село все-таки не доведено до окончат[ельного] голода. (Боб[оедов] два раза лично проверил списки и посадил старосту под арест). Теперь для меня выяснилось след[ующее] положение: село несомненно сильно подорвано экономически, но такой острой и вопиющей голодн[ой] нужды, «действительно граничащей с голодом», по выражению одного из списков в уч[астке] Пушкина (а по-моему, давно перешедшей эту границу), — все-таки, как кажется, нет: она устранена ссудой. Все келейницы и безнадельные получают по 30 ф., а в Елфимове мы исключали из списков даже таких, кото-

рые получают 20 ф. Общая сумма хлеба, имеющегося теперь в Вас[илевом Майдане], гораздо больше тех сел, где я открыл столовые. Интересны все-таки колебания: в декабре по 30 ф. I разр[яд] и по 15 на раб[очего]. В январе..... в феврале I разряд уже получил по 18 ф., II разр[яд] — по 9. На март выдали уже по 15 ф., но ждут еще по 15. Не получает ссуду всего 5 дворов.

NB. Свящ[енник] говорил, что браков в его благочинии (до янв[аря] нын[ешнего] года по спискам, с янв[аря] по глазомеру) — меньше прошлогоднего.

NB. Исправник дал 100 р. Разделили по едокам, вышло по 7 к. на душу. О милостыне: если бы подавать всем, надо бы по 3 п. в день. А все-таки всякий хоз[яин] старается (у кого есть) подать 2 куска в день (слова василевской попадьи).

13 марта. П. А. Горинов ездил в Елф[имово] составлять доп[олнительный] список. Теперь 60 человек, и потому переводятся во вторую столовую. Вчера приехали Филатовы и привезли 6 писем сразу. Сегодня утр[ом] Филатовы уехали, пришли воза с хлебом. Я рассчитывал возчиков.. Вечером приехал Ал. Ив. Гучков из Железновск[ого] участка. Много интересного рассказывал. М[ежду] прочим, говорил, что лук[ояновская] комиссия составила журнальное постановление, относящееся до меня: во 1-х, просить губернатора извещать их заранее о присылке таких лиц, во 2-х, мне ставится в вину, что я предварительно не представился Пушкину. Это постановление от меня было скрыто и, надо думать, происходило в ту минуту, когда я видел Философова и неск[олько] земских нач[альников] за горячей беседой в отд[ельной] комнатке [48]. Конспираторы! Что ж, это развязывает мне руки. Без сомнения, мне все равно пришлось бы их огорчить своими отзывами, так по кр[айней] мере теперь не скажут, что я им так заплатил за любезность и что не был с ними откровенен. Конспирация за конспирацию.

14 марта. Утром с Гучковым в Лукоянов. Коля [49] и Ник[олай] Михайлович [50]. Познакомился с Ленивц[евым] [51], Жедринским [52].

15 марта. Утром письмо Дуне [53]. В 11 ч. в Салдаманов Майдан (где были в это вр[емя] Косткин и Лебедев) [54]. Шандрово и Салдаманово сильно нуждаются. Салд[аманов] Майдан — меньше. Свящ[енник] Василий Александрович Рувимов расск[азал] о мужике, ослабшем от голода до того, что совсем не мог работать. Два нищих мальчика чисто одеты, безмолвно крестятся на иконы, на лаптях к подошве привязаны «колодки»; «ноги-то за день наломают, да зато лаптям носки меньше, и не мокро» [55].

16 марта. Ясное утро глядит в окна. Снег, голые деревья. Хуторские постройки с высокими крышами. Когда я глядел в окно, мимо, опираясь на длинную палку, прошел нищий. Я выхожу в сени и натыкаюсь прежде всего на какую-то жалкую старуху. Сбирала, получила кусок хлеба, но еще хочет попросить чистую тряпочку. У девочки заболели глаза («дрянь идет»), надо примачивать, а чистого ничего нету. Нищий уже стоит у входа. Замечательно типичная и красивая фигура «лесовика». Такими рисуют древних славян. Прямые простодушные черты, голубые глаза, длинные прямые волосы, подстриженные на лбу и обрамляющие лицо рамкой.

— Ты что тут стоишь?

— Да, вишь, брат сбирал, а я дрова рубил вот.

— А ты не сбирал?

— И сбирал, слышь (он тянет посл[едний] слог слы-ышь).

— А как тебя зовут?

— Меня-то?

— Да, тебя.

— Павлом.

— А еще?

— Еще-то?

— Да, по отцу.

— По отцу-то?
— Да.
— Меня, что ли?
— Да, да!
— Родичкой.
— Откуда?
— Микольский.
— Что ж вы ссуду не получаете?
— Ссуду-те?

Его голубые глаза глядят с какой-то тяжелой скорбью. Не то о ссуде, не то от тяжел[ой] работы мысли, будто в голове у него ворочаются жернова.

— Ссуду-те?.. Не получа-е-ем.
— Отчего?
— Дьячков сын списал.
— Как так?
— Та-ак. Отец-то его бает моему отцю-то будто-о: дай жалование, а мой-те говорит: откуль взять? А не откуль, мол, взять, так и нет тебе ссуды. И не да-ал.

Помолчав: — А ноне, слышь, книги вешали?

— Это зачем?

— Так, вешали. И нас, слышь, розыска-али [56]. И, слышь, дали не то ль за нонешний месяц, и за прежни-ий.

— Твоей семье?

— Да-а (выражение глаз так же скорбно), моей будто, парень сказывал, да не врет ли. Добегу узна-аю.

Ездили составлять списки в Шутилово [57] и Бутское. В Шутилове (версты 4 от хутора) 3 общества. Священника не застали. В волостном правлении встретил нас писарь, субъект отекший и заспанный, в узком летнем пиджаке, котор[ый] он то и дело застегивает, из приличия, на верхнюю пуговицу, тогда как нижние пуговицы жилета отсутствуют. Он сначала как будто несколько испугался, все наклонялся ко мне, дыша мне в лицо для большей вразумительности сообщаемых сведений. При этом он с тревогой и дов[ольно] бесцеремонно заглядывал все в мою тетрадь, где я делал выписки из его списков. Потом ушел к себе и уже

не выходил до самого конца. Кажется, спал и, быть может, видел неприятные сны, п[отому] что под конец застегивал свой пиджак с видом не особенно приветливым.

Здесь общее впечатление опять другое, чем в прежде виденных местах. Между прочим заметил значит[ельное] колебание в цифре ссуд. В феврале почему-то сразу сбавка: 1-й разр[яд] получил 20 ф., 2-й — 10. Отчего? Кажется, нельзя подыскать другого объяснения, кроме чисто, т[ак] сказать, политического. В это время Лукоян[овский] уезд объявлял войну и надеялся победить. Уменьшение ссуды явилось у экспансивного Бестужева выражением этой надежды, — своего рода реквизиция. Теперь — дело другое. Еще в марте очень плохо, но уже на апрель много отметок, сделанных карандашом: с апреля по 1-му разряду.

Далее: здесь, как и у Пушкина, каждый рабочий, нанявшийся на каз[енные] работы, тотчас же и этим самым лишает в своей семье ссуды одного, а иногда двух человек, — дескать, прокормится сам и прокормит еще одного едока. Но об этих работах, судя по тому, что я видел, составляется самое мрачное представление. В лесу, засыпанном в нынешнюю зиму необычайно глубоким снегом, люди таскают, проваливаясь выше пояса, бревна на себе. Заработок, говорили они, коп[еек] 20—15 в день. На это не прокормишься при тяжелой работе и сам, а тут оказывается, что наймом на работу обездолили еще и семью. «Убился на каз[енной] работе в лесу, хворает», — эту фразу слышишь то и дело, и даже земский начальник признал в нескольких таких случаях необходимым внести в список членов семьи рабочего возраста, «убившихся на работе».

Затем сильные жалобы мельников, за которых всюду и единогласно заступаются миряне. Логически совершенно ясно, что мельничный промысел в неурожайный год должен был упасть и что, значит, владельцев мельницы не следовало бы абсолютно исключать из ссуды. Между тем здесь это общее правило, и вот иллюстрация положения этих несчастных «за-

водчиков», как их иронически называют крестьяне. На краю с. Шутилова стоит одна из таких мельниц. С изломанными крыльями и провалившейся, исковерканной крышей, она сразу кидается в глаза своим явно убогим видом. Владели ею 4 «заводчиков», и одна четвертая часть принадлежала Николаю Игнашину, человеку с большой семьей. И ранее уже он, видимо, находился не в блест[ящем] положении. Это ясно из того, что даже вчетвером эти «заводчики» не могли изладить свой завод, и он уже давно стоит без действия. И однако эта никуда не годная махина, портящая ландшафт своим изуродованным силуэтом, лишила своего владельца права на ссуду. 8 человек остались т[аким] образом без помощи, которою, как-никак, все-таки поддерживались другие. Легко представить себе, что происходило в этой несчастной семье целые месяцы, но вот один только эпизод, подтвержденный мне из нескольких источников. Трехлетний мальчик все просил есть, матери нечего было дать ему. «Сами-те бьются, бьются, отколь достать? Так голодом и сидели. А ребенок, известно, не может понимать». Истомленный голодом, он кинулся к матери и искусал ей плечо... Думаю, что прибавлять тут нечего...

Вообще, сколько тут неописуемого горя — в этих избах, мимо которых мы проезжаем со своей ничтожной помощью, — это трудно представить себе даже в то время, когда опрашиваешь одних крестьян. Факт, только что приведенный, напоминающий сцену дантовского ада, здесь сообщается крестьянами как нечто заурядное. Там трехлетняя девочка просит зарыть ее в земельку, и мать понимает, что это совершенно правильно, только «не дозволяет вера». В другом месте другая мать, доведенная до исступления неустанным криком трехлетней девочки, кинула ее с печки. Девочка сильно ушиблась, но отдышалась. «Да ведь могла вовсе убиться», — говорят ей (она сама рассказывает это). — «Так что? Один конец. С голоду-то разве легче околевать?» Первое побуждение, когда слышишь эти факты, — писать, кричать, телегра-

фировать: «В селе Шутилове мальчик искусал с голода мать». Но тотчас же кинешь взгляд кругом и чувствуешь, сколько в этой телеграмме будет лжи и фальши. Да разве это в одном Шутилове и один мальчик? Да разве одна мать истекает теперь слезами и кровью? Как просто, как удивительно тупо передаются эти факты! Как были бы удивлены эти люди, если бы по телеграмме наехали к искусанной матери следователи, врачи, корреспонденты. Да ведь это все кругом, по всем этим затерявшимся в снегах селам и деревушкам, да ведь это — капля, пустяк, атом этого громадного народного горя, которым томится каждая избушка каждый вечер, когда на полатях плачут голодные и не могущие заснуть дети, каждое утро, когда они просыпаются... Вон из моего окна видны синие леса, снег, дорога. По дороге мальчишка лет 12 тащит за собой лошадь. Сам он ступает неверно, шатается, лошадь еле идет, останавливается, ноги у нее дрожат. Это он ведет ее на прокорм, на земский хутор. Управляющий входит ко мне, я оставляю на несколько минут записывать эти строки и выслушиваю историю этой лошади. Выбились, кормить нечем, издыхает животина. Отец, больной и голодный, потащился в лес собирать сучья. «Как и дотащится-то», — говорит мальчишка. А с лошадью послал мальчика, тоже ослабшего от голода. Посмотрите на лица этих мальчиков, когда они просят принять и их и скотину, спасти от голодной смерти. На губах мальчика какие-то струпья от худосочья вроде запекшейся крови. Глаза, молодые и красивые, глядят грустно и как-то тускло. Губы подергиваются какой-то нервной дрожью. Он отворачивается в сторону, чтобы вы не видали его убитости, и, кажется, вот-вот заплачет. «Изнервничался народ необычайно», — говорили мне. Но это — нервность терпеливого страдания и покорности судьбе. Хутор лежит среди снежной равнины. Узкая, то и дело проваливающаяся под ногами дорожка, по которой ездят гусем, тянется сюда по сугробам и, перерезавши двор, теряется в таких же сугробах, меж тощим кустарником, по направлению к лесу, синею-

щему на горизонте. По этим дорожкам то и дело видите вы, — чернеют одиноко и парами фигуры людей, бредущих с котомками или сумами, спотыкающихся, проваливающихся и усталых. И всякий из этих людей, — только расспросите, — расскажет вам истории, о которых стоит телеграфировать. У всякого за спиной, кроме собственной усталости и голода, есть еще грызущая тоска о близких, о детях, которые маются и плачут, и перебьются ли, пока он здесь ходит от села к селу, от экономии к экономии, — он не знает... А ведь он, — это нам уже давно стало известно, — так же любит своих детей, как и мы... И одни за другими они проходят, спрашивают «насчет работы» и идут дальше, теряясь на снежной равнине, а на смену приходят другие... И ничего в экономии не пропало, и никто не думает о том, что она обильная, снабженная хлебом, сытая, лежит беззащитно и беззаботно среди этих равнин и лесов, где на просторе раскинулось горе и отчаяние народа... Удивительно, как все эти господа, так много кричащие о пороках этого народа, не видят, что все они с излишком покрываются одной этой добродетелью — этим удивительным запасом неисчерпаемого терпения и кротости. Добродетель, которую трудно даже и оценить по неисчислимым ее удобствам для нас, сытых и обеспеченных людей... А эти господа еще играют этим свойством народа. Лукояновские вояки, как я узнал только недавно, одним из своих ходов выбрали угрозу народного бунта. Народ избаловали, строгих начальников, которые не видят в положении края ничего экстраординарного, убрали [58], от этого власть расшаталась, мужик почувствовал, что вожжи ослабли... Это положительно кощунство. Правда, трудно поручиться за полную безопасность г-на Железнова, производящего формальные следствия о просьбах насчет пособия [59]. Я не поручился бы также за неприкоснов[енность] г-на Пушкина или г-на Бестужева, расправляющегося кулаками. Но это был бы не бунт, а проявление личного, долго накопляющегося раздражения к неосторожным господам, слишком уж беззаботно на-

тягивающим струну народного долготерпения. В общем же — народ несколько удивлен оказанной ему помощью и благодарен за нее. Проявленная в тяжелый год широкая забота государства совершенно, кажется мне, устранила возможность какого-либо глубокого движения. «Продышим теперь...» Только бы продышать, только бы «добиться» до того времени, как сойдет снег, как господь опять пошлет свою милость... «Только бы как-нибудь», и они всё вынесут, никого не обвинят в своей невзгоде, всё забудут, и над свежими могилами стянется опять вечная непрерывная волна жизни... Гораздо опаснее не то, в чем видят опасность лукояновские вояки. Опасность не теперь и не от разнузданных нахалов, не признающих властей. Опасность в народном разорении. «Рушится крестьянство», эта фраза слышится теперь так часто... Рушится крестьянство, как рушится дорога, подтопленная снизу весенней ростепелью. Опасность в этих «четвертях мельниц», перешедших в кулацкие руки из-за нескольких мер хлеба, не выданного своевременно. В этих тысячах лошадей, погибших от бескормицы или тоже перешедших к богачу за бесценок; в этих договорах, заключаемых ныне с голодным народом недремлющей жадностью многих «землевладельцев». Опасность в том, что среди этого рушащегося крестьянства сразу быстро и неожиданно отложится пласт «бывшего крестьянства», ныне подорванного вконец. В прошлом году нижегородское стат[истическое] бюро закончило собирание материала... Ныне эти цифры останутся поучительным памятником недавнего прошлого. Коров столько-то... Лошадей столько-то. Безлошадных столько-то... В этих рубриках в течение последних лет происходили изменения далеко не утешительного свойства, но это были постепенные изменения; год за годом оставлял рытвинку, как след реки на отлогом берегу. Теперь два последние года, завершившиеся нынешней катастрофой, сделали настоящий обрыв, точно после наводнения... Река нар[одной] жизни опять потечет дальше, но течение уже будет не то... На нем отложатся теперь

новые мели, целые пласты сельского пролетариата, отсутствием которого так гордилась Россия. Лучше было бы совершенно не гоняться за точностию, за этими тремя мерами лебеды, за этими тремя блинами, вытаскиваемыми из печей, лучше было бы выдать вдвое больше, но сохранить государству работника и плательщика, не дать рушиться крестьянству. Тогда оно, как здоровая почва, опять напитало бы все верхние слои... А ныне сделана огромная все-таки затрата, и затрата, которую ничем уже ни прямо, ни косвенно вернуть невозможно... Этот страшный год отметит собой глубокие изменения в самой структуре нашей деревни, и вот где истинная опасность...

17 марта. Сегодня опять мы едем в деревни устраивать наши столовые, разливать эти капли среди моря нужды... День серый. Воздух, отяжелевший, напитанный парами, навис, тяжелый, над землей и всасывает влагу снегов, как губка... Ночью не было мороза, дороги еще хуже. Вчера было жалко смотреть на лошадей, с раздутыми ноздрями и выражением ужаса в глазах, бившихся в зажорах. Сегодня, конечно, будет еще труднее. Мы не успеем распределить до распутицы и того, чем располагаем. Надо торопиться. А тут какая-то тяжесть в голове, недомогание и слабость... Весна, весна! Долго буду и я помнить эту весну. День в санях или в душной избе за составлением списков. Необходимость подымать руку и вычеркивать голодных детей, потому что их слишком много.

— Может, пробьешься, будет и одного?

— Чем пробьюсь? — спрашивает мужик, глядя на меня в упор.

— Да ведь все-таки ссуда...

— По неделе ребятишки не едчи сидят, мякиной вот подавились...

А все-таки одного надо вычеркнуть, потому что их много... И я чувствую, что голова тяжелеет и нервы притупляются, и видишь, что вместе с делом помощи делаешь дело палача, потому что эта черта, проведенная по имени ребенка, заставляет его голодать и пла-

кать... А нельзя, потому что их слишком много... Мне вспоминаются мои собственные дети, и мрачные мысли приходят в голову...

Леонтий Юдин из Савослейки получал по 5 ф. кукурузы, 5 ф. ржи, ослаб, Алекс[ей] Ив[анович] Русинов, едва откормили.

Другой Перфилов — он же Моисеев — голодал, — получив хлеб, как поел, так и помер [60].

В два часа дня приехали в Петровку [61]. Небольшая деревушка под самым лесом. Остановились около старосты. Лысый мужик подбегает и снимает шапку. «Насчет чего?» — Насчет продовольствия. — Беда, бьемся! Другим-те дают, нам ничем ничего. Вот выдали кому 7 ф., кому 5... Это что такое? «Фильке-то, — смеется наш возница, — 5 фунтов дали, съел от разу, да и только...» — Да еще, ваше благор[одие], женщина у нас. Рот у нее вовсе открылся, нос провалился... Просто никуда не годится, беда с ней, что хошь делай... Дух от ней пошел, терпежу нет, лежит на печке. И не ходит никуды... Прежде на русь-те ходила (наружу?) [62], ноне никуды не ходит...

Деревня несет свои горести...

— Много ли таких? — Да вот Захар еще гнусит... — Это что. Это сроду у него, сроду гнусит будто. — Ну уж это, брат... — И то чай. Нос-те все меньше делается... Не знам, что такое... (Фельдшер сообщил, что здесь сифилис чуть не поголовно.)

«Согнали» стариков. Набилась полная изба. Прежде всего, как водится, общая жалоба насчет ссуды. Слишком много вычитают, не знаем что такое? Один, стоящий ближе, кивает многозначительно в сторону писаря. Писарь в оправдание показывает списки, в которых действит[ельно] вычет сделан со всех одинаково:

в январе вычиталось по 10 ф. с пуда,
в феврале 16½,
в марте . . . . . 6¼.

В объяснение этих действительно странных вычетов писарь, молодой еще человек с подозрит[ельным]

цветом лица и с легкой гнусавостью в произношении, достает следующий замечат[ельный] документ, писанный на клочке бумаги, но имеющий все признаки циркуляра: «Сельскому старосте (д. Петровки). Приказ. Так как за провоз ржи в осени минувшего года извозчикам платилось по зделании общества ссудным хлебом во вверенном тебе обществе оказывается растрата ржи, то чтобы пополнить растрату, Волостное Правление по личному приказанию г-на Земского Начальника предписывается тебе из выдачи ржи на продовольствие за февраль месяц вычитать с каждого причитающегося к выдаче пуда (по 16½ ф.) или взыскивать деньгами по 66 коп. Старшина Катаев. Писарь (кажется) Верхотин». В документе этом, о котором я слышал уже ранее, а теперь удостоился лицезреть воочию, написанном, как уже сказано, на клочке бумаги, — текст писан одними чернилами, а название деревни и число вычитаемых пудов вставлено после другими чернилами. Объясняют его и упоминаемую в нем «растрату» след[ующим] образом: за провоз хлеба от Лыскова крестьяне должны были платить сами. При расплате денег у крестьян не было, и возчиков рассчитали хлебом, поставив его в 1 р. 20 к. с пуда. Т[аким] обр[азом] за 30 коп. провозной платы приходилось платить 10 фунтов. Казалось бы, что этим следовало ограничиться. Общая сумма ссуды т[аким] обр[азом] уменьшилась очень сильно, и это следовало принять в соображение. Но все-таки и после этого неимущий не может прокормиться 10 фунтами; между тем г. земский нач[альник] пополнял «растрату» с одной стороны и сокращал вместе с уездн[ым] продов[ольственным] ком[итетом] общую цифру. Как, однако, набежало еще 16½ ф., этого я совсем не понимаю.

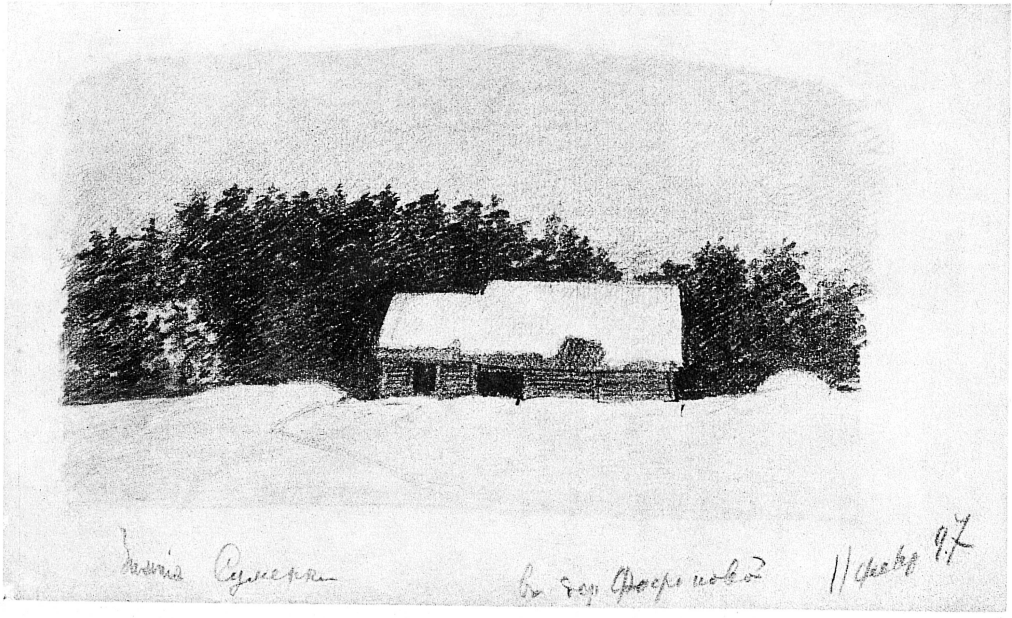
Кроме того, в этой Камчатке, удаленной от центра, хотя бы и такого центра, как Лукоянов, — лесами и плохими дорогами, — как кажется, попахивает злоупотреблениями. Так, безземельный Захар Ешаев, который должен был получить ссуду без вычета (из Особого комитета хлеб привезен на благотворит[ель-

ные] суммы), — все-таки подвергся вычету почти по 10 ф. с пуда (вместо 3 п. 30 ф. — 3 пуда). Он говорил это при всех и ссылался на свидетелей.

Здесь, как и всюду в Шутиловской волости, февраль, боевой месяц, отметился сильнейшим сокращением ссуды для очень многих. В январе общее колич[ество] ссуды было 2775 п[удов], в феврале — 1820, в марте — 2295. Если принять в соображение, что в феврале же вычет достигал почти половины выдаваемой ссуды, то легко представить, каково достался этот месяц петровцам.

Наконец и здесь, как в других местах, тусклые глаза начинали злобно сверкать, когда мы советовали обратиться к з[емскому] начальнику. «Земский нач[альник] от нас никаких резонов не принимает... В шею вытолкал, слова сказать не дал... Негоже и сказать, — матершиной баб ругает... Невозможно и итти к нему...»

Впечатление от этой деревни самое, пожалуй, тяжелое и даже мрачное. Мужики больше молчали. Не слышно было того гула голосов, тех обильных характеристик, какими в других местах встречали чуть не каждое имя. «Ну что, старики, как такого-то, поместить, что ли? Что молчите?» — то и дело приходилось расшевеливать их. — «Мы, господин, потому мало говорим, — ответил один, — друг дружки стыдимся. Кого поместим, а другой-то, может, и больше нуждается. Все мы плохи, уж вот как, вот как плохи». Тут почти не было отказов. Наоборот, всякий говорил за себя. «Троих бы, четверых бы». — «Что вы, какие глупые, — остановил одного умный старик, стоявший невдалеке от меня. — Ведь это благодать (т. е. благотворение), одного-двух возьмут и то слава богу, а вы бы всей семьей натискались, разве возможно! Говорите, кто уж вовсе не может добиться...» Но и после этого толпа угнетенно и тупо молчит. «Плохо в этом доме, — слышится изредка. — Лебеды переели мер уже с 10. Теперь лебеды нет...» — «Плохой мужичонко, сказали об одном. С самой сорной тропы. Давно побирается, на земской хутор давно уже тро-



ЗИМНИЕ СУМЕРКИ. В ДЕРЕВНЕ ФОФАНОВОЙ

ну пробил позадь дворов». Вдобавок ко всему то и дело выступают подозрит[ельные] лица, слышатся голоса с особенной нотой... Несчастный муж сифилитич[еской] больной то и дело перебивает разговор тоскливым вопросом: «Как же мне с бабой-то быть? Терпежу нету... Дух... Изба маленькая, я уж из сил выбился, не оторвусь...»

Столовою, повидимому, очень дорожат. Чугуны, помещение, подводы для хлеба — все это сыскалось тотчас же, и нас проводили общим гулом благодарности. На улице опять жалобы несчастного мужика: «Как мне-то быть? Что мне с ей делать?» Я, конечно, ничего не могу сделать, кроме одного, — выдаю ему небольшое пособие на больную... Кланяется, благодарит и все-таки спрашивает: «Как мне с ей быть?..»

Дело уже вечером. Отуманенные, вышли мы из тесной избы, сплошь запруженной народом. Даже под полатями в полутьме виднелись одни на других фигуры, лица женщин и подростков... На дворе — мгла. Лес стоит невдалеке, весь закутанный туманом... Там в 12 верстах, — в лесу, стоит Ташинский завод, наделяющий эти деревеньки скудным зараб[отком] и «дурною болью». А тут уже — с поцелуем матери, с куском поданного хлеба, с надетым на время чужим платьем — ходит невидимо дурная боль из избы в избу, из дома в дом, и ужасом давит несчастную деревню... Мы зашли в избу Кутвина, Степана Егорова. Сам он — явный сифилитик. Нос припух, гнусит. В тесной, темной курной избе — две бабы, обе худые до невозможности, одна беременная. На грядке — лукошко с кусками хлеба, собранного подаянием в более счастливых деревнях. Собрала это девочка лет 7. Устала. Ночь тоже не спала, — заболел палец... Отчего? — Кто знает, — заболел. Ночь стонала. Пошла сбирать, зашла на завод к доктору. Навязал вату с лекарством. Пришла: «Мама, я ляжу». — Ляжь, милая...

Мы не стали обходить другие избы... Было совсем темно, когда мы вышли из этой. Маленькие бесформенные хижины, точно кучка навозу, под лесом, кой-

где огонек, жалкие, оборванные фигуры, с удивлением окружающие нас... Какими великолепными кажемся, вероятно, мы этим жалким созданиям. Наши дохи, шубы, сытые лошади бьют копытами землю... И при том какие еще благодетели...

Долго ехали мы вдоль полосы лесов, и все время перед моими глазами стояли эти ужасные картины... И это на «Святой Руси», в мужицком царстве!.. [63]

Вечером — встреча с странной дамой с наполеоновским профилем. Просила, во 1-х, чтоб я поехал к ней на завод, во 2-х, рассказала, что ее бросил муж, наконец просила, не могу ли я ей исходат[айствовать] «отличие» за то, что она ведет завод себе в убыток.

18 марта. Утром ненадолго проглянуло солнце, но затем день опять нахмурился. Поехали в Кирлейку (Пруды), небольшую деревню, составлять списки [64]. Дорогу совсем испортило, раскровило, как говорят здесь. В овражках снег уже подтопило снизу, лошади вязнут выше брюха. «Сама кровь», — говорят о таких подтаявших местах мужики. Снег здесь «раскровило»... Картинное, старое, должно быть, выражение. Зима истекает кровью, скоро исчезнет, придет ей на смену новая, молодая весна... Пока, однако, мало еще радости. Нам то и дело приходится выходить из саней. Выйдешь и сразу уходишь по грудь в глубокий рыхлый снег, а лошади скачут и бьются и падают. В Нелее — барская усадьба старинной архитектуры, развалины завода с одиноко торчащей трубой, скотный двор в два этажа, без крыши. Стропила сеткой рисуются в воздухе, и между ними ходит сырой холодный туман. Неприветливо, сиротливо и странно. Что-то возникало и не возникло, было что-то и развалилось. На белом снегу среди деревни чернеет пожарище. Это в ночь сгорело две избы...

За Нелеем мы обогнали обоз. Маленькие лошадки надрываются на рыхлой дороге, мужики по пояс в снегу подают плечами увязшие сани. Это несчастные обитатели посещенной нами вчера Петровки озаботились уже с утра доставкой хлеба...

В Савослейке — столовая, устроенная Ел[еной] Александр[овной] Чеботаревой [65]. Небольшая избушка на краю деревни. Здесь уже «откормились», и потому мы проезжаем мимо. Огибаем лесок. Вправо над снежным бугром лениво мотаются крылья мельницы, точно обессилевшей, как и весь край. Это Елховка. Здесь живет врач Рахманов, толстовец-врач [66]. А вот за лесом и за оврагом ряд темных пятен. Это — наша Кирлейка.

У сборной избы на дворе баба толчет что-то в ступе. Оказывается, просяная мякина. Куда это?—В хлеб. Показывает хлеб. На вид все-таки гораздо лучше лебедного.

— Хлеб ничего бы, во рту больно шумит, — говорит баба.

Действительно, на зубах хлеб хрустит чрезвычайно неприятно.

— Муки прибавляем, а то все щеки опорет, — говорит баба.

Доктор Рахманов рассказывает, что к нему то и дело являются больные страшными запорами от мякины. Недавно перепробовал самые сильные средства и едва мог разрешить у ребенка этот мякинный запор.

Здесь все-таки впечатление как-то бодрее и не такое угнетающее, как в Петровке. При опросе — новый оттенок. Говорит первый — староста, мужик с умным лицом, с острыми и резкими чертами. Другой оратор — беззубый старик с хитрыми глазами, с большой бородой и лысый. Между ними, очевидно, антагонизм. Затем, сзади звонко и выразительно вмешиваются бабы. Здесь очевидно — партии. Хитрый старик покровительствует какой-то келейнице, которая за что-то получила 12 мер хлеба и отдала ему. Теперь он хочет пристроить ее в столовую, староста возражает, его поддерживают. Вообще здесь народ не так еще угнетен, это видно из той живости, с какой бабы вмешиваются в разговоры. Слезливого нытья мало; больше обида и упреки, что делается не так. Список мы составили на 35 человек, и конечно, несмотря

на впечатление меньшей сравн[ительно] нужды, — это очень мало, и каждый попавший к нам несомненно заслуживает помощи... Вот Настасья Петрогина. Муж — шатающийся писарь. «Детей, вишь, народил, а с ней не якшится, бросил, дети по миру ходют». Земский начальник, принимая в соображение положение мужа по списку, лишает семью ссуды, с февр[аля] отказал. Вот Чубарова с двумя детьми. Она получала сначала на 3-х по 15 ф., потом в феврале на 2-х, т. е. 30 ф., а в марте, узнав, что муж поступил на зав[од] за 3 р. в месяц, сбавил еще одного едока. Теперь она получает 15 ф. с вычетом за провоз, остается фунтов 10. Вот 2 сиротки, «отец заблудился, шатается где-то в степе, детей бросил». Вот, наконец, мальчишка лет 15, единственный работник в семье из 7 душ... Ссуду почти нельзя принимать в соображение. По 1 разр[яду] получ[ают] челов[ек] 5—6 (не считая безземельных), а с 15 фунтов делаются странные вычеты... Дрова, изба, подводы — все выдается с величайшей готовностью...

Дождь... Кончили мы рано. Было еще светло. Снега, леса стоят густо синие, деревеньки фиолетовые, мгла набирается, пошел дождь, потом снег. Нас совсем залепило вязким, холодным, тающим и всюду затекающим снегом.

А дома уже ждет плачущая кучка баб. Они из Григоровки, рядом с Петровкой. Нам сказали, что у них урожай был получше, и мы проехали мимо. Бабы пришли за 7 верст, плачут и жалуются. Ссуда по 5 фунтов (это я слышал много раз, хотя в списках ни разу не встречал такой цифры). Дети есть просят...

Я дал им 3 р. и просил Ал. Фролов. Чеб[отарева] [67] обратить внимание на эту деревню.

NB К характеристике общ[ественных] работ (по Обуховке).

Февраля 25. Артель Трифона Семушкина, в числе 20 чел., получила за работу с 18—25 февр.—31 р. 67 к.

Февраля 29. Артель 15 чел.—выдано 19 р. 18 к.

Марта 14—7 челов. — 3 р.

1) Савослейка — 45 ч. зав. Ел[ена] Ал[ександровна]

Чеботарева, а теперь Анна Никол[аевна] Русинова (прежде обе).

2) Елев-враг (откроется на днях) 40 ч. (зав. Сергей Вас. Скворцов).

3) Елховка и Русиновка — выдача производится Рахмановым.

4) Нелей — 1-я столовая, устроенная Ал. Ив. Русиновым.

5) Обуховка — удел. (Алекс. Алекс. Шатова и Марья Петр. Кудрявцева).

6) Шутилово — 88 ч., зав. Елизавета Емилиевна Франк и Чеботаревы.

7) Бутское — 56 — зав. Александра Сократьевна Соловьева и учительница.

8) Петровка — 64 чел. Елен[а] Алекс[андровна] [Чеботарева].

9) Кирлейка-Пруды — завед. Феоктиста Михайловна Корсакова. — 35.

10) На Гремячке — Корсаков выдает [68].

Мы приехали назад часа в 4. Елену Алекс[андровну], отправившуюся в Петровку, не застали. Метель с мокрым снегом, поздно вечером ее еще не было. Завтра ей опять ехать по бездорожью в Бутское...

19 марта. Утром, часов, впрочем, около 10, мы выехали с хутора. За ночь, после дождя, прихватило морозом, поэтому молодой снежок лежит чистенький, свежий и придает ясному дню характер скорее ранней зимы. На солнце чуть-чуть тает, мельницы стоят, белые с одной стороны от налипшего вчера снега. Дорога прекрасная, но вот в небольшом овражке передняя лошадь проваливается, за ней коренник начинает биться в «зажоре». Я выхожу, чтобы облегчить сани, и тотчас же вязну выше колена. Валенок мгновенно наполняется водой и остается в яме. Я насилу вытаскиваю его на свет божий, между тем как ямщик бьется с лошадьми. Подходят какие-то мужики и вытаскивают лошадей. Через ½ часа наша пара нагоняет меня уже около Обуховки, — я иду, чтобы согреть промокшие ноги. Это только начало, дальше — все

хуже и хуже. Каждый «вражек», каждую лощинку уже подсосала вода, а подмерзшая сверху кора делает зажоры еще опаснее. В лесу — славный сосновый бор, дорога лучше, лошади бегут бодро. Кордон. Здесь живет г. Введенский, заведующий общ[ественными] лесными работами. По сторонам видны порубки, мелькают фигуры. Всюду мы слышали ропот на эти работы. Несомненно, что глубокие снега ужасно затрудняли их. По глубокому снегу приходилось таскать на себе и складывать лес. Я уже говорил о том, что при составлении списков нам нередко встречались сведения: «Хворает, убился на лесной работе». Вот как характеризовал эти работы один умный и рассуждавший совершенно объективно крестьянин:

— Снега ноне глубокие, одежонка дрянная, пищия спервоначалу была больно плоха, приместия настоящего не было.

— А теперь?

— Теперь, слышь, одобряют. Да опять поздно: многие отстали. Опасаются, главное дело, насчет воды. Потому снег, само собой, а под снегом подсосалася вода. Народишко-те в лаптях. Подумайте: долго ли с этой работы обезножеть...

Однако, кажется, главная причина, почему об этих работах отзываются, по большей части, с глухой враждой, это, во 1-х, тот характер принудительности, который им придан и который отлично сознается народом, и, во 2-х, — последствия, из них вытекающие. Всюду, где в списках стояла отметка: находится на лесных работах, — за этой отметкой следовало сокращение ссуды не на самого рабочего, который и без того ее не получал, а на члена семьи, ранее пользовавшегося ссудой, в том расчете, что работающий прокормит и себя и еще другого. Иногда встречались сокращения двух едоков... Т[аким] образом и без того неприглядная работа становилась и невыгодной... Кроме того, списки составляются на продолжит[ельные] сроки, и если рабочий почему бы то ни было переставал работать, ссуда все-таки не выдавалась уже в этот месяц. Одним словом, работы эти пони-

мались как предлог для сокращения и без того крайне скудной сметы...

Лесничего я не застал. Он был на делянке. Узнав, что он тоже едет в Лукоянов, я решился не ожидать его. Становилось заметно теплее, размякший снег то и дело падает с высоких сосен, копыта лошадей вязнут в рыхлой дороге. Надо было подумать о возвращении нашего возницы, которому быстро прибывающие речки могут преградить обратный путь. Через час мы выезжаем на безлесную равнину. Полоса лесов, разделяющая уезд на две части и протянувшаяся далеко к Оке с одной, к Суре с другой стороны, — синеет уже сзади. Весна идет заметно для глаза. Скованная равнина оживает. Вот речка Чеварда прососала снег, и видно, как струи скачут поверх белой пелены и пойма расширяется, подступая к нашей дороге. Лошади храпят и бьются, боясь итти на мост, охваченный живой текучею влагой. Мы все-таки еще проезжаем, но вот в сторонке, в покатой лощинке полоска потемневшего снега ширится и ползет, как змейка, на соединение с речкой. Наш ямщик с беспокойством глядит на них и чешется под шапкой.

— Гляди, к вечеру до Обуховки доберется, не даст мне ходу...

Дальше бушует та же Чеварда у деревеньки того же имени... Мост залило, и какой-то худой мужик советует ехать стороной, но мальчишки, гурьбой сбежавшиеся на зрелище наших усилий перебраться, утверждают, что давеча ехали. Ямщик доверяет больше мальчишкам, и мы благополучно минуем опасное место. Мужик стоит и смотрит, затем, видя, что ямщик направляет не туда, куда он советовал, вскидывает топор на спину и равнодушно идет к своему дому.

— Народ отпетый, — говорит ямщик, — того и ждут. Мост вот какой, а нового не делают. В третьем году мы этак вот с управляющим втискались, полведра с нас и спили.

Вспоминая внимательный и как бы выжидающий взгляд мужика (я узнал, что он безземельный), я от-

части допускаю пессимистические предположения ямщика. Мне вспоминается рассказ Гл. Ив. Успенского [69], и гипотеза о негуманном ожидании со стороны несчастного бобыля, что мы тоже «втискаемся» в эту раскисшую речонку и что в результате этого будет лишний полтинник или рубль для обитателей Чеварды, — еще более крепнет. Но я отчасти и сам чувствую себя виноватым перед деревушкой: мне говорили, что она тоже «плоха», и я намеревался еще здесь составить списки, но теперь нам необходимо торопиться во что бы то ни стало попасть в Лукоянов, где нас ждут, и мы проезжаем мимо, оставляя здесь до б[олее] благопр[иятного] времени немало голода и страдания...

Далее на пути бурлит речка Пойка, но мы благополучно добираемся до Салдоманова Майдана, где можем отпустить нашего Никиту, сильно не одобряющего капризный разгул речек и соображающего, кто успеет ранее добраться до Алатыря: он или речка Чеварда?

В новой, светлой и чистой избе мы ожидаем перепряжки. Это вольный ямщик, перехвативший нас по дороге на земскую станцию. У него семья 20 человек, на столе лежит каравай настоящего хлеба, видно некоторое изобилие.

— Ссуду получаете? — спрашиваю я.

— Получают которые в н[ашем] селе, я не получаю, и не будет мне...

— Ну, как у вас дела? — спрашиваю я, видя перед собой человека, способного, повидимому, дать объективный отзыв о положении села, относит[ельно] которого я получал разнообразные отзывы.

— Плохо, — говорит он, свесив ко мне с полатей умное лицо. — Бедствует народ у нас.

— Да ведь вон у вас сколько лесу навалено, значит есть работа.

— Которые в силе работать, несколько кормят себя, а который уже без силы, тот сам себя нести не может. Какая тут работа! Сильного народу мало остается то же самое в нашем селе, которые чтобы чаяли

себе прокормиться. Он «травы» *, может, сколько переел, как же у него на желудке будет здорово. У кого картофель есть, те еще туда-сюда, дышат, а от лебеды, господин, крепости на желудке никакой нету.

Отзыв этот, записанный мною тут же, слово в слово, поразил меня в особенности тоном, каким он был сказан. Мужик говорил неторопливо, ровно, с расстановками и как бы с досадливой неохотой. «Все равно, не поверите ведь, — слышалось в его тоне, — все равно не поможете...» А между тем видно было, что мужик все это видит и все это его раздражает, хотя и со стороны...

— А где хуже? — испытываю я его объективность:—у вас или в Шадрове, Салдаманове? (два соседних села, по отзывам, пострадавшие гораздо более).

— Непременно надо говорить по совести, — отвечает он, — у нас на новях было несколько; положим, морозом убило, а все же яровинка против ихнего малое количество получше, — хоть кормец был, а уж у них-то не приведи господи!

— А ссуда?

— Что ж ссуда. Вон в феврале по 7 фунтов выдавали (и тут!) — можно ли человеку сыту быть? И что такое, право, — раздумчиво говорит он. — В других вот уездах...

И затем — знакомый уже нам припев насчет других уездов...

Опять зажоры, опять речки, вражки, опять я проваливаюсь; в одном месте у нас чуть не тонут лошади, обезумевшие с холоду и испугу, очутившись до спины в воде; в другом сани зачерпывают, точно ложка, воду, но вот наконец — опять Лукоянов.

Здесь я получаю повестки с новыми пожертвованиями, письма и наконец узнаю, что уже прибыл Обтяжнов [70], что он заряжен нижегородскими ядрами и намерен вводить реформы **. Итак, Лукояновский уезд опять покорен метрополией?

---

* Травой называют лебеду. (*Прим. В. К.*)

** Должно быть, возопияли камни, если г. Обтяжнов, тот самый и т.д. (*Прим. В. К.*)

Вечером опять подморозило. Если еще продержит дня три, мы еще успеем отхватить у голода несколько десятков семей. А там весна захватит весь край, отделит недели на 1½ все эти Чеварды, Григоровки и Гремячки от всего помогающего мира, и они останутся одни во власти «лукояновской системы лишения продовольствия» и — голода...

Между тем Продов[ольственная] комиссия пост[ановлением] от 7 марта решила не собираться...

Из письма: (20 марта) [71]. Алекс[андре] Никит[ичне] [72] о Тане [73] скажите, что, конечно, работа нашлась бы, но я ни за что не решился бы пригласить молодую девушку в Таниных условиях в этот разбойничий уезд. Доносы на всякого прич[астного] к делу столовых будут несомненно и в изобилии, кроме всяких других гадостей. Впрочем, все-таки подробности после. Дело в том, что сюда прислана пушка — Обтяжнов, сильно начиненная нижегор[одскими] ядрами, — так и палит. Следует ожидать, что мятежные земские начальники ввиду этой канонады сдадутся, тогда на занятых позициях можно будет водворить гарнизон, хотя бы и из амазонок. А теперь все равно еще ни пройти, ни проехать. Вчера я получил письма совершенно подмоченные, видно, что почта купалась. Мне прислали 500 р., еще 7 и еще 6. Теперь только успевай! Правду сказать, я стосковался по другой работе: хочется где-ниб[удь] засесть, пожить, присмотреться, а нельзя: доберешься до какой-нибудь Кирлейки, увязая в сугробах, затрещит голова от составления списков в избе, набитой битком мужицкой голытьбой, — и опять в сани, и опять в другое место или на ночлег. Все торопишься, все ездишь, всюду тебя зовут «ваше благородие», всюду одно и то же. Было дня два, когда я думал, что расхвораюсь. Оказалось, однако, что это нервное состояние от ужасных, томит[ельных], тягостных впечатлений. Теперь совершенно здоров, а дорога с приключениями окончат[ельно] меня встряхнула. Так хорошо! Все оживает, речки бурлят, с лощинок, видимо, на глазах сползают еще только что

проснувшиеся потоки, и все это шевелится, пробирается к одному месту, в низинки, торопится, наливается в речки, подступает к дорогам, подрывает, валит и уносит снега. День такой езды — и как-то смягчаются острые впечатления болезни, голода, смерти, бодрая жизнь природы укрепляет и обновляет силы, напоминает, что все это не вечно, что все пройдет, и жизнь опять закипит по-старому... Все пройдет, но только какой ценой!..

20 марта. Вчера приехал в Лукоянов. Видел Обтяжнова. Настроен очень воинственно против лукояновцев. Держит себя немножко губернатором. На 25 собирает благотворит[ельный] комитет (вернее, уездное попечит[ельство]). Сомневается, приедут ли з[емские] начальники. Получил с почты деньги: 513 р. 60 к. (500 из Р[усских] В[едомостей], 7 и 6 от студентов и от какой-то г-жи Пиотровской из Харькова (последняя просит в газетах о ней не печатать).

21 марта. — С утра Н. М.[74] уехал в дер[евню] Ульяновку и Новую. Я—на Белецкий [хутор]. Утром приходили мужики из д[еревни] Тетюш и подали след[ующее] прошение: «Его Высокоблагородию Г-ну з[емскому] начальнику Большой-Арской вол[ости] деревни Тетюш Голодающих крестьян Прошение. Имеем честь всепокорнейше просить ваше высокородие примите на себя труд из ходатайствовать нам во общество наголодающих крестьян, которым не выдается ссудный хлеб и которым выдается и не хватает нацельной месяц почему мы и просим неугодно ли вам зделать для нас голодающих покормежной обед которых у нас нащитывается 25 человек Кузьма Исаков — 2, Корнила Шабалов — 2, Игнатий Обидин — 2, Гаврило Кирилов — 2, Ананий Кирилов — 1, Федот Алинов — 2, Гаврила Обидин — 3 человека, Петр Исаков — 2, Григорий Кирсанов — 1, Фока Кирсанов — 1, Михайла Шабалов — 2, Матвей Ванюгов — 1, Григорий Ванюгов — 2, Ив. Кирсанов — 1, Алексей Шабалов — 1. Сельский

стар[оста] Петр Обидин по безграмотству своему приложил должесную печать».

Утром приходил исправник [75]. Бедняга имеет очень плохой вид. Кавалерийская внешность его очень обманчива. Бедняга стар, угнетен и недалек. Попав в лукояновские переделки, окруженный со всех сторон хорошо дисциплиниров[анной] «корпорацией» полицейских приверженцев бывшего исправника, он уже неск[олько] раз дал маху, доверившись тому или другому из его подчиненных. Кроме того, тысячи мелких уколов, на которые такие мастера гг. лукояновские дворяне-политики, уже совсем сбили старого кавалериста с позиции.

— Положение — я вам скажу, — говорит он мне (он каждый раз ужасно рад, когда я приезжаю. «Люблю вас, как родного!» И я понимаю, почему: меня и Гучкова он увидел первых, кого мог считать естеств[енными] союзниками). — Положение, я вам скажу: предводитель не подает руки, этот мальчишка распускает бог знает какие сплетни, исправник бывший шипит, кругом оскорбления... И молчи! Нет, каково это! Я, знаете, был в таком положении в Варшаве. Едешь по улицам, а из окон льют, знаете из урильников. — Смирно! Молчать!.. Но ведь, позвольте, ведь это наконец пачкает, мундир пачкает...

И в глазах у бедняги что-то жалкое... Недавно умер взрослый сын, надо было итти на службу на старости вместо отдыха, а тут... Недолго, вероятно, протянет старый кавалерист.

Утром с Н. Н. Жедринским поехал в Тольский Майдан, где составил списки на 97 челов[ек].

Вот сведения по волости и селу. По волости считается 10 018 душ об[оего] пола. Выдача начата с декабря (в ноябре произведена частичная выдача, ф. по 6 на едока, разделили по душам). По 1 марта выдано всего 10 600 п. 35½ ф. Вычитая за извоз 2052 п., получим 8548 п. действит[ельной] выдачи на 10 108 душ, что в среднем даст 32 ф. на душу на 3 м., по 11 ф. в месяц.

Отправ[ил] письмо Пиотровской [76].

22 марта. После обеда (в 2 часа дня) — в Новой Поляне. Писарь боится давать сведения, успокаиваю его губ[ернской] бумагой. Потом на хуторе Батмасе, затем в Дубровке. Небольшая деревушка. Лица, одежда, выговор совершенно хохлацкие. Сначала, когда я объявил о цели приезда, стали говорить, что все очень нуждаются, ссуды не хватает. «Мы какие и жители, у нас и земли-то 5 сажен. Заработков нет, всюду по хуторах народу усилило, все ищут работы; в степ уходили прежде, теперь и там народу усилило». Ввиду этого, узнав, что столовая только человек на 25—30 (в деревеньке всего 60 дворов), стали говорить, что «этак у нас не выйдеть». Пришлось заявить, что в таком случае мне остается только сложить свои бумаги и уехать. При этом я объяснил, кого мы имеем в виду: особенно нуждающихся, вдов, сирот, которые все равно бременем лежат на обществе. Тогда сзади из сдержанно молчавшей толпы раздались вдруг голоса:

— Что вы делаете, старики! Как же так отпускать человека. Разве не слышите, что говорит он. Благодарить надо. Вот Мажуниной Анны дети, Татьяна Балахнина, как планида, под окнами ходить... Что вы, опомнитесь, старики!

— Говори, староста! Все говорите.

— Пишите, ваше благородие.

И дело у нас пошло отлично. Пререканий было немного, и те быстро улаживались. Попали к нам сироты Шагоновы, и Анна Мажунина, которая вышла за чиреського и овдовела и теперь не получает с детьми «ни в Чиресе, ни здеся», и солдатка Татьяна Гарцова, тоже почему-то лишенная ссуды, («кого надо не пишуть, а кому бы не надо, дають»), и старик Мих. Гусев, 70-летний старик, тоже обделенный ссудой, и Алена Ивашешкина, давно брошенная мужем, с двумя детьми; сначала ей шло 1½ пуда (по 20 ф. на едока), теперь земский нач[альник] сократил 20 ф., вероятно, на том основании, что муж в отлучке, значит непременно на заработках, и т. д., и т. д. Часа в 1½ мой список был полон, и я стал прощаться.

— А как же нам, ваше благородие, мужикам-те?

Всё приели, теперь помирать, что ли. Гладом помираем...

— Это просите у земского нач[альника].

— Просили. В ногах валялись. Говорит: хошь ты не то что в землю, скрозь землю провались, ничего не будет, потому неоткуда.

(Итак, земские нач[альники] сваливают бедствие на то, что «неоткуда», а сами отказались от предложенной ссуды.)

— Он и не говорить, прямо гонить.

— Хоть поговорил бы, как вот вы.

— Ну, в Лукоянов, в Продов[ольственную] комиссию подавайте.

Смущение.

— Это как же мимо своего начальника. Это нам после не жить... Через ряд нешто можно.

— Да ведь по закону так. Тут ничего нет незаконного. Гораздо хуже вот этак ругаться, как вы ругаетесь иногда за глаза, — а просить вы всегда имеете право.

— Нет, ваше благородие, — грустно говорят ближайшие, — нам надо хоть помирать, а через ряд на своего начальника просить нельзя.

— Дело ваше. А я тут ничего сделать не могу. Прощайте [77].

Вот что значит деревенское смирение, которое кажется мне опаснее всякой жалобы. З[емского] нач[альника] Бобоедова обвиняли в возбуждении крестьян против комиссии, когда он на просьбы о выдаче ссуды на рабочих ответил, что это зависит не от него и что они должны просить в комиссии. Здесь сами мужики, пожалуй, считают мой совет чуть не бунтом. В городе, когда мировой постановил приговор, вы можете посоветовать обжаловать это решение в съезд, в палату, в сенат. А здесь — совет обратиться с просьбой, которую не уважил з[емский] начальник, г. Пушкин, в комиссию таких же земских начальников — значит «возмущать народ» против г-на Пушкина. И народ не смеет нести свои жалобы законным путем, и они остаются, и народ — в полной

и безапелляционной власти у г-на Пушкина. Но зато послушайте этот глухой ропот в задних рядах, посмотрите на эти лица людей, постигнутых голодом и которым «нет никуда ходу», и вам станет страшно: а что, если этот красивый господин с тонкими чертами лица ошибся и среди этого народа в его безысходной замкнутости царит уже настоящий голод и в сердцах уже водворяется отчаяние?..

Вечером мы в Кандрыкине. На улице встречаем гурьбу ребят с ушатом. Батюшка, славный старик, с лицом, немного напоминающим о. Иоанна Кр[онштадтского] [78], рассказывает нам, что это школьники; они ужинали. Он с удовольствием доброго человека и с оживлением в глазах рассказывает, как ему удалось исхитриться, чтобы устроить им, кроме обеда, еще и ужин. Из разговора с ним я убеждаюсь, что в Кандрыкине хотя и плохо, но все же еще не так, как в других местах, напр[имер] в Дубровке, в Малиновке.

Едем в Малиновку, но прежде заезжаем на сборную, чтобы взять списки. Сборная полна народу, о чем-то толкуют.

— Продолжайте, — говорю я.

— Нет, так мы, о своем деле, да уже и кончили.

— Где писарь?

— Может, не уехал ли в Малиновку, — заминаясь, говорит староста.

— Пьян лежить! — вскрикивает вдруг один голос.

— Конечно, пьян, какая Малиновка!

— Чего зеваете! — вскрикивает староста, человек с острыми чертами лица. — Чего он пьян?

— Чего пьян? Оттого, что напился. А ты, староста, покрываешь. Мы прямо говорим, нечего нам стыдиться.

— Мы через него несчастны. Прошлый год пьянствовал, мы без обсеменения остались, ноньче опять останемся.

— Сами виноваты.

Начинается необыч[айный] шум, или, вернее, не начинается, а продолжается ожесточен[ный] шум, прерванный нашим приходом. Собрание мужиков очень

похоже на какое-то тайное собрание заговорщиков. И действит[ельно], здесь собрались всё хозяева, заботящиеся о посеве и для этого намеревающиеся составлять приговор и «просить». Они положили ⅓ семян в магазин, остальные ²/₃ были на руках. В приговоре написали, что семена все сполна засыпаны. Но ссуды выдавалось мало, семена пришлось съесть, а писарь пьяница не пишет приговора о новой выдаче.

— Да что он не идет?

— Умывается...

Писарь, сделавший несчастными кандрыкинцев в прошлом году и намеревающийся сделать их несчастными вновь, умывается долго. Наконец приходит. Это — субъект в дубленом полушубке, с седой бородой, с очками на носу и с книгой подмышкой. Он смотрит на меня с тем видом ласковой деловитости, какой так часто можно встретить у опытных «крючков». Я требую списки.

— Сейчас, Николай Павлович.

Он долго разговаривает со мною, принимая меня за моего спутника, Ник[олая] Павловича[79]. Очевидно, умывание не вполне рассеяло похмелье.

Мы выходим из избы со списками Малиновки, провожаемые старостой, а изба опять гудит голосами, как улей. Очевидно, бунт против «сельских властей» в лице остроносого старосты и умытого писаря опять разгорается. И немудрено. Если опять опоздают, — ²/₃ полей останутся незасеянными. По-моему, тут опять надо бы «просить» кой на кого другого, заставившего мужиков съесть семена, между тем как была полная возможность устранить это. Но нет, я решительно не хочу больше «бунтовать» крестьян и способствовать «водворению безвластия в уезде»...[80]

Дорогой Ник[олай] Павлович рассказывает мне, что кандрыкинцы * вообще хорошие работники, очень заботливые хозяева и вывезли с родины (это все то же кочубейство) или выработали уже здесь чрезвычайно дружный артельный дух. Никто не работает так охот-

---

* Интересно расположение села на три порядка. (*Прим. В. К.*)

но и так хорошо «миром», как они. На Батмасе они взяли раз работу — очистку скотного двора, для которой приехало в праздник 400 подвод. Он боялся беспорядка, споров и проволочек. Не прошло, однако, 20 минут, как уже хуторские авгиева стойла были разделены на делянки, а в день все было кончено: общество заработало сто рублей. Т[аким] обр[азом] кандрыкинцы снимают многие работы и деньги, добытые т[аким] обр[азом], употребляют на общест-в[енные] надобности. Т[аким] образом они построили церковь, на которую употребили 6 тыс. Будет очень жаль, если писарь действит[ельно] сделает их и на этот раз несчастными...

Три версты до Малиновки. Деревушка еще меньше Дубровки. Кой-где только огоньки, большая часть изб уже спит... Грустный вид имеет несчастная деревушка, много крыш раскрыто, торчат в темноте жерди... Ложатся рано, я уже знаю почему... «Кудели нет, руки у баб пустые, ребята ужинать запросят». Деревня старается наскоро обмануть детский голод и бабью скуку ранним сном.

По счастливому случаю мы встречаем старосту, который только что приехал. Входим в его избу. Низкая, маленькая, курная. Стены черные, всюду сажа, а между тем лица, одежда — чисто малорусские. Вот баба грязной тряпкой на скорую руку стирает залитый стол. Кичка, свитка, запаска, лицо точно с картины Маковского, только обстановка другая: мы привыкли видеть такие лица среди чистых, мазанных стен с полотенцами и вербами около икон.

— Все избы курные у вас?

— Да без мало, — отвечает мне хозяин. — Народ выбился, просто страсть. Земли 6 саж[ень] с души. Опять дарственники. — Вот что заставило опрятного хохла жить в курной избе и бабу приучило к черноте стен и саже. Здесь опять разговор о семенах. Им, если и выдадут, то на надельную землю, т. е. на пять сажен. А они живы только арендой, на которую не выдают. Тут опять нужен бы б у н т, т. е. прошение куда следует, с изложением, очевидно, требующего

помощи положения... Не знаю, будет ли бунт или надо будет малиновцам, помирать а пока малиновцы продолжают думать о живом и снимают, по обычаю, землю в кочубейской экономии, не зная, пошлет ли им бог семян. Впрочем, мне вспоминается классическая фраза А. А. Демидова[81] в земском собрании: в прошлом году у нас мужики кричали и молили, чтобы дать им семян, что они помирают. Мы решили дело просто: не дали, и никто не умер...

Да, это просто, но теперь даже А. А. Демидову, сначала утверждавшему по-щедрински, что «ён достанит», пришлось самому молить и вопить о ссуде, а его коллеге г. Зубову[82] пришли даже такие мысли, от которых он закричал внезапно «караул» и попросил заблаговременно войск. Это была излишняя нервность, конечно. Верно одно, что нынешний год — сынок прошедшего и что «ён достанит» — плохая политика.

Здесь сначала то же, что и в Дубровке... Деревня разочарована малостию помощи. Потом понимает, но еще мнется.

— Говори, староста.

— Нет, не стану. Потом будут «зло наносить», от тебя мы несчастны. Говорите все, старики.

— Пишите, ваше благородие, — говорит красивый черноволосый старик. — Мне не надо, все равно. Ну, слушайте старика.

И он начинает: Марина Кирдянова.

— Верно, — подхватывают в толпе, и сразу лед сломан.

— Чего уж, пишите Марину, мужика у ней нет... «Ополе́ли» вовсе, 8 человек.

(Мы ехали мимо ее раскрытого двора.)

— Фролова Татьяна. Семь человек, младшему 10 лет, девочка у ней убогая, «несловесная»... Получает 1½ пуда, что на них сделаешь?

— Почему же 1½?

— Два мужика, считай.

— Все-таки остается 5, значит 2½ п.

— На должности живут, по 2 рубля, так ведь еще значит 2-х прокормить... А какой корм.

Действительно, трудно придумать что-либо более нелепое, как эта система, при которой 20 ф. и 2 рубля в месяц считаются настолько достаточными, что одновременно не могут быть допущены. Лучшее доказательство нелепости этой меры в том, что мне неоднажды приходилось заносить в списки таких «богачей».

И опять я думаю, что тут надо бы бунтовать просьбой или даже жалобой прямо в Продов[ольственную] комиссию, но опять продолжаю молча записывать Андрея Савченкова, у которого, по сильному выражению односельцев: «не то что, — уж и ребра потрескались...», Романа Савченкова («подслеповат!» «С глупиной»), Варвару Килачеву, «ополевшую с 7 детьми», и т. д. («плачешь сам, а подашь»).

Я кончаю список, когда вдруг раздается звонкий, почти детский голос:

— А моего отца, старики, так и не запишете?

Белокурый парняга, лет 13, стоит впереди, с рукой за поясом и собирается бунтовать против миру.

— Да он на жаловании.

— Нешто он нас прокормит на 4-то рубля! Что вы, старики. Мать бьется, бьется...

— Мы все такие, — нерешительно возражает кто-то, и это верно. Но смелое вмешательство юного птенца за свое гнездо, видимо, симпатично старикам.

— Вишь ты, вылетел. Тебе бы и стоять надо у дверей... Внесите уж его, ваше благородие. Верно, бедствають...

Я чувствую, что это мир позволяет себе роскошь, но мне и самому тоже хочется хоть на мгновение забыть эти строгие аптекарские взвешивания, и... я вношу парня 36-м, нарушая прежде намеченные границы и округленность цифры [83].

Ночь в Новой Слободе, центре «кочубейства». Просторные комнаты, мягкая кушетка, свет лампы и лица старых Кочубеев на старых портретах, со старых стен [84].

23 марта. Переночевав у Вас[илия] Антоновича Курдюмова[85] в Нов[ой] Слободе, утром отправился в вол[остное] правл[ение] (очень длинный и дельный писарь). Без 25 в 11 час. в Пралевке, деревне, отмеченной самим А. Л. Пушкиным, как очень нуждающейся. В овражке в беспорядке раскид[аны] домишки, между ними одна — настоящая малор[оссийская] мазанка. Где староста? Указывают издалека, но среди однообразных хаток трудно найти ее. Какой-то парнишка вскакивает сзади на подножку. — Я укажу, я десятской. Да у нас старосты-те нет. — А где же? — Его Пушкин посадил. — За что? — Кто ёго знаеть... Посадил. — А кто же у вас за него-то? — Есть комендат...

У старосты, посаженного Пушкиным, изба черная, низкая, чернее и ниже той, какую мы вид[ели] в Дубровке и Малиновке, хотя с попыткой вымазать стены. Плачет маленький ребенок, так тихо и жалобно... Старик показывает хлеб: вот видишь, это еще старосте на высидку получше спекли (хлеб все-таки ужасный). — За что посадили?..

— А вот за то же... Что-то поговорил неловко... Вот како дело. Мое-то дело старое, и есть-то хочется, и плохо принимает пищу...

— За что старосту посадили? Стал говорить насчет семенов старшине. Взяли его, затулямали, много, бают, говоришь... Опять, значит, бунт.

Ужаснее впечатления я не выносил нигде. И ранее говорили: все одинаковы, всех пиши, но только здесь я понял, что это значит, когда действит[ельно] все одинаковы. Три часа я пробыл в каком-то ужасном кошмаре. Курная изба темна, особенно вверху: битком набито народу, изможденные, желтые лица; если кой-где мелькнет полное лицо с загаром, то оно както резко кидается в глаза. Никто не говорит спокойно. Каждое имя вызывает шум и крики. Нет человека, который бы говорил равнодушно, нет человека, которому бы не нашлось соперника. Кроме 3—4 имен, прошедших в молчании, все остальные тотчас же вызывали десятки таких же бедняков, которые рвались

к столу, кричали, иные плакали. Прямо передо мной ужасное лицо, какое я видел только на картинах Сурикова, с гноящимися глазами, с трясущейся губой; старик Максим Савоськин весь дрожит и исступленным голосом рассказывает след[ующую] историю:

— Болен я. Выдали ссуду, спек я коровашек хлеба, а на ту пору фершал ко мне. Увидал коровашек. А, говорит, хлеб-то у тебя, вишь, хороший. Сказал земскому нач[альнику], ссуду сбавили.

— Верно, — гремит вся изба. — Потому что без подбавки, а у нас ныне и подбавлять-то нечего стало...

— Верно. Нет, не выйдет у нас дело-то, как вы говорите. Всех поряду пишите...

— Все лысо, все помираем, все не евши... Поглядеть на нас — видно, что поморёны голодом...

Я невольно взглядываю на толпу. Прямо на меня глядят лихорадочные глаза больного Сав[оськина]. Он не может стоять и потому уселся на полу, его дребезжащий голос примешивается к гулу толпы. Над ним — такие же желтые лица и глаза, из которых уже проглядывает отчаяние. Мне стало жутко, но я чувствую все-таки, что не я со своими грошами могу принести здесь настоящую помощь. Кроме того, все-таки наверное и здесь есть еще «разряды» несчастливцев, несчастнее этой массы.

— Нельзя, старики, — говорю я. — Надо составить список с разбором. А вы просите у земского начальника.

— Просили... — говорит один и смолкает.

— У него... скажешь правду, теряешь дружбу...

— Верно! Не видим от него себе помощи.

— Бедствуем сильной рукой! Старосту вот послали, он ёго посадил... Что теперь? Мы — как овцы...

— Крайняя пагуба! Погибаем головами своими... Поморёны... Что нам делать?..

— Погляди на нас, ваше благородие. Вот мы к тебе пришли две части не евши, одна часть разве поевши...

Я чувствую уже, что здесь мне будет очень трудно, но дальнейшее превосходит все-таки мои ожидания.

Шум в избе усиливается, сзади проталкиваются бабы, плачут, кидаются в ноги, мужики ругаются друг с другом, попрекают друг друга мерами лебеды, которая еще сохранилась, каждым рублем, полученным с почты. Толпа озверела, в разных местах раздается ропот и на меня. — Это разве правильно. Вон Январова записали, у него 7 душ, а у меня 11 едоков.

— Равняй себя с Январовым...

— Чем лучше? От травы разорвало...

— Вон Листашка околевает, его не пишете, а кого пишете, те еще дышат.

Я стараюсь остановить шум и вызываю вперед молодого мужика, который первый еще поднял голос за какого-то Листашку, а не прямо за себя. Он сначала упирается, повидимому, опасаясь последствий своего бунтовского заявления, но потом резко выдвигается вперед, как бы решившись на всё, и от него я узнаю еще два-три имени околевающих... Затем опять шум и споры, какая-то красивая старуха наклоняется ко мне и что-то шепчет вкрадчивым голосом. Она служила, как я узнал после, у господ, была, видимо, очень хороша, и теперь пускает в ход свое «знание господского нрава», и забытые приемы давно устаревшего обольщения... Сцена опять становится похожа на кошмар и шабаш... Я чувствую себя в положении человека, вошедшего в клетку голодных зверей с небольшим куском мяса, которого не хватит всем...

В первый еще раз я видел нечто подобное и желаю от всей души, чтобы это было последний раз в моей жизни... Я вышел отсюда потрясенный до глубины души, и — правда, это было только одно мгновение — мне казалось, что я отсюда не выйду, что все эти несчастные сейчас кинутся в свалку, раздразненные моей «неосторожной» помощью... Здесь особенно ясно видишь, как ничтожна, бессильна помощь частная там, где только государство может и должно принять широкие меры! Правда, я мог бы употребить на одну Пралевку все мои средства, но в десятках таких же Пралевок начнутся голодные смерти...

Во всяком случае я приношу мою благодарность

А. Л. Пушкину, указавшему мне на эту деревню, как на сильно нуждающуюся. Он имел верные сведения... Жаль только, что он забыл применить эти сведения на деле и на март счел нужным сократить (!!), а не увеличить ссуду.

Кое-как закончил я списки, выбрал стряпок и уполномоченных и с совершенно отуманенной головой, с тяжестью на душе вышел из избы [86].

За деревней подымается метель. Снег летит по белым полянам и ложится сугробами, заметая несчастную Пралевку. Впереди в белом воздухе машут крыльями мельницы села Язь, сравнительно «благополучного», по отзывам писаря вол[остного] правления и соседей. По сугробам бредет какая-то нищая, что-то бормочет, жалуется на кого-то или о чем-то просит. Я останавливаю ее. Откуда? — Из Пермеева. На лице «пралевский» отпечаток. Пермеево известно далеко полным неблагополучием и находится в том же участке. Я поскорее даю ей денег и еду дальше... С меня довольно пралевских впечатлений, нервы не выносят больше. За селом, также спотыкаясь и чуть не падая, — другая нищая с сумой. Опять остановка.

Подходит не старая баба, загорелая, усталая. Откуда? — Из Талызина... — Далеко? — Верст, сказывают, сорок, Симбирской губернии...

— Зачем так далеко забрела. Или уж так плохо?

Она устала, упирается рукой в переплет моих саней и, собравшись немного с мыслями и как будто колеблясь, начинает:

— Видишь ты, господин, муж у меня, стало быть, ушел на заработки... на чугунку... Ну, а я осталась. Ен не пишеть ничего. А у нас еще сироты, да свои. Как ежели теперича наймется, пришлеть денег...

Я с удивлением слушаю это вступление, кончающееся надеждой на присылку денег и совсем не похожее на нытье нищенки.

— Ну, ежели пришлеть денег... стало быть, я так надеюсь, что пришлеть... Я, знаешь, надумала насчет землицы. Потому мы с детишками, никак, знаете, не пробиться без земли-то... Я и сняла-а...

— Ну? — с удивлением спрашиваю я словоохотливую бабенку, ожидая развязки.

— Наняла, знашь, работника. Он, стало быть, добер, делает снисхождение. Пять-те рублей, говорит, я тебе расчислю на срок, а шестой подавай сейчас. Пять, говорит, одолжу, а без рубля и сохи не налажу и в поле не выеду...

До сих пор она старалась улыбаться, скрывая под улыбкой тревогу и стыд непривычного нищенства. Теперь на глазах сразу появляются слезы. Она глядит в пространство, затянутое метелью, и выражение безнадежности проступает на лице...

— Вишь ты... забрела в голодну сторону. Сами гладом помирают. Где тут добудешь? Самим есть нечего. А без землицы мне, ежели не запахать... Детишки...

Я даю ей этот несчастный рубль, за которым она ходит по бездорожью в голодной стороне, и чувствую, что я перед нею в долгу. Эта бодрая забота о земле, о детишках, этот неведомый работник, где-то в другой губернии излаживающий соху и расчисливший 5 рублей на сроки, эта неумирающая надежда на лучшие дни, — все это вместе ободряет и меня. Будут еще на Руси лучшие дни... Поезжай, ямщик. Старуха быстро исчезает около околицы. Она обогреется в ближайшей избе и пойдет теперь назад с заветной бумажкой [87].

Едем дальше. Метет. Ямщик задумчиво наклоняется, чтобы достать длинным кнутом переднюю гужевую, и говорит: «Ну и народ... скандальный!» Я понимаю, что это его мысли вернулись к пралевским, п[отому] что и мои тоже возвращаются пост[оянно] к этой несчастной деревне. Ямщик тоже кочубеец, добродушный и сравнительно сытый, стоял у дверей в избе и из любопытства глядел на всю сцену составления списка.

— Нисколько не стыдятся, — продолжает он, — ах, как они, ваше благородие... Да и то сказать, бедствуют сильно.

— Неужто хуже других?

— Похуже еще... это верно. Вот всякой и тискается, все равняются. Конечно, есть и хуже.

— Есть?

— Конечно, все бедствуют, а есть которые уж вовсе выбились...

— А скажи, по-твоему правильно мы с стариками записали?

— Правильно, это правильно, что говорить...

Логиновка. Первое впечатление гораздо лучше. Изба чистая и светлая. Бабы прядут, кажется, есть здесь и соседки со своими прялками. Я сижу за чистым столом и, пока собирают стариков, записываю только что пережитые впечатления. У входа уже стоят два-три «старика» и с любоп[ытством] смотрят на странного заезжего человека, расположившегося здесь со своей походной канцелярией. Начинаются разговоры... (Здесь уже не кочубеевцы, лица и говор другие.)

Списки составлены. Началось с того же, как и в Пралевке. Мужики смотрят на меня с пытливым ожиданием, когда я рассказал, зачем приехал, — в толпе разочарование. «А нам-то кто поможет? Все мы ныне одинаковы, все сравнялись». Приходится опять грозить, что закрою книжку и уеду, указывать: кому подавать просьбы, и т. д. Настроение толпы недовольное, грустное и выжидающее...

— Нет, господин, — говорит, выступая вперед, один мужик, — беда это...

— Вероятно, на апрель вам прибавят, — говорю я...

— Не чаемся мы себе с 20-тьми ф[унтами] на траву выйти...

— И с 30-тью-то ныне не выйти. Помбрены...

— Вся нутренная испроточена... Нет у нас жителей.

Чем дальше, тем сцена становится тягостнее, подходя по напряженности к пралевской. И тут препирательства между нищими и жителями. Большинство явно стремится «уравнять», голытьба плачет. Понемногу и с большим трудом мы все-таки набираем наш контингент. К нам попадают келейницы, получавшие на март ни с чем несообразную ссуду в 15 фунтов; 2 члена многочисленной семьи Галактиона Абрамова, сост[оящей] из 13 челов[ек], в январе они получали 3 п[уда], в феврале ничего, в марте 3½ п[уда], но

семья совершенно упала, «убессилела». Из семьи Антона Галкина, состоящей из 7 человек, мы берем одного. У них 3 мужика, 2-е на заработках. Поэтому в феврале на всю семью было отпущено ½ пуда, затем — ничего. «Рабочие кормят, а они и сами-те едва кормятся». Руф Михайлов Секачев, семья 9 человек. За все время получил 5 пудов! Игнатий Акимов Абрамов, семья 11 человек, 1 в солдатах, работников трое, на заработках только один. За все время получили 2 пуда в январе. Семен Тим. Новиков, семья 6 человек, сам утлый [88], слепой, его только с постели на постелю таскают. Получил в янв[аре] 3 п[уда], в февр[але] 2½, в марте 1½. Вот еще оброшенная Федосья Студенкова. Мать с отцом ушли, девушка «не в полноте разума» осталась одна. На нее не получается... Спирин Филипп. Семья 4, рабочий 1. С декабря получали по 1½ пуда на троих. В марте только ½ пуда... Вероятно, единственный работник раздобылся где-нибудь трешницей и имел неосторожность прислать ее по почте...

Шуму и споров много... В особенности тяжелое впечатление произвел на меня рослый широколицый мужик, упорно добивавшийся места для одного или двух своих 11 домочадцев. Мне ужасно хотелось вписать его, но... Тому, кто не бывал в таком положении, трудно себе представить его... На этой дюжей фигуре сосредоточено внимание десятков таких же, как он, «жителей», так же отягченных и так же претендующих на место... Рядом с ним кричат еще несколько голосов, большинство молчит, смотрит и выжидает. При составлении каждого списка вы чувствуете, как будто идете по самому дну этого «мира», подбирая его подонки. В лучших случаях — вы чувствуете сразу, когда этот контингент исчерпан, и если у вас ограниченные средства, вы должны чутко ловить тот момент, когда вы уперлись как бы в ступеньку. Теперь пойдет уже следующий пласт, тоже очень нуждающийся, тоже заслуживающий помощи. Но... троньте только одного-двух из этого разряда, и вы увидите, как он заколышется весь. «Таких нас много, меня пиши, такого-то лучше

возьми», и т. д. «Миру», русскому деревенскому «миру» в высокой степени присуще стремление к «уравнению», и он скорее согласится, чтобы из следующего разряда не попал никто, если уже нельзя всем.

Ступенька эта в большинстве сел и деревень чувствуется ясно и резко. Но в этих 4-х деревнях, в особенности же в Пралевке и Логиновке она значительно стерта, и вот источник истинно мучительных ощущений при составлении списков. Я чувствовал, что уступить претенденту потому только, что он громче кричит, — будет несправедливо. Чувствовал также, что в сущности все они заслуживают помощи... Мне вспомнились мнения Льва Николаевича Толстого о том, что столовые — лучшая форма помощи [89]. Да, — только кому... И в какой незначит[ельной] степени. И сколько обиды, зависти, горечи и злобы приходилось шевелить этим просеиванием бедноты... Конечно, когда подумаешь, что все-таки вот уже несколько сот человек будут хоть сколько-нибудь сыты, то чувствуешь, что все-таки кое-что сделано. Но зато, вспомнив, какая это капля, ощущаешь невольную горечь неудовлетворенности. Да, это все-таки подачка мизерная. Мы подбираем пылинки там, где «рушится» огромное здание крестьянства. Главная же часть народной нужды остается вне нашего воздействия, и горе, настоящее горе там, где помощь этой главной части поставлена так плохо...

Поздно приехал я в Новую Слободу, где меня ждал Николай Павлович и Курдюмов с обедом. Вечером обратно, на хутор приехал поздно ночью среди продолжавшейся метели... [90].

24 марта. — Утром составил списки на 75 челов[ек] в Васил[евом] Майдане. Здесь опять прежние картины, опять более спокойные, хотя и грустные характеристики. По возвращении из схода, где мне очень много помог свящ[енник] Г. Н. Гуляев, своим знанием прихода и добродушным способом обращения с мужиками, я имел случай познакомиться с интер[есным] документом, подпис[анным] А. Л. Пушкиным. (См. в

тетр[ади][91]. Итак, в местах, только что мною оставленных, идет уже речь о голодных смертях, и Пушкин опровергает их просвещенной экспертизой фельдшера и урядника над мертвыми. Это убеждает меня окончат[ельно], что мне необходимо ехать в Нижний. Прекращение этой ужасной системы продовольствия будет равносильно открытию сотни столовых...[92]

Вернулся на хутор. Поднялась сильная метель, и П. А. Горинов отказался ехать со мной. Я выехал в 7 часов. Кругом не видать зги, деревья на расстоянии десятка сажень кажутся туманными призраками, лошади поворачивают назад и отказываются итти против ветра. — Доедем ли, Алексей? — Не знаю уж, не знаю. А надо бы доехать...

Доехали уже при луне, которая странно освещает метель. Вечер у Филатовых. Обтяжнов уже здесь. Завтра парламентское засед[ание] в Лукоянове.

25 марта. В час заседание. Обтяжновым созваны штаты в виде врача, казначея, суд[ебного] следователя, под[атного] инспектора, почтмейстера, etc. Мы с Н. Н. Фрелихом и Н. М. Сибирцевым — демагоги, с прибавлением, конечно, исправника, который, впрочем, кажется угнетенным, как никогда. Я секретарствую. Председателю угодно, чтобы протокол первого засед[ания] лукояновских штатов был изложен хорошим стилем. Признаю важность минуты и — соглашаюсь...

После заседания — обед у Ленивцева и Жедринского в «конспират[ивной] квартире». Демагоги (кроме исправника), г-жа Вишнякова[93], тоже присутствовавшая в заседании, Обтяжнов... Какие речи за столом, — тиф, голод, недостаточные выдачи... И все это слышат эти свящ[енные] стены, где так еще недавно царила одна Лук[ояновская] комиссия, свои люди, и лишь в виде зловещего исключения торчали у стенки члены управы Валов и Красов, не смевшие пикнуть, а у[ездный] врач г. М[ариенгоф] давал свои почтительные доклады о санитарном благополучии уезда, стоя в почтительнейшей позе...[94] Ужасная перемена. Нечто вроде

занятия Пале-Рояля чернью...[95] На троне г-на Философова сидела, впрочем, дама...

В 7 часов выехали из Лукоянова. В 2 ч. ночи в Арз[амасе].

26 марта. Вечером часов в 10 в Нижнем.

27 марта. Утром у губернатора[96]. Повидимому, он искренно обрадовался моему приезду. В 3 часа я делал частный доклад[97], в прис[утствии] губ[ернского] предводителя, Ершова, Рутницкого, Ал. Ив. Гучкова, Котлуб[ицкого][98].

28 марта. Доклад в Губ[ернском] Благотв[орительном] Комитете.

29 марта. Доклад в Губ[ернском] Прод[овольственном] Ком[итете] (губернатор уехал в Лук[ояновский] У[езд]).

2 апреля.

Приехал утром губернатор, пригласил меня к себе. Находит, что я слишком еще смягчил краски. Рассказывал много о своих разговорах с з[емскими] начальниками. Вечером экстр[енное] заседание прод[овольственной] ком[иссии], но мне не хотелось оставаться. В 4¾ я выезжаю из Нижнего. Дорога вначале сносная, только вечер темный. Близко к пасхе, — луна всходит поздно. На Борисовской станции огонек. Вхожу — чьи-то вещи, военные шинели, огромная собака. Узнаю. Это мой приятель, бывший (увы! тоже бывший) исправник Валер[иан] Алекс[андрович] Апрянин. Он лежит в одном белье на кушетке и сопит. — «Здравствуйте, Валериан Александрович».—«А это кто?»—«Я, Короленко». — «Ах, друг мой, это вы! Как я рад вас видеть, право, точно родного...» Этими словами он всегда встречал меня и в Лукоянове. — «Не поверите, — продолжает он, — один, холодно, промок, тонул, калоши в воде. Ах, друг мой, как я доволен, что вижу вас!..» Он подымается, заключает меня в свои объятия

и начинает рассказывать: — «Хваленый Арзамасский уезд, образцовый исправник (увы! — этот арзам[асский] исправник, занял ныне место Вал[ериана] Алекс[андровича]), — зажоры по две сажени глубины. Ввалились, собака на меня, снизу течет, лежу... Ведь это ужасно! Едут двое полицейских из Арзамаса, пьяно-распьяно. Говорить не могу, но ведь видят, я думаю, офицер сидит в зажоре. Нуль внимания! Говорить не могу, машу рукой. Ну, все-таки, слава те господи, остановились... Помогли. Еще приключение забыл. Засели. Перебираться надо. Сажусь верхом на пристяжную, знаете ли; кавалерист бывший... Представьте — сюрприз. Ложится лошадка моя прямо в воду. Вымок весь, дрожу, зуб на зуб не попадает... Ах, как я рад, как рад, не поверите, родной мой!..

За самоваром продолжает свои жалобы:

— Ах, дорогой мой. Какой компромисс!.. (Под компромиссом разумеет свое смещение.) Знаете ли, я уже и вещи перевез, не привык холуем жить. Мебель, ковры, оружие. И вдруг... Нет, ужасный компромисс. И что он[99] нашел в нем, в этом арзамасском... бог его знает. Ужасный компромисс!

— Как же это случилось?

— Да как. Ну, приехал. Знаете, как всегда, такой скорый, принял милостиво. И *этот* с ним, арзамасский. — Ну, что, друг мой, говорит, клюют, заклевали? А вы ничего не имеете против того, чтобы совсем в Лукоянове остаться?.. — Я вижу, как он ласков, думаю,— надо пользоваться случаем.— Конечно, говорю, ваше-ство, хотелось бы поближе к Нижнему... — Ну и отлично. Сейчас вакансии еще нет. Подавайте рапорт по болезни, прикомандировываетесь с сохранением содержания. А вы примите уезд. — И вот, не успел оглянуться, — прикомандирован. Пришей кобыле хвост! Нет, ведь это ужасно, не правда ли. Зажоры, холодно, издрог. В Арзамасе пьяный квартальный: я вас, майор, спас от гибели. Чорт знает что! Майор. Никогда и не бывал майором... Спас, говорит... Ах, дорогой мой! Не поверите, как вы меня порадовали... На Балканах один

раз этак же. Нет, куда хуже здесь! И такой компромисс. Калиф на час!

Через полчаса я прощаюсь с добрым стариком. Он тотчас же ложится на кушетку, сопит и жалуется, между тем как я усаживаюсь в сани и начинаю нырять по ухабам и зажорам[100]. Все еще темно, только в одном месте расплывается в тучах какое-то белесое пятно, должно быть, всходит луна.

В 4 часа в Руметихе. Ложусь в пальто и бурке на диван станции и тотчас же засыпаю. В семь часов утра — дальше в путь (это уже пятница).

3 апреля. К Арзамасу спустился с горы вместе с потоком. В 3½ часа из Арзамаса. Дорога очень плоха. Уже в Озерки ехали в воде, через гати бежит вода. В Озерках грозят, что будет еще хуже. «Надо быть, в той стороне (указывает на юго-запад), — дожди пали. Вода оттеда побежала. Пожалуй, не доедете». По дороге встречается народ. Женщины в праздничных нарядах, в шерст[яных] чулках и в котах перебираются через лужи. — Пустит ли этто вода нас? Не пустит... — Оказывается, от двух церквей они отрезаны водой, а сегодня страстная пятница. В Шатках за нами бежит толпа подростков смотреть, как мы проедем по площади. Посмотреть действит[ельно] есть на что. Лошадям по гужи. Сани, колеблясь, как утлая лодочка, плывут по воде. Мы с ямщиком, подняв кверху свои азямы, стараемся не потерять равновесия. Узлы я держу в руках. Кой-как перебрались. В поле темнеет, вверху мигают звезды, сырой воздух плотен и темен, дороги не видно.

— Втискаешься тут, — робко говорит ямщик, молодой и простод[ушный] парень. — Беда ведь это.

В темноте бурлит вода как бы в подтвержд[ение] его опасений.

— Нельзя ли месяца дождаться этто на умете?

— Какой месяц? Разве к пасхе месяц бывает?

— Вчера был.

— А нынче только перед светом покажется.

«Умет» (степное название пост[оялого] двора) стоит между двумя гатями, под лесом.

Итак, ночевать на умете.

4 апреля. В 4½ ч. меня разбудил ямщик. Холодное, сырое утро. За ночь вода отхлынула, оставив у дороги, а кой-где и на дороге следы своего ночного буйства: тину, разбитые льдины, рассосанный снег. С северо-востока бегут сеточки темных облачков, угрожающих дождем. Солнце чуть светлит край неба, в перелеске у дороги нерешительно посвистывает какая-то пташка. Зевается, дрогнется, так хорошо было на жесткой лавке на умете...

В Новой приказываю остановиться у столовой. Еще рано, но из труб уже вьется жиденький, впрочем, дымок. Стряпка собирается сажать хлебы. — Как идет дело? — Ничего. Оказывается однако, что здесь меня ждет сюрприз: является сотский и заявляет о разных непорядках: картошка мерзлая, гнилая, обвес и обмер. Уполномоченный, старик с благообразно-хитрым лицом, какие нередко встречаются в деревне, пытается опровергать, но — увы! — тщетно. Я убеждаюсь после некоторых опросов и проверки, что обвинения справедливы. Кстати неподалеку сход «насчет семян», и тут же, на сходе, мы сменяем Шаманина и выбираем Макара Артамонова. Красивый старик, лет 70, сначала отказывается, потом принимает. Мы идем в избу к Шаманину, отбираем от него материалы и деньги. Оказывается, что из 21 р., оставленного Н[иколаем] Мих[айловичем] Сиб[ирцевым], осталось уже только 5 р. 24 коп. На остальное деревня распорядилась так же, как нередко распоряжался и город, только в более микроскоп[ических] размерах. Кроме гнилого картофеля (на 6 р. 90 коп.) остальное почти все ушло «на прогоны». Всякую поездку за картоф[елем] и т. д. деревня сочла нужным оплачивать себе... Правда, что оплата производилась, напр[имер], за 12 верст (в вьюгу и холод) в 60 к. на человека, но при ином масштабе сущность явления осталась та же. Особенно горячился муж одной из стряпок. Весь запачканный мукой, держа одной ру-

кой мешок, он торжественно обличит[ельным] жестом другой указывал на гнилой картофель.

— Вот оно што! Нешто этак приказано? Приказано, чтобы правильно, а ты измену сделал... Нет, я говорю, ты мне дай, что по закону, тогда я могу ответность иметь...

Сход порешил дело быстро и тотчас же перешел к другим делам, насчет семян, которые, конечно, гораздо важнее. Хозяйка уполномоч[енного] очень обижена.

— Ах ты, боже мой. С нашим обществом никак не угодишь... Теперь вон он исповедался, а причаститься не может.

— Почему?

— Грехи вышли, нешто возможно...

— Подшибся. Ранее почтову станцию держал, теперь подшибся. Вот и похватывает, — улыбаясь, говорит мне про него ямщик дорогой. Выехали мы, за всей этой возней с восстановлением порядка в моей столовой, — поздно, часов в 9.

На заре еще, не доезжая до Новой, повстречал чиновника особых поручений Лебедева, ехавшего было, чтобы сменить Пушкина. Оказывается, что «обошлось», «губернатор уладил». Здесь множество рассказов о жестоких разговорах. Бестужева пушил, как последнего мальчишку. Пушкину сказал, что если вы не дадите слова измениться, у меня уже готов чиновник, чтобы принять от вас прод[овольственную] часть, а затем пойдет представление министру о неудобстве этого разделения. Итак... А. Л. Пушкин, красивый господин с седыми волосами, с холодно-изящными манерами, дал «честное слово... измениться»... Железнову прямо брошен упрек во взяточничестве... А все-таки дело осталось попрежнему. Боюсь, что з[емские] начальники, обруганные, но не запуганные, скоро оправятся и начнут вымещать обиду на том же ни в чем не повинном населении.

Здесь узнал о втором беспорядке в наших наскоро открытых столовых. Н. М. Сиб[ирцев] дал в Тетюши, небольшую деревушку верстах в 6 от Лук[оянова], припасов только на 9 дней. Он говорил мне об этом.

Уехавши в Нижний, я вспомнил об этом и дал телеграмму, но она опоздала: тетюшевцы, две нед[ели] назад подавшие нам прошение «в нуждающую комиссию», приходили в опустевшую гостиницу, где мы жили, толкались к Филатову и Лукину, но те ничего об них не знали. Моя телеграмма пришла через 2 часа после того, как они ушли из Лукоянова, а на след[ующий] день у них заиграли овражки, и было уже поздно. Четверг, пятницу и субботу столовая оставалась без действия. Сегодня страстная суббота, и назавтра я их оставил, как говорится, у праздника. К счастью, дело еще поправимо. В 6½ часов я, закупив 2½ пуда муки, 1 пуд солонины и ¼ мешка пшена, еду к ним, переправляюсь благополучно через овражки и назавтра опять водворяю праздник.

Деревня, прелестная по местоположению, на склоне горки, среди ветел, производит впечатление менее угнетенной, чем многие. Изба, где столовая, чиста и светла. Женщины к празднику одеты чисто. И однако сколько и здесь бедноты! В тесной и низенькой курной избенке лежит больной мальчик. Девочка 1½ лет мечется в кроватке, старуха стонет на печке. Молодица, оброшенная мужем, переселилась к отцу. Вшестером живут в кельенке 1½ сажен. Правда, ссуда поддерживает (что-то было бы у Пушкина!), хлеб чистый, но его, конечно, мало. Я даю немного денег, обещаю полушубок больному мальчику и записываю другого члена семьи в столовую... У молодицы, когда я даю деньги, являются слезы на глазах, у больного мальчика слабая улыбка. Боюсь, что это «тиф неопределенной формы», как выражаются здесь.

Возвращаемся вечером. Тихо, сумрачно. Лошади месят черноземную грязь. Вот мельница торопливо машет крыльями, домалывая к празднику «ссуду», мелькают огоньки, в самом воздухе чуется праздник...

Ямщик, молодой паренек, приятным грудным голосом (лица не видно в темноте) рассказывает мне о местных воротилах. Радуется, что губернатор разнес всех...

— А неопытен же и Бестужев, право...

— А что?

— Да как же. Генеральша тут приезжала, Давыдова. Подойдет к кому, — встают, а он сидит. — Какой, право!.. Папиросу вынул, закуривает. Уж и Обтяжнов же молодчина. Снял с яго головушку. Говорит: сударыня позволит ли еще курить-то...

Вообще парень, видно, присматривался и следил, насколько возможно, за происходящим. Бестужев, который, по его словам, «гладом у нас народ-те поморил», оказывается на всяком шагу посрамленным, другие все торжествуют. Я очевидно причисляюсь к другим, и он откровенно характеризует лукояновских «господ».

— А. В. Пр.[101] уж вот ахальник, этакого другого и не сыщешь в прочих местах. «Из матушки тебя в матушку» да на все лады... Ямщика у нас избил, и по сей час болен, в Новой деревне лежит (Иван Баулин). Ехали, слышь, на трех, гусем. Передняя с дороги и свороти. Запутались, дело в лесу, в Мадаево ехали... Он соскочил, давай его. А парень простой, неопытен. Нестолько, может, избил, что испужался шибко-больно. Захворал... Да, этто, чтобы приехать, как следует, — никогда! С первой ноги — сколько есть конского ходу. — Души! — кричит... У одного ямщика лошади от бегу этого загорелись. Сразу пустил, потом стали. На семь рублей оштрафовал содержателя. А тот робок.

— А жаловаться?

— Куда тут! Тебя же судить будут. А судить-то станет Бестужев. И-и, тут просто беда! А вдобавок больно уж робок хозяин наш...

В Лукоянове среди темноты — звон. Это — к заутрене. Церковь одна, звон гудит с высокой колокольни. Ему слабо вторит тюремная церковка за рекой, и еще откуда-то из-за полей, по которым журчат и струятся в темноте весенние ручьи, слабо доносятся тихие удары. Пасха тихо сходит на исстрадавшуюся, голодающую землю... [102]

7 апреля. Пришел № «Р[усских] вед[омостей]» от 4 апр[еля] с началом моей статьи [103].

8 апреля. Утром часов в 11 выехали с Б. Ф. Фил[атовым] и Мар. Мих.[104] на Белецкий через Тольский и Василев Майданы. В Тольске был в столовой.

10 апреля. Верхом на Никулино и Лодыгино. Список в Лодыгине.

11 апреля. Лодыгинцы получили хлеб и прип[асы].

12 апреля. Список на 84 чел[овека] в Никулине.

13 апреля. Утром с Белецкого хут[ора] на Батмас, а оттуда в Нов[ую] Слободу. Первый день пашни на хуторах. На возвышенных местах, по горкам земля уже просохла. Очевидно, засуха прошлых годов сказалась чрезвыч[айной] сухостью глубоких пластов земли, которая теперь жадно впитала всю влагу и наверху сохнет зам[ечательно] быстро. Дня три назад был снег, а сегодня пашут, и земля рассыпается. А дождя нет. Вот уже 3 вечера мáрит, встает и носится мгла, туманит, застилает леса и дали. Но еще не собирается в облака, а под утро — морозцы при звездном небе. Вчера и сегодня — признаки дождевых туч. Сейчас выходил нарочно из кочубеевского дома. На небе разостлалась темная туча и висит на одном месте, занимая половину неба и кидая мрачную тень, будто раздумывая...

В слободе — Обтяжнов, доктор Розанов, Н. П. Александров.

Был в Дубровке и Малиновке. Хотел прибавить в обеих деревнях, но неожиданно узнал, что опять все мои соображения и все отношения спутаны. Пушкин прибавил, выдает по 30 ф. и на рабочих. Но зато сбавил ссуду на всех, кто ходит в столовую. Мужики (в Мал[иновке]) только что вернулись из волости с этим известием; им выдавали добавочную ссуду (по распор[яжению] губ[ернатора], очевидно), и тут-то именно выяснилось, что на посетит[елей] столовой пала сбавка... А м[ежду] тем и губернатор и Обт[яжнов] положительно уверяли, что этого не будет. Да и что за бессмыслица: частная благотворительность, конкурирующая с правит[ельством], сборы, труды и хлопоты, чтобы вернуть в казну несколько сотен рублей.

Мужиков не было, у нас в столовой бабий сход. Одну женщину мы записали сразу: со слезами призналась,

что высекла веником ребенка за просьбу поесть. А между тем тут же прижимает его к груди, и ребенок ласкается!..

Вечером в Новой Слободе чай пил у Софьи Серг[еевны] Вешняковой. Они устроили свой приемный покой в помещении Кочубея, приехал новый доктор Вас[илий] Никанорович Розанов. «Баловство» в полном разгаре, и уже намечены больные.

14 апреля. Утром писал в «Русск[ие] вед[омости]». Скучно.

Вчерашний дождь обманул.

В обед — виделся с А. Л. Пушкиным.

Под вечер поехали с В[асилием] Ант[оновичем] * на поля [105]. Работы в разгаре, верхушки холмов уже лежат вспаханные, как бархат... Скоропашки, плуги, жел[езные] бороны, сытые лошади, сеялки, сыплющие дождем зерен на взрытую пашню,—все это производит впечатление жизни и бодрой работы. Бурм[истр] и приказчики подбегают к нашим беговым дрожкам. — Что, как земля?—Отлично, Вас[илий] Ант[онович]. — Озими? — Хороши, взяли силу, хороши озими. — Пашется хорошо? — Рассыпается, просто отлично. Все хорошо. Только бы вот дождичка.

Заехали в Пралевку. Одна столовая в чистой глинобитной избушке. Набилось баб, просят записать. Уполномоченный просит уволить его. Теперь выдали уже 2 пуда (с исключением все-таки его самого), и здоровому мужику хочется уже другой работы. Кроме того, от общества, говорит, благодарности нет. «Обкладывают тебя такими-те костерыгами... Глупые они... Вот по какому жеребьёчку развешиваешь, для равнения, всё спорются. Беда. — Ну, а если я тебе прибавлю еще одного? — И-и! Да ведь мне тогда глазы выцарапают Скажуть, себя записал, нас не пишешь. Нет, увольте!»

Пришел староста и все уладил. Приятный, красивый и солидный мужик, тот самый, который сидел в первое мое посещение под арестом за жалобы. Он уладил

---

* Курдюмовым.

все. Мы прибавили еще 19 челов[ек]. Одна женщ[ина] умерла, т[аким] обр[азом] теперь будет 80 челов[ек]. Стряпкам прибавлено по 1 человеку. Староста, кажется, имеет хорошее влияние. Споры сразу прекратились. «Мы, ваше благородие, как собаки голодные, куски друг у друга рвем»—говорили мне мужики до его прихода; и действит[ельно], как только речь заходила о прибавке того или другого имени, начиналось ворчание, и вспыхивали ссоры, хотя далеко не в такой степ[ени], как в первый раз. Староста даже без видимых усилий отстранил все это. Ему, видно, совестно за мир. «Нет, ничего, господин, так это, промеж себя. Прибавим кого следует, шуму не будет». — «Вот от самого старосты взять бы хоть еще одного...» — «Нет, вон тоё лучше, Марфу. Больная шибко. Глаз лопнул». Первый случай в Пралевке, когда человек отказался в пользу другого. Я записываю Марфу, записываю и старосту.

— А что Максим Савоськин?

Максим Савоськин — это тот больной, о котором уже идет переписка, имя которого печаталось в газетах, и из-за которого Пушкин делал внушение свящ[еннику]. Теперь я знаю уже эту историю. О Савоськине подал рапорт староста, что он помирает голодом. Это об[ычный] способ выражения. Послан был фельдшер. Оказалось, что Сав[оськин], больной изнурит[ельной] лихорадкой, получив пустую ссуду, испек чистый хлеб, который и был найден фельдшером, посещавшим с целью «проверки». Отсюда пошло, во 1-х, известие, что он не нуждается и ест чистый хлеб, во 2-х, староста за неверное сообщение призван к начальству. — Как же ты говорил?.. — Я не знаю, отчего он помираеть, — резонно ответил староста, — а только, что болен, а есть нечего. (В дек[абре] и янв[аре] не получал ничего, в февр[але] ½ пуда. Сын 25 лет где-то на работе, дома трое). Старосту посадили под арест, а относит[ельно] свящ[енника], который будто бы где-то говорил, написана грозная бумага. Савоськин этот, чтобы выпросить возик соломы, велел себя вынести на улицу. Он хотел хоть воспользоваться своим уж[асным] положением. Смотрите на меня, дескать... Управляющий, чело-

в[ек] нервный, увидев это ужасное существо на навозной куче, тотчас же отвернулся и дал соломы. А в ночь, как я узнал, Савоськин помер...[106]

15 апреля. Утром пришел пралевский староста, сообщил о смерти Савоськина и принес добавочный список... (Приб[авлено] 19 человек). Ночной дождик слегка освежил землю...

Отослал 1 фельетон в «Русские ведомости», а также отчет и письмо в Нижний. Сегодня засед[ание] Продов[ольственной] комиссии в Лукоянове (наверное какая-нибудь кляуза готова).

Часов в 10½ выехал с Вас. Ант. Курдюмовым. Был в Логиновке, где распорядился прибавить еще человек 10 и сделать 2 столовые. Указали 6 домов, где есть больные. У одного, Михаила Сучкова, больна жена (кажется, цынгой). «Дух больно нехороший. Ходить в избу стало не можно. Я, баит, и сама-те помру с духу этого». Я вошел в избу, — запах действит[ельно] ужасный, — я с трудом преодолевал тошноту. Нестарая, симпатичная женщина лежит и стонет. Муж еще не вернулся с базару. Другой Сучков, Андриан, рассказывает, что пошли они вместе (еще вчера), да дорогой Михайло пристал, выбился из сил. «Иди, бает, брательник. А я полежу». Так и лежит вторые сутки где-нибудь. — Беда, — испуганно говорит кто-то из шабров. — Боль пошла по нас. — Как не пойдеть, *с этакого хлеба она и завязалась, хиль-те*. — Теперь хоть дышать можно, прибавили (результат поездки губернатора), а то дадуть 1½ фунта на 6 человек, чего тут поделаешь! Вот она и взялась с того времени...

«*Хиль взялась с дурной пищи*» — можно ли более метко сказать то же самое, что говорили в губ[ернской] комиссии врачи! Истощенный голодом организм дает почву для заболеваний. Хиль с дурной пищи. И наука, и непосредственное чувство невежественного народа с полной очевидностию устанавливают эту аксиому. А между ними — А. Л. Пушкин и Продов[ольственная] комиссия, для которых не существует никаких очевидностей.

В семье того же Андриана Сучкова болен мальчик (Гриша). Желтый, исхудалый, с иссохшими ногами, он жалуется только на живот. Что всего более поразило меня, это одутловатость лица и начинающийся отек ног: вот он голод, от которого пухнут. На лавке только что испеченный хлеб. Если бы здесь был г. з[емский] начальник, он наверное сказал бы: вот доказательство, что причина — совсем не голод. Но мальчик не может уже есть черного хлеба, а тогда, когда он еще мог его есть, — ссуду еще не прибавляли...

Остальные больны лихорадкой уже по нескольку недель (Григорий Маслов, Гаврило Авдеев и др.).

Я дал 10 р. уполномоч[енному] по столовой Ив. Маслову, чтобы он выдал по ½ ф. говядины и по 2 ф. белого хлеба на каждого больного. Для детей по 5 коп. на молоко. Кроме того, я роздал еще 3 р. 60 коп. семьям больных прямо на руки.

Оба уполномоченные просят их уволить. Я понимаю, что теперь начинаются работы и здоровым работникам не до возни со столовыми. Но что меня удивило несколько, это внезапное предложение уполномоченного: закрыть столовую и раздавать каждому ее участнику по 30 ф. Предложение это встретило однако возражения...

После обхода больных мы поехали дальше в Михалков Майдан. Знакомство со свящ[енником] Вас[илием] Павловичем Веселитским и его семьей произвело на меня своеобразное впечатление.

— Мы живем в стороне от мира, — говорил мне батюшка. — Газет не получаю, довольствуюсь епархиальными ведомостями. Не позволяют средства. Как-то давно приезжаю в Нижний, посетил родственника, тоже из духовного звания. Слышу, говорят о войне между Германией и Францией. — Да разве, говорю, воевали? — Что вы, говорят, где же вы живете? (лукавит очевидно...) — А в Михалковом Майдане, говорю, там у нас это неизвестно... Эй, сынок, — перебил отец Василий свой рассказ, — поди-ка ударь в колокол. Раз, два и до пятку ударь...

— Это, батюшка, зачем?

— А это я таким способом призываю сторожа, а его мы пошлем к сельским властям, чтобы собрали сходку.

— У вас, кажется, нужда поменьше других мест?

— Ох, большая!

— Большая, — подтверждает и матушка, — а в прошлом годе была еще больше. Изнуждался народ. Сухарики хлебные подавали мы ребятам, так, верите, на заре, бывало, выйдешь на крыльцо коров доить, а уж они, ребятенки, ждут, дрогнут у крыльца. Что вы этакую рань, мол? А что делать, известно не спится голодным. На хутор тоже бегали. Налетят, как галчата. Приказчик Иван Степанович человек жалостливый, тоже давал, да разве напасешься! Вот, говорят ребята эти, потерпите, у попа горох созреет, мы к вам бегать не станем... И правда, посеяли гороху грядки две. Думали: вот созреет, будет чем семинариста нашего в город проводить. Куда! И двух мер не намолотили с грядки. Так вот, как галчаты, с утра на плетне и сидят.

— Вы, видно, не очень на них и сердитесь, — говорю я, глядя на соболезнующее выражение матушкиного лица.

— Что с ними поделаешь? Голодные.

— Да вот вам пример лучше всего, — прибавляет батюшка. — Приказчик, Ив[ан] Степаныч, едет по сенокосу. Глядь, мужик Егор лежит, не косит. — Что ты, говорит, лежишь? — Тот молчит, а другие за него уж говорят: — Что ему не лежать, поесть нечего. Ел все время козлеца... Трава такая, желтым цветом расцветает, а теперь и козлец перезрел. Брюхо-то вовсе пусто. Взял он его на хутор, накормил щами, хлеба дал. Вечером все ушли с покосу, глядь, кто-то при луне косой машет. Подходит ближе: — Егор! Что ты это? — А что ж, говорит, ноне я поел. Надо косить, пока сила не ушла. Завтра, чай, опять оголодаю...[107]

Сам свящ[енник] тоже не благоденствует. Кроме того, приход неблестящий, «мужики очень не развиты».

— Дети, я вам скажу, право дети. Училище я исхитрился устроить. Хлопотал, бился, измотался весь. А как кончилось дело, они же приходят: — Батюшка,

поздравить вас надо с окончанием. Четвертную-то уж поставьте! — Толкуйте с ними! Так и поднесь считают, что это я для прихоти...

— А пороков я им не приписываю. Дети, и все тут! Краж у нас не слышно. Это я, положим, не считаю за кражу, что тут бывало — муки там попытается утащить. От голоду! Это надо считать все равно, что голодный скот в городьбу лезет...

Семья и бедность. Потолок провис, стены ободраны, зимой холодно. Старшая дочь, высокая и довольно миловидная, неглупая девушка, учит детей в школе за... три рубля в месяц! Недавно дали награду в 30 рублей. Радость. А прежде и замечать не хотели, или, вернее, не могли. Когда начали открывать церковно-приходские школы, Вас[илий] Павлович один из первых все устроил, занялся всеусердно. Услышав, что ревизия едет, обрадовался. Были и суетные мысли, — увидят, покажу свое дело. Но «ревизия» проехала мимо, только колокольцами пробренькала невдалеке. А отчего? Какая, дескать, в Михалковом Майдане школа? Наверное фиктивная, на бумаге. Не стоит и срамиться...

Впоследствии впечатление сильно изменилось. Школа — фиктивная. Мужика, который мне об этом заявил, посадили в кутузку.

16 апреля. Ночевал на Каз[енном] хут[оре], в 11 часов в Роксажоне. — Мордва.

Прелестное, мягкое и теплое утро. Дальние перелески набухли и посинели, по небу ходят кудрявые облачки, вверху ослепительно-белые клочья тающего пара... Быть дождю. Озими только и ждут дождика, вспаханная земля быстро сохнет... Равнина, по которой меня бойко несут сытые хуторские лошади, охвачена кругом грядой небольших холмов, на которых лежат деревушки — Лисинка, Петровка... Это уже граница. За этой небольшой черточкой воды, сверкающей под холмами на черной еще земле, начинается Сергачский уезд, другое царство, где з[емский] на-

ч[альник] Ермолов щедро раздаёт пособия и усеял свой участок столовыми, — предмет соблазна и всяких толков для жителей по сю сторону этой черты...

Небольшой ручеек отделяет Петровку — ермоловскую — от пушкинского Роксажона. На выезде бредет баба с мальчиком.

— Откуда?

— С Черновського, ходила в больницу, с мальчонком вот. Да что-то толку-те нету.

— Что такое у тебя?

— Рвота. Хлеба нутро не примаеть...

— А хлеб хороший?

— Ничаго бы. Подмешиваем же лебёдки, да немного, не как другие. А хворь! Мальчонко измаялся.

Теперь то-и-дело слышишь об этой хвори: рвота, живот не примает хлеба... И это еще без лебеды. Что же сказать о тех, кто питался лебедой всю зиму?..

В Роксажоне — мордва. В избе старосты одни женщины в причудливых мордовских костюмах. Их несколько, и у каждой на руках ребенок. На вопросы отвечают сперва как будто с улыбкой, а кончают слезами. Ребята хворают, золотуха.

— Чем кормите?

Вынимает из стола початой каравай: черный, как земля! Итак, даже усиленная раздача еще не вывела этого хлеба!

— Больные есть, кроме детишек?

— Старик у нас пу́книт — говорит одна на своеобразном жаргоне.

Когда вы говорите с мордвином, то едва заметите, что это не совсем русский мужик, но бабы говорят гораздо хуже.

— На всю зиму кворант. Распукнит весь, ноги распукнит, сам распукнит. И еще способие неполное вышло. Вот дива-ту. Дивимся мы, чего ж это право?

— Отчего ж это он захворал?

— Кто знаит? Пукота в нем, пукнит. Клеб мало, вчерась выдавали ему старукой по 30 фунт... Да видно мало...

Когда собрались старики, меня удивило, как скупо

мордва составляла мой список. Хлеб почти у всех — черный, с лебедой больше, чем на $^2/_3$, нужда очевидная, а набралось только 28 человек. Когда я выражал готовность принять еще того или другого, мужики говорили в один голос: «Все такие. Тогда уж по́ряду писать».

Из Роксажона в Пекшень. На дороге небольшой хуторок. Крохотный домик, ветлы и небольшой прудик,— Стекловский хутор. У плетня только что подъехавший священник подвязывает худую лошадь, запряженную в таратайку.

— Это не пекшенский ли? — спрашиваю я у кучера.

— Он.

Я останавливаюсь и рекомендуюсь. Красивое лицо совсем еще молодого свящ[енника] оживляется, когда я объявляю, зачем приехал, и он с большой готовностию возвращается в село.

Это тот самый свящ[енник], по поводу которого г-н Пушкин счел нужным возбудить замечат[ельную] переписку, уже мною отмеченную. От него я узнаю подробности, которые дорисовывают всю историю еще более характерными чертами.

Свящ[енник] был позван напутствовать больного Прыткова. У Ив[ана] Прыткова заболели 2 сына. Один подкармливался в училищной столовой, и хотя тиф был гораздо сильнее, но все же он оправился. Другой умер. Молодой священник спросил, чем кормят больного. Отец со слезами подал кусок черного, как навоз, хлеба. Священник говорил, что сам он тоже не мог удержаться от слез. Он тотчас же отправился к себе и прислал несколько хлеба, отправился к Павлу Адр[иановичу] Горинову[108] и рассказал о положении этой семьи. Кроме того, встретив фельдшера, указал ему на больного и на его положение. За этим последовали следующие, поистине замечательные результаты. Вследствие заявления Горинову, у больного появились: «белый» хлеб (надо заметить, что здесь «белым» называется теперь ржаной, но без лебеды), картофель, капуста и масло. К сожалению, все это яви-

лось уж слишком поздно, когда уже «нутро ничего не принимало». Как бы то ни было, все эти продукты возили в избу. Результатом же заявления, обращенного к фельдшеру, было то, что фельдшер передал А. Л. Пушкину, будто по заявл[ению] свящ[енника] Прытков умирает именно от голоду. Затем посланы урядник и фельдшер, и около не остывшего еще трупа произведен обыск. Причем найдены те самые продукты, которые даны священником и П. А. Гориновым. Все это признано доказат[ельством] облыжности показания священника.

Я рассказываю факты, и притом голые факты. Но я видел Прыткова. При первой встрече со мною, как с «начальством», у него как-то дико и испуганно забегали глаза... Потом как-то грубо-отрывисто, точно затравленный зверь, он начал рассказывать свою историю. Когда дошел до смерти сына и до находки хлеба, который пришел слишком поздно, чтобы спасти сына, но как раз во-время, чтобы отцовскому горю придать вид обмана, — у него стали вздрагивать губы и обрываться голос... Вдумайтесь в это взаимное положение сторон, читатель. Представьте только себя в этом положении... Го́лод, больной, питающийся землей вместо хлеба, поздняя помощь, смерть, потом урядник, шарящий в печке, с торжеством вытаскивающий оттуда хлеб, данный добрыми людьми, как поличное...

Не кажется ли вам, что это значит слишком уж... беззаботно и смело играть самыми глубокими чувствами людей...

У этого же Прыткова умер сын малютка в январе. Всю зиму с дек[абря] он получал на 7 едоков 2 пуда!

— Семь едоков, осьмая лошадь все тоже пользовалась из эфтой суммы, — говорит он. Сколько нужно истинного хозяйственного героизма, чтобы при этом условии удержать еще лошадь. Максим Савоськин велит себя вынести на сырой навоз и умирает, выпросив ½ воза соломы для околевающей лошади. Прытков теряет сына, делясь с лошадью 2-мя пудами пособия...

— Натура у человека все-таки слабже, как у скоти-

ны, — говорил он приставу, производившему дознание о причинах смерти его сына... — А мне нельзя. Я ее содерживал всю зиму для пользы... Без ее — помирать... По 15 фунтов ей месить надо теперь...

Другой случай — дочь Ильи Клементьева Ямушева умерла 13 марта. У нее «выходил живот», т. е. было выпадение кишки. Это, конечно, не гарантировало ее от последствий дурного питания. А каково могло быть это питание? Семья — 6 едоков — получала 2½ пуда! У этой не нашли ничего, кроме выпадения кишки, которое и приведено с торжеством, как истинная причина смерти!.. Итак, при выпадении кишки можно питаться 20 фунтами ржи с лебедой, и при этом быть гарантированным от всяких последствий дурного питания. А если и последует смерть, то... от выпадения кишки!

. . . . . [109]

Сход на вольном воздухе. Молодой батюшка с некоторым страхом предупреждал меня, что сход будет беспорядочный и шумный. Он уже ранее, по поруч[ению] благоч[инного], пробовал списать нуждающихся, и так расшевелил этим голодное население, что теперь опасался вновь возобновлять эту процедуру. Я вспоминал Пралевку, и тоже шел с предвкушением тяжелой работы.

Опасения эти рассеялись при первом же приступе к работе. «Ежели так станут выдавать, промаемся сами», — заявляли мужики один за другим.

— Не пиши нас. При этом способии можем кормиться как-нибудь.

— Спасибо, прибавили. Мимо меня иди! Не надо.

Зато, если попадалось имя действительно выбившейся семьи, указания были совершенно единодушны.

— Авдотья Батькина, — читает свящ[енник].

— Авдотья Петрович Батькин — его пиши!

— Слепой девка.

— Авдотья Петрович кормить надо!

И Авдотья Петрович вносится при общем единодушии.

Вот что значит прибавка хлеба голодному народу,

и вот что совершенно изменяет физиономию толпы. «Точно не эти люди», — с удивлением говорил свящ[енник].

Как однако просто водворять «спокойствие в уезде». Это простое средство представляет еще и то удобство, что при нем можно не тратить сил на розыск возмутителей среди сельского духовенства!..

Недалеко от села мы обгоняем пикшенского писаря. Мужик в лаптях с книгой подмышкой шагает в «правление». Мы сажаем его в повозку и едем далее...

— Как у вас в Болдине? Лучше, чем у других?

— Как сказать...

— Да вот как, — перебивает ямщик. — По всю зиму нищие-те с сумами от нас ходили в Болдино, из Болдина к нам.

— Стыд имеют, — говорит писарь и затем, помолчав, как-то осторожно спрашивает: — А что, дозвольте спросить, почему в Сергачском уезде по всю зиму ссуду давали большую, а здесь опять иначе?..

Я не берусь разъяснять этого вопроса, и мы едем далее молча.

— Мне вот земельного наделу нету, не знаю, каким родом надел утратился... Сам хворал. Это вот месяца три поправился. А то ноги были недействительны.

У въезда в село мужик распрягает тощую лошадь от сохи.

— Пошабашил, — говорит ямщик. — Эх, и маялся этот мужик зиму-те, беда! Ребят полна изба, работник один. Хлеб чернее земли...

Вот оно, думаю я, благополучное село!

Теперь на закате передо мною из-за холма выглядывают купол и деревья Б[ольшого] Болдина.

Пошел дождик, начинало вечереть, когда я заехал в бывшее поместье великого поэта, ныне принадлежащее А. Л. Пушкину. Огромное село, широкая улица, по которой не раз проходил поэт с назревающими строфами в душе... Дремлющие старые деревья сада, висячий мостик, большая, чисто барская усадьба... Серое небо, тихо просачивающийся дождик, сумерки, и ни души — невеселые, туманные мысли...

Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил...[110]

Не здесь ли написаны эти строки? Как много прошло времени, как много утекло [воды], ярем старинной барщины давно брошен... Однако невеселы и современные впечатления твоей родины, великий поэт!

Остановившись на взъезжей, я отправляюсь к местному священнику. В углу, приткнувшись к заборам барской усадьбы, светятся окна поповского домика. Разыскивая в сумерках ход, я отпираю какую-то калитку, делаю несколько шагов и внезапно вздрагиваю. На меня кидается цепная собака, встает на задние лапы и бешено лает. С другой, с третьей стороны в темноте я вижу себя в каком-то аду собачьего рева и лая и поспешно ретируюсь. Теперь только я вспоминаю, что меня предупреждали давно: в Болдине ночью нельзя пройти к священнику. Приходящим за требой уже несколько раз грозила смертельная опасность, а больной ребенок самого священника, напуганный внезапным и необычайным лаем, получил припадок падучей болезни...

Здесь у самой усадьбы, откуда исходят все грозные «бумаги», в небольшом домике, молодой, красивый священник встретил меня, когда я отрекомендовался и объяснил цель своего приезда, как-то особенно сдержанно, а на прямой мой вопрос, каково положение села, ответил так же прямо:

— Я только одно скажу, что ничего я вам не скажу. Нам, священникам, говорить не приходится. Вы, может, не знаете, а мы знаем, как это истолковывается. Извините!

Я отчасти понял батюшку, живущего у самого источника «лукояновского духа», и был очень благодарен за то, что он не отказался, если я открою столовую, принять ее в свое заведывание.

— Это наш долг, — говорил он. — А за сведениями обратитесь к другим источникам.

Напившись чаю, я вышел на площадь, признаюсь, не без страха. А ну как церберы уже спущены! Грубый бас какого-то сердитого пса бухнул несколько раз, от-

ветил другой, залязгали цепи, и весь темный сад, дворы и закоулки усадьбы огласились ревом и лаем. Я прибавил шагу среди кромешной темноты. Впереди едва-едва белела церковь, налево пруд чуть выделялся слабо светлящейся поверхностью, под деревьями нависла тьма и сырость, усадьба светилась одним огоньком. Сердитое ворчание и угрожающий лай все раздавались по временам в разных местах.

Большое Болдино спало, со своей загадочной еще для меня нуждой...

«Так жил он, — вспомнилось мне вдруг окончание какой-то старинной повести, — окруженный всеобщими благословениями и не нуждаясь в иной защите, кроме любви и преданности облагодетельствованного им населения...»

Удивительно нелепы эти старинные сказки, — думал я, ступая в темноте в какую-то лужу...

17 апреля. Утром проснулся в 6½ ч. Пасмурно, сыро и как-то мягко в воздухе. Дождь, однако, за ночь «не надумался», все висит еще туманом по небу... Пришла шацкая мещанка, в салопе и рваных башмаках. Живет в Пекшени; узнав, что я был, прибежала в Болдино просить помощи. Живет с 2-мя девицами-дочерьми в келье. Я даю 1½ рубля и отсылаю к священнику...

Хозяйка взъезжей — тоже старуха с двумя девками. Мужика в семье нет, и они втроем правят постоялый двор. Баба, привыкшая обращаться с господами... Всех хвалит, все хороши. А. [Л.] «сам» раз приходил к ней на двор, — говорит об этом с благоговением...

— Способие-то теперь прибавили, — говорит она, — а было что — страсть... Вот как прибавили способие, нищеты-те не стало, схлынула. А прежде табунами ходили. Рябухневы этто мальчонки ходили. Сам, слышь, в Саратове жил по три года, ничего не добился, по канату его пригнали. Пошел в семье здор. Братья говорят: мы твоих ребенков три года кормили, таперь чего от тебя видим. Шум. На детенков-то уж мы индо плакали... Пойдут етаки махоньки, младший трех го-

дочков. Зимой, по сугробам. Молиться-те не умеет, варешки уронит... Горе. В три сумки собирали, да и братья-те невелики. Пошел это, в мокроть, в воду упал... Девки у меня вынули его, в избу отнесли, плачет... И мать-те плачет. Девять ребенков всех-то у них этак же пущены были. Ну, теперь, как дали способие... На страшной, слышь, выдали [111], теперь опять прибавлено. Не видим мы их... Малость самая ходит...

Недавно я слыхал, что прибавочная выдача уже успела обнаружить деморализующее влияние... Надо думать, что одним из признаков лучшей народной нравственности нужно считать эти табуны нищих «ребенков» трех, четырех и пяти лет, начинающих свою жизнь нищенскими сумами и утопающих в снежных сугробах. Четырехлетний ребенок. Может ли быть что-либо более развращающее, более недостойное христианского общества, как это зрелище массового нищенства детей!..

Схлынула, и слава богу, а все-таки мимо моего окна то-и-дело проходят нищенки, больше бабы, порой дети. Скрипнет одна дверь, потом другая. Это зашли к хозяйке. Потом я вижу в окно, как баба уходит, пряча за пазуху или в суму кусок хлеба.

— А много все-таки ходит еще, — говорю я хозяйке.

— Хо-дют! Мало ли. Это вот сейчас две приходили, знаешь, в красильню. Ну, хлеба не захватили, может, и дома-те нету, а есть-то хочется. И подаешь.

— Этак много ли у вас выйдет?

— Кто знает, не считаем мы. Сказывают, грех считать-то. Этак вот один мужик надумал усчитать. Купил на неделю, сколько прежде покупал. Не буду, бает, подавать неделю, много ли останется. Что ж ты думаешь, — ведь и на неделю ему не хватило, себете... Вот оно дело какое, милостыня-те! Когда уж нету, не подашь, а есть — подаешь... Как быть-то!

— Кусков 10 в день выйдет?

— Нет, больше много, гляди [122]!

Весь день, прослышав о моем приезде, приходят ко мне просители, больше бабы. Сироты, вдовы; «мир та-

кую моду завел, говорил мне Иван Петрович Татаринов [113], что отнимает от сирóт наделы». Жалуются. Да, крестьянский мир с его трудовым началом далеко не безупречен, и давно уже пора перетряхнуть многое, что в нем застоялось, заржавело и покрылось плесенью. Моя хозяйка рассказывает, что как только умер ее муж, мир тотчас отнял землю у сирот. «Трудовое начало»! Однако, это трудовое начало приводит к тому, что отец, умирая, со слезами на глазах говорит: «Знаю, сгонют моих сирот». Слава богу, говорит хозяйка, усадьбу-те успел как-то укрепить бумагой, а то, пожалуй, из дому выгнали бы. Бывало!

Метелкин, покойный муж моей хозяйки, был содержатель постоялого двора и торговец... Но вот стоит у моей двери лохматый мужик, с тем особенным диковинным взглядом, который бывает у загнанных судьбою людей, ждущих от жизни одних напастей.

— Не можем себе кормиться, ваше благородие, — говорит он с расстановкой и, как будто желая более внедрить в меня эту мысль, отчеканивает еще раз: — Корму себе не можем иметь, — пай отняли потому что у меня... Гладом и в урожай должен помирать...

— Кто отнял?

— Мир, богатые мужики. Сын у меня помер в одночасье, мир землю и снял, оставили одну душку. Потому что, говорят, он не может заплатить супротив нас. А как заплатить, ежели оставили на двадцати саженях. Детей теперича, ребенков-те, пятеро.

— Что же, на тебе много недоимки?

— 50 рублей есть. Как и на прочих, по два-те года неурожай, все накопили. А теперь прямо я уже не крестьянин. Потому что мир неправдой поступает. Который человек ежели богат, то его и послушают, а кто ежели спотыкнулся, то сейчас насядут... Кабы не Иван Петров, погибать бы должен...

Иван Петров — это Татаринов, арендатор Большого Болдинского хутора, крестьянин из того разряда, который принято называть «кулаками». Торгует водкой, арендует базарную площадь, собирая по две-три копейки с проданного пуда, берет залоги, дает деньги в

долг и т. д. И однако, — такова уж жизнь, — фигура эта чрезвычайно усложняет картину. Не в первый раз уже я слышу эту фразу: «Кабы не Иван Петров, ложись, помирай». Мир стеснил, «кулак» выручил! Это бывает, и над этим стоит задуматься. Я не против мира, я не за кулачество. Но... я сегодня был у Татаринова и совсем забыл внести этот эпизод в свой дневник.

Фамилию Татаринова я слышал еще в Нижнем, так как он получил за свою благотворительную деятельность официальную благодарность. Это, конечно, еще не много, и я не упомянул бы об этом, если бы не слышал имя Ивана Петровича из уст мужиков.

Хутор его виден прямо из моего окна. Я прошел туда пешком. Хозяин был у какого-то моста. Работник побежал за ним, а я вошел в маленький дом. Прежде всего своим входом я испугал какую-то девочку, которая сразу, увидев меня, начала плакать, так что и мне стало жалко. Через четверть часа ожидания в маленькой гостиной, украшенной портретами царской фамилии, изображением блаженной кончины Серафима Саровского и т. д., — на пороге появилась довольно невзрачно одетая фигура хозяина, высокая, грубоватая и мало культурная фигура, с загорелым лицом и бородой, выцветшей на солнце. Он, повидимому, не решался сесть при мне, в манерах робость бывшего крепостного человека...

Я сам должен был пригласить хозяина садиться. Понемногу мы разговорились. Он рассказал по-своему признаки бедствия.<Я уже указывал на то, что каждая профессия определяет особую точку зрения на это изменчивое, разнообразное море нужды. Иван Петрович указал по-своему: к нему и к Павлу Адриановичу Горинову приходили продавать весной посевы овса. Павел Адрианович набрал их, прямо сказать, большое количество по шестнадцати рублей десятину. Овес уродился порядочный... Он взял свои шестнадцать рублей, овес возвратил, хотя имел запродажные записи. А мог забрать весь посев, рублей на сто. И брали!>[144].

18 апреля. Ночь спалось плохо, одолели тараканы, — изба моей хозяйки не принадлежит к тем, о которых сказал губернатор, что в них вывелись прусаки, что составляет единственную услугу Лукояновской продовольственной комиссии своему уезду. — Часов в семь под моим окном раздался звонкий детский голос: «Милостыньку христа-ради». Я сначала хотел все-таки не слышать, но голос звенел неустанно и настойчиво, и мне стало стыдно. Я встал... — Урядник предлагает ехать в Пермеево вместе с писарским сыном. О чем-то хлопочет и чем-то беспокоится...

Еще не оделся, уже пришли два мужика: Андрей Петров Ледяев и Василий Миронов Андреичев. У первого семь едоков, получал по 2½ пуда, теперь по 5 пудов 10 фунтов; у второго едоков шесть, получал по 2½ пуда, потом 2, теперь 4 пуда 20 фунтов; чего тут поделаешь, выбились, семян нет, озимого много не засеяли. Лошади вышли в поле, не работают... Просят помочь. И опять: кабы не Иван Петров, не знаем, что бы и было... Земский начальник написал: семена сполна засыпаны, а иной вовсе не засыпал...

Оказалось: оба они собираются на низ и уже получили по рублю у Татаринова. Насчет... [115]

Пришел семидесятилетний солдат николаевской службы, кланяется, шамкает, просит помочь выхлопотать пенсию — отговеть и то нечем было.

— Что же не шел к Ивану Петрову? — спрашивает урядник. — Ведь он объявлял, кому говеть не на что, выдавал по 30 копеек.

— Иван Петрович Татаринов? — спрашиваю.

— Так точно. Много он им помогал. Теперь вог два года неурожай, сам, знаете, подшибся, а прежде много помогал. В прошлом годе хлеб дорог стал, а на дальних базарах гривенником дешевле. Он привозил пудов по двести, пускал за дешевую цену; раздаст, и останется у него от базару рублей 25... Да он и с хозяйкой-то вот какой характер имеют: придет к нему мужик, загрустится, так ведь он и сам с ним за-

плачет. Право, ваше благородие, заплачет. Ну и терпит себе убыток...

Часов в 11 выехал в Пермеево. Жарко. Озими после сырого дня зеленеют на солнце... Хутора, деревеньки, села мелькают среди темных еще полей, точно на плане...

Пермеево — прелестное небольшое село, широкая улица, обсаженная по обеим сторонам большими ветлами, между дворами тоже ряды хороших прямых ветв[истых] деревьев. Посередине — огромное старое дерево, еще безлистое, сплошь усаженное вороньими гнездами. Множество птиц машут черными крыльями и хлопочут, и кричат, точно и у них начинаются какие-то работы. Это придает селу вид особенного оживления и домовитости...

Хозяева в полях, собираются долго. Я остановился у старосты в чистенькой избе, оклеенной по двум стенам дешевыми обоями. На стенах — картинки, между прочим портреты Островского [116] и Щедрина [117].

Хозяйка, очень приятная на вид мордовка, с умным лицом и хорошим русским выговором, с огромным животом, обещающим не менее двойни, — находится в большом затруднении.

— Ты из Б[ольшого] Болдина?

— Да.

— Не встречал на дороге двоих: большой мужик с парнишкой.

— Встретил.

— Сумлеваюсь я через этого мужика. Подошел, слышь, к окну, просит клеба. Я даю. «Нет, бает, ты мне за деньги. Мало клеба у нас. Ну, все-таки он дал пятачок, я ему клеба подала. Взял он, скусил, опять подает в окно. Неловко нам, ты отрежь. Я взяла нож резать, а он от окна и пошел. Я ему кричать: погоди, возьми пятак назад, не слушает, так и пошел. Что такое это, какое дело? Вот и клеб этот. Если мало, сказал бы. Может, клеб не показался, — деньги бы взял. А то на: оставил. Больно сумлеваюсь, что за человек такой... Дива...

— Отдай нищему.

— Отдам, и деньги отдам, и хлеб отдам... Нельзя оставить... А дива, больно сумлеваемся.

Собираются, хотя и с трудом, старики. Рисуют положение села в самых мрачных красках: в 1 обществе (38 домов) высчитали, что не хватит семян на 35 десятин (сороковых), т. е. 840 мер (105 четв.). Зимой, когда выдавали 20 ф., и то не на всех, распродали скот. На все общество осталось 18 коров, 28 овец, 15 свиней. Вот как быстро падало хозяйство; у Кондратия Царева были три коровы и 2 телки, осталось 2 коровы, и то потому, что одну успел заложить вместо продажи. Это мужик зажиточный, много выше среднего. Лошадей теперь 43. Как и всюду, за лошадей держались крепче всего, — умирай сам, а лошадь поддерживай, — но все-таки 11 домов безлошадных (почти $^1/_8$!).

Пока собираются, группа крестьян-мордвы из 1-го общества (здесь о[бщест]ва 2: одно — бывшее удельное, другое — помещичье) начинает совещаться, один кладет на счетах. Оказывается, что они составили уже свой контингент для столовых и насчитали 78 человек. Во втором обществе — вдвое больше домохозяев, и значит надо будет вдвое, — таким образом, столовая выйдет на 225 с лишком человек. Это, конечно, невозможно, но так как я их совещаний не понимаю, то мне трудно проконтролировать их выбор. Однако мне помогает случай: начиная записывать с их слов, я натыкаюсь на того самого Кондратья Царева, который только что рассказывал мне о своем хозяйстве. Из его семьи отмечен 1. Не обращаясь прямо к нему, я начинаю объяснять, что всем помочь я не могу и что следует писать только самых неимущих.

— Ну, меня мимо, — говорит Царев.

После этого сразу выпадает бо́льшая половина, остается 33. Это похоже на дело, т. е. это средняя наша норма. Второе общество, присутствуя при этой моей борьбе, повидимому, решилось не так легко уступить мне, а так как и здесь я ничего не понимал из их бесед и не мог уловить ничего из этой перестрелки замечаний и споров, то второе общество состави-

ло списки на 80 человек. Это пропорционально с первым, но говорят, что удельные были богаче, и, значит, можно бы меньше. Ну, это, конечно, не беда. Несомненно, нуждаются все попавшие, и только здесь я снял два пласта бедноты вместо одного [118].

Оригинальное знакомство с пермеевским священником. Вечером в Чиреси, ночью — назад, поэтич[еская] поездка при луне. Темный и вместе звездный вечер. Светит даже молодая луна, резко рисуясь на темном небе, но свету мало. Тени чуть заметны на земле.

Ночлег в Слободе. Письма и деньги.

20 апреля. В Сумарокове.

21 апреля. Списки в Козиковке.

25 апреля. В Тетюшах с Перчиком [119].

29-е. Списки в Печах. — Вечером в доме лесничего. Матвей Ив[анович] Гелинг, управляющий шадровским им[ением] баронессы Мейендорф, рассказывал о рабочем при набивке ледника. Упал.—Отчего?—2 дня не ел.

1 мая. Циклон. Утром в Елфимово пешком.—Встреча с Ларионом Юрочкиным на дор[оге] [120].

Часа в 2 я иду пешком из Елфимова на Белецкий хутор, посетив свои столовые. Впечатление смешанное. Весна сильно смягчает острые, бьющие в глаза впечатления нужды. Зелень, тепло, воздух — все это составляет рамку, в которой нужда и голод как бы теряют свои мрачные очертания. Детишки бродят по полям и роют какие-то корни, тощая скотина пестреет на лугах; все, что было заперто в холодных избах, что теснилось в них, со своим унынием и голодом, теперь разбрелось по свежему воздуху. К этому прибавилась усиленная выдача ссуды и надежда. Куда ни посмотри, всюду зеленеют веселые озими изумрудным прелестным ковром. Цены на хлеб падают, в народе растет надежда.

— До весны продышали, благодарить бога и доб-

рых людей, — говорили мне в избах. — Зимой трудно было, беда. Куда ты с двадцатью-то фунтами денешься... Вон Секлетинья у нас, с девчонкой-то... билась, сердешная, билась, дитё плачет, в грудях ничего нет... Давиться хотела, право. Тоска! Ну теперь способия-то побольше, на дитю добрые люди кашку дают, все-таки пробьется...

В полях идет пахота. Бабьей работы еще нет, куделе тоже нет, не уродилась... Баба находит себе другую работу. У входа в село я увидел толпу женщин, переходящую от дома к дому. Подойдя ближе, я увидел большую икону спасителя в переносном ящике. С иконой не было ни одного священника, ни одного даже мужика. Восемь молодых женщин в чистых сермяжных кафтанах, с белыми полотенцами через плечо, в новых лаптях несли ее на плечах. Девятая, одетая наподобие мещанки, держала лукошко, в которое хозяйки клали, крестясь, по яйцу. Несколько женщин и девушек сопровождали икону, готовясь сменить уставших.

Я узнал, что предводительница этой процессии заказала своим иждивением эту икону в Арзамасском никольском женском монастыре, а оттуда несет ее в свою сельскую церковь в село Казариново, Сергачского уезда. Для этого она переходит из села к селу, вызывая добровольных носильщиц. Сюда принесли икону никулинские, отсюда понесут уже здешние до Маресева. Шествие это подвигается к церкви, все вырастая, девушки и молодицы наскоро наряжаются и бегут из домов. Через ½ часа серая толпа уже на выходе из села. Красивые, одетые в лучшие свои одежды молодки выступают важно и истово, огромный ящик с иконой мерно покачивается над головами...

Мне в другую сторону. Все, что было свободного в селе, схлынуло за иконой, по направлению к хутору не видно ни души. Серая, смоченная недавними дождями дорога как-то уныло легла по выгону, извиваясь на холмах. Отойдя с версту, так что за мной исчезло село, а передо мной отлогое возвышение загородило далекий еще хутор, я замечаю на самой до-

роге человеческую фигуру. Мужик, такой же серый, как эта грязь, полулежит, опустив голову; во всей фигуре унылая апатия и угнетение. Недалеко — лужок над ручьем и зеленая трава, а он расположился в нескольких шагах на убитой и вытоптанной земле.

Меня он не видит. Я тихо подошел сзади, и только когда поровнялся с ним, он поднял глаза, апатично поглядел на проходящего и опять опустил голову.

— Что лег на земле? — спрашиваю я.

— Так.

— Ты бы вон там на траве лучше уселся.

— На траве бы... — повторил он. — Канчательно на траве бы лучше...

— Так что же ты?

— Все едино, — говорит он, подымаясь. — Мое дело так подошло, что хоть в сыру землю ложиться.

Он вяло встает, сначала на четвереньки, потом с усилием становится на ноги и идет, раскачиваясь по-медвежьи, рядом со мной, как инертная масса, увлеченная чужим движением. Глаза глядят угнетенно и тускло.

— Ты куда это идешь?

— На хутор, к Петру Адриановичу.

— Зачем?

— Сказывают, помощь от него идет, насчет запашки.

Действительно, П. А. Горинов, по соглашению со мной, занялся этим делом. Постановление Продовольственной комиссии, о котором я уже говорил, совершенно парализовало помощь для посева безлошадным, и мы, чтобы не терять времени, решили выдавать деньгами, на задатки. К сожалению, за это дело, как и за многое другое, пришлось приняться слишком поздно, и тут, как во всех других случаях, прежде всего поспевают привычные нищенки и келейницы. У выхода из села, у ветряной мельницы я встретил трех старух и двух мальчишек. Все они шли с хутора, за плечами у каждого было по мешку. Это они получили «семенков для усаду», пшеницы и конопляного семени. Они видели меня на хуторе утром, догадыва-

ются о моем участии в этом деле и потому, встретясь, кланяются, выказывают поползновение к земным поклонам, благодарят и плачут. И все это с приемами, выказывающими давнюю привычку к таким благодарностям и благословениям... Им тоже нужно, это несомненно; у них есть голодные дети, и ни одно зерно, данное им, не может считаться потерянным напрасно. Но все-таки чувствуешь, что есть где-то другой пласт нуждающихся, быть может, еще больше, что «середняк» остается все-таки без помощи...

Такой середняк теперь передо мною и подвергает критике нашу систему помощи с своей точки зрения. Он не знает, кто я, куда я иду и откуда. Он встретил меня на дороге и на мой вопрос: «записан ли он в список безлошадных», — отвечает со своим апатичным видом:

— Что список... В списке писали таких, кои и никогда лошадей-те не имели. Он в жизнь лошади не заводил и не заведеть. Ему она и не „ру́пить“ [121], ни к чему, он век не хрестьянствуеть. А у меня вот две лошади пали. Одна по осени... Уж я колотился зимуте, вот как колотился! Старик у меня 70 лет, да баба, да двое детей, сам пят... Пособия-те 1½ пуда, куда хошь с им. Лебяда-матушка все отвечала. Сколотил все-таки четвертную, колодцы копал (ах, мошенник! — думаю я — значит имел 25 рублей и все-таки просил пособия!), купил за 25 рублей другую лошадку. Пахал на ей четыре дня, таперь и эта свалилась. Ну, значит, шабаш! Убитой человек. Старик-те плачет. Я погляжу, как шабры в поле едут работать, и сам слезьми зальюсь... Куда теперича... Так и хожу, вроде стал полоумного или убогенького, суюсь зря... Выйду в поле, погляжу, люди пашут, паду на землю, потом опять в избу, а там старик плачет. Семьдесят годов на свете жил, довелось дожить, что и податься некуда... Тоска... Слава-те господи, в шабрах у меня разбитной человек живет, веселой, тоску мою разбивает. А то, брат, до тоски дело доходило еще зимой-те. Пожалуй, не он бы, — до петельки бы дотосковался. Ну, он разбитной. Где пошутит, где разговорит, где прибут-

кой, так и разбил мою скуку... Ну, а теперь опять. Думаешь, я ныне ел?

— Что же, хлеба нет?

— Есть. Нейдеть, душа не может принимать, думаю все...

Мы идем дальше, я размышляю о слышанном, и у меня является желание сейчас остановить его и, не справляясь ни с какими списками, дать 25 рублей. Пусть покупает лошадь и становится опять «хрестьянином». Не знаю, о чем думал сам Ларион Безруков [122], но в это время наше внимание привлекает огромный ворон, пролетевший почти над нашими головами. В носу у него какой-то белый предмет. Он сел невдалеке, на прошлогодней пашне и усердно зарывает свою ношу в землю. Через минуту он взмахнул крыльями и полетел по направлению к хутору.

Мы отправляемся к тому месту, и после тщательных розысков я нахожу зарытое в землю куриное яйцо... Лицо моего спутника оживилось наивным любопытством и какой-то мыслью. Я отдал ему свою находку, которую он бережно держит в руке, глядя то на нее, то на исчезающую в воздухе птицу.

— А не грех ли это нам будет? — говорит он каким-то растроганным голосом. — Вишь ты... сказано, всякое дыхание да хвалит господа. Это ведь он гля себя припасал, гля своей пользы.

— Конечно.

— А мы у яго украдем. Нет, дай-ко зароем опять...

Он идет назад и кладет яйцо в рытвинку. А ворон взлетает опять над скотным двором и опять в носу у него новое яйцо. На этот раз он летит уже к лесу.

— Опять! — удивленно вскрикивает Ларион. — Вишь ты. Да это он из курятника... Похоже так, что и сам-те ворище...

Этот эпизод несколько разбивает наше уныние. Ларион узнает, что мне тоже на хутор, и мы входим туда вместе...

К сожалению, мое первое побуждение осталось неисполненным: обе лошади пали у него от язвы, нет сомнения, что такая же участь постигнет на заражен-

ном дворе и третью. Поэтому я выдаю ему только на обработку поля, тем более, что на хуторе стоит уже целая туча серых зипунов, с такими же нуждами.

А все-таки участь «середняка» не идет у меня из головы... Но и тут уже нужна не благотворительность, а широкие государственные меры... [123]

2 мая. Отправил третий фельетон в «Русск[ие] вед[омости]».

3 мая. С Белецкого на Батмас, вечером. Утром приезжал Гучков.

4 мая. Утром в Слободу. В 3 часа выехали в Пермеево, в Б[ольшое] Болдино. Ив[ана] Петр[овича] не застали [124]; рассказ хоз[яйки] о мужике, Нифотьке Лазареве, которого зимой вынули из петли. Пришел Пушкин: ты зачем полез? А затем и полез, что дети голодные кричат, а покормить нечем. Не слыхать чтобы крику-то. — Выдал 2 пуда.

5 мая. Утром — в Починки, земск[ое] собр[ание]. Под вечер — в Симб[ухово].

6 мая. Ночь в Маресеве, днем в Поч[инки], ночь на Батмасе.

7 мая. На Бел[ецком] ночев[ал].

8 мая. Утр[ом] в Лук[оянов].

9 мая. Из Лук[оянова].

10 мая. В Нижнем [125].

[126] Посмотрите на всю эту землю, еще неделю назад освободившуюся от снежного покрова. Сначала по ней протянулись темные полоски, и бархат взрытой земли выделился на верхушках холмов. Потом весна стала делать свое, — человек свое. Она расписывает

землю зеленью, человек взрывает ее, покрывая темными полосами. Дальше, шире и шире, и вот уже зеленые полоски прошлогодних выгонов, и жнивья тонут совершенно на ровном бархате яровых посевов. Какая громадная, гигантская работа! Разъезжая в эти великие дни весеннего обновления и бодрой работы, я не узнавал через два дня недавно виденных мест. Ландшафт совершенно меняется, вскрытая поверхность посева ширится на глазах, и в то время, как одна половина земли сверкает изумрудной зеленью озими, на другой широко ложатся темные ровные тоны пашни. Если б можно было видеть это с какой-нибудь планеты, то поверил ли бы наблюдатель, что вся эта перемена производится маленьким человечком с его тощей, изможденной лошадкой... Но этого, вероятно, никто не видит с планеты, а из города, даже из уездного, тоже это не видно. Из города видно другое: видно, как в праздник пять-шесть Иванов и Семенов бурлят и бормочут пьяные. И вот, чтобы помешать этим пяти Иванам пропить свои семена, уездный или губ[ернский] город готов остановить всю гигантскую работу. Стойте, нам надо удержать от пьянства 5 Иванов!..

18

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1895 ГОДА.

«Ягутка»[1]

— [2] Ты ягутка?

— Нет, ошибся. Ягутки-те, они касимовские. Касимовского уезду, Рязанской губернии, а мы — Тамбовские, Елатомского уезду.

— Ну, самые и есть елатомские. Весь уезд — бурлаки, матросы...

— Ну-ну... Наши в матросах по всей Волге, верно.

— Ягутки самые...

— Не ягутки. У тех поговорка другая. Ты вот послушай меня, как я говорю. У меня поговорка чистая, чище твоего. Даром, что я мужик, а ты в пинжаке...

— Такой же мужик.

— Да, а то еще владимирские, — те все «цёго» говорят. Тридцать верст от нас всего... А то есть и так, — половина деревни вот тебе по улице... и то поговорка разная... А мы тут о косе говорим.

— Языком вы в люди выходите.

— Да, она, коса-те ежели лехка, — вот ты 60 сажень с ей идешь без точки. Другой уж рубаха-те в мыле, а у тебя она лехка да спора. Помахиваешь.

— Языком-те.

— Ах, какой ты человек! Не языком. Мы вот косить и едем...

— Ты косить, а мы баловать, что ли. Голова! Нонче, в настоящее время всякий человек косить едет.

— То-то, я в день шесть возов накошу.

— Да, шесть возов. Коли трава, может, в человека.

— Наши луга известные по Оке.

— А ты поди на, возьми вот этаку. Вострец. Покоси, похвалишься.

— Это не говори... Стало быть, как господь даст, а у нас, слава те господи, хороша. А коса она, брат, вишь, 20 лет, а ты послу[шай].

— Да, до обуха сточёна, как.

Усаживается, развертывает гр[язный] платок, из которого вынимает ломоть белого хлеба. Пробует и улыбается.

— Хлеб больно хорош. Калач!

Оглядывается и ищет сочувствия.

— У тебя хорош, у других плох...

— Мягкай, — не обращая внимания, говорит счастлив[ец], чистит нож об лавку и как-то сладострастно запускает нож в мягкую горбушку.

— Пух...

В это время под ним сл[егка] трещит стул. Озирается.

— А, братцы, трещит ведь! На лавку пересесть. Того гляди, сломаешь... Деньги тогда платить.

«Деньги платить» — опять сказано так «вкусно», как будто самое напоминание об уплате денег приводит говорящему на память его богатство. Этого не может вынести довольно отдаленный сосед, стоящий

на солнопеке, опершись на бунты старой рогожи. Рожа у него загорелая. Из-под картуза видны бронзовые щеки, конец носа, огромные, выцветшие на солнце усы, и при язвительной улыбке сверкают белые зубы.

— Деньги платить, — ах ты, сукин сын! А-ах ты, ссукин сын! Да какие у тебя деньги?

В лице этого субъекта — недовольство счастливцем распространяется дальше, подвигаясь к корме.

— Деньги платить... А у самого в одном кармане вошь на аркане...

— В другом блоха на цепи.

Это уж отзывается самая корма в лице старика, дремавшего до тех пор, засунув голову в тень под лавку. Солнце достало его и там, когда пароход повернулся, а может быть, и его разговоры счастливца забирали, как жужжание комара. Он садится. Это человек... [одно слово не разобрано] тщедушный, в черном кафтане, сильно потертом, порыжелом на плечах, в пятнах и с заплат[ой] на поле. Борода беспорядочная, с сильной проседью, выдавшиеся скулы, лицо в острых углах, глаза озлобленного неудачника, из люд[ей] старого завета. С ним в разговор, центром которого служит счастливец, вступает элемент осуждения и какой-то злобы...

— Деды-те весь век тюрю хлебали. Отец у тея на стуле век не сиживал, а ты... стулья ломать... деньги платить... Проплатишься.

— Я и говорю, — беспечно продолжает счастливец, — на лавку пересесть...

— В шею тея с парохода бы, — говорит человек старого завета.

Это уж неожиданный скачок настроения, объясняющийся, может быть, дурным сном. Но... слово сказано, и остальная публика, не принимавшая близкого участия в предварительной части разговора, оглядывается на счастливца неодобрительно. Очевидно, за ним укореняется слава человека, которого бы надо «в шею».

Я с интересом наблюдаю эту сцену и задаюсь во-

РАЗЛИВ ОКИ В Н.-НОВГОРОДЕ

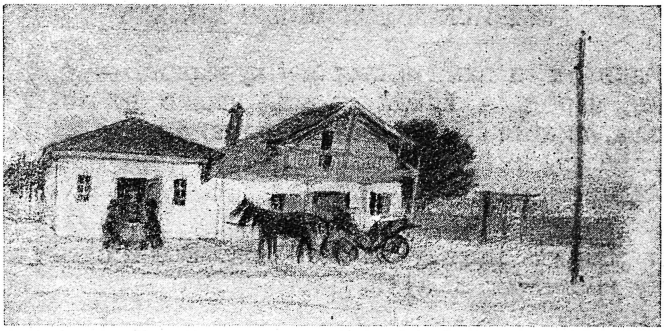
просом, — что такое так раздражает в этом непосредственном человеке всех этих, тоже непосредственных людей?

Размышляя об этом, я спускаюсь в каюту.

— Оскудеет овца от пищи, и не узрите, говорит... как оно... не узрите, говорит, вола привязанна, говорис, у ясли...

— А это, вы здешние, скажите, какой монастырек?
— Егорьевский.
— А, Егорьевский. Мы тут бывали, потому — из Мурому на Богородско тут лучше, гор нету.
— Где и гора, как не это место.
— Нету, зволочки есть, а горы ни одной, у мельницы зволочек.
— А ты часто ли езжал?
— Зиму раз десяток.
— А спрашиваешь, как[ой] монастырь.
— Я вас пытаю... исповедую значит...
— Ты поп, што ль?
— Гляди подлеца — он весь пароход научит.
— А село как[ое], как по примеру вашему?
— Обабково село.
— А Шулешов тут есть ли, Степан Евстигнеич? Тото, скажите, не знаем мы, не живали...
— Твое дело.

РУМЫНСКИЕ ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ



19

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1897 ГОДА

Слава[1]

Из Тульчи часа в 4. Каталуй. — Или-Кей (болгарск[ая] дер[евня]. В стороне Кунгàз и Гаджирал, тоже болгарские. Сата-ноу — румыны. Между Или-Кей и Сата-ноу большая гора с редкою порослью — Денизтепе. Важная и задумчивая вершина господствует над равниной, как передовой страж синеющей вдали целой цепи гор.

— Вот куда мы улезать будем, — говорит Лукаша[2], указывая кнутом по напр[авлению] к гряде. — Вон тут промежду балканов[3].

— А это что за курганы?

— Где? А это ж могилы.

Ряд курганов в странном и непонятном порядке тянется по ровному полю, выступая меж волнующимися хлебами.

— Эти могылы, — говорит смуглый возница, задум-

чиво поводя глазами в сторону курганов, — люды поделали, народ. А какой народ, ныхто не знаеть. А вон там, видите, — прорезана одна, то хохол из Росеи порезав, клад ищеть...

(Кладоискатели-соперники.) [4]

Мы минуем могилу за могилой. Волнуются хлеба, вверху громоздятся тучи.

— Дождь будет.

— А, может, мимо пройдеть.

Но туча уже в самой середине неба. Солнце золотит ее волнистые края, а вся масса мутна и бесформенна. Половина расстилающейся перед нами равнины волнуется и пестреет всевозможными цветами на солнце, — другая помутнела. Капли дождя застигают нас у последней могилы, подошедшей вплоть к Сатаноу...

Мы начинаем влезать в горы. Синие, темно-зеленые, фиолетовые — они обступили нас со всех сторон и все меняются под наплывающими тучами.

Маленькая деревенька в лесу. Растрепанные жалкие избы, разметанные ветром крыши, какие-то женщины, чернолицые, с глазами, как угли, с металлич[ескими] украшениями на грязно-пестрых платьях. Такие же черные мужчины с длинными усами.

— Это что?

— Камберь. Долгоусы тут живуть.

— Какие долгоусы?

— Вроде болгар. Говорять по-турецки, вера болгарска. Кто их знаеть.

За деревней «долгоусов» в овраге — поселочек из наст[оящих] землянок. Если бы на них не играл случ[айный] луч солнца, освещающий то трубу, то двери, — весь поселок можно бы принять за коллекцию каких-то нор. На крышах сидят собаки и такие же дикие дети...

— Цыганы... [5]

В лесу нас застигает дождь. Дорогу размыло, она раскисла; в одной из рытвин засела липов[анская] телега с жердями. Липован из Сарыкея выбивается

из сил. Лука сходит, осматрив[ает], дает совет подрубить топором колею и помогает вытащить. Соц[иалист] тоже[6]. Липован рассыпается в благод[арностях].

— Не за что. Когда ваши кони не были б вытащили, мы бы своих припрягли... А коня надо кормить, главная сила у зерне...

Опять дождь, деревья обдают нас целыми душами. Я надел пальто, отдав соц[иалисту] накидку. Лука, кот[орый] хотел ему отдать свое пальто, теперь говорит:

— Не надо було давать, пущай бы промок. Он жид.

— ?

— На жидовке женился. За жид[овский] марафет свою веру продал.

— Не продал.

— Как не продал. Когда, даст бог, дети будуть, ты их как окрестишь? В жид[овскую] веру?

— Нет.

— А как?

— Не буду.

— Брось говорить глупости. Как же не будешь?

— Никак не буду.

— Брось! Это не можна етого.

(Лука и соц[иалист]. Бездна отдел[яет] дерев[енское] миросоз[ерцание] от городского)[7].

. . . . . .

— Вот ты какой! Да ты бы лучше хоть у жид[овскую] веру отдал... Не знал я, что ты такой, а то бы и везти не стал... Право...[8]

Дорога вьется между гор. Место пустыннее и красивее. Над одними вершинами курится белый холодный туман, схваченный холодом наступившего вечера, на других играют последние лучи солнца. Кое-где хлеба на склонах сверкают тысячами капель...

«Слава». Запертая околица. Огонек в шинке, у шинка толпа людей, в бараньих шапках, в соломенных шляпах, совсем без шляп, в красных рубахах... О чем-то толкуют и все смотрят на приезжих, точь-в-точь как в нашей деревне: робкий вопрос и подозрение.

Совсем уже черные горы, охватившие кольцом деревушку, кидают на нее свою тень, — робость и, пожалуй, враждебное подозрение...

Проходит высокий угрюмый челов[ек] — примар [9], бойкий нотарь [10] в сером пиджаке. М[ежду] тем соц[иалист] уже толкует с толпой (вопросы нотаря, возм[ожность] ареста, карточка префекта) [11].

Вечереет. Едем под горами. Шумит небольшая мельница, кричат цикады, звонко щелкает соловей, молодой месяц встает над лесом в дымке из облаков. Запертые ворота, над воротами иконка, охваченная кругом любовно склонившимся ветвями почти черных деревьев.

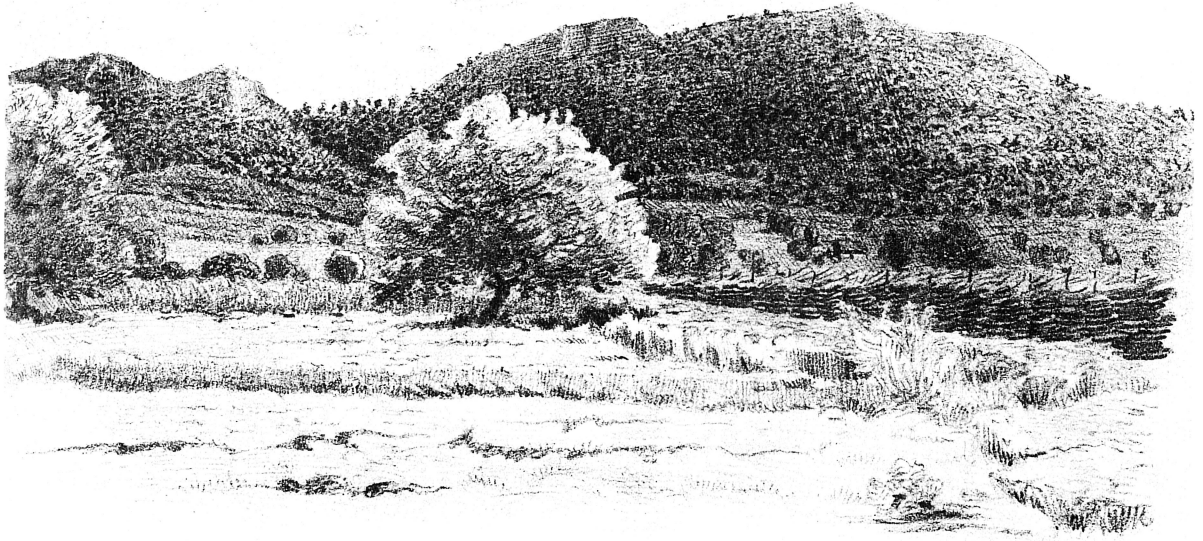
Монастырь спит. Стучим. Древний старик кланяется почти в пояс. Так он встречал ночной порой и турецких пашей... Стук в окно. О[тец] Евгений не подает голоса...

Тихая, тихая ночь. Треньканье нашего колок[ольчика] посреди спящей обители. Стук в окно. Луна над горой, под горой купола церкви. Всюду разлита печальная поэзия.

— Ах люди, — со смехом говорит социалист. — Дают свое добро, свой труд, дают кушать другим... Что будешь делать. Один будет давал, другой будет кушал...

. . . . . .

Стер[иан]. Они хочет изделать один мушамà, чтоби так — ничего не видать... Но я им не буду позволять сделать этого мушама, для чего, что он биль, должен отвечать. Мине встретил примар, говорил: смотри, Стериан, они поклалися тебе будет дюже бить. Один изделаеть скандаль, чтобы тебе взять в полицию. Не беспокойтеся, я ему говориль, мене не будет бить. За чего, что здесь были консерваторы, боèр, такой люди, которые ничего не знает, знает только бить, больше ничего! И они мене не биль. Они мене знает, — я буду убивать... Он говорит мине: слушай, Стериан, оставь этот молодой человек, он будет эту моду бросать, будет исправляться. А я ему говориль: оставляете вы это дело: делайте одна анкета, только делайте чест-



В РУМЫНИИ

ная анкета. А больше ничего мине не надо. Мине надо правда... Я не сказал одна неправда и оставлять не буду. Увидиль ты одна змия, убий ево, зачего, што она будет закусить другому... [12]

20

«РУМЫНИЯ»

[Поездка в Челык-Дере]

Все стихло, небо еще почернело, звезды стали еще ярче, и громче стрекочут цикады, и птица звенит так звонко, точно черная гора, совсем надвинувшаяся на убогую камышевую церковку, превратилась в колокольчик, по которому кто-то ударяет серебряным сердечком... Сладкое молчание, глубокая захватывающая бездонная тайна...

Из-за горы разливается слабое пламя, потом вырезывается зубчатая линия леса, и край луны заглядывает в долину. Говор в повозке затих, последние огни погасли. Все потонуло еще глубже в синем сумраке, только длинная узкая полоса стены начинает слабо светиться синеватым светом...

Вдруг торжественное течение ночи нарушается тревогой. Залаяла собака, отозвалась другая, и обе кинулись в темную аллею. Эхо отдает удаляющийся лай, который кипит, как в котле. Потом слышен крик, протяжный, стонущий, хватающий за душу. Он тоже несется от черной горы за церковью... Точно кто умирает, точно кто призывает на помощь, точно тоскующая душа извещает живущих о своих страданиях.

— Ето на гармане, мальчишка калавурщик. Видно, волки подходять...

— ?

— Ни, ему ничего... Он себе сделаль вышку и крычить сколько влезеть...

Опять все стихло, опять мечтательно и звонко затренькали цикады, опять черные монахи подпирают звездное небо, и темная гора опять звенит, как колокольчик...

Монастырек спит. Спит и скорбь и озлобление матери Измарагды, и несмысленная радость Досифеи, и жалость Серафимы, и буйная непокорность Аг... Из открытого окна слышен храп отца Евсевия.

Луна выкатилась над горой, обсыпав будто золотой пылью ее заросшие склоны. Края райн[1] подернулись светлыми каймами, на черной зелени двора нитями протянулись белеющие дорожки. Темная фигура, как легкая тень, продвигается к колокольне и ударяет сначала в деревянное, потом в жел[езное] било... 12 часов. В церкви вспыхивает огонек... Начинается заутреня... Из церкви слышно пение... Черные райны раздумчиво, тихо качают верхушками, и в воздухе слышен их ровный шопот в промежутках между тихим и стройным жужжанием хора...

Я прохожу по тропинке. Здесь сразу охватывает меня темнота и прохлада. Темные линии забора, слабые просветы неба и звезды, закрываемые черною сетью листвы, белеет стена, попадаются под ноги какие-то кучи, откуда-то журчит человеческая речь. Это наши возницы расположились на ночлег в повозке, под сараем. Ночь становится холодновата, поэтому они легли вместе. От телеги несет свежим, но уже слегка увядающим сеном.

Их двое. Один еврей, биржар[2], которого я часто видел в Тульче на бирже. Это челов[ек] в сером пиджаке, с обыкновенным лицом и как будто выцветшей бородой. Он зарабатывает достаточно, и не раз его коляска останавливается невдалеке от моих окон близ корчмы. Он сходит с козел и садится у дверей, куда ему выносят лимонад. Порой в его коляске сидит Лукашка, иногда наоборот: Лукашка на козлах, а Соломон (Федор) важно развалился в сидении. Еврей и хохол — большие приятели.

Теперь им не спится. Впрочем, несомненно не спится одному Федору, так как слышен один его голос:

— Ну, хорошо... Едет он лесом ночью и вдруг слышит страшный крик. Поп испугался, только смотрит, это — еврей...[3]

— Да, — раздается басистый, будто влажный от ночной сырости голос хохла... — Глупости усе гэто... Турчин сполняет свое, армян свое, татар свое, рамын теперича гнеть на свою сторону...

Я возвращаюсь на монастырский дворик, и мне кажется, что темные райны действительно превратились в черные высокие фигуры, обвеянные глубокою скорбью... Качаются высокие клобуки, качается самый высокий из них, качается и вздыхает... И вздох несется над долиной Чалыка, охваченной темными горами, точно и вся ночь проникается скорбью запоздалого сознания... Поздно, поздно... Не сбудутся горячие видения.

И ночь охватывает все своим ласковым грустным покровом. Все: и ожидание, и пламенные порывы, и жгучее пламя греха, и слезы раскаяния, и вздохи замирающих страстей.

Чудная ночь, ласковая, добрая волшебница. Она закралась и в мое сердце...

«Тòка». В одном окне мелькает огонек, мелькает и остается, — одинокий на всем мон[астырском] дворе. Потом отворяется дверь, в светлом четыреугольнике, как звезда, появляется огонь свечи. Тихая ночь не тревожит пламени, оно стоит ровно и ясно, освещает темную монашескую фигуру. Она вступает в синюю тьму двора. Пламя вспыхивает снизу на ветвях деревьев. Фигура тихо движется, точно плывет в воздухе, и широкая красноватая полоса света бежит перед нею с яркой звездой в середине. Монахиня подходит к углу двора, и тотчас же странное туповатое и вместе звонкое било (тòка) часто и отчетливо проносится среди ночной тишины. Потом фигура поворачивается и идет к церкви. Половина двора освещена, половина утопает во мраке еще б[олее] глубоком, чем прежде. Свет подвигается, достигает церкви, взбегает по стенам до крыши, потом вспыхивает невидная дотоле колокольня. Свет поворачивается вдоль церкви, — и на освещенной стене рисуется ясно сгорбленная фигура черницы.

Вдруг огонь утопает в отв[ерстии] низкой сводчатой колокольни, потом вдруг вырывается четырьмя снопами, бегущими кверху.

Райны стоят точно раскаленные, и из средины этого внезапного пожара опять несется отражаемое горами звонкое трепетание токи... Потом все опять угасает, а огонек движется к окну настоятеля.

Начинают освещаться окна, являются огни свечей, и тянутся черные фигуры к церкви. Церковь светлеет внутри, и между райнами вверху вырисовываются четыре окна купола...

21

ЛИСТЫ ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК 1897 ГОДА

Из Добруджи

Рассказ Петра Михайлова

Старый нищий 96 лет.

— Миколаевской был, у Севастополь ходил[1]. Трудно было, ах, трудно было под Севастополем. Много народу погибло. Товарища моего из одной деревни убили. Его вбили, а он говорить: — Слушай, Петр Михайлов, вбили меня. А у меня деньги. Так пропадуть деньги дарма. Бери из штанов себе, 400 рублей, все бери. Вбили мене. — А я говорю: не возьму. — Почему не возьмешь, пропадуть (придуть после у поле турки или эгличи, как вороны на падаль, возьмуть усе равно). — Пущай беруть, а я не беру. Сейчас, говорю, тебя вбили, а потом меня убьють. Тут такой базар, что без денег себе смерть купишь. Не надо. — Ну, прощай, говорить. — Прощай. — Помер. — А я остался. Шинель у меня в двух местах ранили. Новая шинель была, недавно выдали, — штыхом разорвали ее, пулей пострелил у меня плечо навылет, шинель у двух местах: на груди и на спине. А жив остался.

— А сюда как попал?

— А сюда. Видишь ты. Как вышло замирение, пошли мы у Херсон. Ну, пошли у Херсон, потом из Херсона двинулись. Взвод пошел уперед, а старший за мною зашел у корчму. А здорный был, беда. И я был

смолоду горячий. У-у (старые глаза выпучиваются и краснеют.) Вот он каже: будешь зо мною водку пить, на мои гроши? А я говорю: не буду. Кабы у меня своих не було, став бы пить на твои. А не стану. — Не станешь? — Ни, не стану. — Не станешь? — Не стану. — Он взял да кулаком меня в это место, у самое темя — бррясь! Огонь из глаз. Я сейчас выскочил из шинку, на двор, каменюку схватив, зажмал у руке, пришел. Он стоит у стойки. Подскочив я к нему, камнем его по этому месту. Упал. Ну и було бы. Довольно. А мне мало. Я его еще камнем у бок, у грудь, у голову. Пошла кровь. Выбег из шинка, утек. Деньги были. Я себе купил мужицкую свиту. Давай утекать. Нанял карею себе, жида узял, да у Харьков. Из Харькова назад у Одест. Оно хочь, скажем, война, ну, одначе, сами знаете, русский суд очень чижолый. Нема чижеле. Вот я и утек из Одесты под Измайлов. А тут скоро и Туречина. Только под Измайловым еще карантины, русские стояли. Нас усех человек 10 собралось. Вожака себе нашли, идем Дунаем. А вон подлец усе пить, усе пить. Пьеть — гуляеть. Вот я говорю своим товарищам: хочете вы меня слушать? А то пропадем. Как хочете слушать, то как он вернется, то накинемось на его, то завяжем ему руки назад, да давай ему накладывать сколько улезеть. А сами связали плот, да по Дунаю. А Дунай он крутить, да плавнями идеть. Пошли мы на плоте, под Измайлов подошли ночью, он у нас связанным лежить, и мы усе лежим на плоте. Так чтобы нас не застрелили. А он как хочет крикнуть, тут один коло него с клюкой. Да клюкой его по голове. Молчи, а то смерть исделаем тебе, как собаке. Так и проплыли плавнями до Тульчи. Его у плавнях покинули — иди куда хочешь. А сами дальше. Тут один плавать был мастер. Кинулся у лиман, доплыл до берега, поясами плот подвязал, да притянул до берега; мы и вышли. А как у Тульчу добраться? Тут нам попался градинар (вода небольшая була). За десять рублей перевез. Так и остались тут.

— Что делал?

— Молодой был, сильный. У Сулиме лежишь, бы-

вало себе, песни поешь. Греки бегуть, золото несуть: иди, козак, работать к нам. Потому что тогда комиссии не було; теперь полные суда у Дунай идуть, а тогда с моря грузили. Пойдешь на лодках туда и грузить... Крышка рому полагалась, галетой закусишь, — опять кидать. Страсть зарабатывал.

— И ничего не осталось?

— Где тут! Приятелей було немало.

— И не женился?

— Какая женитьба. Жил с полькой одной 8 лет. Она мастерица была кушанье готовить, страсть! Как вот эта! Ей-богу не хуже, что у доктора[2] живеть... Так за ее меня греки чуть кыньчалом не порезали на смерть.

— ? з

— А вот как. Вона жила у городе у Измайлове, господ угощала, купцов, усякого народу. А я тоже недалечко жил. Вот раз прибегает ко мне. — Что такое? — Скорее, говорить, на, спрячь. Вот грек у меня был, купец, да бумажник забыл. Показуеть полный бумажник денег, 700 рублей. Спрячь, говорыть, а я назад побежу. Нет, не бежи назад, говорю... Ну, поехали мы с ней у Тульчу(?)[4], наняли кватеру. А хозяйская дочь, где мы на кватере стали, с греком связалась и моей тоже грека нашла. Покинь, говорыть, этово, грек лучше. Я став примечать, давай ее, подлую, колотить (показывает скрюченным кулаком, как он бил). Наколочу, наколочу, только живую оставлю. Не вяжись с греками. Вот они и задумали мене порезать. А я уже догадался. Купив себе 2 стеариновые свечи, ставни запер крепко, ставни крепкие были у меня. Свечи запалив, топор положив около себя хороший, не сплю. И еще кыньчал у меня был. У Цареграде купил у арапа, червонец дал. Червонец тогда три рубли ходил, так это выходить за три рубли я того кыньчала купил. Положив коло себе. Вот они пришли, скрыбуть оконницу так... Ладно, оконница крепка. Так что подлые изделали. Взяли, отошли... розбижыться, розбижыться, да ногою у дверь. Дверь трещить. Потом надумали, да у двое... Люди молодые

были, силачи. Как розбижаться оба зараз, как поддадуть ногами, — дверь с петлей долой. А, фью! Свечи погасив, да причаился у двери. Они в избу, а я из избы промежду их, да кыньчалом у руке работаю направо-налево... Да разбежался крепко, головой у притолку хозяйскую брякнувся. Сам кричу: караул! Ну один кинулся да меня кыньчалом сюда у ногу. Онто думал у живот, кончать меня хотел, да не пришлось. Стали люди выбегать, они наутек. Хозяин прибежал, видить, кровь из меня хлещеть, хозяйска дочка воды принесла, а я ее у морду, у морду. Сам кровью мало не изошел, а сам ее бью. Через тебя, сучья дочка, меня мало греки не зарезали...

— Ну и что же?

— Ну, после на Сулиму пошел. Домик себе поставил, камышом укрыл, стал бурлаков принимать, они цыгаркою крышу запалили, пропала хата, — так усе с дымом ушло.

— На какие же деньги?

— На полькины. Думаешь, я ей так отдал деньги (лукавая усмешка тонких старческих губ)... Я ее...

Он наклоняется ко мне и зловещим старческим шопотом прибавляет, озираясь на слушательницу:

— Кукона [5] вот слушает... Я тебе одному скажу: я ее в Дунай пустив... 50 рублей отдал, такие люди нашлись... Потому она усе с греками. Все одно убили бы ее, деньги бы узяли... Все одно... У Дунай... раки изъели. А 8 лет с подлой жил... 8 лет жил, думал и век свековать...

Он же об измене Дибича [6]:

— Поляки Лидрос (Лидерц) и Бибич под Севастополем измену сделали, дали выгрузиться неприятелям — за два бочонка золота. Да еще над ними насмешку устроил: наверху-то золото положил, а внизу песок... Вот после того Бибич сел перед зеркалом, посмотрел на себя у зеркало и говорыть: — Ах ты, Бибич, Бибич! Чего тебе захотелось? Чего у тебя не було? Золота сколько душа пожелает, крестов, орденов — на груди места нет. На что ты польстился, на какое де-

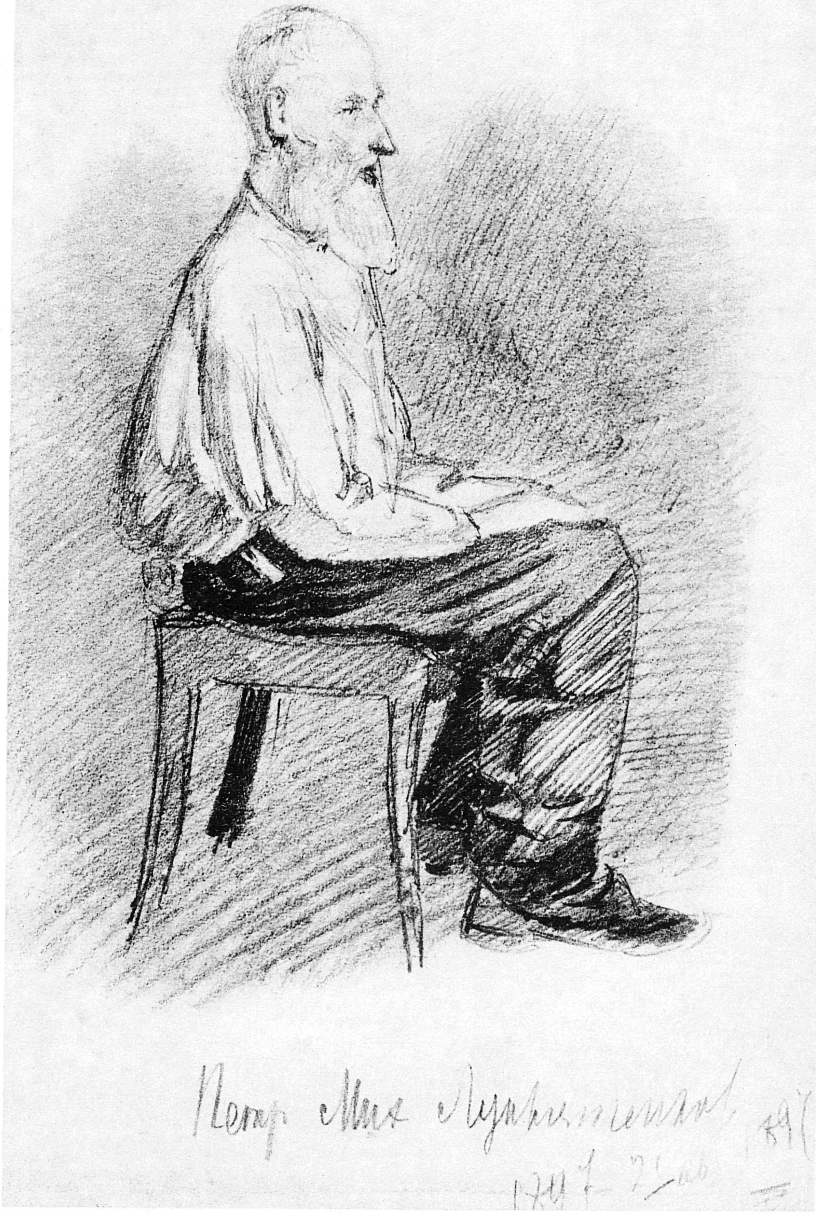
ло пошел. Что теперь с тобою будет? Потому на войне никак не дозволено измену делать. За ето так человека живого замурують, что ни стать, ни сесть. Вот он взял себе такого яду, размешав у стакане. Как выпил, так его разорвало на 100 кусков.

— А теперь беда мне. Хочется хоть помереть на родной стороне. А родная сторона моя — Курской губернии город Ильгов... Речка у нас есть Семь. У Курск из нашей деревни обыденкою [8] ездили. Брат был, мать я там покинул, две сестры. Может, хоть дети их остались, может, приняли бы меня, старика, может, и у могилу положили бы, очи закрыли. Да не знаю, как взяться. Прежде консул был, Романеску, добрый, бывало, не за что 50 баней давал. А этот сердитый: грек, должно быть, от етого. Что тебе надо? Кто его, подлеца, пускает сюду! Я на каленки пал, руки до него, как до бога, протянул: ваше высокоприосходительство, говорю, помилуйте. Земля меня тянеть, дайте дома помереть. А он говорыть: — Ты молод был, не тянуло. Теперь старый ты кому нужен? Пошел, убирайся. Может, сколько душ загубил, а теперь на родину... Пошел. Кто его пускаеть...

...Вот как говорыть он, консул Челибедаки...

И мне приходит в голову: не напрасно ли консул Чилибедаки взял на себя роль карающего провид[е-ния] по отнош[ению] к этой грешной душе.

— Чужая сторона, трудно жить Румания. Молдавы, они вредные. Вот в шпиталь меня узяли. На ноге рана була. Посмотрели, что я старый человек, 96 годов, и думаеть: старому человеку не надо и на свете жить, старого человека зачем лечить станем. Узяв, да давай кровь из ноги тянуть. Руки мине завязал назад, — давай тянуть. Тянул, тянул, потом завьязал. Потом фершал говорит: я тебя вылечу. Ну, думаю, может, и вылечить. А заместо того кровь идеть и идеть, — полно крови моей усюду. Вот пришел доктор. Я говорю: домну доктор. Разве так полагается: убил меня фершал. Так и так. Он говорить: на вот баночку лекар-



ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ ЛУКЬЯНИЧЕНКОВ

ства, пей. — А что оно будет такое? — А оно, говорыть, крови тебе прибавить. Пей с вином. — Я опять сам пью, а сам боюсь. И правда, — такое дал: не то что прибавило крови, а само из меня вышло, да еще мою остатнюю кровь за собой вывело... Вот я вижу: плохо, смерть. Ночью встав с койки, да дойшел до цейхгаузу, да отбил крючок, свою одежу взял и утек. Да пришел к нашему доктору Петру. Он дал мне лекарство: промывай, говорить. Что такое? Взболтал я — чистая вода. Может, думаю, есть где хоть на пшонное зернышко лекарства. Так нет. Вода дунайская, больше ничего. А стал промывать, да прикладывать. Что ты скажешь: зажило!..

— [9] А грек, послушай, Володя [10], человек вредный. У него этого нет, как у руснака, — дал в ухо там или в шею. Он любить убить человека, ножом бы порезать, из пистоля застрелить... Вот он что уважаеть. Сердце, Володя, у грека паршивое. Будь у меня товарищи русские. О-о-о! Я бы их не боялся, Володя, греков. Мы их знали. Бывало, у Таганроге или Бердянске идешь по улице. Идуть они, много их наезжаеть. Пальты на-опашь, шапки набекрень, глядить по сторонам, форсить. Ну, идеть, бывало, известно, русский человек. Я не могу ему свернуть. Он тебя толкнеть, ты его толкнешь. Драка. Он сейчас за ножик. А у нас знаешь: дерутся двое, третий не приставай, когда честно-благородно, на кулачки. А тут увидят нож, — сейчас на них все. И! Только песок у гору летить, кричать бедные, как козы... Ну, а тут я один.

— [11] Видишь, Володя, это я сам знаю: что случалось — говорю, а чего не случалось — как могу говорить. Был грек Николаки, и были у него две баги [12] тут под горою (за Бабадагом (?) [13]). И был у этого Николаки работник багаджий, значит за багами смотрел. Ну, хорошо. Лег этот работник под орехом спать-отдыхать в праздник. Видить норка, в норке зверенок какой-то. Давай, думаеть себе, я этого зверенка обижу. Взял палку, давай тыкать. Тыкал, тыкал,

проткнул он этого зверенка или не проткнул, это я не могу знать, только слышить, брязгаеть что-то. Стал копать, выкопал казан, в казане деньги. Попробовал поднять — тяжелой. Он себе подумал: нельзя мне одному поднять, надо сказать хозяину, у вдвох возьмемся. Дурак был. Пошел к хозяину, греку Николаки. Тот пришел, посмотрел, говорить: — Ну, радость! Поди ты, багаджие, принеси на два франка вина из шинку, выпьем, потом станем вынимать. Он пошел, а тот не дурак, казана не стал вынимать, а сейчас деньги выгреб, в другое место перекопал, а в казан камней набил. Тот приходит с вином, говорит: давай теперь выпьем, станем казан тащить. А хозяин ему: не из чего и вина пить, грошей тут не было. — Как не было? — Посмотри сам. Тот посмотрел — земля и камни. Заплакал. Потом приходит ко мне. — Что ты такой скучный ходишь? — Он мне и говорит: так и так. — Эх ты, дурак! Он деньги взял. Я тебя выручу. — Хорошо. Иду к Николаки: ты, подлая душа, куда деньги девал? — Какие деньги? — Молчи, такой-сякой, не моги обманывать меня! Сейчас к турчину пойду, скажу. — Он говорит: молчи, Петре, молчи. Пойдем выпьем, пойдем, я тебе что-то скажу. — Поднес мне. Я выпил один стакан, говорю: будет. — Говори, что хотел, а пить стану после. — Он мне сует мешок вот в четверть длины, а там серебро, так кусочками нарезано и знаки турецкие. Сказать по-нашему — карбованцы. Я взял, потом уже пить. Напился хмельный. Думаю, куда мне заховать. Пошел у сад, там большой дуб рос, корни распустил, я под корневище и сунул. Тому работнику говорю: ничего не узнал. А Николаки подлец за мной ходил, высмотрел, где я зарыл, — выкопал. Сам думает: теперь я скажу. (Пошел к соседу — заховай. Приходит после к соседу, той не отдает. Какие деньги?). Заплакал. Делать нечего. Вот той сосед опять думает: что делать? Не отступаться. Продал баги, продал дома, все. Понес к консулу своему. Той ему что-то написал, бумагу дал, а деньги взял в сохрану. Тольки собирается консул уезжать. Той к нему. Консул его по голове: а, такой-

сякой, какие деньги? Не брал... Той опять заплакал. Пошел.

Землячок[14]

Курской губ[ернии] гор[од] Ильгов, дер[евня] Сугроб. Оттуда в Курск обыденкой[15] ходили. Мы были потомские дворяне. Отцы и деды спокон веку однодворцы считались. Со младости отец отдал меня дяде, а дядя был лошадиный барышник, за лошадьми ходил до Перми и до Вятки, и даже доходили до Томского. Мне было 17 лет, с лошадьми обращение знал. О-о! Возьмусь, бывало, за гриву, сразу на спину так и выскочу. У дяди денег было много. Рублей по пяти сот и по шести и по тысяче. Бывало, навяжет мне деньги на шею, запахнет, поясом опояшет и посадит на возу. Сиди. А сам торгуется или могарычи выпивает. А я обхвачусь руками, сижу. А придут лошадей торговать, я только и знаю: ушел дядя, нема! После приходите... (С усмешкой): глуп тогда был, дитё. Теперь бы меня с такими деньгами посади... Хохо-хо...

Потом с дядей все пошли в Одесс город. Дядя помер, я остался, работал на одной лошади, и та плохая... Работал с артелью. Вот раз праздник был, артель загуляла. Один поставит четверть, другой за ним. Гуляют, песни поют. А я сижу. Что, Петро, сидишь, с артелью не пьешь и нам не подносишь? Я, говорю, поднесу артели, а сам не хочу. Я — бедный человек, одна худоба есть, и та здыхать хочет. Знаешь, Володя, русский человек — добряк! Артель изжалилась. Что, говорят, братцы! Пусть этот человек через нас счастливый будет. Кидай в шапку, надо ему другую лошадь купить. Артель веселая, заработки хорошие, Володя, тогда были, не то, что теперь. Накидали в шапку — я поклонился, купил себе другую лошадь...

Пошел с того часу работать. Заработал денег, купил фаетон, потом брата старшего выписал. Дал ему лошадь. Ну, а он, знаешь, старший брат. Ему обидно, что я, младший, командую. Он так считает — все его, а я должен в его воле ходить. А! Знаешь, деревен-

ские люди. У них свое понятие. Я тоже не покоряюсь: я заработал. Он и сделал глупость. Призвал биржарей да им моих лошадей продал. Я иду во двор, — моих лошадей ведут. — Куда? — Мы купили. — Как могли купить? Лошади мои. — Туда, сюда, у полицию. Спрашивают у брата: ты как можешь продавать? Он говорит: я старший брат, все мое.

22

РАБОТА НАД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОВЕСТЬЮ «НАБЕГЛЫЙ ЦАРЬ»

I

К пов[ести] «Набеглый царь»[1]
(Из пугачевского врем[ени])

Вероятное начало, вроде «пролога».

Лагерь русских войск в Пруссии[2]. Пробили зорю, спускается ненастный вечер. Денисов, донской «старшина»[3], только что произведенный в «майоры», играет в карты в палатке одного из пехотн[ых] офицеров. Из палатки слышатся шум и споры. Денисов «равняет» себя с арм[ейским] майором и говорит, что жалов[ание] ему тоже пойдет по чину. Офицеры спорят, по временам шум усиливается. Начинает накрапывать дождь. Становится все темнее...

Прибегает молодой офицер и старается унять спор. По его словам, в неприят[ельском] лагере что-то затевается... Над ним смеются. Осторожный Денисов вспоминает все-таки о лошадях, которые у него отпущены под надзором казаков вне лагерной черты... Пьяный он выскакивает из палатки и окликает казака, который в темноте проезжает мимо.

— Кто? — спрашивает Денисов, стоящий в одной рубахе под накрапывающим дождем.

— А ты кто? — спрашивает его проезжающий казак.

— Майор Денисов, — отвечает он с ругательством. — Стой, когда приказывают.

— Слушаю, ваше благородие, — отвечает казак,

спешиваясь, и подходит к Денисову. Теперь в его голосе сдержанность человека, знающего дисциплину.

— Как звать? — хрипло спрашивает Денисов.

— Емельян Пугачев[4].

— А! Ты что же не откликнулся?

— Не узнал, ваше благородие... Думал, денщик...

— Денщик... Я тебе, подлец, покажу... денщика. Я майор Денисов, — понимаешь, падаль...

Казак стоял неподвижно, и в темноте слышалось только, как брякала уздечка потягивавшейся лошади.

— Службу знаешь?

— Так точно, — ответил казак. — Мы службу знаем...

— Стой навытяжку...

— Мы еще во фрунте не бывали, — ответил казак...

В сумраке из кучки казаков, стоявших с лошадьми, послышался одобрительный ропот.

— Тебя произвели в майоры, — грубо сказал кто-то, — а на нас еще солдатски шинели не надёваны...

— Косы не отращивали еще...

— Молчать! — крикнул Денисов. — Ну, слушай ты, Емельян... Куда ехал?

— Лошади отрядные в лугах... — деловым тоном ответил Емельян. — Сказывают, прус в лагере зашевелился... Ночь темная, чего доброго вдарить... Старшина за лошадьми послал...

В лагере начинало чувствоваться оживление...

— Ступай, приведи моих. Знаешь, — захватных.

— Да они где?..

— У кирки ихней.

— Это в другую сторону, — ответил Емельян. — Никак невозможно. Старшина наказал — отрядных пригнать...

— Я другого пошлю, — сердито крикнул Денисов. — А ты должен понимать: тебя майор посылает... поважней старшины...

В это время где-то вдали послышался глухой выстрел, заглушенный густым шорохом дождя... За ним щелкнул другой, уже гораздо ближе, и вскоре перестрелка раздалась где-то совсем близко, сквозь кусты

над ручьем замелькали огоньки... Тревожно, как бы проснувшись, ударил барабан, а за ним, как бы плача, всхлипнули казачьи рожки... Денисов кинулся в палатку, оттуда уже выбегали офицеры, наскоро напяливая мундиры... Пронесся стрелой башкир на маленькой лошадке, которую он настегивал нагайкой. Темная и доселе спокойная равнина как будто закипела и зашевелилась...

Казак, с которым разговаривал Денисов, мгновенно вскочил на лошадь, и кучка казаков, которыми он предводит[ельствовал], понеслась вскачь, прямо навстречу выстрелам. Один из казаков выскочил вперед и, поровнявшись с вожаком, крикнул:

— За яром налево — к кирке. А в луга — направо...

— Направо! — крикнул тот, взмахнув нагайкой и пригнулся к седлу.

Отряд понесся по дороге, вдоль ручья, за которым кусты уже шевелились, как живые. Внезапно они засверкали огнями, и по казакам грянули выстрелы. Одна лошадь, проскакав несколько шагов, грянулась на землю, увлекая седока. Остальные понеслись, совсем растягиваясь. Седоки, держась за гривы, пригнулись к бокам лошадей. Первый залп пролетел над головами...

Огонь стал реже, казаки опять поднялись с седла и поскакали. Но по другому берегу неслась тоже черная кучка всадников, очевидно, стремившаяся к той же цели...

— Кого? — почти задыхаясь, спросил передовой казак, спрашивая об упавшем.

— Софрона, — ответили сзади.

Передовой застонал, но не остановил лошади, и нагайка опять свистнула в воздухе.

Через несколько минут казачьи лошади кинулись в речку, бурлившую в темном ложе, и несколько сек[унд] слышался однообразный шум, точно работало мельничное колесо... Это лошади разбивали ногами воду. Отряд прусских улан, гораздо более значительный, летел по другому берегу лугом... Мелькали в темноте белые лошади. Уланы не стреляли и, повиди-

мому, все силы своих лошадей направляли к тому, чтобы поскорее обскакать отряд казаков и выиграть расстояние. Тяжелый галоп их лошадей гулко отдавался в темноте. Слышалось порой тяжелое сопенье усталых лошадей.

Передовой казак сдержал своего скакуна и сказал несколько слов своему отряду. Лошади, казалось, еще вытянулись, и кучка казаков понеслась наперерез гусарам. Это дерзкое и неожиданное движение смутило гусар, они не успели сдержать тяжелого галопа своих лошадей, как казаки врезались в хвост отряда. Несколько мгновений стояли крики и лязг оружия, а затем казаки неслись дальше. Через минуту они опять кинулись в речку и, переправившись через глубокую воду, мелькнули черными точками на другом берегу речки. Гусары, сбившиеся с намеченной дороги, погнались за ними, но когда они были на другом берегу, оттуда послышался топот как будто многочисленного отряда... Гусары дрогнули. Прямо на них несся табун лошадей. Степные лошади неслись дружно, и только кое-где по бокам можно было разглядеть темные фигуры людей, издававших понятные табуну взвизгивания... Начальник отряда отдал приказ раздаться. Не было, очевидно, никакой возможности устоять перед этим натиском степного косяка.. Когда, прошумев опять в потоке, он ринулся на плоский берег, гусары выстрелили. Но целиться им не пришлось: фигур людей не было видно... Только когда косяк пронесся и исчез в направлении к лагерю, на темном лугу остались несколько лошадей и один казак, тихо стонавший над трупом своего скакуна...

— Ah, Teufel [5], — сказал командир отряда...

— Wilde [6], — подтвердил вахмистр.

За речкой лагерь весь трещал и вспыхивал огоньками, которые однако все стихали, удаляясь. Повидимому, сила атаки ослабевала. Косяк несся попрежнему. Теперь испуганных и одичалых коней нельзя было уже сдержать никакими силами, и эта дикая скачка в темноте, отбивавшая далеко раздав[авшийся] темп сотен копыт, еще раз сослужила неожиданную

службу: отряд пруссаков, наседавших на левое крыло лагеря, испуганный шумом этой своеобразной атаки, отступил в беспорядке, рассеиваясь в темноте ночи...

Через час тревога стихла. Кое-где еще вспыхивали запоздалые огоньки, и выстрелы щелкали в темноте все реже и реже. Около казачьего лагеря шло особенное движение. Казаки едва справлялись с косяком, который сгрудился теперь в кучу. Недавно пригнанные лошади топтались, бились и ржали, смертельно перепуганные. Табун казался в темноте одним гигантск[им] трепетным телом, судорожно бившимся на одном месте... Казалось, он готов опять сорваться с места и понестись дальше, в сырую тьму. Казаки окружили его и, то гикая, то отпрукивая, — ловили лошадей и вязали в коновязи... Над ними носился пар и запах конского пота...

К месту подъехал спокойной рысью старый казацкий старшина и, остановив лошадь, спросил:

— Всех пригнали?

— Весь косяк, Софрон Иванович, — весело ответили казаки. — С пяток, может, убили прусы.

— Ну, это хорошо. А люди?

— Двое, — кратко ответили казаки.

— Царство небесное! Спасибо, ребята... Без коней нам бы вовсе обезножить. Емельян...

— Здесь.

— Спасибо, Емельянушка... Сделал дело лихо. Походному атаману доложу...

— Майор вот сердит, — ответил Емельян серьезно...

— Что?

— Да он посылал было за своими захватными... А тут тревога сделалась. Я за отрядными поскакал.

— Дело... У него сколько?

— Да у него десяток. Две дареные, главнокомандующему да генералу...

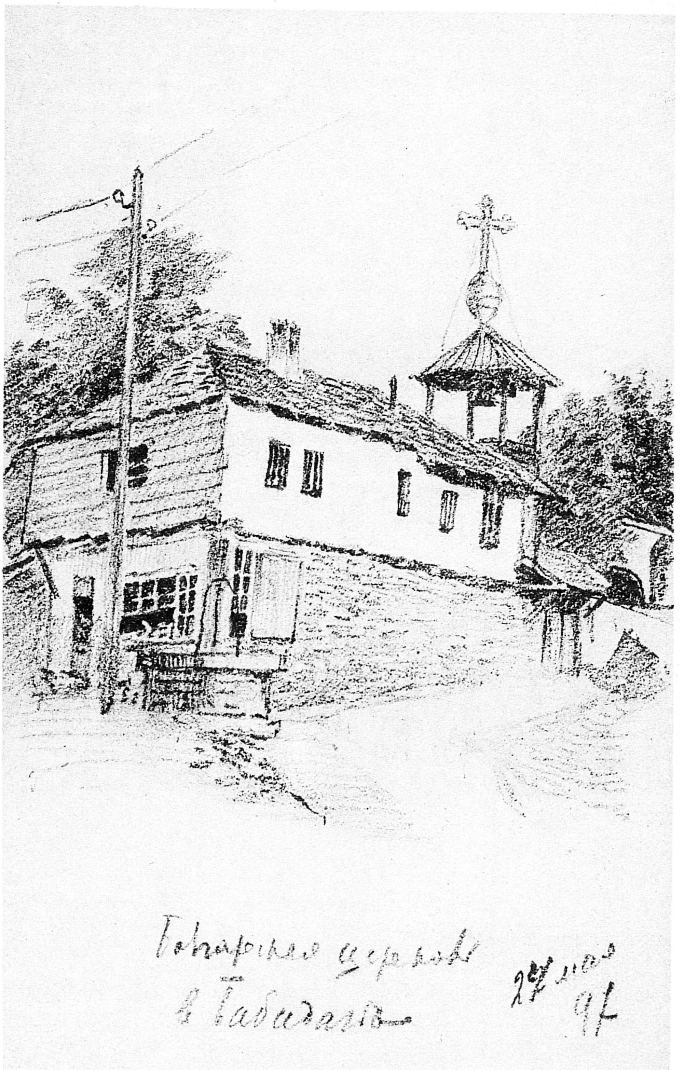
— Ну, других захватим... Спасибо, казаки...

— Рады стараться, Софрон Иванович.

— Увязывайте, да в лагерь...

— И то.

Серая лошадь помаячила в темноте и исчезла...



БОЛГАРСКАЯ ЦЕРКОВЬ В БАБАДАГЕ

Остается несколько казаков, в то[м] ч[исле] Емельян. В это время все еще как будто пьяный, в расстегнутом кафтане, озверелый от недавней битвы и легкой раны, прилетает Денисов... с своими ординарцами и казаками.

Объяснение.

Он приказывает схватить Емельяна... Молодой ординарец кидается на безоружного, а затем киргиз накидывает на него аркан. Казаки не успев[ают] оказ[ать] сопрот[ивление], как отряд скрывается. У палатки Денисова полубессознательного Ем[ельяна] начинают сечь нагайками. Прибегает Софр[он] Ив[анович] и, видя, что ему не остановить экзекуцию, бежит к своим казакам. Начинается свалка, пускаются в ход шашки, и, наконец, Емельяна увозят, кинув поперек лошади...

Емельян лежит без памяти в своей палатке[7].

Войсковая и старшинская сторона.

Идут споры, и на след[ующий] день тоже вспыхивают драки...

II

Набеглый царь[8]

12 апреля 1771 года в войсковой избе, занятой теперь под канцелярию полковника Симонова, начальника Яицкого гарнизона[9], произошла довольно бурная сцена. Собственного его, Симонова, деташемента от подпоручика Скаловского подана была ему, Симонову, письменная просьба, в коей сказанный подпоручик просил по пунктам, дабы ему всемилостивейше разрешено было из списков регулярного войска выйти и приписаться в яицкие казаки. «И в том Яицком войске будучи, обещает он, Скаловский, ее величества службу нести, яко верному рабу подобает, не щадя живота своего даже до смерти».

Полковник Симонов, старый служака и в сущности очень добрый человек, был этой просьбой крайне озадачен. Подпоручик Скаловский известен был за офицера исполнительного, к службе неленостного и

храброго. Но за ним замечались также большие странности.

Прежде всего говорили, что, происходя из хорошей семьи и служа в Петербурге, он пользовался покровит[ельством] графа Григория Григорьевича Орлова [10] и однажды был даже замечен самой императрицей. Целую неделю в придворных кружках только и говорили, что о Скаловском и об открывающемся перед ним «случае». Граф Орлов стал к нему несколько холоден, зато нашлось немало людей, которые, пока еще с оглядкой и шопотом, стали изъяснять ему свою чувствительность и решпект. Молодой, рослый, кровь с молоком, но простодушный, сержант Скаловский не сразу понял свое положение. Он чувствовал только, что его начинает согревать и освещать что-то яркое и знойное... вроде того, как если бы вдруг на него, затерянного в темной толпе, судьба навела сноп лучей из огромного зажигательного стекла. Он чувствовал себя внезапно выхваченным этим еще колеблющимся светом из темной толпы, чувствовал, что около него образуется как бы волшебный круг, что к нему все присматриваются с любопытством, в котором было что-то и враждебное, и завистливое, и оскорбительное...

Между тем слухи росли, и в те времена, хотя не было почт и телеграфов, они распространялись чрезвычайно быстро. Не прошло и нескольких дней с тех пор, как молодой сержант был замечен на разводе у дворца, как весть о «случае» и вызванных им толках достигла уже до ушей старого секунд-майора Скаловского, в его имении N-ской губ[ернии]. Это был суровый старик, еще петровский служака, потерпевший по службе при Анне Иоанновне [11]. Быть может, поэтому он стоял в пассивной, правда, оппозиции ко всему новому порядку и особенно упорно не признавал женского правления. Получив сведение о толках, которые ходят об его сыне и о том, что он становится центром каких-то новых дворских комеражей, старик прислал ему краткое и суровое письмо, требовавшее, чтобы он отпросился в отпуск и приехал к нему в деревню «по

случаю внезапно приключившейся родителю твоему примиэр маэору Скаловскому тяжкой скорби, от коей и животу сокращения себе ожидает».

Скаловские вообще были люди эксцентричные. Родной дядя Вас. Скаловского, Иван Скаловский, прозвищем .....[12], будучи на хорошей дороге по посольскому приказу, не пожелал вернуться на родину и остался в Лондоне[13]. Отец вышел в отставку из-за пустой ссоры с начальником, на которого не мог найти управы. С этих пор он сидел в своем имении, облачаясь по праздникам в старый преображенский мундир и жестоко порицая новые порядки. Впрочем, человек был добрый, хотя и строгий, дворня и крестьяне его любили, а соседи помещики и тогдашняя администрация смотрели, как на безвредного чудака, которого, однако, считали опасным трогать в пределах его берлоги.

В Петербурге были сильно удивлены тем, что Скаловский, ни мало не медля, исполнил волю отца и попросил отпуска. Человек, «осиянный свыше», выходил из-под осиявшего его снопа лучей... В те времена уже входило в моду порицание дворских нравов и интриг, и задолго до льстивой сатиры Державина[14] и до Фон-Визинских выходок[15] неуклюжий стиль XVIII века уже противупоставлял простые и добродетельные нравы детей природы разврату и лести блестящих дворов. Трудно думать, чтобы трактаты Руссо[16] достигли уже в то время до заброшенной усадьбы, где старый секунд-майор доживал свои дни, хотя в его кабинете стояли ряды книг в тяжелых кожаных переплетах, от которых теперь не осталось клочка. Нельзя однако сомневаться, что атмосфера, создававшая Новую Элоизу[17] и пасторали[18], веяла хоть неясными дуновениями над всей Европой. А Россия уже и тогда была до известной степени Европой.

Фигура старого маэора утонула в прошлом до такой степени, что нам уже трудно восстановить более точно умственный склад старого чудака и характер его влияния на сына. Мы имеем однако большие основания думать, что влияние это было своеобразно и

очень сильно. Старая петровская закваска, превратившаяся в оппозицию и протест против всего, что совершалось после великого императора. В своих воспоминаниях об отце, мимолетных и отрывочных, Василий Скаловский упоминал однако, что наряду с переводными книгами гражданского тиснения у старика было много книг старопечатных до-никоновских [19], и что, по-старому заплетая косу, он в то же время давно запустил бороду, не давая «постризалу взыти на браду»... Это была тоже одна из странностей, которые нам приходится лишь отметить: объяснение ее теряется в тумане, покрывшем этот давно расплывшийся образ [20].

Сверх всякого ожидания, отсутствие молодого Скаловского было замечено. Луч благоволения несколько раз возвращался на место, оставленное беспечным счастливцем, и многие тщетно ожидали привлечь его к себе. Когда молодой сержант вернулся, ничто еще, оказалось, не было испорчено, и князь Григорий, опять довольно хмуро встретивший возвратившегося, был очень удивлен странной просьбой молодого человека: он просился на окраину, а так как около этого времени родственник его отца, полковник Симонов, служил в Астраханской губернии, то Скаловский просился туда.

Красивые брови князя поднялись с видом удивления. Хотя толки о суете «дворской жизни» при дворе были особенно в моде, и на столе князя лежали даже во время разговора со Скаловским сладостные французские пасторали, но связывать эти толки с практическими поступками никому как-то не приходило и в голову. О суетности и интригах говорили и писали в своих письмах-мемуарах и Безбородки [21], и Завадовские [22], и Поповы [23], которые тут же сплетали самые затейливые узлы новоизобретенных интриг. Поэтому кн[язь] Орлов смотрел на молодого человека удивленным и пытливым взглядом, стараясь проникнуть, имеет ли он дело с ловко задуманным планом или с трусостью. Он уже почти остановился на последнем предположении, которое отчасти льстило его самолюбию:

его положение еще очень крепко, и борьба с ним опасна [24]. Но внезапно взгляд его выразил что-то вроде удивления: бывают иногда такие мгновенные как бы откровения. Чужая душа потемки, каждый из нас всегда вооружен перед взглядом другого... Но иногда при особом настроении наблюдаемого или наблюдающего взгляд, точно сталь, проникает в плохо защищенное или вовсе не защищенное место.

Такое ощущение испытал вдруг всесильный временщик при взгляде в ровно светившиеся голубые глаза предполагаемого соперника. Скаловский стоял перед князем спокойный, без всякого волнения, даже без признаков той особенной «игры» в лице, приемах, обращении, которые присущи людям, участвующим в блеске и переливах жизни и сознающим важность минуты... И граф убедился сразу, что под этой почти матовой лазурью глаз не скрывается ничего из привычных князю душевных движений: ни трусость, ни самолюбие, ни тем более — коварство.

— Глуп? — подумал про себя князь. На короткое время определение его удовлетворило: дюжая фигура белокурого сержанта своей складной, правда, простотой и несложностью как будто совсем подходила под характеристику. Но в течение долгой придворной жизни князь, когда-то превосходный охотник, привык к другого рода охоте: он научался выслеживать малейшие душевные движения и затем сообразно с ними направлять свои выстрелы. Теперь этот инстинкт придворного психолога оставался как будто не вполне удовлетворенным.

— Глуп — это верно, — сказал он себе. — Настоящий теленок. Но...

Он опять слегка поморщился, нимало не стесняясь пронизывать стоявшего перед ним недавнего protegé [25] пытливым взглядом.

— Но тут остается еще что-то... Un... je ne sais quoi [26], — прибавил он мысленно по-французски.

— Мне сказали, что вы проситесь в Украинные области, — сказал он.

— Так точно, ваше сиятельство. Это воля моего покойного родителя.

— Петр Григорьич, значит, преставился?

— Так точно, ваше сиятельство.

— Царствие небесное, — сказал граф и слегка перекрестился, думая в то же время: En voilà la cause[27]. Есть же еще такие нетронутые натуры. И я еще считал его способным...

Его глаза вдруг стали мягче и добрее. Он встал и с очаровательной любезностью, которая показалась бы и теперь совершенно обаятельной, пожал руку Скаловского.

— Ваше желание будет исполнено. Хотя...

По выразительному лицу графа прошла легкая тень. Он вспомнил: будут говорить, что это он сам удалил опасного (tiens! — ухмыльнулся он еще раз, скользнув взглядом по простой физиономии Скаловского)... опасного соперника. «Ну, да ничего». Ему казалось, что он в наст[оящую] минуту искренно полюбил этого простодушного малого и готов сделать все по его желанию...

Он приветливо пожал руку Скаловского, на что сержант ответил как-то опять до глупости просто, и сказал:

— Не могу ли быть чем-ниб[удь] полезен?

Конспект: Скаловский просит позволения представить графу, а через него государыне некоторую записку о службе армейской, отчего оная в упадок приходит, а также нечто о полковниках. А также просит Скаловский, как милости, дозволения представлять таковые записки графу и на будущее время.

Граф Орлов получил записку, когда молодой человек ехал уже на место службы. Граф развернул свиток синеватой бумаги, исписанной правильным и четким почерком того времени, довольно уже близким к нашему. Почерк Скаловского был красив, определенен, боек, почти без завитков и закорючек, стиль тоже сравнительно простой. Граф лениво просмотрел первые страницы, но потом заинтересовался.

«Таковы суть главные нестроения нашей армии, — писал Скаловский,—из коих генеральная неограниченность во власти, которую присвоили себе полковники к существительному вреду, а именно: записка к себе в полк людей всякого звания, рода и наций, употребление людей полковых к себе в лакеи, камердинеры и дворецкие, каковому примеру и другие офицеры приятно следуют; наглое похищение полковых денег и натяжка беззаконная в полковых книгах, которые господа офицеры документально подписывать должны под страхом гнева или даже под потерянием места; грабеж наглый людей и переманка их из одного полку к себе; разрушение чинопочитания и установление одной только тиранской полковничьей власти. Прочие же развратности меньшей важности и описать не можно...»

Граф улыбнулся. С тех пор, как вызов депутатов к сочин[ению] уложения расшевелил гражд[анские] запросы в тогдашнем обществе, ему приходилось читать много таких записок...[28] Офицер видел тиранство полковника, полковник жаловался на тиранство генерала, способные, но затертые по службе сержанты жаловались на младших офицеров, полковников и генералов. «Гражданское состояние» доставляло тоже немало своих собственных обличителей и прожектеров. Вообще русская жизнь там, — за пределами Царского, Ораниенбаума, обеих столиц, — представлялась сиятельному графу каким-то кишащим муравейником, в который неосторожно ткнули палкой... Одно время все эти запросы интересовали, были даже люди, сделавшие на них свою карьеру. Но теперь практическое значение всего этого движения кончилось. Т. е. сказать проще, — это движение отдаленного муравейника не вызывало уже соответствующего движения в придворных сферах. Передача, соединявшая эти два механизма в начале царствования, теперь порвалась или просто снята механиками. Муравейник попрежнему кишит и колышется, порой из разных источников и разными путями доносятся оттуда вопли и заявления о разных непорядочествах, нападочествах, крайнем ра-

зорении и «тиранствах», — но они не задевают никаких частей верхнего механизма.

«Обиды в произвождениях честным и заслуженным офицерам, — читал граф, перевернувши несколько страниц, — чинимые для фаворитов или пронырливых и проворных тунеядцев, отняли всю охоту к службе и погашают все патриотство...»

Брови графа дрогнули. Разумеется, он не принимал на свой счет того, что говорилось о фаворитах и тунеядцах. Его заслуги известны всему свету, однако он стал несколько внимательнее приглядываться к рукописи. Язык молодого обличителя был смел и без обычных стилистических рабьих изгибов, в которых рабская душа русского человека вилась и ползала даже по дороге гражданского подвига...

«Содержание гофшпиталей и образ их контрактов ужасают всякого человеколюбца, кто только каплю чести и человеколюбия имеет к сей части, которая обнищевает казну и истребляет род человеческой... Многие лекаря убавляли наукою более людей, нежели сколько погибало от оружия вражеского».

Граф поморщился. Он знал хорошо эту сторону дела и нередко думал о ней. Но всякий раз, как он мысленно принимался за реформу по этой части, ему казалось, что он пытается тронуть конец веревки, торчащей из какой-то грязной кучи: куча сейчас же зашевелится вся, со всею своей грязью, неблаговонием и... страданиями...

«Сии истины доказываются тем, что ни один генерал, осматривая якобы свой полк, не смотрел его в самой действительности ни в какое время командования своего и не смел приказать отменить в нем то, что противно штатам и противно службе... От сей причины все имеет вид благополучия... Но только один вид. Ибо правда молчит уничиженная, и то самое малое число истинных слуг, кои ищут на службе прямой службы, как законы ее импер[аторского] вел[иче]ства повелевают, — те прослыли нападчиками, неспокойными и за сие самое претерпевают род некоторой к себе дикости, лишены случаев к повышению...

и, наконец, видят себя обнесенными перед высшими командами... К государю же своему в невинности своей доступа не имеют, тем более, что его, хотя заслуженного и ранами покрытого, туда не допускают, где с государем свободно говорят его обидчики и интереса государственного нарушители. Каково сие гибельно и для добродетели уничижительно, может чувствовать душа благородная и патриотическая.

От сего происходит, что люди отменно хороши, но солдаты слабы. Чисто одеты, но везде стянуты и задавлены, так что естеств[енных] нужд солдат отправлять не может: ни стоять, ни сидеть, ни ходить покойно ему нельзя. Тесак, как огонь горит, но полоса заржавела вместе и с ножнами. Ружье как зеркало чисто, но не может целко выстрелить от уродливой ложи, которая нарочно так устроена, чтобы из ружья не стрелять, а иметь только оное на плече прямо... Сердце содрогается, когда, судя по упадку и таковому разврату службы, вглядишься в пространное поле бедственных невозможностей.

Можно ли ожидать храбрости в таком развратном войске, где под тиранским правлением офицеры находятся в рабстве, полковники (и генер[алы]) в гордости и славолюбии, а все вместе в незнании существа службы, где офицер доведен до уныния, где он от безмерного и принужденного щегольства разоряется; где солдат в слезах горьких съедает сухарь свой, проклиная службу и командиров, озираясь только во все стороны, где бы скорее к побегу найти дорогу и случай. Капральствами бегивают, да кто ж? Русские солдаты!.. [29]»

Читая все это, Орлов морщился, точно от страдания. Записка по временам казалась ему дерзкой. Читая, он представлял себе то «простое» лицо молодого Скаловского, то жестокий и суровый облик его родителя, которого граф видел лет 15 назад. Но главное — это ощущение своей вины и беспомощности. Когда-то и он сам смело и резко ставил те же вопросы и сознавал свою силу, если не для решения, то для борьбы со всем, здесь изложенным. Но потом... потом пошли

другие дела и интересы, целая сеть крупных и изумит[ельно] мелких дел и интересов, которые и разорвали связь со всем этим копошащимся муравейником. И он чувствовал себя как бы колесом верхнего механизма, которое вращается, не приводя в движение ничего в жизни...

Ему вспомнился недавний случай: один славный полк, выступая в поход, украл 26 лошадей у другого полка, пришедшего ему на смену. Лошади были угнаны, вся армия говорила о ловкой штуке, а бедный полковник нигде не мог найти управы...

Граф отложил бумаги Скаловского. Лицо временщика было недовольно и печально. Он позвонил. Вошел камердинер прусак, который стал помогать князю одеваться.

Через ½ часа князь, одетый в генер[альский] мундир, посмотрелся в венецианское трюмо, стоявшее у стены...

Лицо его разгладилось. Его фигура была величава и прекрасна. И по мере того, как он смотрел на блестящего генерала в зеркале, мысли, бродившие в голове усталого человека, недавно сидевшего у своего стола в бухарском халате, — тоже приняли другое направление...

— И однако все идет хорошо, — подумал он, на мгновение вернувшись к недавнему сюжету. — Россия победоносна, весь мир удивляется Екатерине... [30]

Это было последнее облачко, исчезнувшее в блеске и сиянии новых мыслей... Суетливою толпою в голову вельможи хлынули близкие впечатления дворских отношений и конъюнктур...

Граф подошел к окну и открыл его. Оно выходило в большой сад; деревья тихо стояли, не шевеля ветвями, но среди затишья стволов ходили отголоски движения и гула колес... В одном месте виднелся отблеск огней. Это сквозь решетку со двора начинался съезд, гремели экипажи, по временам, точно пистолетные выстрелы, раздавалось хлопанье кучерского бича...

III

[31] Такого-то числа 177... года к «новому» дворцу, к подъезду, ведущему во флигель-адъютантские комнаты, подошел молодой человек в форме гвардейского сержанта. Когда он, пройдя площадку, подходил к двери, его окликнули два человека, стоявшие поодаль и как-то робко, украдучись глядевшие на подъезд, у которого стояли часовые.

Молодой военный остановился.

— Ваше благородие, — заговорил, озираясь, один из незнакомцев. — Явите божескую милость.

— Что вам?

— Вы к князю?

— Да.

Незнакомцы переглянулись. Оба были с бородами. Кафтаны и смазные сапоги делали их похожими на мелких купцов, искателей подрядов или какого-нибудь защищения у «сильной персоны». Но подстриженные в кружок волосы и некоторые ухватки выделяли их из обычной среды, к которой их м[ожно] было причислить по одежде. Кроме того, когда ветром отдернуло у одного из них полу кафтана, то молодой офицер заметил на нем широкие штаны казацкого кроя...

IV

Соображение о крепостном праве[32]

«Сей печальный предмет, обращающийся перед моими глазами, — ничего больше, кроме жив[ых] изображений лености, нерадения, недоверия, боязни, не представляет. Одним словом, он носит на лице своем начертанные признаки бедственной жизни и угнетающего его нещастия...

О сем никто не будет сумневаться, что естествен[ное] право, от самого создателя в сердца наши влиянное, для совершенства своего, причины под[обных] установлений в себе не заключает.

(Крестьянства) «бедственное состояние на такой степень взошло, что они лишились всех почти, т[ак]

сказать, приличных человеку качеств, не могут уже видеть величину своего нещастия и кажутся быть отягчены вечным сном...

Всегдашнее недоверие и некоторая боязнь не дозволяют проникнуть сквозь густые невежества облака. Но пусть челов[ек] пользуется правами человечества, пусть уничтожены будут не допускающие до их исполнения препятствия, то, возвратив свои силы, вскоре переродится.

Прежде всего должно помышлять, чтоб для славы народа и пользы общества вывесть производимый человеч[еской] кровию бесчестный торг...

Я не нахожу беднейших людей, как наших крестьян, которые, не имея ни малой от законов защиты в рассуждении... самой жизни... обидам и претерпевают беспрестанные наглости, истязания и насильства (298)». Из «Записки» А. Я. Поленова, представл[енной] в В[ольное] Эк[ономическое] Общество (в 1768? г.). «Р. Арх.», 1865, кн. 6.

V

[33] NB. Мы можем прислушаться к стуку маятника настолько, что уже его не замечаем. Точно так же можно прислушаться и к стонам человечества. Бывают однако особые условия, когда стук маятника тревожит нервы и не дает покоя. Таков был мой Скаловский, — человек с открытым слухом на то, чего другие не замечают.

[34] Помещик Струйский.

VI

Из письма к жене из Уральска от 28 августа 1900 г.[35]

Пишу опять из Уральска, куда вернулся вчера вечером. Поездка в общем вышла очень удачная[36]. Место «умета» разыскал с полной точностию и третьего дня стоял над речкой Таловой на том самом клочке земли, где был постоялый двор и где Пугачев начинал свое дело[37]. Остановились мы на ночлег на постоялом

дворе в поселке, и я снял внутренний вид и наружность этих дворов, самого первобытного и очень оригинального вида. Более чем вероятно, что умет Оболяева имел такой же вид, ни на какие российские заезжие дворы не похожий. Жизнь этого поселка тоже очень оригинальная, и все вместе сильно действует на воображение. Возвращаясь степью, я точно перенесся в те времена, встречал на дороге тех людей и даже встретил, между прочим, Мартемьяна [38], ехавшего на Иргиз на богомолье с женой.

Жена — бедное забитое создание, а сам он — суровый казак с повелительными манерами и шельмовитым выражением лица. В дороге ему повстречался не я, а старик уметчик и иногородний купец, с острым взглядом и наружностию, обращающею невольно внимание. Мартемьян велел казакам остановить встречных и привести к нему. Время было уже тревожное. Но, узнав уметчика и услышав от Пугачева, что он знает игумена Филарета [39], — он отпускает обоих. Однако, когда телега со встречными едет далее, Мартемьян оглядывается и видит, что «купец» тоже смотрит ему вслед своими острыми странными глазами. Проехав еще далее, он оглядывается еще раз. С этого места, с вершины небольшого «сырта», видны уже верхушки церквей в Яицком городке. Купец расспрашивает о чем-то уметчика. Тот показывает ему кнутовищем далекий Яик, синеющий своими лесами, бухарскую степь на дальнем горизонте, и обе фигуры резкими силуэтами рисуются на ясном небе. По движениям видно, что купец с помощью уметчика изучает окрестности Уральска. Мартемьяну что-то не по себе. Он инстинктом казака угадывает в купце не купеческую, а казацкую повадку. Ему хочется вернуться, но тройка несет его по степи все дальше, по бокам скачет конвой из нескольких казаков — в пути на Таловой опасно: шалят и свои и башкирцы, поэтому богатые люди и старшины ездят с конвоем.

Мартемьян недоволен собой. Спустившись с возвышения, он едет речкой Казачьей. Там и теперь (то есть уже в наше время) видны следы землянок под

яром. А тогда в землянках жили разные странные люди. Только что, когда мимо ехали в возке Оболяев с Пугачевым, они выползли из землянок и следили за едущими беспокойными и жадными глазами. Пугачев хватается за винтовку, но Оболяев останавливает лошадь и спокойно идет к землянкам. У него здесь знакомые, — которые живали и на умете. Один из них, беглый солдат, весельчак и балагур, узнает «дядю Курицу» и начинает шутить с ним, но тотчас вытягивается, когда к ним, выйдя из телеги, подходит Пугачев. Он начинает расспрашивать каждого бродягу, вглядываясь в лица. Ему могут понадобиться эти люди. Он уже маниак захватившей его идеи. А на них этот деловой, почти строгий допрос производит впечатление несколько пугающее: чувствуется повелительность, значит — вроде начальства. Весельчак трусит первый и начинает даже тревожно оглядываться, но затем Пугачев, узнав, что ему было нужно, отходит. Солдат тихо спрашивает у уметчика; тот ничего ему о своем странном жильце сказать еще не может: живет, обо всем расспрашивает.

— Не фискал?

— Ни боже мой. Старшин не любит, расспрашивает про обиды казакам и народу...

Пугачев опять сидит в тележке и смотрит в даль. Жарко. Солнце садится, в степи играет марево. Ветер шевелит волосы на висках у Пугачева, а в его воображении — свое марево. Эта степь, эти толки, это тревожное время, эта невольная общая почтительность и страх перед ним... Все это овладевает им самим все сильнее. Оболяев остается еще: у него дело. Надо на умет двух-трех работников. Лето кончается, к осени начнется движение: умет лежит на старо-моск[овской] дороге; по ней ездили купцы за рыбой, к осенней и весенней плавне, к багренью — тянулись обозы, и на это время ставились пикеты. Остальное время было глухо и пусто (то же почти и теперь). Оболяев обходился собственными силами, с помощью приходивших беглецов, которые работали по неделе, по две. К осени нужно больше. Он приглашает двух жи-

телей землянок. Разговор чисто деловой. Оболяев не разбойник, а хозяин умета, и сделка — к обоюдной выгоде. Живя на умете, бродяги ничего не украдут и не сшалят, — как теперь на заимках в Сибири. Он еще разговаривает, когда с тележки его окликает Пугачев:

— Курица! Что заболтался?

Оболяев (старый солдат) вздрагивает и отвечает:

— Слушаю. Сьчас вот тут...

И затем бежит.

После встречи Пугачева и Мартемьяна (ты понимаешь, что я рассказываю сейчас немного беспорядочно), — на дороге видна пыль, — бродяги уходят в свои норы и следят оттуда за приближающимся поездом Мартемьяна. Пыль большая, в пыли видны силуэты всадников. Тут, конечно, не до «жадности» — не тронули бы самих. Поровнявшись с яром и речкой, Мартемьян подзывает казака и спрашивает:

— Тут, что ли?

— Тут, Мартемьян Михайлович.

— Гони!

Жена просит оставить: — Мартемьян Михайлович, для бога! На богомолье ведь едем, оставь.

— Не твое дело. Ну, что стали!

Казаки оцепляют землянку и гонят бродяг, как сурков из ям. Выбегающих бьют нагайками. Какой-то старик падает под ноги лошадей, беглый солдат, как заяц, пробегает под градом ударов и кидается в талы над речкой. Через четверть часа землянки разломаны, избитые люди лежат на земле, частию, конечно, прикидываясь бесчувственными. Мартемьян приказывает обыскать талы. Выводят солдата и еще какого-то беглого с бритой головой. Мартемьян приказывает одному из казаков отвести их в город. Казак спешивается, снимает с арчака длинный ремень, связывает обоим руки и, сев на лошадь, гонит их перед собой на своре, по временам, когда они отстают, подталкивая их древком пики. Мартемьян уезжает далее, молиться. Он успокоился: если бы не чувство, возбужденное в нем Пугачевым, он бы не тронул бродяг. Теперь ему кажется, что он сделал что-то нужное. Только жена,

красивая казачка с грустным лицом, вызывает в нем опять досаду: она на своей половине принимает странников и бродяг, и теперь, видимо, не одобряет его поступка. Он думает, кроме того, что напрасно женился на казачке: если бы женился на дочери одного из приходящих в Яик московских полковников, мог бы пойти далеко...

Через полчаса пыль скрывается вдали. На дороге к городу видны темные точки: казак гонит арестованных, а еще дальше тихо катится тележка: Оболяев едет с грузом.

Казак обгоняет тележку. Связанные бродяги глядят жалкими, испуганными глазами. Пугачев окликает казака, и тот невольно останавливается. Начинаются расспросы. Казак несколько удивлен, но отвечает с невольной почтительностью. Особый тон Пугачева действует и на него. Он с удивлением смотрит на уметчика, который тоже почтительно обращается к своему скромному спутнику. Жалкие арестанты снимают связанными руками шапки и приносят жалобы: у одного разбита голова, у другого плечо проколото, рубаха в пыли и крови. Глаза у Пугачева вспыхивают, он поворачивается к казаку, но тотчас же, как бы спохватившись, велит Курице ехать дальше. Он говорит что-то про себя, и Курице и даже казаку слышится как будто:

— Не пришло мое время.

Казак обгоняет тележку. Связанные бродяги глядят с коня и ослабляет веревки.

— Нам что, — говорит он. — Хоть трава не расти! Начальники приказывают, что станешь делать. Нам уже и самим от старшин да есаулов...

Дальше казак и арестованные идут некоторое время рядом и вступают в беседу. Говорят о Мартемьяне: строг, сам в чиновники лезет. Пьяный на улицах бьет старых казаков... Говорят о странном купце и об его словах: время не пришло... Подъезжают казаки-охотники. Все вместе садятся в степи, пускают коней и разговаривают. Опять те же разговоры о Москве, о старшинах и т. д. Одни прибавляют, что на Волге,

говорят, появился царь, да его захватили. Арестованные принимают участие. Один из них бурлачил до Саратова: видел — вдоль лугового берега вели лодку, шла большая команда. В лодке лежал связанный человек, закрытый с головой так, что лица не было видно. Солдаты шли обратно, говорили, будто везли важного колодника. Кто говорил — генерал провинился против царицы, а кто — будто сам царь.

Далее говорят еще о причинах, почему Петр[40] разошелся с Екатериной, и т. д.

Одним словом, идет степная политика. Один из охотников расспрашивает беглых, кто они. Солдат отшучивается. Старик рассказывает историю своей жизни, которая производит на казаков сильное впечатление. Разговор о крепостном праве. Старшины на Яике уже заводят и себе крепостных: у Мартемьяна по хуторам уже работают из-под нагайки: у него куплены калмыки, а порой захвачены и русские люди. Бегущих ловят и возвращают к хозяевам.

Когда разговоры истощаются, один из казаков предлагает конвойному казаку свести арестантов самому.

— Ой ли?

— Мне что!

— Да ты упустишь.

— Упущу — мой ответ. Не впервой, — говорит молодой казак.

Конвойный соглашается и, вскочив на коня, пускается в догонку за Мартемьяном. Казаки вообще в то время на службу смотрели просто. Оставшийся за конвойного спокойно садится на коня и, ударив нагайкой солдата, говорит: айда, подлец!

— Куда?

— Куда хочешь.

— Что ты, Чика[41], в уме ли? — говорят другие. — Аль спина по плетям соскучилась?

— И то, — беспечно отвечает Чика, — давно не секли. Да я, братцы, и сам с ними уйду, право. Не житье на Яике. Куда, молодцы?

— На умет, к Курице.

— Ну, недалеко же, — говорит Чика презрительно. — Шваль народ...

— Они к купцу наймутся, — шутит другой казак.

— Дело. Узнать бы и нам, что за человек купец этот. Слышали тоже... Эх, — говорит Чика, тряхнув головой.—Кабы теперь Разин или Некрасов... [42] Да нет!

Он вытягивает нагайкой своего коня, конь вьется, не зная, что нужно хозяину, и потом несется в степь. Казаки смотрят вслед и качают головами: неладно с Чикой. Задумывается. Вообще неладно (происшествия в городе, по степям являются привидения. Видели какого-то безумного, который ходит и плачет). Казаки тихо едут по дороге. Через некоторое время в стороне слышится топот, и из сумрака опять выезжает на дорогу Чика, как будто испуганный... Казаки едут вместе.

Давно уже вечер, над степью стоит луна. Внезапно все опять останавливаются: кто-то едет навстречу во мгле, и слышно что-то странное. Через минуту все казаки кидаются врассыпную: по дороге, на исхудалой лошади, едет исхудалый оборванный человек, качается, как пьяный, и что-то поет, причитает или плачет... Из группы казаков остается один Чика, который тоже со страхом ожидает на дороге. Он приглядывается и кричит вслед встречному:

— Никеша!.. Выровщиков!..* Куда едешь?

Странный встречный человек оглядывается и останавливает коня. Глаза у него впалые, лицо бессмысленное.

— В Питер еду, — говорит он глухо. — К царю. Об отце просить.

Чика свистнул.

— Батьку, брат Никеша, давно карги на колесе расклевали, а в Питере, — с насмешливой ласковостью говорит Чика, — не царь, а царица. Отец твой ходил к царице, попал на плаху...

— К царю я, — отвечает тот и едет дальше.

---

* Семья Выровщиковых еще до пугачевщины была наказана за мятеж вместе с другими. Отец казнен, его братья сосланы в Сибирь. Об этом будет дальше. (*Прим. В. К.*)

Чика поворачивает коня и под влиянием внезапного побуждения кричит с усмешкой:

— Никеша! А, Никеша! Поезжай на умет. Туда к Курице царь приехал...

— Где?

— Да он бесперечь у Курицы и живет на умете.

Безумный повернул коня и, хлестнув его нагайкой, понесся по дороге назад.

Чика свистнул. Из лощин к нему подъезжают рассыпавшиеся казаки и с любопытством расспрашивают — кто это.

— Никеша Выровщиков.

— Что ты...

— Чай, оборотень... Ну, и Чика, бесстрашный какой. Говорил ты с ним?

— Говорил.

— К добру или к худу?

— К царю, бает, еду...

— К царю? Чудное дело. Ведь у нас царица.

— А гляди, не просто что-то.

— А ты ему что?

— Я-то?.. Я, мол, поезжай на умет к Курице...

— Зачем?

— Ну, он помчал. На Мартемьяна наткнется.

— Эх, Чика, Чика...

— Ну, что выйдет, дело не наше.

Далее безумный действительно едет на умет и встречается лицом к лицу с Мартемьяном. Однако что из этого вышло — о том продолжение следует, так как и то вместо письма выходит конспект главы, которая мелькала у меня все время в дороге. Как видишь, это уже не из «истории». Все это, конечно, чистый вымысел, но я думаю, нигде от исторической правды не отступлю. Это только сухой конспект, который я разовью впоследствии в картины. А пока не взыщи. Перед этим и за этим еще много...

...Я перечитал сейчас то, что тебе набросал, и вижу, что ты едва ли что разберешь: торопливая пачкотня и едва ли дает представление о том, что у меня стоит

в голове. Ну, да все равно. Я рад, что рассказал тебе то, что еще только наметилось. Дальше будет ночь, умет, в котором расположились казаки с Бородиным, появление сумасшедшего Выровщикова *, который ломится на умет и спрашивает царя. Скопляется ряд недоразумений, которые все бьют в одно место. Создается атмосфера, которая сама окружает Пугачева ореолом таинственной важности... Запрошлую ночь я ночевал на Таловой на постоялом дворе, — стоял шум, говор, споры (артель с подрядчиком), и мне все теперь чудится беспокойный ночлег Бородина на той же Таловой. Бородин сам встревожен и сам непрочь придавать словам сумасшедшего особое значение. Но он сам виновен в смерти отца Выровщикова, и вообще для него царь — гроза, тогда как для казаков он — надежда... И т. д. Опять распишусь...

VII [43]

«Видение» и предсказание о Пугачеве (На беглом царе) [44]

Задумали кирсановские казаки перенести город от Кирсановского яру к речке Чагану: зимой их снегом заносило, летом от песку житья не было. И послали посыльщиков к старцам на Камынь-остров спросить совета. Посоветовались, поплыли назад. Лишь только въехали они в Золотинский проран [45], навстречу им попался старец, плывет в мал[енькой] лодочке одинодинехонек, гребет на одно весельце. Старик древний, важный, благолепный, в белом клобуке, с крестом на лбу. Съехались в проране казаки и старец. Поздоровались. Казаки и говорят: отче святый, заду-

---

* Интересно вот что: помнишь, я тебе говорил еще в Петербурге, что мне рисуется молодой казак, едущий ночью и плачущий. Я хотел этой фигурой изобразить нервное состояние, в котором тогда был народ на Урале. Теперь нашел краткое указание в Пугачевском деле: командировались казаки в Оренбург отвезти «найденного в степи шатающего безумного и безгласного человека», который оказался казаком Сакмарской станицы. Кажется, с моим представлением о том времени — я на настоящей дороге. (*Прим. В. К.*)

мали мы перенести город с места на другое. Начинать ли нам это дело? Посоветуй.

Старец спросил, куда хотят переносить город, и говорит:

— Место хорошее, лугами, угодьями богато. Только ведайте, чада: на том месте городу вашему придется испытать коловратности [бедствия]: будут и труси, и мятежи, и кровопролитные брани, и неурядицы. Станут вас нудить насчет креста и бороды, станут заводить солдатские очереди, богопротивные легионы и неполезные штаты. А в едино время появится между вас такой набеглый царь... Вот из-за него-то вы много пострадаете, много крови прольете, много примете горечи. Однако современем все затихнет, и вы узрите спокой...

Казаки говорят:

— Нам не привыкать стать: на том и живем. На крови Яик зачался, на крови и кончится... Благослови нас, отче.

— Бог благословит (осенил крестом старым).

И поплыл своей дорогой. И казаки поплыли кверху по прорану. Только хватились: что не спросили старца, кто он такой! Вернулись, догнали старца, спрашивают:

— Поведай, кто ты.

— Алексей митрополит!

И поднялось из воды густое облако, скрыло старца. А когда облако поредело, глядят казаки, — ни старца, ни лодочки, только море, как стекло, гладкое.

Такое-то чудо повстречалось посыльщикам. (Ну, приехали, рассказали. Войско говорит — «ладно».) Поделали плоты, посадили жен, детей. Отслужили молебен, попели канун святителю Алексею митрополиту и спустились вниз по Яику. «Чего не могли взять, все пожгли. И теперь на Кирсановском городище тьма-тьмущая углей. И церковь спустили, разобравши по бревнушкам. Церковь была Казанской бож[ьей] матери, а казаки пристроили придел Ал[ексею] м[итрополиту]. В Шилихин пожар она сгорела [46]. Казаки отстроили и в отлику звали «Кирсановскою». (Потом и она сгорела в Шилихин пожар.)

Заглавие пожалуй: «Набеглый царь».

В этом пред[ании] уже рисуются туманные черты «Набеглого царя», с котор[ым] связано горе и пролитие крови. И когда туман рассеялся — царя тоже не стало...

Это предание рассказывает старец на хуторе во вр[емя] первого царского ночлега [47]. «Старый козак» [48]. На хуторе все успокоилось... Луна. Степь... Фыркают невдалеке стренож[енные] лошади... Шумят слегка увеи... Какие-то тени реют по степи. Старый казак берется караулить и садится с юношей Никитушкой...

— Великое дело, Никитушка, зачинается... — говорит старик (он почтит[ельно] принял Пугачева, когда хозяева колебались).

И под тихий шелест степной травы рассказывает предание об Алексее митрополите и о набеглом царе... Хутор спит. Пугачеву снятся битвы... Хозяева тихо советуются... Старший выходит на крыльцо, потом обходит дозором хутор. Подойдя к яру, слышит конец рассказа. — Неужто правда?..

Потом все стихает... Вдалеке видна темная точка. Киргиз попр[ежнему] наслеживает.

— Гляди, бритоголовый по степи вьется.

— Не вдарить ли, дедко, из пищали.

— Почто? Неведомо, чего надо. А учуяли проклятые. Гляди, другой. Как воронье летают. Вынюхивают.

Старик зевнул.

— Нуралишке [49] доложут. Вся степь до самого Каспицкого моря скоро узнает...

— Хорошо, как пристанут к батюшке...

Точки исчезли, слились со степью.

— Пристанут, — сказал дед. — Нешто это крещеные, понимают службу? Известно, орда! Сказывает пословица: без дурака город, без орды пустыня не стоит... Гляди, вон ветер пыль взметнул. Ишь крутит по степи. То и орда: неизвестно за кого станет, с чего подымется. А чуть что — и рассыпалась.

И зевнув еще раз, старик сказал уже другим тоном:

— Нуралишка свое дело понимает: чья осилит, за того и станет...

Беспорядки. На форпостах плохо глядят. Киргизы, гляди, куда перелазют. Поряду нет. Погоди. Царь заведет порядок.

[50] Мотив. Все нашли царя. Киргиз соединился с казаком, казак с башкиром, зав[одской] рабочий, еще недавно защищавший зав[оды] от того же башкира, теперь шел с ним рядом. Найден царь, настоящий, общий, способный всех примирить, установить гармонию интересов.

Великая народная мечта, великий и трагический обман!..

VIII [51]

Хороша наша станица, только улица грязна,
Хороши наши ребята, только славушка худа,
Только славушка худа, не пускают никуда:
Величают нас ворами да разбойничками.
Мы не воры, мы не плуты, не разбойники!
Мы — уральские казаки рыболовщики!
Выбирал нас хозяин, что ни лучших молодцов...
Посылал нас хозяин по базару погулять.
По базару мы гуляли, невода все покупали.
Уж такие невода, что ременны повода.
Уж мы рыбушку ловили по сухим берегам,
По сухим берегам, по амбарам, по клетям.
По амбарам, по клетям, по богатым казакам...
Наловили мы там щук, из которых шубы шьют,
Как у дедушки Петра мы поймали осетра,
Уж такого осетра, что гнедого жеребца!..

[52] Чика выступает из Берды на Уфу [53]. Впереди песенники и музыканты. Поют, бьют в тулумбасы [54]. Чика (Захар Григ. Чернышев!) — кудрявый, статный, красивый, в казацком чекмене и с лентой через плечо — чинно едет за музыкантами, но под звуки песни не выдерживает: ударив коня плетью, выскакивает вперед и, выхватив бубен, вертит над головой, бьет то костяшками кисти, то древком нагайки... Бубен пляшет и гремит, конь играет в такт песни... Песня закипает живее и громче... Бежит народ, женщины, скачут киргизы, све-

тит солнце, вьется пыль; все сверкает и гремит, все полно жизни, удали, кипящего веселья.

Шигаев [55] и... [56] мотают головами; неладно... Чика — Чикой и остался... Гуляжка — гуляжкой. Старые казаки тоже хмурятся...

Отряд и песня и пыль — все исчезает в степи. Пугачев облегченно вздыхает:

— Ладно. Авось где-нибудь голову свернет...

IX [57]

Разработать мотив

Два изменника: один Шванвич [58] (беспорядочность, тщеславие, самолюбие и снедающий эгоизм), второй — мечтатель, человек, дошедший от идеализации Екатерины, до отчаяния и перехода к Пугачеву. Мне видятся оба в степи, ночью. Разговор... Выяснение взаимных разноречий и «чужести»... Впереди перед Потаповым [59] нечто неясное и величавое — встреча с действительностью, суровая, резкая, противоречащая...

X [60]

Мотив. Татары Идеркей Алметьев (Идорка), сын его Болтай, Барын Мусаев и Аманыч одни из первых присоединились к Пугачеву (еще на Усихе) [61].

Что это за татары? У Идеркая, повид[имому], и у других были кибитки, и они кочевали в степи по правой стороне Урала, куда киргизов не допускали. Теперь, повид[имому], кочевых татар уже нет. Это последние кочевники из знаменитой Зол[отой] орды, остатки славного племени, еще державшиеся прежнего образа жизни, представители умирающего быта, не желающие примкнуть к отставшим и изменившим. Приставая к Пугачеву, они мечтали по-своему. «Идорка»,— к которому казаки относятся насмешливо («отсталые сайгаки» [62]), — Идорка перед тем, как решиться, долго стоит на молитве, повернувшись к востоку... Он молится Магомету, но поминает и каких-то еще забытых неведомых старых богов, которые опять должны ожить с приходом и воцарением таинственного сказочного

забеглого царя... Утренняя заря застает татарина в том же положении, на молитве. Он приветствует солнце опять словами старых молитв, забытых даже стариками. Потом поворачивается к холму на Усихе. Нет, при бледном еще свете зари видна палатка, пасутся стреноженные кони, и знамя резко рисуется на светлой полосе и тихо веет и полощется под утр[енним] ветром...

(Идорка не имеет земли, не имеет пастбищ... Киргизы гонят Идорку с левого берега, казаки гоняют с правого... Чуждая живущим, умирающая порода кочевников, как птица без стаи...)

Все это Идорка объясняет Пугачеву. Казаки улыбаются. Пугачев слушает серьезно... Он уже входит в роль и думает: что он даст этим странным людям? Что ни даст, — теперь и они нужны...

XI [63]

Мотив. Пугачев в садах Каз[ака] Строганова [64]. Спутанные дорожки. Кельи. Старочки и старцы. Тишина. Спасение. Новое влечение к тишине.

Потом вечер. Роща. Хуторок. Войсковая аристократия, армия и старшинская сторона празднуют [65]. Над степью взвиваются ракеты, озаряя степь призр[ачным] сиянием. В тени невидимые веселым зрителям стоят казаки и казачки, глядя, как под звуки орк[естра] на свету движутся дамы в фижмах и кавалеры, по б[ольшей] части военные, танцуют менуэт. Старик Ник[ита] Бородин [66], еще с бородой, ходит и кланяется. Мартемьян бритый вертится тут же; Пугачев смотрит, слушает музыку, которая странно действует на его мечтательную душу. Ему хочется блеска, красоты и власти... И он забывает тихую обитель.

А старицы смотрят тоже на ракеты... Змии огненные... И они говорят о близкой кончине мира и о странном пришельце, который неведомо откуда приходит и неведомо куда уходит, и неведомо какие думы носит с собою.

А ракеты взвиваются, трещат и гаснут.

XII [67]

[68] Гельбиг очевидно не понимает характера отношений Орлова к Екатерине. Он был ей муж. Полюбил ее во время опалы и ее несчастия. Рисковал за нее жизнию, возвел ее на престол, должен был жениться на ней. Десять лет она была ему верна (ср. другие отзывы иностр[анцев] о благотворном влиянии Орлова и о падении Екатерины после этой измены).

Благод[арный] момент: Екатерина боится Орлова, как боится солдатская жена мужа, возвращающегося со службы после ее измены. М[ожет] быть, он был способен прибить ее, но не извести. Страх его появления, а не переворота. Разработать этот мотив.

XIII [69]

Разработать. Чернышев, не забывающий, что и он когда-то был на верху блаженства, фигура несколько комическая (см. Добрынина и др.). Орлов относится к нему с шутливым пренебрежением.

Чернышев (первый?) заметил во время этого свидания «очевидное помешательство» в Орлове. К нему послали доктора. «Едва доктор вошел к нему, Орлов закричал ему: — А ты, конечно, принес мне то бургонское вино, которое так любил...»

NB. Это не доказательство помешательства, но последствия все-таки показали, что Чернышев был прав. Это прибавляет трагическую черту к фиг[уре] Орлова, очевидно измена Екат[ерины] сильно потрясла его и внесла черту меланхолии. Эта черта прорывается затем мрачными вспышками из-под самообладания и спокойствия.

XIV

[70] Разработать психологически: в душе только горечь от прежней власти и от личной жизни. Ничего не ждет, все изведано, и от всего боль и презрение. Человек страшный для мелкого искательства и пошлости.

Гельбиг предполагает яд, но это предположение совершенно излишнее: для усиливающейся меланхолии

наличных причин достаточно. «По счастию, — пишет Гельбиг, — это настроение сменилось спокойствием, кот[орое] лишь изредка прерывалось...»

«...Он и прежде часто разговаривал с имп[ератрицей] дов[ольно] свободно, но теперь стал говорить неосторожные речи громко и в присутствии всего двора. Так, по случаю падения гр. Панина [71], которого он прежде ненавидел, теперь же изменил о нем свое мнение, — он сказал имп[ератрице], что она, окруженная недост[ойными] людьми, нехорошо сделала, удалив от себя этого честного человека».

NB. Гельбиг очень плохой психолог: по его мнению, для этого нужно было «изменить свое мнение». Орлов просто стоял теперь вне и выше всей этой суеты.

XV

К Пугачеву [72]

После побоев Денисова — сначала болезнь [73]. Потом Пугачев начинает заговариваться. У него поч[етная] сабля [откуда?]. Крестник Петра Вел[икого].

Потом — встречи с некрасовцами. Мечта — стать новым Некрасовым (пленные под Бендерами некр[асовские] казаки). С этой идеей он начинает сновать среди казаков. Человек с идеей обращает внимание... Что-то необыкновенное. Слухи о Богомолове [74]. Не ты ли?..

XVI

К пугачевщине [75]

В Берде [76]. У Пугачева неудача. Шелудякова [77] взяли и пытают. Много народу побито.

Пугачев кутит с своими приближенными. Дом в Берде, зима. Перекликаются караулы. Кое-когда издали, с полей слышится выстрел. Метет, сыплет снегом... [78] Начинает светать.

Около дома, занимаемого Пугачевым, правильный караул. Стоят две пушки. Рогатка, часовые. Невдалеке навес, и под навесом оседланные лошади, в том числе конь Пугачева.

Казаки продолжают кутить. Пугачев возбужден и

красен, но не совсем пьян. Большинство сильно выпили. Настроение мрачное. Только Лысов [79] и Чика веселы. Оба молодые казаки только бледны. Пьянство перемежается то песнями, то совещаниями.

XVII [80]

Черта Дружинина [81]: с опасностию быть пойманным он посылает сына в Алат, чтобы взять «родительского благословения», «моления св. икон». Очевидно, это был солидный, богобоязненный, но постигнутый несчастием человек. Пугачеву он был не с руки, да и Пугачев ему. Поэтому скоро (стр. 173) Пугачев по предл[ожению] Кандалинцева [82] (из Сарсас) бросает его (очень охотно). Дружинин с семьей скитался по рыбакам, жил в лесу, в землянках, и только издали до него долетали отзвуки грома, поднятого его спутником, и, пожалуй, отблески казанского пожара [83].

Вечер в Алате. Путники дожидаются в лесу. Мальчик тихо крадется за иконами. У ворот дома караул... Дружинин со слезами прощается с родиной. Беглецы пускаются дальше... Темная майская ночь в степи. Грустная семья, слезы жены Друж[инина], его растерянность... Потом молитва в степи, надежды на новую тихую, мирную жизнь... Деньги еще сохранились. Пугачев, лежа в телеге, слушает тихий разговор мужа с женой. У него тоже развивается тоска и склонность к мирной жизни.

На заре — в Сарсасах. Кандалинцев — удалой, беспокойный и недовольный своим положением.

— Чорта ли тебе в этих товарищах...

XVIII [84]

Обогнув гор[од], Пугачев устроил в степи совет, и здесь казаки принимали торжеств[енную] присягу, (сост[авленную] сержантом Николаевым [85]).

Картина. Казаки в кругу, заходит солнце, вдали городок, по временам слышны выстрелы, и ядро скачет, взрывая пыль на степи... Навдалеке сады по Дурк[улу] и Чагану.

Совещание: итти на форпосты, кои все нам согласны. Очевидно, казаки победнее, войсковой руки, посылались на форпосты, более привилегированные оставались в городе. Сомнение возбуждал Илецкий городок—граница. И теперь в Илецке порядки другие.

На пути от Уральска к форпостам, немного в сторону, к северу, невдалеке от р[еки] Embулатовки есть мар (курган) Убиенный, по всем вероятиям на месте битвы с Фрейманом [86] (от Уральска верст 60, от Январцевского форпоста верст 18). (Отметит[ь] в расск[азе]).

XIX

Шванвич [87]

Отец изм[енника] Мих[аила] Шванвича (Алекс. Мартынович Шванвич был майором и кронштадтским комендантом, впосл[едствии] переведен в Новгород...) Был высокий и сильный мужчина... Играя с Свечиным в ломбер, он имел привычку закуривать свою пенковую трубку, а между тем заглядывать в карты. Женат был на немке...»

Разрубил щеку Алексею Орлову... [88] Двое Орловых побивали Шванвича, но один на один он брал верх. Договор в этом смысле. Однажды в трактире он на основании договора отобрал у Ф. Орлова [89] бильярд, вино, и д...к. Подошел А. Орлов, и два брата отняли все обратно. Шванвич сопротивлялся и был вытащен из трактира. Тогда он притаился у ворот, и когда Орловы выходили, разрубил Алексею из засады щеку палашом. После перев[орота] [90] трусил, но Ал[ексей] при встрече его обнял, и все было прощено... Впоследствии Ал[ексей] Орлов выхлопотал его сыну прощение, и в то время как Минеев [91] и др. были прогнаны сквозь строй, — над головой Шванвича только сломана шпага. (Мих. Шванвич служил в команде Чернышева).

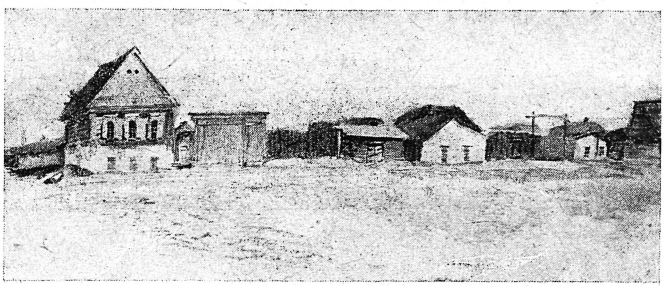
(Пушкин. Ист[ория] Пугач[евского] б[унта]. Прилож[ение]. Соч. П[ушкина]. Изд. Литературного Фонда, т. VI, стр. 108—109).

NB. Мои соображения оказыв[аются] вероятными. Барсуков [92] называет Шванвича-отца лейб-кампанцем.

Сын его в 1774 году — прапорщик армии, очевидно и отец его — не в большом фаворе. Озлобленность. Шванвич, очевидно, много старше Орлова (Орлов род. в 1734), кутила, уже состарившийся, шулер и забияка, лейб-кампанец и т. д. (как сказано в примечании). Сын его мне рисуется самолюбивым, озлобленным, от отца научился только циническому отношению к власти и к тому, как искусные карьеристы делают царей. Отец участвовал в том, как сделана царицей Елизавета [93]. Противники отца по трактирным баталиям очень удачно сделали царицу Екатерину, и лейб-кампания удалена на задний план... Почему бы сыну лейб-кампанца не возмечтать о карьере в этом же роде... Когда он передался Пугачеву, это была уже значительная сила (выставить удивление офицера, вообразившего, что идет драться с толпой разбойников, и видящего армию, пушки, все атрибуты силы и власти)...

В Шванвиче — отголосок цинического авантюризма. Простодушная верность — удел армейцев и гарнизонных служак. То, что было наверху, эту цельность верноподданства не могло не утратить, а то, что спускалось сверху вниз, озлоблялось и искало «случая».

УРАЛЬСКИЕ ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ



23

УРАЛ

[1] А Григ[орий] Степ[анович] Нагибин, старик, слышал от Тужилкина, так, рассказывал, провожали Пугачева.

— Поищи у меня в голове.
— Кто это — царь или злодей?
— Нет, царь!
— Что же мы-то делаем?
— Да что я сделаю...
Казак Тужилкин Михайло:
Едет фельдъегерь, парень молодой:
— Б-боже мой, что такое? Отомкните, отомкните [2].

Все пиши мое показание.

Прибыл атаман... К Павлу Петровичу. Это тебе было, атаман, господин, моего папу не принять? Если бы ты принял, то было бы в Расее я, да папа мой, да ты третий. Ударили в колокол [3].

Катер[ина] Ал[ексеевна] прислала одно платье зеленое, другое черное, оба бархатные. И письмо написала: я — грешница... Моя сваха ходила, видела [4].

— По книгам не выходит, как войско считало. Не то что его принимали за злодея, а считали за имп[ератора].

— Так передавали, что истинная правда, народская Как же гвардейцы его признавали, фронт перед ним делали? По-немецки писал, челов[ек] грамотный. Войско его признавало не напрасно.

Потому что женился, начал от него народ отставать. Что значит, вели от князей, от вел[иких] князей, от царей московских, а теперь, значит, старик[и?] соблазнили против веры... [5]

Я, значит, еду на тагарке, со мной калмык-работник. Встретились с муллой ихним. Буддейский поп. Отозвал, говорит: у него колесо проклято, у него спицы прокляты, у него ступицы прокляты, у него тагара проклята. Весь он проклятый. Вот они какие.

NB. Вставить в главу «На Усихе» [6].

П[авел] Петр[ович] Мартемьяна убил затиркой [7].

За Ембул[атовской].

Тихий, душистый степной вечер. На востоке белая, бледная луна, от которой книзу — тихая гамма чудесных вечерних оттенков. Ленивые увалы назади, точно ужи, разлегшиеся по степи. Какой-то зверек (слепыш) позванивает точно колокольчик, и трудно поверить, что это не птица. Тихие озерки, маленькие ерики чульметы лежат и отсвечивают вечерними отсветами. Степь заволакивается. Подъезжаем к зеленому кудрявому ерику. За ним луга и Урал... По дороге впереди — казак с тремя возами. В одном — лошадь в других — 2 верблюда. Он уже [под] Уралом... Широкая лука с обрыв[истым] бер[егом]. Над глинистым круглым яром сначала видна бледная мельница, потом Январцево [над обрывом] [8].

Янв[арцевский] форп[ост] перенесен на нов[о]е место (уже в наст[ящем] стол[етии]). Прежде был выше, на озере. Теперь просятся опять в переселение на старое место.

В Янв[арцеве] у учителя.

Купание вечером в старице Урала. Обрывистый берег.

В Янв[арцеве] жила Тушканова поэтесса. Писала стихи. Много осталось. Отец изорвал много бумаг [9].

С бух[арской] стороны завалив[ает] песком, а берег рвет. Урал гонит [10].

500 домов. 2 шко[лы]: войсковая—70, и ц[ерковно]-прих[одская], до 45 [человек].

Пугачев жил в Янв[арцеве] у Юдиных.

Учитель Янв[арцевского] войск[ового] училища Александр Осипович Токарев.

С 27 на 28-е [июля].

Ночевали в Январцеве во дворе учителя на свежем сене.

В Январцеве живет Григ[орий] Терентьевич] Хохлов, один из искателей истой веры. А. О. [Токарев] пригласил его. Мы сидели за чаем, когда около кустов появился нестарый казак в фуражке, в пиджаке и в сапогах бут[ылками]. Он смотрел на меня с хар[актерной] осторожной почтительностью, в которой чувствуется сдержанное подозрение. Но когда А. О. сказал ему неск[олько] слов, и я ответил на вопр[ос] («чей?») [11], он оживился. Оказывается, он вел свои записки о путеш[ествии] (еще не конченные), но не захватил их. А захватил в кармане неб[ольшую] книжку законов.

— А мне, видите... [12] сказал: ступай, там приехал миссионер из Петербурга, так ступай. Ну, видите ли, частные беседы насчет веры не дозволены. Вот извольте посл[едняя] статья: за совращ[ение] в иновер[ие] прав[ославного] полагается ссылка в Сибирь на поселение. Ну, — добавил он, улыбаясь, — мне свобода-то своя, я думаю, дороже всего. Я и думаю: лучше же я не

стану, а уже, если угодно, пусть устроят собеседов[ание] [13]. Да и не время.

— Вы ездили с Максимычевым?

— Ездил.

— Записывали что-ниб[удь]?

— Верно, записывал. Если что, — так я принесу. Может, когда возьм[ут] напечатать...

— Оч[ень] м[ожет] быть. Я стану писать о своей поездке и напишу: в Янв[арцевском] пос[елке] видел такого-то каз[ака] Х[охлова]. Так вот что он мне принес. И постараюсь поместить, если не все, то выдержки.

— Этак мы согласны. Я сейчас...

(Маршрут) [14].

Тов[арищ] инока Марка остался в Беловодьи навсегда, а он вернулся.

Наконец, когда познакомился с д[онским] каз[аком] Дм[итрием] Шапошников[ым]. И в то вр[емя] был назначен Варсон[офий] Барышников... В Бонбее на Малаб[арском] берегу, по каким-то препятствиям доехать не могли [15].

А только Арк[адий] не стыдясь хотел с ними ехать. Но Барышников и Пустобаев отнеслись холодно и не пригласили на Урал [16].

Были в тех местах, на которые Арк[адий] ссылался, так он долго и не допускал. Я притворился, что желаю присоединиться. Тогда успели умягчить. Допустил на утр[енней] заре. Выходит: чего угодно?.. — Я первое спрошу вас: когда вы угодили в Белов[одье] и какими путями оттуда приехали? — Не помню, гов[орит]. — Еще будто бы есть 3 монастыря за Ябл[оновым] хребтом? — Да, есть. — И будто бы там епископ? — Да. — Они откудова занялись? — Оттуда, откуда и я. Им ближе. — А где же Ябл[оновый] хреб[ет]? — Да там, где он и был. Вот еще какой явился: скажи ему, где Ябл[оновый] хребет. Я не Иуда предатель...

— Если вы знаете, где Ябл[оновый] хреб[ет], так власти раньше знают. А кто там завед[ует?] Я только

посмотрел, к чему только пристает народ... Они конечно — сюда был за 40 в[ерст] и туда за 40 [17].

Пугачева приняли за импер[атора], и прадед Хохлова подавал ему лошадь. Сам Хохлов с отцом спорил, п[отому] что по гражд[анским] записям выходит — самозванец. Но старики верили.

Пос[елок] Январцевский в начале нын[ешнего] столетия горел, и притом загорелась самая почва. Потому что много навозу (все лошади стояли). И горело три года, никак не могли утушить: снегом накроет, а все тлеется. Вот и перенесли сюда пониже. Крепость была в верхн[ем] конце тепер[ешней] станицы, где теп[ерь] горш[ечный] завод, а самое станицы место теперь уже под Уралом, а, пожалуй, и на Бух[арской] стороне. Когда кн[язь] Волк[онский] шел с войском в Уральск [18],— тогда был ли тот ли уже поселок на этом месте, а во вр[емя] Пугачева еще был на озерах (Хохлов).

Хохлов. Пугач спросил: Куда, Мартемьяшка, едешь?— В Петербург, на твою см[ерть] посмотреть. — Ты мою смерть не увидишь, а я на твою посмотрю. — А ранее сказал: «Передние-те колеса лошади везут (это на себя), а задние чорт несет» [19].

И М[артемьян] не возвратился. И казнь сомнительная [20]. Это стариков возмущает, что все вышло, как сказал: они склонялись было на такую мысль, что назвался... Ну, а это смущает.

(У Хохлова — жалов[анная] Елиз[аветой] П[етровной] сабля казаку Пузаткину.)

Из Янв[арцева] 27 [июля] в 8½ ч.

Дорога лугами. Лесок, «озера». Легкий подъем. У конца озера, на месте довольно плоском, у «озер» в пугачевское время стоял Янв[арцевский] форп[ост].

Вторая полов[ина] дороги. Пески и бурханы. Недалеко виден Урал. В трех телегах едут какие-то чер-

номазые народы, вроде цыган. Запряжки парные, лошади сытые, бойко везут по песку. Из телег видны босые ноги. Целые семьи спят вповалку.

— Откуда?

— Из Сибири.

— В степе-то какого народу не встретишь [21].

Ст[аничный] атам[ан] ст[аницы] Кирсановской Квинтил[иан] Емел[ьянович] Беляев. Поэма Голованова «Герой разбойник» у Матвея Маркел[овича] Хохлатова в У р а л ь с к е [22].

В Иртеке спросить Наума Гав[риловича] Баннова.

В Бороб[инском] [поселке] Ухов старик [23].

Рассказ о киргизе-убийце.

В Т р е б у х а х 3 девочки 20 июля переправились на бух[арскую] сторону в свои луга за ягодами. Разбились: 2 пошли вместе, одна особо. Последняя наткнулась на киргизина: лежал под кустом нагишом. Вдруг вскочил да ножиком распорол ей живот, потом изрезал на куски. Остальные девочки услыхали крик, кинулись в станицу. Переправились через Яик, взбулгачили народ. Ст[арший] атаман созвал челов[ек] 5 «полевых казаков» (служащих). Кинулись за Урал, оцепили лес, взяли киргиза: долго не давался, отбивался ножом.

(Духи старой вражды, очевидно, проснулись в жаркой степи, как встает марево или вихрь... Несчастная девочка попала в этот вихрь и погибла: не попадись она в эту минуту, вихрь, может, улегся бы, и девочка осталась бы жива. Кто знает, какие им[енно] духи старой вражды проснулись в дремавшем киргизе...) [24]

В Кирс[анове].

Жнитво. Под навесом сидят три мужика. Два молодых, один постарше, с лицом добродушного мордатого босяка. Это косцы (Сам[арской] губ[ернии] Бугульм[инского] у[езда]). Они ушли сюда за 300 верст. На покосе заработали по 6 р. на брата, здесь у нашего хозяина нанялись по 8 р. с десятины (4000 с.).

Кончили работать: а у нашего хозяина денег на расплату нет. Казаки — хоз[яева] в степи на пашне и на бахчах. Ждите. Хозяина жалко, косцов тоже. (Разговор...) [25]

А страда... [26] в разгаре. На-днях киргизин «загорелся», побежал к Яику, как был кинулся в воду и не выплыл. Два брата потом дня три сидели на ярах, караулили, на 3-й день выплыл. Загорелся также казак, работавший на своей пашне. Еще неск[олько] человек ушли из дому в этот поход, чтобы никогда не вернуться... [27]

За Кирсановым (на бер[егу] Ур[ала] старый город) пески кончились. Дорога легче, вьется близ красных яров извилистого Урала.

Верстах в 6—7 хутора. Сухая Елтышевка (на речке Елтышевке). Белые стены и солом[енные] крыши на фоне лесочка по речке.

Далее направо хут[ор] Ранеев. Потом зеленый ерик с мелким лесом (кое-где важные осокори), и потом из-за старых стволов и густой зелени осокорей внезапно показываются освещенные солнцем избы Иртецкой ст[аницы]; за рекой Иртеком перекинут мостик.

Старик Клим Донсков. Огромная голова ушла в плечи. Толстый нос и губы. Все испортил: Баннов не сказал ни слова.

Писарь в Кирсановской ст[анице] сказал мне, чтобы в Иртеке спросить старика Баннова (более 90 л.).

— Да у тебя там дядя Клим Донсков. Тоже старик ловкий.

— Нет, — ответил писарь. — Дядю не спрашивайте.

— Почему?

— Да так... Тот старее...

Въехав в Иртек, я увидел у избы в холодку седого старика со старухой. Остановился и спросил, не знает ли Баннова.

Ответил, что это — он сам.

Так и так.

— Сами не помним, а что слыхали, скажем.

К сожалению, пока мы въезжали в соседний двор, он успел сходить к другому старику, соседу. Выполз старичище противного вида и сразу обрезал: — Мы ничего не знам. Повидимому, в старой упрямой голове зашевелились какие-то подозрения.

— Этак же вот раз. Будят меня ночью: вставай. Приехал чиновник. Ну, я явился. Что мож[ет] быть такое?

— А насчет Илеку. По какому случаю у вас грань за Бород[инским] поселком, а черными-те водами илецкие у вас пользуются до Утвы.

— А так, я говорю. Стало быть, был такой слов[есный] договор, что у них мало черных вод, у нас лесов.

Старик... [28]

Вот это мы знам, а больше ничего не знам.

Здесь начинаются илецко-ур[альские] интересы [29].

Крепостные были у Бородиных, у Донсковых, у Портнова (сообщ[ил] Мак[ар] Ег[орович] Верушкин) и у Мизиновых [30].

Солнце село. Опять направо стоит луна, но сегодня она как червонец. Невдалеке Урал (синяя полоска леса). Мы спускаемся в ерик, тихая степная речка, поросшая осокой. Влево степь закрывает от нас огромный бархан песку, очевидно, нанесенный (наметенный) недавно. Песок еще не вполне слежался, и холм, видимо, растет, как внезапная опухоль, которою заболел этот тихий, чудесный, степной уголок. Несколько старых осокорей стоят с обнаженными корнями. Из-под двух ближайших почву выдуло уже аршина на два, и обнаженные корни точно старые пальцы судор[ожно] хватаются за уск[ользающую] почву. А в верхушке стоит тихий, но внятный жалобный шелест. Старые деревья как будто беседуют перед вечером о том, что свет заболел, что почву выдуло, что никогда

прежде этого не бывало и что на свете становится все хуже.

Въезжаем глубже, берег ерика. Зелень гуще. Степь совсем скрылась за увалом. Песку нет, направо буйная поросль поймы...[31] А из раскаленной степи уже тихо ползут переносные пески и на этот бес[печный] уголок.

Дальше опять деревья отступают вправо в луга. Колеса шипят в песке.

— Смотрите, — гов[орит] мой сп[утник], — дорога и в лугах становится хуже. Теперь здесь степью уже не ездят, разве по необход[имости] в половодье. Обозы и то здесь [бывало] идут. А теперь их и здесь заносит.

А влево, рисуясь на небе, бурхан за бурханом из переносного песку тянутся уныло грядою, как... могилы...

Луна [перекрылась] туч[ей], оставляя только золотист[ую] пыль на отсветах. Картина полна предчувствия и зат[аенной] печали.

Уже темно, когда мы въезжаем в станицу, бывшую креп[остную] деревню на вольном Яике (Давыда Мартем[ьяновича] Бород[ина], сына Март[емьяна][32]. Интересно, какое влияние это явл[ение] имело на пугачевщину).

Пост[оялый] двор обширный и зажит[очный][33]. Как раз хозяин съезжает со двора с нов[ым] хлебом на мельницу...

— Почем за жнитво?

— По 10.

— Дешево. Где нанимали?

— В Ташле.

— Дешево оттого, что станичный сделал. Как уж сказать? Конечно, мужики обижаются, а для казаков хорошо. У нас наемка в Ташле. Съехались мужики, говорят, хлеб сильный, давайте, ребята, дешевле 25 не наниматься. Ну, не наниматься и не наниматься. Тогда стан[ичный] атаман собрал полевых казаков: дуй-

те их, ребята, нагайками... Чего на дураков-то смотреть. Потом стариков отделили: остальных, говорит, гоните вон. Что, говорит, вы наше место поганить, хозяев поганить? Не хозяева к вам пришли, вы к хозяевам пришли... Хотите работать, работайте. Ну, тут опять казаки сговорились: не давать больше 10. Конечно, тем деваться некуда: пришли работать, не назад итти голодными. Стали наниматься [34].

Это объясняет мне кое-что в картине отнош[ений] косцов и хоз[яев] в Кирсановск[ом] яру.

Говорят, цены строит бог. Оказывается, ташлинский атаман устроил на этот раз цены довольно успешно.

Связь крепостнич[ества] и некотор[ых] казней Пугачева. Как относилось казачество: возможно — двояко: 1) держать крепостных есть привилегия казаков [старшин].

2) Лучше беглых обращать в казаки: больше наемников для войска.

(Варв[ара] Эрастовна Бород[ина], внучка Дав[ида] М[артемьяновича].) Ее рассказ о суровости Дав[ида] [35].

Еще на Усихе [36].

Киргиз говорит: по Яик наше, за Яик в а ш е. Казаки сразу волнуются: по увал наше, наши форпосты там... Пугачев не знает, как решить спор: он обещал Яик от верховьев до моря с р е к а м и и о з е р а м и. Киргизы этого признать не могут.

Ураз Аманов [37] все слушает (внезапная вспышка частной ссоры с Чикой). Кр[овавая] месть и счеты. Пугачев внез[апно] вл[астным] окриком останавливает вспыхивающий спор. Но когда калмык начинает свою жалобу (Бараина?) [38], потом киргиз заявляет историч[еские] прет[ензии] своего народа, потом казаки, хватаясь за шашки, кидаются оспаривать, — Пугачев чувствует инстинктивно, что это освобождаются не-

улегшиеся силы земли, враждебные и нестройные... (Тревога.) Побег. Как-ниб[удь]. Тревожная минута закрывает зародыш великого нестроения[39].

— А где вас положить?

— ?

— Да вот не на базу ли?

Т[ак] как баз означает навес с плоской крышей, на которой казаки ставят стога и под которым помещается скотина, — то, значит, мы очутились на этот раз на плоской крыше. Прямо против меня, над обрезом другого база виднелась скромная и довольно стройная церковка, построенная Дав. Март. Бородиным... Как говорила мне...[40] он был очень суров, даже жесток со своими крепостными. Но казацкая совесть, повид[имому], не совсем легко мирилась с крепостничеством. Поэтому, б[ыть] м[ожет], он поставил для своих мужиков эту церковь, в которой, впрочем, кажется, его видели не часто, т[ак] к[ак] он был старообрядец и перед смертью заботливо обеспечил участь «своих людей». Он отпустил их всех на волю (еще в 30-х годах) и, пользуясь своим влиянием, всю деревню б[ывших] креп[остных] сделал казачьей станицей, а ее жителей — «вольными казаками»...

Эти воспоминания, необ[ыкновенно] яркая луна на небосклоне и несколько ослепит[ельных] падучих звезд около зенита были последними моими впечатлениями этого вечера.

Наутро веду поить лошадь. Возвр[ащаюсь] и застаю новых постояльцев: во дворе стоит воз, и на возу 4 мужика. Едут в Астрах[анскую] губ., возвращаются домой с «новых мест». Дома тесно.

— Земля плоха?

— Земля, видишь, не плоха, да земли мало, вода чужая, нет тебе никакого удовольствия. Степь у нас только полоской подошла, а то и выгон чужой и озеро чужое.

— А на нов[ые] м[еста] ездили?

— Не доехали. Видишь, люди все хают.

— Чем? Земля плоха?

— Нет, земля тебе хорошая, и вода близко, и луга хорошие. Морозом когда побивает, ну, не всегда, и то кормиться можно. А тем плохо: жел[езная] дор[о-га далеко, 400 в[ерст].

— В каких это местах?

— За Орск[ом] и дальше, в Кустанай. Видишь ты, город Петропавловский тоже далеко. Базаров нет, в гор[од] вези. А как повезешь на одной-те лошади?

— Значит, сыт будешь, а ходи босой, нагой.

— Ну, один челов[ек] говорит: вам, старики, трудно будет, а детям хорошо, когда провед[ут] жел[езную] дорогу... Да, видишь, место глухое — проведут не скоро. А до тех пор... куда с хл[ебом] денешься?

— Возят люди... — говорит молодой парень. Перед ним жизнь впереди, для над[ежд] еще места много.

Они уж успели поработать на жнитве.

— В Ташле нанимались?

— Нет.

— А в Т[ашле]?

— Да было. Видишь, они мужики-те разделились. Одни хотели подороже: дешевле, говорит, чтобы ни отнюдь не брать. Ну, есть семейные, которым необходимо из кармана кормиться. Тые-то лодыри, а этим есть нечего. Тые, значит, стали наниматься. Они их бить. Пошла драка.

— Казаки усмирили?

— Где казаки? Народу — сила огромная. Они осердились, казаков, было, смяли. Прискакал атаман, они и атамана примяли. Ну, мужичек усмирил. Выхватил нож, — не для чего, значит, а для усмирения. Стал гоняться с ножом. Они, значит, в страх пришли, — давай разбегаться.

— [41] Где моленна?

— Астрицка, что ли?

— Ну-ну.

— А, видишь, сени стоят. Вон без окон на улицу-то вдоль стоит.

В моленной темно. Ставни закрыты. Вход обставлен плетнем, от этого темно и в сенцах. В глубине обширной избы, в темноте угадываются полки с иконами. У самого входа на лежанке сидит древняя старушка, сгорбленная, видимо, слепая и старыми руками едва вяжет чулок.

— Ты что же это принес? — спрашив[ает] она.

— Я, баушка, проезжий человек.

— ...что ли?

— Да ты меня, б[абушка], не знаешь.

— А? Да ты какой человек?

Я кое-как объясняю.

Ей, видимо, нравится, что я зашел, узнав об ее возр[асте].

— Ну, спаси Христос.

Попытки завяз[ать] связный разговор не удаются. Д[авыда] Бородина назыв[ает] «барин». Бар[ин] купил их по смерть. Жить было трудно. Коли не трудно жить... Даст, знаешь, три пудовки чистить... А чистили руками в ступах. И построил мостки дошчаты. А на земле сушить не дозволял...

С[тарая] [память] (испорченная машина) выкидывает воспоминания по частям. А народу много было. Купил барин. Много, много. Ергалы и баяли не понашему, по-ерзальски...[42]

— Ну, прости, баушка.

— Спаси тея Христос.

Ур[алец] Белоножкин говорил, что эта бабка иной раз быв[ала] разговорчива, особ[енно] прежде. Ругалась.

— Вы, гов[орит], подлянки. Беременная, так и не работает. А мы, бывало, кирпичи таскали: берем[енная]! Еще лучше: клади десяток на брюхо.

По его словам, она же говорила, что Бородин поселил крестьян на Илецкой земле. Попросил на время. А после оставил.

29 [июля]. Выехали поздно, ч. в 8¼. Вскоре за [станицей] Крутая Ростошь [43]. Мост. Прежде разбойничали. Земля бородинская, а мост строили илецкие.

Дорога глаже, песков менее. Мары [44] на левой стор[оне] (граница). Расскат Киндели — уже Илецкий, поселок (Студеновской стан[ицы]).

За Крут[ой] Ростошью дорога вправо на Кош. Старики в Кинделях говорят, что там был старый каз[ачий] городок на Коше. Думают, что именно там было Голубое Городище (Жел[езнов] [45] указыв[ает] в друг[ом] месте). С версту за Кр[утой] Ростошью речка Кош впала в Урал. «На степным кряжу, на «рынке», на увале, есть городок, видно валы, заведёно порядочно». «Начало здешнего краю войны, старики наши кровь проливали. А Голубое Городище (Голубая речка (старичка) пала на бух[арской] стор[оне], а против Городище (Голубое), на границе между Кинделями и Бородинским. Р[ечка] Заживная переходит в Кош, и Кош падает в Кинделя.

«Значит, киргизы переправлялись через Урал. Теперь это все Урал переработал, сделал перекоп. А прежде была боевая дорога киргизская. Ходили на Расею, обогащались. На что птица гусь, — он сразу все-таки не сядет. Не троньте его, — уж он прилетает и садится безо всякой опаски. Так и те — посылали вперед. Потом едут.

— Кош аман? Значит, благополучно? Кош аман?. — Ну, они едут. Ну, тоже наши родители жарили их из винтовок порядочно.

Уловка ихняя: возьмет перестелет кушак. Едут назад, если кушак лежит, — значит, никого не было. Кош аман.

(В Илеке Калдеиха старуха командовала орудием.)

Объяснение ергалы: ген[ерал] Бор[один] выиграл на картах разных язык народ — мордва или чуваши.

Даникеш киргиз (против Затонного 18 в.). Соседи захватили покос. Даникеш сказал: «Твои деньги, мои чернила, посмотрим, кто осилит...»

Пароход. Запрещение было, да малосильно оно. А то, что маловыгодно: лаптей навалют на него, колес. У нас их довольно. Ходили в жирну воду, а то ерикà неудобны. «Николай Крыжановский» [46].

По Иртеку были хутора, и все крестьяне: у Мизиновых, у Щаповых (у Андр. Афан.), у Донсковых, у Акутиных.

У Щапова: киргиз пас скот, умер, остались 2 детей. Он их окрестил, оставил у себя. (Фам[илия] по отцу кр[естному] Портновы). Первый хутор был на р. Иртеке, при впадении рост[оши] Дубовой.

Где стоял скит, тут опять Маринкин городок [47]. Совсем в лугах (на возвышении, вровень со степью). Т[аким] образом, по объяснен[ию] стариков, когда в лугах заливало, оказывались на острове, — тогда у них жилище было на степе.

---

[48] Киргизы не уступят. Они верхами поедут к государю. У них такая натура: народ неученый. У нас вот с иртецкими (чернышевские, вязовские хутора и др.) и то все война идет: мы пашем близ Иртека, а поить скотину поезжай за 10 в. в Кинделю, не допускают.

— Даже построили пикеты.

— Каждую осень несколько убийств бывает...

В прошлом году каз[ак] Ипатий Мякулин печку делал (на пашне завед[ен] у него хутор-кухонька для печ[ения] хлеба). Сидит на пече, умазывал трубу. Приезжают иртецкие, стащили его с печи, давай его таволгàми жарить [49]. У атамана, говорит, тàволга-то твердая. Потом привязали его сзади к тарантасу руками. Поехали. Ну, спомнились маленько, отпустили. Он пошел по дороге.

Решение вопроса: [50]... менее одну станицу Илецкую выселить бы за Иртек, около Кузьминки. Там до об-

щ[его] сырта лежит степь порожняя, никто не живет. И ладно бы, никого бы их не затронули.

Дополнение (со слов Киндел[инского] стан[ичного] атамана). Привязали Ипата и др[угого] казака на задок тарантаса, привязали к шесту, свистом [51] повезли. Привезли на хут[ор], атам[ан] надел детск[ий] колпак [52], вот какие илецкие казаки. Потом налили чаю и опустили кусок кр[асной] рыбы, поят. Ат[аман] Киндел[инской] стан[ицы] написал отзыв: что это делали тур[ецкие] башибузуки, и то до 1878 г. За это атам[ан] посажен в кутузку. «Потому что какое право они имеют хватать у меня казаков. Если он у тебя что-ниб[удь] сделать — вяжи хоть за ноги. А то приехали ко мне, и хватает...»

(Тут нагайка извеку действовала при провед[ении] границы.)

Все это действовал атаман Благодарновской ст[аницы] [спьяну] [53]. Теперь уж опился и умер.

Одни говорят: к нам скоро земля перейдет. Другие их ловят, где можно, и лупят.

Собеседов[ание]: атам[ан] председат[ель] Надеждин к Головнину:

— Ну, все-таки они признали, что преемство было до Иосифа. Куда же оно девалось?

— Церковь стоит, нравы упали. Что же мы кирпичи, что ли, почитаем? (Шум.) [54]

По словам свящ[енника], в Кинд[еле] был еще один род в начале нын[ешнего] столетия кочевых татар. Они выгоняли в 40-х годах табуны особой пор[оды] лошадей из камышей с Ахтубы. Назывались кондуровскими татарами. (Говорил ему отец, свящ[енник] старик). На плавенное рыболовство выгоняли лошадей.

29 [июля], час. 4.

Из Киндельинской ст[аницы] подымается кверху по Киндел-реке. С нами Дм[итрий] Е[фимович] Поляков (поморский с[тарообрядец]) [55].

На гориз[онте] мары. Д[митрий] Е[фимович] рассказывает, что на Урале есть 2 огр[омных] мара (Сторожев[ой] знач[ок]) [56]. В 1845 году орда промежду себя воевала и побила наших казаков. Тогда, пожалуй, в послед[ний] раз на кург[анах] горели маячные огни, разнося тревогу по [реке?] [57] и по степи.

На бух[арской] стор[оне] один Биштавский мар за Уралом и Илеком. А в Студ[еновской] станице Жагенский мар, и видно один с другого.

(Против Январцева тоже большой мар на бух[арской] стороне).

Дождик прошел. Хутор Нижнедубовский (был Щапов, а Дубовской купил, когда отошли крестьяне).

Рядом домик Дм. Еф. Полякова (прощаемся). Славный старик с тонкими чертами лица (из поляков) [58].

Перелаз на ½ пути.

Хут[ор] Алексеевский.

Дубовской.

Остров (чудесный хуторок в лощинке, охваченный деревьями).

Виден сад с хутором за Кинделью.

Оказывается, мельница Вас[илия] Андр[еевича] Щапова [59] дальше, чем мы думали, и закат застает нас в степи. Закат тревожный. Солнце садится в облака. Вверху горят какие-то разметанные хлопья, внизу толпятся какие-то туманные образы, фигуры. Чьи-то головы резко выступают на свету густо и тесно, а самая толпа тонет в тумане... А еще ближе из этого тумана выделяется мрачным столбом какой-то богатырский образ. Точно кто-то, сказочный, небывалый, выдуманный этими степями, марами, ростошами, или кто-то подкравшийся навстречу ночи из степного марева. Может быть, скачет, мож[ет] быть, плывет в бударе... Туманные образы тихо колеблются, сплывают, теряют очертания и тонут. А степь вспоминает что-то, [плавно] — и тихо темнеет. А на другой стороне бледная огромная луна старается пробиться из синей...[60]

мглы. Впрочем, может быть, это тоже марево. Нет, еще немного — солнце гаснет, ветер мгновенно бежит по степи, как бы торопясь за последними лучами, а луна вырезается яснее. На закате все образы сплываются, темнея. Но все-таки и среди темноты чувствуется тревога и как бы приход грозы.

Спускаемся в луга, [зеленая] мельница. Поселок Измайловский. Направо татарское кладбище. Налево кучка могил и пам[ятник] с тяжелым 8-конечным крестом. Это уже семейное кладбище нашего хозяина.

Среди потемневших осокорей странные крики галок и ворон. Тоже тревога и совещание. Мельница. Жел[езная] труба и обоз казаков у плотины. Не застали. Заходили на мельницу. Сгоревшее здание паров[ой] м[ельницы]. Еще недавно здесь горело электричество. Пруды, плотина, все устроено как-то художественно. На пруду островки и деревья склоняются над водой с островка к островку. Но мельница сгорела, деревья на остр[овках] подсохли. Прежде была одна вод[яная] Соловьев[а]...[61] и паровая.

Уголок расцвел. Среди степи — электр[ичество] светило на дал[екое] расстояние. Удивлялись и рыбы и хуторяне-казаки. Не застраховали. Пожар. Теперь — запустение и щемящая грусть. На мельнице — духи[62]. Едем обр[атно] в Герас[имовку]. Степь еще грустнее. Облака успокоились или, вернее, притаились во мгле. Луна задернулась какой-то пыльной красной дымкой.

Повид[имому], хоз[яин] этого грустного места однако не падает духом.

— Работает с жнейкой — кому десять, кому две, кому 3. Для бедных в долг жнет. Благодарят. Эх, что говорить, ви[дно] такой уж человек!

В Герасимовке нет, — поездка на пашню. Татар[ин] Нурей у костра. Стан. на жнитве. Чудесная лунная теплая ночь[63].

На р[еке] Иртеке, в устьях Генеральск[ой] рощи у Д[авида] Бор[одина] были хутора и поселены крестьяне. Проезжая в Оренб[ург], призвал Афан[а-

сия] Данилыча Донскова (от Уральска был поставлен Ник. атаманом илецким) и попросил созвать «стариков». Сейчас. — Нет, не сейчас, а поеду я из Оренб[урга], тогда собери ты мне, Аф[анасий] Ив[анович] [64], стариков с хуторов — с Иртека, с Кинделя. Поехал назад, старики собраны. Так и так. Вот у меня крестьяне, но здесь неудобно. Я езжу часто в Ор[енбург], мне бы надо на пути. У вас за Крутой рост[ошью] место свободно. Пустите туда.

— Ну, что ж. — Так дайте бумагу. И дали ему бумагу. Долго было смирно. Бухарцев (70 л. старик в Бородинск[ом поселке]) говорит, что пахали долго кинделинцы за Бород[инским] пос[елком], а бородинские под Кинделью. Вышло дело из-за лисицы: забежала в Бород[инский поселок]. Охотники забежали. Бородинские и говорят. Какое пр[аво?] [65].

С тех пор и начались дела, кончающиеся экзек[уциями]. Все дерут илецких. Романа Фролова — так его драли раз 5 за неправ[ильную] подачу просьб.

Воскрес[енье], проснулись в 5¾. — Выехали со стан. в 9.

Речка Быковка. Хорошенькая степная речушка, извилистая и поросшая осокорью, сер[ебристым] топ[олем], ветлами и вербой. За мостиком и речкой сб[орный] пункт, казармы и вышка.

Между Рубежной и пос[елком] Требухи разнообразно, деревня Ембулатовка — тоже кудрявая речушка: осокорь, большие... [66] вяз[ы].

Тотчас за речкой на воз[вышенном] берегу — пос[елок] Требухи. Оч[ень] красиво мельк[ает] из-за деревьев. Пер[ед] мостом лавки из плетня.

М. Тих. Темников... [67] Начало: Голиц[ын] [68] популяр[ничал]. Ездил по станицам. Велел сгонять нар[од], чтобы была полна станица. Шутит, треплет хор[ошеньких] казачек по щекам. Дев[ушка] подрост[ок]. Пятиалт[ынный]. Разворачивается. Сует. Н...

мне на твои деньги. У нас своих много. У вас народ распущен! [69]

Жег плетни [70].

Стихи:

От Гурьева и до Бакайки
Каз[ак] наш новый проскакал
И роль бесстр[унной] балал[айки]
Отлично всюду разыграл [71].

24

УРАЛЬСК

Буд[ем] биться со врагами,
Пуля в пулю отвечать,
На див[аке] пред огнями
Буд[ем] в[одку] выпивать.
Пей, [друзья], покуда пьется,
Горе в жизни забывай.
На Ур[але] т[ак] ведется, —
Пей, ума не пр[опивай].
Любим шумное вес[елье]
Мы за чашей круговой.
Чаша верно [в] час безделья
Служит рати строевой.
Могет, завтра в чистом поле
Да кого-ниб[удь] из нас
Между мертвых-полумертвых
Буд[ет] ждать посл[едний] час.
Могет, завтра в чистом поле
Нас на ружьях понесут,
А уж водки после боя
Да понюхать не дадут.
Могет, завтра в чистом поле
Ядра громом загремят,
Ядра с шумом, пули с визгом
На кареи полетят (Затон) [1].

Я етих троих с лош[ади] стаскаю. Вот каз[аки] были джигиты [2].

Я тебя сразу умою, двоих этаких умою, как ты. Выходите вдвоем на леву руку (Астафий...).

— На каку ткнем песню, ту и споем. Все у нас в кармане.

— Тебе г-голову разбить надо в к-куски! Мож-жешь ты ремизить старых казаков?

— Запели! Два колеса, одно немазано.

— У нас голос, что у старого верблюда!

— Ревность есть от водочки, да голосу-те нету!

— На службе маленько натерыкался...

— Они, слушайте, выходили на войну с подсолнучными стволами. Тут и фехтовка, тут и джигитовка!

— Стариков вы могете обарать!

— Я вот какой казак был, — джигыт.

— У вас все готовое, на службе вас кормят, как боровьев! На убой. А у нас все было свое. Вот как служили!

— Где вы служили?

— Здесь.

— Это служба?

— Ты молодой, не понимашь. Старики землю кровью наскрозь прòлили! Орда тут была, понимашь ли ты?

— Баба у тебя вышла, напримерно, за реку, хоть, скажем, на ту сторону против тепер[ешнего] мосту. Ее киргизы схватали, увели.

— Баба малое дело.

— Малое дело, ты говоришь? Она мне жена, детям мать. Ну, ударят тревогу, собирамся, а ехать, отнимать не моги, не дозволено это. Пойдешь, — там тебя тоже убьют. А ваши теперь ходят. Все от кого? От стариков! Вы что знаете?

— Мы дисциплину знаем. А вы за что медали получили?

— Они, извините, вот за что медали получили. Наделал, напр[имер], мужик горшк[ов]. Надо куда-нибудь девать. Он на плетни надевает.

— Ты это к чему?

— Значит, медали наделаны, надо надевать на кого. На стариков надели.

— Ты могешь выражать это?

— Голову разбить вам. Тут вот 2 челов[ека] сидят, этим только стесняемся.

— Простите, старики, Хр[иста] ради.

— Бог простит. А ты не моги таки слова выражать против нас.

— Против вас. Да разве я... Господи б-боже мой... Да вы наши отцы, мы за вас кровь прольем. Я только к тому говорю...

— Постой, давай песню споем.

— Затягивай. Веди дишканта. Я поведу низом:

Моґет, завтра в чи-истом поле
Д1 кому-нибудь из нас...

— Запели 2 колеса, одно немазано...

Между мертвых-полумертвых
Будет ждать последний час...

— Веди старую песню.

Ра-асшумелась сильна буря...

— Веди протяжно... Мы, старые казаки, вот как пели. Слезой изойдешь...

Во-а-ровской кора-абличек...

Молодые тоже подхватывают. Среди трактирного гама ненадолго встает протяжный мотив. У седого красавца разгораются глаза... Он встает и обнажает рукава. Грудь у него колесом, стан тонкий, маленькая кирг[изская] бородка...

— Выходи вы, молодые. Давай сейчас на лошадей. Я вас всех умою. Всех, сколько ни есть.

— Садись, Аст[афий]...

— Нет, пусти, выходите оба. Вы могете старых казаков обарать.

— Оставь.

— Нет. Вы моей ...[3] племянники.

— Мы старых казачков почитаем.

— А где наша антирелия? Старики потеряли. Где знамена? Где атаманска насека? Старики потеряли.

— Это оставь.

— Это в 37 году было. Вы младым умом не понимаете этого дела...[4]

— Зачем было, старики, за колесья хвататься?

— Ну, когда ты таке слова могешь выражать, выходи!

— Выходи, так и этак тебя.

Все три старика встают, как три старых богатыря. Глаза сверкают, они подымают рукава своих старинных азямов, грудь вперед, и нам невольно приходит в голову, что сейчас будет свалка и что молодым казакам не сдобровать.

— Выходи! Все вы, молодые, выходи! На одну руку!

— Давай сейчас на коней садиться. Хочешь на улице, хочешь на степе. Где хочешь. Поскачем один на другого. Пускай же ты молодой, я — старый казак. Я тебе в-вот как с коня сдуну. Чисто.

— Сдунешь!

Вмешивается рыжий большеголовый мужик, с оклад[истой] бородой. Его фигура сразу выделяется среди подбористых стройных казачьих фигур. Он выходит и становится посередине.

— Возьми меня, мужика, подыми с полу.

— Я стар. Не эдаки кули подымал, молод был.

— Ну, подыми меня, мужика.

— Молчи! — кричит старик.

Один из молодых, поникший до тех пор головой, внезапно просыпается.

— Мужик! Не суйся. Казачье дело могешь ли понимать.

— Да вот вы, казаки, хвалитесь. Бери меня!

— На што тебя брать. Вас, мужиков, мало ли. Много. Дешевы!

Общий хохот на время примиряет обе партии.

Начало: сидят три старожилые казака и пьют водку. Входит молодой.

— Э, Калистрат, товарищ, садись.

— Я тут товарища ищу.

— А мы тебе не товарищи?

— Товарищи, верно. Все казаки! Все, можно сказать, одной Европы. Верно ли?

— Верно.

— Теперь вот в Китай погонют, станешь рядом с немцем, с англичаном Китай воевать...[5] Быка запрягают с коровой. Идет, потому не пойдешь, — ударют.

— Ты к чему применяешь это, а?

— Товарищи, старики! Вы наши отцы. Мы свою кровь, вот! Сейчас прольем.

— Ну, так садись!

— Я признаю так, что вы достойны, старики, что нам с вами сидеть. Это благодарим. Ну, как у нас кампания. Будет согласс, ай нет? Я должен спросить. Мы хотим песни играть.

— Давай вместе. Вот и товарищи. Садись сюда. Заводи.

— Не споемся. У нас песни другие.

— Почему не споемся? Все товарищи. Одно войско.

— Одно, да не одно. Служба другая.

— Чем другая служба? Все царю же служили, за отечество кровь проливали.

— Это мы не говорим. Это хорошо. Ну, теперь другое.

— Теперь вас кормят, поят, обувают, одевают. Все у вас готовое. Шеи у подлецов вот какие! Какая ваша служба?

— А Сидоров?[6]

— Об Сидорове слова нет, Сидоров молодец. А ты кто?

— Казак.

— Где был?

— В Киеве был...

— Ну, пролей кровь в походе, тогда говори. Мы служили.

— Они, ваше бл[агородие], служили вот как: подсолнечные стволы брали. У-ух, вот шашки какие были.

— А у вас?

ПУГАЧЕВСКИЙ ДВОРЕЦ В УРАЛЬСКЕ

— У нас форменные. Сабля, она должна иметь ударение наискось. Видал, как киргиз кугу[7] режет...

— В халатах на смотры ездили.

— Из турок палили.

— Ну, ты говорил, теперь молчи. Молчи, я говорить стану.

— Молчи, молчи.

— Ну, говори!

— Эта сторона какая была, ты знаешь ли?[8]

— А читал книжку: сколько земли нужно?[9] Вы за землю воевали, капиталы собирали. Ну, мы этого не знам.

— На версте не ляжешь. Все одно на одной сажени лежать будешь...

Ирджан Чулакович[10]

Киргиз Чулак Айбасов, сын простого киргиза (родоначальник Бутантый), выделился верной службой. «Никто вернее не служил русск[ому] правительству». Он был умный человек и новатор. До сих пор у устьев р. Илека, падающего в Урал, есть урочище, называемое по имени Чулака. Здесь Чулак построил первую землянку для зимовки. Это была просто яма, прикрытая досчатым потолком, в который были вставлены окна. Несмотря на то, что все это было сделано сравнит[ельно] богато, — киргизы долго не соглашались входить в землянку.

— Да это могила, — говорили они.

Теперь почти все киргизы проводят зиму в землянках.

У Чулака было 2 сына. Ирджан Чулакович, воспитывавшийся в Ор[енбургском] кад[етском] корп[усе], служил в военной службе, участвовал во многих походах, в том числе в Хивинском, имеет георг[иевский] крест, много медалей, перстни, часы и т. д. Нурджан, его брат, образов[ания] не получил и представляет партию старины. На последних выборах в вол[остные] правители верх взял Нурджан. Вскоре, однако, Ирджану, повидимому, предстоит опять возвра-

щение власти, так как должности управителей будут замещаться по назначению. По словам Ирджана, у киргиз не осталось никаких преданий или песен о Пугачеве. Вся эта буря прошумела мимо, за Уралом.

Он сообщил мне по преданиям кое-что из кирг[изской] истории.

Местность, где теперь живут киргизы, когда-то была занята калмыками. Киргизы под предводительством Исет Букымбая вышли из Туркестана и 12 лет воевали с калмыками, «делали сражения и барантовали». Калмыки были побеждены и прогнаны за Волгу.

Одним из предводителей кирг[изов] в этой войне был Аблухаир. Впоследствии его потомки стали производить свой род от Чингиза, но старики говорят, что он был простым поваром у башк[ирского] хана. Вступил в связь с одной из жен хана и вынужден был бежать от его ревности. Аблухаир убежал в Туркестан к Бакым-баю, впосл[едствии] женился на его дочери, предводительствовал в битвах с калмыками и стал, по смерти Бак[ым]-бая, ханом.

Нуралы-хан был сын Аблухаира. Айчювак — его брат (про другого брата (Дусали-хана) Ирджан ничего не знает).

Простой киргиз байбактинск[ого] рода Сарым-дач, повидимому батырь, поднял восстание и задумал уничтожить потомство Аблухаира. Он разбил аул, причем сын Нуралы, Б у к е й-хан, бежал за Урал. Было 2 орды, — в одной 7 родов (семиродцы), джетрувцы, в другой — 12 (байлинцы). Джетрувцы (семиродная орда) заступились за Айчювака; тобылский род из джетрувцев Теленчи (сын Бакым-бая) не дозволил Сарым-дачу убить Айчювака, и семиродцы выбрали Айч[ювака] ханом. Таким образом аблухаирцы еще удержались. Сын Айчювака был изв[естным] генер[алом] русск[ой] службы Бай-Мухамедов, который утонул в 18... году на переправе через Урал. Теперь один из Айчюваковичей («все султанья») служит на Сухоречке (около Затонной) приказчиком у Мих. Савинова Сыромятникова.

Во вр[емя] изв[естного] кирг[изского] движения

1837 г. внук Бакым-бая (сын Теленчи?) Джюламан уходил на Сыр-Дарью.

На вопрос о кочев[ых] татарах (куда девались?):

Предводители четырех татарских орд собрались за Эмбой, где до сих пор есть гора Хандюркул (гора совещания 4-х ханов), и там держали совет, — остаться ли на местах или уйти опять в Азию.

Два хана решили уйти за Усть-урт (воз[вышенность] между Касп[ийским] и Аральск[им] морем). Один из них (в сущности не ханского рода) Как-туган ушел со своей ордой в Ургенч (Хиву). Там они жили 7 л[ет], беспокойно, нападали и грабили жителей. Оттуда ушли в Бухару и опять так же беспок[ойно] прожили там 12 л[ет], после чего ушли в Кокан, где и осели.

Другая орда ушла на Кавказ, и там осели (караногайцы). (Остальные вернулись и стали оседлыми?)

Ирджан Чулаков говорил мне, что разделом лугов(ой) полосы за Уралом киргизы тоже очень недов[ольны]. Они говорят, что у них была грамота имп[ератрицы] Екатер[ины], по которой они приняли подд[анство], но без дани, и левый берег признан за ними. Нев[ольно] приходит в голову сопост[авление]: грамота у войска — пропала; пропала грамота у Илецких казаков, наконец, у киргизов тоже. И все грамоты б[олее] или м[енее] исключ[али] одна другую.

Илецкий городок примыкает своей зап[адной] стороной к Уралу. На юге за лугами — река Илек. Крепость была у Урала. Ров и вал с рогатками охватывал город с трех сторон: северной, восточной и южной. На валу были рогатки и пушки. На каждой стороне был проезд и ворота с башнями. Кроме того, между Илеком и Уралом был опять вал. Он оборонял пашни от киргизской степи.

Берег Урала высок и крут. Кроме того, городок лежит на степной стороне, а другой берег — Самарская сторона — в то время считалась безопасной (все укрепления были направлены против киргизской степи).

Кроме того, — как помнят старики теперь, — вал охватывал огромное пространство, на котором фактически находилась лишь часть города. Внутри вала находилось еще кладбище и гор[одской] выгон. Таким образом, защищать все это огромное пространство было, конечно, трудно. М[ожет] быть, был ретраншамент. М[ежду] тем опасность шла, во 1-х, не от кирг[изской] степи, а с сам[арской] стороны, и во 2-х, у Пугачева уже были пушки.

Теперь от старого городка остался лишь уголок. Урал замечательно быстро отрывал берег, и жители говорят, что почти весь старый город теперь частью под водой, частью уже на др[угом] берегу.

Сегодня вечером (2-го) я сидел на скамеечке с Ив[аном] Як[овлевичем], бывшим стан[ичным] атаманом [11], и Макаром Егор[овичем] Вер[ушкиным]. Перед нами на запад виднелась река, и за нею луга и группы деревьев. Казачата гоняли там на островке лошадей, а затем лишь в одном месте Урал бьет волной прямо в гор[одской] яр.

— Да, вот где наш старый город, — гов[орил] Ив[ан] Як[овлевич]. — Мой бывший дом теперь приходится на самую середину реки. Ваш тоже.

— Мой еще дальше. Тут были еще Мальковы, потом Смирнов, потом наш сад и дом. Пожалуй, теперь вон на ту мель придется...

— Пожалуй.

— А вон та избушка у меня на задах — был последний городской дом. Тут вот стояла церковь. Ее сорвало лет сто назад. Потом построили вон там Введения...

Было что-то особенное в этих воспоминаниях. На местах, где когда-то протекла юность, с которыми связ[аны] лучшие воспоминания жизни, — теперь стрежень реки, песчаные отмели, мыски и молодая поросль... И над всем, за степью — мглистый закат и последние лучи угасающего дня...

Город, взятый Пугачевым, где погиб несч[астный] Портнов [12] и другие, теперь тоже под водой и песками.

А затем по какому-то капризу Урал стал опять отво-

рачивать в сторону, перестал обрывать яры, накидал песков и стал отклоняться к сам[арской] стороне. И опять через десяток другой лет место бывшего города вынырнет из-под воды. Только вместо горы будет уже равнина, и заливные луга расцветут на местах, где рождались, жили, страдали, убивали друг друга и сами умирали поколения людей.

Fugit interea fugit irreparabile tempus! [3]

2 [августа] [14]. Выехали в 7 ч. [15]. На Карачаганаке в 8.— Базар. — Разговор с писарем в Карачаган[акском] вол[остном] правлении: кутузка с решеткой, кирп[ичный] пол, печка. До начала 90-х годов было тел[есное] наказ[ание]. Отменили. Кут[узки] достаточно. «Очень они не уважают». Кого бы то ни б[ыло] обидел, сейчас начнет прощ[ения] просить. Народ степной, ну это несносно, ему лестно на воздухе.

Поселок: казаки, молокане (Сарат. губ.), торговцы, татары [16].

Молоканка старуха (Сарат. г.), жили в Оренб[ургской] губ[ернии]. Срок аренды кончился, земля истощилась. Услыхали, что тут можно, сдают, ну и того, и пошли, слышь, сюда. (Девочка с востр[ыми] глазами. Им всюду хорошо. «Здеся лучше».) Семья самдесять. Раб[отник] один. Боятся, потребуют на службу — пропадать. Старухе это место тоже ничего,— только помирать вот. «Там в Оренбург[ской] губ[ернии] наших уже много полегло. Все не так страшно. А здесь мне первой ложиться. Все небось в земле-то киргизски кости». (Возят хоронить в Илек.)

Когда спашешь, когда заборонуешь, рублей 5—6, ну, этим только их и утешаешь.

— Гнёсси уже перед ним. Ну свез, смолотил, — тогда отдохнешь, лехко...

За 11 л[ет] один ковш пропал.

Суслик больно обиждает... Я предлагал: давайте разделим по отдельности. Каждый и будет выливать у себя. Ну, богатым это не лестно. А чего делать; суслик даже с 4 концов ест.

11½ ч. Выезжаем из Карачаг[анака]. Старик. Киргизы смирный нар[од], спасибо им. Лошадей так пущаем. Народу сила не берет. Это вот Килмынкины у управителя берут.

(Управ[ители] своего не упустят.)

Степь гладкая, выжженная, ровная, как море. Направо зимовье и неск[олько] кибиток. Вьется хлеб[ная] пыль. Кудлатый мужик на току веет. На самом горизонте марево, а ближе скачет киргиз на поджарой лошади, и фигура джигита легко рисуется на темной синеве неба, над обрезом степи. Направо, застланные синей дымкой, рощи Илека и полоса далекого Урала...

(NB Русских с сабанами не пропущают. В Затонном 3-й аул самый лучший. 7-й вороватее.)

Верстах в 4 направо аул Избек.

---

12 ¼ ч. Сварой пикет.

Направо — русский поселок. Налево — кирг[изский] аул. Мельница. Скирды хлеба. Направо — скирды и избушки (казачьи, — земля к берегу казачья), налево — скирды и киб[итки]. Перекати-поле... Рядами, одна за другой катится сухая тощая былинка... Переваливается, спотыкается и бежит по ветру дальше.

Извилина Урала (на той стор[оне] [Свиная] лука). Солончака не видно было — лес?

Направо — синие полоски лесов. Налево — голая степь. Ни кустика. Только порой на гор[изонте] вы[режет]ся круглая кибитка или на обрезе станет верблюд. Степь увеличивает его фант[астические] размеры.

12 ч. 55 м. Направо большие аулы (4). Наша дорога уходит влево.

1 ч. 5 м. Далеко налево точно в море плавает большой мар.

Ростошь. Тарен-сай (Глубокая ростошь) против Коша.

1 ч. 18. Лука. Едем над самым яром Старицы. За излучиной у берега Урала виден поселок.

Затем аулы реже.

2 ч. 10 м. Аул. Пастух говорит: волость Дуванная. Дуванили скот[17] (пониже Коша). И станция. Налево возвышения, верно пикет.

Встречается татарин в телеге.

— Как аул?

— Аул Кошкар.

— Сколько верст?

— 35 и 30 считаем. У кого лошадь хор[ошая] 30, у кого лошадь плоха — 35.

2 ч. 35 м. Через границу недалеко аул. Между — крест.

Облав[ский] хутор на самом бер[егу] Урала. Лавочка. Купались. Бударка[18] ка[зака] Лариона Ерзикова. Пос[елковый] атаман отнял будары за то, что помогали Полякову возить воров[анный] лес. «А почему дозволили Полякову постав[ить] дом?» Просьбы оставлены без посл[едствий]. Хочет обратиться к адво[кату].

На пост[оялом] дворе рассказы о киргизах: в 1869 г. сделали войну. Хоз[яин] пост[оялого] двора сам ходил к Уилу[19]. В дороге чуть не скололи сына, — да пика застряла в колесе, в ступице. А старика возчики скололи. Последующие киргизы налетели, и он растерялся: надо было под телегу, а он быков держит. Ну, скололи. Убили полк[овника] Бородина с перев[озчиком]. (Рассказ В. А. Щап[ова].) А назад поехали после замирения с 5 подводами,—никто не тронул. Станем на степе ночевать, они подъедут: «Ступайте ближе к аулу, а то нам бы за вас не ответить».

— А теперь?

— Теперь слава богу.

Старуха: Слава богу до господня помилования. А то...

— Собаки, так собаки и есть.

Ерзиков рассказывал, что его отец помнит увод людей. А он сам видел вышедших из плена.

Грань лугами. Пашен совсем нет, надо брать у киргиз. Теперь ссора вышла: одни дают, др[угие] не дают.

Надо бы провести грань по Симовой дороге. Делали симы (связывали травины), втыкали тонкие палочки. Потом смотрели: целы симы, значит не проехали, а порваны, значит проехала орда. Искать, бить.

NB Между ростошью и Облавс[ким] пос[елком] мар Бестáвский, а напротив за рекой на восток Жареный мар.) Кормили у К[улиз]иева на пост[оялом]. Выехали в 4¾. Тотчас за пос[елком] 2 больших мара и много малых налево от дор[оги].

NB Облавский аул между Кинделей и Бородинской. 5 ч. 25 м. Встречные мужик и баба.

— Где живете?

— На П[еровке], там вот.

Урал вправо. Дорога степью.

5 ч. 50 минут. Мост через Утву. Киргиз в треухе требует за переправу.

Утва делает неожид[анную] излучину и оказывается у нас вправо. Нéмного зелени, потом что-то вроде неб[ольшого] вала, каким, за недост[атком] леса, порой огораживб[ают] усадьбы, а за валом, на берегу убогие на вид постройки киргизского зимовья. Через речку перекинут живой мостик: на жидких столбах кинуты плетни и настланы соломой. Не без опасения направили мы своего маштака[20] на это сооруж[ение] и благополучно переправились на др[угой] берег узкой Утвы, оставив вправо зимовье. Немного ниже по теч[ению] я заметил тележку, в которой пестрели женские платья. Виднелись неск[олько] кирг[изских] девушек, и мнé показалось, что одеты они богаче об[ыкновенных] киргизок. Рядом стояли: киргиз в ог[омном] треухе, стройный, с тонкой талией, перетянутой поясом, и мальчик лет 11 верхом на лошади. Когда мы поровнялись с тем местом, где эта комп[ания] поила лошадей, взрослый киргиз подошел к нам и, спросив, откуда мы едем, сказал, что ему следует получить с нас «за мост».

— Сколько?

— Это я вам никак не могу сказать, — отв[етил] киргиз, сделав ударение на слове никак.

Я дал гривенник. Киргиз в треухе поклонился и поблагодарил с видим[ым] удов[ольствием], и мы поехали. Оглянувшись, я увидел, что мальчик, тоже одетый чисто, выехал на дорогу. Киргиз подал ему гривенник. Мальчик наклонился с седла, взял деньги, посмотрел, и на лице его отразилось тоже удов[ольствие]. Он весело поскакал к тележке.

Опять перед нами мелькали крылья ветрянок, и перед глазами тянулась степь. Жар спадал, но все еще чувствовался сильно. Голова работала вяло и плохо. Тем не менее у меня мелькнула догадка.

— Посл[ушайте], а ведь это дети какого-ниб[удь] султана.

— Откуда им взяться тут? Нам ничего не говорили.

И опять наша лошадка побежала дальше.

Мы приехали на базар, когда солнце уже садилось, а пока мы осмотрели убогие постройки, лари, кибитку посреди площади, плетни и мазанки среди голой степи, базар и выкупались в хорошенькой, хотя глинистой Утве, солнце совсем село. Соображ[ение] ко мне вернулось, и я решил спросить у хоз[яина] пост[оялого] двора о...[21]

— Это Даникешка. Тут его аул.

— Кто такой Даникешка?

— Да Чуваков.

— Султан?

— Султаны они. Сам он образов[анный], живет не хуже русск[их].

— А у моста?

— Да его же породы, все султанья. Плем[янники] да братья. Дворяне.

Т[аким] обр[азом] не было сомнения, что мы проехали мимо аула потомк[ов] султана Айчювака, одного из посл[едних] представителей Аблухаирского рода. Мне вспомнились еще две белые палатки среди аула за Утвой, — и я решил, что завтра вернусь обратно. (Вечером кругом огоньки в аулах мерцают.)

— Султан, прямо Даникешка султан.

---

3 августа.

Ночью стал накрапывать дождь и согнал нас с сена, на котором мы спали. Под навесом куры. Сначала петух усердно выкрик[ивал] свое кук[ареку], а затем, едва я опять заснул, он спрыгнул прямо на меня. Проснувшись, я имел удов[ольствие] увидеть его почт[енную] супругу, очевидно готовую последовать его примеру и уже нацелившуюся пр[ямо] в мою сторону. За нею оставался еще целый гарем. Я предпочел ретироваться.

Было ровно 4 часа, небо обложено тучами, и дневной свет едва пробивался через мглу. За Уралом сто[яли] темные полосы дождей.

Я повел поить нашу лошадь и от встречного киргиза узнал, что «султан Даникеш — сын ген[ерала] Бай-Магометова, утон[увшего] против Затонной. Весной в полов[одье] была очень сильная вода». (И теперь говор[ят]: не меньше управительского [22]).

6 ч. 20 м. опять переехали через мост у зимовья посл[едних] аблухаирцев после неудачной поп[ытки] повидать султана [23].

7 ч. 10 м. проехали мимо мечети — дорога лугами. Невдалеке видны увалы Урала далеко вправо. Около мечети Исех Алямов, управит[ель] Караибинской вол[ости].

9 ч. 40 м. утра. Аул в лугах, зимовье на увале. Вид оч[ень] печальный: плетневые строения облупились, из возд[ушного] кирпича, кажутся какими-то темными грудами. День облачный и туманный придавал еще б[олее] печ[альный] вид грустному зрелищу. Тощие собаки лают визгливо и уныло.

(Словом, как вот если кто грезит во сне и видит всякую нескладицу.)

Приехали в 1½ дня.

Черный затон около Байгильды (горный сланец?).

Калашниковы на уроч[ище] Бай-Гильды. Мельница и хутор. Хозяева молодые еще люди, с некото-

р[ым] образованием. Посевы у киргиз. Ломка алебастра. Ломают сами киргизы по 2 коп. с пуда порохо-[вым] составом.

— Делаем просто: неб[ольшой] ход и гнездо. В гнезде закладыв[ают] порох[овой] сост[ав] (сера, порох, селитра) и зажигают в ходе. После этого киргизы разбегаются.

— Бывает так, что кусочек пуд[ов] в 200 перелетит через голову. Ну, однако, пока бог миловал: уголовщины еще не было.

О киргизах невысокого мнения: ленивы, женщина — раба; кроме того, полагают тоже, что от киргиза выйдет большое дело. Школы значат оч[ень] много. Много фанатизируют народ муллы из турок, а также татарские.

— А если еще пришлют наших миссионеров, просто будет беда.

Обрыв Урала. Высоко над рекой — яр. В разрезе красная глина, желтая, из которой уже теперь делают горшки, куски какой-то руды. Огромные обвалы пугают своими поистине циклоп[ическими] размерами. Особенно над степной и смирной порослью лугов эта беспор[ядочная] громада производит сильное впеч[атление]. Оба с отпеч[атком] любопытства смотрят на разрезы пластов. Они не знают этого дела, но чувствуют, что, кроме хлеба, в этой девственной почве лежат где-то огромные силы. У обоих энергия и желание добраться до этих, еще невед[омых] богатств.

Что-то будет. Здесь уже проезжал геолог.

Мы долго пробирались над обрывами, пока, продравшись через густую поросль, наконец опять вынырнули на степь. Опять ровные хлеба, опять казачки-женщины, мельница нехотя машет крыльями, как бы говоря:

— То ли еще будет. Стоит ли?

Позвали киргиза. Мельник зачем-то сказал ему, что это от губернатора люди — отвести киргиз за Симовую дорогу.

Киргиз с жалким и угнет[енным] выражением помо-

гал мазать нашу телегу и покорно смотрел на меня печ[альными] глазами. Пришел другой, третий... И на всех лицах виднелась тупая тревога...

Все очень обрадовались и повеселели, когда я попросил рассеять это недоразумение, и охотно стали говорить о ханах и старом Аблухаире — с снисходительным юмором, как о пустяках, которые, слава богу, интересуют нас более, чем Симовая дорога.

Я думал, что-то ждет этих детей природы, если мечты Кал[ашнико]вых осуществятся, — и какой-нибудь величав[ый] овраг изрыгнет свои богатства, обнаружив какую-ниб[удь] тайну этой почвы. Какой это будет внезапный взрыв и что он принесет с собой этой степи. И лучше ли будет им или хуже?

Впрочем, хорошо ли теперь? Хороша ли эта дремлющая степная воля? Налоги: кибиточный с бедняка и [богатого] [24] одинаково. Взяточничество открытое. Мало правды для бедняка. Бедный всегда трепещет пер[ед] богатым, простой — перед власть имущим. Девочки продаются, не успев расцвесть...

А пока что, из-за этого оврага мы опоздали к перевозу. Приехав с бух[арской] стороны к Янв[арцеву], мы увидели, что паром был на др[угой] стороне.

— Пар-ро-ом!

— Нет перевозчика, ушел, — отвечает спок[ойный] голос.

— Скоро придет?

— Завтра.

— Подайте, пож[алуйста], паром.

— Да он заперт на замок.

Знакомая русская картина: паром в ог[ромной] станице сод[ержит] ч[астное] лицо и делает, что хочет...

Солнце гаснет за крышами и яром. Холодеет. Лошадь, усталая, дрожит на хол[одной] песч[аной] отмели. «Жители» смотрят с яру и строят предпол[ожения]: придет или не придет перевозчик.

Пришел!

Было уже темно, когда мы очутились на др[угом] берегу, и [станица] уже спала, когда мы въехали на знакомый уже пост[оялый] двор в Требухах.

Оскуд[ение]

Я еще, помню, маленька была, в Январц[еве] мы жили. Не знали, что такое на степе косить. Глядим раз, а из-за сыртика этак что такое блестит. А это сустински косят. Их-то нам не видно, а пойдут с покосу, косы на плечи положат, косы на солнце и поблескивают.

— Что, мы говорим, тятя, это блестит?

— А это, гов[орит], сустински косят на степе.

— Разве на степе-то косят?

— А у него, вишь, коров много, лошадей много, торгует он, так ему много и надо.

А ныне и луга-те выкосим, и речки-те выкосим, и по степе косим, и все не хватает. Стоги ставили добры: один стог 4—5 возов. А ноне где этаки стоги?

Я еще доживу, а дети, чай, и забудут, какое добро было у нас на Урале.

4 авг[уста].

Из Требухов в 6 ч. у.

Рубежка 7½, за Руб[ежкой] Большие Пески. Дьяковский (8 ч. 50 м.).

Вшивая 9 ч. 5 м. Дорога изр[ытая], песчаная и барханистая.

Дарвинская 9—55. «Торговля бакалеим и манафактур, табак и папиро[сы]: К. Лаврентья Гузикова».

Из Дарвинской ровно в 2 ч. дня.

2 ч. 45. Гниловский. Урал образовал здесь луку почти в правильный круг, затем отступил. Теперь поселок стоит над сухой круглой ложбиной.

Между Гнил[овским] и Трек[иным] густые столбы переносного песку, точно метель. Легли целые гряды поперек степи песч[аных] бугров.

Дорога прижалась к длинному узкому озеру. К самому почти берегу подступили холмы песку; по отлогой поверхности видны гряды, точно волны. Холмы дымятся, и с них песок мчится прямо в воду, заметывая озеро. Очевидно, скоро вода уступит свое место песку, и эта долина помертвеет.

(На гребне песч[аных] хол[мов] и по бокам — сухая колючая солянка.)

Трекино показывается точно из-за метели.
На привале 1 час. Тронулись в 5½ [4].

[25] Как за речкою то было за Утвою,
За Утвинскими т[о] было за горами.

...В 1731 году по доносу каз[ака] Гузикова на атам[ана] Григ[ория] Мекульева войско яицкое писало ответ в Военную коллегию, в котором, м[ежду] прочим, писало о битве на Утве:

«В прошедшем 724 г. подбегали под наш казачий городок неприятельские люди кара-калпаки и кирг[изские] казаки тысячным числом, и мы войском яицким за оными неприятельскими людьми выбрали из старшин пох[одного] атамана Ив[ана] Логинова и при нем — семьсот человек и догнали оных неприят[ельских] людей при уроч[ище] Утве-реке, и, догнав, состоялся с оными неприятели бой, и бились с ними 2 дни и нощь, и волею божиею и нашим несчастием наших казаков 72 челов[ека] побито, а других многое число ранены и в полон побраны».

Утвинских гор не видно. Они, говорят, дов[ольно] высоки, мелов[ого] характера и легли по степи значит[ельной] грядой. Я вглядываюсь в ровную степь, но на ней какая-то степная мгла закрывает дали, как туман прошлого скрывает самое событие в песне... И только с особенной красотой и грустью вспоминается мне заунывный напев старинной песни, слышанный недавно под Плевной [26]:

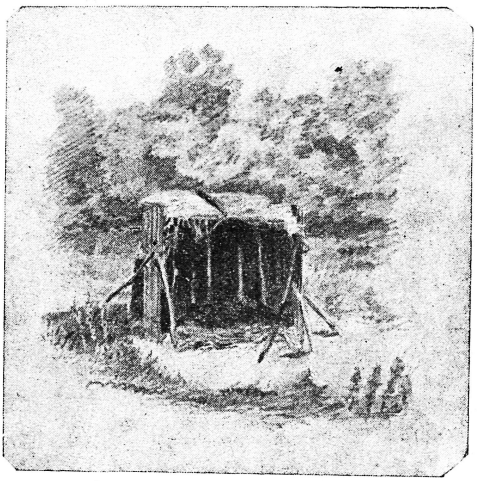
Взборонена та пашня яровая
Лишь копытами киргизских диких коней,
И засеяна та пашня яровая
Удалых наших казаков головами.

На юге, над утвинскими горами действит[ельно] собирались и клубились легкие тучки, покрывавшие место, давшее эту песню... И опять мне вспомнилось:

Кто польет тебя, разве с неба дождик,
Иль источит горьки слезы мать родная...

Песня прошла через столетия с легкими вариантами, но с тем же чувством...

Прошлое властно и цельно владеет душой в этом степном просторе [27].



ПРИМЕЧАНИЯ

СИБИРСКИЕ ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

Записные книжки, объединенные здесь под названием «сибирских», — самые ранние из сохранившихся в архиве В. Г. Короленко. В своей автобиографической «Истории моего современника», охватывающей более чем тридцатилетний период жизни автора (от первых проблесков сознания, через детские и школьные годы, студенчество и ссылку до возвращения из Якутской области в Нижний-Новгород), писатель говорит: «У меня с юности была привычка облекать в слова свои впечатления, подыскивая для них наилучшую форму, не успокаиваясь, пока не находил ее» («История моего современника», т. II, часть IV, гл. X, стр. 318, изд. «Academia», 1930 г., Москва). Но эта привычка была временно подавлена в период ссыльных скитаний, который прошел, как говорит писатель в своем дневнике 1887 года, «в иных увлечениях, в иных впечатлениях». «В эти годы, — писал он впоследствии, — померкла даже моя давняя мечта стать писателем». Первое художественное произведение Короленко — «Эпизоды из жизни искателя» — появилось в печати в 1879 году (журнал «Слово», кн. 7), когда автор был уже отправлен в ссылку. Затем был написан ряд других рассказов, создававшихся уже в условиях тюремной и ссыльной жизни. Но и тогда, и еще долго по возвращении из ссылки, Короленко думал, что литература не может и не должна стать его основным делом. Однако дошедшие до нас записные книжки ссыльного периода свидетельствуют о настойчивой работе наблюдателя и о стремлении сохранить ее для будущего. Карманные записные книжки путешествуют с Короленко по тюрьмам и этапам, он держит их при себе во время долгого пути в Якутскую область и обратно, и хотя

иные книжки теряются, в других погибает часть содержания,— большая часть их бережно сохраняется автором до конца жизни. В этих книжках заключаются семена многих будущих сибирских рассказов, из которых некоторые написаны только через много лет. Из этих же книжек автор почерпнул целый ряд воспоминаний, работая уже в конце жизни над последней частью «Истории моего современника».

Начало длительных ссыльных скитаний В. Г. Короленко, с которыми связано содержание печатаемых здесь сибирских записных книжек, относится к 1879 году, когда он, в то время студент Петербургского горного института, был арестован вместе с младшим братом Илларионом Галактионовичем и затем выслан в административном порядке в г. Глазов Вятской губернии по подозрению в «сообществе с главными революционными деятелями» и «участии в отпечатании и распространении революционных изданий». Из Глазова Короленко в том же году (по жалобе на него исправника) попал в глухую часть Вятской губернии — Березовские Починки. В феврале следующего, 1880 года, он был здесь арестован, по ложному доносу урядника о якобы совершенной им попытке к побегу. Увезенный из Починков, он был предназначен к высылке в Восточную Сибирь и после шестимесячного тюремного заключения находился на пути в дальнюю ссылку. За это время выяснилась, однако, ложность обвинения Короленко в побеге, и он был возвращен из Томска в Европейскую Россию и поселен как административно-ссыльный в Перми, под надзором полиции. В июне 1881 года он подал пермскому губернатору мотивированный отказ от принесения верноподданнической присяги новому царю, Александру III, за что был назначен в конце июня 1881 года к ссылке в Якутскую область, куда был отправлен из Перми 11 августа 1881 года. Первые записи самой ранней из печатаемых здесь записных книжек относятся к тому времени, когда, выехав из Перми, Короленко следовал то по железной дороге, то на лошадях, то на пароходе в свою далекую ссылку.

1. «ЧЕРЕЗ УРАЛ. МОЙ СПУТНИК»

Записная книжка в ⅛ листа в коричневом картонном переплете (№ по описи 461) содержит семнадцать отрывных листков белого и желтого цвета. Все они оторваны от корешка и выпадают из переплета. Повидимому, много листов из книжки отсутствует. Нумерация сохранившихся листов (1—17) проставлена редакционной комиссией, работавшей над полным посмертным собранием сочинений В. Г. Короленко. Записи в книжке — карандашом и пером — сделаны очень мелким почерком. Исправлений немного. Листки 5, 6, 15, 17 оставлены чистыми. Содержание записей, как уже упоминалось выше, указывает на то, что книжка была начата в 1881 году по пути В. Г. Короленко из Перми в якутскую ссылку. Автор пользовался ею и в дальнейшем, быть может до 1884 года, как можно предположить на

основании записи, озаглавленной «Тэма» (см. ниже эту запись и примечание к ней).

1. Запись карандашом, очень мелким почерком, с поправками. Занимает лицевую и оборотную стороны первого листка. Содержание ее связано с впечатлениями пути от Перми до Тобольска (11—15 августа 1881 года).

2. На этом запись обрывается. Упомянутый в конце ее «спутник и чичероне» — пермский жандарм Молоков, сопровождавший В. Г. Короленко от Перми до Тобольска. Об этом жандарме и об его рассказах см. «Историю моего современника», т. III, ч. IV, гл. I. Здесь и далее все ссылки на текст «Истории моего современника» делаются по изданию «Academia», Москва — Ленинград, 1930, 1931.

3. Записи карандашом, мелким почерком, с поправками. Заголовок — «Сибирские наброски» — приписан, повидимому, позже. Судя по содержанию записей, они могли быть сделаны между 7-м и 12 сентября 1881 года во время следования В. Г. Короленко из Томска в Красноярск.

4. Впечатления от встречи с «бакланами», а также некоторые черты личности ямщика и его рассказы нашли впоследствии свое отражение в очерке «Убивец», написанном в якутской ссылке, но появившемся в печати уже в 1887 году («Северный вестник», № 1). В «Истории моего современника» В. Г. Короленко впоследствии писал: «Случилось так, что мне пришлось ехать по пути в Красноярск с молодым ямщиком, который, разговорившись со мной «по душе», рассказал, что он тоже сидел в тюрьме без вины, сказавшись бродягой... Это была странная, темная душа, в которой какие-то неоформленные стремления к правде одно время сказались сильной гнетущей тоской, которая и заставила его «принять добровольно крест». Теперь он уже вышел из этого периода, даже женился и живет спокойной семейной жизнью...» «Мне вспомнился старик из «Содержающей», и в воображении я соединил образ этой простодушной тоскующей души и мрачного ханжи-душегуба. Я изобразил это сочетание, как умел, в рассказе об «Убивце» (см. «Историю моего современника», т. III, ч. IV, стр. 368). Упоминаемый здесь старик — глава странной секты «покаянников», которого Короленко видел в Томской тюрьме, выведен на тех же страницах «Истории моего современника». В рассказе «Убивец» он называется «Безруким».

5. Черты тюремной жизни в среде уголовных, о которых рассказывал ямщик, В. Г. Короленко наблюдал уже и сам в Томской тюрьме, описанной им впоследствии в очерке «Содержающая». Первоначальные наброски к этим очеркам сделаны были, может быть, еще в ссылке, но от старой рукописи до нас дошел только один лист пожелтевшей почтовой бумаги большого формата с авторской нумерацией страниц 29—32. В архиве писателя сохранилась также совершенно пожелтевшая самодельная тетрадка без обложки и, повидимому, без

начала, содержание которой составляют несколько стихотворений, рисующих картины тюремного быта. Подпись автора неразборчива. На тетрадке пометка Короленко: «Томский острог. Получено от тюремного пииты». Вероятно, образцы тюремной поэзии, приведенные в гл. IX очерков «Содержащая», взяты у того же автора. В печати «Содержащая» появилась в 1886 году в газете «Русские ведомости» (№№ 290, 298, 299, 305, 312, 318, 320, 325, 335). Рукопись того времени в архиве не сохранилась. Автор остался неудовлетворен своими очерками и не ввел их в собрание своих сочинений, вышедшее в 1914 году в издании А. Маркса. Он имел намерение их переработать и уже в позднейшие годы возвращался к этому произведению. Следы незаконченной переработки очерков сохранились в архиве писателя в виде двух отрывочных рукописей, не имеющих дат. На полях одной из них, более ранней, пометка рукой В. Г. Короленко: «Переделано из очерков в «Русских ведомостях» (очень плохие)». Вторая рукопись, несомненно, очень позднего происхождения: бумага, чернила и почерк заставляют отнести ее к последним годам жизни писателя.

После записи «Сибирские наброски» два листка в книжке оставлены чистыми, а листы 7—9 заняты отрывком публицистического характера, озаглавленным: «Материалы для синтеза славянофильских и западнических учений». Отрывок этот, не связанный с остальным содержанием записной книжки, здесь не печатается.

6. Обе темы записаны карандашом, очень мелким почерком. Время записи, вероятно, 1884 год. Никаких следов разработки первой из них в архиве не имеется. Вторая тема получила впоследствии развитие в незаконченном наброске «Рассказы сибирской сосны». Рукопись этого наброска, имеющая вид черновой, сохранилась в архиве писателя. Она представляет самодельную тетрадку в ¼ листа, без обложки. Бумага сильно пожелтевшая, чернила выцветшие. Текст занимает одиннадцать страниц. В тетрадку вложен обрезок бумаги, на котором рукой покойного зятя В. Г. Короленко, К. И. Ляховича, написано со слов автора: «Рассказы сибирской сосны (1884 г.). Неоконченный рассказ. Писано по дороге из Сибири в Россию». Задумав еще в ссылке ряд сибирских очерков и рассказов, писатель намеревался предпослать им пролог: таким прологом и должны были явиться «Рассказы сибирской сосны». О своем замысле Короленко говорил в кружке политических ссыльных в Томске, на обратном пути из Якутской области в Европейскую Россию. Н. Скворцов рассказывает об этом (со слов А. Н. Ульянова, одного из членов томского кружка административно-ссыльных) в статье: «Из жизни В. Г. Короленко» («Столичная молва», 1911 г., № 163). Впоследствии писатель отказался от первоначального плана и к работе над прологом, повидимому, больше не возвращался.

После записи двух печатаемых выше тем три листка заполнены выписками, озаглавленными: «Гизо (Ист[ория] цар-

ств[ования] Карла I). К синтезу славянофильских и западнических учений». Вслед за ними запись без начала о какой-то газете, вся целиком перечеркнутая автором. Последние три листка книжки не заполнены.

2. ИЗ ПУТЕВЫХ НАБРОСКОВ ПО ИРТЫШУ И ОБИ

Печатаемые здесь путевые наброски по характеру своему примыкают к материалам записных книжек. Эти записи заключаются в общей тетради обычного формата (в ¼ листа) в твердом желто-коричневом переплете (№ по описи 147). На переплете наклеена полоска бумаги с авторской надписью: «1880 г. Пермь — Иркутск», и с авторским же перечнем содержания: «1) Чернов[ик] «Подследств[енного] отд[еления]», 2) Первоначальный набр[осок] рассказа «Сон Макара», 3) Отрывки (писано в Перми), 4) Из путевых набросков по Иртышу и Оби (писано на пароходе), 5) Отрывки, набросанные в Якутской области». В тетради 76 листов, из которых не все держатся в переплете. Много листов автором вырезано. Нумераций страниц текста две: одна — авторская, с пропусками, для каждой вещи отдельно, и другая — сквозная, редакционной комиссии (1—145). Как видно из содержания тетради, она служила писателю не только в 1880 году, когда был написан рассказ «Временные обитатели подследственного отделения» (позднее названный «Яшка»), но и в 1883 году, когда писался «Сон Макара», и, быть может, до самого конца его якутской ссылки (осень 1884 года). Путевые записи, взятые из этой тетради, начинаются (без заглавия, обозначенного только в перечне содержания на обложке) на странице 132 и кончаются на странице 139. Они относятся, как указывают даты, к тому времени, когда В. Г. Короленко высылался из Перми в Якутскую область за отказ от присяги Александру III. Из Перми Короленко выехал 11 августа 1881 года и после остановки в Тобольске, где он просидел с 15 по 23 августа в тюрьме, причем содержался в секретной камере военно-каторжного отделения (см. об этом «Историю моего современника», т. III, ч. IV, гл. I, и автобиографический рассказ «Искушение»), продолжал путь в сопровождении двух жандармов. «Предполагалось официально, что меня повезут на почтовых, — писал впоследствии Короленко, — мы так и начали свой путь. Но жандармы сочли более для себя удобным свернуть через некоторое время к одной из обских пристаней. Помню в тот вечер какой-то перевоз и особенное чувство, с которым теперь я смотрел на речные дали, на леса под лунным светом, на туманы, залегавшие в низинах...» «Выехав по проселкам на какую-то пристань, мы сели на пароход «Нарым» и до Томска доехали водой. Для жандармов это была большая экономия, для меня — более удобства в пути. Я ехал на пароходе между пустынными берегами, почти не чувствуя над собою надзора» («История моего современника», т. III, ч. IV, гл. I, стр. 352—353). На пароходе «Нарым» В. Г. Короленко и записал в имевшейся при

нем тетради свои путевые впечатления, причем занес эти записи почти на последних страницах тетради, хотя в то время она была еще более чем наполовину чистой. «Путевые наброски по Иртышу и Оби» были опубликованы впервые в книге В. Г. Короленко «Дневник», Полное посмертное собрание сочинений, Госиздат Украины, Харьков 1925 г., т. I, стр. 21—27.

1. Лямин Бор на Оби, близ Сургута.

2. Амбаром остяки называли русскую избу.

3. На этом путевые записи в тетради обрываются. Записи эти были использованы автором в «Истории моего современника», т. III, ч. IV, гл. I, стр. 353, 354.

3. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1881 ГОДА

Карманная записная книжечка малого формата в коричневом мягком переплете, очень ветхая (№ по описи 459). Многих листков не хватает. Из уцелевших 29 листков, не считая двух внутренних обложек, многие выпадают. Нумерация редакционной комиссии. В книжке — самодельный календарь, ведущийся с 1 января 1881 года (первый листок отсутствует) по 2 января 1882 года. На страничках этого дневника отмечен весь путь В. Г. Короленко из Перми в Амгу Якутской области (с 11 августа по 1 декабря 1881 года) с подробным перечнем станций, счетом верст между ними и некоторыми отметками о событиях в пути. Остальное содержание книжки составляют записи: справочного характера (адреса, счета расходов, отметки о получении и отправке писем и т. д.); краткие выписки из журналов (повидимому, сатирических, в том числе из одного немецкого) и из книг (одна с пометкой: «Кн[язь] Горчаков. Записки», и другая: «Гр[аф] Толстой. Анна Каренина»); наброски и темы художественного характера. В книжке имеются также девять рисунков: сибирские виды, станки, фигура всадника на лошади. Почти все записи сделаны карандашом чрезвычайно мелким почерком, вероятно, из экономии места, а быть может, и сознательно неразборчиво из боязни, чтобы записи не попали в чужие руки. Частью они кроме того так сильно затерты, что не поддаются прочтению. Некоторые записи автор сам пытался впоследствии навести чернилами, но таких немного. Путевыми отметками, заключающимися в книжке, писатель воспользовался, работая в последние годы жизни над четвертым томом «Истории моего современника». Они помогли ему восстановить в памяти картину его долгого пути в якутскую ссылку. В настоящем томе содержание книжки дается в небольшой части художественных тем писателя.

1. Запись карандашом на листке 23. Слова третьего абзаца очень неразборчивы. После него оставлен большой пробел, и последняя строка написана внизу страницы.

Как можно предположить из содержания записи, личностью упомянутого здесь старичка внушен образ старика-писаря,

Кругликова, в рассказе «Ат-Даван». Еще прежде, чем был написан этот рассказ, писатель пытался обработать историю Кругликова (в юности из ревности стрелявшего в своего начальника) в драматической форме. Следы этой попытки сохранились в виде отрывка черновой рукописи на семи листах, вырванных из тетради. Рукопись озаглавлена «Наброски драмы». Судя по ее внешнему виду, она относится к первой половине восьмидесятых годов. Драматическая форма, очевидно, Короленко не удалась, и он обратился к рассказу. В первый же год по возвращении его из ссылки в газете «Волжский вестник» появился очерк «На станке» (1885 г., №№ 289, 291, 295). В 1892 году автор подверг этот очерк коренной переработке, дав ему новое заглавие: «Ат-Даван». В этой новой редакции, значительно большей по объему, рассказ появился в журнале «Русское богатство» (1892 г., кн. 10). В архиве писателя сохранилась полная черновая рукопись «Ат-Давана». На первой странице этой рукописи написано: «Ат-Даван» (из сибирской жизни) 20 сентября 1892 г.». Рукопись очерка «На станке» не сохранилась, из нее уцелело только два листа. Подробности о возникновении и судьбе рассказа «Ат-Даван» смотри в статье А. Б. Дермана: «История создания «Ат-Давана», журнал «Родной язык и литература в трудовой школе», 1928 г., №№ 4—5. См. также «Избранные письма В. Г. Короленко», т. II, изд. «Мир», М. 1932, письмо к С. Н. Кривенко от 28 ноября 1892 г.

2. На этом запись обрывается. Намеченная здесь тема развития не получила.

3. Отрывочная запись карандашом. Содержание ее стоит в связи с дальнейшими записями.

4. Отрывочные записи под заголовком «Сон на Лене» становятся понятными при сопоставлении их с соответственной частью «Истории моего современника» (т. IV, ч. I, гл. II, «Мои ленские видения»). Там Короленко пишет: «Во время этого пути моим воображением овладела с большой силой одна картина, в которой как бы обобщились впечатления от первого марта в Перми и в Иркутске.

В этом высоком холодном небе мне чудились два образа: Александр II и его убийца Желябов.

Так начать, как начал Александр II, и так кончить!.. Мне он вспоминался только жалким, затравленным и несчастным... «Везите во дворец... там умереть...» И его везли во дворец, поливая улицы его кровью, пока бедный человек жаловался на предсмертный холод. В фигуре Желябова, главного организатора цареубийства, для меня, как в фокусе, сосредоточилась вся трагедия русской интеллигенции в царствование Александра II. Было известно, что, арестованный еще ранее, без связи с цареубийством, он сам заявил о своем участии и потребовал, во имя справедливости, присоединения его к процессу Рысакова. Он находил, что с одним Рысаковым процесс будет слишком бледен и непонятен народу, и он отдавал свою

жизнь, чтобы сделать его более ярким. Вместе с собою он взводил на плаху любимую женщину, Софью Перовскую. Несмотря на очень яркие фигуры первомартовцев, процесс если не вышел бледен, то все-таки остался народу попрежнему непонятен. Эта толпа помнила, что убитый царь освободил крестьян, а любовь и ненависть его противников оставались для нее в момент их казни совершенно чуждыми.

Теперь, когда трагедия завершилась до конца, мне чудились оба они, понявшими и примиренными. Они смотрят с высоты на свою родину, холодную и темную, и ищут на ней пути той правды, которая сделала их смертельными врагами, но когда-то, казалось мне, одушевляла по-своему и царя, когда он освобождал крестьян, и революционера, когда он боролся с наступавшей реакцией. Эта правда затерялась среди извилистых путей жизни и привела одного к мучительной смерти, другого — на эшафот. И вот, когда первомартовцы стояли над толпой на своей позорной высоте, до них доносился снизу грозный и враждебный гул человеческого моря. Русская толпа видела лишь одну половину правды. Она помнила, что Александр II был царь-освободитель, и не понимала, сколько он в свою очередь совершал преступлений против свободы. Любовь и ненависть людей, принесших в жертву народу свою жизнь, была ему не понятна. А между тем есть где-то примирение, и теперь мне чудилось, что оба — и жертва и убийца — ищут этого примирения, обозревая свою темную родину.

К этой теме я возвращался на протяжении долгого пути по Лене. Я не спал ночи, протирая стекла и следя, как над мрачными скалами неслась высоко холодная луна. Когда я приезжал на станки, я старался отогреть руки и набросать хоть отрывки поэмы. Но на станках издали слышали наш колокольчик и начинали готовиться. Поэтому, едва я, успев согреть руки, пробовал набросать в книжечке обрывки образов и мыслей, как приходил ямской староста и сообщал, что лошади поданы. Приходилось опять выходить на холод и садиться в возок. И опять эти два образа властно входили в мое воображение.

Недавно я нашел одну из этих записных книжек, и опять то настроение пахнуло на меня со старых листков. Мне представлялся революционер, выхваченный из сутолоки борьбы, которого везут моим путем. Он, как и я, смотрит в ночное небо, так же чувствует неисходную трагедию борьбы без народа. Те же думы владеют его душой, и он задается вопросом, где правда в этом холодном мире». — «...Так наступает полночь Рождества 1882 года. Колокольчик выводит свою долгую рыдающую песню, и ссыльный, как и я, записывает приходящие в разгоряченную голову мысли. Его рукопись попадает в Россию, в среду революционеров-террористов. Но там это настроение и эти вопросы — «где правда?» — кажутся среди продолжающейся борьбы странными и непонятными». — «По-

эма так и осталась незаконченной. Вскоре другие мысли и другие впечатления вытеснили эти пустынные ленские мечты».

4. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1880—1882 ГОДОВ

Карманная записная книжка малого формата в черном твердом переплете (№ по описи 460). В книжке 40 листков, пронумерованных редакционной комиссией, из них 28 неиспользованных. На первом листке написано пером «1880», и «В. Короленко». Книжка содержит, кроме печатаемой здесь записи, несколько мелких заметок и изображение шахматной задачи.

1. Запись карандашом, мелким почерком, с несколькими незначительными поправками. Сделана, вероятно, в декабре 1881-го или в начале 1882 года. Содержание этого отрывка связано, повидимому, с одним из впечатлений автора на пути его в Амгу. Упоминаемый в начале записи певец, вероятно, якут-ямщик, пение которого Короленко услышал впервые, проезжая тайгой, уже приближаясь к месту своего назначения. Об этом упоминается в «Истории моего современника» (том IV, гл. VI, «Последний переезд») и в неизданном наброске «Песня», заключающемся в одной из сибирских тетрадей писателя. Говоря о своеобразном характере якутской песни, он там пишет: «В первый раз я услышал ее в морозный вечер, едучи на почтовых по скрипучему снегу. Пел якут-ямщик, но я довольно долго принимал эти тихие монотонные звуки за скрип полозьев, удивительно гармонировавший с сумрачной, неприветной картиной. Вечерело. Мороз крепчал; кругом стояла бледная, как будто озябшая, тайга, кое-где тянулся длинной-длинной полосой дым из закиданной снегом одинокой избушки. И эти звуки лились тихо, однообразно и жалобно в унисон с сиротливой картиной». О якутском пении, особенно гармонирующем с шумом тайги, говорится также в XIX главе IV тома «Истории моего современника» («Якутская поэзия. — На «ысехе») и в незаконченном неизданном рассказе «Артисты» (см. наше примечание 63-е к записной книжке 6).

5. «21 ЧИСЛО...»

Два маленькие отдельные листка (около ⅛) писчей бумаги (№ по описи 430). Возможно, что эти листки вырезаны из самодельной записной книжки. Бумага старая, пожелтевшая, чернила выцветшие. Запись сделана мелким почерком, с исправлениями и помарками. Нумерация страниц 1—4 проставлена редакционной комиссией. Год и месяц не указаны, но из содержания записи видно, что она относится к зиме 1881—1882 года, первой, которую В. Г. Короленко пережил в слободе Амге. Автор упоминает о том, что он живет в юрте. В юрте Владимир Галактионович прожил только первые несколько месяцев по прибытии в Амгу, куда он приехал 1 декабря 1881 года. Затем он перешел в избу Захара Цыкунова (см. «Историю

моего современника», т. IV, гл. X). Настоящий отрывок мог быть написан 21 декабря 1881 года или в тех же числах января, либо февраля 1882 года. Впервые был опубликован в 1925 году в т. I «Дневника» В. Г. Короленко, Госиздат Украины.

1. Об этой юрте, в которой В. Г. Короленко прожил некоторое время совершенно один, в «Истории моего современника» говорится: «...Это была нежилая юрта, довольно большая для одного, на самом краю слободы...» «...Она отделялась от жилья товарищей двумя-тремя дворами и пустырем... Дальше была околица, слободской коловорот в конце длинной улицы и дорога лугами...» «...Передо мною, так как моя юрта стояла на краю возвышения, расстилалась обширная равнина, за нею река Амга и далее крутой кряж гор искрился под звездами...» (см. т. IV, гл. X, «Мое отдельное жилье»). Юрта была очень старая, не выдерживавшая зимней топки, она грозила развалиться, и это побудило В. Г. Короленко переменить жилье.

2. Здесь вместе с концом страницы запись заканчивается. Возможно, что автор пользовался ею во время работы над рассказом «Соколинец», в первой главе которого имеется близкое к этому описание зимнего вечера на далеком севере. Первоначальные наброски к этому рассказу, сделанные еще в Амге, сохранились в архиве писателя в виде трех самодельных тетрадок (в ⅛ листа). Рассказ «Соколинец» появился в печати в первый же год по возвращении В. Г. Короленко из ссылки в журнале «Северный вестник», 1885 г., № 4. Там полное заглавие его было: «Рассказы о бродягах. Рассказ первый. «Соколинец». (Из очерков сибирского туриста)».

6. ОБРАТНЫЙ ПУТЬ ИЗ ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Записная книжка в ⅛ листа в твердом коричневом переплете (№ по описи 463). На верхней крышке наклеен листок бумаги с авторской надписью: «1) Як. область. 2) В. Г. Короленко под надзором полиции («Былое», № 13, кн. 7, июль 1918)». В книжке 86 листов, не считая двух листков в начале и в конце книжки — внутренних обложек. От первой из них уцелела только часть с отрывочными записями на ней. Нумерация страниц, 1—172, сделана редакционной комиссией. Этой книжкой В. Г. Короленко пользовался в 1884 году на обратном пути из Якутской области в Европейскую Россию и затем в последние годы жизни во время работы над III и IV томами «Истории моего современника» в 1918—1921 годах. Кроме печатаемой здесь части этой книжки, относящейся к обратному пути из Якутской области, в ней заключаются выписки из статьи Ф. Покровского: «В. Г. Короленко под надзором полиции (1876—1903 гг.). К сорокалетию литературной деятельности», и другие выписки справочного характера, касающиеся биографий участников революционного движения, о которых идет речь в «Истории моего современника». Большое количество листков книжки оставлено неиспользованными, а в са-

мом конце ее — на страницах 166, 168 и 172 — три карандашных рисунка, изображающих сибирские виды; два из них с подписями: один (стр. 166) — «На Туруцкой м[ежду] Кир[енском] и Верхоленском)» и другой (стр. 172) — «Иннахская (41 в. пер. Мачей — Нахтуйск.»). Рисунки эти стоят в связи с записями обратного пути из Якутской области и были сделаны автором тогда же.

Все содержание книжки, относящееся к 1884 году, печатается здесь полностью. Путевые записи были опубликованы впервые в 1925 году. (Вошли в т. I «Дневника» В. Г. Короленко, Госиздат Украины.)

В. Г. Короленко выехал из Якутска 23 сентября. Спутниками его до Иркутска были: Михаил Антонович Ромась, товарищ Владимира Галактионовича по амгинской ссылке, и политический ссыльный из Батаринского наслега, Казимир Александрович Кобылянский. Перед выездом их из Якутска у Короленко и его товарищей произошло столкновение с местным исправником Пиневичем, отомстившим им тем, что выдал уезжавшим неправильно составленную подорожную. В «Истории моего современника» (т. IV, гл. XXVI, «Обратный путь») Короленко пишет: «Мы уже имели бумагу, в которой значилось, что мы должны следовать не как арестованные, но этапным порядком. Этапный порядок на Лене не похож на все другие места. По Лене даже простые бродяги, пересылаемые на место жительства, обыкновенно следуют на лошадях. Да это и понятно; жители станков должны сопровождать такого бродягу тоже пешком. Между тем на ленских станках недостатка в лошадях нет, и поэтому жители сами предпочитают поскорее доставить бродягу от станка до станка, лишь бы избавиться от неприятных жильцов, которых надо кормить. Зато по временам закутившие приказчики из Иркутска выхлопатывают себе в полицейском управлении бумаги, согласно которым они тоже препровождаются этапным порядком. Жители хорошо знают эту манеру полицейского управления, не считающего нужным отказывать в ничтожной услуге «хорошему человеку». Хитрый хохол снабдил нас именно такой бумагой, отняв у нас прежнюю. И это сопровождалось для нас значительным неудобством в дальнейшем. Население станков принимало нас за таких прокутившихся приказчиков, злоупотребляющих знакомством с полицией...» «В бумаге [Пиневича] было сказано только глухо, что такие-то отправляются этапным порядком и должны быть сданы в Олекминское Полицейское Управление». О лошадях ничего упомянуто не было. В результате путешественникам пришлось совершить часть пути на волах, в лодке и верхом. «На каждой станции каждый раз выходили большие споры. Ямщики требовали с нас полную плату; дело дошло до того, что однажды они совсем отказались везти нас, и нам пришлось сидеть голодными на голодном станке. Так мы просидели сутки. Нас выручила внезапно пришедшая почта. Я принялся писать письмо губернатору, и, должно быть, фи-

зиономия у меня была довольно выразительная, так что ямщики согласились везти и дальше». Описывая впоследствии (16 лет спустя) в рассказе «Государевы ямщики» впечатления этого обратного пути, автор говорит: «Мы походили на путников, отчаливших с ненадежным парусом от одного берега и рисковавших не пристать к другому. Прогоны, особенно в осеннее время, на три тысячи верст, требовали несколько сот рублей. Таких денег у нас не было. Если бы где-нибудь произошла окончательная остановка, у нас не хватило бы и на обратный путь до Якутска. Год был голодный, хлеба трудно было на пустынных станках достать и за деньги, и поэтому провизию мы тоже везли с собою... Вообще мы физически не могли уступить, если бы и хотели, и наш путь обратился в настоящую каторгу: приезжая к вечеру на станцию, усталые и озябшие, мы вместо отдыха встречали новые сомнения, упреки и споры...» Описывая тяжкую безысходную долю ленских станочников и их бедность, доходившую на некоторых станках до потрясающих размеров, автор прибавляет: «И с этими-то несчастными людьми мы хитростью нашего лукавого врага были поставлены в положение взаимной борьбы... И теперь еще я не могу вспомнить без некоторого замирания сердца о тоске этого долгого пути и этих бесконечных споров с людьми столь глубоко несчастными и имевшими полное основание подозревать с нашей стороны посягательство на их даровой труд... Да, это была настоящая пытка...»

В Олекме бумага, выданная якутским исправником, была обменена на новую, избавившую ехавших от необходимости приходить в постоянные столкновения с ямщиками.

1. Мелкие, сильно затертые записи карандашом, сделанные в продольном направлении на обороте первого, непронумерованного листка (внутренней обложки). Половина листка с окончанием некоторых фраз оторвана. Повидимому, эти беглые, отрывочные записи были занесены в книжку в дороге, в начале пути, до Олекмы (между 23 сентября и 4 октября 1884 г.). Эта первая часть пути была особенно трудна, как указано выше, и только по приезде в Олекму В. Г. Короленко приступил к ведению систематических путевых заметок. Некоторые фразы печатаемых здесь первых записей связаны с дорожными разговорами с ямщиками. Фраза о «худеньком боге» вложена была впоследствии автором в уста молодого ямщика (Микеши) в рассказе «Государевы ямщики» (см. об этом рассказе далее, примечание 9-е). Адреса дешевых номеров в Твери записаны ввиду того, что, уезжая из Якутской области, В. Г. Короленко имел вначале намерение поселиться в этом городе, до которого ему и было выдано проходное свидетельство.

2. Запись от слов: «Из Якутска мы выехали», заканчивая фразой: «4 октября прибыли в Олекму», — сделана пером мелким почерком, почти без поправок, с оставлением небольших

полей, сильно выцветшими чернилами. Запись без даты; внешний вид ее подтверждает предположение, что она сделана не в самом пути, а в более удобных условиях, вероятно, в Олекме, где Короленко оставался с 4-го по 16 октября 1884 года. Здесь же, повидимому, сделана непосредственно следующая за ней запись «Станочники» (см. ниже). Описание пребывания в Олекме дано в «Истории моего современника» (т. IV, гл. XXVII).

3. Эпизод этот послужил материалом для главы II рассказа «Государевы ямщики», где выведен сосланный поляк-униат, названный там Островским.

4. Описание ат-даванской станции дано писателем в рассказе «Ат-Даван» (см. выше, примечание 1-е к записной книжке 3).

5. Замечание это относится, повидимому, к книжке, потерянной автором во время его первого переезда теми же местами, по пути в ссылку. Упоминание об этой потере находим в записной книжке 1881 года, заключающей записи того времени. На обратном пути Владимир Галактионович также потерял книжку, но не с рисунками, а со статистическими данными о положении ленских станочников, которые он стал собирать на станках (население, имущество, размеры жалованья и т. д.). Данные эти он намеревался огласить в печати. О потере этой второй книжки Короленко рассказывает в «Истории моего современника» (т. IV, гл. XXVI, стр. 617) без точного указания места, где это случилось.

6. Это первое поселение якутов, которое Короленко видел по пути в Якутскую область. В записной книжке 1881 года есть краткая запись, сделанная при проезде писателя первый раз этими местами, которой он, повидимому, воспользовался, описывая теперь обратный путь.

7. «Амбарами» в Сибири называют избы.

8 «Хоттоном» называется отделение для скота в якутских юртах.

9. Запись, озаглавленная «Станочники», сделана (почти без поправок) теми же чернилами и тем же почерком, что и предшествующая, и относится к тому же времени (пребывание в Олекме). По своему содержанию запись является первоначальным наброском к будущему рассказу «Государевы ямщики». Рассказ этот, написанный в 1900 году, впервые появился в печати в 1901 году («Русское богатство», кн. 2). Черновая рукопись рассказа сохранилась в архиве писателя.

10. Позднейшая приписка карандашом. Страница продолжения не указана, так как книжка не была пронумерована; продолжение рассказа старика смотри ниже.

11. Записи, озаглавленные «В пути», занимают в книжке страницы: 8—22 и 26—43. За исключением страниц 28—32 и 33—36, на которых имеются записи, сделанные пером, весь остальной текст написан карандашом, мелким почерком, с оставлением небольших полей. Почти на каждой странице имеются незначительные исправления, иногда беглые записи вдоль

полей. Характер этих записей указывает, что они делались действительно в пути, на станках, спешно, во время коротких перепряжек.

12. Описанным здесь эпизодом автор воспользовался для аналогичной сцены в рассказе «Мороз» (см. ниже примечание 20-е).

13. Запись вдоль полей записной книжки.

14. Против последнего абзаца на полях пометки чернильным карандашом: «Граница» и «Споры». Пометки эти, как видно по почерку, сделаны писателем в последние годы жизни во время его работы над четвертой частью «Истории моего современника».

15. Николай Николаевич Муравьев-Амурский (1809—1881). С 1847 по 1861 год был генерал-губернатором Восточной Сибири.

16. Против этого абзаца, на полях, наискось чернильным карандашом, почерком последних лет жизни В. Г. Короленко — отметка: «Г о р е», сделанная им при работе над последнею частью «Истории моего современника».

17. Михаил Антонович Ромась (1859—1920), рабочий, смазчик вагонов. В конце 70-х годов служил в Киеве на Киево-Брестской железной дороге, принимал участие в собраниях революционного кружка М. Р. Попова и распространял среди железнодорожных рабочих литературу. Арестованный в декабре 1879 года, был заключен в Киевскую тюрьму и назначался к высылке в Восточную Сибирь. В августе 1880 года прибыл в Вышневолоцкую пересыльную тюрьму. В марте 1881 года отказался здесь от принесения верноподданнической присяги вступившему на престол Александру III. За это, по распоряжению министра внутренних дел, был выслан в Якутскую область, где и отбывал ссылку в слободе Амге одновременно с В. Г. Короленко и одновременно с ним возвращался в Европейскую Россию (с этой станции обогнав товарищей). «Это была фигура чрезвычайно своеобразная, — писал о нем Короленко в «Истории моего современника» (т. IV, гл. XII, стр. 507). — Не получивший никакого образования, он, однако, производил впечатление совершенно образованного человека и мог поддерживать самый сложный интеллигентный разговор. Всего этого он добился упорным самостоятельным чтением». По возвращении из ссылки в конце 1884 года М. А. Ромась жил в Киеве, Орле, Казани. В 1887 году он открыл, в целях пропаганды, мелочную лавку в селе Красновидове (Свияжского уезда Казанской губ.), причем в качестве приказчика у него жил молодой М. Горький (см. об этом «Мои университеты»). Лавка Ромася была сожжена крестьянами, и он покинул Красновидово. В апреле 1894 года М. А. Ромась был арестован за принадлежность к партии «Народного права» и подвергся (в 1895 году) вторичной ссылке в Якутскую область (в Вилюйск). Возвратился в Европейскую Россию в 1902 году. В 1904 году жил в Седлеце, в 1906 году служил в Севастополе заведующим хозяйственной частью город-

ской больницы. В годы войны работал в Земском союзе, после революции — в кооперации в Одессе, где и умер. — Отношения между В. Г. Короленко и М. А. Ромасем поддерживались до конца их жизни. Во второй половине 80-х годов они встречались в Нижнем-Новгороде, куда приезжал Ромась, а в 1887 году Владимир Галактионович посетил его в Красновидове (см. ниже отрывок из записной книжки «Мою лодку закачало», сделанный во время этой поездки). Личность Ромася привлекала Короленко и как художника, и он пытался в половине 90-х годов изобразить его в лице «мещанина Романыча» в рассказе «Художник Алымов» (с подзаголовком: «В ссоре с меньшим братом»). Попытка эта, по мнению самого автора, ему не удалась, что побудило его взять обратно сданный уже в набор рассказ. Произведение это при жизни писателя в печати не появлялось. (Вошло в т. XV Полного посмертного собрания сочинений, Госиздат Украины, 1923 г.).

18. Против этого абзаца пометка автора позднейшим почерком: «Золото», сделанная при работе над четвертой частью «Истории моего современника».

19. В этом месте между стр. 16-й и 17-й в записной книжке один листок вырван без нарушения связи в тексте.

20. Впечатлением от этой встречи в лесу с обреченным на близкую смерть человеком внушена тема рассказа «Мороз». Первоначальный план этого рассказа набросан в одной из тетрадей писателя под датой «8 окт. 98 г.». Написан же рассказ 6 января 1901 года и тогда же появился в «Русском богатстве» (кн. 1-я). Рукопись «Мороза» не сохранилась; в архиве В. Г. Короленко имеются лишь остатки первоначального черновика в виде пятнадцати разрозненных листков.

21. Против этого абзаца на полях пометки карандашом поздним почерком: «Встреча», и ниже — «Бурмакин», сделанная при работе над четвертой частью «Истории моего современника».

22. Бурмакин выведен (под той же фамилией) в рассказе «Феодалы» (об этом рассказе см. ниже, примечание 28-е).

23. «Уйма» — установить местное значение этого слова не удалось.

24. Рассказанный здесь эпизод доставил писателю сюжет для рассказа «Черкес», напечатанного впервые под заглавием «Из записной книжки» в 1888 году в «Сибирской газете» (№ 16). Рукопись этого рассказа в архиве не сохранилась.

25. Отрывок «Станочники» написан пером, мелким почерком (с небольшим количеством поправок), повидимому, во время более длительной остановки; вероятно, у Короленко была в дороге чернильница, так как характер всех записей, сделанных пером в разное время, совершенно одинаков.

26. Приписка карандашом. Страница продолжения не указана, так как книжка не была пронумерована.

27. Торосы — большие глыбы льда, громоздящиеся друг на друга, на реке или на море.

28. Резкий контраст между нищими пустынными станками и этим маленьким центром приисковой жизни является одним из главных мотивов в рассказе «Феодалы». Первоначальный черновик этого рассказа (озаглавленный сперва «Волшебство») был набросан в течение двух дней, 6-го и 7 декабря 1900 года. В 1904 году автор написал его наново и изменил заглавие. В печати рассказ появился в 1904 году в сборнике «К свету», издание Комитета Общества доставления средств С.-петербургским высшим женским курсам. Для полного собрания сочинений (изд. А. Маркса, 1914 г.). Короленко снова подверг свой рассказ значительной переработке.

29. Речь, очевидно, идет о столкновении между Францией и Китаем, окончившемся в 1885 году мирным договором, по которому Франция получила Танкин.

30. Ниже проставлена карандашом дата: «28 окт.», затем перечеркнутая, и, после небольшого пробела, запись продолжается пером.

31. На этом запись пером, сделанная, вероятно, во время более длительной остановки, заканчивается. Дальнейшие записи до конца месяца ведутся карандашом.

32. Против слова «Дубровная» — на полях приписка: «Дубровная уже Петроп[авловской] волости».

33. Знак вопроса у автора. Против этого абзаца на полях пометка: «Примеч.», а вдоль полей отрывочная запись: «Нанял бы меня кто за 500. Я бы его с. с-на ухайдакал, — пущай не отбив[ает] хл[еб] у кр[естьян]».

34. Дальнейшая запись, без даты, ведется пером.

35. Со следующего абзаца запись снова ведется карандашом.

36. Описание этой части пути по Сибирскому тракту, трудные переправы через пади даны автором в главе VI рассказа «Феодалы». Повидимому, при работе над этим рассказом автор пользовался записями в своей книжке.

37. Пешня — железный лом с трубкою, в которую вставляется деревянная рукоять.

38. Лонись — в прошлом году.

39. Эти записи послужили В. Г. Короленко материалом при работе его над четвертым томом «Истории моего современника» (гл. XXX).

40. Камень, подле которого шаманы совершали свои моления. О таком камне, уже виденном им по пути в Якутскую область, автор рассказывает в «Истории моего современника» (т. IV, гл. I, стр. 442—443).

41. Из Иркутска В. Г. Короленко продолжал путь уже в новой компании, в которую вошел политический ссыльный, австрийский подданный, Флориан Григорьевич Богданович (см. о нем «Историю моего современника», т. IV, гл. XXX). Его своеобразной личностью внушен образ романтика Игнатовича, героя рассказа «Мороз».

42. На этом ведение путевого дневника 1884 года заканчивается. В архиве В. Г. Короленко не сохранилось никаких за-

писей, относящихся к последней части его пути, о которой писатель только кратко рассказывает в заключительных главах «Истории моего современника», написанных им в 1921 году, уже незадолго до смерти.

43. Выписки из Библии сделаны, вероятно, в Иркутске. В. Г. Короленко хорошо знал Библию и интересовался религиозными сектами и религиозными народными движениями.

44. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя.

Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он» (гл. 1, ст. 22—24).

45. «Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом» (гл. 2, ст. 13).

46. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела: покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих» (гл. 2, ст. 17—18).

47. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» (гл. 4, ст. 17).

48. «И не господствуя над наследием божиим, но подавая пример стаду» (Первое послание, гл. 5, ст. 3).

49. Запись «Сибирское наречие» сделана карандашом в два столбца. Перед нею один листок в записной книжке вырван.

50. Мотросить — моросить.

51. Прошлый год.

52. Однорядки — долгополый однобортный кафтан без воротника.

53. Вероятно, восклицание ямщика.

54. Пристрасшный — устрашенный, напуганный.

55. Фарт — пожива.

56. Подъем на гору.

57. Полякúшовцы Быть может, это местное название ссыльных поляков.

58. Покормёнок — дитя, взятое на воспитание.

59. Быть может, это выражение связано с народным поверьем, что зубы надо лечить в начале месяца.

60. М. Д. Хмыров. Царь Алексей Михайлович и его время (1629—1676). Нравоописательный очерк «Деревня и новая Россия», Ежемесячный исторический иллюстрированный сборник 1875 года. (Об усмирении якутов в 1645 году якутским воеводой Петром Головиным см. № 9, стр. 39—40).

61. Памятная книжка Якутской области на 1871 год. 3-е издание Якутского областного статист. комитета, СПБ. 1877.

62. Омоллон, легендарный якутский богатырь. Предание об Омоллоне записано в одной из сибирских тетрадей. Короленко.

63. Соловьев Ф. «Остатки язычества у якутов». Сборник газеты «Сибирь», I, 1876 г., стр. 402—419.

64. Предания, связанного с пещерой, выяснить не удалось.

65. Далее одна фраза не разобрана.

66. Отрывок написан карандашом, беглым почерком. Содержание его дальнейшего развития не получило. Рассказ «Смерть якута» написан не был. Идея этого рассказа возникла у писателя, вероятно, еще в Амге. В архиве его имеется отрывок рукописи без заглавия, начинающийся словами: «Якуту Долбараю приходилось плохо...» Внешний вид этой рукописи, писанной карандашом, ранним почерком, на очень старой, пожелтевшей бумаге, на двух листах, вырезанных из тетради, а также содержание ее заставляют отнести это начало рассказа ко времени жизни В. Г. Короленко в Амге. В дошедшем до нас отрывке рассказывается о страданиях смертельно больного якута и обстановке, в которой он умирает. Никаких следов возвращения автора к обработке этого сюжета в архиве не сохранилось.

67. О «басе» и «теноре», двух уголовных ссыльных, бродягах, живших в Амге и славившихся своим пением, Короленко рассказывает в «Истории моего современника» (т. IV, гл. IX). Набросок их портретов, сделанный автором, хранится в его архиве. Личность и судьба этих ссыльных внушили писателю идею рассказа «Артисты», оставшегося незаконченным. К этому сюжету Короленко возвращался несколько раз: в его архиве хранятся четыре рукописи, являющиеся вариантами начала этого рассказа. Одна из них, самая старая, может быть отнесена к концу 80-х или к началу 90-х годов. Остальные — к началу 900-х годов. В это время, переехав в Полтаву, В. Г. Короленко, по воспоминаниям его жены, возвращался к работе над этим произведением.

68. Отрывок написан сначала карандашом, затем пером, поспешно, беглым почерком, с исправлениями и помарками. По своему содержанию является вариантом окончания рассказа «Сон Макара». Вариант этот, близкий к окончательной редакции, существенно отличается от первоначального окончания рассказа, написанного еще в Амге в 1883 году. Первоначальный черновик носил название «Сон амгинца». «Сон Макара» был первым из художественных произведений В. Г. Короленко, появившихся в журналах после его возвращения из Якутской области («Русская мысль», 1885 г., № 3).

69. До следующего абзаца рукопись велась карандашом, далее до конца — пером, но поспешным и неровным почерком.

70. Отрывок очерка «Станочники» писан пером, ровным, спокойным почерком, почти без помарок, повидимому, в удобных условиях.

71. На этом рукопись заканчивается. Из заключающихся в этой записной книжке набросков, под заглавием «Станочники», в рассказе «Государевы ямщики» использовано только описание переезда через Лену в лодке. Легенда, рассказываемая стариком, в окончательной редакции отсутствует, хотя и повторяется в черновой рукописи рассказа. Быть может, автор не ввел ее в печатный текст по цензурным соображениям.

НИЖЕГОРОДСКИЕ ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

Со времени возвращения из якутской ссылки в самом конце 1884 года и до переезда В. Г. Короленко в Петербург в 1895 году — одиннадцать лет он прожил в Нижнем-Новгороде. Поселившись здесь, он сразу же вошел в литературу и стал много работать в печати: в журналах, в приволжской прессе, в «Русских ведомостях» начали появляться его рассказы, публицистические заметки и корреспонденции. Уже в 1886 году вышла в издании «Русской мысли» первая книга «Очерков и рассказов» В. Г. Короленко. Напряженная литературная работа и условия городской жизни отрывали писателя от широких народных масс, жизнь которых всегда интересовала его так глубоко, что в свое время он мог радоваться даже ссылке, приводившей его в соприкосновение с народом (см. письма ссыльного периода в книге I «Писем», Полное посмертное собрание сочинений, Госиздат Украины, 1923 г.). Для того чтобы восполнить этот пробел, Короленко часто отправлялся в путешествия: то пешком, с котомкой за плечами, выбирая места наибольшего стечения народа, то на пароходе или на лодке. В карман он клал небольшую записную книжку, часто небольшой альбом для рисования. Книжка постепенно заполнялась записями, а альбом — карандашными зарисовками мест и иногда людей. Записи, сделанные в пути, являются порою последовательными подневными описаниями всего путешествия с начала и до конца, иногда же это лишь наброски сценки или разговора, характерное выражение, ряд беглых зарисовок с натуры. Записные книжки были в работе Короленко необходимым орудием и до конца сохранили значение сокровищницы, из которой писатель черпал материал для своих художественных произведений. Сделанные иногда наспех, часто на ходу, во время разговора, порой ощупью в кармане, чтобы не привлекать внимание говорящего, записи эти затем обрабатывались Короленко, причем сценка, набросок с натуры, иногда прямо ложилась в основу рассказа, а иногда даже вся книжка целиком, в обработанном виде, печаталась автором. Из сохранившихся в архиве В. Г. Короленко нижегородских записных книжек здесь печатаются только некоторые.

7. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1886—1888 ГОДОВ

Записная книжка в ⅛ листа в черном полотняном переплете (№ по описи 464). На переплете бумажный ярлычок с авторским оглавлением: «I. Романтические грезы. II. На Волге (путев. наброски). III. Последний Мымрецов. IV. Апокриф о Христе и диаволе». Кроме записей, перечисленных в этом оглавлении, книжка содержит еще в начале и в конце мелкие записи иного, справочного характера, здесь не печатающиеся: выписки из судебных отчетов, из газет 1885 года, адреса, счета, перечень поручений, взятых на себя при поездке в Москву, и т. п. Не все листы целы, — некоторые из них вырваны и вырезаны автором.

Нумерация страниц (1—93) принадлежит редакционной комиссии. Записи сделаны карандашом, только одну из них впоследствии автор навел чернилами (см. ниже, примечание 1-е. Дат записи не имеют, но в конце книжки есть бегло проставленная карандашом, без связи с записями, дата: «23, VI, 86». Это время поездки В. Г. Короленко в Москву по литературным делам и еще куда-то, куда именно — выяснить не удалось. В письме к В. А. Гольцеву от 22 июня 1886 года он писал из Нижнего-Новгорода: «Сегодня же выезжаю отсюда. В Москве буду скоро. По пути заеду еще кое-куда». Основываясь на этой дате, а также сопоставляя содержание книжки с различными имеющимися в архиве данными, редакция определяет записи, заключающиеся в книжке, 1886—1888 годами. Это самая ранняя из сохранившихся в архиве писателя нижегородских записных книжек

1. Заголовок к следующей ниже записи сделан В. Г. Короленко на обложке записной книжки (см. ее описание). Запись, сделанная на Волге летом 1886 или 1887 года, в первой части своей настолько затерлась, что местами совершенно не поддается прочтению. Автор пытался, повидимому значительно позже, навести ее чернилами, но многих мест и сам не разобрал. Эти неразобранные места здесь заменяются точками. Содержание настоящего отрывка становится понятным из сопоставления его с содержанием рассказа «Художник Алымов», в частности с тем его местом (повторяющимся в нескольких вариантах), где Алымов рассказывает о видении пугачевца Хлопуши, явившегося ему в горячечном бреду во время поездки по Волге. Художник Алымов — интеллигент-романтик, переживающий душевный перелом, связанный с кризисом народничества: прежняя восторженная вера в народ заменяется в нем разочарованием, и образы народных героев, утратившие в его глазах свой романтический ореол, внушают ему страх и даже отвращение, как слепая и дикая стихийная сила. Рассказ «Художник Алымов» (уже упоминавшийся, см. примечание 17-е к записной книжке 6) написан был позднее, в середине 90-х годов. К тому времени относится, вероятно, попытка автора восстановить чернилами затершиеся карандашные записи отрывка «Романтические грезы». Отрывок этот имеет и некоторый автобиографический интерес: в нем отразилось настроение, которое, по признанию писателя, с большой силой овладевало им на Волге. Первый раз он испытал это настроение еще в начале своих ссыльных скитаний весною 1879 года. Короленко ехал в сопровождении жандармов, от Ярославля до Костромы, на волжском пароходе. «В это яркое весеннее утро, — пишет он в своих воспоминаниях, — я весь был охвачен особым ощущением волжского романтизма. Для меня Волга — это был Некрасов, исторические предания о движении русского народа, это были Стенька Разин и Пугачев, это была волжская вольница и бурлаки Репина, которых я с большой любовью скопировал тушью и повесил на стенке своей петербургской комнаты» («История

моего современника», т. II, ч. V, гл. I, стр. 415—416). И впоследствии писателем овладевало на Волге особенное чувство прошлого: во время своих частых поездок по любимой реке он видел места, связанные самыми своими названиями с преданиями и событиями времен Разина и Пугачева, слышал здесь эти предания. «Волга, Волга! — писал он. — Есть что-то особенное, какое-то, ей только свойственное ощущение, неопределенное и, однако, необыкновенно сильное, неясное, и однако, замечательно цельное, которое охватывает душу только на ее просторе. Вся печаль и все обаяние родной земли, вся ее скорбная история и ее смутные надежды нигде не овладевают сердцем так полно и властно, нигде с такой щемящей настойчивостью не просят образа и выражения, как на Волге, особенно в тихий, сумрачный, немного мглистый вечер с догорающим закатом и с надвигающейся из-за дальних вершин холодною, темною, быть может, грозовою тучей» («Художник Алымов», гл. I). Еще ко времени жизни В. Г. Короленко в Нижнем-Новгороде относится замысел исторического романа из времени пугачевского движения Для осуществления этого замысла писателем произведена была огромная подготовительная работа, следы которой сохранились в виде множества выписок из исторических сочинений и из подлинных архивных дел, хранившихся в малодоступном тогда уральском войсковом архиве. В этом архиве Короленко работал летом 1900 года и тогда же совершил целый ряд поездок по уральским казачьим станицам, чтобы повидать места, бывшие когда-то центром пугачевского движения, и собрать изустные предания о Пугачеве (см. ниже записные книжки, относящиеся ко времени пребывания В. Г. Короленко в Уральске, №№ 23 и 24). В письмах к жене, относящихся к тому времени, он говорит о замысле этого произведения. В одном из этих писем набросан конспект целой главы (см. «Избранные письма В. Г. Короленко», т. I, изд. «Мир», 1932, Москва, и в настоящем томе отрывки за №№ 83, 86). Короленко не суждено было осуществить свой замысел: историческая повесть осталась ненаписанной. См. ниже «Работу над исторической повестью «Набеглый царь». Памятником интереса Короленко к личности Пугачева является также статья «Пугачевская легенда на Урале», написанная еще в 1900 году, но появившаяся в печати уже после смерти писателя («Голос минувшего», 1922, октябрь). Из писем В. Г. Короленко к разным лицам, к которым он обращался в свое время за нужными для его работы справками, видно, что наряду с личностью Пугачева его особенно интересовал сподвижник последнего — Хлопуша, загадочный образ которого преследует и героя рассказа «Художник Алымов». С представлением о Хлопуше связан, вероятно, и намеченный в отрывке «Романтические грезы» образ волжского разбойника, возникающий в разгоряченном болезнью мозгу молодого человека.

2. В этом месте записной книжки проставлены разделительные черточки, и половина страницы оставлена чистой, вероят-

но, с намерением продолжать позднее. Запись возобновляется на следующей странице. Содержание ее — речь воображаемого волжского разбойника, «мирского заступника», обращенная к мечтателю-интеллигенту, повторяется в различных вариантах к рассказу «Художник Алымов».

3. На этом запись «Романтические грезы» заканчивается. Следующая непосредственно за ней (после разделительных черточек) сделана, вероятно, во время той же поездки по Волге. Озаглавлена писателем на обложке записной книжки (см. описание ее выше).

4. Буерак — овраг.

5. Шихарёк — холмик.

6. Согласно этому преданию, Царев курган — холм на левом берегу Волги, против Жегулей, был искусственно насыпан по повелению какого-то легендарного царя, приказавшего своим многочисленным воинам принести по шапке земли на ровное до того времени место.

7. Записанный здесь разговор, слышанный автором на волжском пароходе, послужил материалом при написании рассказа «Груня» (в раннем варианте — заглавие «На Волге»). Рассказ этот, над которым Короленко работал в конце 80-х и начале 90-х годов, при жизни писателя в печати не появлялся. Вошел в том XVI посмертного собрания сочинений (Госиздат Украины, 1923), где напечатаны и все относящиеся к нему варианты. Фигуры собеседников, намеченные в настоящей записи, повторяются также в отрывке без заглавия, начинающемся словами: «В каюте второго класса одного из самолетских пароходов стояла какая-то томящая тишина...» Отрывок напечатан в том же XVI томе посмертного издания (стр. 156—160).

8. Повидимому, фразу эту надо понимать так, что смерть Вильгельма и смерть Бисмарка будут смертью Турции. В те годы, к которым относится запись, Бисмарк, германский канцлер, был еще жив. Он умер в 1898 году. Вильгельм I, германский император, умер в марте 1888 года.

9. Выражение «френологический господин» находит себе объяснение в следующих строках упомянутого выше отрывка без заглавия «В каюте второго класса...»: «Прямо против меня, под другой стенкой пароходной каюты сидел на койке толстый низенький господин с одутлыми чертами лица и совершенно лысый. Это несомненно был очень драгоценный экземпляр для френолога, так как его голый череп представлял богатейшую коллекцию всевозможных шишек, бугров и впадин».

10. Запись эта явилась материалом для очерка «На Волге», первоначально составлявшего главу упоминавшейся выше повести «Груня». Первый раз очерк этот был напечатан в сборнике «Памяти В. М. Гаршина», Петербург, 1889 г. Там он дан с подзаголовком «отрывок» и снабжен датой: «Октябрь 1888 г.».

11. Эта и все дальнейшие записи, до отрывка, озаглавлен-

ного «Последний Мымрецов», сделаны на Волге летом 1887 или 1888 года.

12. Между этой и следующей записью страница занята списком книг:

«1) Родбертус. Исследование в области нац. экономии классич[еской] др[евности], 3 выпуск, Ярославль (?).

2) Маурер. Введение в истор[ию] общин подворн., семейн. и пр.

3) Мэн. Древний закон и обычай.

4. Вощинин. Излож[ение] и критич[еский] разбор важнейших экономич[еских] теорий ренты.

5) Поссе. О средневеков[ом] общ[инном] землевлад[ении].

6) Янжул. Опыт исслед[ования] английск[их] косв[енных] налогов.

7) Если можно од[ин] из журналов:

а) Экономич[еский] вестник или

б) Вестник пром[ышленности], торг[овли] и финансов (что-ниб[удь] в эт[ом] роде)».

13. Против этой записи на полях, в продольном направлении, написано: «Нравоучительный человек».

14. Дальше одна фраза не разобрана.

15. Батяш — отец духовный, поп.

16. Залямчить — набросить.

17. Заглавие В. Г. Короленко на обложке записной книжки. Печатаемые ниже пять отрывочных записей представляют собою наброски к задуманному Короленко рассказу «Последний Мымрецов». Мысль об этом рассказе, повидимому, долго занимала писателя: в его дневнике 1895 года под датой 12 апреля набросана сценка с натуры, в которой центральной фигурой является старый отставной полицейский. Над этой записью имеется позднейшая пометка: «К расск[азу] «Последний Мымрецов» (см. «Дневник», т. III, стр. 159—160, Госиздат Украины, 1927 г.). Имя «Мымрецов» заимствовано из рассказа Г. И. Успенского «Будка», в котором изображен полицейский служака дореформенного времени. Замысел Короленко остался неосуществленным, рассказ написан не был, но интересовавший писателя тип старого полицейского и аналогичный тип старого николаевского солдата встречается в ряде других его работ: таковы отрывки к незаконченной и неопубликованной части рассказа «Прохор и студенты», к незаконченным и неопубликованным рассказам «Табельщик» и «Артисты», к рассказу «Муза». Фигура николаевского инвалида, караульщика у шлагбаума в городе Ровно, где прошли ученические годы В. Г. Короленко, дана в «Истории моего современника» (т. I, гл. XVI).

18. Такой именно вид имел полицейский, сопровождавший Короленко в тюрьму в Ярославле во время его первой высылки в 1876 году (см. «Историю моего современника», т. II, ч. IV, гл. I). В то время Короленко, исключенный из Петровской зем-

ледельческой академии за участие в студенческих волнениях и подачу коллективного протеста студентов директору, высылался из Москвы в Вологодскую губернию, но с дороги, из Тотьмы был возвращен обратно и поселен под надзором полиции в Кронштадте, где оставался до осени 1877 года.

19. Фамилия, быть может подлинная, автором зачеркнута. Далее выведенное здесь лицо называется Гусевым. Повидимому, автор имел в виду изобразить одного из нижегородских полицейских чиновников.

20. Лекок — сыщик, герой популярного уголовного романа «M-r Lecoc» французского писателя Эмиля Габорио (1835—1873). Роман этот, переведенный на русский язык, был в свое время широко известен и у нас.

21. Под именем «героя», вероятно, имеется в виду нижегородский губернатор Н. М. Баранов, которого Короленко в своих письмах иронически называет «героем Весты». Баранов, служивший в 70-х годах во флоте, командовал во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов небольшим военным пароходом «Веста», причем посылал крайне преувеличенные, не соответствовавшие действительности реляции о своих успехах. Прославший героем и уже получивший ряд наград, Баранов был, однако, разоблачен и по постановлению военно-морского суда вынужден в 1879 году оставить морскую службу. Подробнее о Баранове см. ниже, стр. 470, прим. 96-е.

22. Записанный здесь между набросками к рассказу «Последний Мымрецов» куплет песни занесен автором в книжку, вероятно, где-то в дороге.

23. Здесь, вероятно, имеется в виду «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина (печаталась впервые в «Отечественных записках» в 1869—1870 годах).

24. Заглавие автора на обложке записной книжки. Набросок сделан на Волге летом 1887 или 1888 года.

25. После этой записи проставлены разделительные черточки, и половина листа оторвана.

8. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1887 ГОДА

Записная книжка-календарь (№ по описи 465), издания М. И. Румша в Петербурге. На синем полотняном переплете золотыми буквами вытеснено: «1887. Ежедневная записная книжка». На бумажном ярлычке надпись рукою В. Г. Короленко: «II. На Волге (под Красновид[овым]). I. Отрывок из Табельщика». Страницы книжки пронумерованы печатно (1—284). В разных местах есть вырезанные и вырванные листки, но связь в тексте сохранившихся записей нигде не нарушается. Кроме печатаемых здесь записей, сделанных карандашом в разных местах книжки, без отношения к датам, в ней имеются еще заметки чисто справочного характера — выписки из устава о ссыльных, рецепты, адреса и пр., здесь не печатающиеся.

1. Заглавие дано автором на обложке записной книжки к черновому наброску, написанному карандашом, беглым почерком, с немногими исправлениями. Содержание задуманной Короленко в 80-х годах повести «Табельщик» из заводской жизни связано с впечатлениями от его службы на железной дороге в Перми в 1880—1881 годах сначала табельщиком, затем письмоводителем в статистическом отделе службы тяги (см. об этом «Историю моего современника», т. III, ч. III, гл. III). Повесть «Табельщик» не была закончена и обработана. В архиве писателя сохранились отрывки к ней, писанные в разное время; самые ранние из них относятся, повидимому, еще к годам ссылки. В 1887 году автором были выделены и обработаны две главы «Табельщика» напечатанные под заглавием «На заводе» в «Русских ведомостях» (1887 г., №№ 67 и 79). Главы эти (I. «Два мальчика». II. «Барышня») введены были в 1914 году в собрание сочинений изд. А. Маркса под тем же названием с подзаголовком: «Две главы из неоконченной повести». После 1887 года Короленко к работе над повестью «Табельщик», повидимому, более не возвращался. Печатаемый здесь набросок из записной книжки говорит о самоубийстве молодого табельщика из заводских рабочих — Иванова. Детство Иванова изображено в упомянутой выше главе «На заводе». Там это один из двух мальчиков, — Ванька. В сохранившихся отрывках к «Табельщику» душевная драма Иванова, приведшая его к самоубийству, только намечена: повидимому, она возникла в результате разрыва с товарищеской средой, заподозрившей в нем доносчика на рабочих, продавшегося начальству.

2. Главного инженера, строгого начальника, подчинившего своей воле слабую натуру Иванова.

3. Следующая ниже запись относится ко времени поездки В. Г. Короленко в мае 1887 года с женой и маленькой дочерью в деревню Кузнецовку Саратовской губернии к родственникам жены — Малышевым. Обратно в Нижний-Новгород он возвращался в половине июня один.

4. Приведенная здесь старинная песня записана В. Г. Короленко на Волге, под Красновидовым (см. ниже, примечание 7-е). По поводу этой песни писатель говорит: «Однажды, дожидаясь парохода на волжской отмели, я услышал от рыбака песню о прусском плене русского доброго молодца, Чернышева Захара Григорьевича. Рыбак не знал, конечно, ничего об исторической личности, но песня все-таки являлась отголоском действительных событий. Во времена Пугачева удалой казак Чика принял на себя имя Захара Григорьевича Чернышева и прибавил в народной памяти к популярному имени опальную черту» («Последний луч», гл. III). Захар Григорьевич Чернышев (1722—1784)—генерал-фельдмаршал. Был в Пруссии, как участник «Семилетней войны» (1756—1763). В сражении при Цорндорфе (1758) был захвачен в плен с несколькими другими генералами. В наказание за беспощадное сожжение города Кюстрина они были заключены на непродолжительное время в Кюстринские

подземные казематы. Вскоре, однако, им разрешили перейти на вольные квартиры. В конце 1759 года Чернышев был выменян из плена по договору, заключенному в Бютове. При Екатерине II граф Чернышев был генерал-губернатором Белоруссии, президентом военной коллегии и градоначальником Москвы.

5. Песня эта, тогда же слышанная от рыбака, является отголоском событий 1812 года.

6. Настоящая запись, вписанная между волжскими записями и не стоящая с ними ни в какой связи, была, очевидно, сделана в этом месте книжки в другое время.

7. Заглавие, сделанное автором на обложке записной книжки. Возвращаясь из Саратовской губернии в июне 1887 года (см. выше, примечание 3-е), Короленко заезжал в село Красновидово к своему товарищу по якутской ссылке М. А. Ромасю (см. о нем выше, примечание 17-е к записной книжке 6). Выйдя из Красновидова, он провел в ожидании парохода целый день на волжской отмели, где и сделал печатаемую здесь запись. Содержание ее послужило автору материалом для художественного наброска, озаглавленного «На волжской отмели (из рассказов о встречных людях)». На полях рукописи этого наброска написано: «Алымов». Напечатан в ряду других отрывков к рассказу «Художник Алымов».

8. Стенька (Степан Тимофеевич) Разин, вождь крестьянского революционного движения XVII века, известного под именем разинщины. Казнен в 1671 году.

9. Арготы. Местное значение этого слова установить не удалось.

10. Каргот — тоже.

11. Шабры — соседи.

12. Восклицания и слова рыбака. В упомянутом раньше отрывке «На волжской отмели» это место передано так: «Плотовы, э-эй! Хлеба горячего, хорошего, мягкого, э-эй! Сытые идут, дьяволы, — говорит он злобно... — Вот кабы денек-другой навальной ветер туда, на луга-те, да на чегнях бы постояли, вот тогда небось сами кричат: только давай!..»

13. На этом волжские записи 1887 года в книжке заканчиваются.

14. Заглавие принадлежит автору. В. Г. Короленко с огромным интересом следил за студенческим движением; в своих дневниках он собирал материал, относящийся к истории этого движения и к его откликам в разных слоях населения. В 1902 году он записал в дневнике под 30 апреля: «С конца восьмидесятых годов я слежу за студенческими движениями. Всякий раз, когда я приезжаю в столицы после таких движений, я расспрашиваю извозчиков: «Что у вас тут шумят студенты?» Извозчики — это особый слой столичного населения: они — корпорация. Постоянно стоя на биржах, они обмениваются мнениями, а постоянно меняя места стоянок, развозят и нивелируют это общее, так сказать, корпоративное мнение. И вот уже более де-

сяти лет я замечаю и заношу в свои книжки особую извощичью легенду о студенческих движениях. Одни с сочувствием, другие с осуждением, — все однако единогласно почти повторяют одно: студенты бунтуют из-за того, что «бедному человеку нет ходу» (см. «Дневник», т. IV, Госиздат Украины, 1928). Вспоминая слышанные им отзывы извозчиков о студенческих волнениях, Короленко приводит в своем дневнике и отзыв, находящий место в данной записи.

15. Студенческие волнения в Московском университете, о которых идет здесь речь, возникли в ноябре 1887 года. Причина их коренилась в том полицейском режиме, который был введен университетским уставом 1884 года, предоставившим широкие полномочия инспекции, подчиненной только попечителю. Проводником устава 1884 года в Московском университете явился инспектор Брызгалов, раздражавший студентов мелочной придирчивостью, бесцеремонным сыском и доносами. На официальном студенческом вечере 22 ноября 1887 года студент Синявский публично дал Брызгалову пощечину с целью обратить внимание общества на положение студенчества. На следующий день начались студенческие сходки, на которых студенты протестовали против действий администрации, требовали увольнения Брызгалова и возвращения устава 1863 года. В результате много студентов было уволено, а университет временно закрыт. Брызгалов же ушел «в отпуск». После рождественских каникул занятия в университете возобновились. Брызгалов однако из отпуска не возвратился. Вскоре он умер.

16. Другая часть разговора с тем же извозчиком, не относящаяся к студенческим волнениям, нашла место в записной книжке 1888 года (см. ниже).

9. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1888 ГОДА

Записная книжка-календарь на 1888 год (№ по описи 470). Изд. А. С. Суворина в Петербурге. На зеленом полотняном переплете вытиснено черными и золотыми буквами: «Записная книжка День за днем и календарь на 1888 год». Нумерация страниц (1—190) печатная. В разных местах книжки не хватает листов. Подневных записей в книжке нет. Только в июне под числами — 25, 26, 27 — отмечено последовательно: «Из Нижнего, Казань, Самара», — поездка в Саратовскую губернию к родственникам Малышевым. Заключающиеся в книжке наброски, записанные без связи с календарными датами, не всегда являются отражением впечатлений данного времени (1888). Так, набросок «Белая пташка» относится по содержанию к началу 80-х годов и имеет местом действия Якутскую область. Все записи сделаны бегло, карандашом, некоторые из них, слишком мелкие, отрывочные и неразборчивые, здесь не печатаются. Кроме записей художественного характера, в книжке имеется еще несколько отметок адресов, расходов, а на странице 146 незаконченный карандашный рисунок волжского обрыва.

1. Запись эта стоит в непосредственной связи с последней записью в книжке 1887 года, озаглавленной там: «Извозчики о студенческих беспорядках».

2. Следующая страница занята записями редакционных и литературных дел, московских адресов и пр. Окончание разговора с извозчиком на обороте этой страницы написано другим, лиловым карандашом, таким же, как и начало его в книжке 1887 года, и перед записью поставлен знак NB.

3. Далее два листа в книжке вырваны.

4. Запись, вероятно, в пути, во время поездки Короленко в Петербург, со 2-го по 20 февраля 1888 года.

5. Беллетристический набросок был озаглавлен вначале: «Белая чичах». Затем слово «чичах» перечеркнуто и заменено словом «пташка». Запись сделана карандашом, неровным почерком, дающим основание предполагать, что автор писал, лежа в постели. В феврале 1888 года В. Г. Короленко был в Москве и Петербурге по литературным делам (2—20 февраля). Вернувшись, он заболел. К этому времени, вероятно, относится набросок «Белая пташка».

6. Отрывок написан тем же неровным почерком, повидимому одновременно с наброском «Белая пташка». По содержанию стоит в связи с наброском «Женился!», находящимся в общей тетради, начатой еще в 1880 году, но служившей писателю и позднее, в Амге. В наброске этом, сюжет которого взят из жизни якутских поселенцев, изображается грубое столкновение жениха с будущим тестем, заканчивающееся изгнанием жениха из дома невесты и тяжбой о взаимных убытках. Возможно, что у автора возникла мысль поставить этот набросок в связь с рассказом «Белая пташка».

7. Запись относится, вероятно, ко времени поездки В. Г. Короленко в Москву и Петербург по литературным делам 5—11 июня 1888 года.

8. Как видно из записи «Дневника» 1888 года, Короленко намеревался развить настоящий набросок с натуры в очерк «Кондуктор», поставив его в связь с другими задуманными им очерками, которые предполагал озаглавить «Пессимисты» («Дневник», т. I, Полное посмертное собрание сочинений, Госиздат Украины, 1925, стр. 133, запись без даты, под заголовком «Пессимисты»). Намерение это осуществлено не было. В записной книжке есть еще три листка мало разборчивых отрывочных записей, которые здесь не печатаются.

10. ЛИСТКИ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 1888 ГОДА

Два листка из уничтоженной автором записной книжки (№ по описи 485). На них две записи карандашом, беглым почерком. Первая, не имеющая начала, здесь не печатается, но она дает возможность установить дату: несколько отрывочных фраз, в ней заключающихся, стоят в связи с одной из записей дневника 1888 года («Веселая барышня», см. «Дневник»,

т. I, запись под 3 марта, стр. 117—125). К этому же году относится, повидимому, и печатаемый здесь отрывок.

1. Воспоминание об аналогичном разговоре с крестьянином, быть может с этим самым, приведено в очерках «В голодный год» (гл. XV, «Христовым именем»): «Однажды мне пришлось слышать горькую исповедь мужика, — пишет Короленко, — в одну из таких минут, когда душа невольно раскрывается для жалобы даже перед посторонним человеком (это было много ранее голодного года). — Покуль до старости-те доживу, сколь еще много муки приму... Господи боже!.. И он рассказал, что два года назад у него умер сын, оставив девочку внучку. И никого у него не было более на свете. Сам же он увечный: дерево повредило ногу. — Идешь за возом-те, все припадаешь... А лошадь-те резва... Этто ушла вперед, бежал я, бежал за ней, потом лег на дороге и заплакал... А на сердцето, братец, все об сыне тоска... Что станешь делать? — А что же в старости-то будет? — спросил я, вспомнив начало его речи. У мужика глаза засветились какой-то радостью. — Да ведь старику-те, мне, как выдам внучку-те замуж, можно и со Христовым именем итти. Мне ведь, — как ты думаешь? — всякий тогда подаст, старику-те... А теперь стыд!.. Только бы как-нибудь годов пятнадцать промаяться помог бы господь... И на лице его светилось предвкушение спокойного пользования Христовым именем, без стыда, по всеми признанному праву...»

11. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1889 ГОДА

Карманная записная книжка малого формата (№ по описи 474). На черной клеенчатой обложке бумажный ярлычок с надписью на нем рукой В. Г. Короленко: «I. На Китеже. II. Тюлин. III. На Ветлуге». В книжке 44 листка, пронумерованных редакционной комиссией (1—44). Несколько листков в начале и в конце книжки автором вырваны. Даты книжка не имеет, но содержание записей указывает на то, что она относится к лету 1889 года, когда В. Г. Короленко совершил, с 21-го по 27 июня, пешеходную экскурсию из Нижнего-Новгорода на озеро Светлояр. В конце книжки имеется маршрут пути с перечнем деревень и указанием расстояния между ними и часов прибытия. Все записи в книжке сделаны карандашом.

Озеро Светлояр (вулканического происхождения) лежит на реке Люнде, близ села Владимирского, в бывшем Семеновском уезде Нижегородской губернии. С этим озером связана была легенда о «невидимом граде Китеже», якобы находящемся на его дне. Это, по преданию, град праведных, скрывшийся, по молитве жителей, под водою в тот момент, когда к нему подступал Батый с намерением его разорить. По преданию, в городе продолжается прежняя жизнь. Немногим избранным дано слышать звон китежских колоколов, доносящийся из глубины озера. Озеро Светлояр являлось местом паломничества, особенно почитаемым старообрядцами разных толков. В очерках

«В пустынных местах» Короленко пишет: «Ежегодно «под Владимирскую» [местный церковный праздник] из Нижегородской, Владимирской, Вологодской губерний, даже из-за Перми, из-за Урала — сходятся на берега Светлояра толпы людей, стремящихся хоть на короткое время отряхнуть с себя обманчивую суету сует и заглянуть за таинственные грани. Здесь, в тени деревьев, под открытым небом день и ночь слышно пение, звучит гнусавое чтение нараспев, кипят споры об истинной вере. А на закатных сумерках и в синей тьме летнего вечера мелькают огни между деревьями по берегам и на воде. Благочестивые люди на коленях трижды ползут кругом озера, потом пускают на щепках остатки свечей на воду и припадают к земле и слушают. Усталые, в истоме между двумя мирами, при огнях на небе и на воде, они отдаются баюкающему колыханию берегов и дальнему звону... И потом замирают, ничего не видя и не слыша из окружающего...» «А кругом шумит обманчивый видимый мир...» «Познакомившись с чудесным озерком, я после этого не раз приходил к нему с палкой в руках и котомкой за плечами, чтобы, слившись с толпой, смотреть, слушать и ловить живую струю народной поэзии среди пестрого мелькания и шума. Вечерняя заря угасала, когда я стоял на холме, близ бревенчатой часовни, в тесной и потной мужицкой толпе, следившей за прениями. И утренняя заря заставала нас всех на том же месте... Много наивного чувства, мало живой мысли...» («В пустынных местах». Очерк II. «Светлояр»). Короленко был на Светлояре четыре раза: экскурсия 1889 года — вторая. Первый раз он посетил Светлояр в июне 1888 года. Записная книжка того времени здесь не печатается, так как содержание ее, за исключением нескольких слишком отрывочных записей, составляют главным образом выписки из «Китежского летописца». Третий раз Владимир Галактионович побывал на Светлояре в июле 1890 года во время своего путешествия по рекам Ветлуге и Керженцу (см. записную книжку № 15). Четвертое путешествие к Светлояру состоялось в июне 1905 года.

1. Эта первая, малоразборчивая запись, повидимому без начала, сделана, судя по почерку, ощупью в темноте, вероятно, где-нибудь на ночлеге, под открытым небом. Перед нею два первые листка в книжке вырваны, возможно, что начало записи находилось на них. Ряд дальнейших записей представляет собою отрывки разговоров и религиозных споров, слышанных автором в толпе паломников на берегах Светлояра. Записи эти не были впоследствии обработаны автором и остались неиспользованными, отчасти, быть может, по цензурным соображениям.

2. Уреневцы — одна из старообрядческих сект. О представителях ее, виденных им на Светлояре, Короленко говорит в другом месте. «Среди многочисленных и разноверных групп, собирающихся на Светлояре, приносящих туда каждая свои книги, свои напевы и свою веру, в особенности выделяются уреневские

начетчики, устраивающие каждый год свои импровизированные алтари под одним и тем же старым дубом, на склоне холма...» «Около древнего дуба стоит тесная большая толпа. Меня поразили суровые, надменные лица этих начетчиков. Тут были женщины в темных скитских платьях, какой-то очень длинный субъект с резкими чертами, молодой мальчишка с сумой нищего, с лицом, покрытым оспой, и лохматый юродивый... Они читали и пели по очереди однообразными гнусавыми голосами, совершенно притом не обращая внимания на все окружающее. Между тем, как представители других толков охотно вступали в споры, — уреневские держались свысока, пренебрежительно и на вопросы совсем не отвечали. Казалось, для них во всем мире не существовало уже ничего, заслуживающего хоть бы малейшего снисхождения, и вся святость сосредоточилась на этом небольшом островке, занятом их тесно сомкнутыми «стриженными гуменцами» и оглашаемом их унылыми напевами» («Река играет», гл. VII).

3. Повидимому, подразумевается: видел не всего бога. Библейская легенда гласит, что бог являлся Моисею на горе Синае и здесь вручил ему скрижали завета.

4. Ефрем Сирин — один из учителей церкви. Жил в IV веке.

5. Манасия — пятнадцатый царь иудейский (698—643 гг. до нашей эры).

6. Евангелие... от Матфея, гл. 18, ст. 20.

7. Деревня Люнда, близ Светлояра.

8. После прогулки автор снова возвратился к часовне в толпу богомольцев.

9. Эта легенда, слышанная В. Г. Короленко во время одной из его поездок по Волге, записана им в его дневнике 1887 года (см. «Дневник», т. I, стр. 83—84, запись под 11 июня).

10. Настоящая запись, посвященная впечатлениям обратного пути со Светлояра, является первоначальным наброском рассказа «Река играет» (имеющего подзаголовок «Эскиз из дорожного альбома»). Рассказ этот, написанный осенью 1891 года, был напечатан впервые в 1892 году в сборнике «Помощь голодающим», изд. «Русских ведомостей».

11. Две заключительные строки из стихотворения без заглавия — А. К. Толстого (см. полное собрание сочинений, изд. А. Ф. Маркса, 1907 г., т. I, стр. 359—360).

12. Перчик — семейное прозвище младшего брата В. Г. Короленко, Илариона Галактионовича (1854 — 1915). В марте 1879 года он был арестован в Петербурге одновременно с Владимиром Галактионовичем и в мае того же года выслан вместе с ним в Глазов Вятской губернии (см. об этом выше общее примечание к сибирским записным книжкам). По отбытии пятилетней административной ссылки прожил несколько лет в Нижнем-Новгороде, где служил в пароходной конторе Зевеке. Позднее состоял инспектором Северного страхового общества и жил в Сибири. С начала 900-х годов поселился на Кавказе, в Джанхоте, близ Геленджика, где и скончался скоропостижно,

от разрыва сердца. Переправа, о которой здесь вспоминает Короленко, происходила не через Ветлугу, как здесь ошибочно сказано, а через Унжу. Описание этой переправы заключается в записной книжке 1879 года. Опубликована «Краевым издательством»: «В. Г. Короленко. Записная книжка 1879 г.», город Горький, 1933.

13. Выведен в рассказе «Река играет».

14. Быть может, это Виктор Иванович Снежневский (1861—1907), исследователь нижегородской старины, правитель дел Нижегородской ученой архивной комиссии, членом которой состоял В. Г. Короленко. Лето 1889 года Снежневский проводил у себя на родине в селе Благовещенском, на реке Ветлуге, где его посетил Владимир Галактионович. О Снежневском имеется статья В. Г. Короленко: «Памяти Виктора Ивановича Снежневского (Несколько личных воспоминаний)». Сборник в память В. И. Снежневского, издание Нижегородской ученой архивной комиссии, 1909 года. Статья эта вошла в книгу: «В. Г. Короленко. Воспоминания о писателях», изд. «Мир», Москва 1934 г.

15. Отрывок из разговора перевозчика Тюлина с бабой (см. «Река играет», гл. III).

16. Записанные здесь рассказы прохожего о соловьихинцах и песочинцах, слышанные автором на ночлеге на берегу Ветлуги, вошли в рассказ «Река играет» (гл. VII).

17. Сторублевая бумажка с изображением императрицы Екатерины II.

18. Продолжение записи о перевозчике Тюлине.

12. ЛИСТЫ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 1889 ГОДА

Три листка, вырванные из старой записной книжки (№ по описи 473). Запись сделана карандашом, беглым почерком, с немногими исправлениями. Первая и последняя страницы исчерканы поверх текста карандашом, повидимому детской рукой. Указание на дату заключается в самом тексте: это, повидимому, 1889 год, когда В. Г. Короленко впервые ездил в кустарное село Павлово, Нижегородской губернии, Горбатовского уезда, центр обширного стале-слесарного производства, все рабочее население которого занималось преимущественно изготовлением замков и ножей. Изделия, проходя через руки скупщиков, расходились по всей стране и даже экспортировались за границу. В результате поездок В. Г. Короленко в Павлово весною и в декабре 1889 года, а затем снова в апреле следующего, 1890 года появились «Павловские очерки», напечатанные впервые в журнале «Русская мысль» (1890 г., кн. 9, 10, 11). В этих очерках автор выступал противником идеализации кустарных форм производства и рисовал картины обнищания павловских кустарей, тяжкие условия их труда и эксплоатацию их скупщиками. Намеченный в настоящем отрывке эпизод, содержание которого не связано с основной темой очерков, дальнейшего развития не получил, и набросанная здесь оценка в печатный текст автором введена не была. О других записях,

относящихся к поездкам В. Г. Короленко в Павлово, куда он возвращался и в позднейшие годы, см. следующую записную книжку, № 13, и примечания к ней.

1. Обтачивание ножей.

13. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА-АЛЬБОМ 1890—1897 ГОДОВ

Альбом небольшого формата (шифр Ч-33). В нем 45 листов. Содержит записи и рисунки, большая часть которых датирована весенними и летними месяцами 1890 года. Это даты поездки В. Г. Короленко в кустарное село Павлово (см. выше, примечание к записной книжке № 12) и его экскурсий в Сарово и Дивеево (см. ниже, записные книжки №№ 14 и 15). Под некоторыми рисунками фигур и лиц записаны наиболее характерные отрывки разговоров с ними. В архиве В. Г. Короленко хранится еще особая записная книжка со многими записями, относящимися к его поездкам в Павлово в 1889 году. Но записи эти частью слишком отрывочны, частью же имеют характер черновика, очень близкого к печатному тексту, вследствие чего книжка эта в настоящем томе не дается. Впечатления В. Г. Короленко от его последнего посещения Павлова в 1897 году (уже через шесть лет после напечатания «Павловских очерков») внесены им в записную книжку-календарь, в которой он вел тогда свой дневник (см. «Дневник», т. III, «Поездка в Вачу и Павлово», стр. 248—290, Госиздат Украины, 1927 г.). О впечатлениях этого посещения дают представления также и письма Короленко к жене, относящиеся к тому времени (январь — февраль 1897 года). См. «Избранные письма В. Г. Короленко, т. I, стр. 144—154, изд. «Мир», Москва 1932 г. На последних страницах настоящего альбома сделаны рисунки во время последнего посещения Павловского района В. Г. Короленко.

1. Текст под рисунком, изображающим старика, сидящего на скамейке в позе спокойного рассказчика. Рассказ павловского старожила, из которого приведен здесь этот отрывок, вошел в «Павловские очерки», гл. VII («Легенды о благодетельных скупщиках»). Автор сопровождает там этот рассказ следующими замечаниями: «Вот какими рисует Акифьевых [т. е. Ананьевых] народная память, когда Акифьевы отодвинулись в прошлое...» «...А между тем в свое время не было здания, которое павловцы разнесли бы с таким удовольствием, как акифьевские палаты...» Внешний вид этих палат зарисован автором в альбоме.

2. Пристань на Оке. Запись относится к возвращению Короленко из Павлова, где он пробыл с 22 апреля по 6 мая 1890 года.

3. На «скупке», происходившей раз в неделю, скупщики принимали от кустарей образцы их изделий и уславливались о цене. За скупкой следовала «приемка», когда кустарь достав-

лял скупщику условленное количество самого товара. Картину скупки, виденную им впервые в декабре 1889 года и произведшую на него очень тяжелое впечатление, Короленко нарисовал в «Павловских очерках» (гл. II, «Скупка, ее логика и ее разговоры»).

4. Бочата — бочки.

5. Началка — канат для причала парохода.

6. Отрывок разговора павловцев, слышанный на пристани или на пароходе.

7. Балчужничать — от слова «балчуг» — рыбный рынок. Очевидно, работа на рыбном рынке.

8. На листке рисунок нищенски одетой женщины. Под ним пометка: «4 мая 1890 г.».

9. Подпись под рисунком мужчины, видимо рабочего, с пометкой: «4 мая 1890».

10. Запись под рисунком мужчины средних лет в рабочем костюме.

14. ДИВЕЕВО, ПОНЕТАЕВКА, САРОВ

Карманная записная книжка в черной клеенчатой обложке (№ по описи 479). На ней бумажный ярлычок с надписью рукою В. Г. Короленко: «Дивеево, Понетаевка и Саров». В правом верхнем углу обложки его же почерком проставлена цифра «7» (вероятно, номер книжки). В книжке 45 листов, пронумерованных редакционной комиссией. Книжка содержит путевые записи, сделанные карандашом, беглым почерком, и карандашный же рисунок, изображающий уходящего по дороге путника в сапогах, с палкой и с перекинутой через плечо сумкой. Содержание книжки стоит в связи с пешеходным странствованием по монастырям, предпринятым Короленко в июне 1890 года. Во время этого странствования он имел при себе, кроме записной книжки, также альбомчик, в котором зарисовал некоторые места и виды. Под многими рисунками имеются подписи и даты. Впечатления этого путешествия доставили писателю материал для рассказов «В облачный день», «Божий городок», «Муза», «Ушел» и для новой главы к «Слепому музыканту», введенной автором в VI издание этого произведения.

Значительная часть записей настоящей книжки осталась, однако, неиспользованной. Возвратившись в конце июня в Нижний-Новгород, Короленко приступил было к описанию своих странствований по монастырям, но работа эта прервалась в самом начале, так как уже 5 июля он отправился в новую экскурсию по рекам Ветлуге и Керженцу. «Нынче я совершил две превосходные экскурсии, — писал он осенью того же 1890 года М. А. Саблину (члену редакции «Русских ведомостей»), — первую по монастырям — сто двадцать верст с посошком и котомочкой по дорогам, по лесам и полям, ночлеги то на чистом воздухе у деревенского трактира, то в монастырских гостиницах, то в деревенской избе. Очень любопытно. Хотел и даже принялся было обрабатывать эти впечатления,

как вдруг по вдохновению махнул на Керженец, и последние впечатления выдвинулись вперед». Эти позднейшие впечатления, захватившие воображение писателя, были тогда же обработаны им в ряде очерков, объединенных под общим заглавием «В пустынных местах» (см. следующую записную книжку). Работа же, начатая ранее, продолжения не получила. Она сохранилась в одной из тетрадей писателя в виде черновой рукописи, озаглавленной: «В Дивеево». Напечатана в томе XVI Полного посмертного собрания сочинений, Госиздат Украины, 1923 г.

Путешествие свое Короленко начал 11 июня 1890 года, причем из Нижнего-Новгорода до Арзамаса проехал на лошадях. Спутницей его до этого города была Мелания Павловна Подсосова (позднее Грацианова), учительница в семье его сестры и впоследствии в его семье. В своих воспоминаниях о В. Г. Короленко, напечатанных в посвященном его памяти сборнике, она рассказывает о том, что на одном из перегонов их вез ямщик, хороший рассказчик, с которым Владимир Галактионович вступил в разговор. Ямщик стал вспоминать старину и рассказал несколько эпизодов из времени крепостного права. «По приезде в Арзамас, на другой день, — пишет М. П. Грацианова, — он дал мне прочитать начало рассказа «В облачный день», где был передан вчерашний рассказ ямщика. Я была удивлена памятью Владимира Галактионовича и тем, что он запомнил все меткие выражения рассказчика и сумел схватить колорит его речи» («Отрывки из воспоминаний», сборник «Памяти В. Г. Короленко», изд. Нижегородского губсоюза, 1923 г.). В архиве В. Г. Короленко сохранилась тетрадь, в которой имеется набросок, заключающий описание пути по арзамасскому тракту в знойный летний день и рассказы ямщика. Под рукописью проставлена подпись автора и дата: 12 июня. Заглавия здесь еще нет. Этот первоначальный набросок — только материал для будущего рассказа, написанного в начале 1896 года и тогда же появившегося в февральской книжке «Русского богатства». Уже после появления рассказа в печати автор подверг его переработке для третьего тома своих «Очерков и рассказов» (изд. «Русского богатства»). Остановкой в Арзамасе, где Короленко провел весь день 12 июня, он воспользовался, чтобы собрать некоторые материалы для ранее задуманной и уже начатой исторической повести «Арзамасская муза». Тема этого произведения внушена была писателю подлинным архивным делом о застрелившемся в 1828 году в Арзамасе ученике академика Ступина (основателя арзамасской художественной школы), Григории Мясникове. Самоубийство талантливого юноши было вызвано невозможностью освободиться от крепостной зависимости. «В Арзамасе, — пишет М. П. Грацианова, — Владимир Галактионович разыскал дом, где жил Ступин, и был глубоко возмущен тем, что изображение музы на стене дома было замазано, потому что она приходилась против церкви, против иконы, и неприличным нашли

оставлять изображение «языческой девицы» против храма. Короленко много расспрашивал о Ступине, разыскивал картины его и его школы...» Повесть «Арзамасская муза», тема которой долго занимала воображение писателя, осталась незаконченной, как и многие другие художественные работы Короленко. Отрывки и варианты к этому произведению напечатаны в Полном посмертном собрании сочинений, т. XVI, Госиздат Украины, 1923 г.

Из Арзамаса Короленко вышел 13 июня и отправился пешком к ближайшей цели своего путешествия: Дивеевскому — Серафимову монастырю в селе Дивееве, Ардатовского уезда. С этого дня начинается ведение записей в печатаемой здесь книжке.

1. С родными Мелании Павловны Подсосовой.

2. Описание сонного Арзамаса с его гусями, которыми славился когда-то этот город, дано в упомянутой выше незаконченной повести «Арзамасская муза».

3. Изложенная здесь легенда и описание «божьих домиков», первоначально введены были автором в повесть «Арзамасская муза». Но впоследствии глава о «божьих домиках» была развита в отдельный очерк, появившийся в 1894 году под заглавием «Божий городок» в «Русских ведомостях» (№ 215). В 1905 году Короленко подверг очерк некоторой переработке для «Нижегородского сборника». В этом переработанном виде очерк появился в 1914 году в Собрании сочинений издания А. Маркса (т. VIII). В дорожном альбоме В. Г. Короленко набросаны рисунки «божьего домика»: один — изображающий его внешний вид, с надписью: «Божий домик (Арзамас, 13 июня 1890 г.) — место казни разинцев в Арзамасе», другой — без подписи, изображающий внутренний вид домика со всеми подробностями.

4. В рукописи следует ряд точек.

5. Дальнейшие записи до 16 июня сделаны по пути в Дивеево и в самом Дивеевском монастыре.

6. Эти и дальнейшие отдельные фразы и отрывки разговоров записаны, судя по почерку, в разное время и в разных местах по пути в Дивеево.

7. Слова старца Серафима, монаха Саровского монастыря (см. о нем ниже, примечание 15-е), считавшегося покровителем Дивеевской женской обители.

8. Часы — часть церковной службы.

9. Вероятно, слова монахини. Может быть, речь идет о материалах для изготовления риз и разных церковных принадлежностей, чем специально занимались дивеевские монахини.

10. Обычная формула приветствия в монастырях. В ответ произносили: «аминь».

11. Слова монахини из ее рассказа, записанного ниже.

12. Четьи-Минеи — произведения русской церковно-исторической и духовно-учительской литературы, в которых по по-

рядку месяцев излагаются повествования о жизни святых православной церкви.

13. Здесь в тексте пробел и значки, какие В. Г. Короленко имел обыкновение ставить, для того чтобы впоследствии заполнить пробел.

14. В субботу 16 июня.

15. В Сарове В. Г. Короленко пробыл день 17 июня. Саровский мужской монастырь в Темниковском уезде Тамбовской губернии принадлежал к числу наиболее посещаемых. Славу этому монастырю создал монах-аскет Серафим, считавшийся «великим подвижником благочестия» и прославший «чудотворцем». При жизни его к нему стекалось много народу, а после его смерти (в 1833 году) продолжалось паломничество на его могилу. Летом 1903 года состоялась торжественная официальная канонизация Серафима. К тому времени относится второе посещение Владимиром Галактионовичем Сарова (см. об этом путешествии «В. Г. Короленко. Избранные письма», изд. «Мир», Москва, 1932, т. I, № 91—97).

16. Случайный спутник Короленко из Дивеева.

17. Здесь в рукописи пропуск и значок, указывающий на намерение автора дополнить это место.

18. Этот незаконченный эскизный набросок слепого звонаря, стоящего на колокольне, находится в дорожном альбоме Короленко. Под эскизом записана фраза: «И согрешаешь: хоть бы, господи, во сне белый свет-отраду повидать, да не дает».

19. Вся эта сцена на колокольне Саровского монастыря послужила Короленко материалом для аналогичной сцены, введенной писателем в 1898 году в шестое издание очерка «Слепой музыкант». В предисловии к этому изданию он писал: «Чувствую, что пересмотр и дополнения к повести, выдержавшей уже несколько изданий, являются неожиданными и требуют некоторого объяснения. Основной психологический мотив этюда составляет инстинктивное, органическое влечение к свету. Отсюда душевный кризис моего героя и его разрешение. И в устных и в печатных критических замечаниях мне приходилось встречать возражение, повидимому, очень основательное: по мнению возражающих, этот мотив отсутствует у слепорожденных, которые никогда не видали света и потому не должны чувствовать лишения в том, чего совсем не знают. Это соображение мне не кажется правильным: мы никогда не летали, как птицы, однако все знают, как долго ощущение полета сопровождает детские и юношеские сны. Должен, однако, признаться, что этот мотив вошел в мою работу как априорный, подсказанный воображением. Только уже несколько лет спустя, после того как мой этюд стал выходить в отдельных изданиях, счастливый случай доставил мне во время одной из моих экскурсий возможность прямого наблюдения. Фигуры двух звонарей (слепого и слепорожденного), которые читатель найдет в главе шестой, разница их настроений, сцена с детьми, слова Егора о снах — все это я занес в свою записную

книжку прямо с натуры на вышке колокольни Саровского монастыря тамбовской епархии, где оба слепые звонаря, быть может, и теперь еще водят посетителей на колокольню. С тех пор этот эпизод, по моему мнению решающий в указанном вопросе, лежал на моей совести при каждом новом издании моего этюда, и только трудность браться снова за старую тему мешала мне ввести его раньше...»

20. В воскресенье 17 июня.

21. В женском Серафимовско-Понетаевском монастыре в Арзамасском уезде Нижегородской губернии, куда Короленко пришел в понедельник 18 июня.

22. Случайные спутницы.

23. Название иконы.

24. Далее одна страничка книжки занята рисунком, изображающим путника. Оборотная сторона ее исписана отрывочными фразами, набросанными беглым, неразборчивым почерком, вероятно, на ходу или, может быть, в полутьме. Это место, за неразборчивостью, не печатается.

25. Под этими строками незаконченный рисунок мужского лица.

26. Дальнейшие отрывочные и местами мало понятные записи сделаны в пути и где-то на ночлеге.

27. Ухвостья — пустые зерна, сор.

28. Имя Мини дано автором одному из двух действующих лиц в рассказе «Ушел» (молодому человеку, жертве сектантского лицемерия). Возможно, что внешние черты его списаны с упомянутого в этой записи неизвестного Мини. Первоначальная черновая рукопись рассказа «Ушел» относится к началу 90-х годов, позднейшая — к 1902 году. Рассказ этот, совершенно почти законченный, при жизни автора в печати не появлялся. Напечатан впервые в томе XVI Полного посмертного собрания сочинений, Госиздат Украины, 1923 г.

29. Может быть, Буренин, критик, сотрудник «Нового времени», весьма неблагосклонно относившийся к творчеству Короленко с самого начала его литературной деятельности.

30. Слово не разобрано.

15. ПО ВЕТЛУГЕ И КЕРЖЕНЦУ

Записи путешествия по Ветлуге и Керженцу заключаются в небольшом продолговатом альбоме для рисования (шифр «Т-10»). На твердом зеленом полотняном переплете с золотым тиснением по углам вытиснено «Album». В альбоме 56 листов, пронумерованных редакционной комиссией. Записи начинаются с конца альбома и занимают 39 листов. Все записи сделаны карандашом, только кое-где есть небольшие вставки пером. Почерк во многих местах неровный, поспешный: видимо, записи делались иногда на ходу или в неудобном положении. Кроме записей, в альбоме имеются карандашные рисунки, изображающие речные виды, незаконченный эскиз парохода, за-

рисовки лиц (с подписью под одним: «Герман Иванович Чачин») и пейзаж с подписью: «Светлояр».

Все записи и рисунки, заключающиеся в альбоме, относятся к экскурсии, которую Короленко совершил с 5-го по 15 июля 1890 года, сначала на пароходе по Волге и вверх по Ветлуге, потом пешком на озеро Светлояр, и оттуда на лодке вниз по Керженцу опять до Волги. Спутниками его в этой экскурсии были двое юношей, племянники его жены, Василий и Сергей Дмитриевичи Чесноковы. По возвращении в Нижний-Новгород писатель обработал свои путевые записи в восьми очерках, объединенных общим заглавием — «В пустынных местах». Очерки эти появились впервые осенью того же 1890 года в «Русских ведомостях». Из переписки В. Г. Короленко с редакцией «Русских ведомостей» видно, что очерки «В пустынных местах» печатались в этой газете со значительными цензурными купюрами. В 1914 году они появились в переработанном виде в «Русском богатстве» (кн. 5-я и 6-я) и в той же новой редакции вошли в Собрание сочинений изд. А. Маркса (т. V). Еще ранее, в 1910 году, второй из очерков «В пустынных местах» был переработан автором и появился под заглавием «На Светлояре» в «Юбилейном сборнике Литературного фонда», Спб. Рукописей очерков в архиве писателя не сохранилось, за исключением нескольких разрозненных страниц.

1. В. Г. Короленко отправился в свою поездку из Нижнего-Новгорода 6 июля. В записной книжке-календаре 1890 года в этот день отмечено: «Уехал в Семеновский уезд».

2. О своей любви к проселочным дорогам и неторопливым пешеходным странствованиям Короленко говорит в рассказе «Ушел»:

«Несомненно, что пароходы и паровозы, вообще усовершенствованные средства передвижения, при всех своих преимуществах имеют один крупный недостаток: они извращают перспективу и, сближая отдельные пункты между собою, удаляют нас от страны вообще. Мчишься в поезде от станции до станции, или на пароходе от пристани до пристани, и страна мелькает мимо с головокружительной быстротой, оставляя впечатление грохота, свиста, дыма, в лучшем случае молчаливого пейзажа, красиво освещенного луной... И где-то там вдалеке еще мерцают огоньки... Но как живут в этих деревнях, куда едет эта телега, промелькнувшая на пыльной дороге, рядом с полотном чугунки, о чем говорят эти мужики, остановившиеся в сумерки перед железнодорожным барьером у будки, в поле, — все это в виде мимолетного вопроса проносится и исчезает... И пока эти мужики доедут на своих тощих лошадках до своей деревни за десять, пятнадцать верст или до базарного села, или пока погаснет на берегу костер, у которого с пароходной палубы вы видели темные фигуры рыбаков, ночующих на отмели, — вы уже будете далеко, в другой местности, с другим характером, с другими людьми и другими ин-

тересами...» «С этой точки зрения страна слишком упрощается и представляется какой-то легкой. Так удобно и так скоро проносятся мимо все эти впадины и горы, деревни, местечки, мосты, подъемы, проселки, переправы... И начинает казаться по обратной ассоциации, что в этих деревнях, поселках, на этих переправах и пыльных дорогах — так же легко, и так же удобно, и так же гладко идет их жизнь... Но стоит сойти с поезда или с парохода — и точка зрения сразу меняется: поезд свистнул и умчался, и исчез из виду, пока вы прошли несколько десятков сажен; пароход завернул за отдаленную гору на повороте реки, пока вы успели взобраться на глинистый откос по крутой тропинке, — а вы остались и чувствуете, что кругом вас начинается что-то другое... Жжет солнце, слепит пыль, жужжат овода и мухи, томит жажда, каждый шаг стоит усилий, так бесконечны поля, так трудны дороги, так озабочены люди, так далека вся жизнь от быстрого движения поезда... И так тяжела кажется эта жизнь бесконечной страны. И столько в ней порой захватывающего и интересного».

3. Эта первая запись, сделанная на ветлужском пароходе, очень близка к печатному тексту начала очерков «В пустынных местах» (очерк первый — «Ветлуга»).

4. Это и следующие записанные здесь местные выражения автор слышал от бурлаков, с которыми провел ночь на палубе ветлужского парохода.

5. Бедко — беда.

6. Растоварился — расторговался.

7. Записанная ниже сказка, слышанная автором ночью на палубе парохода, вошла в главу III первого очерка («На Ветлуге»), где она изложена со значительными (по сравнению с первоначальной записью) сокращениями.

8. Киловяз — знахарь.

9. Потка — птичка.

10. Кратко записанный рассказ плотовщика о лешем, также слышанный ночью на палубе. Рассказ этот получил художественную обработку в III главе первого очерка («На Ветлуге»).

11. Шабер — сосед.

12. Пожня — покос.

13. Набросанная ниже картина вошла полностью в обработанном виде в главу XIV первого очерка («На Ветлуге»).

14. Далее одна строка написана неразборчиво.

15. Запись под 7 июля была впоследствии использована не в очерках «В пустынных местах», а в рассказе «Река играет» (см. гл. VII), в то время еще не законченном. В связи с этим автор позднее перечеркнул эту запись в альбоме (кроме первой строки) и сделал на ней пометки: «Река играет», «Р[усские] В[едомости»], и — «К Тюлину».

16. Тюлин — перевозчик на Ветлуге, уже знакомый автору со времени его второго путешествия на Светлояр летом 1889 года (см. выше, записную книжку 11). Выведен в рассказе «Река играет».

17. В этой записи, перед которой в подлиннике проставлен знак NB, автор возвращается воспоминанием к разговорам на палубе ветлужского парохода, где он слушал ночью сказку и беседовал с бурлаками.

18. Здесь в бегло записанных отрывочных фразах зафиксирован целый рассказ старика-рыболова на берегу озера Светлояра. Рассказ этот составил содержание главы V второго очерка («Светлояр»).

19. Упомянутый здесь Кирилло Самойлов — старик-пчеловод, много лет приходивший как паломник к Светлояру. Религиозная экзальтация его доходила до слуховых и зрительных галлюцинаций: ему слышался звон, как бы доносившийся со дна озера, из невидимого града Китежа, и даже виделся самый Китеж с церквами, монастырями и княжескими палатами (см. легенду о Китеже выше, в примечании к записной книжке № 11). Кирилло Самойлов стал жертвой своей экзальтации: преступники, выдавшие себя за чудесных посланников из Китежа, вывезли его в лодке на середину озера, ограбили там и утопили.

20. Рассказчик называет невидимые церкви невидимого града, в существование которого он верит. В главе V очерка «Светлояр» его слова переданы так: «...Наше, брат, место не простое. Не-ет... Не простое... Тебе вот кажет: озеро, болотина, горы... А существо тут совсем другое. На этих вот горах, сказывают, быть церквам... Этто вон, где часовня, — собор у них стоит Пречистого спаса. А рядом на другом-те холме — Благовещенье. Тут в стары годы береза стояла, так на са-амой, выходит, на церковной главе». На вопрос автора, откуда же это известно, старик ответил: — А от бесноватых, от кликуш. Как, бывало, поведут которую мимо той березы, сейчас они и пойдут выкликать: «Ой, березка-матушка! На церковной главе выросла. Помилуй нас!»

21. Речь идет об отшельниках, «спасавшихся» в вырытых в горах пещерках.

22. Последние слова — выкрики кликуш (см. выше, примечание 19-е).

23. Слова старика-рыболова. В очерке «Светлояр» автор приводит свой диалог с ним после того как старик поймал при нем большого окуня: «...Рыбак снял его с крючка и положил в стоявшее рядом берестяное ведерко. Вид у старика был довольный. Я невольно засмеялся. Он посмотрел на меня, тоже слегка улыбнулся и спросил: — Чего ты?.. не надо мной ли, дураком? — Нет, дедушка. А только подумалось мне чудное... — А что же, милай? — Ведь озеро-то... одна видимость?.. — Ну-ну... — И воды тут нет, а есть дорога и главные ворота?.. — Это верно. — Так как же, вот, окунь-то? Выходит, и он только видимость. — Поди ты вот... А? — сказал он с недоумевающей благодушной улыбкой. И потом прибавил: — А мы-то, дураки, жарим да кушаем».

24. В 1888 и 1889 годах,

25. Все содержание этой записи повторяется в очень близком изложении в очерке II — «Светлояр».

26. Слова рыболова на Светлояре.

27. В следующей ниже записи автор возвращается к моменту своей встречи со стариком-рыболовом, с намерением дать изложение своей беседы с ним (только намеченной ранее в отрывочных фразах). Изложение это обрывается, однако, в самом начале.

28. Тюлин-перевозчик весьма беспечно относился к способам переправы. Неудобства беспечности автор испытал и на себе летом 1889 года (см. «Река играет»).

29. Пропуск у автора. Как видно из дальнейшего, путешественники приехали в село Покровское.

30. Вся следующая ниже запись, представляющая собою рассказ хозяйки, составила в обработанном виде содержание очерка III — «Приемыш». Очерк этот неоднократно выходил отдельными изданиями.

31. Против этого места, в правом верхнем углу страницы написано без связи с содержанием записи: «150 лож[ек] когда усидю».

32. Повидимому, это настоящие имена хозяев, у которых Короленко останавливался в Покровском.

33. Ночь с 9-го на 10-е автор провел вместе с рыболовом-хозяином на реке. Впечатления этой ночи, не отмеченные в записной книжке, описаны в очерках «В пустынных местах» (очерк IV, «На сеже»).

34. Содержание этой записи — путь до Меринова, посещение старообрядческого кладбища и разговоры со встречными рыбаками — использовано в очерке V: «По Керженцу — Городинка» («В пустынных местах»).

35. К старообрядческому Оленевскому скиту. Подробное описание пути к Оленеву сделано автором ниже.

36. Казимир Матвеевич Язевский — казенный лесничий, с которым автор познакомился в Хахалах. Короленко говорит о нем в очерке VII («Ночная буря. — Лесные люди»), причем называет его там Казимиром Казимировичем. Кто такой Н. В. Шаланин, выяснить не удалось.

37. В этой записи автор возвращается к части пути до Хахал и к посещению им скита.

38. Оленевский раскольничий женский скит подвергся жестокому разорению в конце царствования Николая I. В то время, к которому относится путешествие В. Г. Короленко, в Оленеве существовал еще женский старообрядческий монастырь, в котором доживали старые монахини. Попасть в самый монастырь Короленко не удалось: «...Мне надо было приехать сюда с колокольцами или прийти с старой формулой древлеблагочестивого привета... — пишет он в очерках. — И в том, и в другом случае скит встретил бы меня радушно, как сильного врага или как союзника... Но я не пришел ни с тем, ни с другим. Я принес с собою только наблюдательность, и скит

холодно замыкался передо мною, быть может чувствуя во мне именно то новое, третье, которое идет на старую веру... И «быша последняя горше первых...» (очерк VI: «По Керженцу. В Оленевском скиту и у «единоверцев»).

39. На этом запись о посещении Оленевского скита обрывается. Подробное изложение разговора с мужиком дано в упомянутом VI очерке «В пустынных местах».

40. В этой отрывочной записи бегло отмечен разговор с монахом в Керженецком (Благовещенском) единоверческом мужском монастыре. В момент посещения его автором настоятель был в отъезде, все же монахи находились, по выражению одного из них, «ни в живых, ни в мертвых», то есть в состоянии тяжелого похмелья. Подробное описание посещения этого монастыря, где автор рассматривал старинные иконы из старообрядческих часовен, дано в очерке VI, глава II («В пустынных местах»). Первоначальная редакция этой главы («Русские ведомости», 1890 г.) короче. Некоторые подробности посещения монастыря были введены автором в печатный текст в новой редакции очерков «В пустынных местах» (в 1914 г., изд. А. Маркса).

41. «Столпом» на славянском языке называется знак. Столповые знаки — те, которыми пользовались в нотных книгах раннего периода истории русского церковного пения.

42. Содержание этой и нескольких дальнейших записей вошло в очерк VII («Ночная буря.—Лесные люди») («В пустынных местах»).

43. Лыково-Никольское — небольшое село на левом берегу реки. «Оно стоит на границе обитаемой части Керженца, — говорится в очерках. — Далее до самой Волги нам встретятся лишь избушки угольщиков да кордоны лесной стражи...» «Отдохнув и напившись чаю, мы ровно в полдень опять уселись в лодку, и она понесла нас по длинному прямому плесу. Домики Лыкова скрылись из виду. Теперь только одинокий кордон на речке Пугае да перевоз Красного Яра у самой Волги предстоят нам на всем протяжении трех дней и двух ночей нашего плавания до устья. Опять пустыня, безлюдье и шорох леса по обеим сторонам реки» (очерк VII).

44. Отрывочные фразы этой записи относятся к разговору с медвежатником Андреем Федотовым (названным в очерках Аксеном). Он встретился путникам сначала на реке, а затем поджидал их в лесу на ночлеге. Личности и рассказам Аксена уделено много места в очерке VII («Ночная буря.—Лесные люди»). Настоящая запись сделана на самом месте ночлега, у костра.

45. Фраза не докончена. В печатном тексте стоит: «...Взял кусок... так нет — и кусок не лезет; что мои друзья не едут, что не едут...»

46. Речь идет об охоте на медведей.

47. Слова того же медвежатника. Речь идет о введенном тогда в тех местах повышенном налоге на колоды для пчел,

поставленные в казенном лесу. Не желавшие платить налог, должны были убрать свои колоды. Гарь — горелый лес, рамень — бор. В этих местах всегда много цветов, нужных для сбора меда.

48. В этой записи автор возвращается мыслью обратно ко времени выезда из Лыкова.

49. Мужичок, о котором идет здесь речь, — все тот же медвежатник Андрей Федотов (Аксен).

50. Набросанная в этой записи картина, виденная автором в конце его пути по Керженцу, вошла в VIII, последний из очерков «В пустынных местах» («На кордоне. — Лесная пустыня. — Волга!»).

51. Несколько слов не разобрано.

52. Эта запись, стоящая в связи с записью от 6 июля (сказка чуваша на палубе ветлужского парохода), — последняя в дорожном альбоме 1890 года. Записи, относящиеся к окончанию путешествия, сохранились на листках, вырезанных автором из записной книжки. См ниже.

16. ЛИСТЫ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 1890 ГОДА.

Записи карандашом на пяти листах, вырезанных автором из записной книжки среднего формата (№ по описи 481).

1. Фраза не дописана.

2. После этой фразы пробел и значки, указывающие на намерение заполнить впоследствии это место.

3. В очерке VIII («На кордоне — Лесная пустыня. — Волга!») автор описал свою остановку на кордоне в избе лесника и разговор с его женою, огорчавшейся тем, что ее мужу приходится вести борьбу с бедняками, порубщиками леса.

4. Фраза не дописана, и после нее пробел.

5. «Шум» — падь под колесом водяной мельницы.

6. Лысково — село на Волге, близ впадения Керженца. Отсюда В. Г. Короленко со своими спутниками доехал до Нижнего-Новгорода на пароходе. В записной книжке-календаре 1900 года отмечено под датой 15 июля: «Утром вернулся с Керженца».

7. Досчаник — барка.

8. Канувино — местность на левом берегу Оки, против Нижнего-Новгорода.

17. ГОЛОДНЫЙ ГОД.

Записная книжка-календарь на 1892 год, изд. Риккера в Петербурге (шифр редакционной комиссии «М. 136»). На коричневой полотняной обложке вытиснено золотыми буквами: «1892. Записная книга», и чернилами, рукой В. Г. Короленко проставлена цифра «V». Его же рукою написано на наклеенном на обложке листке бумаги: «В голодный год». Ниже следует авторский же подробный перечень содержания. В книжке 448 печатно пронумерованных страниц; кроме того в ней имеется

ненумерованных и недатированных — в начале десять листков и в конце — тринадцать. Из пронумерованных 43 страницы в начале книжки и 33 в конце заняты печатным текстом, обычным для записных книжек. Записи в книжке ведутся под печатными датами. В случае, когда подневная запись не помещается на предназначенной для нее странице, она переносится с соответствующей ссылкой на другую, свободную страницу. Все записи ведутся чернилами, лишь иногда встречается небольшая запись, сделанная карандашом. Кроме подневных записей, в книжке имеются, в начале и в конце ее, на непронумерованных листках записи чисто справочного характера: отметки о почтовых днях в Лукоянове, о базарных днях в разных деревнях Лукояновского уезда, денежные счета и тому подобное. Содержание настоящей записной книжки послужило материалом для очерков В. Г. Короленко «В голодный год».

Записи, заключающиеся в книжке, сделаны были писателем во время его работы в 1892 году среди голодающих в Лукояновском уезде Нижегородской губернии. Об этой записной книжке В. Г. Короленко говорит, что она содержит «факты, картины, мысли и впечатления, которые я, усталый и порой глубоко потрясенный всем, что доводилось видеть и чувствовать за день, заносил вечером, по старой профессиональной привычке, в эту истрепавшуюся дорогой книжку где-нибудь в курной избе, в гостинице уездного города, в помещичьей усадьбе...» «Это прямое отражение той самой жизни, которая со всеми своими парадоксами проходила перед моими глазами» («В голодный год», Собрание сочинений, изд. А. Маркса, т. V, стр. 3). Вспоминая много лет спустя о голоде 1891—1892 годов, поразившем, после трех лет неурожая, все Среднее Поволжье, Короленко писал: «...В то время я жил в Нижнем-Новгороде, и Нижегородская губерния была одна из голодающих. Я решил побывать на местах, присмотреться к бедствию и поместить ряд статей о голоде...» «Задача при наших порядках была не легкая. Земледельческое население покорно и тупо несло свою долю, а правительство заботилось только о том, чтобы «агитаторы из городов» не попытались разбудить его от дремоты. Я был на плохом счету, а неблагонадежным людям не легко было даже проникнуть в голодающие местности. Губернатор Баранов, тогда ко мне довольно благожелательный, предупреждал меня, что я рискую доносами и высылкой, а когда я настоял на своем желании, — то он вынужден все-таки был послать за мной специального соглядатая...» («Земли! Земли! (Наблюдения, размышления, заметки)», гл. IV; «Голос минувшего», 1922 г., № 1, июнь).

Решив совместить две задачи: работу наблюдателя и практическую работу помощи голодающим, Короленко избрал местом своей деятельности глухой Лукояновский уезд. Здесь сельское население находилось в наиболее тяжелом положении, так как местные земские начальники, убежденные крепостники, упорствовали в отрицании голода. Сокращая по про-

изволу выдававшуюся крестьянам казенную ссуду, они ставили преграды и частной благотворительности.

С первого же дня своего выезда в Лукояновский уезд (25 февраля), куда В. Г. Короленко отправился, имея при себе около тысячи рублей пожертвованных денег и открытый лист от Нижегородского благотворительного комитета, он стал вести подневные записи. В первоначальной обработке записи эти, из которых составился ряд очерков, печатались под заглавием «По Нижегородскому краю» в «Русских ведомостях» 1892 г. (№№ 116, 124, 131, 145, 155, 169, 183, 206, 246, 259, 319, 340) и в 1893 г., № 9. В следующем, 1893 году очерки появились в переработанном и дополненном виде под заглавием «В голодный год» в журнале «Русское богатство», №№ 2, 3, 5, 7. В том же году они вышли отдельной книгой в издании «Русского богатства». Книга эта едва не погибла по доносу цензора Позняка, усмотревшего в ней революционную опасность (см. об этом очерки «Земли! Земли!», глава IV, «История одной книги»). В дальнейшем книга «В голодный год» выдержала семь отдельных изданий и вошла в 1914 году в Собрание сочинений, изд. А. Маркса, т. V. В каждое последующее издание автор вносил различные дополнения и поправки, преодолевая по возможности цензурные препятствия. Особенно существенные дополнения внесены были в 1907 году в шестое издание в связи с временным смягчением цензурных требований.

В дополнение к печатаемой здесь записной книжке см. также письма В. Г. Короленко, относящиеся к тому времени («Избранные письма», т. II, изд. «Мир», Москва 1933 г.).

1. Знак вопроса у автора.

2. Выведен в очерках «В голодный год» под именем Потапа Ивановича Семенова. См. разговор с ним в главе первой. Здесь и далее все ссылки делаются по Собранию сочинений изд. А. Маркса, т. V, 1914 г.

3. О Бронском см. «В голодный год», гл. II.

4. Подсосовы — родные Мелании Павловны Подсосовой, нижегородской знакомой семьи Короленко. См. о ней выше, ненумерованное примечание к записной книжке 14.

5. Кого автор разумеет под инициалами И. В., выяснить не удалось.

6. Алфераки — управляющий контрольной палатой в Нижнем-Новгороде. О нем Короленко говорит, что, побывав в Лукояновском уезде и вернувшись, Алфераки передал губернатору, что в уезде все благополучно: «веселятся, пьют, покупают наряды, а ссуда тратится государством совершенно напрасно» («В голодный год», гл. III).

7. Ступин Александр Васильевич (1775 — 1861) — художник, основатель художественной школы в Арзамасе. В. Г. Короленко собирал материалы о нем и о его школе в связи с работой над повестью «Арзамасская муза». См. об этом выше, ненумерованное примечание к записной книжке 14.

8. Так у автора.

9. См. разговор с ним в главе II очерков «В голодный год». Здесь он носит имя Брыкалова.

10. «Сельский вестник» — еженедельная газета, издававшаяся при «Правительственном вестнике» с 1881 года. Волостным правлениям «Сельский вестник» рассылался бесплатно.

11. О Николае Дмитриевиче Валове, ставленнике лукояновских земских начальников, ими же позднее опозоренном и ложно обвинявшемся в злоупотреблениях по должности, В. Г. Короленко говорит в главе III очерков «В голодный год».

12. Майдан — по-украински значит площадь, место. Здесь майданами назывались села. Об этих селах и их жителях, отличавшихся от остального населения говором и одеждой, см. главу XVI очерков «В голодный год».

13. Вероятно, здесь имеется в виду переписка по делам «Общества драматических писателей и оперных композиторов», агентом (представителем) которого состоял В. Г. Короленко в Нижнем-Новгороде с 1889 до 1895 года. На время своего отсутствия он поручал ведение дел общества своему брату, И. Г. Короленко.

14. В письме к жене от 3 марта 1892 года с Белецкого хутора Короленко сообщает: «Приехал я сюда вчера поздно вечером вместе с хозяином Петром Адриановичем Гориновым. Он, впрочем, только управляющий, из купеческой семьи, человек очень хороший, добрый и отзывчивый». В очерках «В голодный год» Короленко упоминает о существенной помощи, оказанной ему П. А. Гориновым в его практической работе.

15. Борис Федорович Филатов, член суда по Лукояновскому уезду, находился в оппозиции к земским начальникам и принимал участие в устройстве столовых для крестьян.

16. Костин Н. Ф., земский начальник (о нем см. ниже). О Сахарове и Яшеровых сведений не имеется.

17. Короленко послал 2 марта письмо редакторам «Русских ведомостей», А. С. Посникову и В. М. Соболевскому, в котором писал: «...Видел уже кое-что интересное, надеюсь увидеть еще более и вскоре поделюсь виденным. А пока, будьте добры, напечатайте прилагаемый отчетец и... если можно, денег, денег! Подходит весна, а лукояновские воротилы отказались от ассигнованного им дополнительного пособия в 50 000 рублей, чтобы настоять на своем. Что тут будет дальше — и сказать трудно. Частные столовые тормозятся всячески, но я вооружен открытым листом от Нижегородского благотворительного комитета и губернатора. Итак, ради бога, если можете — пришлите, и главное — не долго собирайтесь с ответом, мне нужно знать, на что я могу рассчитывать, соответственно с этим я и поведу дело» (см. «Избранные письма В. Г. Короленко», т. II, № 9, изд. «Мир», М. 1933).

18. Кто такая Александрова, выяснить не удалось.

19. О составлении списков в Елфимове см. главу IV очерков «В голодный год».

20. Библия, книга пророка Иезекииля, глава XVIII.

21. О составлении списков в селе Пичингушах см. главу IV очерков «В голодный год».

22. См. на тему о милостыне главу XV («Христовым именем») очерков «В голодный год».

23. Приклонский Александр Васильевич, председатель уездной земской управы. См. о нем ниже, запись под 7 марта.

24. Пушкин Анатолий Львович, племянник поэта, лукояновский земский начальник. См. о нем ниже, запись под 7 марта.

25. Быть может, это Павел Иванович Кудрявцев, заведующий Ушаковским хутором.

26. Евдокия (Авдотья) Семеновна Короленко, урожденная Ивановская (род. в 1855 г.) — жена писателя. Упомянутое здесь письмо от 3 марта 1892 года см. в книге «Избранные письма», т. II, № 10.

27. Земскому начальнику А. Л. Пушкину. Черновик написан бегло, со множеством исправлений и вычеркнутых строк.

28. Нижегородский губернский благотворительный комитет возник в декабре 1891 года в целях оказания помощи голодающему крестьянству. Параграф 7 устава рекомендовал «постоянное общение и живое ознакомление с ходом дел на местах». В выработке устава благотворительного комитета принимали участие В. Г. Короленко и Н. Ф. Анненский. Подробно о деятельности Короленко в Нижегородском благотворительном комитете см. статью А. Свободова: «Короленко в Нижегородском комитете помощи голодающим», сборник «Памяти В. Г. Короленко», изд. Нижегородского губсоюза, 1923.

29. Починки — заштатный город. См. о нем главу VI очерков «В голодный год».

30. Пробел у автора, намеревавшегося, вероятно, сделать вставку в этом месте.

31. Рассоха — раздвоенная соха.

32. Александр Иванович Гучков (1862—1934) — сын богатого московского заводчика. В то время был слушателем Берлинского университета; приехал из-за границы для оказания помощи голодающему населению. Впоследствии — октябрист. В 1917 году — военный и морской министр Временного правительства. После Октябрьской революции эмигрировал. Брат его, Николай Иванович, впоследствии московский городской голова, приезжал в Лукоянов только на несколько дней.

33. Объясняется это тем, что в то время, под давлением огромного бедствия, правительство, пытавшееся в начале замолчать голод (самое слово это сперва запрещено было в печати), переменило курс. В Петербурге с конца 1891 года основан был «Особый комитет помощи голодающим» под председательством наследника (будущего царя Николая II). В декабре 1891 года появилось сообщение этого комитета, в котором, как пишет Короленко, «среди других, порой довольно противоречивых положений, выставлялось между прочим начало, что «деятельность лиц, посвятивших себя, по чувству христианской

любви к ближним, делу помощи нуждающимся, отнюдь не должна быть стесняема» («В голодный год», гл. VII, стр. 73).

34. О Философове см. главу IX (стр. 95) очерков «В голодный год», где Короленко набрасывает, между прочим, такой его портрет: «М. А. Философов, человек еще молодой и необыкновенно толстый, прекрасная иллюстрация «сытости, не понимающей голодных». «Лицо у него было невыразительное, заплывшее, пожалуй, добродушное».

35. Запись, начатая на листке 7 марта, касается и событий последующих дней.

36. Здесь имеется в виду заседание Лукояновской уездной продовольственной комиссии 7 марта, на котором М. А. Философов отказался от звания председателя. На заседании этом выяснилось непримиримое отношение лукояновских дворян к требованиям, исходившим от «губернии», и враждебное отношение лично к губернатору Баранову, на которого лукояновцы посылали доносы. Описание заседания 7 марта заключается в главе IX очерков «В голодный год».

37. Письмо к Е. С. Короленко от 9 марта 1892 года, с описанием некоторых моментов заседания 7 марта («Избранные письма В. Г. Короленко», т. II, № 12, изд. «Мир», Москва).

38. Против этой записи, содержание которой вошло в главу IX очерков «В голодный год», имеется на полях записной книжки пометка автора: «Помнить Марию Сироткину, Лукоянов, Бревенный ряд, у Дм. Попунова».

39. Штевен — земский начальник одного из соседних с Лукояновским уездов.

40. Порфирий Гаврилович Бобоедов. Держался иной системы, чем остальные земские начальники, и выдавал в своем участке ссуду без урезок. Костин был назначен на его место губернатором Барановым.

41. Полковник Рутницкий, уполномоченный от петербургского «Особого комитета», объезжал уезд, чтобы ознакомиться на местах с распределением хлеба, отпущенного комитетом.

42. О деятельности земского начальника и судьи С. Н. Бестужева, совершавшего растраты, бросившего все делопроизводство в хаотическом состоянии и скрывшегося в Москву, см. главу XVI очерков «В голодный год».

43. На этой недописанной фразе запись обрывается. К описанию заседания в Лукояновской уездной продовольственной комиссии автор в записной книжке более не возвращается.

44. Александр Васильевич Баженов, председатель Нижегородской губернской земской управы.

45. О детях в голодный год Короленко подробнее пишет в главах IX и X очерков «В голодный год». См. также ниже, запись под 16 марта.

46. О К. И. Аргентове и С. А. Давыдовой сведений не имеется.

47. Изложенное здесь о Василевом Майдане доставило Короленко материал для главы X очерков «В голодный год».

48. На заседании Лукояновской продовольственной комиссии 7 марта. См. об этом выше.

49. Николай Николаевич Фрелих (1864—1905), нижегородский присяжный поверенный, участник революционного движения. В 1898 году ссылался в Сибирь на четыре года. По возвращении из ссылки в 1903 году жил снова в Нижнем-Новгороде, где и умер.

50. Николай Михайлович Сибирцев (1860—1900), известный почвовед. Заведывал в 1883—1892 годах Нижегородским естественно-научным музеем. Впоследствии профессор Ново-Александрийского сельскохозяйственного и лесного института. Приезжал в Лукояновский уезд в качестве уполномоченного губернского земства.

51. Ленивцев Николай Михайлович, земский начальник Семеновского уезда.

52. Жедринский Николай Николаевич, помощник Н. М. Ленивцева.

53. Письмо датировано 13 марта. В нем Короленко писал: «...До сих пор открыл только две столовые, это конечно не много, но это потому, что пока еще не огляделся. Теперь дело пойдет гораздо скорее, помеха только за распутицей». «...Завтра пускаюсь в путь, не заботясь о том, есть ли в селе кто-нибудь для заведывания. Намерен обратиться к самим крестьянам и руководиться их выбором. Уверен, что дело пойдет хорошо» («Избранные письма», т. II, № 14, изд. «Мир»). В дальнейшем В. Г. Короленко открыл в разных деревнях уезда шестьдесят столовых.

54. Косткин — нижегородский помощник полицмейстера, Лебедев — чиновник особых поручений. Косткин приезжал в Лукояновский уезд под вымышленным предлогом проверки пожарных средств в деревнях и селах. В действительности же приезд его стоял в связи с доносами на Короленко лукояновских земских начальников. О Косткине Короленко писал: «В Нижнем он слывет настоящим Лекоком, и однажды я имел сомнительное удовольствие видеть его у себя с понятыми. На сей раз нижегородский Лекок кланяется мне довольно любезно. Мы понимаем друг друга: талантливый «исследователь» найдет всегда то, что нужно начальству. В другое время он мог бы, разумеется, причинить мне неприятности, и я даже не знал бы, что именно обо мне написано. Но теперь, по доносу лукояновских деятелей, воюющих с губернатором, — результаты «негласного дознания» могут быть только в мою пользу... Тем более, что, по слухам, доносы эти поддерживаются жандармским генералом, а с ним Н. М. Баранов тоже не в ладах. Обмениваясь утешительными мыслями о том, как иногда спасительны для партикулярного русского человека распри между начальствующими персонами, — мы едем дальше...» («В голодный год», гл. IX).

55. Встреча с этими мальчиками в избе ямщика в Салдамоновом Майдане доставила автору материал для сцены, описан-

ной в начале главы XV очерков «В голодный год» («Христовым именем»).

56. Крестьянин хочет сказать, что перевешивали хлеб, а в книгах, в списках разыскали его семью. Записанный здесь разговор вошел в главу XI очерков «В голодный год».

57. Посещение Шутилова описано в главе XII очерков «В голодный год».

58. Губернатор Баранов сменил исправника Рубинского, о котором Короленко писал: «Рубинский своего рода лукояновская достопримечательность. Это даже не человек, а целая программа! Старый полицейский служака — весьма распространенного типа, до мозга костей проникнутый известной формулой «все благополучно», видавший всякие виды, судившийся и осужденный (кажется, даже не однажды) между прочим и за превышение власти и не дающий потачки мужику, на которого смотрит конечно как на сплошного пьяницу и лентяя, — он органически неспособен был выносить никогда еще не виданного зрелища: «пьяницу и лентяя» собираются кормить; говорят, у него, исправника, в уезде — голод и болезни. Как, — значит, исправник допустил!.. Значит, у исправника неблагополучно? И у старого полицейского служаки зачесались руки. Голод, болезни!.. Пусть только дадут исправнику волю, — он ему (пьянице и лентяю) покажет лечение! Перепороть полуезда («так бывало у нас в старину») — и голод как рукой снимет!» («В голодный год», глава III, стр. 36).

59. Железнов — один из самых жестоких, крепостнически настроенных земских начальников Лукояновского уезда. Был уличен также в растратах.

60. Позднейшая приписка, сделанная карандашом.

61. Петровка — деревня с сильно распространенным среди жителей сифилисом. Описана в главе XIII очерков «В голодный год».

62. Знак вопроса у автора.

63. По поводу посещения деревни Петровки Короленко пишет в своих очерках: «Впоследствии в том же Лукояновском уезде я натыкался не раз на другие деревни, напоминавшие Петровку, и можно сказать определенно, что никто ничего не делает для их спасения. Между тем назовите мне другую болезнь, которая бы в такой же мере настоятельно, повелительно, неизбежно призывала на борьбу с собою...» «У нас сифилис потому, что мало грамотных, потому что много суеверия, потому что на дурную боль народ все еще смотрит, как на какого-то демона («она, боль-те лукавая») и боится ее, как злого духа, не боясь в то же время, как простой заразы. У нас сифилис потому, что мало жизнедеятельности и много апатии в обществе, потому что мы остановились; и вот глупцы кричат уже о перепроизводстве интеллигенции, когда эти темные деревни изнывают без света и помощи, как будто в самом деле остановилось вращение здоровых соков в нашем общественном организме...»

64. О посещении Кирлейки говорится в главе XIV очерков «В голодный год».

65. Жена управляющего земским хутором, А. Ф. Чеботарева.

66. О Рахманове Короленко говорит в очерках: «...Здесь живет врач Рахманов, который поселился в деревне, чтобы кормить и лечить. Этого достаточно, чтобы г. Рахманов прослыл в уезде «врачом-толстовцем». Счастливое, право, это «направление», но тем меньше чести нашей современной действительности, где такие факты нуждаются в особом «направлении» для своего объяснения» («В голодный год», гл. XIV).

67. А. Ф. Чеботарев, управляющий земским хутором.

68. Названные здесь лица — местные благотворители. Подробных сведений о них не имеется.

69. Рассказ Г. И. Успенского «Чудак-барин».

70. Обтяжнов, Владимир Дмитриевич, бывший земский начальник Горбатовского уезда, ретроград и карьерист, несколько подлаживавшийся к временному новому курсу. Губернатор Баранов назначил его председателем Лукояновской продовольственной комиссии на место ушедшего М. А. Философова. Впоследствии Короленко писал о скандальной деятельности Обтяжнова, в качестве ревизора Горбатовской управы покрывшего растраты («Русская мысль», 1893 г., кн. I—«Текущая жизнь», и кн. 7—«Покрывать или раскрывать растраты»). См. о нем также статью «Третий элемент», Собр. соч., изд. А. Маркса, т. II, и книгу «В. Г. Короленко. Воспоминания о писателях», изд. «Мир», Москва 1934.

71. Из письма В. Г. Короленко к жене (см. «Избранные письма», т. II, № 15, изд. «Мир», 1933). Здесь письмо это воспроизведено автором не с полной точностью.

72. Александра Никитишна Анненская (1840—1915), писательница для детей и переводчица, жена Н. Ф. Анненского, известного статистика, журналиста и общественного деятеля, близкого друга В. Г. Короленко, впоследствии его товарища по редакции журнала «Русское богатство». В то время Анненские жили в Нижнем-Новгороде.

73. Татьяна Александровна Криль (позднее Богданович), (род. в 1874 г.), племянница и воспитанница Анненских, в то время курсистка, впоследствии писательница. Работала в 1892 году по оказанию помощи голодающему населению.

74. Вероятно, Н. М. Сибирцев.

75. Исправник Апрянин, назначенный губернатором Барановым на место смещенного Рубинского. См. о нем гл. IX очерков «В голодный год».

76. Жертвовательница из Харькова.

77. О посещении Дубровки см. гл. XVII очерков «В голодный год».

78. Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергиев, 1829 — 1907) — протоиерей Андреевского собора в Кронштадте, слывший целителем-чудотворцем. В. Г. Короленко, знавший его

лично во время своей ссылки в Кронштадте (1876—1877 гг.), впоследствии с любопытством следил за его карьерой. В своих дневниках он собирал газетные материалы о нем, иногда под ироническим заголовком: «Святой конца XIX века» (см. «Дневники», тт. II, III, IV, Госиздат Украины)

79. Николай Павлович Александров, управляющий одного из ближних хуторов.

80. О посещении Кандрыкина см. главу XVII очерков «В голодный год».

81. А. А. Демидов, председатель Васильской уездной земской управы (см. о нем главу VIII очерков «В голодный год»).

82. П. П. Зубов, васильский предводитель дворянства. (См. о нем предисловие к очеркам «В голодный год».)

83. Описанная здесь сцена, как и все относящееся к посещению Малиновки, доставило автору материал для главы XVII очерков «В голодный год».

84. Против двух последних абзацев на полях книжки написано: «А не будет ли налогу на общество?»

85. Василий Антонович Курдюмов, управляющий имением князя Кочубея «Новая слобода?»

86. Посещение Пралевки описано в главе XVIII очерков «В голодный год». О впечатлениях, испытанных им в этой деревне, Короленко вспоминает и в очерках «Земли! Земли!» (глава IV).

87. Сцена эта вошла в главу XVIII очерков «В голодный год».

88. Утлый — хилый, калека.

89. Л. Н. Толстой работал среди голодающих в 1892 году. Здесь Короленко говорит о его статье «Как помочь голодающему населению».

90. Описание посещения Логиновки в очерки «В голодный год» не вошло. Там автор упоминает об этой деревне в главе XVIII только в нескольких словах: «Передо мною Логиновка — конец кочубейства. Опять списки, опять, только в смягченном виде, те же картины...»

91. Тетрадь эта в архиве В. Г. Короленко не сохранилась.

92. О том, как созрело его решение ехать в Нижний-Новгород, автор пишет в главе XVIII очерков «В голодный год»: «Поздним вечером, среди тьмы и мятели, я возвращался в Кочубеевскую слободу. Снег, невидимо откуда, летел над полями, шумел ветер, то подхватывая где-то в стороне голые ветви невидимых деревьев, то теряясь в широкой степи. Зги не было видно, даже небо нависло сплошной непроницаемой мглою, без звезд и просвета... Мой доброжелатель ямщик молчал, внимательно вглядываясь в дорогу, а я одиноко обдумывал и переживал вновь все, что пришлось видеть и чувствовать в эти последние дни... Впечатление такой же, как эта ночь, глухой тьмы, все сгущалось, сопровождая эти воспоминания... Я чувствовал какую-то роковую ошибку, какую-то скрытую ложь своего положения, которая лишала меня преж-

ней уверенности и спокойствия. То ли я делаю, что надо, дразня своими крохами эту толпу и давая ей заведомо неисполнимые советы? Понемногу мои мысли принимали все более определенное направление. Нет, так больше нельзя... Я думал о том, какое огромное дело государственная помощь и как ничтожны в сравнении с нею наши благотворительные крохи... И я решил, что необходимо обратиться к кому-нибудь, кто может изменить все это, кто может вырвать судьбу изголодавшегося народа из враждебных рук политиканствующего крепостничества».

93. О Вишняковой сведений не имеется.

94. О докладе врача Мариенгофа в заседании Лукояновской продовольственной комиссии 7 марта см. главу IX очерков «В голодный год».

95. Пале-Рояль — дворец в Париже, выстроенный в XVII веке. Во время Великой Французской революции был одним из центров политической агитации.

96. Нижегородский губернатор, генерал-лейтенант, Николай Михайлович Баранов (1837—1901), бывший моряк (см. примечание 21-е к записной книжке 7), а по выходе из морской службы — петербургский градоначальник с 1881 года, затем губернатор виленский, астраханский и, наконец, с 1883 по 1897 год — нижегородский. Колоритная фигура генерала Баранова, администратора-авантюриста, постоянно стремившегося играть первую роль в жизни края, привлекала в течение долгого времени внимание В. Г. Короленко. Он посвятил ему много записей в своих нижегородских дневниках, много упоминаний в книге «В голодный год», а позднее, уже после смерти Баранова, написал о нем статью «Покушение на генерала Баранова в 1890 году» (см. Собр. соч., изд. А. Маркса, т. IX) и набросал его портрет в статье «Третий элемент» (т. II, того же издания). Здесь он говорит о нем: «...Это был человек блестящий, неглубокий, но энергичный, решительный, готовый на всякий риск, если это могло обратить на него внимание, настоящий игрок по натуре, сделавший ставкой карьеру. Он живо чувствовал, что времена наступают переменчивые, что самодержавие дало трещину и почва под «существующим строем» колеблется. Нетерпеливый и нервный, он предвидел, что в такие времена для людей даровитых и умеющих рисковать предстоят интересные шансы, и готовился. Предчувствие его в общем было верно. Он ошибся только в сроке и уже заранее с циничной откровенностью вел игру на два фронта...» Во время голода 1891—1892 годов генерал Баранов стоял вначале на точке зрения лукояновских земских начальников, отрицавших голод, но затем круто переменил свои взгляды и перешел на сторону «кормления» (см. предисловие автора к очеркам «В голодный год»). В результате этой перемены возник резкий конфликт между губернатором и уездом».

97. Доклад о положении дел на местах, повторенный затем Короленко в Благотворительном и Продовольственном ко-

митетах и напечатанный в «Русских ведомостях» (№№ 93 и 97 за 1892 год) под заглавием: «Поездка в Лукояновский уезд, Нижегородской губернии (доклад, читанный в заседании Продовольственной комиссии)». Об этом своем докладе Короленко писал: «В докладе этом по существу было не много нового. Уже ранее ревизия И. П. Котлубицкого, которого сопровождал опытный статистик Д. И. Зверев, вскрыла непривлекательные стороны лукояновской системы. Такие же сведения давали А. И. Гучков и г-жа Давыдова. Мой доклад явился, однако, последней каплей, переполнившей чашу. К тому же он совпал с драматическим моментом междуусобной борьбы губернии и уезда. Как раз в это время в борьбе этой соблаговолил принять участие князь Мещерский. В своем «Гражданине» он разразился статьей против И. П. Котлубицкого и против самого генерала Баранова, который, по мнению сиятельного публициста, «выдумал голод в Нижегородской губернии» из каких-то личных видов. Лукояновские земские начальники объявлялись, наоборот, истинными слугами царя, а лучшим из них выставлялся наш добрый знакомый, беспечный земский начальник VI участка, С. Н. Бестужев. Генерал Баранов был задет и взбудоражен...» «После моего доклада, совпавшего с выходками кн. Мещерского, он заявил, что признает свою вину. Но не в том, что якобы выдумал голод, а в том, что допустил гг. лукояновцев так долго применять свою систему. В этом он кается и налагает на себя эпитимию: немедленно он отправляется в Лукояновский уезд, чтобы убедиться в положении дела на месте» («В голодный год», глава XVIII).

98. Ершов — врачебный инспектор; Рутницкий — уполномоченный от «Особого комитета»; И. П. Котлубицкий — член губернского присутствия.

99. Губернатор Баранов.

100. В письме к жене с дороги 3 апреля Короленко описывает свою встречу с исправником на Борисовской станции. «Я едва удерживался от хохота, — пишет он, — и, выехав со станции, перебираясь через зажоры, все вспоминал и хохотал, хотя в сущности мне от души жаль старика» («Избранные письма», т. II, № 16).

101. Вероятно, А. В. Приклонский.

102. Содержание записей от 2—6 апреля в очерки «В голодный год» не вошло.

103. Начало очерков «По Нижегородскому краю». См. первое примечание к настоящей записной книжке. «Приступая к этим очеркам голодного года, — писал впоследствии Короленко, — я имел в виду не только привлекать пожертвования в пользу голодающих, но еще поставить перед обществом, а может быть, и перед правительством, потрясающую картину земельной неурядицы и нищеты земледельческого населения на лучших землях» («Земли! Земли!», гл. IV).

104. Сведений о ней не имеется.

105. Василий Антонович Курдюмов, управляющий имением Кочубея.

106. О Савоськине см. также главу XVIII очерков «В голодный год».

107. Эпизод этот доставил Короленко материал для очерка «Голодная весна», напечатанного в 1912 году в приложении к газете «Современное слово» («Неделя Современного слова», № 211 от 23 апреля).

108. Брат Петра Адриановича Горинова, управляющий Федоровским хутором.

109. Строка точек у автора.

110. «Евгений Онегин», строфа четвертая.

111. На страстной неделе.

112. См. по поводу легенды о милостыне главу XV очерков «В голодный год», — «Христовым именем».

113. Иван Петрович Татаринов, арендатор Большого Болдинского хутора.

114. Взятое в ломаные скобки автором зачеркнуто.

115. Фраза не дописана.

116. Александр Николаевич Островский (1823—1886), знаменитый драматург.

117. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889), знаменитый сатирик.

118. О посещении Роксожен и Пермеев см. последнюю главу очерков «В голодный год» («Заключение».)

119. Знак вопроса у автора. Перчик — младший брат В. Г. Короленко (см. о нем выше, примечание 12-е к записной книжке 11) — приезжал на смену Владимиру Галактионовичу. В письме к жене от 24 апреля из Лукоянова Короленко писал: «Вернулся я из Пушкинского участка вчера вечером и совершенно неожиданно узнал от служащего в гостинице, что «вчерась приехали ваш братец». Телеграмма о его приезде до сих пор путешествует где-то, разыскивая меня, так как я давно не бывал ни в Лукоянове, ни на Белецком хуторе. Теперь, когда Перец сменяет меня, я пробуду здесь еще недельку или полторы, а затем отправлюсь домой. К концу столовых надо будет опять приехать». «Работы у нас теперь с Перцем множество: сводим в одно все сведения о столовых, чтобы сообразить, как быть и сколько у меня еще денег» («Избранные лисьма», т. II, № 20).

120. Помещаемая ниже запись, заключающая рассказ о встрече с крестьянином Ларионом Юрочкиным, находится не в записной книжке 1892 года, а на двух листах писчей бумаги. На полях первой страницы пометка автора синим карандашом: «Не напечатано». Запись имеет дату: «1 мая». Бумага старая, пожелтевшая, чернила выцветшие. В рукописи имеются исправления и вставки на полях.

121. Не мерещится.

122. Так у автора, быть может, изменившего здесь настоящую фамилию крестьянина.

123. На этом запись на отдельных листах заканчивается. Дальнейшие записи ведутся снова в записной книжке.

124. Татаринова.

125. По возвращении в Нижний-Новгород Короленко писал своему близкому другу В. Н. Григорьеву: «...Теперь многое обо мне ты уже знаешь из газет: лукояновская история треплется на все лады, — обычное явление! А между тем, я глубоко уверен, что таких Лукояновских уездов — сколько угодно и у нас и в других губерниях, некому только приподнять завесу над этими крепостническими безобразиями, над этим систематическим мужиконенавистничеством, которое взяло верх повсюду». «Когда я собирался в уезд и Баранов об этом узнал, он мне почти навязал командировку от Благотворительного комитета, и я очень ему благодарен. Это дало мне, во-первых, возможность вскрыть эти безобразия и вызвать поездку Баранова в уезд, результатом которой было увеличение ссуды на апрель и май, а, во-вторых, — сильно ободрило всех порядочных людей, которые охотно, сначала с оглядкой, а потом и без оглядки пошли на благотворительную деятельность...» «Недели еще две, а может и три, проживу здесь, — пишет о себе Короленко. — Устал, да и дела свои запустил сильно. Нужно поработать [над очерками «В голодный год»]. Это все-таки будет отдых: не ездить в телегах, не собирать сходов, не ходить по больным, не слушать этих жалоб, не видеть слез и, наконец, не злиться так, как приходилось злиться там...»

Последняя поездка Короленко в Лукояновский уезд состоялась с 15-го по 27 июля. Время было тревожное, в Поволжьи уже свирепствовала холера и происходили холерные бунты. «С новым урожаем 1892 года последние мои столовые были закрыты, — писал Короленко в заключительных строках своих очерков. — Я наскоро отобрал у заведующих отчеты и 27 июля мчался уже в Работки с тяжелыми опасениями на сердце. Моя семья жила в это время около Работок, а в нескольких десятках саженей стоял под горой холерный барак. А вокруг него реяли, как черные птицы, отголоски холерных толков...» («В голодный год», Заключение, стр. 216—217). О холерном бедствии, последовавшем за голодом, см. очерки В. Г. Короленко «В холерный год» (Собрание сочинений, изд. А. Маркса, т. III).

126. Эта последняя запись, сделанная, судя по ее содержанию, весною 1892 года, занесена автором на свободных листках книжки без связи с датами.

18. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1895 ГОДА

Записная книжка малого формата в черной кожаной обложке (№ по описи 487). На обложке наклеен бумажный ярлычок с карандашной надписью на нем рукою В. Г. Короленко: «Ягутка». В книжке 40 листков, пронумерованных редакционной комиссией, из них записями заняты только одиннад-

цать. Все записи сделаны карандашом, причем некоторые из них очень поспешно и неразборчиво. На одном из листков — дата: «15 июля 1895 г.». Печатаемая здесь запись сделана незадолго до этого числа во время поездки В. Г. Короленко по Оке в село Павлово, 6—18 июля. Набросок «Ягутка» представляет собою непосредственную запись с натуры сцены, более поздний вариант которой напечатан под тем же заглавием в Полном посмертном собрании сочинений, т. XVI, Госиздат Украины, 1923 г., стр. 147—150.

1. Ягутки — бурлаки, тянущие бечевой барки.

2. Записанные здесь разговоры происходили на палубе парохода, на Оке, среди ехавших на заработки, на косьбу, сельских рабочих.

РУМЫНСКИЕ ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

В. Г. Короленко ездил в Румынию шесть раз. Первый раз он был здесь осенью 1893 года, заканчивая свое большое заграничное путешествие. Он возвращался тогда из Америки. Затем он приезжал в Румынию в летние месяцы 1897, 1904, 1907 и 1911 годов. В Румынии, в Тульче, жил шурин В. Г. Короленко, политический эмигрант, врач Василий Семенович Ивановский, пользовавшийся большой известностью в Добрудже под именем доктора Петра Александрова. Оригинальный образ его зарисован писателем в очерках «Наши на Дунае». См. также статью-некролог о нем В. Г. Короленко: «Памяти замечательного русского человека» («Русские ведомости», 1911 г., № 119). Кроме В. С. Ивановского, которого Короленко очень любил, его привлекали в Румынию и другие представители русской политической эмиграции; самые близкие, дружеские отношения были у него с Константином Доброджану-Гереа (Константин Абрамович Кац), выдающимся писателем (писавшим на румынском языке) и основателем румынской социал-демократической рабочей партии. Помимо этих личных связей, Румыния, вернее, собственно Добруджа, интересовала и привлекала Короленко как наблюдателя и художника. Здесь среди ее разноплеменного населения было немало русских и украинцев, покинувших родину в поисках вероисповедной и иной свободы; здесь были великороссы-старообрядцы («липоване»), «руснаки» (потомки дунайских сечевиков), сектанты разных толков; встречались беглые русские солдаты, бурлаки, разного рода люди без определенной профессии — искатели счастья и кладов. В Добрудже всюду слышалась русская и украинская речь, самая природа ее напоминала писателю русский юг; он чувствовал себя здесь порою как на родине, и как на родине же — его влекло к общению с народом. Желание поближе присмотреться к жизни своих земляков в Румынии побуждало его совершать поездки по старообрядческим селам, посещать монастыри, ездить на рыбные промыслы, вникая в условия труда

и быта рыбаков, одного из самых обездоленных классов румынского населения. Из всех поездок писателя в Румынию поездка 1897 года была самой длительной: она продолжалась с первой половины мая почти до конца августа. В этот свой приезд Короленко совершил наибольшее количество экскурсий и собрал много материала для своих румынских очерков. Из них два первые: «Некрасовский корень» и «Искатели», объединенные под общим заглавием «Над лиманом», были написаны в самой Добрудже (в Тульче) и появились впервые в ноябре того же 1897 года в журнале «Русское богатство». Дальнейшие очерки, озаглавленные «Наши на Дунае», печатались в том же журнале в 1909 году (кн. 12-я); очерк «Турчин и мы» — там же, в 1913 году (кн. 5-я). Отрывок «Нирвана», в журналах не появлявшийся, вошел в 1914 году в Собрание сочинений, изд. А. Маркса. Кроме этих произведений, опубликованных при жизни автора, в архиве В. Г. Короленко имеется еще несколько рукописей, не получивших окончательной обработки, темы которых связаны с теми же румынскими впечатлениями. Рукописи эти напечатаны в т. XIX Посмертного собрания сочинений, в котором собраны все румынские очерки В. Г. Короленко (Госиздат Украины, 1923 г.). Что касается румынских записных книжек, то в архиве их имеется шесть (не считая отдельных, вырезанных из книжек листков). В настоящем томе печатается лишь часть записей.

10. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1897 ГОДА

Записная книжка большого формата в черной клеенчатой обложке (№ по описи 518). На наклеенном на обложке листке бумаги — надпись рукою В. Г. Короленко: «Дунай и Рум[ыния]» и подробный перечень содержания. В книжке 82 листка (не считая двух внутренних обложек). Нумераций страниц две: авторская (1—89), не доведенная до конца и сбивчивая, и нумерация редакционной комиссии (1—162), проходящая через всю книжку. Между страницами 30-й и 31-й (по нумерации редкомиссии) два листка автором вырваны, отчего в этом месте связь в тексте нарушена. Между страницами 110-й и 111-й вырезано девять листков без нарушения связи в тексте. Записи ведутся пером и карандашом, занимая и внутренние обложки, хотя много листков в книжке остались чистыми. Автор пользовался этой книжкой летом 1897 года, во время своего второго приезда в Румынию. Из этой книжки здесь даются записи, относящиеся к его поездке в деревню Русская Слава.

1. Запись пером, с немногими исправлениями. Содержание ее развито в очерках «Наши на Дунае». «Слава» (собственно Русская Слава — название деревни близ Тульчи, населенной русскими старообрядцами («липованами»). У крестьян этой деревни произошло столкновение со сборщиком податей, и они нуждались в знающем законы человеке, который помог бы им отстоять их право. На помощь им отправился социа-

лист Стериан (см. о нем ниже, примечание 6-е), рекомендованный крестьянам доктором Петром Александровым (шурином В. Г. Короленко, В. С. Ивановским). «Я решил присоединиться к нему, — пишет Короленко, — чтобы посмотреть на месте моих земляков-липован из Русской Славы» («Наши на Дунае», очерк III). Поездку эту автор совершил 23—24 мая 1897 года.

2. Возница-украинец, выведенный в очерке «Наши на Дунае».

3. Балканы нарицательно — горы.

4. О кладоискателях см. очерки «Над лиманом» (очерк II — «Искатели»).

5. Встреча с цыганами доставила автору материал для главы VII очерков «Наши на Дунае» («Собственный цыган Луки»).

6. Социалист Стериан, молодой человек, полурумын, полуболгарин, сапожник в Тульче. Выведен в очерках «Наши на Дунае» под именем Катриана.

7. Эта фраза приписана позже карандашом на оставленном ранее пробеле.

8. Спор социалиста Стериана с Лукой доставил автору материал для целой главы в очерках «Наши на Дунае» (гл. IX — «Столкновение»).

9. Примар — сельский староста.

10. Нотарь — писарь.

11. Здесь конспект большой сцены, описанной в очерках «Наши на Дунае» (XI—«Ночной сход в «Русской Славе»). Столкновение Стериана с более консервативной частью крестьянской массы и затем с чиновниками закончилось его победой. Сельское начальство не решилось применить к нему насилие, так как он приехал из Тульчи с ведома либерального префекта, снабдившего его своей визитной карточкой. По окончании схода путешественники выехали из деревни.

12. Запись сделана пером. Смысл ее уясняется из сопоставления ее с содержанием главы VII очерков «Наши на Дунае». Речь идет о привлечении к суду одного из сборщиков податей, запугивавших и даже избивавших в деревнях женщин в отсутствии их мужей с целью получить от них «на вино». Сборщик ударил и больную жену Луки (возницы). Стериан огласил этот факт в газетах, и сборщику грозила потеря места. Лука, вначале намеревавшийся убить сборщика, склонен был теперь замять это дело, так как последний успел разжалобить его своими мольбами о прощении. Стериан же с риском для себя восставал против этого намерения, доказывая, что данный случай имеет общественное значение и виновный должен понести наказание. Разговор между Лукой и Стерианом на эту тему происходил по пути в Русскую Славу.

20. РУМЫНИЯ

Записная книжка малого формата в зеленой полотняной обложке (№ по описи 514). На обложке наклеен листок бумаги

с надписью карандашом рукою В. Г. Короленко: «Румыния» и «Петр Мих[айлов]». В книжке 41 листок, пронумерованный редакционной комиссией. Все записи сделаны карандашом. Здесь печатаются только три из них, относящиеся к поездке автора 17—18 мая 1897 года из Тульчи в Челык-Дере, где находился старообрядческий монастырь. (Вид этого монастыря зарисован в альбоме.) Остальной материал, заключающийся в книжке, здесь не печатается. Наиболее связные отрывки рассказов Петра Михайлова (старого николаевского солдата), записанные в других местах, см. ниже.

1. Райны — тополи.
2. Биржар — извозчик.
3. Дальше у автора пробел в полстраницы.

21. ЛИСТЫ ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК 1897 ГОДА

Рассказ Петра Михайлова

Это — рассказы Петра Михайлова Лукьяниченкова, старого николаевского солдата, крестьянина Курской губернии, бежавшего в молодости с военной службы в Румынию. В. Г. Короленко встретился с ним в Тульче в мае 1897 года. Об этом старике, портрет которого зарисован в одном из альбомов писателя, Короленко упоминает в очерке «Турчин и мы». Там автор рекомендует его, как «большого балагура и плута», человека, который «бывал на возу и под возом, видал всякие виды и хлеб едал из многих печей».

В. Г. Короленко очень интересовался жизнью старика, на совести которого было немало преступлений. В записных книжках 1897 года, в альбомах и на отдельных листках сохранились записи и заметки, относящиеся к теме произведения, в центре которого должна была стоять фигура старика. Характер этих записей по большей части очень отрывочный: автор, видимо, спешно записывал вслед за рассказчиком и, вероятно, старался делать это незаметно для него. Записи большей частью сделаны карандашом, они мало, а иногда и совершенно неразборчивы, очень часто это отдельные фразы, сокращенные слова и т. п. Найти в них внутреннюю связь представляется часто невозможным по той причине, что к ним нет ключа в законченном произведении: задуманный рассказ написан не был; в архиве сохранилось только несколько вариантов его начала, озаглавленных «Землячок». (Варианты эти напечатаны в т. XIX Полного посмертного собрания сочинений, Госиздат Украины, 1923). Здесь даются только некоторые записи. Все они были опубликованы впервые в т. XIX Посмертного собрания сочинений.

1. Десять листов, вырезанных автором из записной книжки-календаря на 1897 год. Записи сделаны летом 1897 года в Добрудже и занесены в книжку, без связи с датами, на страницах от 17 февраля по 8 марта.

2. Здесь какая-то путаница в воспоминаниях старика, в рассказах которого быль перемешивалась с небылицей: в Севастополь он ходить не мог, так как во время обороны Севастополя (1854—1855) ему было больше 50 лет. С военной службы он бежал в молодости, во время первой русско-турецкой войны 1828—1829 годов.

3. У шурина В. Г. Короленко — В. С. Ивановского.

3. Знак вопроса у автора.

4. Знак вопроса у автора.

5. Кукона — жена (в данном случае жена В. Г. Короленко, Евдокия Семеновна).

6. Дибич-Забалканский Иван Иванович (1785—1831), граф, фельдмаршал. Во время русско-турецкой войны 1828—1829 годов фактически руководил военными действиями и был назначен (в начале 1829 г.) главнокомандующим армией. Рассказы старика об измене Дибича и Лидерса являются фантазией.

7. Лидерс Александр Николаевич (1790 — 1874), граф, генерал-адъютант. Во время войны 1828—1829 годов отличился, командуя полком. Во время восточной войны был (в конце 1855 г.) главнокомандующим Крымской армией.

8. Обыденкой — в одни сутки.

9. Следующая запись сделана карандашом, беглым почерком, на двух листах, вырванных из записной книжки небольшого формата (№ по описи 343). Здесь же адреса и расписание поездов; несколько записей справочного характера.

10. Старик называл В. Г. Короленко «Володя» по распространенному в Добрудже обычаю называть друг друга уменьшительными именами.

11. Эта и следующая за ней запись сделаны пером с немногими исправлениями, на листках, вырезанных из записной книжки среднего формата (№ 344). Страницы пронумерованы автором: 90 — 102. На первых двух страницах списано деревенское письмо Петру Лукьяниченкову от его младшего брата из России. Письмо это являлось ответом на письмо старика, выражавшего желание вернуться на родину. Брат усердно звал его к себе в деревню, в свою семью: «Мы обещаемся и должны Вас приютить, — писал он, — и похоронить Ваши кости на своем природном кладбище». Старый николаевец предполагал, однако, что его зовут не бескорыстно, а в расчете на то, что у него имеются деньги. Это видно из нескольких его фраз, записанных Короленко в том же альбоме, в котором он зарисовал портрет старика. Вот эти фразы:

«Я поеду после Покрова, у нас Пѝтров день храм [храмовой праздник), то я приду явлѐнный. Вот я. Я наменял денег много медных, а после наверх серебро. И буду ховать... А уже после [т. е. когда обнаружится, что денег нет] будут оны на меня смотреть косо и станут давать хлеб, котор[ый] вчерашний».

12. Бага — виноградник.

13. Знак вопроса у автора.

14. Заголовок принадлежит автору. Землячок — тот же Петр Михайлов Лукьяниченков.

22. РАБОТА НАД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОВЕСТЬЮ «НАБЕГЛЫЙ ЦАРЬ»

С конца 80-х годов у В. Г. Короленко начал определяться интерес к пугачевскому времени и к личности самого Пугачева. Этому способствовало отчасти то обстоятельство, что в Нижегородском историческом архиве, где Короленко с большим интересом работал в качестве члена Нижегородской ученой архивной комиссии, нашлись некоторые дела, относящиеся к пугачевщине. Кроме материалов архива, интерес писателя к пугачевской старине питался и живыми впечатлениями, как это видно из его нижегородских записных книжек. Летом 1891 года он совершил поездку в Уфу для осмотра мест, где находился лагерь Чики, сподвижника Пугачева. Возможно, что намерение написать исторический роман возникло уже в то время, но приступить к осуществлению этого замысла писателю долго не удавалось.

В 1892 году голод, поразивший Поволжье, побудил его, отложив все другие работы, отдаться делу оказания помощи голодающим крестьянам Лукояновского уезда Нижегородской губернии. В то же время он писал статьи, составившие впоследствии книгу «В голодный год» (см. выше записную книжку «В голодный год» и примечания к ней). В 1893 году продолжалась работа над очерками голодного года, выходившими отдельной книгой. В том же году Короленко совершил путешествие в Америку на всемирную выставку в Чикаго. Смерть дочери, происшедшая в его отсутствие, длительные болезни в семье, обязательная работа для журнала «Русское богатство», в котором Короленко с 1895 года состоял членом редакции, не давали спокойствия и настроения, необходимых для работы над большим историческим произведением.

С осени 1895 года писатель был всецело захвачен мултанским делом, защитой в печати и на суде группы крестьян-вотяков, ложно обвинявшихся в совершении убийства с ритуальными целями (см. об этом деле «Избранные письма», т. II, изд. «Мир», 1933). Дело это потребовало огромного напряжения, и после него Короленко заболел острой бессонницей, значительно подорвавшей его силы и на время лишившей его возможности заниматься художественной работой.

Следующие годы, 1896—1900, прожитые писателем в Петербурге, были для него крайне утомительны и неблагоприятны для осуществления художественных замыслов. Тем не менее потребность приняться за давно задуманную работу над исторической повестью не покидала писателя, даже обострилась к концу его пребывания в Петербурге. В письме к жене, 4 июля 1899 года, жалуясь на утомительную сутолоку петербургской жизни, он писал: «...Единственным утешением за все это время служил мне только Емелька. Как только урывался

свободный часок, я сейчас за книги и свои записные книжки». В архиве В. Г. Короленко сохранились эти записные книжки, заполненные выписками из исторических сочинений, относящихся к эпохе Пугачева, библиографическими справками и указаниями на темы, которые писатель намеревался развить в своем произведении. Встречаются здесь и краткие конспекты отдельных глав или картин, слагавшиеся в его воображении.

К писанию повести Короленко приступил летом 1899 года. 21 мая в записной книжке записано: «Вечером написал первую главу исторической повести». Установить не удалось, идет ли речь об одной из сохранившихся и печатаемых здесь рукописей, или эта первая глава повести до нас не дошла (см. «Набеглый царь», отрывки I и II).

Летом 1900 года Короленко совершил продолжительную поездку в область Уральского войска. Целью этой давно задуманной поездки было ознакомление с местами, которые являлись центром пугачевского движения и где сохранились еще предания о Пугачеве. Писатель хотел «попытаться собрать еще не вполне угасшие старинные предания, свести их в одно целое и, быть может, найти среди этого фантастического нагромождения живые черты, всколыхнувшие на Яике первую волну крупного народного движения».

Автору предстояло так или иначе разрешить ту загадку, о которой он говорит в статье «Пугачевская легенда на Урале». Ни одна из существовавших характеристик Пугачева не удовлетворяла писателя. Ни нарисованный официальными красками злодей, ни даже данное Пушкиным живое лицо — плут-казак, «лихой урядник» — не могли в художественном творчестве современного писателя стать во главе крупного народного движения, и Пугачев оставался, по словам Короленко, «героем без лица», его следовало открыть заново. Короленко обратился к народному преданию, порой легендарному, но искреннему и осмысленному, и вынес оттуда многие яркие черты интересной и незаурядной личности. Следовало провести ее через историческую критику, чтобы получить правдивое и реальное историческое лицо, и автор стремился этого достигнуть. Читая источники, Короленко не упускал отмечать черты «своего» Пугачева, которые открывались его творческой фантазии под сухими фактами документов. Так, по поводу объяснения Пугачева с Филипповым Короленко писал (листок с заметками к странице 158, тома 1-го, книги Н. Дубровина: «Пугачев и его сообщники»): «Филиппов — скептик, натура холодная и реалистическая. Пугачев вынужден под конец разговора с ним — свести на шутку. Он, романтик и фантазер, чувствует, что раскрыл завесу своего фантастического мира перед натурой чуждой, холодной и враждебной. Он инстинктивно чувствует эту враждебность. «Старый чорт...» И, действительно, вскоре же Филиппов донес об этих разговорах».

Короленко не верил в исключительную жестокость Пугачева. По поводу цитаты из донесений Рейнсдорпа о «неслы-

ханной жестокости злодея» он записал на полях книги Дубровина (т. II, стр. 76): «На чем основано? До сих пор «неслыханной» для того времени жестокости еще не проявлялось». Отмечены писателем черты, свидетельствующие о мужестве и силе воли Пугачева, о его независимости и нелюбви к «советчикам и указчикам», о воздержании от пьянства, черты великодушия; отмечены и черты наивного хвастовства, комичная театральность парадных выходов и т. п. Короленко полагал, что Пугачев не совершал многого из того, о чем его заставили сознаться под пытками.

Некоторые исторические указания о Пугачеве (он рано был произведен в хорунжие, имел почетную саблю, называл себя «крестником Петра Великого») внушили писателю предположение, не был ли он и действительно так называемым «крестником» Петра I, т. е. одним из его многочисленных побочных детей. Семья В. Г. Короленко помнит, что он одно время допускал эту гипотезу и искал ей подтверждения, высчитывая возраст Пугачева и время пребывания Петра I на Дону (в 1722 году, проездом, при возвращении из персидского похода). С большим интересом вглядывался Короленко в различные портреты Пугачева, отыскивая в его лице черты сходства с Петром I. Но он не дал этой гипотезе никакого места в оставленных набросках, вероятно, считая ее необоснованной.

Разгадал ли автор загадочный образ Пугачева? Очевидно, не вполне, так как иначе мы имели бы перед собой или готовый роман, или, по крайней мере, законченный образ героя. Очевидно также, что, по убеждению автора, оказалось невозможным возложить на плечи одного Пугачева все бремя запросов той сложной и бурной эпохи. В фантазии автора складывался образ другой личности, тоже выдвинутой временем, но из высшего класса. Этот новый герой, сержант Скаловский — редкое явление среди дворянского класса, с гуманными и свободолюбивыми понятиями, отвернувшийся от придворной карьеры и ушедший служить на окраину, а впоследствии присоединившийся к Пугачеву и нашедший там себе и внешне и внутренне трагический конец. Он также не дорисован, его образ едва намечен.

Приехав во второй половине июня 1900 года для работы на месте в Уральск, В. Г. Короленко поселился на даче, в семи верстах от города. Отсюда он стал совершать поездки по окрестностям Уральска и по станицам, подробно описанные им в полубеллетристических-полуэтнографических очерках «У казаков». Поездки эти давали писателю очень много. 20 июля Короленко писал своей матери: «Вчера почти полдня провел в казачьей станице, окруженный самыми типичными уральцами раскольниками... Этот день в «Свистуне» (так называется слобода) объяснил мне не меньше, чем, может быть, неделя чтения источников».

Поездки по ближним и дальним станицам, впечатления от степной природы, от своеобразного быта, от сохранившихся

остатков старины подействовали возбуждающе на творческую фантазию писателя: в его воображении начали складываться картины из задуманного романа. Так, после поездки на речку Таловую, над которой стоял когда-то умет Оболяева, где жил Пугачев, начиная свое дело, Короленко экспромтом в письме к жене набросал обширный конспект главы романа (см. отрывок III). В этом беглом наброске уже вырисовываются живые образы исторических лиц, в том числе и образ Пугачева, еще не «объявившегося» и выдающего себя пока за купца.

Проводя лето на Урале, Короленко искал здесь не только непосредственных живых впечатлений; им произведена была в Уральске огромная подготовительная работа архивного свойства. Получив доступ в Уральский войсковой архив, богатый подлинными делами, относящимися к пугачевскому времени, Короленко со страстным интересом зарылся в этот материал, читая, изучая и производя обширные выписки. 16 августа он писал Н. Ф. Анненскому: «...Сижу над архивными делами и читаю мелкие казачьи дела и проступки... Интересен общий вывод: среди множества дел, которые я пробежал, а отчасти отметил, почти совсем не встречается преступлений пугачевцев, тогда как верные слуги Екатеринушки были народ ой-ой вороватый. В общем все-таки любопытно и небесполезно: познакомился с природой, людьми и их будничными делишками...» 21 августа Короленко писал жене: «...Читаю дела и выписываю. С первым томом пугачевских бумаг справился дня в два, три. Второй том оказался гораздо содержательнее. Выписок приходится делать много, это задерживает. Зато картина встает довольно полная. Между прочим, четыре длинных письма к Симонову Нурали-хана и Айчювак-султана. Интересны. Нурали рассказывает происшествия в орде за шесть месяцев пугачевщины. Оказывается, что третий султан, Дусали, прямо присоединился к Пугачеву и нападал с пугачевцами на крепости. Картина убогих форпостов на низу, охваченных кругом восставшей ордой, как бушующим морем, встает очень ярко и, кажется, в чертах, еще никем не оглашенных. Дело кончилось трагической смертью старшины, Никиты Бородина, в Кулагинской крепости, которую взяли киргизы вместе с несколькими пугачевцами под предводительством Толкачева. Канва для моей будущей работы все расширяется. Мелочи и крупные факты действительных событий все более и более выясняются. Это, конечно, именно только канва, своего рода рамка, на которой придется вышить свой узор. Но некоторые детали просятся на бумагу почти в готовом виде. А, во-вторых, знаю, что в историческом отношении теперь не навру, колорит времени и места передам, а в некоторых подробностях будет кое-что новое даже и для историков... Картина человеческой неправды и подлости, с одной стороны, неясные инстинкты дикой воли, картина разгула и разнузданности этой дикой воли, с другой стороны, и среди этих темных разбушевавшихся сил — мечта о какой-то будущей правде, как звезда

среди туч, — вот как мне рисуется основная нота моей повести. Но в плане все еще много неясного. И работы много. Придется отрываться часто для других вещей. И читать еще, читать много. Нужно ознакомиться с бытовыми мелочами екатерининского времени...» 24 августа Короленко снова писал жене: «...Все сидел над огромным пугачевским делом. Одурел даже, — зато интересно. Тут и пугачевцы и генералы и Мансуров и Суворов и светлейший Потемкин, и Панин, и воры киргизы и воры полковники разбойники казаки и разбойники офицеры, и Мартемьян Бородин с его странной и загадочной смертью. Эти дни я жил со всеми этими людьми. Теперь хочу ехать. И пора: голова отяжелела...»

25 августа Короленко совершил поездку на Таловую, и в его письме к жене от 28 августа мы находим уже упомянутый выше конспект главы к историческому роману.

После этой поездки работа в архиве продолжалась. 6 сентября Короленко сообщал жене: «...Вчера в час ночи поставил последнюю точку в выписках из огромного архивного дела. Оказалось, кроме 7 прежних еще 8-е о киргизах, в котором совершенно для меня неожиданно (я взял было лишь для очистки совести, думая, что не найду ничего) оказался цельный и стройный материал по участию киргиз в пугачевщине. Повидимому, данные совершенно новые, очень интересные, и выписки очень значительные: сегодня посмотрел и удивился, сколько их успел извлечь, — годятся прямо в исторический журнал. Но я пока не отдам: пусть лучше в моей повести, романе, исторической хронике, — или как еще там будет называться, — появятся эти данные в виде картин впервые. Так как ты уже знаешь моих Нурали-ханов и Айчювак-султанов, то скажу тебе, что один день ушел у меня уже не на пугачевщину, а на конец их биографий. И все это по большей части в письмах за приложением ханских печатей (Нурали: полумесяц, звезда и сабля) и чрезвычайно своеобразных. Теперь, уезжая отсюда, буду знать, что увожу с собой полную картину пугачевщины в области Яицкого войска. Одну главу, дадут мне киргизы: русское правительство призвало их к нападению на «изменников», приставших к Пугачеву. Неожиданно явилась вся орда, даже из Хивы (был даже один предводитель из хивинских ханов), и залила все низовье Урала, прорвалась к Волге. Рапорты начальников на форпостах — это какие-то вопли утопающих, заливаемых волнами разбушевавшегося океана. Кончается это мрачной трагедией. Через степь примчались гонцы Пугачева, в том числе Мих. Толкачев, который ударил в этот хаос, как гром, и сумел дать ему некоторое направление: в Кулагинской крепости разыгралась трагедия: захватили старшин, офицеров, есаулов послушной стороны. Рапорты с форпостов прекратились, а еще через некоторое время Толкачев кинулся на Уральск... Одним словом — во всех мелких деталях — картина, может быть, одного из наиболее мрачных и грозных эпизодов Пугачевщины. Из глубины взвол-

нованного общества выглянули на свет совершенно первобытные, стихийные силы... Много еще лет спустя начальство не могло разделаться с последствиями своей неосторожной меры...»

Письмо Ф. Д. Батюшкову от 7 сентября добавляет к этой картине такие подробности: «На требование выдачи обратно «русских есырей» (пленных) хан и султаны отвечали, что они действовали по приказу, из усердия к ее величеству, и разбирать им было трудно».

В середине сентября Короленко приехал в Полтаву и в письме к Н. Ф. Анненскому от 26 октября писал: «Лето я провел, как я уже писал, хорошо и очень производительно: многое себе выяснил и собрал любопытный материал для предполагаемой своей работы».

Кроме исторического материала, писатель привез с Урала и обильный запас личных бытовых и этнографических наблюдений из жизни современного казачества. Материал этот был им обработан в очерках «У казаков». Несколько глав этих очерков были написаны тотчас по возвращении в Полтаву, в том числе и глава «Пугачевская легенда на Урале», выделенная, однако, затем автором в отдельный исторический очерк. Дальнейшая работа над очерками «У казаков» производилась осенью следующего, 1901 года. К тому же времени относится и заметка в записной книжке под 28 октября: «Вечером писал до часу (глава из «Набеглого царя»)».

Рукопись этой главы до нас не дошла, и судьба ее остается совершенно неизвестной. Это тем печальнее, что сам автор был, повидимому, доволен своей работой, так как тогда же прочел ее вслух жене. По воспоминаниям Е. С. Короленко, в утерянной главе описывалось, как ночью по степи едет верхом молодой офицер. В глубокой тишине слышно, как слабо «звенят» (Е. С. Короленко вспоминает именно это выражение) степные травы, и под эти звуки молодой человек отдается каким-то светлым мечтам. В степи ему встречается сумасшедший казак, и между ними происходит сцена, подробности которой из памяти Е. С. Короленко изгладились. Немногие черты эти дают основание думать, что выведенный здесь офицер— тот самый подпоручик Скаловский (см. «Набеглый царь», отрывок II), привлекший на себя милостивое внимание Екатерины, но добровольно отказавшийся от открывающейся перед ним карьеры и уезжающий в «степь» для избранной им службы на окраине. Фигура безумного казака тоже была намечена в конспекте из письма к жене от 28 августа 1900 года. Это молодой Выровщиков, скитающийся по степи в поисках несуществующего «царя», которого он хочет просить за отца (давно казненного за мятеж).

После отметки 28 октября 1901 года об утраченной главе никаких дальнейших упоминаний о писании романа не встречается. Каких-либо следов этой работы в архиве писателя также не сохранилось. Между тем, собирание исторических материа-

лов для романа продолжалось, и те затруднения, которые В. Г. Короленко встречал при этом, явились, вероятно, одной из причин, вызвавших остановку в его работе. В переписке за 1903—1904 годы встречаются указания на запросы, с которыми писатель обращался к разным лицам по поводу недостававших ему сведений и на которые он не всегда получал удовлетворявшие его ответы.

Так, в письме к А. И. Мякутину, члену Оренбургской ученой архивной комиссии, от 16 сентября 1903 года читаем:

«...Я слышал, что в Оренбургской архивной комиссии сохранились и теперь дела о Пугачевском бунте и, быть может, далеко ещё не все исчерпаны. Не будете ли Вы любезны сообщить мне, что, собственно, хранится еще в архиве (сколько, по крайней мере, можно судить по описи). Было бы большой услугой истории, если бы удалось разыскать подробности о некоторых сподвижниках Пугачева. Меня лично интересует предыдущая служба Шванвича, который потом предался Пугачеву, а также: за что, собственно, был сослан и содержался в Оренбурге известный Хлопуша, как его звали ранее? В Уральском войсковом архиве я нашел указание, что Шванвич служил в самом Оренбурге, года за два до Пугачевщины.

Вообще, если бы несколько членов комиссии захотели рассмотреть и сделать систематическую опись всех д е л, имеющихся в архиве лет за пять до бунта и затем во время и непосредственно после бунта, то это была бы большая заслуга комиссии перед историей этого интереснейшего периода...»

Как видно из письма В. Г. Короленко к брату Илариону Галактионовичу (24 августа 1900 г.), он считал необходимым поработать лично в Оренбургском архиве, но осуществить это намерение ему не удалось.

12 января 1904 года Короленко писал в Уфу Н. А. Гурвичу (члену-сотруднику Императорского географического общества): «...Без сомнения, Вам известно содержание двух дел о пугачевцах, которые, говорят, сохранились в Уфимском архиве. Был бы очень признателен Вам, если бы Вы нашли возможным сообщить мне, — что, собственно, заключается в этих делах, есть ли в них указания, характерные для Чики-Зарубина и его сподвижников, а также нет ли чего о Белобородове и (особенно для меня интересно) о загадочном Хлопуше. Все это мне нужно для работы чисто беллетристической...»

В 1903 году Короленко получил сведения о том, что в Тобольске проживает 142-летний старик Зотов, бывший пугачевец. Очень заинтересовавшись этим сообщением, но не имея возможности совершить поездку в Тобольск, он писал 18 июня 1903 года в Иркутск Т. Г. Ефимову, сообщившему ему о Зотове. Короленко ставил в письме целый ряд вопросов Зотову:

«1. Видел ли он самого Пугачева и при каких обстоятельствах? Если видел вблизи, то как ему представлялся Пугачев? (наружность и т. д.). 2. Верит ли он теперь, что Пугачев

был донской казак, или думает, что он был царь? 3. Верили ли все, присоединившиеся к шайкам, что это царь, или шли к нему, зная, что он самозванец, чтобы погулять на воле? 4. На каких заводах он, Зотов, был в то время? Очень ли на них притесняли народ? 5. Многих ли убивали во время бунта и по чьему приказу? 6. Не знал ли и кого именно из предводителей пугачевских войск? Например, Зарубина-Чику (называвшегося графом Чернышевым), Белобородова, Хлопушу. Особенно не знал ли чего о последнем: кто он был, откуда, за что попал в тюрьму? И вообще — какие фамилии помнит. А затем интересно бы записать отдельные эпизоды, как ему удастся их припомнить. Тот, кто бы это сделал, — оказал бы услугу не только мне, но, быть может, и истории того времени. Интересно также: очень ли жестоко поступали при усмирении?»

Ответа на эти вопросы не последовало, так как Зотов к тому времени исчез неизвестно куда.

Материалы, собранные В. Г. Короленко к исторической повести, хранящиеся в его архиве, говорят о том, что общие рамки замысла должны были развернуться широко. Помимо картины бунта и казачьей жизни на Урале и в Поволжьи, отношений с «инородцами» на восточной окраине, роман должен был включить в свое содержание Петербург, двор Екатерины, фигуры главнейших деятелей, Орлова, Чернышева и других. Сохранившиеся в записных книжках многочисленные выписки и заметки говорят о том, что автор ставил себе целью дать столичный и придворный круг не как эпизодические картины, но органически связать жизнь центра с тем, что делалось на окраине.

Задуманной работе не суждено было осуществиться. В 1905 году Короленко приступил к новой большой теме, выполнение которой считал важным делом своей жизни, — начал писать «Историю моего современника». Ему приходилось беречь время и силы, уже убывавшие, для этой большой работы, заслонившей собою все другие художественные замыслы. Но желание и надежда приняться за писание исторического романа долго не покидали Короленко. В своих беседах с женой он неоднократно возвращался к этой теме. В позднейшие годы, уже перед революцией, она слышала от него фразу: «Надо бы мне приняться за Пугача».

1. Рукопись на четырнадцати листах из тетради обычного формата. Нумерация листов (1—14) принадлежит редакционной комиссии. Рукопись писана пером, беглым почерком, почти без поправок, с большими полями слева. На полях первой страницы, в левом верхнем углу, надпись карандашом: «Пугачевщ[ина]». Заглавие «К пов[ести] «Набеглый царь» написано пером. Подзаголовок «(Из пугачевского времени)» приписан карандашом, видимо, позднее. После первых двух абзацев на полях написано пером: «Денисов празднует свое произв[одство].

Лагерь с... [одно слово не разобрано]. В одной палатке молодежь, разгов[оры]».

2. Русские войска находились в Пруссии, в связи с участием России в Семилетней войне (1756—1763). Война велась между Пруссией и Англией — с одной стороны, и Австрией, Саксонией, Россией, Швецией и Францией — с другой. Главными причинами войны были: стремление Австрии вернуть отнятую прусским королем Фридрихом II (Великим) Силезию и колониальное соперничество между Англией и Францией. Русские войска сыграли крупную роль в этой войне, завоевав Восточную Пруссию с Кенигсбергом. Однако после смерти императрицы Елизаветы Петр III, бывший восторженным почитателем Фридриха II, отказался от участия в войне и от всех русских завоеваний в Пруссии.

3. Илья Денисов — походный атаман донских полков.

4. Пугачев Емельян Иванович (род. около 1744 г., казнен в 1775 г.), казак Зимовейской станицы в области Войска Донского. В то время только недавно начал военную службу и находился в казачьих отрядах, посланных в Пруссию под начальством графа З. Г. Чернышева. Состоял ординарцем при походном атамане Денисове. Впоследствии назвался императором Петром III, якобы спасшимся от смерти, уготованной ему женой-царицей и врагами дворянами, и под этим именем явился вождем крестьянской революции — «пугачевщины» (1773—1775).

5. Ах, черти!

6. Дикари.

7. В основу этого эпизода положен действительный факт: однажды ночью на передовую казачью партию напали пруссаки и произвели тревогу, во время которой Пугачев упустил лошадь, принадлежавшую Денисову. За эту оплошность он был подвергнут жестокому наказанию плетьми.

8. Рукопись на двадцати четырех листах, из тетради обычного формата. Нумерация со второго листа (2—24) принадлежит автору. Сохранилась внутренняя обложка, на которой написано карандашом: «Набеглый царь», и выше проставлен знак вопроса. Здесь же цифра «6», затем зачеркнутая. Первый лист тетради оставлен чистым, текст начинается на втором, под заголовком «Набеглый царь». Вся рукопись писана пером, с оставлением больших полей; имеются исправления, помарки, недописанные слова, приписки на полях и на обороте листов 1-го, 2-го и 20-го.

9. Симонов Иван Яковлевич — полковник, оборонял Яицкий городок (Уральск) против пугачевцев, безуспешно осаждавших его в 1774 году в течение трех с половиной месяцев.

10. Орлов Григорий Григорьевич (1734—1783) — всемогущий фаворит Екатерины II, возведенный ею в графское достоинство и стоявший во главе управления государством. Сохранял свое влияние до 1772 года, когда был заменен новыми фаворитами, сначала князем А. С. Васильчиковым, а затем Г. А.

Потемкиным. Личность Орлова очень интересовала В. Г. Короленко, как это видно из материалов его записных книжек.

11. Анна Иоанновна — русская императрица (1693—1740). Царствовала с 1730 года.

12. Пропуск у автора.

13. Против этого места на полях рукописи написано: «С кем был за гран[ицей]?»

14. Державин Гавриил Романович (1743—1816) — известный поэт. Здесь имеется в виду его ода «Фелица», написанная в 1782 году и заключающая наряду с безмерным восхвалением Екатерины II сатирические намеки на ее приближенных.

15. Фонвизин Денис Иванович (1745—1792) — известный писатель последней трети XVIII века. Его комедии «Бригадир» и «Недоросль», в которых он обличал нравы современного дворянства, занимают первое место в сатирической литературе екатерининского времени. Фонвизин был сотрудником журнала «Собеседник любителей российского слова», издававшегося при Академии наук, в котором Екатерина II поместила ряд своих сатирических статей под общим заглавием «Были и небылицы». Читающей публике было известно, кто автор этих статей. Фонвизин прислал в «Собеседник» статью «Вопросы автору «Былей и небылиц», касавшуюся разных темных сторон современного порядка. Смелость этих вопросов навлекла на него гнев Екатерины, которая нашла их «дерзкими и предосудительными».

16. Руссо Жан-Жак (1712—1778) — знаменитый французский писатель и мыслитель XVIII века, один из предтеч Великой французской революции. Руссо был противником современной ему цивилизации, в которой он видел источник всех социальных и моральных зол, и проповедывал возвращение к примитивному, «естественному» состоянию человечества.

17. «Юлия, или Новая Элоиза» — роман в письмах Жан-Жака Руссо; был написан в 1761 году и произвел огромное впечатление на современников заключающимся в нем страстным протестом против социального неравенства и защитой прав свободного чувства.

18. Пастораль — особый род поэтических произведений, возникший в Западной Европе. Героями пасторалей являются пастухи и пастушки. Тенденция пасторали — противопоставление суетной жизни городов простой и близкой к природе пастушеской жизни.

19. Церковные книги, напечатанные до 1654 года, т. е. до того времени, когда патриархом Никоном начато было исправление богослужебных книг по греческим образцам. Исправление это послужило ближайшим поводом к возникновению раскола.

20. Повидимому, некоторые черты намеченного здесь образа старика Скаловского возникли в воображении автора в связи с чтением «Истинного повествования» Г. И. Добрынина («Русская старина», май 1871 г., стр. 600). Указание на это

находим в одной из записных книжек (шифр «Ч-14») В. Г. Короленко, заключающей библиографические справки и несколько выписок, объединенных под общим заголовком: «Бытовые черты XVIII столетия». В одной из этих выписок, отмеченной в книжке знаком nota bene, сказано: «У митрополита Кременецкого в Киеве... обедал генерал Маслов в камлотовом малинового цвета сюртуке, с кавалерскою звездою, а сам с бородою... Он хотя был уже лет 70, однако же свеж и крепок и рассказывал за столом некоторые места из жизни Петра Великого». К этой выписке Короленко сделал следующее примечание: «Именно это мне нужно: фигура отца (прибавить — седая косица)».

21. Безбородко Александр Андреевич (1747—1799) — крупный государственный деятель екатерининской эпохи, был главой иностранной коллегии и личным секретарем Екатерины II.

22. Завадовский Петр Васильевич (1739—1812) — граф, государственный деятель. В течение недолгого времени был фаворитом Екатерины II, но играл второстепенную роль. При Павле I был сначала в милости, но затем попал в опалу и жил в деревне. При Александре I Завадовский был снова призван к государственной деятельности, назначен членом Совета при государе, присутствующим в Сенате, и вслед за тем председателем комиссии для составления законов. Ему было поручено подготовить проект преобразования Сената. С учреждением в 1802 году министерств Завадовский был назначен министром народного просвещения и оставался на этом посту до 1810 года.

23. Против последнего имени на полях рукописи написано: «Секретарь Потемкина». Попов Василий Степанович (1745—1822) — государственный деятель, с 1783 по 1787 год был чиновником особых поручений при Потемкине и самым доверенным его лицом. С 1787 года Попов состоял секретарем Екатерины II. Позднее заведывал Колыванским и Нерчинским заводами и Горным корпусом, принимая участие в управлении Новороссийским краем. При Павле I Попов был назначен председателем камер-коллегии и сенатором, но вскоре по доносу предан суду. При Александре I он был председателем департамента гражданских и духовных дел Государственного совета.

24. На полях страницы 10-й, в первой строке которой заканчивается настоящая фраза, имеется следующая запись: «В 1772 году Хвостов, бывший «лектором» у Орлова, говорит: в это [время] возвратила ему императрица звание и должн[ость] генерал-фельдцейгмейстера и пожаловала титул светл[ейшего] князя. Когда жил подле Зимнего дворца, тогда видал я, проходя к нему в же де пом, прогуливающуюся уединенно в маленьком ермитажном садике Вел[икую] Екатерину. Когда же князь переехал в дом свой, бывший Штегельманов, что подле гр[афа] Кир. Григ. Разумовского, тогда князь начал жить сво-

им, как говорится, хозяйством. У него бывала императрица». (Записки В. С. Хвостова, 1870 г., т. III, стр. 555.)

25. Покровительствуемого.

26. Что-то необъяснимое.

27. Вот где причина.

28. 14 декабря 1766 года был обнародован манифест Екатерины II, в котором представители разных сословий призывались для составления нового Уложения (Свода законов). Избиратели должны были заявлять через депутатов о своих «нуждах и недостатках». Так была образована комиссия, в руководство которой Екатерина II дала свой известный Наказ, составленный ею из выдержек из сочинений Монтескье, Беккарии и других представителей просветительной философии. Практических результатов наказ этот, однако, не имел. Комиссия, торжественно открытая 30 июля 1767 года, была временно распущена 18 декабря 1768 года ввиду начала турецкой войны, и ее общее собрание более не созывалось. Работали только частные комиссии до 25 октября 1773 года, когда и они были распущены. Труды их послужили источником для позднейших законодательных актов Екатерины. Самая комиссия официально не была упразднена, а существовала в виде бюрократической канцелярии без особого значения до конца царствования Екатерины II.

29. Против этого абзаца на полях рукописи написано: «Черты эти заимствованы из записки ген.-поруч[ика] Ржевского (1732—1782), относящейся, очевидно, к описываемому времени («Русский архив», 1879, № 3, «О русской армии во второй половине екатерининского царствования»). Так как Ржевский умер в 1782 году, то, очевидно, описываемое им состояние армии относится к 70-м годам».

30. Против этого абзаца на полях рукописи написано: «Совсем, однако же, непорядком завоевали всю Пруссию, в Берлине были, Кольберх взяли и три баталии знатные выиграли, яко то: Гросс-Егерсдорфскую, Галцихскую и Франфортскую (расск[аз] Екатер[ины] II о первых 5-ти годах ее царствования). («Русский архив», 1865, стр. 474)».

31. Отрывок без заглавия, написанный на оборотах 1-го и 2-го листов рукописи «Набеглый царь». Является, повидимому, вариантом начала этой главы.

32. Настоящая выдержка из «Записки» А. Я. Поленова «О крепостном состоянии крестьян в России» написана на обороте листа 20-го рукописи «Набеглый царь». Против заголовка пометка: «Писано 1768». Очевидно, автор намеревался использовать содержание «Записки» как материал для своей повести.

33. Отрывок, написанный наискось на обороте листа 22-го рукописи «Набеглый царь». Перед ним поставлен знак NB.

34. Перед словами «помещик Струйский» поставлен знак N3.

35. Настоящее письмо напечатано полностью в «Избранных письмах В. Г. Короленко», т. I (№ 86), изд. «Мир», Москва,

1932 г. Здесь письмо это дается только в той его части, которая является конспектом главы к исторической повести «Набеглый царь».

36. Семья В. Г. Короленко уехала из Уральска в Полтаву в половине августа. Владимир Галактионович оставался здесь один до 8 сентября. Поездку, о которой идет речь в письме, он совершил 25—27 августа.

37. Летом 1772 года Пугачев прожил некоторое время на умете (постоялом дворе) пахотного солдата Степана Оболяева, верстах в 60 от Уральска (в то время Яицкого городка). Вначале он выдавал себя за приезжего купца.

38. Мартемьян Бородин, старшина и станичный атаман, противник Пугачева. В «Пугачевской легенде на Урале» Короленко дает такую его характеристику: «Мартемьян Бородин — самая видная фигура из казачьих противников Пугачева, игравший огромную, почти определяющую роль в до-пугачевском брожении на Урале и прямая антитеза Пугачева в глазах «войска». Богач, захвативший неизмеримые пространства «общей степи», владелец крепостных на вольных казачьих землях, насильник, грабитель, человек с железною волею, бурным темпераментом и в то же время хитрый дипломат, умевший задаривать и задабривать петербургское начальство, — он был душою ненавистной казакам старшинской партии, которая перед появлением Пугачева даже носила название «бородинской». Против него и его действий были направлены даже личные указы Екатерины, но он умел обратить их в ничто, искусно вызывая волнения, после которых оказывались виновными его противники. Можно предполагать с большой долей вероятности, что не будь на Яике Мартемьяна Бородина, не было бы, может быть, и Пугачева...» (см. «Голос минувшего», 1922 г., № 2, октябрь, стр. 21).

39. Раскольничий игумен Филарет, пользовавшийся почетом и влиянием среди старообрядцев. Жил в ските «Введения богородицы» в Мечетной слободе (впоследствии переименованной в г. Николаевск, Самарской губ.)

40. Петр III (1728—1762) — русский царь, сын дочери Петра I, Анны Петровны, и герцога гольштейн-готторпского Карла-Фридриха. В 1742 году был объявлен его теткой, царицей Елизаветой Петровной, наследником русского престола и привезен в Россию, где его стали перевоспитывать на русский и православный лад. Свою новую родину Петр не любил и всегда чувствовал себя здесь чужим. Симпатии его принадлежали Пруссии. В 1745 году он был обвенчан с принцессой Ангальт-Цербстской (будущая Екатерина II). В декабре 1761 года, по смерти Елизаветы, он вступил на престол. Хилый физически и остановившийся в своем умственном развитии, Петр III поражал окружающих своими чудачествами. Жену свою он не любил, оскорблял ее, не скрывал своего намерения развестись с ней, что угрожало Екатерине заключением в монастырь и, может быть, даже насильственной смертью. Крайняя непопу-

лярность Петра III облегчила осуществление задуманного Екатериной и ее приверженцами переворота: 28 июня 1762 года произошел военный мятеж, в центре которого стояли гвардейцы, свергнувшие Петра III с престола и провозгласившие Екатерину императрицей. Петр III был удален в Ропшу и 7 июля того же года здесь тайно убит. То обстоятельство, что Петр был свергнут с престола дворянами, породило, в связи с его загадочной смертью, легенду о нем как о «народном заступнике».

С этой легендой связано появление самозванцев, выдававших себя за спасшегося от смерти императора Петра III.

41. Чика (Зарубин) Иван Никифорович, яицкий казак, один из главных вождей пугачевщины, член пугачевской военной коллегии. Прозывался «графом Чернышевым». В 1774 году был взят в плен генералом Михельсоном, подвергнут жестоким пыткам и казнен в Уфе в 1775 году.

42. Некрасов (Некраса) Игнат, донской казак, сподвижник атамана Кондрата Булавина (сторонника гетмана Ивана Мазепы). После Булавинского бунта (1707—1708) вывел донских казаков-старообрядцев в Турцию, где они были зачислены в войска с сохранением их организации. Многократно участвовали в войнах с Россией. Основали свои поселения на низовьях Дуная, в Добрудже. О потомках некрасовцев, живших слободами под властью Румынии, В. Г. Короленко писал в своих румынских очерках: «Над лиманом», «Наши на Дунае», «Турчин и мы».

43. Отрывки VII и VIII к повести «Набеглый царь» заключаются в записной книжке большого формата (шифр «Ч-9»). Книжка обернута поверх клеенчатой обложки белой бумагой с надписью на ней рукою автора: «Пугач[евщина]». В книжке 170 листов. Записи начинаются на листе 2-м, под заголовком: «Песни, предания, бытовые черты и проч.». Здесь выписки из сочинений И. Железнова, из бумаг уральского войского архива, из журнала «Русская старина» и др. В связи с выписками из исторических сочинений, записями песен и преданий, в книжке находятся печатаемые здесь наброски тем к повести «Набеглый царь». Книжка, судя по содержанию, относится, вероятно, к 1898—1900 годам.

44. Записанная здесь легенда (на стр. 19—22 записной книжки) приведена у И. Железнова, в его очерках «Предания и песни уральских казаков» (см. Полное собрание сочинений И. Железнова, т. III, очерк «Видение»).

45. Проран-лиман, узкий морской залив.

46. «Шилихин пожар» — по имени кирсановской жительницы «бабы Шилихи», слывшей могущественной и злой колдуньей. Легенда гласит, что пожар, уничтоживший целый город, произошел в то время, когда дьявол, по смерти Шилихи, уносил ее в ад. Колдунья хваталась за крыши домов, которые при этом загорались. Предание о Шилихе см. в книге И. Железнова «Уральцы», т. III, стр. 56—63, изд. 1900 г.

47. На хуторе братьев Кожевниковых, в 35 верстах от Яицкого городка. Пугачев явился сюда в сентябре 1773 года с Талового умета, после того как уже объявил себя царем. Здесь он оставался три дня и уехал отсюда со своими первыми приверженцами на Усиху (см. примечание 61-е).

48. Старый отставной казак Роман Шаварновский, живший по бедности на хуторе Кожевниковых, в особой избе.

49. Нур-Али — киргиз-кайсацкий хан.

50. Перед записью знак NB.

51. Запись на листах 50—51-м записной книжки (шифр «Ч-9»). См. примечание 43-е.

52. В этом месте в записной книжке знак NB.

53. Чика-Зарубин (см. выше, примечание 41-е), переименованный в Берде, тогдашней главной квартире Пугачева (см. примечание 76-е) в графа Чернышева, получил здесь приказание принять начальство над войсками под Уфой. Он подступил к ней со своими, быстро возраставшими в пути отрядами в конце ноября 1773 года. Расположившись в селе Чесноковке, в 10 верстах от Уфы, он отрезал город от всякого сообщения. Осада продолжалась до конца марта 1774 года, когда главные отряды Чики были разбиты генералом Михельсоном и сам он захвачен в плен. В течение четырех месяцев своего пребывания в Башкирии Чика был полновластным хозяином этого края. Он действовал здесь совершенно самостоятельно и столь же полновластно, как Пугачев в Берде. Та ненависть, которую население Башкирии питало к угнетавшему и разорявшему его русскому правительству, создала благоприятную почву для пугачевского движения, к которому башкиры присоединились под предводительством Салавата Юлаева, башкирского поэта-революционера.

54. Тулумбас — большой турецкий барабан.

55. Шигаев Максим — казак, один из главных пособников Пугачева, прозывался «графом Воронцовым». Впоследствии попал в руки правительства и был повешен.

56. Пропуск у автора.

57. Запись на листе 71-м записной книжки (шифр «Ч-9»). См. примечание 43-е. Перед записью знак NB.

58. Подпоручик второго гренадерского полка, Михаил Шванвич, будучи взят в плен пугачевцами, признал Пугачева царем и нес при нем офицерскую службу (см. о нем ниже, отрывок XIX).

59. В рукописи «Набеглый царь» (см. отрывок II) автор называет своего героя Скаловским.

60. Запись карандашом на листах 72—75-м записной книжки (шифр «Ч-9»). (См. примечание 43-е.) Над записью знак NB.

61. Река Усиха — верстах в 50 от Яицкого городка. На берегу этой реки Пугачев стоял станом со своими первыми товарищами. Полковник Симонов послал на Усиху отряд казаков с приказанием захватить Пугачева и его сообщников и доста

вить их в Яицкий городок, но те успели бежать (15 сентября) на Толкачевы хутора (верстах в 40 от Усихи и верстах в 100 от Яицкого городка).

62. Сайгак — степное животное из семейства антилоп.

63. Запись карандашом на листах 128—129-м записной книжки (шифр «Ч-9»). (См. примечание 43-е.) Перед записью знак NB.

64. Сады казака Строганова (Строга) в нескольких верстах от Яицкого городка. Из содержания отрывка не видно, о каком пребывании Пугачева в этих садах идет речь. Можно, однако, предположить, что здесь имеется в виду какая-то кратковременная остановка Пугачева. Быть может, это было в конце июня 1773 года, при проезде его из села Сарсас, где он жил после побега из казанской тюрьмы (см. об этом ниже, примечание 81-е), на Таловой умет. Пугачев и ехавший с ним крестьянин Кандалинцев намеревались проехать через Яицкий городок, но, подъезжая к нему, узнали, что не имеющих паспортов в воротах задерживают. Две встречных казачки указали им другой путь у строгановских садов и через речку Чаган.

65. Быть может, праздновался день 28 июня: восшествие Екатерины II на престол.

66. Никита Андреевич Бородин — старшина, впоследствии убитый пугачевцами при взятии Кулагинской крепости.

67. Отрывки XII, XIII, XIV к повести «Набеглый царь» заключаются в клеенчатой записной книжке большого формата (шифр «Ч-13»). На переплете надпись рукою В. Г. Короленко: «Заметки бытов. и истор. для Пугач. Влад. Короленко. 1900 г., июль)». В книжке 154 листа, перенумерованных редакционной комиссией. Текстом заняты 129 страниц книжки, остальные оставлены чистыми; только на последней странице — цитата в шесть строк под заголовком: «Из трагедии Николаева «Сорена и Замир». Книжка заключает выписки из «Истинного повествования» Г. И. Добрынина, из «Записок» А. Т. Болотова, мелкие выписки из «Русской старины», библиографические заметки и обширные выписки из сочинения Гельбига «Русские избранники», касающиеся характеристики Григория Орлова и его отношений с Екатериной. Выписки чередуются с критическими замечаниями Короленко и с указаниями на его намерение разработать в задуманной исторической повести некоторые моменты из жизни Орлова. Выдержки из Гельбига, сделанные по тексту, напечатанному в «Русской старине» в 1886 г., июль, часто даются Короленко в кратком пересказе.

68. Вся эта заметка (написанная со знаком NB на стр. 118—119 записной книжки) стоит в связи со следующим местом из Гельбига, цитируемым Короленко (отчасти в кратком пересказе): «...Скоро, однако, Екатерина поняла (по словам Гельбига), как было хорошо, что не состоялся брак с Орловым. Орлов не имел понятия о приличии» («грубое и своевольное поведение в частной жизни»). Екатерина стала охладевать. Чума в Москве и т. д. Фокшаны. В Фокшанах (в сент. 1772 г.) он узнал о фаво-

ре Васильчикова. «Орлов рассверипел от этого известия. Он тотчас бросился в кибитку парой и день и ночь скакал в Петербург. Но здесь приняли свои меры (письмо с предложением избрать Гатчину местом своего жительства). Орлов был близок к отчаянию, когда встретил на дороге курьера с этим письмом». (Гельбиг, явно не расположенный к Орлову, пишет, что это была не оскорбленная любовь, а оскорбленное честолюбие.) Он «предавался бешенству». «В Петербурге же императрица, при всем сознании окружавшего ее могущества, выражала такую боязливость, что приходилось думать, будто столь мужественный некогда характер совсем ее покинул. Когда Панин, желая ее успокоить, назвал этот страх бесполезным, она сказала ему: «Вы его не знаете, он способен извести и меня, и великого князя...» У двери в свою спальню она велела сделать железный засов, и камердинер Захаров должен был сторожить у двери с заряженными пистолетами. Позже, узнав об этом, Орлов горько упрекал Екатерину за эти предосторожности».

69. Заметка написана со знаком NB на стр. 123—124 записной книжки (шифр «Ч-13») (см. примечание 67-е). Содержание ее стоит в связи со следующими цитатами из Гельбига: «Три последние месяца 1772 года были страшной четвертью года как для Екатерины, так и для Орлова. Орлов дсказал, что враг, даже и в оковах (в это время он был и враг, и в оковах) может быть страшен. Императрица выражала постоянную и преувеличенную боязливость...» «Бешенство (Орлова) было тщетно, так как против него было выставлено все верховное могущество двора. Так как он не хотел ничему подчиниться, то нашли необходимым прибегнуть к угрозам, но какое мужество потребовалось для этого. Он должен сложить с себя все должности и сохранить только титулы, он может путешествовать в России и за ее пределами, где угодно, только не смеет въезжать в Петербург и Москву. Должен вернуть портрет императрицы. За это предлагали пенсию в 150 тысяч и 100 тысяч на постройку дома в одном из его имений». В противном случае грозили ссылкой в Ропшу. «На все предложения Орлов отвечал отрицательно. Он тотчас же снял бриллианты с портрета и отдал их обратно, но портрет удержал, говоря, что отдаст его только в руки императрице». (Один из этих бриллиантов, — говорит Гельбиг ранее, — был плоский, в форме сердца, очень дорогой.)

NB. Орлов бросает драгоценные камни, но не признает посредников в своих личных отношениях с Екатериной. «Понятно, что она не имела мужества потребовать возвращения портрета и была рада, что он не настаивал». В отставку тоже подать не захотел, сказав, что это могут сделать указом, и заявил, что «по окончании карантина явится в Петербург». Угрозу Ропшей не исполнили. Наконец, сделана была еще попытка: послали Захара Григорьевича Чернышева, который «предложил ему ехать на воды, путешествовать и именем императрицы требовал категорического ответа. Орлов

начал болтать о вещах, не относящихся к делу, но в конце концов заявил, что будет делать то, что ему вздумается. Чернышев возвратился ни с чем».

70. Заметка со знаком NB на стр. 127—128 записной книжки (шифр «Ч-13») (см. примечание 67-е) стоит в связи со следующими выдержками из Гельбига: «Однажды, в декабре 1772 г., он (Орлов) исчез из Царского, явился в Петербург и вошел в комнату императрицы. Вначале от страха она едва не упала в обморок, но вскоре овладела собой, так как Орлов держал себя непринужденно, как старый друг. Они обошлись друг с другом очень хорошо и формально примирились». Орлов всю зиму провел в Петербурге и получил обратно все должности. Екатерина старалась задобрить его подарками... «Но ощущение, что он уже не всесильный человек... вызвало в нем беспокойство, которое ничем не могло быть побеждено. Ему вдруг вздумалось поселиться в Ревеле». Императрица охотно дала разрешение и предложила ему для жительства небольшой замок Катеринеталь (в ¼ часа от города). Едва прибыв туда, он вдруг задумал путешествовать, отправился во Францию, но пробыл недолго и вернулся в Петербург, где в это время место Васильчикова занял уже Потемкин. Орлов опять путешествовал (NB как бы метался по свету, убегая от возраставшей болезни). Женился на Екат. Ник. Зиновьевой, отправился путешествовать. Жена умерла. В 1782 г. вернулся в Петербург, где «при виде местностей, в которых он жил некогда, как повелитель», прибавляет Гельбиг, беспокойство его усилилось. «Своими откровенными и необдуманными выражениями он увеличил число своих противников».

71. Панин Петр Иванович (1721—1789) — граф, военный деятель, генерал-аншеф, участник войн против крымских татар, Швеции, Турции, участник Семилетней войны, во время которой управлял занятой русскими войсками Пруссией. По вступлении Екатерины II на престол Панин был назначен сенатором и членом Совета, а в 1767 году возведен в графское достоинство. В 1769 году ему поручено было начальство над 2-й армией, действовавшей против турок. В 1770 году он взял Бендеры и при этом разрушил их. Это обстоятельство, в связи с большой потерей в людях, вызвало неудовольствие Екатерины. Панин, почувствовавший себя оскорбленным, вышел в том же году в отставку и поселился в Москве. Его неудовольствие против царицы выражалось в очень резких отзывах о ней, что дошло до ее сведения. Екатерина приказала установить надзор за Паниным, которого называла своим «первым врагом» и «персональным оскорбителем». Пугачевское движение снова вызвало Панина на военное поприще. В 1774 году, после смерти Бибикова, ему поручено было начальство над всеми войсками против Пугачева и над губерниями Казанской, Оренбургской и Нижегородской. Вскоре после назначения Панина Пугачев попал в руки правительства. При подавлении пугачевского движения Панин действовал с исключительной даже для того времени жестокостью.

72. Конспект, написанный пером на листке почтовой бумаги (¼). Заглавие принадлежит автору.

73. См. «К повести «Набеглый царь» (стр. 340).

74. Федот Богомолов, самозванец, предшественник Пугачева. Был крепостным графа Воронцова в селе Спасском Саранского уезда Пензенской губ. Бежал от своего помещика и после нескольких лет скитания поступил на службу в легионную команду в Дубовке (Царицынского уезда), состоявшую из переселенных с Дона казаков. Здесь в 1772 году объявил себя императором Петром III и, встретив сочувствие среди недовольных своим положением казаков, вызвал бунт в команде. Будучи арестован, содержался в царицынской тюрьме, где продолжал выдавать себя посещавшим его за Петра III. Волнения среди казаков продолжались, были сделаны попытки к освобождению Богомолова. 31 декабря 1772 года в Царицыне был исполнен над ним приговор суда: Богомолов был публично наказан кнутом, у него вырезали ноздри и на лбу поставили клеймо. Отправленный в Сибирскую ссылку, он по дороге умер. На суде Богомолов, показал, что «императором Петром III объявил себя в пьянстве своем, без дальнейшего замысла». Среди казаков возникла легенда о том, что наказан и сослан в Сибирь был какой-то заурядный преступник, настоящий же государь скрылся при содействии преданных людей. Пугачев воспользовался этой легендой, когда в свою очередь назвался Петром III.

Читая в книге Дубровина «Пугачев и его сообщники» о Богомолове, Короленко делает следующее замечание: «Тоска, надежда, сострадание народа к царю, пострадавшему и страдающему от царицы, от которой сильно страдал и народ» (заметка на полях I тома, стр. 110).

75. Конспект, написанный карандашом на двух листах из блокнота. Заглавие принадлежит автору.

76. Бердская казачья слобода при реке Сакмаре, верстах в 7 от Оренбурга. Пугачев стоял здесь со своими главными силами с октября 1773 по 23 марта 1774 года. Отсюда он в продолжение полугода держал в осаде Оренбург, который хотел взять голодом. В течение этого времени у пугачевцев происходили частые стычки с оренбургскими отрядами, производившими вылазки.

77. Казак Данила Шелудяков был схвачен во время особенно несчастливой для пугачевцев стычки с оренбургскими отрядами 14 ноября 1773 года. Пугачев очень любил Шелудякова, у которого когда-то жил и работал на хуторе. Он называл его отцом. В Оренбурге пленника запытали до смерти.

78. Зима 1773 года была необычайно ранняя: 14 октября выпал первый снег и начались морозы.

79. Дмитрий Лысов — яицкий казак, произведенный Пугачевым в полковники. В пьяном виде проговорился, что знает, откуда появился царь, и однажды во время ссоры кинулся на Пугачева. За это по приказанию последнего был повешен.

80. Запись пером на листке из блокнота. Сверху печатная надпись: «Памятный листок», и авторская пометка карандашом: «172, т. I». Листок был вложен в книгу «Н. Дубровин. Пугачев и его сообщники», т. I, между страницами 172—173.

81. Парфен Дружинин — бывший купец пригорода Алата (верстах в 45 от Казани). В 1772 году он находился по выбору алатского купечества в селе Сретенском, Казанской губ., целовальником при продаже казенной соли. По окончании года, при сдаче Дружининым этой должности, у него оказался прочет, произошедший, по его словам, от усушки и утечки соли. Оправдания его не были, однако, приняты во внимание; он был арестован и препровожден в Казань, где заключен сперва в так называемых «черных тюрьмах» (под губернской канцелярией), а затем переведен в местный острог. В тех же тюрьмах, в ожидании следствия и суда, содержался с 4 января 1773 года и Пугачев, арестованный в Мечетной слободе по доносу местного казака Филиппова, которому он «открылся», объявив себя еще под секретом императором Петром III. Пугачев и Дружинин познакомились и настолько сблизились, что, будучи переведены из «черных тюрем» в острог, сговорились вместе бежать. Отпущенные в сопровождении двух конвойных в город для прошения милостыни, они бежали из Казани 29 мая 1773 года при содействии сына Дружинина, приготовившего им лошадь и телегу.

82. Алексей Кандалинцев — крестьянин села Сарсас, раскольник. Когда Пугачев содержался в казанских «черных тюрьмах» (см. предшествующее примечание), то из Сарсас приводили туда арестантов, отправляемых на поселение. Конвоировавший их Кандалинцев познакомился с Пугачевым, выдававшим себя также за раскольника, пострадавшего «за крест и бороду». После побега из Казани с Дружининым, к которому в пути присоединилась семья, Пугачев во время одной остановки отправился в Сарсасы к Кандалинцеву и, признавшись ему в побеге из тюрьмы и в намерении отправиться на Яик, а оттуда на Иргиз, просил его подвезти всех беглецов верст двадцать, так как их лошадь притомилась. Кандалинцев пожелал присоединиться к Пугачеву, посоветовав ему бросить своих спутников, что и было исполнено в ту же ночь на ночлеге. После того Пугачев возвратился в Сарсасы, где прожил у Кандалинцева несколько недель.

83. В одной из записных книжек («Ч-10») с выписками к истории пугачевщины Короленко делает следующие замечания по поводу судьбы Дружининых: «Интересно, какие чувства волновали эту семью, оказавшую огромную услугу человеку, который «брал крепости» и притязал на царство. Живя, как звери, в лесу, в землянках, без всяких надежд, глухой зимой, они, наверное, чутко ловили всякие слухи об успехах Емельяна Ивановича... Наверное, под завывание мятели в лесу у семьи разыгрывались мечты о том, что таинственный незнакомец окажется действительно на престоле; и тогда конец всем страданиям... Землянка Дружинина — олицетворение всей беглой, скрывающейся, затравленной, клейменной и поротой Руси... Сколько народу, загнан-

ного в трущобы волокитой и неправдой, вздыхали и молились о победе и одолении благоверного Емельяна Ивановича...»

84. Запись пером на листке из блокнота с пометкой: «Т. II, 12». Листок вклеен в книгу Н. Дубровина — «Пугачев и его сообщники», т. II, Спб. 1884, между страницами 12-й и 13-й.

85. Это происходило 19 сентября 1773 года, в самом начале пугачевского движения, по пути Пугачева с его отрядами к Илецкому городку. Сержант Дмитрий Николаев послан был из Яицкого городка полковником Симоновым на форпосты с приказанием начальникам последних ловить самозванца, именующего себя императором Петром III Захваченный в пути казаками-пугачевцами, Николаев был приведен ими к «государю». Пугачев, нуждавшийся в грамотном человеке, не повесил сержанта, как того желали казаки, но, уничтожив найденные при нем бумаги, помиловал его и оставил при себе в качестве писаря. Текст присяги, составленной Николаевым, гласил:

«Я, нижепоименованный, обещаюсь и клянусь всемогущим богом, перед святым его евангелием, в том, что хощу и должен всепресветлейшему, державнейшему, великому государю императору Петру Федоровичу служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего, до последней капли крови, в чем да поможет мне господь бог всемогущий». Пугачев был доволен Николаевым, но казаки, раздраженные тем, что не внушавший им доверия дворянин стал близким человеком к «государю», в скором времени его утопили.

86. Генерал Фрейман Федор Юрьевич (1725—1796). В 1772 году, когда яицкие казаки убили ненавистных им старшин и высланного против них генерала Траубенберга, Фрейман послан был с пятитысячным отрядом для их усмирения. Во время пугачевщины он принимал энергичное участие при взятии крепости Татищевой и содействовал окончательному поражению Пугачева.

87. Запись пером на пяти листах, вырезанных из тетради обычного формата, с авторской нумерацией: «85—89». На полях первого листа авторская пометка карандашом: «Шванвич и Орлов». Печатаемый здесь отрывок написан на листе 86-м. Остальное содержание рукописи составляют выписки, касающиеся биографии Орлова. Первые два абзаца являются изложением примечаний А. С. Пушкина к главе VII «Истории пугачевского бунта».

88. Орлов Алексей Григорьевич (1738—1808), граф, брат Григория, генерал-аншеф, главный инициатор и исполнитель переворота 1762 года, возведшего на престол Екатерину. Руководил военными действиями в турецкой войне 1768—1774 годов. За свою победу под Чесмою (сожжение турецкого флота в Чесменской бухте) получил титул «Чесменского». Когда отношения Екатерины с Григорием Орловым изменились, его брат также лишился прежней благосклонности Екатерины и в конце 1775 года по собственному желанию был уволен со службы. В царствование Павла I он жил за границей. Вернувшись в Москву при Александ-

ре I, Алексей Орлов принимал деятельное участие в организации земских ополчений в 1807—1808 годах.

89. Орлов Федор Григорьевич (1741—1796), брат Григория и Алексея, генерал-аншеф. Участник переворота 1762 года. В юности принимал участие в Семилетней войне. По восшествии на престол Екатерины II был назначен обер-прокурором одного из департаментов Сената. Избранный в комиссию по составлению «Уложения» от дворян Орловской губ., принимал довольно видное участие в ее работе. Во время турецкой войны отличился в нескольких битвах. С 1775 года был в отставке.

90. После переворота 28 июня 1762 года, когда началось возвышение братьев Орловых.

91. Подпоручик Федор Минеев, передавшийся Пугачеву и произведенный им в полковники.

92. Вероятно, историк Барсуков Александр Платонович, автор работ по истории XVIII века и других.

93. Императрица Елизавета Петровна (1709—1761), дочь Петра I, взошла на престол при содействии гренадерской роты Преображенского полка, свергнув 25 ноября 1741 года малолетнего императора Иоанна Антоновича (племянника Анны Иоанновны) и его мать, правительницу Анну Леопольдовну. Гренадерская рота получила впоследствии в награду название лейб-кампании.

УРАЛЬСКИЕ ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

В 1900 году В. Г. Короленко прожил в области Уральского войска с 19 июня по 2 сентября, работая в Уральском войсковом архиве и разъезжая по станицам. Поездка эта стояла, как уже было сказано выше, в связи с замыслом исторической повести из времен Пугачева. (См. примечания к работе над исторической повестью «Набеглый царь».) Приехав в Уральск, Короленко поселился в окрестностях этого города, на даче Каменского, в Старо-Шапошниковском саду, на реке Деркул. Отсюда он ездил на велосипеде в Уральск для работы в архиве. Отсюда же он совершил ряд поездок по казачьим станицам. Разыскивая следы и предания исторического прошлого, писатель в то же время знакомился с современным уральским казачьим бытом, который также представлялся ему в значительной степени историческим пережитком. «...Теперь это только случайно сохранившийся обломок прошлого, — писал он, — прошлого сильного, оригинального и поэтического, но все-таки прошлого... Борьба стихла... На реку прорвется пароход, степь со свистом перережет паровоз, и постепенно стихнут даже предания об особенном казачьем быте. Прошлое уже теперь быстро исчезает, а новое... новое еще в загадочном тумане» («У казаков», глава XIII).

Впечатления, вынесенные Короленко из его наблюдений над казачьим бытом, спешно записанные в печатаемых здесь записных книжках, доставили ему материал для цитируемых очерков «У казаков». Появились впервые в 1901 году, в «Русском богатстве», кн. 11—12. Для собрания своих сочинений (изд. А. Марк-

са, т. VI) автор подверг эти очерки значительной переработке. Что касается уже упоминавшейся ранее «Пугачевской легенды на Урале», то по первоначальному плану автора она должна была итти 4-й главой очерков «У казаков», и только когда очерки были уже сданы в набор и сверстаны, Короленко изъял легенду. По-видимому, писатель намеревался использовать содержание этой главы для своей исторической повести «Набеглый царь», но повесть осталась ненаписанной, и очерк «Пугачевская легенда на Урале» оставался в бумагах писателя до 1918 года, когда был отослан в журнал «Голос минувшего». В печати очерк появился уже по смерти автора (1922 г., кн. 2, октябрь), к сожалению, с корректурными ошибками и искажениями. Кроме записных книжек, относящихся к уральскому путешествию, в архиве В. Г. Короленко сохранились черновые рукописи к очеркам «У казаков», несколько рисунков в альбоме и на отдельных листах и коллекция фотографических снимков, сделанных им во время его разъездов по уральским степям и станицам. В дополнение к печатаемым здесь записным книжкам см. письма В. Г. Короленко с Урала («Избранные письма В. Г. Короленко», т. I, стр. 165—192, изд. «Мир», Москва, 1932).

23. УРАЛ

Записная книжка-альбом (№ 498) малого формата, в сиреневом твердом переплете, с вытисненным на нем словом «Album». Записи начаты с конца, причем на нижней крышке переплета наклеен листок бумаги с надписью на нем, рукою В. Г. Короленко: «Урал». В книжке 92 страницы (не считая двух внутренних обложек), пронумерованные редакционной комиссией. Все записи сделаны карандашом, беглым, неровным, иногда малоразборчивым почерком, указывающим на то, что они заносились в книжку поспешно, в очень неудобных условиях, иной раз во время езды в тряской тележке. Кроме записей, в книжке имеются: рисунок, изображающий булаву станичного атамана, и чертеж местности с надписью: «Вероятно, место битвы Фреймана с казаками». Книжка печатается не полностью.

1. Две страницы малоразборчивых записей — не даются. В отрывочных фразах печатаемых здесь записей, содержание которых развито было впоследствии в очерке «Пугачевская легенда на Урале», записан рассказ восьмидесятилетнего казака, жителя Требухинской станицы, Анания Ивановича Хохлачева. «Я слышал о нем, — пишет Короленко, — как о человеке любознательном, собравшем в своей старой памяти много преданий. Хозяйка постоялого двора, на котором мы остановились, оказалась крестницей Анания Ивановича и охотно вызвалась пригласить его к нам для беседы. Через полчаса во двор явился рослый старик с очень длинной седой бородой, в старинной формы стеганом халате и, несмотря на жаркий день, — в валеных сапогах. Глаза Анания Ивановича были старчески тусклы, голос несколько глух, но память ясная, речь связная и толко-

вая...» «О Пугачеве он говорил, как о настоящем царе, приводил очень точно разные предания, называл лиц, от которых все это слышал, и перечислял степени их родства с самими участниками исторических событий. Заметив, что я кое-что записываю в свою книжку, он выпрямился и, положив руку на столик, сказал: «Пиши: старый казак, Ананий Иванов Хохлачев, говорит тебе: мы, старое войско, так признаем, что настоящий был царь, природный... Так и запиши!.. Правда это...» («У казаков», глава V).

2. Здесь речь идет о препровождении пленного, закованного и посаженного в клетку Пугачева в Петербург. По преданию, в числе конвойных был станичный атаман Мартемьян Бородин, противник Пугачева. В «Пугачевской легенде на Урале» Короленко писал: «Между прочим, с Мартемьяном Бородиным в качестве ординарца ехал его любимец, молодой казак Михайло Тужилкин. Однажды, где-то на привале, во время роздыха, суровый атаман заставил Тужилкина искать у себя в голове. Находя эту минуту подходящей для интимного разговора, Тужилкин спросил: — «Скажите, Мартемьян Михайлович, кого мы это везем: царя или самозванца?» — «Царя, Мишенька», — ответил будто бы Мартемьян. Тужилкин пришел в ужас. — «Что же мы это делаем?» — воскликнул он. — «Да что же делать-то было... Все равно ни его, ни наша сила не взяла бы», — ответил Бородин. В Сакмарской крепости, куда будто бы прибыл поезд с Пугачевым в клетке, навстречу им попался фельдъегерь из Петербурга. Подойдя к клетке и увидя там Пугачева, фельдъегерь затрепетал и всплеснул руками (Ананий Иванович очень драматично и картинно изобразил ужас фельдъегеря и его жест). — «Б-боже ты мой, что исделали!» — закричал он. «Отомкните, сейчас отомкните!.. Что же теперь будет?..» Этот ужас объяснялся, разумеется, тем, что офицер узнал в клетке царя...» («Пугачевская легенда на Урале», «Голос минувшего», 1922 г., № 2, октябрь, стр. 22.)

3. На этой незаконченной фразе запись обрывается. Содержание ее стоит в связи с преданием о загадочной смерти Мартемьяна Бородина, постигшей его в Петербурге. В «Пугачевской легенде» Короленко писал: «Когда Мартемьян явился во дворец к наследнику, — рассказывал мне Ананий Иванович Хохлачев, — тот и говорит ему: «Что тебе было, атаман господин, мово папу не принять? Если бы ты принял, то были бы теперь в Рассее папа мой, да я, да ты третий. Ну, а теперь, атаман господин, не взыщи». И ударили в большой колокол. Зимовая яицкая станица стоит на площади у дворца, ждет своего походного атамана, но его все нет. И вдруг слышит: звонят в большой колокол, как на помин... Вышел на крыльцо адъютант и говорит казакам: «Нет вашего атамана. Помер атаман в одночасье. Поезжайте себе с богом». Самый род смерти изображается тоже различно. В рассказах казаков-домоседов, не бывавших в столицах, говорится, будто Павел Петрович, разгневавшись, схватил дверную «запирку» (деревянный засов, которым задвигают во-

рота) и ударил ею Бородина по голове. По другим вариантам, казнь была еще жесточе, — вплоть до сдирания кожи с живого. Здесь, очевидно, играла уже творческую роль глубокая ненависть тогдашнего войска к Мартемьяну. Наконец, некоторые предания приписывают гибель Бородина самой Екатерине, которая не могла простить грубого обращения с ее мужем» («Пугачевская легенда на Урале», стр. 23).

4. Слова А. И. Хохлачева, рассказывающего автору, будто вдова Бородина получила собственноручное письмо Екатерины II и два платья бархатные: одно зеленое, другое черное. «А в письме было написано, что в твоем, дескать, горе я повинна, я грешница... И сватья Анания Ивановича, жившая там-то, сама видала и письмо и платья...» («Пугачевская легенда на Урале», стр. 23—24).

5. Здесь речь идет о второй женитьбе Пугачева на казачке Устинье Кузнецовой: «Женитьба при живой жене была яркой, бьющей в глаза неправдой... Совесть искренних пугачевцев была смущена. Покорное Пугачеву духовенство отказалось поминать новую «царицу» в ектеньях «до сенатского указу»... Ликование кощунственной свадьбы доносилось за стены укрепления, поддерживая не одну уже, быть может, колебавшуюся совесть «верной стороны»... («У казаков», глава III).

6. Запись эта стоит в связи с рассказом А. И. Хохлачева о взаимоотношениях между казаками и киргизами, о которых старый казак отзывался с враждой и недоверием (см. «У казаков», глава V).

Задуманная глава «На Усихе» (к повести «Набеглый царь») написана не была.

7. Павел I, сын Екатерины II (1754—1801), российский император (1796—1801), в то время был наследник. Легенды о нем см. в примечании 3-м.

8. Почерк, которым сделана эта запись, указывает на то, что автор писал в пути, вероятно, во время езды в тележке. Короленко ехал 27 июля из Требухиных хуторов в Январцевский поселок Кирсановской станицы. Спутником его был илецкий казак, учитель войсковой сельскохозяйственной фермы, Макар Егорович Верушкин.

9. О казачке-поэтессе М. И. Тушкановой см. главу VI очерков «У казаков».

10. Записанное относится к положению Январцевского форпоста. В очерках «У казаков» сказано: «С бухарской стороны ветер заметает реку песком, и стесненное течение рвет обрывистый берег, снося огороды, дома и уже приближаясь к церковной площади» (глава VI).

11. Чей — то есть откуда.

12. Пропуск у автора.

13. Речь идет о собеседованиях православных миссионеров с казаками-раскольниками, устраивавшихся для обращения раскольников в православие.

14. «Маршрутом» казаки называли описание путешествия. Казак Г. Т. Хохлов, о встрече с которым говорится в этой записи,

был одним из участников дальнего путешествия, совершенного им в 1898 году вместе с двумя товарищами, В. Д. Максимовичевым и В. Барышниковым, для отыскания мифической страны Беловодии, в существование которой долго верил старообрядческий мир. «Это — настоящая сказочная страна всех веков и народов, окрашенная только старообрядческими настроениями,— пишет Короленко. — В ней, насажденная апостолом Фомой, цветет истинная вера, с церквами, епископами, патриархом и благочестивым царем...» «Ни татьбы, ни убийств, ни корысти царство это не знает, так как истинная вера порождает там и истинное благочестие». Путешествие свое казаки совершили на средства, предоставленные им уральскими старообрядцами, избравшими их как бы своими депутатами на съезде, происходившем в Кирсановском поселке. «Депутаты добросовестно исполнили поручение. Они отправились в Константинополь, проехали Архипелагом, побывали в Малой Азии, Иерусалиме, проехали Суэцким каналом и Красным морем, обогнули Индостан и Индокитай, расспрашивали о русских церквах на островах, населенных дикарями, были в Китае и в «Опоньском царстве» и, переходя от надежды к разочарованию, не найдя нигде признаков «истинной веры» и «древлего благочестия», — вернулись после многих приключений через Сибирь на родину... («У казаков», глава VI). Во время своего путешествия Г. Т. Хохлов вел записи в карманной записной книжке. «В маленькую книжку свою, — пишет Короленко, — Григорий Терентьевич заносил при этом славянскими буквами все факты и впечатления пути, втискивая их при помощи слово-титл и сокращений на эти тесные страницы, и теперь, заглядывая в нее, он развертывал передо мною любопытные эпизоды этой своеобразной экспедиции. Около двух часов просидели мы в беседке январцевского учителя, слушая любопытные рассказы этого современного «землепроходца»... Мне удалось убедить Григория Терентьевича перевести полу-славянский текст его книжки на общеупотребительный язык и изложить его гражданскими письменами. Автор согласился и через некоторое время доставил мне в Уральск чрезвычайно убористую рукопись. Как он сам выражался, — он постарался «упоместить» возможно больше текста на возможно меньшем пространстве, считая это почему-то важным. Он не позволял себе ни красных строк, ни особых глав и был чрезвычайно скуп на знаки препинания. По привычке к старинному полуустав ному письму, попадалось много сокращений с слово-титлами. Рукопись имела очень своеобразный вид, и Григорий Терентьевич настаивал, чтобы я поидал ей перед печатанием известную обработку. Но, ознакомившись с нею, я убедился, что в сущности она написана очень хорошо. Поэтому, когда (впоследствии) мне пришлось передать ее для издания в Географическое общество, то я ограничился только разделением на главы, общеупотребительной орфографией и известным количеством знаков препинания. В остальном повесть «О путешествии уральских казаков в Беловодское царство» оказалась написанной очень выразительно, местами почти лите-

ратурно, и если порой в ней попадались оригинальные и не совсем привычные в литературном отношении обороты, то и это только способствовало сохранению колорита» («У казаков», глава VI). Стараниями В. Г. Короленко, снабдившего рукопись Хохлова своим предисловием, она была издана в Петербурге в 1903 году. (Г. Т. Хохлов. Путешествие уральских казаков в «Беловодское царство». С предисловием В. Г. Короленко. Записки Императорского русского географического общества по отделению этнографии, т. XXVIII, выпуск 1.) Самая рукопись была, по желанию Короленко, возвращена ему и сохранилась в его архиве. Краткое изложение путешествия уральских казаков в Беловодское царство заключается в главе VI очерков «У казаков».

15. Смысл этой записи, относящейся к истории розысков «Беловодского царства», выясняется из сопоставления следующего места очерков «У казаков» (глава VI): «...Страна эта называется Комбайским царством или Беловодией. Проникнуть в нее очень трудно, однако смелые люди все-таки проникали и составили несколько описаний. Из этих описаний или «маршрутов» (как новоенному называют их казаки), по словам Григория Терентьевича Хохлова, особенным распространением пользовался на Урале маршрут известного инока Марка (Топозерской обители), который будто бы лично, посетив Беловодию и вернувшись в Россию, «подтвердил свое путешествие евангельским словом». Было это еще в XVIII столетии. С тех пор «маршрут» инока Марка ходил по рукам в рукописных списках и жадно читался по станицам, возбуждая в предприимчивых уральцах желание проникнуть в волшебную страну. По словам Григория Терентьевича Хохлова, на съездах казаков-старообрядцев вопрос этот подымался много раз, но путешествие пугало своими трудностями и неопределенностью «маршрута». В 60-х годах истекшего века донской казак Дмитрий Петрович Шапошников, житель Новочеркасска, ассигновал на путешествие довольно значительную сумму, но с вызовом смельчаков Дон почему-то обратился к Уралу. Уральцы согласились, и их выбор пал на казака Головского поселка, Варсонофия Барышникова, с двумя товарищами. Барышников отправился в путь, побывал в Константинополе, Малой Азии, на Малабарском берегу и даже в Ост-Индии. Но до пределов Камбайского (Камбоджа?) и Опоньского (Японского) царства, за какими-то препятствиями, не доехал; таким образом, эта экспедиция не подтвердила, но и не опровергла сказания инока Марка. Заманчивая Беловодия попрежнему оставалась за далью морей, в таинственном и непроницаемом тумане».

16. Слова Г. Т. Хохлова. Упомянутый здесь Аркадий — своеобразный самозванец, выдававший себя за выходца из Беловодии, за архиепископа беловодского ставления и в свою очередь ставивший в некоторых местах старообрядческих священников и епископов. «Я видел портрет этого странного «архиепископа», — пишет Короленко, — происхождение которого, даже после нескольких случаев судимости, нельзя установить вполне точно. По данным его биографии, это — человек необыкновенно пред-

приимчивый, способный, человек, как говорится, «с мечтой» и огромной энергией. В прошлое, быть может еще недавнее время, он мог бы, вероятно, увлечь многих, но теперь уже запоздал и встретил на свете слишком много критики...» («У казаков», глава VI). Для выяснения личности Аркадия в место его ссылки, в Оханск, отправились, между прочим, казаки Круглоозерной станицы Кудрявцев и Самарин, от которых Короленко слышал рассказ об их свидании с мнимым беловодским архиепископом. Следующая запись, сделанная позднее в этом месте книжки, вероятно, на остававшихся свободных листах, заключает отрывки этого рассказа (см. также «У казаков», глава VI).

17. Окончание этой записи, слишком отрывочное и неразборчивое, здесь не печатается.

18. Князь Григорий Семенович Волконский (1742—1824)—оренбургский военный генерал-губернатор. В 1804 году «усмирял» уральских казаков, противившихся попыткам правительства ограничить их исконные привилегии.

19. Разговор, якобы происходивший у Пугачева с Мартемьяном Бородиным, конвоировавшим его на пути в Петербург (см. выше, примечание 1-е и 2-е).

20. На Урале не верили в казнь Пугачева; возникшая здесь легенда гласила, что так как царя казнить нельзя, то на его место был подставлен какой-то заурядный преступник.

21. Слова казака.

22. В. Г. Короленко ездил в Кирсановскую станицу к атаману Беляеву для разыскания рукописи-поэмы казака Голованова (в то время уже умершего) «Герой-разбойник», посвященной изображению личности и деятельности известного пугачевца Чики (Зарубина). По слухам, поэма эта была написана на основании рассказов глубоких стариков, участников пугачевского движения. Об этой поэме, не оправдавшей ожиданий Короленко, говорится в главе VII очерков «У казаков».

23. Оба старика — потомки приверженцев Пугачева. О поездке Короленко в Иртек к Баннову см. дальнейшие записи.

24. Рассказ этот, слышанный Короленко в Кирсанове и оказавшийся вымыслом, вошел в главу VII очерков «У казаков».

25. Далее фраза не разобрана. Разговор с косцами изложен в главе VII очерков «У казаков».

26. Два слова не разобраны.

27. Речь идет о случаях солнечного удара.

28. Пропуск у автора.

29. Иртецкий поселок, в котором произошел описанный здесь эпизод, последний на границе Уральского войска с Илецким. Между обеими казачьими общинами существовало старинное соперничество на почве их экономических интересов (см. «У казаков», глава XII). «Узнав, что со мной едет «илецкий» (М. Е. Верушкин), — пишет Короленко, — Донсков заподозрил, что и я расспрашиваю неспроста. Из Иртецкого поселка мы выехали как бы сквозь строй внимательных и не вполне дружелюбных

взглядов. Очевидно, Донсков уже поднял тревогу» («У казаков», глава VI).

30. В своих очерках Короленко отмечает тот факт, что казачий строй не был безусловным противником крепостного права и что старшинская партия, представлявшая собою казачью аристократию, владела крепостными (см. «У казаков», глава VIII).

31. Несколько слов совершенно неразборчивы, запись сделана в пути, вероятно, при езде в тряской тележке.

32. Давид Мартемьянович Бородин, сын атамана, также атаман. О нем в очерках сказано: «Сын Мартемьяна, Давид, уже покупал на свод целые деревни и селил их на землях слабой и зависимой Илецкой общины. Таким образом основался Бородинский поселок, жителей которого выиграл в карты Давид у какого-то помещика в России...» («У казаков», глава VIII).

33. В Ташлинской станице.

34. Рассказ казачки, жены хозяина постоялого двора (см. «У казаков», глава VIII).

35. Рассказ этот в очерки «У казаков» не вошел.

36. Содержание этой записи представляет собою один из конспектов к повести «Набеглый царь», см. выше, «Работу над повестью «Набеглый царь». На реке Усихе Пугачев стоял лагерем со своими первыми сообщниками.

37. Ураз Аманов, яицкий казак из туркменов, состоявший при Пугачеве.

38. Так у автора.

39. На этом конспект заканчивается. Последующие записи относятся снова к пребыванию автора в Ташлинской станице и к дальнейшим путевым впечатлениям.

40. Пропуск у автора, забывшего имя рассказчицы. Это — упоминавшаяся выше В. Э. Бородина.

41. Настоящая запись относится к посещению автором 28 июля в Бородинском поселке 110-летней старухи, бывшей крепостной Давида Бородина. См. об этом посещении «У казаков», глава XIV. Старуха жила при раскольничьей белокриницкой (иначе называемой австрийской) моленной.

42. Ерзаль — ерзя, одна из ветвей мордвы, жившая в Арзамасском уезде Нижегородской губернии.

43. Ростошь — место, расточенное водою, овраг.

44. Мары — курганы.

45. Иоасаф Игнатьевич Железнов (1824—1863) — исследователь уральской старины и бытописатель уральского казачества. Первое собрание его сочинений «Уральцы — очерк быта уральских казаков» появилось в 1858 году. Последнее, третье, наиболее полное издание «Уральцев» вышло в трех томах под редакцией Н. А. Бородина в 1910 году.

46. Вероятно, название небольшого парохода, ходившего недолгое время от Оренбурга до Илека. Предполагалось, что он будет ходить до Уральска, но уральское казачество отнеслось к этому проекту крайне враждебно. Войсковая община не допустила у себя пароходства из опасения, что пароход распугает рыбу.

В отрывке к главе «Учуг», не введенном автором в печатный текст очерков «У казаков», Короленко пишет по этому поводу. «...Оградить от судоходства огромную реку, держать могучую артерию, способную современем оживить огромные пространства, и все это для надобностей одного рыболовства, — конечно нельзя надолго. ...и когда, наконец, паровой свисток одолеет, когда в силу вещей он перекинется в заповедные омуты и побежит мимо заповедных яров, то казак останется, пожалуй, при одном красном околыше. Жизнь пройдет мимо него, с его устарелыми казацкими правами...» (см. отрывок из главы «Учуг», в приложении к тому XX Полного посмертного собрания сочинений, Госиздат Украины, 1923).

47. По преданию, здесь было убежище Марины Мнишек в 1614 году.

48. Запись, сделанная в Кинделинском поселке. Речь идет о враждебных отношениях между двумя соседними казацкими общинами (см. главу IX очерков «У казаков»).

49. Шомполами, сделанными из тонких крепких прутьев таволги (кустарниковое растение).

50. Два слова не разобраны. Эта и дальнейшие записи сделаны карандашом в пути и чрезвычайно неразборчивы.

51. «Привязали свистом» — значит связали кисти рук, оттянули локти назад и под локти продели шест.

52. С целью издевательства над пленником.

53. См. весь этот эпизод в главе IX очерков «У казаков».

54. Запись сделана в Кинделинском поселке, в квартире атамана Калмынкина. В главе IX очерков «У казаков» Короленко пишет: «В поселке только что закончилось собеседование о вере, на которое приезжал известный поморский начетчик Надеждин с четырьмя помощниками. Несмотря на рабочую пору, собеседование привлекло много народу, и церковная сторона со своей стороны мобилизовала все свои силы в лице двух миссионеров и шести священников. Собеседование шло на площади, в присутствии поселкового атамана. Прения были горячие и продолжались четыре дня. Я очень жалел, что приехал слишком поздно и не застал уже этих прений. Теперь в квартире атамана подводились итоги...»

55. О Полякове см. «У казаков», глава X.

56. Эта сокращенная фраза расшифровывается так: «Сторожевые огни — значит тревога». Огни зажигали на марах (см. рассказ Полякова в главе X «У казаков»).

57. Слово неразборчиво.

58. Фамилия и наружность Полякова внушили автору мысль о польском происхождении казака. «Немудрено, — пишет он, — что это был потомок какого-нибудь конфедерата, закинутого в далекую степь какой-нибудь политической бурей» («У казаков», глава X).

59. Василий Андреевич Щапов, отставной казачий офицер. О нем см. «У казаков», глава X.)

60. Одно слово не разобрано.

61. Одно слово в скобках не разобрано.

62. В семидесятых годах хутор Щапова приобрел широкую известность как место загадочных «спиритических» явлений. «Местное высшее начальство, — пишет Короленко, — находившее, что хозяйничанье «неведомой силы» во вверенной ему казачьей области составляет уже нарушение порядка, требовало скорого выяснения дела и обуздания загадочной силы». На хутор была командирована специальная комиссия, выяснившая, что все, там происходившее, «есть дело рук человеческих» (см. «У казаков», глава X).

63. О ночлеге на пашне и о беседе здесь с В. А. Щаповым см. «У казаков», главы X и XI.

64. Так у автора. Надо: Данилыча.

65. Фраза не дописана.

66. Слово не разобрано.

67. Кто такой М. Т. Темников, выяснить не удалось; может быть, это имя рассказчика.

68. Князь Голицын Григорий Сергеевич (1838—1907), генерал-адъютант. В 1876 году был военным губернатором Уральской области и наказным атаманом Уральского казачьего войска. Оставался в этой должности до 1885 года.

69. Эпизод этот изложен в главе II очерков «У казаков». Там рассказано: «По окончании парада генерал ходил по площади, сыпал прибаутками в народном вкусе, заигрывал с станичными красавицами. Особенное внимание старого селадона привлекла девочка-подросток, дочь зажиточного станичника, ходившая по улице с подругами. Его превосходительство подошел к ней с какой-то веселой шуткой. Девочка отвернулась. Зная «ключ к женскому сердцу», он протянул ей двугривенный «на семечки» и после этого попытался милостиво взять ее за подбородок. Девочка бесцеремонно двинула его локтем и сказала: «Начхать (говорят, она выразилась еще сильнее). У тятьки своих много». «...По этому поводу поселковый атаман получил нагоняй. В приказе было отмечено, что население распущено, не дисциплинировано, не питает должного уважения к начальству...»

70. Князь Голицын приказал к известному сроку заменить в городе Уральске плетни заборами. Приказание это не могло быть выполнено ввиду дороговизны материала в безлесной стороне. Раздраженный ослушанием, Голицын заставил служилых казаков в своем присутствии поджигать плетни. «Генерал суетился, ругался, командовал, сухие плетни пылали, толпа смотрела в угрюмом молчании. Только один старый казак, наконец, плюнул и сказал довольно громко: «А еще, говорят, не сумасшедший» («У казаков», глава II).

71. Вероятно, стихи эти относятся к тому же князю Голицыну.

24. УРАЛЬСК

Карманная записная книжка в черной клеенчатой обложке с надписью на ней: «Уральск» (№ по описи 499). В книжке 62 листа, пронумерованных редакционной комиссией. Записи сдела-

ны пером и карандашом. На листе 24-м — набросок карандашом головы киргиза. Записи этой книжки являются непосредственным продолжением записей предшествующей, — они относятся к дальнейшей части той же поездки В. Г. Короленко по станицам.

1. Песня эта записана в книжке карандашом, очень поспешно, со многими сокращениями. Автор слышал ее в Илеке, куда приехал 30 июля, в одном из местных трактиров. Там же он был свидетелем сцены, разыгравшейся между представителями двух поколений казаков: старого и молодого. Первые наброски этой сцены заключаются в последующих записях. В обработанном виде сцена эта вошла в главу XII очерков «У казаков».

2. Фраза эта записана карандашом, беглым, малоразборчивым почерком. Относится к той же сцене в трактире — столкновению между старыми и молодыми казаками.

3. Пропуск у автора.

4. В 1837 году во время посещения Уральска тогдашним наследником (Александром II) группа казаков остановила его коляску и подала ему в руки просьбу-жалобу, в которой излагались обиды и утеснения, претерпеваемые Уральским войском, и заключалось ходатайство о восстановлении некоторых старинных вольностей. Оренбургский военный генерал-губернатор, В. А. Перовский, усмотревший в этом акте бунт, послал в Петербург соответственное донесение и, получив на то полномочия, подверг казачье войско жестокому наказанию.

5. Здесь имеется в виду поход русских войск в Китай в 1900 году в связи с происшедшим там так называемым «боксерским восстанием», вызванным агрессивной политикой европейских держав в Китае. В войне участвовали Германия, Англия и Россия. Восстание было подавлено.

6. «Уральский казак Сидоров в то время стал газетной знаменитостью, — пишет Короленко в своих очерках. — Он только что вернулся из Абиссинии, где служил негусу в отряде генерала Леонтьева. Благодаря одесским репортерам, имя Сидорова обошло все газеты. В статьях наперебой говорилось о его выносливости, бодрости и находчивости в трудные минуты. Урал гордился тем, что Сидоров «заткнул за пояс донцов из того же отряда...» («У казаков», глава XII).

7. Куга — тростник.

8. Пропуск у автора, предназначавшийся, повидимому, для дополнительного текста.

9. Вероятно, здесь имеется в виду сказка Л. Н. Толстого «Много ли человеку земли нужно».

10. Ирджан Чулаков, киргиз, бывший управитель Карачаганакской волости. Короленко ездил из Илека к нему в кочевье Поездка эта, целью которой было ознакомиться с киргизскими преданиями о Пугачеве, описана в главе XIII очерков «У казаков».

11. В очерках «У казаков» автор называет его фамилию: Солдатов.

12. Лазарь Портнов, атаман Илецкой станицы, был повешен по приказанию Пугачева.

13. «Уходит между тем, уходит невозвратное время» — стих римского поэта Виргилия (70—19 до нашей эры).

14. В записной книжке Короленко проставил ошибочную дату: 2 июля.

15. В. Г. Короленко выехал из Илека в сопровождении своего спутника М. Е. Верушкина. Он желал совершить обратный путь к Уральску «бухарской стороной», т. е. поехать наперерез Киргизской степью. Попытка эта не удалась: ввиду рабочего времени путешественники не могли найти проводника и, проплутав часть дня в степи, вынуждены были возвратиться (см. «У казаков», глава XIII).

16. Встреча с крестьянами-молоканами в Карачаганаке описана автором в отрывке, не вошедшем в печатный текст заключительной главы очерков «У казаков». (Отрывок этот дан в приложении к т. XX Полного посмертного собрания сочинений, Госиздат Украины, 1923, стр. 163—166). «Съемка земли у киргиз воспрещена законом,— пишет там Короленко.— Русского мужика или казака не пропускают с сабаном через границу степи. Но жизнь все-таки берет свое: мужики приходят сюда в качестве наемных рабочих. Они действительно работают у киргиз и являются настоящими учителями нового еще у хозяев земледелия. Вместо платы они получают право пахать и сеять уже на себя. Конечно, положение такого земледельца очень шатко: юридически посев принадлежит все-таки киргизу. Говорят, однако, что еще не было случая, чтобы киргизы воспользовались этим формальным правом.— Конечно, «думается» иной раз,— говорили мне эти молокане,— пока хлеб в полях,— гнесси уже перед ними, особенно перед баями и управителями. Ну, спасибо им, никогда все-таки не обижают. Лошадей тоже пущаем на волю божию... Ничего». Отрывки разговоров с молоканами и составляют содержание нескольких, следующих ниже записей.

17. Дуванить — делить добычу после набега.

18. Бударка — грузовая лодка.

19. Уил — степная река Уральской области.

20. Маштак — малорослая лошадь.

21. Пропуск у автора.

22. Год смерти генерала Бай-Мухамедова называли на Урале «управительским годом».

23. Рассказ о встрече с потомками ханского Аблухаирского рода и о поездке автора на следующее утро в аул на розыски Даникеша заключается в главе XIII очерков «У казаков».

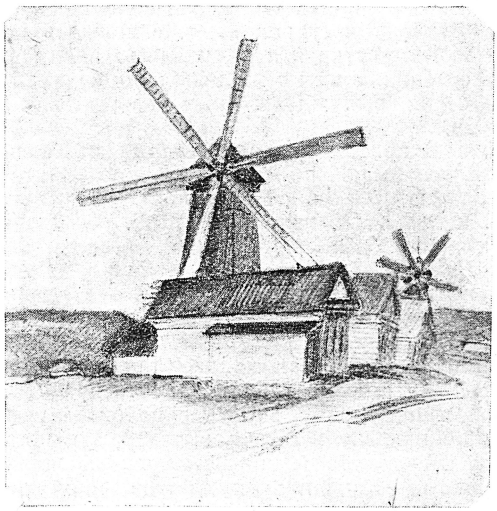
24. В этот день, 4 августа, В. Г. Короленко возвратился в Уральск. (Отметка в записной книжке-календаре 1900 г.)

25. Запись сделана пером.

26. «Плевна» — название трактира в Илеке, где В. Г. Ко-

ленко слушал пение казаков и присутствовал при их спорах (см. первые записи этой книжки).

27. На этом запись пером заканчивается. Мелкие записи карандашом, занесенные автором в конце книжки, частью отрывочные, частью справочного характера, здесь не печатаются.



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аблухаир — 402, 412, 511.

Айчювак-хан — 402, 409, 482, 483.

Акутины, уральские казаки — 391.

Алабин, чиновник (прототип Арабина в рассказе В. Г. Короленко «Ат-Даван») — 34—35.

Александр I — 489.

Александр II — 27, 423 — 425, 510.

Александр III — 418, 421, 430.

Александров Николай Павлович — 272, 283, 292, 469.

Александрова Клавдия Васильевна — 222, 463.

Алексеев, земский начальник Лукояновского уезда — 213, 215.

Алметьев Болтай, пугачевец — 368.

Алметьев Идеркей (Идорка), пугачевец — 368, 369.

Алфераки, управляющий контрольной палатой в Н.-Новгороде — 214, 215, 462.

Алямов Исех — 410.

Аманов Ураз, пугачевец — 386, 507.

Аманыч, пугачевец — 368.

Ананьев, купец в селе Павлове — 155 — 156, 449.

Анна Иоанновна, императрица — 346, 488, 500.

Анна Леопольдовна, правительница — 500.

Анна Петровна, дочь Петра I — 491.

Анненская Александра Никитишна — 266, 468.

Анненский Николай Федорович — 464, 468, 482, 484.

Апрянин Валериан Александрович — 268, 285 — 287, 468.

Аргентов Константин Иванович — 240, 243, 465.

Аркадий, самозванец-архиепископ — 380, 504 — 506.

Баженов Александр Васильевич — 239, 465.

Бай-Мухамедов, генерал — 402, 410, 511.

Баннов Наум Гаврилович, уральский казак — 382—384, 506.

Баранов Николай Михайлович — 118, 285, 286, 289, 290, 292, 440, 461, 465 — 468, 470, 471, 473.

Барсуков Александр Платонович — 29, 373, 500.

Барышников Варсонофий, уральский казак — 380, 504, 505.

Батюшков Федор Дмитриевич — 47, 484.

Батый — 445.
Безбородько Александр Андреевич — 348, 489.
Белобородов Иван Наумович, пугачевец — 485, 486.
Белоножкин, уральский казак — 389.
Беляев Квинтилиан Емельянович — 382, 506.
Берс (по мужу Кузьминская) Татьяна Андреевна — 49.
Бестужев С. Н., лукояновский земский начальник и судья — 238, 248, 251, 289, 291, 465, 471.
Бисмарк Отто — 110, 438.
Бобоедов Парфилий Гаврилович — 236, 244, 270, 465.
Богданович Флориан Григорьевич — 38, 41, 432.
Богомолов Федот, самозванец — 371, 497.
Болотов Андрей Тимофеевич. «Жизнь и приключения Андрея Болотова, рассказанные им самим» — 494.
Бородин Давид Мартемьянович, казачий атаман—384—387, 389, 394 — 395, 507.
Бородин Мартемьян Михайлович, казачий старшина — 357, 359—361, 363, 364, 369, 378, 381, 385, 483, 491, 502—503, 506, 507.
Бородин Никита Андреевич, казачий старшина — 28, 369, 482, 494.
Бородина Варвара Эрастовна — 386, 387, 507.
Бронский, земский начальник Лукояновского уезда — 213, 215 — 216, 462.
Брызгалов А. А., инспектор Московского университета — 130, 443.
Букей-хан — 402.
Букым-Бай Исет — 402, 403.
Булавин Кондрат — 492.
Буренин Виктор Петрович— 178, 179, 454.
Бурмакин, спиртонос — 85, 431.
Бухарцев, уральский казак —395.

Валов Николай Дмитриевич — 220, 221, 284, 463.
Васильчиков Александр Семенович — 487, 495 — 496.
Введенский, заведующий общественными работами в Лукояновском уезде — 262.
Верушкин Макар Егорович — 384, 385, 404, 503, 506, 511.
Веселитский Василий Павлович — 296—298.
«Вестник промышленности, торговли и финансов» — 439.
Виктор Иванович, — см. Снежневский В. И.
Вильгельм I — 110, 438.
Виргилий — 405, 511.
Вишнякова Софья Сергеевна — 284, 293, 470.
Волконский Григорий Семенович, князь — 381, 506.
Вощинин. «Изложение и критический разбор важнейших экономических теорий ренты» — 439.
Выровщиков Никеша, яицкий казак — 362—364, 484.

Габорио Эмиль. — М-т Lecoq — 118, 440.
Гаршин Всеволод Михайлович — 14, 42.
Гейденштром М. «Отрывки о Сибири» — 101.
Гельбиг фон Георг. «Русские избранники» — 29, 30, 370, 371, 494 — 496.
Гелинг Матвей Иванович— 312.
Гете Вольфганг. «Фауст» — 49.

Гизо Франсуа. «История царствования Карла I»—420—421.
Голицын Григорий Сергеевич, князь — 395, 509.
Голованов, «Герой-разбойник» — 382, 506.
Головин, Петр — 433.
Головнин, уральский казак — 392.
Гольцев Виктор Александрович — 13, 436.
Гомер — 49.
Горинов Павел Адрианович — 300, 301, 308, 472.
Горинов Петр Адрианович— 221, 222, 228, 240, 245, 284, 314, 463, 472.
Горький Максим (Пешков Алексей Максимович).
— «Мои университеты» — 430.
— «Челкаш» — 36.
Горчаков, князь. «Записки» — 422.
«Гражданин», газета — 471.
Грацианова Меланья Павловна (рожд. Подсосова). — 451. «Отрывки из воспоминаний» — 451 — 452.
Григорьев Василий Николаевич — 473.
Гузиков, яицкий казак — 414.
Гузиков Лаврентий, торговец — 413.
Гуляев Григорий Никанорович — 283.
Гурвич Николай Александрович — 485.
Гучков Александр Иванович — 234, 235, 239, 245, 246, 268, 285, 317, 464, 471.
Гучков Николай Иванович— 234, 464.

Давыдова С. А.—243, 465. 471.
Данте Алигьери. «Ад»—48.
Демидов А. А., председатель Васильской уездной земской управы — 274, 469.
Денисов Илья, походный атаман донских полков — 340—342, 345, 371, 487.
Державин Гавриил Романович — 488.
— «Бог», ода — 26.
— «Фелица» — 347, 488.
Дерман Абрам Борисович. «История создания «Ат-Даван». 47, 423.
Джюламан — 403.
Дибич - Забалканский Иван Иванович — 335—336, 478.
Доброджану-Гереа (Константин Абрамович Кац) — 474.
Добрынин Гавриил Иванович. «Истинное повествование» — 370, 488—489, 494.
Доктор Петро, — см. Ивановский Василий Семенович.
Донсков Афанасий Данилович, уральский казак — 395.
Донсков Клим, уральский казак — 383, 384, 506 — 507.
Донсковы, уральские казаки — 384, 391.
Достоевский Федор Михайлович — 18.
— «Братья Карамазовы» — 45.
— «Игрок» (Мистер Астлей) — 18.
— «Преступление и наказание» — 18.
Дружинин Парфен — 372, 498.
Дрягалов Федор Ефимович — 216—219, 221.
Дубровин Николай Федорович. «Пугачев и его сообщники» — 480 — 481, 497 — 499.
Дуня, см. Короленко Евдокия Семеновна.
Дусали-хан — 402, 482.

Екатерина II — 29, 346, 350, 354, 361, 362, 368, 370, 371, 374, 378, 403, 442, 448, 482, 486, 492, 494 — 496, 499, 500, 503.
— «Были и небылицы» — 488.
Елизавета Петровна, императрица — 29, 374, 381, 487, 491, 500.
Ермолов, земский начальник Сергачевского уезда — 299.
Ершов, врачебный инспектор в Н.-Новгороде — 285, 471.
Ефимов Тимофей Гаврилович — 485.
Ефрем Сирин—139, 141, 447.

Жедринский Николай Николаевич — 246, 284, 466.
Железнов А. Г., земский начальник Лукояновского уезда — 251, 289, 467.
Железнов Иоасаф Игнатьевич — 492, 507.
— «Уральцы» — 390, 492, 507.
— «Предания и песни уральских казаков» — 492.
Желябов Андрей Иванович — 27, 423 — 424.

Завадовский Петр Васильевич, граф — 348, 489.
Зверев Дмитрий Иванович—471.
Зиновьева Екатерина Николаевна — 496.
Златовратский Николай Николаевич — 14, 26.
Зотов, пугачевец — 485 — 486.
Зубов П. П., предводитель дворянства в Васильском уезде — 274, 469.

Иаков, апостол. «Соборные послания» — 100
Ивановский Василий Семенович (Петро Александров, доктор Петро)—334, 337, 474, 476, 478.
Измайлов, горный исправник — 79.
Иоанн Антонович, император — 500.
Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергиев) — 271, 468 — 469.

Каз-туган, киргизский хан—403.
Калашниковы, уральцы-хуторяне — 410 — 412.
Калдеиха, илецкая казачка — 390.
Калмынкин, казачий атаман — 508.
Каменский, Михаил Федорович — 500.
Кандалинцев Алексей — 372, 494, 498.
Карл Фридрих, герцог Гольштейн-Готторпский — 491.
Каронин - Петропавловский, Николай Елпидифорович — 22.
Кобылянский Казимир Александрович — 427.
Кожевниковы, пугачевцы — 493.
Короленко Владимир Галактионович —
— «Арзамасская Муза» — см. «Муза».
— «Артисты» — рукопись— 102, 425, 434, 439.
— «Ат-Даван» («На станке») — 10, 33, 34, 35, 47, 69, 74, 422—423, 429.
— «Белая пташка», набросок — 132—136, 443, 444.
— «Божий городок» — 7, 10, 160—162, 450, 452.
— «В борьбе с дьяволом»— 7, 10.
— «В голодный год».

(«По Нижегородскому краю») — 7, 10, 213—318, 445, 460 — 473, 479.

— «В Дивеево!» — 451.

— «В каюте второго класса одного из самолетских пароходов...», отрывок без заглавия — 110, 438.

— «В облачный день» — 10, 450, 451.

— «В подследственном отделении» — см. «Яшка».

— «В пустынных местах»— 10, 179—213, 445—446, 451, 455—460.

— «В холерный год» — 473.

— «[Воспоминания о писателях]» — 448, 468.

— «Временные обитатели подследственного отделения» —см. «Яшка».

— «Голодная весна» — 297, 472.

— «Государевы ямщики» («Станочники») — 10, 18, 50, 73, 74, 75 — 77, 87 — 88, 104, 428, 429, 431, 434.

— «Груня» — 42—44, 111, 112, 438.

— «Дело о вреде искусства» — см. «Муза».

— «Дневник», т. I, Полное посмертное собрание сочинений. Госиздат Украины, 1925, 422, 426, 427, 444—445.

— «Дневник», т. II, Полное посмертное собрание сочинений. Госиздат Украины, 1925—469.

— «Дневник», т. III, Полное посмертное собрание сочинений. Госиздат Украины, 1927— 439, 449, 469.

— «Дневник», т. IV, Полное посмертное собрание сочинений, Госиздат Украины, 1928 — 443, 469.

— «Женился», набросок. (Рукопись) — 136, 444.

— «За иконой»—13.

— «[Записная книжка 1879 г.]» — 3, 448.

— «Земли! Земли! (Наблюдения, размышления, заметки)» — 461, 462, 469, 471.

— «Землячок» («Рассказ Петра Михайлова»)—53, 332— 340, 477—479.

— «Из записной книжки»— см. «Черкес».

— «Избранные письма», т. I, изд. «Мир», М. 1932 — 437, 449, 453, 490, 501.

— «Избранные письма», т. II, изд. «Мир», М. 1933 — 423, 464 — 466, 468, 471, 472, 479.

— «Искушение» — 7, 421.

— «История моего современника», т. I, изд. «Academia», — 439, 486.

— «История моего современника», т. II, изд. «Academia», — 14, 417, 436 — 437, 439.

— «История моего современника», т. III—IV, изд. «Academia» — 27, 41, 42, 59, 63—68, 69—75, 77, 99, 418, 419, 421— 430, 432 — 434, 441.

— «История одного бедного студента» (тема) — 69.

— «История телеграфного столба» (тема) («Рассказы сибирской сосны») — 27, 62, 420.

— «Князь Ворцель в заключении» (тема) — 27, 62, 420.

« «Кондуктор», набросок — 136 — 138, 443.

— «Лес шумит»—10.

— «Марусина заимка» — 7, 10.

— «Мгновение» — 7.

— «Мороз» — 10, 37—41, 78, 82, 430, 431, 432.

— «Муза» («Арзамасская муза», «Дело о вреде искус-

ства») — 215, 439, 450 — 452, 462.
— «На Волге»—10, 42—45, 111, 112, 438.
— «На волжской отмели», отрывок — 125—129, 442.
— «На заводе» — 441.
— «На затмении» — 10.
— «На Светлояре» («В пустынных местах») — 10, 139—147, 189—193, 446, 455, 457, 458.
— «На станке» — см. «Ат-Даван».
— «Набеглый царь» — 3, 15—17, 23—25, 28, 340—415, 437, 480, 484—494, 497, 500, 501, 503, 507.
— «Наброски драмы», рукопись — 423.
— «Над Лиманом» — 10, 325, 326, 475, 476, 492.
— «Наши на Дунае» — 10, 32—33, 325—329, 474—476, 492.
— «Ненастоящий город» — 7, 10.
— «Не страшное» — 7.
— «Нирвана» — 7, 475.
— «Ночью» — 7.
— «Павловские очерки» — 154—158, 448—450.
— «Памяти Виктора Ивановича Снежневского» — 148, 448.
— «Парадокс» — 7.
— «Песня», неизданный отрывок — 71, 425.
— «Пессимисты» — 444.
— «По Нижегородскому краю», см. «В голодный год».
— «По пути («Федор Бесприютный») — 10, 47—48.
— «Поездка в Лукояновский уезд Нижегородской губернии» (доклад, читанный в заседании продовольственной комиссии) — 285, 470—471.
— «Покрывать или раскрывать растраты?» — 468.
— «Покушение на генерала Баранова в 1890 г.» — 470.
— «Полное посмертное собрание сочинений», т. V, «Материалы и дополнения к «Истории моего современника», Госиздат Украины, 1929 — 13.
— «Полоса»—14.
— «Последний луч» — 441.
— «Последний Мымрецов». Отрывок — 51, 115—119, 435, 439, 440.
— «Предисловие к «Путешествию уральских казаков в Беловодское царство» Г. Т. Хохлова — 505.
— «Приемыш» («В пустынных местах») — 194—197, 458.
— «Прохор и студенты» — 439.
— «Пугачевская легенда на Урале» — 377—415, 437, 480, 484, 491, 501—503.
— «Рассказ Петра Михайлова» — см. «Землячок».
— «Рассказы о бродягах. Рассказ первый. «Соколинец». Из очерков сибирского туриста» — см. «Соколинец».
— «Рассказы сибирской сосны», рукопись — 27, 62, 420.
— «Река играет» — 7, 10, 18, 147—154, 188, 189, 445, 448, 456, 458.
— «Сказание о Флоре Римлянине» — 47.
— «Слепой музыкант» — 5, 7, 30—32, 46, 47, 169—172, 450, 453—454.
— «Смерть якута». Отрывок — 101—102, 434.
— «Содержающая» — 13, 61, 62, 419, 420.
— «Соколинец» («Рассказы о бродягах». Рассказ первый. «Соколинец». Из очерков сибирского туриста»)—10, 71 — 73, 426.
— «Сонамгинца» — см. «Сон Макара».

— «Сон Макара» — 7, 19, 21, 49, 102 — 104, 421, 434.
— «Сон на Лене» (тема) — 27, 69—71, 423—425.
— «Станочники — см. «Государевы ямщики».
— «Табельщик» (отрывок)— 46, 122—123, 440—441.
— «Третий элемент»—468, 470.
— «Турчин и мы» — 10, 332—340, 475, 477, 492.
— «У казаков» — 7, 10, 17, 377 — 415, 481, 484, 500 — 511.
— «Убивец» — 10, 59—61, 419.
— «Ушел» — 178, 450, 454—456.
— «Федор Бесприютный»— см. «По пути».
— «Феодалы» — 10, 35, 88, 89, 93—96, 431, 432.
— «Художник Алымов» — 107—109, 431, 436—438, 442.
— «Черкес» («Из записной книжки») — 7, 10, 35—37, 85—87, 431.
— «Эпизоды из жизни искателя» — 417.
— «Ягутка» — 318 — 321, 473—474.
— «Яшка» («Временные обитатели подследственного отделения», «В подследственном отделении») — 421.

Короленко Евдокия Семеновна (Дуня) — 227, 234, 246, 356, 441, 463—465, 471, 472, 477, 479, 482 — 484, 486.

Короленко Илларион Галактионович — 147, 312, 418, 447, 463, 472, 485.

Корсаков, заведующий столовой в Лукояновском уезде — 261, 468.

Корсакова Феоктиста Михайловна — 261, 468.

Костин Н. Ф., земский начальник Лукояновского уезда — 221, 235 — 236, 463, 465.

Косткин, нижегородский помощник полицеймейстера — 246, 466.

Котлубицкий, И. П., член губернского присутствия в Н.-Новгороде — 285, 471.

Красов, член управы в Лукоянове — 284.

Кривенко Сергей Николаевич — 34, 423.

Криль Татьяна Александровна (по мужу Богданович) — 266, 468.

Кудрявцев Павел Иванович — 227, 464.

Кудрявцева Мария Петровна — 261, 468.

Кузнецова Устинья — казачка, вторая жена Пугачева — 503.

Курдюмов Василий Антонович — 276, 283, 293, 295, 469, 472.

Куркин Григорий Алексеевич — 190.

Лебедев, чиновник особых поручений при нижегородском губернаторе — 246, 289, 466.

Лебедев-Полянский Павел Иванович (псевдоним Валериан Полянский). «Запрещенный рассказ В. Короленко» — 47.

Ленивцев Николай Михайлович — 246, 284, 466.

Леонтьев Н. С. генерал — 510.

Лидерс Александр Николаевич, граф — 335, 478.

Логинов, Иван, яицкий казак, атаман — 414.

Лукин, Николай Дмитриевич, городской голова в Лукоянове — 290.

Лукьяниченков Петр Михайлович — 53, 352 — 340, 477—478.

Лысов Дмитрий, казак-пугачевец — 372, 497.
Ляхович Константин Иванович — 420.

Маковский Владимир Егорович — 273.
Максимычев В. Д., уральский казак — 380, 504, 505.
Малышевы Сергей Андреевич и Александра Семеновна — 441, 443.
Мальковы, уральские казаки — 404.
Мансуров Павел Дмитриевич — 483.
Мариенгоф, врач в Лукояновском уезде — 284, 470.
Маслов Анисим Александрович, генерал — 489.
Маурер Георг-Людвиг. «Введение в историю общинного подворного сельского и городского устройства и общественной власти» — 439.
Мекульев Григорий, яицкий казак, атаман — 414.
Мерк Иоганн-Генрих — 49.
Мещерский Владимир Петрович, князь — 471.
Мизиновы, уральские казаки — 384, 391.
Минеев Федор, пугачевец — 373, 500.
Михельсон Иван Иванович, генерал — 492, 493.
Мицкевич Адам — 26.
Мнишек Марина — 508.
Молоков, пермский жандарм — 57, 59, 419.
Муравьев - Амурский Николай Николаевич — 79, 430.
Мусаев Барын, пугачевец — 368.

Мэн Генри. «Древний закон и обычай» — 439.
Мякулин Ипатий, уральский казак — 391, 392.
Мякутин Александр Иванович — 485.
Мясников Григорий — 451.

Нагибин Григорий Степанович, уральский казак — 377.
Надеждин, поморский начетчик, старообрядец — 392.
Некрасов (Некраса) Игнат — 362, 371, 492.
Некрасов Николай Алексеевич — 436.
Николаев Дмитрий, сержант — 372, 499.
Николаев. «Сорена и Замир» — 494.
Николай I — 458.
Николай II — 464.
Никон, патриарх — 348, 488.
«Новое время», газета — 454.
Нур-Али, киргиз-кайсацкий хан — 366, 402, 482, 483, 493.
Ньютон Исаак — 26.

Оболенский Леонид Егорович. «Разбор сочинений Вл. Короленко» — 21.
Оболяев Степан («Курица») — 357—361, 363, 482, 491.
Обтяжнов Владимир Дмитриевич — 265—267, 284, 291, 292, 468.
Орлов Алексей Григорьевич, граф — 373, 499—500.
Орлов Григорий Григорьевич, граф — 24, 29, 30, 346, 348—354, 370, 371, 374, 486—490, 494—496, 499, 500.
Орлов Федор Григорьевич, граф — 373, 500.
Островский Александр Николаевич — 310, 472.
«Отечественные записки», журнал — 119, 440.

Павел I — 377, 489, 499, 502 — 503.
«Памятная книжка Якутской области на 1871 год» — 101, 433.
Панин Петр Иванович, граф — 371, 483, 495, 496.

Парватов Михаил Григорьевич — 215.
Перовская Софья Львовна 424.
Перовский Василий Алексеевич, граф — 510.
Перчик, Перец — см. Короленко Илларион Галактионович.
Петр, апостол. «Соборные послания» — 100.
Петр I — 348, 371, 481, 489, 491, 500.
Петр III — 361, 381, 487, 491 — 492, 497 — 499, 503.
Петр Михайлов,—см. Лукьяниченков П. М.
Пиневич, якутский окружной исправник — 427, 428.
Пиотровская Анастасия Александровна — 267, 268, 468.
Подсосова Мелания Павловна, — см. Грацианова М. П.
Подсосовы — 214, 462.
Познанский Игнатий Николаевич, жандармский генерал — 466.
Покровский Ф. «В. Г. Короленко под надзором полиции» — 426.
Поленов Алексей Яковлевич. — «О крепостном состоянии крестьян в России» — 355—356, 490.
Поляков Дмитрий Ефимович — 392, 393, 508.
Попов Василий Степанович — 348, 489.
Попов Михаил Родионович — 430.
Портнов Лазарь, атаман Илецкой станицы — 404, 511.
Портновы — 391.
Посников Александр Сергеевич — 463.
Поссе Вл. «О средневековом общинном землевладении» — 439.
Потапов Федор Потапович — 213, 462.
Потемкин Григорий Александрович — 483, 488, 489, 496.
Приклонский Александр Васильевич — 227, 237, 291, 464, 471.
Пугачев Емельян Иванович — 15, 16, 23—25, 28, 340—345, 356 — 360, 364, 366 — 369, 371 — 374, 377 — 379, 381, 386, 402, 404, 436, 437, 441, 479 — 487, 491 — 494, 496, 500, 502, 503, 506, 507, 510, 511.
Пузаткин, яицкий казак — 381.
Пустобаев, уральский казак — 380.
Пушкин Александр Сергеевич — 48, 236, 303, 304.
— «Евгений Онегин»—304, 472.
— «История Пугачевского бунта» — 373, 499.
— «Капитанская дочка» — 16.
Пушкин Анатолий Львович — 227, 230, 237, 244, 245, 248, 251, 270, 271, 276, 279, 283, 284, 289, 290, 292, 293, 295, 300, 301, 303, 305, 317, 464.

Разин Степан Тимофеевич — 128, 160, 161, 362, 436, 437, 442.
Разумовский Кирилл Григорьевич — 489.
Рахманов, врач в Лукояновском уезде — 259, 261, 468.
Рейнсдорп Андрей Иванович, генерал — 480.
Репин Илья Ефимович. «Бурлаки» — 436.
Ржевский Степан Матвеевич. «О русской армии во второй половине Екатерининского царствования» — 490.
Рогачев Дмитрий Михайлович. «Записки пропагандиста» — 42—43.

Родбертус. «Исследование в области нац. эконом. классич. древности» — 439.
Розанов Василий Никанорович — 292, 293.
Ромась Михаил Антонович — 80, 427, 430—431, 442.
Россов Павел Федорович— 214, 215.
Рубинский, лукояновский исправник — 467, 468.
Рувимов Василий Александрович — 246.
Русинов Ал. Ив. — 261, 468.
Русинова Анна Николаевна — 261, 468.
«Русская мысль», журнал— 435, 448.
«Русская старина», журнал — 494.
«Русские ведомости», газета — 222, 267, 291, 293, 295, 317, 420, 435, 441, 447, 450, 452, 455, 456, 459, 462, 463, 471, 474.
«Русское Богатство», журнал — 423, 429, 431, 451, 455, 462, 468, 475, 479, 500.
Руссо Жан-Жак — 347, 488.
— «Новая Элоиза» — 347, 488.
Рутницкий, уполномоченный от петербургского «Особого комитета» — 236, 285, 465, 471.
Рысаков Николай Иванович — 423.

Саблин Михаил Алексеевич — 450.
Салтыков, арзамасский помещик — 160.
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович — 310, 472.
— «История одного города» — 119, 120, 440.
Сараханов, Константин Константинович — 26.
Сармин, уральский казак— 506.
Сарым-Дач — 402.
Сахаров — 221, 463.
Свободов А. «Короленко в Нижегородском комитете помощи голодающим» — 464.
«Сельский вестник» — 217, 463.
Серафим Саровский — 173, 308, 452—454.
Сибирцев Николай Михайлович — 246, 267, 284, 288, 289, 466, 468.
Сидоров, уральский казак— 400, 510.
Симонов Иван Яковлевич— 345, 348, 482, 487, 493, 499.
Синявский Александр Лукич, студент Московского университета — 443.
Скворцов Н. «Из жизни В. Г. Короленко» — 420.
Скворцов Сергей Васильевич — 261, 468.
Смирнов, уральский казак— 404.
Снежневский Виктор Иванович — 148, 448.
«Собеседник любителей российского слова» — 488.
Соболевский Василий Михайлович — 463.
Солдатов Иван Яковлевич— 404, 511.
Соловьев, уралец, владелец мельницы — 394.
Соловьев Ф. «Остатки язычества у якутов» — 101, 433.
Соловьева Александра Сократьевна — 261, 468.
Строганов (Строга), уральский казак — 28, 369, 494.
Струговщиков А. А., земский начальник в Лукояновском уезде — 229, 230, 238, 240.
Струговщикова Екатерина Николаевна — 229, 230, 240.
Ступин Александр Васильевич — 215, 451, 452, 462.

Суворов Александр Васильевич — 483.
Суриков Василий Иванович — 277.
Сыромятников Михаил Савельевич — 402.

Тархов, земский начальник — 214.
Татаринов Иван Петрович — 307—310, 317, 472, 473.
Теленчи — 402, 403.
Темников М. Тих., уральский казак — 395, 509.
Токарев Александр Осипович — 379.
Толкачев Михаил, пугачевец — 482, 483.
Толстиков Николай Ал., — 226.
Толстой Алексей Константинович — 147, 447.
Толстой Лев Николаевич — 18, 283.
— «Анна Каренина» — 18, 422.
— «Война и мир» — 18, 49.
— «Как помочь голодающему населению» — 283, 469.
— «Много ли человеку земли нужно» — 401, 510.
Траубенберг, генерал — 499.
Тужилкин Михайло, яицкий казак — 377, 502.
Тушканова М. И., уральская казачка — 379, 503.
Тюлин, перевозчик на Ветлуге — 148 — 150, 152 — 153, 189, 193, 448, 456, 458.

Ульянов А. Н. — 420.
Успенский Глеб Иванович — — «Будка» — 439.
— «Чудак-барин» 264, 468.
Ухов, уральский казак — 382, 506.

Филарет, раскольничий игумен — 25, 357, 491.
Филатов Борис Федорович — 221, 239, 245, 284, 290, 292, 463.
Филлипов Семен — 480, 498.
Философов М. А., лукояновский земский начальник — 234, 235, 238, 245, 285, 465.
Фонвизин Денис Иванович — 347, 488.
— «Бригадир» — 488.
— «Вопросы автору «Былей и небылиц» — 488.
— «Недоросль» — 488.
Франк Елизавета Емильевна — 261, 468.
Фрейман Федор Юрьевич — 373, 499, 501.
Фрелих Николай Николаевич — 246, 284, 466.
Фридрих II, прусский король — 487.

Хвостов Василий Семенович. «Записки 489 — 490.
Хлопуша, пугачевец — 15, 436, 437, 485, 486.
Хмырев М. Д. «Царь Алексей Михайлович и его время» — 101, 433.
Хохлатов Матвей Маркелович — 382.
Хохлачев Ананий Иванович, казак — 501—503.
Хохлов Григорий Терентьевич. — 379—380, 503 — 505.
— «Путешествие уральских казаков в Беловодское царство» — 380—381, 503—505.

Цыкунов Захар, амгинский крестьянин — 49, 425.

Чеботарев Ан. Фролович, управляющий земским хутором в Лукояновском уезде — 260, 261, 468.
Чеботарева Елена Александровна — 259—261, 468.
Челибердаки, русский консул в Румынии — 336.

Чернышевский Николай Гаврилович — 26.
Чернышов, Захар Григорьевич, граф — 124, 367, 370, 373, 441—442, 486, 487, 493, 495 — 496.
Чесноковы Василий и Сергей Дмитриевичи — 194, 203, 207, 213, 455.
Чехов Антон Павлович—14.
Чика (Зарубин) Иван Никифорович, пугачевец—361 — 363, 367, 368, 372, 386, 441, 479, 485, 486, 492, 493, 506.
Чингиз-Хан — 402.
Чуваков Даникеш, султан— 409, 410, 511.
Чулак Айбасов — 401.
Чукалович Ирджан—401— 403, 510.
Чулакович Нурджан — 401.

Шаварновский Роман, казак — 366, 493.
Шалыгин Николай Григорьевич — 203, 458.
Шапошников Дмитрий Петрович, донской казак—380, 505.
Шатова Александра Алекс. 261, 468.
Шаховская Наталья Дмитриевна. «В. Г. Короленко. Опыт биографической характеристики» — 5.
Шванвич Александр Мартынович — 29, 373, 374.
Шванвич Михаил Александрович — 29, 368, 373, 374, 485, 493, 499.
Шекспир Вильям — 49.
Шелудяков Данила, пугачевец — 371, 497.
Шигаев Максим, пугачевец — 368, 493.
Шилиха, Кирсановская, казачка — 365, 492.
Шипицын, исправник в Сибири — 79.
Штевен, лукояновский земский начальник — 235, 465.

Щапов Андрей Афанасьевич — 391.
Щапов Василий Андреевич, отставной казачий офицер — 393, 407, 508.

«Экономический вестник», журнал — 439.

Юдины, уральские казаки — 379.
Юлаев Салават — 493.
Юрьевец, атаман—126, 127.

Язевский Казимир Матвеевич — 203, 458.
Янжул Иван Иванович. «Опыт исследования английских косвенных налогов» — 439.
Яшеровы — 221, 463.

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ В. Г. КОРОЛЕНКО

К СИБИРСКИМ ЗАПИСНЫМ КНИЖКАМ

1. Остатки казацких укреплений в Якутской области
2. Олекминск
3. Старинная башня в Якутске
4. На Таруцкой

К НИЖЕГОРОДСКИМ ЗАПИСНЫМ КНИЖКАМ

5. Баржи на Волге
6. Волжский вид
7. Перед Красновидовым
8. Светлояр
9. Часовня у Светлояра
10. Село Павлово
11. Старик-павловец
12. Павловский кустарь
    Типы павловцев на Окском пароходе
13. „Божий домик" (внешний вид)
14. В Ушаковке
15. Роковое место
16. У Козьмодемьянска
17. Вид на поля
18. Разлив Оки в Н.-Новгороде
19. Зимние сумерки в деревне Фофановой

К РУМЫНСКИМ ЗАПИСНЫМ КНИЖКАМ

20. Вид на горы
21. Петр Михайлов Лукъяниченков („Землячок")
22. Болгарская церковь в Бобадаге

К УРАЛЬСКИМ ЗАПИСНЫМ КНИЖКАМ

23. Дворец Пугачева в Уральске

ЗАСТАВКИ И КОНЦОВКИ

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции 3
„В. Г. Короленко в его записных книжках". А. Г. Горнфельда

СИБИРСКИЕ ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

1. Через Урал.—Мой спутник.—Сибирские наброски . . . 57
2. Из путевых набросков по Иртышу и Оби 63
3. Записная книжка 1881 года 69
4. Записная книжка 1880—882 годов 71
5. „21 число. То есть день, когда в нашу далекую Амгу" . 71
6. Обратный путь из Якутской области 7

НИЖЕГОРОДСКИЕ ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

7. Записная книжка 1886—1888 годов 107
8. Записная книжка 1887 года 122
9. Записная книжка 1888 года 130
10. Листы из записной книжки 1888 года 138
11. Записная книжка 1889 года 139
12. Листы из записной книжки 1889 года 154
13. Записная книжка-альбом 1890—1897 годов 155
14. Дивеево, Понетаевка и Саров 158
15. Записная книжка 1890 года. По Ветлуге и Керженцу . . 179
16. Листы из записной книжки 1890 года 210
17. Голодный год 213
18. Записная книжка 1895 года. „Ягутка" 318

РУМЫНСКИЕ ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

19. Записная книжка 1897 года. „Слово" 325
20. Румыния (Поездка в Челык-Дере) 329
21. Листы из записных книжек 1897 года. „Из Добруджи. Рассказ Петра Михайлова" 332

РАБОТА НАД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОВЕСТЬЮ «НАБЕГЛЫЙ ЦАРЬ» [1] 340

УРАЛЬСКИЕ ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ 1900 ГОДА

23. Урал 377
24. Уральск 396

ПРИМЕЧАНИЯ

Сибирские записные книжки 417
1. Через Урал.—Мой спутник 418
2. Из путевых набросков по Иртышу и Оби 421
3. Записная книжка 1881 года 422
4. Записная книжка 1880—1882 годов 425
5. „21 число" 425
6. Обратный путь из Якутской области 426
Нижегородские записные книжки 435
7. Записная книжка 1886—1888 годов . . . . . —
8. Записная книжка 1887 года 440
9. Записная книжка 1888 года 443
10. Листы из записной книжки 1888 года 444
11. Записная книжка 1889 года 445
12. Листы из записной книжки 1889 года 448
13. Записная книжка-альбом 1890—1897 годов 449
14. Дивеево, Понетаевка, Саров 450
15. По Ветлуге и Керженцу 454
16. Листы из записной книжки 1890 года 460
17. Голодный год . . . . . —
18. Записная книжка 1895 года 473
Румынские записные книжки 474
19. Записная книжка 1897 года 475
20. Румыния 476
21. Листы из записных книжек 1897 года. „Рассказ Петра Михайлова" 477
22. Работа над исторической повестью „Набеглый царь" 479
Уральские записные книжки 500
23. Урал 501
24. Уральск 509
Именной указатель 513
Перечень рисунков В. Г. Короленко 525

[1] Самостоятельный отдел «Работа над исторической повестью «Набеглый царь» (340—374 стр.) ошибочно попал в «Румынские записные книжки». Ошибка эта повторена механически и в колонтитулах Примечаний (стр. 479—499).

Редактор Н. С. Ашукин
Технический редактор Н. И. Гарвей
Переплет А. М. Литвака
Корректор О. Я. Хохлова.

★

Заказ Из-ва № 464. Тираж 5000 экз.
Уполномоч. Главлита Б 40465
Сдано в набор 5.I 19 5
Подп. к печ. 25/III 1935 г.
Форм. б ум. 82+110 1/32
8 1/4 бум. лист.
Заказ тип. № 10
33 п. л.

★

Цена 7 р. 50 к.
Переплет 1 р. 50 к.

В. Г. КОРОЛЕНКО ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ.

Замеченные опечатки

Страница	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
79	8 св.	Шиницын	Шипицын
306	3 сн.	гляди [122]!	гляди [112]!
308	1 „	брали! >[144]	брали! >[114]
334	15 св.	— ?з	— ?[3]
360	13 сн.	Казак обгоняет тележку. Связанные бродяги глядят	Казак едет тише. Через некоторое время он сходит
377	2 сн.	было	были
—	4 „	Это	Что
378	16 „	затиркой	запиркой
405	8 св.	tempus![3]	tempus![13]
460	11 сн.	Канувино	Кунавино
478	1 св.	2	1
—	7 св.	3	2
506	7 „	Самарин	Сармин